

Андрей Битов • СЕМЬ ПУТЕШЕСТВИЙ

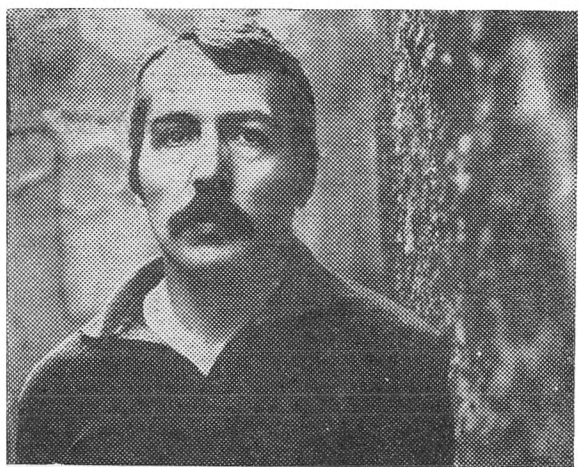


Андрей  
Битов

**СЕМЬ  
ПУТЕ-  
ШЕСТВИЙ**

*Андрей Битов*

*СЕМЬ  
ПУТЕШЕСТВИЙ*



Андрей  
Битов

---

СЕМЬ  
ПУТЕШЕСТВИЙ



Советский писатель  
Ленинградское отделение

1976



Р 2  
Б 66

В этой книге впервые объединены повести Андрея Битова, написанные в форме «путешествий». Собранные вместе, они образуют цельную книгу, писавшуюся несколько лет.

© Издательство «Советский писатель», 1976 г.

Б  $\frac{70302-180}{083(02)-76}$  70—76



# **ТАКОЕ ДОЛГОЕ ДЕТСТВО**

*Призывник*



***О. А. Кедровой***

---

## Не пропадать же билету!

— Ту-у-ту! — сказал паровоз. — Ех-хоть — не ех-хоть? — пыхтел он.

— Ну же, давай, решайся! — громко шептал лучший друг Мишка, по пояс вылезая из окна.

— Кирюша! Кирюша! — кричали девочки. — Давай с нами.

Кирилл, уже один, стоял на платформе, расставив ноги, и раскачивался с носка на пятку как бы в глубокой задумчивости.

— Не пропадать же билету! — сказал лучший друг Мишка.

В окне показался руководитель.

— Так это вы — Капустин? — сказал он, словно бы узнавая. — Так это о вас речь?.. А вы и вправду — поезжайте. Вот — вы даже у меня из списков не вычеркнуты.

— Мало ли, — мрачно сказал Кирилл, — что не вычеркнут. Приказ-то уже висит? Висит.

— Да, — сказал руководитель, — приказ — это шабаш... Но вот ведь и билет на вас имеется...

— Мало ли, — сказал Кирилл, — бухгалтерия не обернулась.

— А вы все-таки поезжайте, — неубежденно говорил руководитель, — ничего не потеряете — а мало ли что бывает...

— А если не бывает? — сказал Кирилл. — Зачем же мне тогда себя еще дергать? Мало мне, что ли?

— Ну, знаете ли! — Руководитель казался задетым. — Была бы честь. Я вам навстречу. Если так, я даже обязан вернуть билет неиспользованным. Раз уже приказ...





пы — а группа-то уж его поддержит, — его восстановят в институте. Он просил выслать ему самое необходимое и немного денег (но это только на первое время: потом он заработает и вернет, писал он).

Вскоре выяснилось, как и предполагал Кирилл, что его отъезд со всеми на практику ничего не меняет и ничему не поможет и восстановить его — не восстановят. Но и убедившись в этом, в Ленинград возвращаться ему не хотелось. Потому что встретиться с родителями, смотреть им в глаза и слушать их упреки — все это его очень пугало. А тут, уехав, он чувствовал себя как-то уверенней и спокойней. Кирилл оставил родителей в надежде, что у него есть шансы на восстановление, а сам устроился на работу вместе с ребятами. Вся разница между ним и ребятами заключалась в том, что те должны были отработать два месяца практики и вернуться в институт, а Кирилл получил трудовую книжку, и в паспорте, рядом со штампом «уволен», появился штамп «принят», и возвращаться в институт не было никакой необходимости.

Мама ответила ему сразу же, и он прочел, что она не сердится на него, что все они очень его жалеют, что тем не менее он сам поступил безжалостно по отношению к отцу, который так переживает и такой больной человек, что вещи, Кирюша, я уже собрала и завтра вышлю, а деньги уже послала телеграфом, что дома все здоровы, чтобы он измерил себе длину рукава и окружность талии, потому что она собирается вязать ему свитер, потому что в Заполярье очень холодно, что пусть он старается, и тогда, может, его и восстановят, но если и не выйдет ничего, пусть он не расстраивается, потому что все равно она его очень любит и ждет, единственного, маленького, и пусть он скорей возвращается, и она его крепко-крепко целует — м а м а.

Вскоре за маминим он получил письмо от отца, что он щенок и молокосос и совершенная тряпка, что пусть он теперь попробует, какова жизнь, и как он не ценил того, что они всё для него делали, что он бессердечный сопляк и заставляет страдать и мучиться мать, которая и так очень больна, что пусть он хоть трудом искупит свою вину и покажет, что он не зря носит фамилию Капустиных, среди которых все были очень честные и трудящиеся люди, что пусть он тем не менее бережет себя, одевается потеплее, будет осторожен с купанием и сле-

дит на работе, чтобы не было несчастного случая, что деньги он ему выслал и еще передал маме складную удочку и набор снастей, чтобы она отправила их вместе с вещами, там у вас, говорят, замечательная рыбная ловля, он и сам рад бы приехать половить, да загружен работой, ну, Кирилл, держись, жму руку — па па.

И вот еще письмо:

«13 июня 1956 г. 68°37' с. ш.

Дорогая мама! Скоро месяц, как я тут. Теперь я уже не ученик, а «подземный трудящийся IV разряда» — так это называется. И мне кажется, что я только и делаю, что выхожу на смену: просыпаюсь — иду на смену, прихожу со смены — засыпаю. Работа, как здесь говорят, «медвежья». Но ничего.

Ученичество мое было одна формальность. Работать пришлось с первого дня. Я был определен в «ученики навалщика» (или насыпщика, что то же самое), то есть, проще, — в грузчики. Что значит «ученик грузчика», до сих пор мне неясно. «Плоское — тащи, круглое — кати», — наверно, это. Стажировки тут полагается месяц, но мне сократили в половину, чтобы я мог получать как все, и это, конечно, справедливо, потому что «ученик грузчика» — тот же грузчик. Даром тут не платят, говорят работяги, но даром тут и не работают. Шахта — это шахта. Гора — и есть гора, говорят работяги.

Значит, и я работяга, если работаю, как они.

Да! Еще номер. Ирония судьбы — опять экзамен! Чтобы получить разряд, надо сдать технику безопасности. И опять у меня была с экзаменом морока. Еле выплыл. Вроде бы ничего сложного, но упомянуть все эти осторожности невозможно. Однако люди, занимающиеся техникой безопасности, требуют, а члены комиссии даже именуют ее наукой. И основной принцип этой науки, как говорят работяги: и кочерга раз в год стреляет.

Но и этот экзамен — в прошлом.

А в остальном — все хорошо. С ребятами я по-прежнему дружен. Хотя мне становится с ними все труднее. Я их не понимаю временами. С ними я или не с ними? Как-то неясно. А с работягами отношения налаживаются. Даже лучше, чем с ребятами...»

И т. д. О доме он не вспоминал.

## Часть первая

# ТРИ ДНЯ НЕУВЕРЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

## СУББОТА

### Коля-друг

Кирюша докурил сигарету.

— Ну что, пошли? — говорит Кирюша.

— Посидим еще, — говорит Коля, — куда торопиться.

А Кирюша и рад. Недельная усталость гудит в тяжелом теле. Сигаретку новую достать — и то так трудно кажется, что лучше и вовсе не курить. И ладони все полопались, пристают к лопате. Работаешь — еще ничего. А как присядешь на перекур — так и не встать потом. Коля — другое дело: вдвое меньше Кирюши, втрое легче, а никогда не устает. Такая у него была жизнь, что не способен он теперь от работы устать. И тюрьма, и война, и шахта — тридцать лет из сорока пяти — вся жизнь. Привычка. А если и устал он, то другой усталостью, которой Кирюша и представить-то себе не может, а работа — что.

Докурил Коля папироску.

— Ну что, Кирюша, пошли? — говорит.

— Посидим еще, а? — почти жалобно говорит Кирюша. Размяк он, и неправдой ему кажется, что способен он двигаться.

— Да там уже ничего и работы-то не осталось, — говорит Коля. — Нам двоим — это на пять минут.

— Вот смотри, — говорит Кирюша, протягивая Коле руку и разворачивая ладонь. — Видишь, что творится?



И сразу стыдно ему становится своей слабости. А Коля светит лампой на Кирюшину ладонь и сокрушенно качает головой.

— Как же это ты? Я же тебе говорил, в рукавицах надо... Для чего же рукавицы?

— В рукавицах неудобно. Ты ведь тоже без рукавиц?

— Ну я... Я — что... Ладно, ты уж тут посиди, Кирюша, отдохни. Я как-нибудь справлюсь сам потихоньку. Там пустяки.

— Нет, что ты... я тоже,—говорит Кирюша, а сам не встает и просто уже ненавидит себя за это.

— Да что ты? Сиди. Что я, не понимаю...

И Коля ушел по штреку. Невидный узловатый мужичок.

Таял и погас за поворотом свет Колиной лампы. Таял и растаял звук шагов.

Кирюше вдруг стало покойно и хорошо. Угрызение куда-то отступило и исчезло. Устроился поудобнее, закурил.

Тихо-тихо. Далеко их сегодня услали... Так тихо. Такого и не бывает. Любая тишина подтверждается звуком. А тут — ничего. Как в могиле.

Подумал об этом — родились звуки. «Тики-тики! Тики-тики!» — часы на руке. А вот это сердце: «Т-тук-тк, т-тук-тк», — странно как-то бьется, неловко. И наплывами, фоном: «Ш-шу! Ш-шу!» — ш-шум в уш-шах.

Тишина. Звуки. Часы еще можно трахнуть об стенку — замолчат. А все равно... Живой — звучу. Забавно...

Кирюша выключил лампу. Некоторое время ползали перед глазами радужные круги и пятна. Уплывали куда-то вверх, снова возникали, слабее, слабее. Красивые пятна. То с красной каемкой, то с зеленой.

Уплыли.

Можно раскрывать и закрывать глаза — и это все равно.

Темно-темно. Такого и не бывает. Темнота подтверждается светом. А это слепота.

Вряд ли где-нибудь еще можно встретить такую тишину и темноту.

Как в могиле.

Подумал об этом — вытащил из кулака сигарету. За-

тянулся. Как много света — затычка! Можно увидеть стену и себя целиком.

Спрячешь — снова темнота.

Включить фонарь — и не бывало! Запеть что-нибудь...

Пел.

Прикрыть рефлектор рукой — красные, прозрачные пальцы. Чуть раздвинуть их, освободить свет — длинные, узкие, скрюченные, зашевелились на влажных, неровных стенах полосы. Живые, страшные...

Подземелье, сокровища... Гигантский паук.

Снять руку — и не бывало! Запеть...

Пел.

И вдруг чудо пропало. Вдруг он понял, что замерз. Что сидит он на холодной и жесткой лопате. Стало неудобно и неуютно. И одиноко. А Коля там один вкалывает...

Когда он добрел до Коли, тот уже кончал работу. От большой кучи породы осталась кучка. Теперь и включаться в работу как-то неудобно.

— Оставь мне хоть немножко, — находится Кирюша. — Дай согреться. Посиди покура.

Коля-друг — замечательный человек. И не подумал сделать такое лицо: мол, что тут оставлять — ничего и не осталось. Не попрекнул ничем. Просто отошел в сторону.

Как же болит все тело! Но от кучи осталось так мало, что даже согреться Кирюша не успел.

— Вот и все, — сказал Коля, — на сегодня все.

А до конца смены больше часа. Кирюша счастлив, что на сегодня — все: устал. А Коля не устал, но выучка у него такая: сам себе работы не ищет. И снова сидят они вдвоем и курят. Далеко они от всех — никто к ним не придет, никакого начальство.

— А если мастер придет? — говорит Кирюша. — А мы все уже сделали?

— Не придет он, — говорит Коля. — А если и придет, — что он нам скажет?

Сидели на лопатах Кирюша и Коля. Терялась в хилом свете, уходила в черноту выработка. Вдруг оттуда вырвался лучик света.

— Зачем ты только про него сказал — вот он и легок на помине.. — Коля как бы заметался, сделал движение

вскочить, взглянул на Кирюшу — остался сидеть. Потускнел только.

— Ну и что такого, разве мы не отработали свое? — печально сказал Коля.

Луч остановился. Ослепил. Черной длинной тенью встал над ними мастер.

— Сидите? — сказал он.

— Да вот, Женя, перекуриваем... только сели, — неожиданным ласковым говорком засеменил Коля.

— А работа как? — сказал мастер.

— А что — работа... Ничего работа... Сделана работа.

— Сделана уже? Проверю, — сказал мастер и помолчал в недоумении. — Ну и что же, что сделана? Почему бы тебе, Коля, не прийти и не сказать? Рабочий день кончился? Нет. Приди и скажи: так и так, вот, сделали все. Сознательность твоя где?

— Сознательность?.. — сказал вдруг Коля новым, прерывистым, брнчащим голосом. — Ну что ж, давай, давай! Давай еще заданье. Выдумывай работу! Начальнички...

— Ладно, Коля! — сказал мастер. — Я ведь не для тебя, для него говорю, — кивнул он на Кирюшу. — Человек работать учиться. А ты хорош, не знаешь меня, что ли? Разве я бы не отпустил?.. Сидите уж, черт с вами.

И ушел, обиженный, унес качающийся луч. Осталась темная дырка выработки. Коля смотрел в землю.

— Что он мне сказать может!.. — неуверенно говорил он, пытаясь сохранить достоинство. — Разве мы не отработали свое?.. Хороший он человек, да не люблю я начальников. И ничего поделать не могу... Дай-ка мне лучше сигаретку твою, Кирюша. А то у меня от папирос кисло как-то во рту...

— А ты мне папироску.

Зажглись огоньки.

Коля как-то загрустнел.

— Хорошо человеку, который спортом занимается, — сказал он. — Ему и квартира. И вкалывать не надо. Вот у нас есть такой мастер спорта — так он и не работает вовсе. Ты его видел? Вот и не видел, потому что на работу он почти не ходит. Гири подымает. А рабочему человеку — ему все самому приходится...

Коля выплюнул окурочек. Тот попал в мутный ручеек и уплыл. Потом Коля долго рассматривал свой палец —

кривой и желтый. Подставил под него лампу — палец не просвечивал...

— Вот ведь какой! — сказал он. — И всего-то один годик поработать тебе осталось. Деньжат подсобрать. Домик я на Волге куплю. Сговорился уже. Вдова одна хочет продать. И буду я там лесником. Родился я там... Мама у меня там, брат. Вот жизни! Брат на лесопилке, а я, значит, лесником. Хозяйство свое — раз, дом — два, корову мне мама присмотрела — три, — загибал он корявые пальцы. — А то еще пойду на курсы судовых механиков: летом плавать по Волге буду. Красиво там... Да что ты думаешь, — разволновался вдруг Коля, — я и не только туда могу! Вот меня и тесть к себе зовет. В Забайкалье. Он там тоже лесником. А жизнь там! Охота... Хватит уж мне горбатиться... Годы не те. Вот выкуплю домик... или на судового механика...

## Дурачок

Сегодня особенно долго тянулась смена. И так ждали конца ее, что сквозь это ожидание проступали расплывчатые очертания чего-то большего, чем просто конец смены. И когда он спрятал инструмент и поднялся в разнарядку, когда он сидел в разнарядке и курил там папирску, а мастер сказал: «Ну что ж, двигайте потихоньку», когда они шли по материальной штольне, и лампы раскачивались в их руках, а об стенки выработок беззвучно бились их чрезмерные косые тени, и кто-то сказал: «Вот и суббота кончилась», а еще кто-то: «Нет, только началась», когда мощная струя воздуха из вентиляционного ствола пригнула их фигуры и похлопала крыльями их брезентовок, когда вдали показалась дырка и пока эта дырка ясна, превращаясь в свет, — ощущение чего-то большего, чем просто конец смены, утвердилось вполне. А когда они вынырнули на поверхность, и небо оказалось над головой, а на склоне была трава, и тихий туман стлался по озеру, а за озером был город, розовый и чистый, — он ощутил это как рождение.

В душе было хорошо. Было много горячей воды, и всем выдали новое мыло. Работяги, раздевшись, были здоровые и молодые. А гардеробщица улыбнулась ему как своему. «Ваш — сто тринадцатый?» — сказала она



на память и сняла его одежду со сто тринадцатого номера. Одежда после работы показалась ему невесомой. Одеваясь, он разглядывал свою грудь и руки, ноги тоже нравились ему.

Направляясь к столовой, он шел как-то особенно упруго, без нужды напрягая все мускулы, и тогда ему казалось, что он с легкостью сделает сейчас сальто, двойное или тройное, и пойдет дальше, словно это ничего ему не стоило. Тут на него чуть не наехала десяти-тонка — так он отвлекся. Она редела, задрала морду, и он отпрыгнул с бьющимся во все стороны сердцем. Тогда он стал думать о перенесенной опасности, о том, какое мужественное и сильное у него лицо, твердое, с живым взглядом. Рисуя себе таким свое лицо, он взбежал по лестнице столовой, в дверях галантно отступил в сторону, пропуская девушку, и девушка взглянула на него в упор, испытующе и с интересом.

И вот он в вестибюле столовой. А перед ним зеркало в рост. А в зеркале — он какой есть, что явилось для него полной неожиданностью и разочарованием: круглое его лицо, распаренное после душа, нелепо выпяченная губа и бессмысленные глаза (мужественное выражение), волосы торчат во все стороны — чистые, рассыпаются, и вся фигура неожиданно широкая и будто даже короткая. А рядом смеялись две девушки.

Одно шло к одному. Он обнаружил, что у него нет профталона на обед. Чем больше он рылся по карманам, тем больше ему хотелось есть. И денег при себе не было. А рыться по карманам было тем более глупо, что свой профталон он вовсе и не терял, а сам проел перед сменой, и это он вдруг вспомнил.

— Кирюха, ты чего ждешь? — Кто-то сжимал его локоть.

— А, Брюнет... — сказал Кирюша. — Да вот, понимаешь, талона у себя не нахожу.

— Ну, талон... Ерунда. Пошли. Следи за мной.

И Брюнет потащил его к очереди.

Кирюша ощутил ту же не совсем ему ясную неловкость, которую он испытывал в последнее время, когда в обществе работяг вдруг сталкивался с практикантами, своими бывшими однокашниками. Ему казалось тогда, что все принимают его тоже за студента, а этого ему теперь почему-то не хотелось.

А Брюнета он и всегда не любил.

— Ты что, с луны свалился? — говорил ему Брюнет, пока Кирюша испытывал эту неловкость. — Мы всегда так делаем. Она ведь талон забирает и выдает суп, а второе ты потом подходишь и забираешь с прилавка сам, уже без талона... Вот, смотри.

И Брюнет сосредоточенно направился к раздаточному окну, спокойно забрал второе и кисель и невозможно направился к свободному столику.

— Ну что же ты! Давай, — прошептал, проходя мимо.

Кирюша решительными шагами направился к окошку, но, подойдя, все забыл, что надо теперь делать.

— Здравствуйте! — выпалил наконец он и покраснел.

— Здравствуйте! — сказала раздатчица и прыснула. — Ну что, отработали?

— Да, — вздохнул он, — отработал вот.

Потоптался. «А теперь что делать?» — подумал он. Вдруг вспомнил: у него же есть талоны на молоко!

Раздатчица забрала талон и подвинула к нему кружку. Молоко он, впрочем, не любил.

— Послушайте, а нельзя ли обменять два талона на стакан сметаны? — сообразил он.

— Сейчас узнаю, — терпеливым голосом сказала она и скрылась с талонами.

Он оказался один. Перед ним стояли тарелки — жареная колбаса с картошкой. Неожиданно для себя он схватил тарелку и, не глядя по сторонам, понесся за колонну: там столики. Из-за колонны внезапно появилась тетка в белом халате и с грязной посудой. Они столкнулись. У тетки упала одна тарелка, у Кирюши — его колбаса. Тетка в белом кричала. Но тарелка оказалась целой. И тогда, как всякий виноватый, но еще не разоблаченный человек, Кирюха перешел в наступление.

— И что вы кричите! — грозно сказал он.

— Где же вы пропали? — крикнула раздатчица. — Вот ваша сметана.

— Да вот, помогал...

— Да? — сказала она и прыснула.

— Спасибо, — стушевался он.

Кирюша сидел и жевал бесплатный хлеб со сметаной.

И опять Брюнет:

— Так и не решился?

— Да иди ты!.. — отмахнулся Кирюша.

— Ты что, может, думаешь, что им попадает за это? Как бы не так. Попадало бы — так они знаешь как бы следили!.. Сами тащат.

— Проваливай, говорю тебе! — разозлился Кирюша.

— Тоже мне, под работягу играешь... — сказал Брюнет, отступая.

Кирюша вскочил. Но Брюнета уже не было. «Меня вот выгнали, а его — не выгнали...» — с тоской подумал Кирюша.

У проходной скапливался народ. Ждали автобуса.

— Закуривай, Кирюша!

Вот и прекрасно. Все равно он сыт. И затяжка после еды — всегда в радость. И сегодня — суббота, а завтра — воскресенье.

— Автобус!! — рявкнули хором.

В этот автобус не входят по очереди, не уступают женщинам и старикам дорогу, как в Ленинграде. Здесь едут с работы, и здесь надо суметь занять место. Вот так — раз-раз! — дергался Кирюша в серой грозди спецовок, такой большой, что необыкновенно узкой казалась щелка двери. Но вот он внутри, и есть еще свободные места. «Слева или справа?» — подумал Кирюша. И бросился налево. А там как раз смачно хрустнул сиденьем здоровенный парень. Направо? Но там тоже уже кто-то сел и, держа широкую черную ладонь на сиденье, кричал: «Ваня! Ваня!» «Это не меня...» — подумал Кирюша, обреченно хватаясь за поручень. И вдруг: «Кирюша! Садись скорей — я занял!» — донеслось до него.

И место у окошка.

Автобус, набитый и обвешанный, тронулся. В окошке начинался рабочий поселок и кончался рабочий поселок. За поселком поворачивалась гора и открывался край озера, низкорослые, судорожные сосенки и березки то подбегали, то отбегали, и было в них что-то отчаянное. И начинался еще один рабочий поселок. Входили люди. А на заднем сиденье сидело семь человек, и было им вполне свободно. «А в Ленинграде едва уместится пять», — подумал Кирюша. Автобус невозможно дребезжал. В щели пробивалась пыль, висела облачком в воздухе и ложилась ровным слоем на плечи и колени.

Перед Кирюшей оказалась крупная, видная девка. И Кирюше стало снова весело и хорошо, и смешно отчего-то.

— А что? Ничего... — заметил он, толкая в бок соседа.

— Да, в самый раз, — согласился сосед. — Да у тебя, я вижу, губа не дура.

— Эй, милая! — окликнул он ее, указывая на Кирюшу. — Смотри, парень-то хоть куда!

Девка разбитная, лукавая...

— Ишь ты, миленький, — пропела она. — Розовенький-то какой, прямо пряник... — И щипнула Кирюшу за щеку.

— Но-оо! — пробасил Кирюша в смущении. — Ты не очень-то, здесь не сеновал... — И вовсе потерялся от такой своей фразы.

— А что — хочется тебе на сеновал? — рассмеялась она.

Автобус снова остановился, и появились двое: один пьяный так, что и не разглядеть его, а с ним могучий парень, совсем трезвый. Вошел и заулыбался нагло, обнажая прекрасные зубы. Он как-то сразу оказался рядом с девкой и зашептал ей что-то жарко в ухо. Девка быстро растаяла и рассыпалась мелким, сладким смешком, а глаза ее заскользили, всё в сторону, в сторону. «Красивый парень, — подумал Кирюша ревниво и с восхищением, — прямо странно...»

А пьяный все катал свою голову по груди, а иногда вскидывал и тогда говорил: «Со мной по-хорошему — и я по-хорошему», или: «Ну, а если со мной по-плохому, то берегись!» И красивый парень вдруг забыл про девку — мало ли их... Такой он был уверенный и все про себя знал. «Ну кто же с тобой по-плохому?» — ласково говорил он, обнимая приятеля, и та же лихая улыбка у него на губах. Легким, открытым движением вытащил он из кармана приятеля четвертной. И так же спокойно улыбался, ничего не изменилось в нем — все на виду — поэтому-то никто и не заметил. «Кто ж с тобой по-плохому? — говорил парень. — Ты мне скажи. А я тебя брошу. Вот сейчас пойдем похмелимся. Я ставлю... А?»

Кирюша с удивлением, почти с восхищением, смотрел на парня, и тот заметил это.

— Ловко? — сказал он в той же улыбке.



— Ловко,— согласился Кирюша.  
— Видел?  
— Видел.  
— Ну и дурак же ты, парень! — рассмеялся он.  
Кирюша улыбнулся смущенно.  
— И в Ленинграде ты был?  
— Я из Ленинграда.  
— Ну и дурак же ты, парень! — залился он.  
— И в Москве был?  
— И в Москве был.  
— Ну и дурак же ты, парень! — захохотал он.  
— Чего же дурак? — запоздало обиделся Кирюша.  
— А так — дурак. Видел?  
— Видел.  
— Вот и дурак. Ты видел, а вот он, — красивый парень ткнул пальцем в Кирюшиного соседа, — не видел. А видел бы... — что-то грозное появилось в голосе парня и снова перешло в смех, — тоже был бы дурак.  
— Видел? — снова повторил он.  
— Не видел, — засмеялся Кирюша.  
— Вот и умница, — сказал парень.

## Кирюха

Однако — суббота.

В общежитии, где он жил со своими бывшими однокашниками, никого не было видно. Он поднялся к себе и в своей комнате тоже никого не обнаружил. Зато дальше по коридору дверь в одну из комнат была приоткрыта, и оттуда несся шум. Он пошел на этот шум и там увидел всех. Комната была битком, и дым коромыслом, и гвалт. Что-то праздновалось. Или даже было уже отпраздновано. Было так, словно ребята собрались что-то затеять, или, наоборот, только что кончили затею, или не знали, что затеять. То ли они собираются сыграть во что-нибудь, то ли спеть, то ли пойти куда-нибудь вместе, то ли просто спорят: о футболе, книгах, вине и женщинах и вообще — о спорте. Потому что все они чуть ли не прежде всего — спортсмены...

Он вошел, и все закричали неестественно радостно и громко:

— Кирюха пришел! Кирюха!..

— Ну как, Кирюха! Ну что, Кирюха! — кричали они, похлопывая его и подпихивая.

— Выпиваете? — сказал Кирюха.

— Именинник есть! Именинник имеется! — кричали ребята. — К нам, Кирюха, к нам! — кричали они.

Кирюха — авторитет. Он у ребят теоретик. Как так получилось, ему самому непонятно: то ли голос у него такой, то ли манера говорить — самому противно, а слушают. Вот разговор о винах, как бы умный, мужской, — у всех значительность на лице.

— Вот Кирюха скажет... Кирюха, скажи ему!

И Кирюха говорит:

— Да, это прекрасное вино, — говорит Кирюха.

Или:

— Дрянь, — безжалостно говорит он.

А самому стыдно. Все чего-то стыдно ему в последнее время... Откуда он, к черту, знает, что это за вино, в конце-то концов! Какое ему дело... Так он думает, а говорить — все равно говорит, тем же голосом.

Потом о писателях.

— А вот еще, Кирюха... «Замок Броуди»?

— Кронин? — говорит Кирюха. — Плохо это.

— Ну как же, Кирюха... Помнишь, там место одно есть, когда он ее...

— Не помню, — отрезает Кирюха.

— А вот еще немец такой, Бёлль...

— Бёлль, — говорит Кирюха, — это хороший писатель.

— А Хемингуэй? Как ты относишься к Хемингуэю?..

— Это тоже хороший писатель.

Прямо пытка...

Потом, конечно, о женщинах.

И это совсем позор.

Однако — суббота. Мишка, лучший друг, взял гитару. Играть он, положим, не умел, но грустное лицо у него получалось. И все пели. Орали. Кирюха не пел. Во-первых, он не умел, а во-вторых, просто ненавидел, когда так пели. И песня — конечно, студенческая — никуда не годилась. Он сидел, спасаясь от неудобства снисходительной полуулыбкой.

Пели, пели — надоело.

Однако — суббота. В субботу танцы в городском клубе.

— На танцы! На танцы! — закричали вдруг все.

— Кирюха, пошли на танцы?

Кирюха не ходил на танцы. Потому что танцевать не умел. Все-то ему надо было действительно уметь, прежде чем делать. И ничего-то он не умел из того, что умели все. Ни в футбол, ни в баскетбол, танцевать — тоже. Трудно ему через это приходилось. «И что это я за человек?.. — говорил он себе с горьким недоумением. — Раз я не умею ничего из того, что умеют все, то, может, я умею что-то, чего не умеет никто? Но что же это?»

— Ну что — танцы! — говорил Кирюха. — Танцы — это...

Так все и происходило... Он терпел, но не уходил, когда ребята спорили, не уходил, когда ребята пели, — так и на танцы пошел со всеми, хотя очень ему это все не нравилось.

Но что было делать?

## Первый бал

— А ты все скучаешь? — говорил лучший друг Мишка, подходя к его колонне. — А ты не стой, ты пробуй, — говорил он. Он опекал, он инструктировал... Ему, по-видимому, это льстило. Всем, мол, хорош Кирюха, вот только в этом вопросе недоразвитый какой-то, и надо его подразвить, надо его подтолкнуть, надо его свести с кем-нибудь, — все это шло у Мишки из лучших соображений.

— Не умеешь? Ну и что. Это их не смутит, — говорил он, крутя головой во все стороны вслед за девушками. — Ты, главное, сам не смущайся.

— Да не смущаюсь я! — говорил Кирилл зло, потому что в этом была правда: он смущался. И потому надеялся, что это у него незаметно.

— Да что тут танцевать!.. — говорил Мишка, оглядывая битком набитый зал. — Тут и поворачиваться не надо. Постой... — И он убежал.

«Привет, Галчонок!» — услышал Кирилл его голос в стороне и, повернувшись, увидел беленькую девушку, очень славную, как ему показалось. Она смеялась неправдоподобно весело и все время трогала кончиками пальцев Мишкину руку.

«Вот ведь...» — неопределенно что подумал Кирилл, но в этом была зависть.

А Мишка вдруг оставил эту девушку и подбежал к другой. Встреча была такой же оживленной, и девушка — не хуже первой.

«Сколько их... у него...» — думал Кирилл.

Уже начался новый танец, и Мишка пролетел мимо него с третьей девушкой.

— Давай, Кирюха, не теряйся! — крикнул он на лету.

Тоскливая досада на Мишку поднялась в Кирилле. Он не хотел его больше видеть, и он покинул свою колонну, отыскивал новую и подпер ее.

Так он стоял и один, и другой, и третий танец. Он уже узнавал лица многих девушек, так или иначе нравившихся ему. Они проплывали перед ним, как небольшие планеты, и ему уже казалось, что орбиты их — постоянны. Так он ожидал увидеть в определенный момент определенное лицо — и действительно видел его в этот момент. И все они танцевали не с ним. Он видел их, ждущих приглашения, они томились, они поглядывали на него, а он все не решался им помочь. Он видел, как они, скучающие, тоскующие или напускавшие безразличие, вдруг обретали партнера, потом партнер приглашал вторично, орбита становилась постоянной, и они, ждущие, тоже уходили от него и не замечали его больше. А он все не решался. Он все назначал себе следующий танец, и выбирал для него девушку, и перебирал подходящие фразы, и потом снова назначал себе следующий, когда он подойдет уже наверняка и без всяких, — и снова ждал следующего, и снова подбирал фразы. Он устал от бесплодного своего волнения и тогда стоял уже тупо и равнодушно, и лица танцующих сливались для него. «Да ну к черту, — говорил он себе, — стою тут как мальчишка! Давно пора уходить, раз уж, дурак, приплелся сюда...» Но хоть и равнодушный, а все равно не уходил.

И снова его отыскивал Мишка.

— Все в той же позиции? — говорил он, и его дурацкая ирония ранила Кирилла. — Может, тебе не нравится никто?

— Нет, — отвечал Кирилл, — нет тут ничего подходящего.

— А эта? А эта?

— Нет, — мрачно отвечал Кирилл.

— А вон, посмотри, как та на тебя посмотрела...

— Где? — выдавая себя, встрепенулся Кирилл.

— Вон... Вон там.

— Это она на тебя посмотрела,— сказал Кирилл, спохватываясь и пряча интерес. «На кого же из нас двоих она смотрела?» — подумал он.

— На тебя, на тебя,— сказал Мишка. — Я сейчас... — сказал он, и его уже не было, он смеялся теперь уже с тремя девушками сразу.

А она продолжала смотреть в его сторону, и, чем дольше она смотрела, тем больше нравилась ему и тем определенной казался ему ее взгляд.

«Пожалуй, она на меня смотрит...» Он все решал подойти к ней, и, когда совсем решился, объявили дамское танго. Кирилл почувствовал разочарование и облегчение одновременно. И уже старался не смотреть в ее сторону и думал так: «Вот если она меня пригласит, то это значит...» Что значит? Да ничего не значит. И напрягался — весь ожидание.

Сначала была просто музыка и пауза замешательства. Вскоре затанцевали постоянные пары. Потом наиболее решительные девушки нашли себе кавалеров. А Кирилл все стоял с бьющимся сердцем. А она все не приглашала его. «Но она не приглашает и никого другого...» — утешал себя Кирилл. Между тем какая-то другая девушка направлялась к нему. Кирилл замер. Подумал черт знает что о своем лице — вроде как «шрам пересекает его высокий лоб», — но девушка пригласила соседа. Он сразу как-то обмяк, и тогда к нему подскочили сразу две. Кирилл опять замер — весь навстречу.

— А где же Миша? — спросили его. — Вы не видели Мишу?

Сердце перестало стучать, и все как-то отхлынуло.

— Вон там, под овощами... — процедил он, махнув на огромный натюрморт, украшавший стену напротив.

«Дамское танго... бред какой-то!» — подумал он с утешительным раздражением и тайком, не желая напрашиваться, взглянул на нее. Она все смотрела в его сторону. «Что ж это она, — глупо подумал он, — не приглашает?.. Дурак, — сказал он себе, — ведь она обо мне тоже так, наверно, думает... А может, она тоже не умеет? — вдруг осенило его. — Дурак, — сказал он себе, — зачем же она тогда пришла на танцы?.. А сам ты зачем пришел?..»

И он вдруг, не решаясь и сам того не заметив, шел к ней и спохватился только, когда стоял рядом, лицом к лицу, а первая фраза так и не была еще продумана, и он вдруг сказал:

— А вы почему не танцуете?

— А вы? — сказала она, и теперь ему нравилось в ней все — и голос тоже.

— А я не умею, — сказал он.

— А я не хочу.

— Тогда попробуем, — сказал он, — из нас выйдет отличная пара.

Она засмеялась и шагнула навстречу.

Кирилл удивлялся и не мог понять той странной легкости, которую ощущал сейчас во всем теле, и в голове, и в собственных словах, и даже в душном и спертом воздухе зала.

— Вот, — говорил он, кое-как переступая и почему-то не мучаясь этим, — танцую... Подумать только. Впервые в жизни.

— Что вы, вы совсем не так уж плохо танцуете, — говорила она.

— Вот видите... — говорил он, наступая ей на ногу.

— Пустяки, — говорила она.

Потом он толкался с номерками, протискивался назад, в обнимку с пальто, ничего не видя перед собой, подавал пальто даме...

— А ты неплохо принялся за дело! — услышал он сзади одобрительный Мишкин шепот.

— Да уж... — сказал он, польщенный.

Он думал, что Мишка шепнет и пройдет мимо — это было так очевидно, но Мишка встал с ним рядом и продолжал так стоять. Молча, чуть склонив голову набок, он рассматривал его даму, он смотрел ей в глаза, и она, кажется, ничего не имела против.

— Знакомьтесь. Валя, моя подруга, — услышал он.

«Ну вот, еще и подруга...» — подумал Кирилл в отчаянии. Он пожал чью-то руку и не понял чью. И вдруг увидел, что Мишка тоже подал руку следом.

«Эт-то что еще такое!» — чуть не выговорил Кирилл вслух.

— Кирилл, познакомь же меня со своей дамой! — услышал он Мишкин голос, и то, что эта фраза, хотя и содержащая его имя, явно предназначалась не ему, а прямо ей, эта черт знает какая, совсем не Мишкина интонация окончательно возмутила его.

— А я и сам незнаком! — зло сказал Кирилл.

— Действительно, — нежным и, Кириллу показалось, тоже не своим голосом сказала она, — мы ведь даже не узнали, как зовут друг друга... — Люся, — сказала она и протянула Мишке руку.

— Михаил, — сказал Мишка.

— Кирилл, — мрачно добавил Кирилл.

А Мишка все стоял, так же чуть склонив голову набок, и молча смотрел в глаза его даме, теперь Люсе, таким мутным и невыразимым взглядом, что Кирилла чуть поташнивало. Но самое непонятное было то, что Люсю этот взгляд не раздражал.

Какая-то девушка стояла рядом, словно поджидая Люсю, пока та снимала свои «гвоздики», надевала свои румьки, заворачивала туфли в газету. Эта девушка смотрела насмешливо то на него, то на Люсю, то на Мишку, то снова на него. «Подруга... — вспомнил Кирилл. — Этой-то что здесь надо!» — неприязненно подумал он.

— Уходи, слышишь! — страшным шепотом сказал он Мишке.

Тот пожал плечами и раскланялся.

Они вышли, и подруга как-то незаметно исчезла. Но только Кирилл снова начал ощущать ту царственную уверенность и легкость, что так внезапно объявилась в нем сегодня, как Люся вдруг заторопилась куда-то, взгляд и голос ее потухли, стали безучастны. Да вот, ей надо срочно на дежурство... да, в ночь... она же работает в больнице... Нет, не надо ее провожать... Так вот — не надо... Ладно, завтра... Где? Да все равно где, только, если он так долго будет думать, она опоздает... ну, раз так, пусть зайдет за ней домой...

И она сказала ему адрес, а сама уже бежала куда-то и растаяла, назвав номер квартиры.

Он неуверенно помахал ей вслед.

## ВОСКРЕСЕНИЕ

Проснулся поздно. Ребят никого в комнате не было. «Это хорошо,— подумал он,— это хорошо...» Тело его еще дремало, сладкая слабость была в каждой мышце. «А почему я не на смене? — спросил он себя. — А потому что воскресенье,— ответил он себе. — А почему это наконец я один в комнате? А потому что все они ушли на футбол. А к чему мне футбол? А мне футбол ни к чему. А что я сегодня должен сделать? А ни черта!» И он улыбался сам себе.

Что-то вспомнил и тотчас забыл. Ни о чем не думал — так, лежал...

— У меня сегодня свидание,— вдруг сказал он.

«Ну да, конечно, свидание... Ах ты черт!» — спохватился он и вскочил с кровати. Но нет, он не опаздывал. Времени оставалось еще много.

— Надо действовать... надо действовать... — повторял он, хватая то брюки, то графин с водой, то газету. Неизвестно откуда взявшаяся энергия распирала его. Так он носился без толку, пока не поймал себя на этом. «Начну с зарядки», — постановил он. Когда-то надо ведь и начать ее делать...

Он принялся за первое упражнение, и тут вошел Мишка.

— Привет! — сказал он. — Что это ты делаешь?

Кирилл сделал вид, что руки он расставил лишь для того, чтобы потянуться, и сказал:

— Да вот, только проснулся...

— А... — сказал Мишка и упал на свою кровать.

«Вот ведь гад, все испортил! — подумал Кирилл и тоже повалился на кровать. — Ладно, подожду, пока он уйдет...»

Они лежали на своих кроватях, и Мишка не уходил.

— Послушай, Кирюха,— сказал вдруг Мишка,— ты бы не мог одолжить мне свои брюки на сегодня?

— Что так вдруг? — удивился Кирилл.

— Да вот, понимаешь, свидание у меня...

— А,— сказал Кирилл,— тогда другое дело. Бери.

Мишка вскочил и стал поспешно переодеваться.

«Что это я? — спохватился Кирилл. — У меня ведь тоже свидание!»



Но Мишки уже не было.

Настроение было подпорчено. «Подумаешь,— утешал он себя,— у него брюки не хуже».

Чтобы снова мобилизоваться, он вырвал листок и написал на нем следующее:

### ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ

1. Разминка по утрам (купить эспандер)
2. Пробежки, прогулки в горы
3. Ходить на озеро купаться (каждый день)
4. Бросить курить (зачеркнуто)
5. Писать домой (каждую неделю)
6. Заняться английским
7. Дочитать «Войну и мир»
8. . . . .

«Восьмое... — думал Кирилл. — Что же восьмое?»

И никак не мог придумать.

Тут все вернулись с футбола, вернулись с победой, и поскольку Генка-вратарь, герой дня, задержавший сегодня два одиннадцатиметровых, жил вместе с Кириллом, комната набилась битком и поднялся такой дым и гвалт, что Кирилл забыл все пункты своего плана. Он сидел, стиснутый со всех сторон, и ему казалось, что сюда переместился стадион.

Он вдруг подумал, что лучше сидел бы он сейчас на бревнышке с работягами в ожидании начала смены. Он тихо встал, в коридоре ему удалось одеться, и стал спускаться в подвал: там жил Сенька-младший, из его смены.

— А, Кирюша! — как всегда восторженно, закричал Сенька. — Что ж ты к нам редко заходишь?

Сенька-младший был начищен с головы до ног. Его приятель завязывал ему галстук большим голубым узлом.

— Там у нас пол моют,— почему-то сказал Кирилл.

— Моют? Так ты посиди. А мы пойдем. Нам тут скорее сходить надо, — он подтолкнул приятеля локтем в бок и хохотнул. — А то пошли с нами. А то лучше посиди тут. Вот ключ. Спрячешь под коврик.

Ушли. Кирилл присел на кровать. В окошке подвала проходили безголовые люди: головы им отрезало верхним краем окна. «Если я их не вижу, то и они меня не

видят... — подумал он, глядя в окошко, и усмехнулся. — Кажется, появилась возможность закончить зарядку...»

— А почему бы и нет? — сказал он, подумав.

Отворил окно, разделся и приступил. Раз-два! — теплота разливалась по телу. Раз-два! — только суставы похрустывали.

«Здорово! — бодро думал Кирилл. — Главное в любом деле — начать».

Приседание — раз-два! раз-два! Присядешь — к прохожим прирастают головы. Встанешь — снова нет голов.

Двое пьяных заглянули в окно. Один чуть не свалился от восторга. Он поймал руками наличник и удержался. Голова его проскочила в комнату. Он бессмысленно уставился на раздетого Кирилла, вращающего руками. Повращал глазами, следя.

— Надо же! — удивился он. — Какой спорт занимается!

— Вот, Ваня, как надо жить по режиму! — сказал другой, вытащил Ваню из окна, и они ушли, шатаясь.

Кирилл мужественно продолжал упражнения.

Раз! Раз! — выкидывал он как можно выше ноги.

— Смотри, смотри! — кричала девчушка лет девяти. — Дяденька голый-голый!.. Смотри! — подзывала она.

Откуда их столько! Им и нагибаться не надо, чтобы видеть...

— Дяденька голый! Голый, голый! — кричали они все.

Кирилл захлопнул окно. Дети прижались к стеклу. Расплющились их носы.

— Голо-голо-лого-ло... — сливались их голоса.

— Тьфу, пропасть! — сказал Кирилл, и зарядка была окончена.

Он решил, что сегодня уже поздно, и вообще воскресенье, и лучше он начнет выполнять свой план завтра.

Замок прокрякал, дверь отворилась — и это была не Люся.

— Ее нет дома, — сказала женщина, вся в черном.

— А где же она? — удивился Кирилл.

— Она ушла в магазин, — сказала женщина, затворяя дверь.

Чтобы не пропустить Люсю, он уселся на скамейку напротив ее парадной и принялся грызть травинку с безразличным видом. «Странное дело... — размышлял он. — Как ни глянешь — всё пары, пары, все — парами... А когда появляешься ты, оказывается, что никого-то у нее нет. И умная, и красивая — и никого-то не оказывается; можно подумать, только тебя и дожидалась... И все так просто складывается, что она только что об этом тоже думала, и как он это правильно сказал, а он — какое совпадение! — любит, оказывается, те же фильмы и книги, что и она, а она — что он... И куда только девается тот, предыдущий «он», который любил что-то другое?»

Прошло пять минут, пятнадцать и полчаса. Люся не появлялась. Умные мысли пропали.

«Тут всего-то два магазина поблизости», — подумал он и встал. Он зашел в один, но там не было Люси. Во втором ее тоже не было.

«Если мы и разминулись, то только сейчас, когда я бегал по магазинам», — думал Кирилл, снова поднимаясь по лестнице.

Открыла та же черная женщина.

— Люся пришла?

— Пришла и ушла с подругой.

— Куда же? — опешил Кирилл.

— Откуда я знаю? — сказала женщина. — В кино.

«Когда же это она успела? — недоумевал Кирилл, спускаясь. — Черт знает что! Не очень-то и хотелось...» — успокаивал он себя.

Он очень удивился, обнаружив себя в фойе кино-театра. Он ведь и не собирался в кино и не подумал ни разу ни о чем подобном. А вот стоит в фойе и словно ищет кого-то.

И действительно, в углу, около кадки с пальмой, он увидел Люсю с подругой. Она разговаривала с каким-то парнем, смеялась и не замечала Кирилла. Парень стоял к нему спиной. Кириллу никак не пришло бы в голову, что это Мишка, если бы он не узнал свои брюки.

— Ну и дела! — пробормотал он.

Он подошел к ним вплотную и остановился молча. Обвел всех испытующим, холодным взглядом.

— Что ж ты брюки-то мои надел? — сказал он и сам удивился.

— Да вот, понимаешь,— Мишка был слегка смущен,— прихожу я сюда — вдруг вижу: знакомые лица... А тут сразу и ты подходишь.

— Да? — сказал Кирилл.

Мишка промолчал. Люся стояла, глядя мимо, с каменным лицом. Подруга, как показалось Кириллу, отвернулась, чтобы улыбнуться.

«Какого дурака из меня делают!..» — подумал он больше с удивлением, чем с обидой.

Всех выручил звонок.

Девушки прошли вперед, а Кирилл с Мишкой отстали.

— Да, положеньице... — сказал Кирилл.

Мишка промолчал.

Зал был полон. «Сейчас-то все встанет на свои места,— подумал Кирилл,— все встанет на свои места, когда все займут свои места... Да... Интересно, как он будет выкручиваться теперь, когда мест свободных нет, а его место рядом с ними?..»

И действительно, место рядом с девушками пустовало, а Мишка обшаривал глазами зал и не находил себе другого.

— Ладно,— сказал Кирилл,— садись на мое. — И сунул ему билет. Когда он пробрался и сел рядом с девушками, погас свет.

«Ну и как вы все это понимаете? — хотел сказать он. — Ай-яй-яй...» — хотел сказать он, но не сказал.

Люся молчала, словно ничего не заметив.

Картина была мексиканской.

На экране уже стреляли.

Загнав трех лошадей и разрядив многократно свой многозарядный пистолет, поцеловав в заключение очаровательную блондинку, Кирилл вышел из зала небрежной походкой на своих длинных, чуть полусогнутых ногах. С особой значительностью закурил сигарету (яркая вспышка спички выхватила из темноты его резкие, мужественные черты лица). Взгляд его был устремлен немало вдаль и мимо выходявших зрителей, усталый такой взгляд (все видели это надолго запоминающееся

лицо). Ботинки впечатывались в тротуар с неумолимостью крупного плана.

Не вынимая сигареты из рта, он посмотрел на Люсю снисходительным и лукавым взглядом киногероя.

— Ну как? — сказал он небрежно.

— А, это вы?.. — как бы совсем о нем забыв, сказала Люся и холодно улыбнулась ему скользящей, светской улыбкой, показавшейся Кириллу глуповатой. Она шла рядом, но так, словно Кирилл случайно оказался с ней рядом, а вообще-то он ей не пара.

— Понравилось? — спросил он.

— Ничего, — сказала она, будто просто так получилось, что она отвечает...

И тогда он увидел в витрине свое отражение: нелепо согнутые ноги и оттянувшиеся на коленях брюки, увидел и поморщился. Брюки были Мишкины. От воспоминания о Мишке — чуть не зарычал. «Он у меня схлопочет...» — грозно подумал Кирилл.

Подруга шла, несколько отстранившись от них обоих, помахивала сумочкой и поглядывала на них насмешливо. Этот быстренький, исподтишка, ловкий взгляд смущал Кирилла: выскочит, увидит все, что надо, и снова спрячется.

«А эта ехидна чего увязалась?» — кисло подумал Кирилл.

Шли молча. Шли рядом. Исчезли бары. Ускакали нововыставленные лошади. Удалились тонконогие брюнеты, длинноволосые блондинки. Прошли «Пиво — воды», проползла пузатая кобылка, шли ширококостные парни в кепочках. Люся шла так же независимо, словно он, Кирилл, тут случайно. «Глупа, глупа...» — говорил себе Кирилл, как бы покачивая головой. Надо было говорить о чем-то, и было совершенно не о чем. И что он плетется тут рядом, унижается, давно бы плюнул и ушел...

Но он не уходил. Он все шел и шел с Люсей.

Подруга, как ему вдруг показалось, тоже злилась.

«Ну ты-то что тут? Хоть бы ушла куда-нибудь!» — взмолился про себя Кирилл, чувствуя неловкость еще и оттого, что кто-то все это его унижение близко видит.

«Но ведь Мишка-то не пошел с нами? Может, действительно совпадение?» — успокаивал он себя. А в голове крутилось: «Вот вчера ушла, а сейчас не уходит,

Почему-то, когда все в порядке, подруги всегда исчезают. Незаметно так исчезают... Оставляют, так сказать, наедине. А тут вот идет и идет».

Но, может, и Мишка ни при чем. И все это ему сейчас только кажется? Надо бы все выяснить, чтоб зря не унижаться...

— А я уж не надеялся вас встретить. Вы неуловимы... — выпалил он наконец давно приготовленную фразу.

Люся словно не слышала.

Подруга усмехнулась.

Слова бессмысленно повисли в воздухе. Повисели...

— Почему же — неуловима? — наконец сказала она.

— А я сегодня заходил к вам — вас нет. Второй раз — нет. Мне уже стало неудобно перед этой черной женщиной, что отворяла мне...

— Действительно, неудобно, — выронила Люся.

— Что ж было делать...

— Зачем зря ходить.

— Как — зря?

Люся пожала плечами.

Подруга вдруг фыркнула, выстрелила непонятым своим взглядом и побежала через дорогу, во все стороны размахивая сумкой, не оглядываясь.

— Что это с ней? — Кирилл так удивился, что даже слегка забыл про свою досаду.

— Обыкновенно — что, — сказала Люся.

— Как это обыкновенно — что?..

Люся его не услышала.

— Это ваше общежитие? — вдруг спросила она с интересом.

И действительно... А он и не заметил, где они.

— Да, — сказал он, обрадовавшись ее интересу. — А вон мое окно... — показал он.

— А этот мальчик — высокий такой — на танцах с нами знакомился... его, кажется, Мишей зовут?

— Да, — холодно сказал Кирилл.

— А он с вами живет?

— Кто?

— Миша.

— Да.

— А где ваше окно, я не разглядела?

И Кириллу стало вовсе неудобно. Ему казалось, что

он идет, словно забегая, как собачонка, вперед, заискивая, виляя хвостом и заглядывая в глаза. И забегает, забегает, а его всё не замечают, не замечают... И ему казалось, что все это видят, как он забегает и как его не замечают.

Вдруг чья-то рука легла Кириллу на плечо. Кирилл вздрогнул и обернулся. Огромный парень с бандитским лицом стоял сзади. И рядом с ним еще двое больших парней.

«Вот те на...— подумал Кирилл.— Еще и прирежут за нее. Было бы хоть за что...» Но он, к удивлению своему, не только не испугался, а даже обрадовался, что вот отвлекли его от беспомощной ходьбы сбоку и ощущения, что он ни при чем. Выходит, не такими уж посторонними друг другу выглядели они со стороны, как ему казалось, если вон даже приревновали и толковище предстоит...

Все это, только в едином ощущении, промелькнуло в голове Кирилла, пока чужая рука лежала на его плече, пока он спокойно говорил Люсе: «Я вас нагоню сейчас», пока все в нем напряглось и он ощутил ловкость, и силу, и способность нанести ослепляющий кинематографический удар, одновременно сделав подножку второму и опрокинув ударом головы третьего.

Парень снял руку.

Наклонился и тихим, доверительным и извиняющимся голосом сказал:

— У вас сзади — белое...

Кирилл не сразу понял.

— Мы шли сзади, и я подумал... что вот вы сзади испачкались... что вы с девушкой... так надо вам все-таки сказать... — окончательно смутился парень.

И Кирилл вспомнил, что действительно недавно Мишка уселся в этих брюках на крашеный подоконник, долго и безуспешно оттирал потом. «Недаром же Мишка выпрашивал сегодня у меня брюки»,— подумал он.

Ему стало смешно. «Хороший парень! — подумал он. — Такая добродушная морда. И драться, выходит, не надо...» Ему захотелось сделать парню что-нибудь приятное или сказать, но он не знал что...

— Так это я знаю! — радостно смеясь, сказал он. — Знаю — но не оттирается... Да и брюки-то не мои,— почему-то объяснял он.

— А то я не знал... — промямлил парень. — Я думал — все-таки...

— Ничего. Спасибо! — крикнул Кирилл уже на бегу. Ему стало вдруг легко-легко.

Он бежал и удивлялся, что Люся так далеко зашла вперед. Он перешел на шаг. Он озибался по сторонам.

Но Люси не было.

Кирилл брел по улицам и заглядывал в глаза проходящим женщинам. «Что же это? Как же так? Что такое?!» — думал он, совсем уже сбитый с толку. Мысли были сильны и неопределенны. Их никак было не ухватить, не приблизить. Они пронеслись мимо как бы на больших скоростях, и возможно было лишь сделать порывистое движение им вслед, но догнать их уже было невозможно. Не было у него такого опыта.

Он увидел Люсину подругу. Он заметил ее издали — она же его не видела. Она шла навстречу, помахивая своей сумкой, независимо и гордо. Она показалась ему неожиданно высокой. Она шла и пристально смотрела куда-то вдаль, взгляд ее проходил над его головой.

Кирилл впервые видел ее без Люси и поэтому впервые как-то увидел. И удивился: ее было не узнать. «Выкрасилась она, что ли?» — подумал он. Этого быть, впрочем, не могло: когда бы она успела? И такая неприступность была на ее лице — это его поразило больше всего, никогда бы не рискнул подойти. «А она ничего...» — подумал он тогда. Куда это она спешит? Имя ее вдруг вспомнил: не «подруга», как он все время называл ее про себя, а — Валя, Валентина.

Когда она подошла совсем уже близко, то вдруг взглянула ему в глаза своим особым взглядом, пристально и быстро. И тут же отвела. Глаза ее он тоже разглядел впервые, цвет их показался ему неожиданным, но он не успел понять, какого же они цвета.

— Привет, — небрежно сказала она и взмахнула сумкой.

— Здравсте, — сказал Кирилл, смутился и хотел было что-нибудь спросить: про Люсю, про все это, — но она прошла мимо.

Он посмотрел ей вслед, немного опешив, но она не оглянулась.



Он шел дальше, так же бесцельно. Те же невнятные чувства владели им. И снова плыли навстречу улочки и переулки, стандартные дома повторялись, как один нескончаемый дом, и шли навстречу женщины, несли свои сумки и авоськи с картошкой и булкой, и совсем молодые девочки несли свои лица. Они их именно несли, потому что лица их казались отдельны и независимы от души, от тела, потому что их настоящие лица были другими, а эти рождались с усилием, с трудом и были кажущимися. Кирилл вглядывался в эти лица, и несложное соображение овладевало им: вдруг к какой-то из них можно подойти и заговорить, и что-то может начаться тогда; можно к этой, и к этой, и к этой... И все это невозможно. А вот — пары. И эта, и эта, и вот эта. Неужели у всех у них любовь? Или — просто так? Репетиция? Примерка? И бывает ли это «простотак»? Нет, думал он, не бывает, хотя бы потому, что после «простотак» все должно быть очень непросто...

Так он шел и вдруг опять увидел Валю. Она стояла у большой витрины и слишком внимательно разглядывала гирлянду из фальшивых колбас. Он опять не узнавал ее. На этот раз она была невысокой и темноволосой, может, оттого, что стояла задрав голову и солнце било ему в глаза. Неприступной она не выглядела, а производила впечатление притворной, цепкой и что-то для себя выгадывающей. Она все стояла в неестественной своей позе, и это показалось ему подозрительным.

— Валя? — сказал он удивленно. — Что вы тут делаете?

— А, это вы... — скучающим голосом сказала она. — Привет.

— Привет, — сказал он и с некоторым недоумением замолчал.

— Вы не видели Люсю? — сказала она.

— Не видел, — сказал он. — А что, она где-нибудь тут?

— Не знаю, — сказала она, — мы с ней как-то потянулись.

— Я с ней тоже потерялся... — сказал он.

— Всё-то вы теряетесь... — сказала она.

— Как это?

— А так, что ничего у вас с ней не выйдет!

— А мне никто и не нужен! — рассердился Кирилл.

— Зачем вы говорите мне это? — с непонятной строгостью сказала Валя.

— Не знаю... — растерялся Кирилл. — Просто так.

— Ах, просто так!.. — Валя гордо вскинула голову. — Пока! — сказала она и вошла в магазин.

Кирилл потоптался немного в замешательстве и медленно побрел назад, к общежитию. «Идиотка какая-то...» — бормотал он.

А между тем навстречу шли женщины с авоськами и девочки с заманчивыми лицами, и что они все думали о себе, о любви, а главное, о нем, Кирилле, никак ему было не догадаться. А может, и ничего не думали. Но зачем же тогда эти девочки делают, проходя мимо, такие лица? Ему предназначенные?.. Для его волнения... Не ему — так кому же? Всем? Зачем же всем?..

И тогда он действительно обалдел. Наглость-то какая! Навстречу шли Мишка с Люсей, полностью поглощенные друг другом и не замечая ничего. Мишка вел Люсю под руку. Небрежно наклонив голову, с улыбкой обольстителя, он ронял ей в ухо неслышные слова, как будто опускал монетки в автомат. А она отвечала порциями смеха. Была она красивенькая и как бы механическая.

«Словно ей щекотно в ухе...» — подумал Кирилл, и тут ему потребовалось столько усилий, чтобы пройти мимо так же небрежно, так же не глядя, так же их не заметив (а они так и не заметили его), что, когда миновал их, так устал — даже на злость сил не осталось.

Он шел и смотрел под ноги. Шаги были — раз, два, три... — усыпляющий ритм. Тек под ноги асфальт. Он и не заметил, как оказался у своего общежития. И тогда еще раз увидел Валью. Она сидела у самых дверей, на скамеечке для дворников, и не то сморкалась, не то всхлипывала. Была она на этот раз не высокая, не низкая — просто никакая, сама собой. Потерянная, что ли. Похожая на ромашку. «Хватит с меня этих фокусов!» — с раздражением подумал он и хотел проскочить мимо, но Валя вдруг подняла голову.

— Кирилл... — словно удивленно сказала она. — Как вы сюда попали?

— Это вы, — сердито сказал он, — как сюда попали?.. А я здесь живу. Вот это, если угодно, — мое общежи-

тие... — И он широким жестом обвел здание, около которого сидела Валя.

Валя оглянулась и посмотрела на общежитие.

— Надо же, — сказала она как ни в чем не бывало, — какое совпадение!.. — Кирилл нетерпеливо поставил ногу на ступеньку и взялся за ручку двери. — А у меня несчастье! — торопливо сказала Валя.

— Какое же? — нехотя поинтересовался он.

— Понимаете... — Валя подняла к нему насторожившееся лицо. — Ключи от квартиры потеряла... Домой не попасть. Куда деваться — не знаю...

— Бывает, — равнодушно сказал Кирилл, — а вы сломайте замок или снимите дверь с петель.

— А я не умею... — И Валя всхлипнула, но взгляд ее, ждущий и любопытный, снова выдавал ее.

— Ладно, — сказал он, — придется вам помочь.

— Правда? — просияла Валя. — А то я не знаю, что делать, — сказала она и стала торопливо пудрить нос.

— Пошли, — сказал он. «Все равно от тебя не отделаешься...» — мысленно продолжил он, но вслух этого не сказал. Потому что вдруг улыбнулся — увидел солнце.

Они шли проулками между большими одинаковыми многоквартирными домами, расставленными широко и свободно. Их стены были рассечены солнцем на свет и тень косыми уверенными росчерками. И были дома оттого как-то особенно объемны, отдельны — геометрические тела. И воздух между ними, это просвеченное солнцем «ничего», тоже существовал отдельными геометрическими объемами — только прозрачными. Кирилл улыбнулся и, то ли от этого, то ли от предстоящей и неясной ему еще работы разрушения дверей, почувствовал себя бодрее, и в нем проснулось ощущение силы.

Дом, к которому привела его Валя, был вовсе не рядом с общежитием, а довольно далеко. Кирилл вспомнил Валину фразу про «совпадение» и хмыкнул.

— Вот эта, — указала Валя на дверь, когда они поднялись на третий этаж.

— Так, — сказал Кирилл и деловито осмотрел дверь. Дверь была как дверь, и ключ не торчал в замочной скважине.

— Как же это вы его потеряли? — в нерешительности сказал Кирилл.

— Как? — сказала Валя, и лицо ее стало задумчивым. — Сначала открыла сумочку, и там был ключ, а потом открыла — и его там уже не было. А что, трудный замок, да? — спросила она будто с тревогой.

— Ерунда, — сказал тогда Кирилл. — Дайте мне что-нибудь тяжеленькое.

— Что же такое вам дать?.. — сказала Валя и стала рыться в своей сумке.

— Ну, ломик какой-нибудь...

— Ломика у меня нет, — сказала она серьезно и закрыла сумку. И не выдержала — рассмеялась.

На площадке ничего, кроме лампочки, не было. Кирилл подергал прут на лестничной решетке — тот не поддавался.

— Может, на дворе поискать? — сказала Валя.

Дом был заселен совсем недавно, и на дворе еще валялись доски, какие-то бочки и ящики и просто кучи строительного мусора. Они бродили между них, как грибки в лесу. Забытое ощущение проснулось в Кирилле на этом дворе... Он «вспомнил» этот двор. Незнание и неожиданность на каждом шагу... Детское, таинственное ощущение двора.

Все вдруг показалось им ужасно смешным. Такого глупого смеха с Кириллом тоже давно не случалось, и тоже с детства. Когда покажи палец — и это действительно смешно... Самое главное, что это на самом деле очень смешно, только взрослые не понимают уже этого.

— Нашла! — преувеличенно радостно вскрикивала Валя и протягивала ему кривой гвоздь. Он очень серьезно разглядывал его, нюхал, пробовал на зуб. И потом отбрасывал с важным видом.

— Не пойдет, — говорил он.

И тут они оба начинали хохотать до слез, тем более что перед этим, разыгрывая сцену, сдерживали этот смех, а смех как бы накапливался и подпирал, и удерживать его не оставалось уже никакой мочи.

— Нашла! — вскрикивала Валя и протягивала ему сломанный детский совок.

И все повторялось снова.

Им уже грозило устать так смеяться, начать вымучивать смех, пытаясь продлить его, а потом вдруг посмотреть друг на друга холодными глазами отчуждения, и тогда Валя уверенно вытащила из-под большого

ящика, куда никто не догадался бы заглянуть, самую подходящую для взлома железку.

— Так,— сказал Кирилл, снова разглядывая дверь,— с чего начать?.. — Растерянно он вертел в руках железку. Пока ее не было, все было так просто... Можно было говорить, что ее нету, искать ее. Теперь все было сложнее: он не знал, что с ней делать. Что дверь он изуродует, ему было ясно, а вот откроет ли он ее? — С чего же начать? — тоскливо повторил он и с досады стукнул кулаком по почтовому ящику.

— Только не с него,— слабо улыбнулась Валя. Она смотрела то на дверь — с грустью, то по сторонам — опасливо: ей тоже было не по себе.

— Конечно, это конечно,— сказал он. И в отчаянии занес железку для удара. Валя сжалась и закрыла глаза. Кирилл опустил железку, так и не ударив. В нерешительности оглянулся на Валу. Она улыбалась ему ободряющей, вдохновляющей улыбкой: мол, все хорошо, продолжай, действуй. Улыбка получалась жалкой.

То ли замок был плохой, то ли она вообще не была заперта — дверь открылась от первого же толчка. Кирилл вздохнул то ли облегченно, то ли удовлетворенно и отошел в сторону.

— Всех и делов... — сказал он тоном мастера и стал отряхивать руки.

Валя, не скрывая радости и облегчения, ворвалась в квартиру. И когда она снова появилась в дверях, лицо ее было строгим и непроницаемым. Это была уже четвертая или пятая Валя за один день. Кирилл стоял на пороге, и уходить ему не хотелось. Поиски инструмента и работа по взлому так увлекли его и будто сблизили с Валей, что, когда дело было сделано, ему было уже неуютно уходить отсюда в свое общежитское одиночество. И вообще, почему бы ему и не войти в эту чертову дверь, которую он открыл с такими переживаниями... Перемена в Вале взволновала его надвигающимся свеженьким разочарованием. Все-то он, дурак, обольщается...

— Вы, может быть, зайдете? — небрежно, словно нехотя, говорила Валя и робко смотрела на него.

— Отчего же, — так же небрежно говорил он, поспешно проходя в квартиру. — Можно и войти.

Это была однокомнатная квартирка. Когда дверь была прикрыта, оба окончательно потерялись. Валино лицо сделалось вовсе холодно и неприступно, а Кирилл, не зная, куда себя деть, неожиданно для себя задвигался какими-то разбитными и шустрыми движениями, кстати и некстати похихатывая. Он обстоятельно осматривал квартиру, заглядывал в стенной шкаф и в ванную, которая одновременно была и туалетом, что-то сострил на этот счет и мучительно покраснел от этого, что и попытался скрыть, убежав на кухню. Валя молча и строго сопровождала его. Кирилл поймал себя на мысли, что даже не поинтересовался, живет ли она одна или с родителями, а все, что он увидел пока в квартире, содержалось в таком безукоризненном порядке, было так ослепительно вылизано, что явно указывало на существование мамы строгих правил.

Наконец все было уже осмотрено, и Вале ничего не оставалось, как пригласить Кирилла в комнату. И если это было возможно — стать еще более непроницаемой и холодной, то, пройдя в комнату, Валя этого достигла. Кирилл тоже все больше сковывался.

Пропустив его вперед, она удалилась на кухню так поспешно, словно мысль остаться с ним наедине, просто так в комнате и ничего, допустим, не делать была нарушением всех и всяческих приличий.

Оставшись один, Кирилл изучал комнату.

Самым главным в ней была кровать. Это чудо кондитерского искусства не могло принадлежать Вале.

Он перетрогал всех собачек на комод, заглядывая им в дырявое дно — там ничего не было, просто пустота. Он нашел книги на этажерке, аккуратно расставленные по росту, но книг, на его взгляд, среди них не было. Он поместился наконец на краешке дивана и стал разглядывать висевший над ним коврик. Там мчалась тройка, уместив в своих санях толстого кучера и тощего господничка в усах и цилиндре, в котором он не без удивления признал Гоголя. «Не так ли и ты, Русь...» — подумал он.

Он совсем уже изнемог, когда Валя появилась с чайником:

Они сидели напротив друг друга и пили чай с вареньем. Валя чинно отхлебывала из чашки, после каждого глотка тщательно помещала чашку на блюдце,

строго глядела на эту чашку, и ничего больше не интересовало ее в этой комнате. Валя молчала. Кирилл рассказал анекдот. Валя не улыбнулась. Кирилл рассердился: чего ей от меня нужно? Вот ведь привязалась... Он посмотрел на часы и поразился: был уже одиннадцатый час. «Может, она от этого такая? Оттого, что поздно? И действительно, чего я тут сижу?..» Но только он подумал так, как тут же поймал Валин взгляд, робкий и, как ему показалось, просящий, первый взгляд с тех пор, как он вошел в квартиру. «Может, поцеловать?» — подумал он. Он посмотрел на нее с этой точки зрения и вдруг обнаружил, что она ему нравится. «А что я теряю? Сейчас встану, подойду и поцелую!» — убеждал он себя. Но между ними помещался стол. Надо было вставать из-за стола, обходить его кругом. И Кирилл сидел, с трудом глотая постылый чай, и не вставал. Валя на той стороне стола вдруг перестала пить чай, напряглась и оцепенела со странной тревогой на лице. «Что же ты! — ругал себя Кирилл. — Подумаешь, стол. Вот был бы на твоём месте...» Воспоминание о Мишке подожгло его. Он резко встал. Путешествие кругом стола остудило его. Он замер, подойдя к Вале. Она сидела, все так же окаменев. «Чего боишься, дурак! — говорил себе Кирилл. — Сейчас обниму за плечи... — убеждал он себя, — потом...» И пока, от нерешимости, все это разлагалось в его мозгу на элементарные движения, чувство уходило и таяло, смысл его пропадал. Ощущение убегающего от него чувства пугало его — он восставал. Напрягал всю свою волю — рука была как деревянная, не слушалась. Замерла в воздухе. И что-то надо было уже делать с рукой, раз она на полдороге.

И Кирилл донес свою руку до ее головы. Прикоснулся.

Рука по-прежнему не слушалась.

Он дернул тогда Валю за прядь и глупо рассмеялся.

И вдруг грохнула входная дверь, кто-то пронесся по коридору... Кирилл успел отскочить в угол комнаты, когда дверь распахнулась и в комнате оказалась молодая круглая женщина. Щеки у нее прыгали.

— Валечка! — вскрикнула она, прижимая к себе Валю. — Что случилось?! Валя... — всхлипнула она. — Что же случилось? Говори скорей!

— Ничего, — сказала Валя, — ничего не случилось,

Такой ответ, казалось, удивил, если даже не огорчил милую женщину. Она растерянно обвела глазами комнату и остановилась на Кирилле. Он неподвижно стоял в углу. Она смотрела на него, близоруко щурясь. Кирилл неловко поклонился.

— Что это? — взвизгнула женщина.

— Успокойся, это Кирилл, — сказала Валя. — Можешь познакомиться.

Кирилл подошел, и женщина с опаской протянула руку.

— Клава, — сказала она и отдернула руку.

— Это моя сестра, — сказала Валя. — Выйди на минутку, — сказала она Клавде и первая вышла из комнаты.

Озираясь, Клава последовала за ней. Некоторое время Кирилл ничего не понимал. Возбужденные голоса доносились из кухни. Так и не поняв, он решил воспользоваться их отсутствием и улизнуть, и уже сделал первый шаг к двери, как в комнату снова ворвалась Клава. Лицо ее светилось.

— Спасибо вам! — Она схватила руку Кирилла и сжимала ее. — Спасибо! Вы это сделали для Вали, я понимаю... Но для Вали — значит, и для меня.

Кирилл обалдело пяtilся.

— Да что вы... — бормотал он. — Это было совсем нетрудно.

Валя за спиной Клавды делала ему какие-то отчаянные знаки. Она махала руками то на него, то на Клавду, прикладывала палец к губам — он ничего не понимал.

— Она у нас сирота, ее обидеть просто... — лопотала добрая женщина. — А вы... Нет, не все еще молодые люди так нахальны, как некоторые... Спасибо вам.

— Да это не я... И не за что... — отступал Кирилл. — Да что вы, право!

Валя, выйдя на середину комнаты, чтобы Кирилл ее лучше видел, изображала теперь целое сражение. Кирилл уже не слышал излияний Клавды и ошалело следил за этой пантомимой. «Что же она ей наплела!..» — думал он.

Клава осеклась. Она пристально посмотрела на стол, где по-прежнему стояли чайник и банка варенья, и вдруг засуетилась, закурила по комнате.

— Валька, что же ты! И не пригласила, и не угостила! Дура! Разве так можно! Что он теперь о нас подумает...



Да вы садитесь, садитесь! — потащила она Кирилла к столу. — Я сейчас, я мигом!

— Да нет, я пойду, — говорил Кирилл, — мне пора... Общежитие закроют...

— Не отпущу. Разве можно!.. — всплескивала она, снова увидев стол. — В банке! — сказала она, негодуя.

— Сидите тут и не смейте уходить! — приказала она и вылетела из комнаты, выдернув за собой Валю.

— Это уже слишком... — повторял Кирилл и покорно сидел на месте. Голова кружилась от неправдоподобия.

Через пять минут стола было не узнать. Какие-то невиданные грибки, огурцы, капуста, селедка появлялись с непопной быстротой. Клаву он не успевал разглядеть: казалось, все появлялось само. Валя, подручная, заглядывала в комнату и глупо подмигивала ему.

Наконец Клава приостановилась в своем движении и придирчиво осмотрела стол.

— Картошка! Скоро у тебя будет готова картошка?

— Сейчас закипит, уже скоро, — сказала Валя, появляясь в дверях.

— Господи! — вскрикнула Клава. — Что ты за человек! У меня бы уже давно закипела! — И она вылетела на кухню.

— Пойдем, — сказала Валя и потянула его за руку, — я тебе что-то покажу!

Кирилл шел за ней, она не отпускала его руки, и он вдруг почувствовал себя счастливым. Она подвела его к распахнутому стенному шкафу, которого он не заметил раньше. «Откуда он взялся?» — даже подумал он.

— Смотри! — сказала она.

Действительно, тут было на что посмотреть: столько банок с вареньем, соленьем, бутылок и бутылочек с настойками — и на каждой было помечено: «клубника отличная», или: «смородина удовлетв.», или: «опята светлые», и всюду стояла дата.

— Ничего у меня сестричка? — сказала Валя.

— Да, — сказал Кирилл, — это да...

Больше ему сказать было нечего. Но он сказал:

— И другая сестричка тоже ничего. Врунья, правда...

И поцеловал Валю. Валя убежала, а он прошел в комнату и расселся довольный, вспоминая последний Валин взгляд. Уж слишком он выдавал свою хозяйку...

Словно жило в ней еще одно существо, и она его прятала, а оно снова и снова высывалось некстати, ждущее и любопытное.

— А вы попробуйте смородинной, — убеждала его Клава.

— Да нет, я лучше еще полынной, — говорил он, наливая себе новую стопку и подкладывая опять, — мне ваша полынная больно нравится...

— Я полынь эту нынче с родины привезла. Знаете, как у нас там хорошо?

— Уж раз такая водочка, то хорошо, — говорил он.

— Надо веточку в бутылку опустить — и все. Постоит — и готово, — говорила Клава. — Да вы кушайте, что же это вы совсем не кушаете? Селедочка вон мурманская, особая, такой вы и не ели никогда.

— Да уж я ем вовсю, — говорил он.

Клава убегала на кухню, и тогда Кирилл брал Валю за руку. В глазах у него стоял туман, а от прикосновения он балдел окончательно. Обалдев так, он тянулся за полынной.

— Не надо, Кирилл, — говорила Валя.

— Что ж — не надо? — говорил он и наливал.

Появлялась и подсаживалась Клава.

— Я одобряю Валин выбор, — говорила она, глядя в глаза Кириллу.

— Я тоже его одобряю, — говорил он и наливал смородинной.

— Надо только взять молодые листочки, засушить, а потом можно даже зимой настаивать, — говорила Клава.

— И смородинная не хуже полынной... — говорил он. — Но лучше полынной — ничего нет!

Слева сидела Валя — ее он любил, справа Клава — раскрасневшаяся, гладкая и чистая, как маринованный ею грибок, как вся ее комната, — она ему нравилась.

— Вот в Ленинграде ничего такого нет, — говорил он, — и самого Ленинграда тоже нет. Нет его — и все тут!

Клава выходила, и Кирилл тянул Валю к себе за руку. Валя ускользала, и он падал ей за спину.

— Не надо, не надо, — говорила Валя.

— А вот я еще выпью, раз не надо!.. — говорил он.

— Не смей! — говорила Валя.

Приходила Клава, приносила яичницу.

— Полынную — пил, смородинную — пил, а вот змеиная у вас есть? — говорил Кирилл.

— Такой не бывает, — серьезно говорила Клава.

— Нет, бывает! Нет змеиной, придется опять смородинной!

Справа сидела Валя, слева — Клава. То есть наоборот: слева — Валя, справа... То есть нет... Клаву он любил. То есть нет, он любил, конечно, Валю, а Клава ему просто нравилась... То есть нет... Люсю он любил, но теперь — все, хватит. Валя нравилась ему, конечно, тоже, но еще больше он ненавидел Мишку.

— Вот погодите, он у меня еще попляшет! — кричал он.

Валю он, конечно, это навсегда, на всю жизнь, но не так, как Клаву, Клава ведь это просто так, нравится, и все, а Валя — другое дело, куда ей до Клавы...

Синий, зеленый туман, и мычит. Веточку опустить — и готово. Но листочки — они тоже ничего... молоденькие...

Чье это колено? Клавино? Валино? Ну да ведь как можно. Люся ведь справа, а слева...

— Кирилл, прекрати! Тебе больше нельзя!

— Нет, можно.

— Может, вам хватит, а, Кирюша?

— Правильно, хватит. Только еще одну — и хватит... Вот эта вот, вон она, голубенькая!.. и хватит. Вот последняя, и все...

И все.

## ПОНЕДЕЛЬНИК

### Рождение понедельника

Чертовски хотелось пить.

Он ходил по пустынным незнакомым залам, и воды нигде не было. По длинной слепой галерее он выскочил в какие-то странные улочки — узкие, крытые, и окна домов были заколочены.

А он стучал в окна и двери, и никто не открывал.

«Кто там?» — спросили наконец.

Он хотел крикнуть: «Воды!» — и не мог. Говорить было нечем.

«Кто там?» — спросили еще раз. А он продолжал стучать изо всех сил и не слышал собственных ударов, бился об дверь и ничего не мог сказать... И шаги удалились от двери.

«Что за бред! — подумал он в отчаянии. — Что за город?! Такого не может быть!..»

И проснулся.

Чертовски хотелось пить.

Он сидел в столовой. За столиками было полно людей, они молча пили чай, не выпуская стаканов из рук. Между столиками ходила девушка с большим чайником и подливала им в стаканы.

— Налейте и мне, — сказал он.

Она подняла чайник и стала лить прямо на стол. Лужа расплзлась по клеенке. Струйки бежали по свисающей клеенке вниз, на пол. Он не мог этого видеть.

— Дайте же мне стакан! — сказал он.

Она рассмеялась. И тогда он вдруг понял, что она и есть вода. И бросился к ней. Но она утекла у него из рук.

И проснулся.

Чертовски хотелось пить.

Он встал с постели, прошел по коридору в кухню. Наконец-то он не спал. Он — пил. Пил воду из-под крана, холодное молоко из холодильника, рассол и снова воду.

— Все-таки дом — это единственное место, где можно напиться! — благодарно сказал он.

«Но отчего же — дом?.. — подумал он недоуменно. — Я не могу быть дома, если я так далеко от него уехал...»

И проснулся.

А проснуться было вовсе скверно.

Чертовски хотелось пить.

В распахнутое окно входило солнечное небо, и от этого почему-то становилось стыдно.

«Где я и что со мной? — задал он себе обычный в таких случаях вопрос. — Проснулся я наконец или нет?»

Но нет, он проснулся. Он понял это постепенно. Он увидел свою комнату в общежитии, но ребят уже не

было. «Это хорошо, — машинально подумал он, — это хорошо...» Он лежал на своей кровати поверх одеяла, одетый и обутый.

Голова трещала. Она прямо раскалывалась, разламывалась. Он впервые ощутил точность этих глаголов, всегда казавшихся ему преувеличением.

Он сел на кровати. «Надо сосредоточиться, — сказал он себе. — Что же произошло?»

Вдруг он вспомнил желтую глиняную тарелку с опятами — и тогда поплыли, побежали, замелькали, все убыстряясь, путая очередность, воспоминания вчерашнего дня. Мишка — брюки, Мишка — Люся, Люся — Валя, Валя — дверь, Валя — Клава... Валя!

Он сидел на кровати и корчился. Он покачивался, закрыв лицо руками, и постанывал, как от зубной боли. Что же это он натворил!

А что же он натворил?

В этом не было ясности.

Полынная — смородинная, черт!

Но что же было потом? Как он очутился здесь?

Он подошел к зеркалу и посмотрел на себя с отвращением. Синяк под глазом уже не мог ни расстроить, ни удивить его. «Обо что это я навернулся?» — подумал он равнодушно.

И спросить было некого. Внезапно это дошло до него, что никого уже нет.

«Понедельник!..» — похолодел он.

Он взглянул на часы — он еще успевал на смену, если всё бегом, бегом...

## Слоеный пирожок

В этот радостный солнечный день с утра пораньше под землю спустилось большое начальство. И так уж не повезло, что для осмотра оно выбрало именно их участок.

Начальство, конечно, заметило вопиющие недостатки и ничего после этого слушать не захотело, а сказала: чтоб сегодня же все было разгружено, и это уж ваше дело как, но чтоб было, а не будет — и то, сё, пятое, десятое.

То дни текут как один, то — черт знает что!

В этот день на погрузке работали все, не только навальщики, как Кирилл и Коля, но и «белая кость»: крепильщики, бурильщики, даже взрывник Вася — главный лодырь.

День на день не приходится, — объясняли случившемуся работяги. А если голова трещит, как ни разу в жизни, сил никаких и спать хочется?.. Такой работы Кирилл не видывал. Даже Коля, давно разучившийся замечать свой труд, сказал: придется сегодня попотеть. А Кириллу, после вчерашнего с мукой осиливавшему каждое свое движение, начинало казаться, что это и есть единственный рабочий день за все его время, а все прочие дни вспоминались ему бесконечным блаженным бездельем перекуров...

Под люк подается порожний вагон. Люковые забираются на полки и открывают заслон. Руда сыпется вниз, наполняет вагон, и тогда люковые опускают заслон, отсекают руду. И состав подвигается на один вагон вперед. И снова то же самое.

За каждый вагон все болеют, как на матче. Пронесет — не пронесет? Пока люковые крутятся наверху, на полках, все стоят внизу, задрав головы, и болеют.

Один вагон нагрузили — ничего, другой — ничего... И тут заслонку заело. Мучили они, мучили эту заслонку — и вдруг она выдернулась легко, как редиска... И руда хлынула. А заслонку никак не закрыть — опять заело. И засыпает уже люковых на полках. Они спрыгивают, испуганные, вниз. И все стоят теперь вместе и печально смотрят, как прет и прет руда: течет, брызжет серыми брызгами густая, похожая на цемент, каша и урчит, чавкает при этом. А иногда рычит звериным ревом, выдавливая из себя воздух.

Все стоят и смотрят. Когда же она остановится?! Сколько еще поднавалит всем работы?

И вот — все. Называется это все — «слоеный пирожок». Вагон засыпан — его и не видно. Между вагоном и стенами нет пространства. Состав схвачен посередине — ему уже не стронуться с места. Двумя серыми языками руда расплзается в стороны. Медленно подползает к стоящим. Принимайся... Тут не справится никакая машина — тут лопата и руки.

Руки, руки! На что вы похожи... Кривые, тяжелые, набряклые. Не руки — клешни. В течение всего дня

после смены не сжать в кулак, не распрямить в ладонь. Пойдешь на почту писать письмо — пальцы не держат пера. Вот она, та осторожность, с которой водят пером работяги... А в начале смены так больно сжимать черенок!.. Но работать надо — разработаешься. И руки не болят. И голова не трещит. И вчерашнее забывается. Забывается все. И откуда только все новые и новые силы берутся? Раз-два-три! Чирк-вшик-чмок! Чирк — всаживаешь лопату понизу, забираешь кашу. Разгибаешься — тяжелая лопата летит по кривой куда-то за плечо и за голову к соседнему пустому вагону. Вшик — шурша слетает с лопаты порода. Чмок — шлепается в вагон.

Чирк-вшик-чмок! Чирк-вшик-чмок!

Лопата — это большая ложка. Четверым розданы эти ложки. Они идут по двое с двух концов вагона, они идут четверо с четырех его углов; идут по двое навстречу друг другу, и одна пара не видит другой. Кирилл должен встретиться с Колей. И главное сейчас для него: осилить свою четверть не позже других. Если остальные раньше справятся с работой, то молча, не подавая вида, набросятся на его остатки. Надо как все. Надо поспеть.

Они идут навстречу. И не идут — стоят. Каждый шаг — вечность. Чирк — всаживаешь лопату под кучу, упираешься, налегаешь на нее всем телом, черенок — в пузо. И вот лопата вошла, но чавкающая масса не отдает лопату, засасывает. Раскачаешь, вырвешь — освободится от каши узкая полоска. Вот ты и ближе к встрече с Колей. Но пока поднимаешь лопату и сбрасываешь породу в вагонетку, пока опускаешь ее уже пустую — освобожденной полоски нет как нет: наползла, наполнила ее жидкая каша. И снова по тому же самому месту — чирк! — все тем же движением. Идут они, четверо, идут с четырех углов, не видят — только слышат друг друга. А каша все наползает на только что очищенное место. И ты — ни с места. И кажется, не сойтись им никогда! Никогда Кириллу так не приходилось... В голове стучит и путается. Жидкая каша возвращается и возвращается на место, словно и не ел ее. Когда это было?.. Молочные реки, кисельные берега! Интересно, съел он, Кирилл, за всю свою несознательную жизнь вагон каши? А теперь — расхлебывается?.. Большая каша.

Чирк-вшик-чмок! Чирк-вшик-чмок!

Раздеваешься, раздеваешься... Брезентуха, ватник, свитер, фуфайка — все это лежит в куче поодаль. Кожу — не снять. А на стенках — лед.

Чирк-вшик-чмок! Это он заточен в пещеру. Монте-Кристо. Это он работает, десятилетиями не покладая рук. Выскребывает гвоздем по песчинке в день. Выбирается на волю... И вот она уже близка.

Уже почти ничего не осталось. Коля виден во весь рост. Небольшая кучка разделяет их. Кучка, за которой перекур — счастье. Но, черт, как медленно тает эта, уже никчемная, кучка! Но вот сошлись лопаты. Звякнули. Это Колина лопата. Все.

Свисток — и состав подается вперед.

«Вот теперь уже перекурю...» — расслабленно думает Кирилл — и все не может собраться с силами достать сигарету. Они сидят, четверо, на лопатах, лениво курят, даже разговора нет. Молча наблюдают погрузку, чуть ли не молятся, чтоб больше такого не было. И все идет благополучно. Этот люк проходит без затруднений. И следующий. И еще один. Слава богу. И вдруг снова — заело. Люковые виснут на рычаге, прыгают, крутятся, как мартышки, — и никак. Опять то же!.. Они, четверо, даже отвернулась с досады. Вдруг подкатывается мастер. Они, четверо, сидят, безразличные, курят, на него не смотрят: понимают — подошел не просто так, куда-нибудь послать хочет. А кому из них это сейчас надо?.. Сидят, курят, безразличные.

Кирилл не выдержал первый: поднял глаза на мастера. Это как в сказке: через первую комнату иди — не оглядываясь, во вторую войдешь — счастье найдешь, а Иванушка-дурачок, конечно, оглянется и окаменеет, конечно. Поднял Кирилл глаза на мастера — а тот сразу к нему:

— Молодец, Кирюша! Ты сегодня хорошо работал. Небось стынешь теперь, разогревшись? Так и простудиться недолго. Поди-ка помоги люковым, погрейся...

Мастер — всегда мастер... Даже Стрельников.

Кирилл встает разочарованно, вяло. И такое у него лицо — все на нем написано. Но что ж поделаешь... идет.

Люковые всё кувыркаются — ни с места.

Кирилл забрался на люк, взялся за рычаг... и как рванет со злости! Что-то хрустнуло — и серой, слепой массой ринулась мокрая руда, сорвав заслонку. Один



люковой слетел вниз легко, как мячик, и встал внизу, коротенький, квадратный. А второй, длинный, двухметровый, отпрянул от рванувшейся на него массы, стукнулся башкой о балку. Каска его полетела вниз. Он, путаясь в своих длинных ногах, заслонял весь проход. Наконец вывалился. А Кирилл, шедший за ним, застрял прочно. Ноги его уже по колено в сером цементе. А из-под заслонки все прет и прет. Он пытается вытащить ногу, другую — напрасно. Он кричит. Ему кажется, он грозно матерится, — внизу это звучит по-ребячьи, жалобно. А перед ним раскрытая черная пасть, из нее ползет на него серая каша и причавкивает при этом. А в памяти у него предыдущий «пирожок» — он доходил до кровли... Кирилл кричит. Вот-вот его сбросит вниз, в вагон...

Вдруг раздался очень громкий чавк — и серая масса остановилась. Так тоже бывает. Но это не значит, что через секунду руда не рванется вниз. А если рванется, то уже всей массой. Кирилл смотрит на этот замерший на миг язык, готовый в любую секунду слизнуть его, — боится слово сказать, пошевелиться.

— Руби! Руби!! Ах... мать... мать... мать!!! — кричит внизу мастер, тонко, визгливо.

Все стоят — и тоже ни с места. Также загипнотизированные. Также боятся. И вдруг все увидели лезущего наверх Колю.

Тихими, быстрыми движениями подобрался он к рычагу. Примерился к нему, рванул на себя. Со скрипом и громом заслонка упала вниз. Перерубила толстый серый язык. Все. И тогда это показалось всем внизу так просто, что никто и не вспомнил о своей нерешительности.

Кириллу помогли выбраться.

Измазанный, бледный, неверными шагами спустился он по лестнице вниз. Ноги были... ног словно не было.

— Подойди сюда, — как-то удивительно тихо сказал мастер.

Кирилл не слышал.

— П-падайди, кому говорю!!! — заорал вдруг мастер и подошел сам.

— Что же ты, .....? — кричал он. — ....., где тебя делали! Ты же не значишь ничего .....! А я за

тебя сидеть буду? — взвизгнул он и сорвался. Постоял секунду в растерянности, потупился и, круто развернувшись, ушел.

Собственно, и все. Больше такого не было. Нагруженный состав ушел. Сидели, курили, ждали порожняка. У Кирилла все еще подрагивали ноги. Чувствовал он себя погано. Он казался себе таким уж никчемным — опускались руки, и жить не хотелось. Что-то ощутил он вдруг в себе и подумал об этом так сильно, так беспощадно, что уже и неверно. Так же неверно, как если бы он не ощутил этого. И становилось обидно от своего бессилия...

«Ничего не значу... Уйду! Ну все к черту! Зачем мне это надо? Один раз чуть глыбой не придавило. Сейчас чуть не погребло... Третий раз не миновать. Зачем? Чтобы всякий на меня орал?.. Ничего не значу? А что я значу... действительно? Правда. Не значу...»

Тогда подсел Коля и сказал:

— Не переживай, Кирюша. Это он ведь так... Он к тебе хорошо относится. Сам понимаешь, отвечает он за тебя. Он сам тут внизу перенервничал... А ты не горюй. Поначалу без этого не обходится... А там научишься. Парень ты грамотный... А тут, понимаешь, просто-то просто, а иногда дело секунды. Успевать надо.

— Да что ему успевать? — буркнул Кнюпфер. — Он же временный.

— Я не временный! — обиделся Кирилл.

— А как же? Сегодня есть — завтра не будет...

— Да... — сказал кто-то. — Вот вернешься инженером — и крутиться так больше не будешь.

— Не вернусь я инженером! — совсем обиделся Кирилл.

— И то лучше... — сказал Кнюпфер. — В столице где-нибудь. Чего сюда возвращаться?

— Бросьте, — сказал Коля, — парень тут постоянно.

— Или, может быть, — сказал Кнюпфер, — он не со студентами приехал? И не с ними живет?

— Да не студент же я!! — в отчаянии выкрикнул Кирилл.

— Как же не студент... А кто же ты?

— Меня выгнали, — сказал Кирилл с гордостью.

— Ну вот... и выгнали... — недовольно протянул

Кнюпфер. — С чего бы это тебя выгнали? Или учиться хуже, чем вкалывать?

— Хуже, — сказал Кирилл.

— Не приставай к парню, — сказал Коля.

## Понедельник — день тяжелый

Смена тянулась, тянулась... Каждая минута казалась бесконечной. И пролетела смена в один миг.

Чувствовал он себя теперь несравненно лучше. Ни похмелья, ни воспоминаний — только мышечная пустота, которая, он уже знал, через час обернется бодростью и силой.

Он возвращался домой и думал о Коле — были это хорошие, прочные мысли, — думал с любовью.

Но когда вышел из автобуса и шел к общежитию, мысли другие, непрошенные, отгоняемые, все настойчивей досаждали ему. Вчерашний день мучительным комом накатывал на него, и не видел он той нити, за которую бы потянуть и размотать его весь... Пережить заново, исправить — но это было невозможно. Все было хорошо, и это он помнил, а потом было какое-то безобразие, и его было никак не вспомнить, оно не имело образа, было неуловимо и могло быть безгранично — это все больше пугало его.

«Расскажут хоть... — думал Кирилл, входя в общежитие. — Что со мной приключилось».

В вестибюле — зеркало. Глаз из синего превращался в черный, заметил он, отразившись.

Пробежал Брюнет с полотенцем через плечо.

— Привет! — сказал Кирилл, бодро вскинув руку.

«Что это у тебя с глазом? — спросит сейчас Брюнет, как бы не зная. — Ну, ты вчера был хоро-о-ш!» — скажет он с почтением.

Но Брюнет проскочил молча. Словно не заметив. Чуть ли не презрительно.

«К чему бы это... — подумал Кирилл. — Может, он меня не узнал из-за глаза?»

— Здравсте, тетя Вера, — сказал он.

— И не здоровайся со мной! — пропела тетя Вера. — И белья я тебе чистого не дам!

— Что это вы? — удивился Кирилл.

— Будто и не помнишь? Не прикидывайся. Пьяный, он всегда говорит, что не помнит, а сам лучше трезвого соображает.

— Да о чем это вы?!

— Знаю я вас, пьяниц... Еще ребятам спасибо скажи, что все так обошлось... Тыфу ты, да я ведь с тобой и разговаривать не хочу!

«Что за цирк?.. — недоумевал Кирилл, поднимаясь по лестнице. — Ничего не понимаю... словно переселился куда, что-то потустороннее...»

Однако хоть и мало что понимал, но, входя в свою комнату, чувствовал себя как-то неуверенно.

— Приве-ет! — сказал он и сам удивился, как это у него жалобно получилось.

Молчание. Все сидели, будто и не они только что хохотали над чем-то, когда Кирилл подходил к двери: опущенные такие, похоронные лица.

«Теперь-то они отыграются... — неопределенно подумал Кирилл. — Нельзя показывать им мою неуверенность, — решил он. — Может, я ни в чем и не виноват вовсе...»

— Что это вы приуныли? — Кирилл попробовал взять бодрый тон, но получилось и вовсе жалко.

«Отыграются...» — с тоской даже не подумал — почувствовал он. И замолчал, как подавился.

— Послушай, Кирилл, — сказал Мишка красивым, веским голосом, — ты с нами не заговаривай — мы с тобой все равно разговаривать не будем.

«У-у-у! — бессильно прогудело в Кирилле. — Знает ведь, что я не могу с ним при всех... Пользуется...»

— Послушай, Михаил, — сказал он, передразнивая. — Послушайте, вы! К чему такая торжественность? Может, мне объяснит кто-нибудь, в чем дело?!

— Ты сам все великолепно знаешь, — сказал неколебимо Михаил. Он явно взял на себя миссию и роль. Остальные сидели, опустив носы, не встречая. — Ты сам все знаешь, а тебя мы просим перейти жить куда-нибудь в другое место. К своим работягам... Ты и так больше с ними, чем с нами.

«У-у-у! У-у-у! — В Кирилле все гудело от злости. — Почувствовал силу, гад!»

— И перейду! Давно собираюсь. Они хоть люди, а вы кто?.. Полуумки-полудурки. Да вы... да ты!.. Что

ты стоишь! Да кто вы такие, на самом деле?! Чтоб на меня все это вываливать!.. Идиоты... — закончил он громким шепотом.

— Ты можешь нас оскорблять, — словно обрадовавшись, подхватил Мишка, — нас это несколько не трогает. Нам это безразлично. Но если ты хоть пальцем еще раз тронешь Виталика, будешь иметь дело со мной! — закончил он звонким, пионерским голосом.

«Зачем мне трогать Виталика?.. — удивился Кирилл. — Хоть и пальцем...» Еще он отметил про себя, что Мишка употребил неестественное, ласковое «Виталик» вместо обычного «Виталька», — это тоже не могло быть просто так.

Он взглянул на «Виталика». Тот сидел, как обычно, рохлей, приоткрыв пухлые губы. Губы были даже пухлее обычного. И на скуле — синяк. Лицо хранило всегдашнее покорное выражение, но и какая-то неловкость, даже смущение проступали на нем.

— Он весит восемьдесят килограмм... — почему-то сказал Кирилл.

— Будешь иметь дело со мной! — так же звонко повторил Михаил.

— Ну и буду! — опять зашелся Кирилл. — Уж не побоюсь! Не напрашивайся... Мне с тобой расквитаться давно надо. Иуда...

— Я уже тебе сказал: ты можешь оскорблять нас сколько угодно — нам все равно. И разговаривать мы с тобой не будем.

«Ишь ты — мы!... — кипел Кирилл. — Тоже мне — мы!» Он взглянул на кислого Витальку — тот потупился, и на Генку-вратаря — тот держался так, словно был и за Мишку и за Кирилла.

— А ведь разговариваешь? — как можно ехиднее сказал Кирилл. — Вон сколько наговорил!

— Не беспокойся, не будем. И ты переедешь в другую комнату. Мы с тобой жить не хотим.

Виталька покраснел и отвернулся. Генка-вратарь сделал вид, что ничего не слышал.

— Никуда я не перееду! Так бы переехал, а теперь расхотел. Общежитие не ваше... Хочу — перееду, хочу — не перееду. Мое право. Терпите!.. — сказал Кирилл и бросился на кровать лицом вниз, корчась от досады.

Так он лежал и переваривал все, что не успел сказать. Слова обидные, меткие, смертельные бродили в нем и рвались наружу. Но было уже поздно говорить их... Все сидели, будто занимаясь своим делом, будто не замечая Кирилла. Виталька читал свою немецкую книгу. Генка-вратарь зашивал спортсменки. Мишка сохранял чистое и гордое выражение лица. Кирилл лежал и бесился, все полыхало в нем.

Так он лежал и вдруг поймал себя на том, что ни о чем уже не думает, а равнодушно наблюдает муху: она уселась на спинку его кровати и моется. В нем даже мелькнуло ощущение неловкости оттого, что чувство, казавшееся ему столь сильным (он назвал его гневом), исчезло так быстро и незаметно. «Вот я и успокоился, — подумал он. — Да и стоят ли они того? Чтобы еще и переживать». Ощущение было даже приятным: свежий и невесомый, как бывает после слез. Только в горле стоял комок, как бывает тоже после слез. Расплывчатые, беловатые контуры комнаты стали четкими и цветными. «Странно, — подумал он, — все было белым... Недаром говорится — белая ярость...» Вышло так: только что было невыносимо — а теперь легче от этого. Словно все — его неудачи сегодняшние, вчерашние — стекло все и умножалось, разрасталось комом, взрывом, не имело выхода... И тут — ссора как разрядка, заземление, облегчение и чуть ли не выход даже...

Но Мишка вел себя все-таки возмутительно. Он сказал что-то Генке-вратарю и громко и самостоятельно смеялся. Потом он принес чайник, достал хлеб и колбасу... — Генка, Виталик! — громко сказал он. — Давайте чай пить.

«У-у-у! — опять загудело в Кирилле. — Начинается! Что же я, как крыса, да?! Жуй теперь тихонько в углу, да?..»

Кирилл полез под кровать и стал бессмысленно рыться в рюкзаке. Хотя прекрасно знал, что находить там уже нечего: еще вчера днем они с Мишкой съели последнюю банку... И вдруг — кто бы мог подумать! — еще одна. Действительно... сгущенка! Откуда бы? Впрочем, сегодня он уже ничему не удивлялся.

Он проколол банку и лежа посасывал, словно смакуя, — даже вкуса не разбирал. Он отставлял ее на стул, развернув этикеткой. Чтоб все видели.

Но Мишка тоже не сдавался. Не допив свой стакан, он вдруг начал раздеваться.

— Вот твои брюки!.. — презрительно сказал он, небрежно роняя их ему на кровать: мол, и прикасаться к ним противно.

«У-у-у!»

Чай был допит, и все снова занялись словно своими делами.

Генка-вратарь ушел на игру — не пропускать мячи в свои ворота.

Мишка долго плевал на щетку и тер свои ботинки.

— Ты куда? — грустно спросил Виталька, видно не желая оставаться один на один с Кириллом.

— Да все к ней же, — самодовольно сказал Мишка. — Она меня сегодня палтусом угощать будет. Уж больно мне палтуса хочется попробовать. А то уеду — и не буду знать, что это за палтус!..

«К кому это к ней?!» — вскричал мысленно Кирилл, и вчерашнее унижение воскресло в нем, свеженькое, а злость его утроилась.

А Мишка в нерешительности ходил по комнате, заметно нервничая. Ходил он в начищенных туфлях и в трусиках.

«А-а! — сообразил Кирилл. — Брючки-то твои на мне!..» Краем глаза, не поворачивая головы, Кирилл с удовольствием следил за голыми его ногами в блестящих туфлях: потоптались у его кровати и отошли...

«Неловко мелочным показаться... — удовлетворенно догадывался Кирилл. — Помучайся, помучайся...»

— Ты, Виталик, не бойся, он тебя не посмеет тронуть, — громко говорил тогда Мишка, как бы фехтуя с Кириллом и делая выпад.

«У-у-у! — уже привычно загудело в Кирилле. — У-у-убью!» И вдруг отчетливо понял, что на нем Мишкины штаны. Это было противно.

«Ты собираешься уходить? Тебе нужны штаны? Вот они... И сниму. Главное, спокойно так, холодно...» — репетировал про себя Кирилл.

«Снимай штаны! Нет, не так... Может, ты снимешь штаны?...» — репетировал Мишка.

Кирилл продолжал лежать, а Мишка подходил к шкафу и демонстративно доставал свои старые лыжные брюки.

— Да возьми ты свои штаны, успокойся! — сказал тогда Кирилл. И, быстро стянув их, бросил ему на кровать.

Но Мишка уже надел лыжные и ушел, хлопнув дверью.

«Вот болван!» — подумал Кирилл с тихим недоумением.

Тогда поднялся и Виталька. Зажав под мышкой свою немецкую книгу, он шел к дверям печально и медленно. В дверях приостановился в нерешительности, покраснел и наконец сказал:

— Я-то этого не хотел...

И вышел.

«Ну и денек с утра выдался!.. — подытожил Кирилл. — Одно слово — понедельник...»

«Да... — разбирался Кирилл. — Вот ведь как подло получается. Заслужил Мишка, а получил, выходит, Виталька. Я тоже получил. Не Виталька же мне синяк подставил?.. Тот же Мишка, наверно. А зачем это ему? Потому что сам свинья и самому неловко, а что поделать — не знает, не обучен. Вот так подло и получается: перед кем свинья — на того и злость. Глупо-то как все! Бойкот... Подпольные формы... А остальные, кто ни перед кем не виноват, и вовсе, выходит, ни рыба ни мясо: куда повернут, куда толкнут — и ладно. Генке, что ли, это надо? Нет. Ему бы гол сейчас не пропустить... Витальке? Выходит, и ему не надо, сам признался. Так кому же это все надо? Мне, что ли?»

«Вот и хорошо, — думал он, чувствуя пока только облегчение и не чувствуя еще тоски. — Наконец-то я остался один. С ума можно сойти от такого сборища!.. Все ненастоящее. И не стоит пытаться приспособиться. Не получается — это и хорошо. Получилось бы — было бы вовсе плохо. Все теперь развалилось — и слава богу. Дружбы и не было. Любви не вышло. Теперь я свободен. Ничто мне не мешает. Займусь-ка я делом. Давно пора. А то одни намерения, пункты плана... Жить пора!»

## Побег

Кирилл бежал по тропке в гору. Он бежал мимо последних домов. Они как бы тоже бежали с ним в гору, но все отставали. Их становилось все меньше, и лишь



одиночки еще взбегали вместе с Кириллом вверх. Он их нагонял. А потом и они отстали.

Старуха с вязанкой хвороста попалась ему навстречу. И поспешно отошла за обочину, как от грузовика.

Кирилл подбежал к стадиону. По полю сновали футболисты. Кирилл представил, как они сейчас на него вдруг посмотрят, а кто-нибудь приостановится и еще что-нибудь такое скажет... И он перешел на шаг.

Прошел, словно прогуливаясь, мимо поля. За стадионом начинался городской лесопарк — место праздничных гуляний. Здесь росли полноценные, не полярные ели. Их догадались пощадить: строить ничего не стали, сделали парком. Тут Кирилл снова побежал.

Народу не было. Разноцветные фанерные сооружения — ларьки, грибы — выглядели странно в этом безлюдном лесу.

Ноги, сначала ватные, теперь стали резвыми и могли бежать так, что не хватало дыхания. Народу не было, и Кирилл не стеснялся: дышал громко, со стоном на выдохе. Крепкий пот бежал по лбу, и Кирилл смахивал его на бегу.

Бег был приятен и напоминал труд. Его ритм. И все уже происходит само собой: ноги выбрасываются по очереди вперед — сами, дыхание вырывается — само, и стон, и пот. Глаза смотрят под ноги, выбирают путь, а дорожка убегает под ноги — серая, ровная, будто едешь. Так можно бежать очень долго. Но слышались голоса. Женские.

Это была помеха, и Кириллу стало досадно.

Из-за поворота дорожки показались две девушки. Замолчали — смотрели на бегущего к ним Кирилла. Он незаметно смахнул пот со лба и побежал особенно упругими, длинными прыжками, а дыхание сделал таким легким и ровным, словно бежать ему ничего не стоило. Так бежать было много труднее — не хватало дыхания. Он хотел пробежать мимо, не обращая на девушек внимания, а там уж, миновав, отдышаться.

— Кирилл?.. — вдруг услышал он.

Он резко остановился, чуть не упав с разбегу. Это была Валя. Подруга — какая-то другая, не Люся — быстрыми шажками, чуть потупясь, прошла вперед. Валя молча и серьезно разглядывала Кирилла. Кирилл стоял перед ней, задыхаясь. Сердце стучало во все

стороны, справляясь с внезапной переменой в работе. Даже если бы он знал те слова, которые следовало сейчас сказать, он не мог бы их выговорить — так он задохнулся. Мысль о том, что ко всему, что было, он предстал сейчас перед Валею в таком распотрошенном виде, вовсе удручала его. И пока он справлялся с собой, Валя сказала:

— Что же это вы не зашли сегодня?

— Я... — начал было Кирилл, все еще глотая воздух и не понимая, что же ему сейчас: верить, не верить, извиняться или молчать. — Я... просто не мог.

— А Клава вас так ждала!.. — сказала Валя самым издевательским тоном, каким могла.

«Клава!.. Что же там было?!» — Кирилл похолодел и, рванув с места, пулей вылетел за поворот, все еще слыша Валин не то смех, не то плач.

Он путался в обрывках мыслей, тщетно пытаясь хоть как-то выстроить их, пока работа бега снова не захватила его целиком. И тогда показались мальчишки. Замерли — сделали стойку. «Сейчас начнется...» — с испугом и смехом подумал Кирилл.

Поравнялись. Мальчишки испытующе на него посмотрели. Кирилл заискивающе полуулыбнулся им. И тогда мальчишки, словно уверившись в чем-то, побежали рядом.

— Дяденька, вы куда бежите? В Москву, да?

— В Ленинград, — поправил он.

— Дяденька, а дяденька, а вы от кого бежите?

— От себя, — сказал на бегу Кирилл.

— От себя! От себя! — повторяли мальчишки, не отставая.

— Вес сгоняете?

— Такой толстый, а бегают...

— Бедненький...

Кирилл не выдержал и бросился за ними. Они распались как сон.

И тут же снова они рядом. Назойливей, смелее. Стайка оводов.

— Дыши носом!

— Тяни носок!

— А ну, поднажми!

— Тяжеловоз!

— Бомбовоз!

Кирилл терпел, и им надоело. Отвалились по одному.

Лесопарк перешел в лес, а лес кончился. Начался спуск. Ноги снова бежали сами. Склон порос травой и становился все круче. Из долины дохнул холодный ветерок — приятно заполз под рубашку, остудил разгоряченное тело. Кирилл глотал тугой воздух ветра.

Склон становился круче. Ноги бежали сами. Их уже трудно было сдерживать. Они не поспевали за падающим вниз телом — вот-вот и покатишься кубарем.

Но спуск кончился.

Показалась речка. И тропка плавно уходила вдоль нее, по ущелью, в горы. Из ущелья тянуло холодом. Кирилл бежал, сбавив скорость, переводя дух. Справа впереди показался заброшенный поселок. Серые доски высокого длинного забора где провалились, где покосились. Забор убегал волнистой линией. И высокая калача сквозила, как пустая глазница.

И все это осталось позади.

А впереди показались стреноженные лошади, серые и в яблоках. Щипали траву. Одна из лошадей посмотрела на Кирилла грустным, нервным глазом и тихонько заржала. Она беспомощно вздернула передние ноги и мелко шагнула.

У Кирилла остро и тревожно защемило сердце, как бывало, когда он слышал крик петуха. Ему стало словно неловко перед лошадью, что он бежит.

И он перешел на шаг.

Да и устал он тоже.

Он отошел от речки и, цепляясь за кривые кустики, вскарабкался в лоб на гребень. На гребне ветер крепко, зло наддал ему в грудь: ветру здесь было просторно. Впереди, прямо по гребню, была вершина. Она казалась совсем близкой и невысокой. А внизу рассыпался крохотными кубиками город. И блюдце озера. И спички труб. А еще дальше, за озером, — снова горы.

Кирилл полез вверх по гребню. Разработавшееся тело действовало отлично. Каждая мышца чувствовалась отдельно, чистая, звонкая, покорная. И все они были вместе — как часы.

Он шел быстро и долго, а когда посмотрел вперед — оставалось ровно столько же.

И так было несколько раз, что оставалось ровно столько же. Потом начались «вершины»: то, что он видел вершиной, оказывалось просто изгибом гребня, а впереди была снова — вершина.

Но в конце концов не осталось ничего.

Он стоял выше всего.

Он мог смотреть в любую сторону, и ровным счетом ничего не заслоняло ему взгляда.

А город совсем слился. А озеро — капля. А за теми горами — еще озера и еще горы. И все это — без конца. И направо — без конца. И налево — без конца. И вперед — без конца. И назад — без конца.

Кирилл стоял как бы немного внизу и смотрел на себя вверх: вот он стоит, красивый, на вершине, и ветер треплет его волосы, облегает его стройную, сильную фигуру, ударяет в широкую грудь, в открытое, мужественное, обветренное лицо...

А потом ему вдруг стало холодно. Ветер был совсем некстати, и от снежников веяло ледяным. А ноги одеревенели после отдыха.

Кирилл заспешил вниз. Он спускался и спускался — этому не было конца. Под ногами подворачивались камни, выскальзывали, цеплялись за ноги. Ему уже не удавалось так уверенно находить место, куда ставить ногу, как это было при подъеме. Он пытался собрать себя, но каждый раз после нескольких уверенных шагов нога опять подворачивалась и тогда уже начинала дрожать, становилась неверной и снова подворачивалась. Это отнимало много сил, которых уже не было.

«Всякое неравновесие отнимает массу энергии. Главное — сохранять равновесие», — внушал себе Кирилл. Но это не помогало.

Потом он уже ничего не думал и не пытался себя собрать... Стукался о камни и не чувствовал ни боли, ни времени...

И вдруг он очутился в общежитии. Оно показалось родным домом. Кирилл вспоминал все свое путешествие, и в воспоминании неприятный спуск сократился, его даже и вовсе не было, а было только ощущение силы и обновленности.

Ему хотелось поделиться. В коридоре он нашел Генку-вратаря. Генка, убедившись, что Мишки рядом нет,

охотно нарушил бойкот, и они поговорили. И тогда Кирилл рассказал ему о том, как он поднялся вон на ту вершину и траверсом прошел еще четыре, и все это только за три часа! Кирилл подвел Генку к окну, за которым были светлые сумерки заполярной ночи, и обвел рукой полхребта...

Он лежал в кровати и улыбался, чувствуя свое тело отдыхающим, тонким, стройным, своим. И уснул с чувством, как на вершине, когда все — впереди и ничто не заслоняет взгляда.

## Часть вторая

# ТРАВА И НЕБО

## РАВНОВЕСИЕ

### Суббота и воскресенье

В эту субботу ребята уезжали домой.

Практика наконец кончилась, вечером — поезд. Предотъездное волнение охватило их. В это утро они просыпались рано, уже возбужденные. Хотя им не надо было спешить на работу. И это было тоже странно: в будний день не бежать на работу, — за два месяца возникла привычка. И теперь, возвращаясь к своей обычной жизни, они удивлялись возвращению даже больше, чем в свое время отъезду. И терялись от путаницы ощущений.

Если бы кто-нибудь увидел их сейчас и вспомнил их приезд и сравнил, то удивился бы: разные люди. Притихшие, настороженные перед неизвестным, они казались тогда куда скромнее, положительнее — ученые детп. Теперь же, освоившиеся и одновременно навсегда уезжающие, они казались смелы, разбитны, нахальны — шумны; во всяком случае, их было не узнать. И особенно обнажилась их временность здесь. Они уже не скрывали ее, а чуть ли не подчеркивали. Глядя на них, можно было понять и даже оправдать типовую нелюбовь постоянных к временным, старожилов к приезжим, опытных к новичкам, штатных к командировочным... За ребят было стыдно. Но никто уже не помнил их приезда и не сравнивал, всем казалось: они такие были всегда. Пожимали плечами — что ж, студенты...

Они бегали, суетились, доделывали какие-то последние дела. Серьезно, по-мужски, договаривались выпить.

У них были деньги: полный расчет. Возможности, открывавшиеся им, казались беспредельными. Они, более привычные к разговорам о вине и женщинах, чем к вину и женщинам, рвались к практике. Сотни, шуршавшие, как ресторанные пальмы, беспокоили их воображение. Неопределенный и расплывчатый, но вечный образ — образ незнания — увлекал их радостями другой жизни и раздваивал их.

Кирилл, взявший отгул ради этого дня, тоже поднялся утром со всеми, тоже возбужденный. Он бегал и суетился, ничем не отличаясь от ребят. Он тоже спешил сделать какие-то последние дела, то есть те, которые давно собирался сделать и никак не мог собраться, те дела, что всегда остаются невыполненными. Все в общезжитии было пронизано ощущением последнего дня, и Кирилл поневоле ощущал все, как все, и бегал. Но дела его все были пустяковые: написать письмо, отдать долг, купить чернила — они кончились.

Кириллу стало пусто. А ребята, эгоистичные в своей радости, поглощенные собой, забегали к нему в комнату, просили: вот я не успел, а ты остаешься, сходи к такому-то, передай, заberi, вышли... Это тоже были пустяковые дела, но эти поручения где-то в глубине задевали Кирилла. «Конечно, конечно...» — соглашался он и тут же многое забывал. Он вдруг понял то, что ему было и с утра прекрасно известно: уезжают-то они — не он. Эти два месяца были как бы все тем же сегодняшним расставанием, только растянутым, постепенным. В течение этих двух месяцев он отдалялся и отделялся от них. И вот наконец происходит то, что не могло не произойти: расставание приобретало форму конкретную и окончательную. Это было концом неопределенности, промежуточности и должно было радовать его. Но не радовало. Он прощался не только с ребятами, и воспоминания одолевали его. Он думал о ребятах теперь лучше, нежнее, добрее, чем во все последнее время, когда он, стараясь определить себя в новой жизни, естественно думал о них жестче и жестче. Да и прощание есть прощание: доброта тут уместна и извечна. Прощаться трудно и с нелюбимым, потому что нелюбимое — твоя неудача, твоё поражение. И все было бы очень просто, если бы он уезжал сейчас с ними...

С самого сегодняшнего утра ему не давало покоя ощущение чего-то очень важного, что стало необходимо и возможно понять только сейчас. Оно мелькнуло утром, как только он открыл глаза, и тотчас исчезло. Он постарался ухватить — выскользнуло. Оно показало свой гладкий край и скрылось. И потом весь день он старался вспомнить — что. И никак. Иногда ему казалось, что он снова видит этот гладкий край, он узнавал его, хотя еще и не знал, что же это такое, бросался к нему — но его уже не было. Утомительность и притягательность этой погони за мыслью, собственно, и было тем новым, что возникло в нем в это утро. Он думал, с трудом, непривычно, неловко, но все-таки думал. Вот-вот... Где-то на кончике языка... И никак. Потом ему вдруг показалось, что все, поймал. Он вытянулся на кровати, довольный. И когда через секунду решил повторить для себя, смакуя, — ее уже снова не было. На этом все и кончилось.

Подошел вечер. Дела были сделаны или были уже не сделаны, и все подступили вплотную к отвалной. Эта выпивка, так давно уже всеми в уме пережитая, разваливалась на глазах: слишком многого от нее ждали. Кирилл тем не менее обрадовался ее началу, потому что чувствовал себя все более одиноко и отдельно и ему хотелось раствориться в общей суетлоке. Думать больше не хотелось.

Они бегали в магазин и из магазина. Пели, ели, пили. Ходили стенками по улицам, задирали девиц и прохожих. И старались казаться гораздо более пьяными, чем были. И уже думали о себе в третьем лице, как они ничего уже не ждут от жизни, не ободряются, как пьют они беспробудно уже целый месяц и пропадай все, такие они люди. И прохожие удивлялись, на них глядя.

Кирилл пил и не пьянел, а потому никак не мог включиться в общее возбуждение и все смотрел со стороны, а это хоть и могло рисовать ему его самого в выгодном свете противопоставления, было прежде всего противоестественно и противно. Тогда он покидал их и возвращался в общежитие, где и лежал на своей кровати как бы в одинокой задумчивости.

Но вскоре все вернулись выпить снова. Видимо, первый хмель вышел, и им становилось все труднее выносить напряжение рисовки. И на этот раз они уже захме-



лели самым естественным образом. Им было уже не до рисовки, и оттого стали казаться они, хотя и пьяные, проще, цельней, природнее, что ли: просто дети, играют в выпивку. От одного этого становилось легче и смешнее. Кирилл приободрился. Тут к нему подходил Мишка, вытягивал губы трубочкой — все лез целоваться с Кириллом. Тот отстранялся, а Мишка говорил, почему-то сохраняя губы трубочкой, отчего его слова звучали с нелепым напором на «у», даже те, в которых «у» и не было:

— Ты, Кирюха, извини, если я что... Ты пойми, что очень тебя люблю и уважаю... Так что это все ничего... Ты пойми одно... Нашу дружбу никому не разрушить... А ты из-за Люськи, тоже друг...

Кириллу было неприятно вспоминать, хотя уже давно говорил он себе, что ему все равно и наплевать. Мишку он при всем желании уже не любил. И сейчас он терпеливо и даже ласково слушал его, а у самого чесались руки. Он ощущал в себе так и не состоявшийся удар, удар, Мишкой заслуженный, но было уже слишком поздно. И он так и не ударил Мишку, а выпил с ним на брудершафт и не любил себя за это.

И вот все идут на вокзал. Рюкзаки, чемоданы и совсем уж бессвязные песни. И Кирилл еще раз понял, что он тут давно ни при чем. Среди нагруженных вещами ребят он шел налегке, порожняком. У него не было чемодана или рюкзака, потому что он его не собрал, потому что незачем ему было его собирать. Он шел со всеми — и опять один. И опять видел со стороны, но уже не столько ребят, сколько себя среди них. Ему стало сладко жалко себя и обидно. Оглянувшись с этим чувством по сторонам, он не встретил ничьего взгляда, кроме грустного Виталькиного. Кирилл ощутил какую-то общность свою с ним, чуть ли не родство... И тогда вспомнил, что не разговаривал с ним с того самого случая, когда Мишка устроил свой бойкот. И это было странно, потому что он давно уже разговаривал с теми, на кого должен был быть обижен, а с Виталькой, перед которым и действительно был виноват, — нет. А с Виталькой и так никто не считается, он всегда на отшибе, вот и сейчас плетется отдельно и перед этим не веселился со всеми. Нагружен больше всех — мама у него заботливая, и ему тяжело. Кириллу вдруг захотелось сказать

Витальке что-нибудь хорошее и нужное, и ему даже казалось теперь, что только тот и может его понять.

— Давай помогу,— сказал Кирилл.

Виталька отдал ему тук и улыбнулся. Улыбка эта могла бы показаться жалкой, если бы не была такой осмысленной. Она как-то врезалась ему в память. У него все вертелось на языке то самое хорошее, что он хотел сказать, но никак было не пересилить себя, какую-то неловкость перед словами.

Так они и шли молча.

Он тащил тук и поэтому как-то уже не отличался от остальных. Шел не один, с Виталькой. На какой-то недолгий миг Кирилл почувствовал себя поэтому не так тревожно.

Но вот и вокзал. И перрон. Уезжали из дому — уезжают домой. Кирилл отдал тук Витальке. Кто-то с ужимками вытащил еще одну бутылку; припрятанную, — раздался неестественно торжествующий вопль: всем было уже много и не хотелось. На перроне, всегда-то вызывавшем в Кирилле тревожное, неприкайнное ощущение, он почувствовал себя вовсе неважно. И тогда что-то враждебное, неприятное шевельнулось в нем против всех ребят. Он не любил их. Не любил несложную определенность их жизни завтра: дом, институт, волнения экзаменационных масштабов, сильные и никчемные. Он ощущал свое превосходство, чуть ли не силу, и живую неясность завтрашних дней.

— Кирюха! Езжай с нами! Мы всей группой деканат попросим...

Ненужность, формальность этих слов бесила его. Вот говорят просто так и сами не знают, что говорят, и все это глупо и бесчувственно, что они говорят, а говорят они так потому, что уезжают, а он остается. Им нечего сказать — вот и говорят. Может, ощущают его неудачником? И оттого сами кажутся себе удачливыми?.. «Зачем говорить, раз незачем?!» — возмущался Кирилл, и враждебность разрасталась в нем.

Проводник сказал: «Отходим», — и все, толкаясь, бросились к дверям. Кое-как влезли. А он, Кирилл, не толкался с ними, а стоял один. Он не имел к ним никакого отношения, вот в чем уже было дело.

Ребята высовывались, кричали:

— Пиши нам!

Где-то впереди шумел паровоз.

— Значит, остаешься?.. — тоже бессмысленная фраза повисла в воздухе и, повисев, помаячив, таяла.

А ведь все пожимали ему руки... И при этом делали лица — такие уж нелепые! Этакое проникновение и участие... Кирилл пожимал им руки и обещал писать. Он вдруг с тоской подумал об истраченном отгуле: лучше бы он был сейчас на смене, потолковал бы с Колей, а отгул бы пригодился потом. Ему было приятно думать о своей смене, потому что он остается с этими людьми. «Они хотя бы лишнего не говорили...» — думал он, пожимая руки.

Виталька подошел к нему последним и сказал:

— Я виноват перед тобой, извини...

Кирилл удивился, какое хорошее у него лицо, искреннее и грустное. Как это он не замечал раньше...

Раздался свисток. Поезд отчалил. Махали руками из окон. Неподалеку от себя Кирилл увидел Люсю, она всхлипывала. Мишка высовывался и махал. В Кирилле все мешалось, крутилось, прыгало. Обида, досада, сожаление, радость и облегчение... Он вдруг замахал руками, закричал что-то и побежал, крича и размахивая.

Поезд был уже далеко, и его не услышали.

Он поднимался от вокзала в город. Тапочки его утопали в мягкой пыли. Тут, в районе комбината, — всюду была пыль. Покрапал дождик и прошел, испещрив эту пыль.

Ветер качал редкие фонари. От фонаря до фонаря свет таял, и посередине между ними была совсем ночь, Ветер качал фонари, и широкие желтые лепешки света раскачивались взад-вперед по дороге.

Вот и свалка покрышек, тоскливая как кладбище. На километры тянутся они, сваленные в кучи.

На душе было как в детстве после слез — легко-легко. Когда и то, из-за чего плакал, — в прошлом, и то, как плакал, — в прошлом. А впереди — приятная пустота. Только тает комок в гортани и — легко-легко.

Кирилл подошел к переезду. Остановился и ждал, пока пройдет порожняк на комбинат, длиннющий состав. Когда подошла последняя платформа, Кирилл неожиданно для себя вспрыгнул на буфер — поехал на

колбасе: давно он такого не делал... Буфер качался под ногами влево, вправо, и Кирилл, вместе с буфером, — влево, вправо. Ветер приятно продувал его. Стучали колеса. И в небе, в прорыве туч, загоралась звезда.

Заборы кончились, и слева светилось, густо поблескивая, озеро, а справа чернели огромной массой, словно прижимали состав к берегу, — горы. Ветер поднимался все сильнее, небо быстро очистилось, и высыпали звезды. Они горели ярко, колюче. Они никогда не горели так в Ленинграде. Буфер качался влево, вправо. Кирилла укачивало, баюкало.

...Обратно Кирилл шел пешком, устал, и ему опять стало грустно. Впрочем, грусть была детской и приятной. «Один, один...» — повторял он, и все в нем сладко ныло от жалости к себе.

Он возвращался в общежитие, но обнаружил себя несколько в стороне от него, у Валиного дома. Легко отыскал ее окна — они светились. «Либо она дома, либо Клава, либо они вместе...» — привычно перебрал он варианты и, как всегда, не разрешил этой задачи. И если раньше это его останавливало, то сегодня он уже поднимался по лестнице. «Раз уж оказался рядом, то зайду...» — говорил он себе, словно бы раньше никогда не оказывался рядом.

Открыла ему Валя. В этом ему повезло. Но как все повернется дальше, он не представлял. Он тупо стоял в дверях и не знал, с чего начать. Валино лицо вспыхнуло и погасло.

— Вам кого? — сказала она.

— Мне Валю, — сказал он.

— Неужели? — сказала она. В голосе ее были радость и обида, смущение и насмешка, согласие и желание помучить.

Кирилл молчал.

— Проходи, — сказала она.

Клавы дома не было. И в этом ему повезло.

Они сидели напротив, разделенные столом, как тогда. Кирилл выдергивал из скатерти красные нитки. Слова пересыпались в его голове, как билеты в ящичке лотерейщика, и ему никак не удавалось остановить свой выбор ни на одном. Выигрышных слов не находил.

Валя, как всегда, оказалась смелее.

— Уехали, значит? — сказала она.

— Уехали,—с облегчением сказал Кирилл. Валя была молодец, Валя все поняла—и он посмотрел на нее с благодарностью.

— Вот и хорошо,—сказала Валя.

— Правда? — обрадовался Кирилл. — Ты умница.

— Теперь тебе ничто не мешает?

— Мешает, мешает! — обиделся Кирилл. — Ничто мне не мешает...

И замолчал. Выдернул еще нитку, на этот раз зеленую.

— Поехали завтра на реку? — сказал он вдруг.

— На какую на реку? — удивилась Валя.

— На реку, на Индру,—нетерпеливо сказал Кирилл. — Ну, поехали или нет?

— Ой! — обрадовалась Валя. — А с кем?

— Со мной.

— Вот здорово! — сказала Валя. — Конечно, поехали.

— Только я еду рыбу ловить,—сказал он.

— Конечно, рыбу,—сказала Валя сердито,—а ты что думал?

— Это ты думала.

— Нет, ты!

— Господи! — воскликнул он. — О чем речь? Мы оба не думали об этом. Ну, так собирайся.

— Как? Сейчас?

— Конечно, сейчас. А ты когда думала? Пока доберемся... Ловить надо на рассвете,—сказал он серьезно.

Валя задумалась.

— Ну, так я один поеду,—сказал он.

— Я с тобой, я мигом! — забежала, засуетилась Валя...

Вода кипела под мостом, обнимая столбы. Легкий, выкрашенный серебряной краской мост выглядел несолидным для такой настоящей реки. Он казался ненадежным, когда они шли по нему: вода бурлила прямо под ногами, и настил дрожал... Хотя ничего такого на самом деле не было: мост был высоко над водой, и по нему проезжали тяжелые машины. Кирилл и Валя подходили к перилам, смотрели вниз, и ощущение непрочности усиливалось. Все замирало внутри, словно они падали.

Казалось, столбы рассекали воду и мост плыл. Двигаться не хотелось, и это странное чувство покоя и движения одновременно завораживало их. Слева и справа темнел лес — берега. А наверху рассыпались звезды. Они казались выплеснутыми в том же направлении, что и река.

— Стоять нельзя. Проходите,— сказал, поравнявшись, человек с винтовкой. — Проходите, проходите.

Шаги часового удалились. Кирилл схватил Валю за руку, и они побежали. Мост гудел под ними.

Лесом они обошли запретную зону. Из-под ног посыпались камни и скатились прямо к воде. Мост четко рисовался позади, теперь не серебряный, а черный на фоне ночного неба. И вода шумела у самых ног.

Они постояли немного и пошли, все дальше уходя от моста вверх по реке. Над лесом левого берега появилась тонкая, более светлая, чем ночь, полоска, а звезды слабели и таяли, словно удалялись.

Лес подступал вплотную, и они шли по узкой полоске гальки, почти по воде. Наконец лес отступил немного и образовал небольшую поляну. Высокая и густая трава покрывала ее. Она шуршала по сапогам, и сапоги блестели от росы. Земля под сапогами была твердой — не болото.

— Здесь,— сказал Кирилл.

Они наломали веток, постелили на ветки плащи.

— Теперь костер,— сказал Кирилл. — Ты садись.

Он возился с костром: строил его, прилаживал растопку — был занят. Вдруг что-то заставило его поднять голову, и он поймал внимательный, необычный, словно холодный Валин взгляд и почему-то не выдержал его.

Костер все сопротивлялся и дымил без толку. Кирилл трудился теперь сосредоточенно и боялся взглянуть на Валю. Он хотел, чтобы она сказала что-нибудь, но она молчала. Костер наконец разгорелся, Кирилл вздохнул и встал, чувствуя, как заныли затекшие ноги, и осторожно посмотрел на Валю. Она лежала теперь навзничь, взгляд ее, блуждающий и пустой, видел и не видел его, — Кирилл вдруг задохнулся, мучительно покраснел и, резко повернувшись, зашагал от костра. «Я пошел», — сказал он невнятно. Язык не слушался его. Он уже почти бежал, неся на плечах одеревеневшую от желания обернуться голову.

Он шел и успокаивался понемногу. Солнце красным краем выходило из-за леса, заслепила вода. Лес отступил от берега, оставив место большим камням: серым, сухим — на берегу, зеленым, мокрым — у воды и в воде. Утром в них было что-то живое, притаившееся: словно чьи-то спины.

Кирилл вскочил на камень и поскакал — с камня на камень, с камня на камень. Так он уходил вверх по реке. Вдруг — камень скользкий — и Кирилл в воде. Но и это не расстроило его.

Разулся, разделся, разложил все сушиться на двух больших камнях. И сам сел на третий, закурил. Солнце уже высоко, припекает. Он смотрел на бегущую воду и цепенел понемногу. Он сидел и ничего уже не помнил из предыдущей своей жизни; казалось, спроси, как его зовут, — не вспомнил бы. Это не он бегал, шевелился, суетился всю свою жизнь. А он всю жизнь был тут — третий камень.

Бросил спичку. Ее вымыло из-под камня и понесло вниз.

Комар сел на руку. Кирилл не стал сгонять его, смотрел, как тот тыкался хоботком в кожу... Нащупал. Погрузился по самые плечи. Надувался, надувался — из поджарого и черненького превращался в красный шарик. Очень хотелось его прихлопнуть, очень чесалось, но Кирилл терпел почему-то. Выпустил в комара струйку дыма. Комар засуетился, затопал ножками. «Не любишь?..» — сказал Кирилл. Комар с трудом вытащил голову. И еле улетел — тяжелый, сытый.

«И только-то...» — сказал Кирилл.

Река несла мимо рыжую, сбитую пену и какие-то палки, ветки. Несла и уносила. Деревянные санки ползли вверх по реке, против течения... Как же это? Ничего не понятно...

Кирилл очнулся оттого, что рука, лежавшая на колене, свалилась в воду. Встрепенулся, вскочил, ничего не понимая. Понял, где он. Спихнулся: часы! Часы не тикали и показывали пять минут одиннадцатого. «Когда они стали и сколько прошло потом времени?» — думал он, поднимал голову вверх, смотрел на солнце, но — городской человек — времени по нему не определил. Кирилл оделся и повернул обратно. Мысли о Вале

подгоняли его. Что же это он, дурак! А если она уже ушла, уехала?..

Шел, шел — тот же лес, тот же берег, те же камни. И ему казалось, он давно уже должен был прийти. «Не мог же я зайти так далеко», — думал он. Он все больше был уверен, что конечно же не застанет Валю, и тем больше надеялся, что застанет. Тут ему навстречу попался толстый небритый мужик с санками под мышкой, на полозьях болтались лески с крючками, и моток веревки висел у него на шее. Вот оно, оказывается, что... подумал Кирилл. Мужик прошел мимо, как в толпе, не взглянув. А Кирилл побежал, побежал вперед и, не успев еще ничего пробежать, увидел свою поляну...

Седая лепешка от костра, и ветерок шевелит легкие лепестки пепла. И рядом, свернувшись, спит Валя.

Он подошел, и Валя легко открыла глаза, проснувшись сразу, без испуга.

— Ну как? — спросила она.

— Все в порядке, — сказал он, виновато улыбнувшись.

— Сядь сюда, — сказала она.

...Потом был такой разговор:

— Ты меня очень презираешь? — спросила вдруг Валя.

Кирилл даже вздрогнул.

— Что ты!.. Глупая... За что?

— Ведь это я сама тебе навязалась.

— Глупая... глупая... — с умилением повторял он.

Курили.

— И с чего это ты меня выбрала? — спросил он довольно и глуповато.

А Валя сказала очень просто:

— Ты мне всегда нравился. Еще тогда, на танцах...

— Правда? — обрадовался Кирилл. — Как я мог тогда понравиться? — Ему хотелось приятных подтверждений. — Я же вел себя как последний идиот.

А Валя сказала очень просто:

— Почему — идиот? Мне только было обидно, что ты меня не пригласил ни разу.

— А почему же ты тогда была такая каменная?

— Когда?



— Когда меня к себе домой привела?  
— Сам ты был каменный. Я же тебя привела...  
Курили.  
— Тебе ведь нравится Люся? — вдруг сипло сказала Валя.  
— Нет.  
— Неправда. Я помню, как ты на нее смотрел.  
— Она — дура, — сказал он очень твердо.  
— Кирюша... — как-то подавившись, глухо, словно издалека, позвала Валя.

### **Понедельник и далее, изо дня в день**

Сначала все они ехали из разных концов города на автобусах. Потом они сходили в одном месте, где у всех автобусов было кольцо. Они исчезали в будке проходной, похожей на тыщи других проходных и все же таинственной, как чистилище. Они раскрывали пропуска — и тогда оказывались на территории рудника. Если их смена начиналась днем, все шли до работы в столовую и там съедали обширный шахтерский обед, полагавшийся им по даровым профталонам. Сытые, все шли в гардероб. Переодевшись для работы, шли получать лампы в специальной ламповой. Оттуда, пройдя маленькую, все время хлопающую дверь, они оказывались на бесконечной и темной крытой лестнице — эстакаде. Деревянные ступени скрипели. Идти после обеда, в полной шахтерской выкладке по этой лестнице было нелегко. А впереди медленно рос и светлел прямоугольник — выход эстакады. Там, между эстакадой и входом в штольню, на небольшой площадке, все они собирались вместе.

На этой площадке лежало толстенное бревно, или, как все его называли ласково, «бревнышко», на котором и рассаживалась в ряд, постепенно прибывая, новая смена. Отсюда открывался прекрасный вид: внизу, в отдалении, был город, и чаша озера, и горы вокруг чаши, — но вида этого уже никто не замечал. Перекуривали, переговаривались, переваривали обед. Ждали. Перед ними чернела дыра эстакады, и до последнего момента не видно было, кто там идет. Тот же, кто поднимался в это время по эстакаде, видел их всех, сидящих на бревнышке, значительно раньше. Он видел, как

сосредоточенно вглядываются они в темноту эстакады и ждут. Он готовился к обычному взрыву приветствий и насмешек и чувствовал себя все более неловко.

И вот он появился внезапно, сразу во весь рост, из невидимого — у всех на виду.

— Кирюша! Кирюша! — закричали на бревне. — Профессор по безопасности! Смотрите, кто пришел!

Кирилл старается скорее поместиться на бревнышке, чтобы стать незаметным и со всеми ждать следующего.

— Нет, ты нам лучше вот что, Кирюша, расскажи...

Кирилл замирает в предчувствии.

— Расскажи-ка ты нам еще раз, как ты экзамен по безопасности сдавал?

— Да ну вас! — отмахивается Кирилл.

— Нет, вы послушайте! Его спрашивают: «Какие меры предосторожности вы примете, если вам надо будет пройти участок, где грозит завал?» А он отвечает: «Я пойду по другому участку!»

И все хохочут. А история эта рассказывается в сотый раз. А все хохочут. И Кирилл скромно посмеивается со всеми.

— Да нет же, все не так было! Его спрашивают, как надо себя вести в шахте, опасной по пыли, — а он говорит: «Не пылить!»

И снова всем им смешно.

И так до тех пор, пока не вырастает внезапно из темноты эстакады Сеня-старый, самый долговязый на смене человек.

— А, бурила наш! Бурила! — кричат все.

Бурилу пошатывает. Был бы он пониже ростом, может, еще и ничего. А так он совсем пьяный. И от этого всем словно еще радостнее становится. Слова не выговорить — так смешно. Кирилл, как маленький, киснет от смеха.

— Где ж это тебя так?

Сеня-старый обводит всех взором, и бессмысленная улыбка расплзается по его лицу. Затем он растерянно смотрит на свои ноги, руки и не узнает. Вся его заскорузлая роба, высохшая за ночь, покрыта белыми лепешками засохшей породы. Сеня-старый недоумевает. Он снимает ватник и начинает выколачивать его об стенку эстакады. Белое облако пыли расплзается от каждого удара. Сколько ни бьет — пыли столько же.

Ребята затихли и смотрят серьезно.

— Бесполезно, Сеня,— говорит один.

— Это у тебя из стенки-то пыль...

Это уже невозможно, до чего всем весело! Сеня-старый недоверчиво оглядел сидящих, но колотить перестал. Держа ватник одной рукой на весу, он действует другой как щеткой. Пыли — столько же.

— А теперь у тебя пыль из ладони!..

— Гы-ы-ы!

И Сеня-старый плюнул на это дело. Сел. Закурил.

И вот теперь они, кажется, все собрались. Появляется мастер, и сейчас он поведет их под землю. Но на этот раз он медлит. Он достает из кармана пачку фотографий и раздает их. Каждому по одной. Кирилл смотрит на фотографию и видит то же самое бревнышко, на котором расселась вся их смена точно так же, как сидят они все сейчас, как сидели вчера и будут сидеть завтра. Точно так они сидели и разговаривали неделю назад, а мастер вдруг достал аппарат, привинтил его к торчавшей из земли трубе, аппарат зажужжал, мастер побежал и уселся на бревнышко, и — щелк!

— Вот он прихо... — сказал было Сеня-младший и так и замер, рот — маленькое «о».

А Кильматдинов кинул камешек — так и замерли Кильматдинов и камешек: рука отведена, лицо глупое, улыбочное, а камешек отлетел от руки и повис.

Сеня-старый пыхнул папироской — так дым и окаменел.

Кнюпфер склеивал сигарку — так и остался с высушенным языком, так и пристал к сигарке.

И вот они сидят на бревне, эти разные люди. Сидят, и каждый разглядывает свою фотографию, такую же, как и у других, на которой сидят они на бревнышке точно так, как сидят они сейчас, много раз повторенные своими фотографиями.

И долго еще, если расстанутся, смогут они припомнить друг друга, глядя на этот нечеткий снимок, пока не потеряют или не забудут.

Вот сидят они на бревне, эти разные люди.

Вот — слева направо...

Мастер Стрельников — миловидный, молчаливый, словно бы застенчивый человек. Но вообще-то он и не такой уж молчаливый или застенчивый. Словно бы так:

он все-таки начальник, и поэтому ему гораздо сложнее. Сложнее потому, что он вообще-то «свой» — такой же, как работяги. Но он и начальник. Значит, не может он быть совсем такой же. То есть работяги, допустим, ругаются чаще, чем надо,— он же только когда действительно надо. Работяги сидят на бревне, шутят очень свободно, бросаются камешками — а ему нельзя бросаться камешком. Но ему это все близко, и ребят своих он любит, и за всем происходящим следит со вниманием и удовольствием, улыбается — но не во всю ширь, слегка,— глаза все понимают, покуривает и молчит.

Вот окончил он техникум без отрыва, стал мастером — и пришлось ему задуматься: какой-то он уже другой, не такой, каким был всю жизнь, не такой, с кем прожил всю жизнь. Да, но он такой же! Так, может, четко и не думал, а только многое вдруг вспомнил и сравнил из начальников. Вот, например, можно быть совсем уж своим: все с работягами, шутить, смеяться, выпивать маленькую... и вспомнил: не «свои» такие начальники. Можно, наоборот, совсем отделиться: производство — главное и справедливость, а в остальном — сухо, строго: стена. Тоже не то: в лучшем случае — уважение, холодненькое такое уважение... Или еще: на работе я зверь, после работы я свой, после работы ты ко мне подойди, пожалуйста, расскажи что да как, я всегда помогу, я и выпью с тобой, и в гости схожу к тебе, и ты ко мне заходи запросто... но на работе я — извини! — будь ты мне лучшим другом, братом, сыном, но... Но и это не то: и не подойдут к тебе после работы, и в гости не пригласят, и к тебе не зайдут в гости.

Все это очень сложно: быть начальником и «своим». И уж до чего на фальшь все чуткие стали! Мастер Стрельников, может, и не разрешил всех этих вопросов, но по крайней мере задумался.

А это два Сеньки: Сенья-старый и Сенька-младший. Обоим по тридцать лет, и они не родственники. Сенья-старый — старый потому, что очень длинный. Весь длинный: и шея, и руки-ноги, и длинное лицо очень неподвижное: пьян ли, трезв — все одно выражение. Еще он старый потому, что всегда молчит, а если надо ответить, мычит — ни да ни нет; пьян ли, трезв — мычит. И не улыбается — не то что угрюмый, просто не улыбается, просто длинное лицо. И еще старый потому, что давно

женат и много детей — трое или четверо, и с бабой не ладит. Старый — не старый: тут сложно, почему старый. Да и просто одного Сеньку от другого отличать надо.

А уж если посмотреть на Сеньку-младшего, то никак не скажешь, что он старый, а младший — это точно...

А это два крепильщика. Может, профессия у них такая, что они как бы другие. Хотя тоже ведь со всеми — под землей. Но дело они имеют с деревом — плотники. И есть в них что-то от того дома, который они могут построить. И крепежный лес пахнет лесом, и стружка пахнет, и смола выступает каплями. Очень это много значит. Не такие уж они подземные люди — они плотники. Со своим топором на смену выходят! А топор — сразу видно, какой он у них: свой, легкий, острый, и топорщице у него по хозяйской руке, ни по чьей другой. И когда шли все под землей цепочкой на смену и если впереди шел крепильщик и за поясом у него топор — прямо завидно становилось, какой у него топор. И тогда хотелось тоже топор, тоже за пояс. В общем, красивые бывают топоры!

Вот Кнюпфер. Это самый коротенький в смене человек и в то же время — самый сильный. В душе с ним рядом и стоять-то страшно. Вроде он тебе по грудь, а в дюймовые доски гвоздь ладонью загоняет: с одного удара — доска насквозь. Что бы он стал делать, если бы не умел этот гвоздь ладонью загнать, даже представить трудно. Словно бы главная это его черта. «Это который?» — «А это тот, который ладонью гвоздь в дюймовую доску загоняет». — «Ах, этот... ну да, знаю, загоняет». Впрочем, если бы не загонял, тогда был бы он Кнюпфер. Также ведь примечателен и человек по фамилии Кнюпфер.

А вот эти двое — навалышки. Кирюша и Коля, самый старик из всех, Кирюшин учитель. Человек он тихий, сидит всегда незаметно. Его на этой фотографии и не видно совсем.

А это взрывник Вася. Про него можно много не говорить. Вася — это Вася. Шутник. С ним тоже была история, которая всю его последующую деятельность вроде как на нет свела. То есть что бы он теперь такого ни сделал, никак не сравниться ему с той историей. Все равно он остается «тот, который». И это его, конечно, удручает.

Вот эта история, которую так любят рассказывать на бревнышке.

Женил Вася брата. Дело ответственное, хлопотливое. Жениху нельзя же бегать... Пришлось бегать Васе. Приглашать, закупать, организовывать. И все это после работы. Бегал. А потом все организовал — и свадьба. Опять же с самого утра принимай поздравления да уважь всякого. Конечно, это тоже должен был делать он, Вася. Потому что с каждым и выпить надо, и угостить. Нельзя жениху все это делать: жениха до вечера побережь надо. В общем, так это было утомительно с самого, можно сказать, начала, что к свадьбе, когда все собрались, не было уже Васи. Отдыхал он где-то за печкой, и никто не мог уже его добудиться — так он устал. И не только это. Свадьба прошла, и утро наступило, и Васе на смену идти — но и тут не добудиться Васи, так он устал. Однако добудились. Пошел Вася, пришел, и все увидели, что работать ему будет трудно — такой у него утомленный вид. Сразу понятно: надо дать ему еще отдохнуть. Но мастер такого не любил и послал его за это на самую трудную работу: в дальнюю выработку, после взрыва породу убирать. Поплелся Вася, усталый такой, лопату еле волочит, — жалко его всем было... Но только все разбрелись по местам и приступили — вдруг видят: несется это назад Вася в ужасном виде и кричит нехорошим голосом. Схватили его, а он бьется в руках и все говорит: «Гоолый, беелый, хоодит!» Еле удалось понять. Оказывается, увидел он там, где ему было работать, разгуливающего голого человека. Мастер ему говорит, что ерунда, предрассудки. А он: «Не буду я там работать! Не могу! Боюсь!» Ну, конечно, все поняли так, что Вася переутомился до того, что ему теперь кажется.

Ну, мастер расставил всех по местам и, бормоча, что вот какие глупости, все-таки пошел посмотреть, что там такое. Но вот и он прибегает. Не в таком, правда, ужасе, но взволнованный крайне. «Самого, говорит, не видел, но следы босые имеются». Пошли тогда вместе, всей сменой. И действительно, босые следы выходили из стены и спускались в яму грохота. После взрыва наверх такая совсем уж мелкая пыль укладывается, вот на ней отчетливо вышли следы. Но раз сверхъестественного не бывает, все поняли так, что действительно, хотя и трудно поверить, кто-то голый ходит. А это уже ЧП, такого уже

допускать нельзя. Тут надо принимать меры. Всю смену принимали — какая уж тут работа! — ничего не нашли. А потом — то ли кто-то догадался, то ли сам Вася не выдержал, но выяснилось. Это Вася сам, не в силах работать, штуку выдумал. Разулся, наследил, обулся и прибежал в ужасе. А потом где-то пристроился уютно и всю смену проспал, пока его искали. И то сказать, переутомлен ведь он был чрезвычайно... Хохотал весь рудник, а рудник — значит, целый город хохотал. Высшее начальство вопрос обсуждало. Но Васю так и не уволили: предупредили и оставили. Видно, и высшее начальство хохотало...

А вот сидит Кильматдинов... А вот... Много их тут поместилось на бревнышке. И все они без разбору нравятся Кириллу... Отвести руку с фотографией, чтобы полюбоваться, и сказать про себя: «До чего же славные все люди сидят на этом бревне!» — и оживает фотография, и сидят они живые, на самом деле...

Мастер докурил папироску, сказал: «Ну, пошли», — и все скрылись цепочкой по одному под землей.

Работать в этот день пришлось много. Как и вчера.

А когда работа наконец кончилась, они снова долго шли по выработкам, выбираясь на поверхность. И когда они снова оказались на площадке, где собирались перед сменой, Кирилл, как всегда, так обрадовался небу, словно и не надеялся увидеть его больше.

— Подумать только — небо над головой! — сказал он Коле. — Словно из преисподней...

А Коля сказал:

— Гора она и есть гора. Только привычка тоже много значит. Преисподняя — это точно. Но только и без нее как-то скучно.

И они прошли не задерживаясь мимо своего бревнышка, никто его и не заметил, словно его и не было.

Если он работал в ночь или в утро, то ходил встречать Валю. Лаборатория, в которой она работала, помещалась на первом этаже — он стучал в окно. Показывалась девушка в халате, кивала и отходила. «Валя, твой пришел!» — слова доносились из глубины, и Кирилл всегда удивлялся этим словам. Валя вскакивала на подоконник и высовывала голову в форточку. Это тоже

постоянно поражало Кирилла, напомидало ему больницу. «Что ж ты так рано пришел? — говорила Валя. — Но ты подождешь? — Я уже скоро...» И он ждал.

Они любили уходить из города и гулять в лесопарке, пустом в это осеннее время. Но погода все чаще была плохая: дули ветры и шли дожди. Тогда они шли в кино, иногда им приходилось смотреть одну и ту же картину два дня подряд. Когда Валя точно знала, что Клавы не будет, они проводили вечер дома. Если не в кино и не к Вале, то шли в общежитие к Кириллу. После отъезда ребят Кирилл переселился к Сеньке-младшему, чтобы было не так скучно и еще потому, что общежитие к первому сентября заняли хозяева — ремесленники, новый набор. Сеньки все больше вечером не было дома, или он подмигивал и уходил.

Но бывали дни, когда все эти возможности иссякали. Шел дождь, дул ветер и сек кривыми брызгами лицо...

— Куда мы пойдем?

— Некуда.

— Может, в кино?

— Не смотреть же эту дрянь в третий раз!

— А к тебе?

— Клава полы моет. А к тебе?

— Сенька уроки делает.

Кирилл думал тогда о том, что надо бы сказать: «Ну, иди тогда домой... Зачем тебе мокнуть? Завтра встретимся...» — но не говорил этого.

Они брели под дождем и выбирали себе дом. Валя любила, чтобы были большие, красивые окна. «Вот в этом я хотела бы жить», — говорила она, и они проходили дальше.

Они выбирали себе дом, но шел дождь, и в конце концов они скрывались от него в первой попавшейся парадной.

Вытирали друг другу мокрые лица и долго целовались у батареи.

Двери хлопали, и в парадную входил кто-нибудь из жильцов или их гостей и начинал отряхиваться и оттаптываться с дождя. Он рассматривал их, и они, делая вид, что тоже только вошли, начинали медленно подниматься по лестнице, давая себя обогнать, и, когда дверь наверху хлопала, останавливались на площадке.



И снова целовались у батареи, пока снова не хлопала какая-нибудь дверь.

Так они поднимались и останавливались, и поднимались до последнего этажа. Выше, в тупике, была последняя квартира, а на их площадке — большое, с полу, окно — из тех, что так нравились Вале. Лампочка, как правило, не горела, и было темно.

Они сидели на ступеньке. Было очень тихо. Легким звоном звенело в ушах. Рядом, так рядом, что не разглядеть, темнело Валино лицо: оно словно раскачивалось.

Свет достигал с улицы, на площадку ложились его квадраты. Когда ветер качал на улице фонарь, квадраты разбегались, и потом возвращались на место, и снова разбегались. Блики скользили по потолку, скользили по лицам. Проезжал грузовик, наполнялось гудением стекло, и свет фар путешествовал со стены на стену, и все успокаивалось снова.

Они уставали целоваться и сидели молча, касаясь плечами. Это прикосновение действовало даже сильнее.

Они курили, передавая друг другу сигарету. Огонек поднимался и опускался. Проходило время, прогуливались по потолку и стенам блики уличного света, и огонек снова поднимался и вспыхивал — затяжка. И выхватывал из темноты их лица — то Кирилл, то Вали.

По лестнице поднималась кошка. Вспыхивала зелеными глазами. Увидела Кирилл с Вале, насторожилась. Посмотрела и пошла обратно.

— Что мы, ее место заняли? — сказала Валя.

— Не знаю, — сказал Кирилл. — А как пишется «катавасия»?

— Не знаю.

— Странно... Неужели от «кота Васьки»?

— Действительно. Кото-васия. Страна такая.

— Кото-мурия...

— Это для нас слово.

Кто-нибудь поднимался и на верхний этаж и вспугивал их. И они, так же постепенно, начинали спускаться...

Если же он работал в дневную смену, с двенадцати до восемнадцати, то они встречались позднее. Тогда его встречала Валя. Иногда она пропускала день из каких-то своих соображений, которые трудно объяснить. В остальном их вечер располагался так же.

Хуже было, если он работал в вечернюю смену, с восемнадцати. Тогда они совсем не могли встретиться. Но они все равно умудрялись видаться, правда мельком, когда Кирилл шел на работу, а Валя возвращалась с нее.

Все это: и работа, и встречи с Валею — приобрело постоянный ритм. Этот ритм стал привычным. И Кириллу начинало казаться, что так было и будет всегда. И даже иначе быть не может. Он был счастлив. И нето чтобы все это начинало наскучивать и угнетать его... Просто завтрашний день был уже настолько известен ему, настолько он был уверен в нем, что, быть может, переставал ценить сегодняшний.

## СОБЫТИЯ

### Повестка

Часов в двенадцать в комнату постучали. Кирилл еще спал — отсыпался после ночной смены — и не услышал стука. Он очнулся, мыча и тяжело разлепляя веки: его трясла за плечо тетя Вера. Рядом с ней стоял маленький паренек в длинном плаще и кепке-лондонке, натянутой на брови и на уши.

— Кирюша, просыпайся,— сказала тетя Вера. — Тебе повестка.

— Какая повестка? — не понял Кирилл.

Паренек вышел вперед и заслонил тетю Веру.

— Капустин? — сурово спросил он.

Кирилл посмотрел на него как на недоразумение.

— Капустин он, Капустин,— сказала тетя Вера,— кто же еще?

— Распишись,— сказал паренек и сунул ему под нос тетрадь.

Кирилл неловко расписался — писать на мягком было неудобно.

— Ну вот, скоро ты с нами простишься... — говорила тетя Вера, и они уходили.

Кирилл лежал на спине и разглядывал эту длинненькую полоску бумаги, быстро просыпаясь. Он прочел весь текст, включая «Тип. ФО зак. № 1017» — в нижнем левом углу и «Форма 1-а» — в верхнем правом, и перечитал снова.

«Самое смешное,— подумал он,— как я ни разу об этом не вспомнил, не подумал, хотя знал об этом прекрасно... Кто ж этого не знает?.. Постойте!.. — спохватился он. — Так нельзя. А как же Валя?..»

Он положил повестку на тумбочку, и комната, такая привычная, менялась оттого, что на тумбочке лежала бумажка продолговатой формы, и не продолговатой — а формы 1-а, и в нее была вписана его, Кирилла, фамилия. В комнате словно изменилось освещение, она присела и раздвинулась.

Кирилл встал босыми ногами на пол. Пол был холодный. Сенька спал как сурок. Он скрылся под одеялом весь и наверняка ничего не слышал. Впрочем, это к нему и не относилось.

«Валя... Как же с Валею? Валя...» — тупо повторял Кирилл.

Он прошлепал к окну. Все тот же вид был за окном: каменистый склон, трансформаторный киоск и строительство жилого дома... Тот и не тот. Он был шире и смутней в это слабое и позднее северное утро. Земля была черной, в белых круглых лепешках. «Вот и первый снег... — понял вдруг он. — Как пролетело лето!»

Он передернул плечами и, быстро одевшись, вышел.

Все было неподвижное. И в этой неподвижности ветер гнал рваную газету. Все было незнакомое.

Валя высунулась в свою форточку.

— Что ты так рано?

— Пришел сообщить, что скоро ты будешь свободна.

— Как свободна?..

— Я тебя увольняю.

— Что ты несешь?!

— В связи с переходом на другую работу...

— Ничего не понимаю! Ты что, выпил?

— Ни в коем случае.

— Что случилось? Говори скорей. Не могу же я так и торчать в форточке!

— Ничего не случилось.  
— Что ты мне голову морочишь?  
— Выходи за меня замуж.  
— Не треплись.  
— Я серьезно.  
— Ты что, другого времени не нашел?  
— Ты свободна,— опять сказал Кирилл.  
— Дурак,— сказала Валя и прыгнула с подоконника.

— Подожди, я сейчас выйду,— сказала она, снова появляясь в форточке.

И они пошли к Вале: Клавы наверняка не было дома.

### На секунду бы раньше...

Все последние дни работа была спокойной, а сегодня опять занеладилось. Все спех, беготня, и опять «пирожок» им достался. Уже и сил никаких, а всего полсмены, всего три часа прошло.

Сидели на досках, курили.

— Да,— сказал Сенька-младший. — Не повезло тебе, Кирюша. На комиссию идти — и смена, как назло, ночная. Вот была бы утренняя — другое дело.

— Да,— сказал Вася-взрывник, которого опять заставили работать на погрузке. — Таковую смену, какая сегодня, прогулять — одно удовольствие!

— Уходишь, значит,— сказал Кнюпфер. — Я всегда говорил, что не удержишься ты у нас.

— Я-то тут при чем! — рассердился Кирилл.

— Когда же ты уходишь? — сказал Коля.

— Не знаю,— сказал Кирилл и удручился.

— Да,— сказал Сеня-старый. — Тут как прикажут. Ать-два — и пошел... Как по часам.

— Да... часы... — сказал Коля и пожевал губами. — Что это у тебя, я вижу, ремешок какой-то новый?

— Правда, забавный? — оживился Кирилл. — Из дому вот прислали.

— Покажи,— сказал Коля. Повертел, примерил.

— Да... — сказал он раздумчиво и серьезно. — Это только у вас в Ленинграде такие штучки... У нас таких не бывает. Слушай, Кирюша, давай: ты мне свой, а я тебе свой...

Работяги прислушались.

— Махнемся, а? — сказал Вася. — Часы на трусы?

— Нет, я серьезно, — сказал Коля. — Давай, а? Вот ты уйдешь — мне будет память...

— Подарок... — замялся Кирилл. — Неудобно все-таки.

— Ну давай, а? — Коля помолодел даже. — Ты с моим обойдешься.

— Зачем меняться? — сказал Кирилл. — Я тебе подарю. Напишу только — и мне еще вышлют. И я тебе подарю.

— Ну вот, — сказал Коля разочарованно. — Когда еще подаришь... А сейчас обменяться можешь... — Очень ему вдруг захотелось. — Все равно в армию... Зачем тебе.

Это «все равно» задело Кирилла. Он насупился.

— А вот у меня, — сказал Сенька-младший, был золотой ремешок.

— Золотой? — заинтересовался Кнюпфер. — Скажешь... Куда же ты его дел?

— Где ж это ты золото от нас прячешь? — сказал Вася.

— Да вот же, честное слово, был! — с отчаянием сказал Сенька-младший. — Не верите.

— Ладно, верим, — сказал Вася. — Ну, был. Так его же нету? А вот у меня, я вам скажу, часы были! Швейцарские.

— Ну, это еще ничего особенного, — сказал Сеня-старый. — А вот у меня...

— Постой, — поспешно сказал Вася. — Дай досказать. Вот были часы! Я однажды спяну купаться полез... Плавал, плавал — вдруг хватить! — часы на руке. Ну, думаю, все. А они идут. Я обрадовался, стал прыгать с ними, всем показывать, что у меня за часы... Прыгал, прыгал. А они вылетели из руки и о камень — хлопысть! Ну, думаю, все. А они идут...

— Куда же они потом делись? — злорадно сказал Сенька-младший.

— Ну, это еще что... — наконец удалось перебить Сене-старому. — А вот...

И пошел вечный разговор о часах.

Рассерженный, подходил мастер:

— Что ж, вы и работать не хотите? Кто ж это за вас все делать будет?

— Погоди, Леша, погоди,— нетерпеливо отмахивались от него. — Дай про часы доскажу... Так вот, они старинные были. С крышкой...

И мастер, на что уж серьезный человек, не устоял.

— Это что,— сказал он.— Вот я когда служил, часы привез! Двенадцать циферблатов. Года, месяцы, недели, дни. Даже високосные года учитывали. Потом восход и заход солнца — тоже показывали. Компас в них был,— говорил он, загибая пальцы.

— Здоровые, должно быть, часы были!.. — насмешливо сказал Вася, он был зол на мастера.

Лицо мастера потускнело.

— Марш! Марш! — сказал он. — Совсем работать не хотят.

Встали не спеша. Пошли вразвалку, разминая затекшие ноги.

Мастер подозвал Колю с Кириллом:

— А вы что же не до конца убрали? Грязь под тринадцатым люком. Вот идите теперь, убирайте. Мы из-за вас погрузку задерживать не будем. — И добавил: — Только, смотрите, осторожней, когда будем состав подавать. А так — там широко, места вам хватит.

Работать, как обычно после перекура, не хотелось.

— Всегда раскопают какую-нибудь работу, даже если ее нет,— по-работяжьи буркнул Кирилл.

— Это ты точно,— сказал Коля. — Ну, да мы быстро все это перекидаем. Ты иди туда. А я тебя нагоню, лопату я забыл... Ну так как же насчет ремешка?.. — спросил он, удаляясь.

Кирилл нехотя поплелся к тринадцатому люку. Куча, которую им надо было убрать, была не большая, но и не маленькая. Лениво ткнул в нее лопату. Но начать не успел. Раздался свисток. Значит, сейчас подадут состав. Кирилл вспомнил наставление мастера быть осторожным и в данном случае выполнил его с наслаждением: выпрямился и лопату к стенке прислонил.

Но это один миг: состав продвинулся на вагон вперед и остановился. Снова берись за лопату...

«Что же я один буду грузить!» — думал Кирилл. Он думал о комиссии, на которую ему идти послезавтра. Что все наладилось — и уходить. Думал о Вале. Думал, и работать уже не хотелось. «Коля не работает — и я не буду,— говорил он себе, садился на лопату. — Так-то

лучше.. — приговаривал он, вытягивая ноги. — Что я, один работать буду? Треплется с кем-нибудь, а я грузи».

И Кирилл потягивался, устраивался поудобнее...

Коли все не было. Неподалеку мелькнул мастер и погрозил кулаком.

«Черт,— нетерпеливо думал Кирилл,— куда же он подевался?» Работать, да еще одному, по-прежнему не хотелось. Недовольный, он лениво поднялся и, уже вовсе рассерженный, пошел за Колей.

Он обнаружил его неподалеку. Коля вытянулся на доске, которую они перед тем приспособили как лавочку для перекура, и спал покойно и тихо.

«Давит...» — завистливо подумал Кирилл. И сразу почувствовал, до чего же ему самому хочется лечь и вытянуться: ночная все-таки смена.

С люка спустился Сенька-младший.

— Что скажешь, Кирюша?

— Посмотри... — Кирилл хмыкнул, показав на Колю.

— Да,— сказал Сенька. — Что-что, а спать он умеет... Это, как вас с ним мастер послал убирать, Коля мастера-то вперед пропустил, а сам вернулся и улегся. Вот с тех пор...

И Сенька, взяв внизу топор, поднялся обратно на люк.

Кирилл наклонился над Колей.

— Коля! — тихо позвал он.

Тот не отвечал.

«Да как крепко!» — подумал Кирилл. Будить спящих ему всегда было не под силу, неловко.

— Коля!! — Кирилл тронул его за плечо и слегка качнул.

Рот у Коли задергался, скривился, и Коля не то промычал, не то простонал во сне.

— Ну что ты, Коля?.. Ведь грузить надо. Мастер ругаться будет... — сказал Кирилл и качнул Колино плечо еще раз, уже сильнее.

И вдруг осекся. Коля застонал, громко, протяжно, и розовая струйка выползла из угла рта и побежала по скуле.

Непонятный, детский страх охватил Кирилла. Он почувствовал себя маленьким.

— Что с тобой? — испуганно сказал Кирюша и отдернул руку от Колиного плеча.

Коля простонал еще раз. Приоткрыл глаза, мутные, жалобные, и, с трудом двигая синими губами, промычал:

— М-мо-ой!.. Умираю...

— Да что ты! Что с тобой?! — говорил Кирюша, застыв над Колей в неестественной позе и боясь теперь прикоснуться к нему.

— О-ой!.. Миленькие... О-ой!.. Родимые...

Кирюша прокричал вверх люковым. По-видимому, голос его прозвучал странно, потому что они тут же подскочили к перилам.

— Что с тобой? — спросил сверху Сенька.

— С Колей что-то...

— Спит же он.

— Да нет, стонет, говорит: умираю.

— Прикидывается, — сказал Сенька, но начал спускаться.

— Да нет же, у него кровь! — крикнул Кирюша.

Люковые слетели вниз.

— Коля! Коля!!

Он только стонал.

Прибежал мастер.

— Что с ним? Как это случилось? Когда? Кто видел?! — с испугом спрашивал он.

Никто не видел. Никто не знал когда. Никто не знал как. Все молчали. Кирюша говорил:

— Я там, под тринадцатым, грузил, смотрю: Коли все нет. Думаю: чего я один грузить буду... Пошел за ним. Вижу — тут лежит. Думаю: спит. Стал будить — а он стонет... И кровь...

Коля простонал и открыл глаза. Узнал мастера.

— Что случилось? — спросил мастер.

— Пошел за лопатой... Состав подали... О-ой!

— Я думаю, чего я один грузить буду, — говорил Кирюша, — пошел за ним. А он тут лежит...

Отцепили электровоз. Колю тихо подняли и понесли. Наверно, это было ему очень больно.

— О-ой, родные... О-ой, не надо... — стонал он.

Его посадили сзади водителя. Мастер прицепился, стоя на буфере. И они уехали.

— ...Стал его будить, а он стонет. И кровь... — повторял всем Кирюша.

— Да... жаль старика... Подумать только, не первый год ведь в горé... — говорили работяги.



Вдали по выработке послышался свист. Вот и огонек. Это шел Вася, взорвав что было нужно, свистел и лампой помахивал. Подошел, улыбаясь.

— Ну, как дела? Все ковыряетесь? — хохотнул он. — Иду это я, вижу: наш электровоз катит. Коля там на лавочке сидит и мастер, как лакей... сзади... — Вася посмотрел на всех и осекся. — Куда это они его повезли?

— Рожать, — зло процедил Сеня-старый.

— Пострадал старик... — сказал кто-то.

— Как это его угораздило? — спросил Вася.

— Сами не знаем.

— Нас мастер вместе послал, — снова начал Кирюша. — Я туда прошел, начал работать, а Коли нет. Я думаю, чего я один буду работать...

— Я думаю так, — скучным голосом сказал Кнюпфер. — С той стороны прохода между составом и стенкой нет. А лопата у него там стояла. Он стал протискиваться за лопатой, а состав как раз и подали вперед. Ну, Колю и развернуло, поперек ребер сдавило...

— А что ж он и не крикнул даже?

— А может, и не мог.

Больше уже не работали. ЧП.

Вернулся мастер. Сказал: ничего не известно. Лицо у мастера было серое и несчастное.

— Надо же... — говорил он словно самому себе. — Не первый год старик в горé... Попался, как новичок. Кто же там ходит!.. Раз прохода нет! Да когда состав! Да когда трогают!.. Да и зачем ему было лопату там оставлять?.. Сам и виноват!.. Ты! — закричал он на Кирюшу. — Тоже бросаешь лопату где попало! Отвечай потом за тебя...

Ровно через час появились начальники: начальник рудника и представитель горнадзора. Оба, люди на поверхности грозные, под землей как-то терялись и выглядели чуждо и не страшно. Может, такими их делала непривычная на них роба и каски. Особенно представителя... Впопыхах ему, видно, не подыскали подходящей спецовки: он торчал из нее, и каска сидела на огромной круглой голове маленьким кругляшом, словно была положена. Станным казалось, что она не соскальзывала. Начальники приближались, разгневанные и сонные.

Мастер, еще больше посерев, вышел им навстречу.

Начальник и представитель подали руки несчастному

мастеру и что-то спросили у него. Они говорили сначала тихо и спокойно, все трое, и голосов их слышно не было. Постепенно голоса их зазвучали громче, мастер потуплялся и молчал — начинался разнос.

Работяги стояли в сторонке, поглядывали с прохладным любопытством, вполголоса переговаривались, обсуждали происходящее: что тот «стрижет», а этот «бреет», что оба они «чешут», что у «кучерявенького» касочка сейчас слетит, только он еще разик головой тряхнет, что теперь уж «начальников налетит», и что начальники сами виноваты, оттого и кричат, и что мастера жалко: он ведь неплохой мужик, просто должность такая,— и что у начальников, впрочем, тоже «такие» должности...

Отчитав мастера, отжурчав, начальники приступили к опросу свидетелей:

— Кто видел, как это произошло?

Все молчали. Потуплялись.

— Кто был очевидцем?

— Что? Ни одного человека? Никто не видел?!

— Никто не видел!.. Надо же! Что это у вас, товарищ Стрельников, — снова налетели они на мастера, — на смене делается? Что творится?! Чтобы человека задавили — и чтобы ни одного свидетеля не было! Черт знает что такое...

— Мы-то вообще тут работаем... — невыносимо вежливо сказал Вася. — По сторонам не смотрим.

Кто-то прыснул, давясь, прячась. Словно хрюкнул.

Представитель заглотнул воздух и, резко развернувшись, пошел широким и гневным шагом. Начальник помедлил, словно хотел еще что-то сказать, но промолчал и, так же развернувшись, удалился следом.

Потерянный, подошел к работягам мастер.

— Брось, Стрельников, не унывай, — сказали они ему. — Тут твоей вины нет. И ничьей нет. Коля сам полез. А виноватого найти всегда можно. Только поискать. Ну, да мы, если что, всей сменой пойдем...

— Разве что... — неуверенно говорил мастер.

Тут оказалось, что их смена уже кончилась, и они пошли наверх, обсуждая случившееся. На душе у Кирилла было погано. Огромную и неясную вину чувствовал он в себе, как бы в крови своей, хотя удобная логика говорила, что он ни при чем. Но логика эта ломалась воспо-

минанием о том, что он так и не поменял рёмышок, а теперь уже не поменяешь, и о том, как Коля один из всех рискнул захлопнуть заслонку, когда Кирилл увяз тогда на люке... Вспоминал, как злился сегодня на Колю, что тот не идет и что ему, Кириллу, приходится работать одному... Злился, а в этот момент Колю и придавило... Поэтому и придавило. Хотя это бред, убеждал он себя, мистика. А Коля, вспоминал он, несколько раз сам, по своей воле, давал ему отдыхать и работал один... И вспоминал, как прибежали начальники и как они кричали...

А человек, может, умрет.

Кирилл вспоминал разговоры, пересуды, смешочки вокруг случая и понимал, что в этих разговорах как-то уже исчезал человек Коля, а оставался случай с Колей... и все ему казались равнодушными, жестокими, бессердечными. А он, Кирилл, всех хуже.

И когда вышел на дневную поверхность — не было радости. Даже стало еще хуже. Словно свет упал на что-то мерзкое, гадкое, что уж лучше в темноте и не видеть.

А ведь пройди Коля за своей лопатой на секунду раньше — и состав бы еще стоял, и все было бы в порядке... На какую-то секунду! Может, мастер задержал Колю на эту секунду каким-то лишним словом, а может, он, Кирилл... Словно сам Коля выбрал этот момент, чтобы случилось несчастье, и словно все помогли ему в этом. Словно увидели вдруг, например, что падает с высоты что-то тяжелое и там под ним стоит человек, и все закричали ему, он побежал и как раз подоспел под это тяжелое... А может, надо было бы задержать Колю на секунду дольше — и тогда тоже все было бы в порядке...

Господи, какая бессмыслица!

## Аспирин

Кирилл думал.

Он не думал о Коле. Он не думал о Вале. Он не думал о маме с папой. Он не думал о Ленинграде. И о повестке он не думал.

Во всех привычных для него смыслах — ни о чем он не думал.

Он замер, разглядывая одну огромную, не помещавшуюся в поле зрения, незнакомую и немую, подступившую к нему, однако, вплотную мысль. Не охватить, не разглядеть...

Ему казалось, что он думал о смерти.

Он, представлявший себе здесь таким смелым и новым, выбравшим свой путь и ступившим на него (никто ведь из его знакомых не поступал в своей жизни так решительно, как он), вдруг уперся как в стену во что-то такое, где его воля ничего не значила. Она не продолжалась. Ничто от него не зависело.

На следующий день после несчастья с Колей идти на работу расхотелось. Не хотелось ничего. Тот бодрячок в нем, который заставлял прислушиваться к будильнику, вставать босыми ногами на пол и протирать глаза, — этот бодрячок не проснулся. Звон будильника дошел, как сквозь вату, и только обозначил, как сладко слипаются веки, как неощутимо все тело и парализована воля. Ничто не шевельнулось в сонном сознании: мол, надо, надо. Что, собственно, надо? Почему именно надо вставать в пять утра и спускаться под землю? Все это, раньше ясное, стало неясным, и Кирилл, ласково подбрав подушку под голову и подлаживаясь к ней поудобнее, причмокивая, слушал где-то далеко-далеко звон будильника, а потом уснул снова. Он даже не сунул будильник под подушку, пока тот звонил. Он даже не злился на него.

Проснулся лишь, когда солнце перебралось к нему на кровать. А смена его уже перевалила за половину.

Кирилл вышел на улицу. Пустыня. Рабочий поселок в рабочее время — всегда пустыня. От нечего делать зашел в книжный магазин. Постоял там, даже не подходя к прилавку, и вышел.

Так добрал до аптеки. Вспомнил, как в школе, классе в шестом, была какая-то страшная полугодовая или годовая контрольная, и товарищ подговорил его не идти. А справка?.. Ничего нет проще: надо только проглотить несколько таблеток аспирина — и температура готова.

Справку они получили.

А теперь надо было получить бюллетень.

Кирилл взял в аптеке две пачки. Потом вернулся — и еще одну.

Сел в автобус и поехал в город. В автобусе принял таблетку. Смотрел в окно. Знакомый, изъезженный путь привычно ласкал взгляд. Собственно, ему, Кириллу, все равно, что там за окном. Он съел еще две таблетки и стал считать пульс. Пульс несколько не изменился, разве был чуть полнее.

Кирилл доехал до центра и вышел. В кино шла полузаграничная картина, и он взял билет. До начала сеанса посидел в сквере перед кинотеатром, греясь под осенним, чуть тепловатым солнцем. Налетавший из ущелья ветерок, холодный и ясный, время от времени уносил тепло. И было приятно снова замирать, чтобы лучше грело.

Здесь, в сквере, он принял еще две таблетки.

Пульс вроде не менялся.

«Зачем это я... Что со мной?» — подумал было Кирилл, но за этим опять стояло что-то большое и серьезное, а думать не хотелось, и он прогнал эти мысли.

Входя в зал, он съел еще таблетку и выбросил пустую пачку.

Картина показалась ему странной.

Какой-то человек с острым лицом бегал с другими людьми по разрушенному, дымящемуся городу и стрелял.

Потом он стал озиаться. Ни с того ни с сего. Озираясь, отстал от всех, нырнул в подворотню. И вот он на чердаке... Да... перед этим вели какого-то старика — руки связаны, автомат в спину, — вели его, а люди замирали ему навстречу и говорили: «Паук, паук...» Человек на чердаке что-то рылся. Нашел какую-то сумку. Озирался, озибался... В общем, он эту сумку унес.

Кирилл вскрыл вторую пачку. Что-то уже тянуло его к ней. Как печенье или конфеты. Он положил таблетку в рот, она расплылась в кашу, и он снова почувствовал этот сладко-кисловатый вкус, который уже только усиливался, но не проходил, оставался во рту долго-долго.

... И вот этот человек уже в хорошем светлом костюме. Хорошая погода — лето. Город не дымится — не развалины. Чистенький, свежий городок. Зелен, зелен... «Очень хороший город», — подумал Кирилл и прослезился.

Картина начинала казаться ему изумительной. Что-то окутывало, обволакивало... Очень нравилась Кириллу и девушка, все более похожая на Валю. Она была чистая и невинная, очень молодая. Это особенно было подчеркнуто. И прической, и платьем. И она не знала, что этот человек озирался и рылся, рылся и озирался, тогда, в дымящемся городе. Она тогда была еще совсем маленькая.

Кириллу нравился не черно-белый, а какой-то коричневатый фон. Некий странный подвал, в который время от времени, озираясь, проходил мужчина. И этот подвал вселял в Кирилла страх.

И вот этот мужчина дарит девушке, такой славной, золотого паука. Паучок на белоснежной блузке. Крупно. Еще крупнее.

Огромный паук во весь экран.

Кирилл пошарил в пачке — там ничего не было. Он скомкал ее и отбросил.

Достал третью. Что-то шевельнулось в нем: «Хватит, хватит...»

Он неуверенно открыл пачку.

... Какие-то мужчины в строгих костюмах — твердые лица. Очень похожие мужчины. Они следят за девушкой.

«Она же ни при чем?! Ни при чем!..» — всхлипывал Кирилл.

Да, она ни при чем... Идет по улице человек. В наручниках. Сгорбился. Совсем как тот старик в начале. За ним — ладные мужчины.

Прохожие останавливаются:

«Паук... Паук!»

... Когда Кирилл выходил из кинотеатра, казалось, не ноги касались мостовой, а мостовая — ног. Не чувствовал ни тела, ни веса. Странное невесомое состояние. Словно он плыл, парил. Мостовая выгибалась. Плыли плоскости. Плоскости улиц, домов. Кирилл ничего не слышал. Высокий звон стоял в ушах. Фильм продолжался. Город был населен героями фильма. Вот он идет по улицам, и никто не знает, что он, Кирилл, — паук. Мохнатый, страшный.

Звон шел вместе с Кириллом. Рядом. Красивый звон.

И Кирилл думал, какая правда в этой картине: чистое — и паук. Паук — это он.

Так он шел, глядя под ноги. Шел неверно и плавно. И остановился у рудничной поликлиники.

— Номерки только на завтра, — сказали ему в регистратуре.

— Я болен... болен... — сказал он. Ему стало нестерпимо жалко себя. Вот он умрет, и никто не вспомнит. Но так ему и надо.

Сестра посмотрела на него внимательно и протянула номерок.

Поднимался на третий этаж. Поднимался и поднимался. Очень долго. Словно отрывался от земли. Ступень, ступень... Марш. Окно. За окном пустошь, столбы уходят косяком, и ветер гонит газету. Звон стоял повсей лестнице. Нестерпимый, почти вой. И в нем глухие удары сердца. Удары во всем теле. Частые-частые удары сердца. Ступень, ступень... Марш. Окно. За окном та же пустошь, столбы уходят косяком, ветер гонит газету... Тыща лет.

Потом он долго измерял температуру. Тыщу лет. Очень быстро в то же время. Одну секунду.

Он подходил, подходил к сестре. Очень долго, целый час, протягивал руку за градусником. Шел, шел к дивану. Шел пешком от рудника до дома, дома в Ленинграде. Садился на диван. Клад, клал градусник под мышку. При этом расстегивал ворот, пуговицу за пуговицей, — миллион пуговиц! И клал градусник. Устраивал его под мышкой. Вынимал руку. Нес ее по воздуху. Клад, клал ее себе на колено.

Звон повсюду.

Он сидит и сидит. Подходят люди: Берут, берут градусники. Ставят их под мышки. Вот они идут целой процессией в бесконечность — все с градусниками. Идут тыщу лет. Проходят мимо.

Часы стоят.

Звон-н-н...

Но это был только миг: он взял градусник — сел с градусником — встал — подал сестре.

И вот сестра пишет и пишет на обороте номерка... Написала: «37,0».

Так и бюллетеня не дадут! Не дадут!!! Не дадут... Что же тогда делать?! Все. Все пропало. Деться некуда. Страшно. Он такой маленький, и его что-то давит. И звенит при этом. Все пропало. Руки. Что-то странное

с руками. Они разбухают, растут. Две огромные, ленивые клешни вместо рук. Какой-то гуд в них. Что же делать?! Что!

Идя к кабинету, Кирилл съел подряд еще две таблетки. И выкинул пустую пачку.

— На что жалуетесь?

— Оглох. Все звенит.

— Что звенит?

— Все.

— Значит, звенит... Вытяните руки. Что с вами?

— Звенит.

— А что вы так потеете?.. Когда зазвенело?

— Сейчас.

— Вы говорили, все время?

— Да.

— Так сколько же времени звенит?!

— Все время.

— Теперь не звенит?

— Звенит.

— А теперь?

— Да.

— Что — да?! Не звенит?

— Нет.

— Звенит или не звенит?!

— Не знаю...

Звон-н-н.

Кирилл машинально спустился. Вышел. Шел по улице. Мутно и вдруг вырастали перед ним люди, дома, дома, люди. Качалась мостовая. Он был невесом.

И все звенело.

Вдруг он обратил внимание, что стоит. Он не знал, сколько времени он простоял перед домом. Было темно. Дом был Валаш. Он не знал, почему остановился здесь.

Кирилл прошел в дом. Все было так же, но все чужое. Вот и 18-й номер. Кирилл постучал — никто не отозвался. Дернул дверь — заперта. Нашарил за косяком ключ. Открыл. Не зажигая света, сел в кресло. Было тут такое очень старое и очень мягкое кресло. Он сразу утонул в нем по шею, спинка и бока кресла нежно его обняли. Очень хорошее кресло.

Так он сидел в темноте, сжавшись в кресле, и смотрел в окно, за которым качался фонарь. Смотрел на



блики, бежавшие с левой стены на правую и обратно — с правой на левую. И слушал звон. Звон нарастал, если к нему прислушиваться. Он дорастал до рева, заглушая все остальные звуки. Правда, остальных звуков было мало.

Тогда, когда звон уже был нестерпим, Кирилл начал прислушиваться к собственным всхлипываниям. И тогда, постепенно, можно было слышать в основном всхлипы, а звон где-то далеко. Но почему-то, успокоившись, Кирилл снова начинал прислушиваться к звону, и звон рос, заглушал все.

Так он сидел обмякшим комочком в нежном кресле, в темной комнате, смотрел на блики, слушал звон и казался себе маленьким-маленьким. Так он сидел и пронижительно жалел себя.

Он жалел себя за то, что вот он такой маленький-маленький, а его что-то давит и давит, что его никто не любит, что он отовсюду выгнан и совсем-совсем одинок. Такой больной, он скоро умрет. А прислушавшись к звону — нет, сойдет с ума. Такой тихий-тихий сумасшедший...

Кирилл всхлипывал, слезы скатывались по щекам и стыли под подбородком. И поскольку они холодили, не хотелось двигаться. И он замирал, замирал. Слушал звон — плакал. Слушал, как стучит пульс во всем теле, — и плакал. Думал, какой он одинокий и никто его не любит, — и плакал.

Так он сидел долго и отходил понемногу.

Послышались шаги и шорох — шарили за косяком. «Валя...» — подумал Кирилл. И первым его порывом было вытереть слезы и подобраться. Не найдя ключа, Валя толкнула дверь.

— Странно, — сказала она, входя в темную комнату.

Кирилла снова пронизала острая жалость к себе. Он шевельнулся, почувствовал мягкое прикосновение кресла и пожалел себя еще больше. И еще ему захотелось, чтобы его пожалели. Вытирать слезы он не стал, подбираться тоже. Так и сидел, утонув с головой в кресле, лицом к окну, спиной к двери, к Вале. Старался сделать красиво-страдальческое лицо. При этом почему-то в голову лезла картина, изображавшая Св. Себастьяна, красивого юношу, пронзенного десятком стрел. Звона он уже не слышал.

— Странно, — сказала Валя и включила свет.

Свет ослепил Кирилла, ломил глаза.

— Выключи! Выключи! — крикнул Кирилл.

Валя, до сих пор его не заметившая, вскрикнула, а потом рассмеялась:

— Что ты там притаился?

И этот смех покоробил Кирилла. Как она может! Он так страдает, а она... Все, все такие жестокие, нечуткие!.. И ему стало еще жальче.

— Ты спишь? — сказала Валя и свет погасила.

— Нет, — неестественно скорбно сказал Кирилл.

Валя обошла кресло и остановилась перед ним.

— Что с тобой?..

— Я, наверно, умру, — сказал Кирилл.

Валины глаза привыкли к темноте, и блики иногда освещали его лицо, и она увидела в его глазах слезы.

Она встала перед креслом на колени и взяла его руку в свою. А Кирилл вспомнил, как рука его представлялась ему клешней, и снова заплакал. Заплакал еще и потому, что прикосновение Валиной руки было желанным и приятным, потому что он ожидал этой ласки и жалости и, пожалуй, был в этой ласке уверен.

И он говорил, что умрет, что жить ему не к чему, что все кончилось, что он неизлечимо болен, что ничего не понимает и никому не нужен, что его никто не любит, что он лишний, лишний...

А Валя слушала все это молча, не смеясь, и смотрела на Кирилла, и держала его руку в своих.

И Кирилл чувствовал, что клешня его, неуклюжая, тяжелая, таяла в Валиных руках и становилась рукой.

## Комиссия

«Да что вы, с ума сошли? — сказали ему в больнице. — Он же еще в сознание не приходил. Состояние тяжелое — это все, что мы пока знаем. Врач? Нет, его нельзя увидеть. Ну, если вы так хотите, то сможете поймать, когда он уходит с дежурства. В восемь. Вы его легко узнаете: это самый толстый человек в городе. Только мы вам ничего не говорили...» — так объясня-

лась с ним в приемном покое добрая тетка строгого вида.

Он дождался самого толстого врача. «Ну, чего захотели!.. Навестить его удастся не скоро. Жить-то он будет, но тоже не скоро» — так объяснил дело врач.

Усталый, не евший и не спавший, спешил он из больницы в военкомат. Он уже опаздывал к назначенным девяти часам. Было еще совсем темно, сыро и холодно. Его знобило, даже трясло. То ли от холода, то ли от возбуждения. Тяжелые мысли о Коле и о себе наслаивались на тоже нелегкие — о Вале и о себе. И там и там он уже ничего не мог поделать. Коле он был не в силах помочь, — молил бы бога, если бы верил. И с Валею не расстаться он был не властен, а три года — срок большой.

Это было даже неприлично, как его трясло.

...По вестибюлю военкомата разгуливали парни, стриженные наголо. Ходили они поодиночке, незнакомые друг с другом. И посматривали исподлобья, не то что недружелюбно, но как-то без особого желания знакомиться. Их будто что-то расталкивало, этих парней. Проходя вестибюль, Кирилл чувствовал, что отличается от них чем-то, что они смотрят на него чуть ли не с завистью, но он не понимал, в чем дело. Да ему было и не до этого. Только удивился мимоходом, что это они так поспешили постричься?

Кирилл подошел к дежурному офицеру, молоденькому лейтенанту, протянул повестку. Лейтенант повестку взял, почему-то рассматривал ее пристально и серьезно, словно впервые такие штуки видел. Кирилла это раздражило.

— Она не поддельная, — сказал он.

Лейтенант бросил на него короткий взгляд.

— Вы мне лучше скажите, почему вы до сих пор не постриглись? Может, общий порядок — это не для вас? — сказал он с готовой иронией.

— Так ведь еще рано, — удивился Кирилл и растерянно провел по волосам рукой. — Это же перед отправкой...

— Вот что, я с вами дискуссий разводить не намерен! — говорил лейтенант, с удовольствием заимствуя и слова и тон кого-то, кто был для него во всех

отношениях примером. — Идите и постригитесь. Иначе не возвращайтесь.

— Может, вы меня еще три месяца тут продержите до отправки... — сказал Кирилл. — Может, я большой и меня еще не возьмут?

— Возьмут, возьмут. Уж это точно. Такого орла да не взять! — говорил лейтенант с таким придуманно ласковым пониманием во взгляде и прибавил с такой же придуманной грубоватостью:

— А ну марш стрисься!

«Из-за чего разговор? — подумал Кирилл. — Спорю тут, дурак, с дураком...»

Кирилл пожал плечами и направился к выходу.

— Куда вы? — крикнул лейтенант.

— Стричься, — сказал Кирилл.

Парни-одиночки, уже пережившие все это, даже приостановились в своем хождении, наблюдая сцену. Сейчас они удовлетворенно хохотали.

Дверь, снабженная мощной пружиной, наддала ему в спину. Все противно встряхнулось в нем от толчка.

— Наголо?

— Наголо.

— Совсем наголо?

— Да.

— Военкомат?

— Да.

После этого «да» парикмахер, до того медливший, подпрыгнул к нему и в одно мгновение выстриг машинкой широкую полосу с затылка на лоб.

Кирилл увидел себя в зеркале и рассмеялся. Вот сейчас бы пойти и показаться в таком виде лейтенанту. С эдаким проборчиком... Посмотреть бы на него!

Но пока он мечтал об этом, парикмахер уже снял все, что оставалось слева от полосы. Теперь волосы нелепо торчали только с правой стороны. «Так еще лучше!» — успел подумать он, и парикмахер с движениями фокусника не оставил на его голове ничего.

Кирилл с удивлением смотрел на себя в зеркало, так же исподлобья, как те парни в вестибюле. Он никогда не подозревал, что голова у него такая круглая...

А парикмахер, верткий парень не старше Кирилла, необыкновенно в противовес ему волосатый, будто уже вовсе издеваясь, проходил по круглой го-

лове Кирилла. Словно поглаживал. Словно старался. Все это было нарочно и глупо. «Чем он так в себе доволен?» — думал Кирилл, с досадой прицениваясь к длинной, бесплечей фигуре парикмахера. А тот, нежно прикоснувшись машинкой еще раз, как бы подровняв последнюю волосинку, в последний раз бросив в зеркало свой глупо-насмешливый взгляд, сдернул с шеи Кирилла салфетку, взмахнул ею...

— Готово!

Выходя из парикмахерской, Кирилл еще раз увидел себя в зеркале. «Точно такой же...» — подумал он, вспомнив парней в вестибюле.

Парикмахерская и парикмахер как-то раззадорили его и отвлекли. «Интересно, что это ему было за удовольствие поиздеваться надо мной? — подумал он. — Что за радость?»

— Вот так-то лучше, — сказал лейтенант. — Так бы давно.

— Что — давно?! — огрызнулся Кирилл. «Кто его за язык тянет? Оставил бы меня в покое...»

— Но-но! — сказал лейтенант. — Полегче...

Кирилл скрепился и смолчал.

— Тебя бы в мой взвод... — многозначительно добавил лейтенант.

Кирилл и тут смолчал и стал ходить по вестибюлю так же отдельно и так же вперед лбом, как и остальные парни.

Так он ходил целый час. Было уже около одиннадцати. Бессонная ночь брала свое. Страшно хотелось есть, пить, спать. Его снова начало знобить.

— Долго еще нам так пастись? — спросил он лейтенанта.

— Ждите, вызовут, — сказал тот.

— Да господа, напишите, что я годен, — и дело с концом. Что я, не годен, что ли?

— Сами же говорили, что, может, не годны, — съязвил лейтенант, и, видно, это доставило ему полное удовлетворение: он улыбнулся вдруг непридуманно широко и открыто, удивительно по-детски.

— Но теперь-то я уже постригся? — сказал Кирилл. — И этого не говорю? Ведь я годен, это ясно, что же меня здесь мучить? Я не ел, не спал. Пока дождусь — окажусь негодным.

— Что же ты не ел, не спал?

— Ночная смена.

— Не повезло тебе, — сочувственно сказал лейтенант. — Не подгадала у тебя смена. Ну, ничего, уже скоро...

И действительно, вышла сестра, собрала всех в кучу и повела. По бесконечному коридору. В конце коридора была занавеска. Сестра завела их туда и там оставила. В этом закутке ходить было негде. И они стояли, не встречаясь взглядами, независимые друг от друга, незнакомые. Только двое оказались приятелями и оттого, почувствовав себя уверенней, говорили неестественно громко. Это было предназначено для чужих ушей, что они говорили, это было глуповато и назойливо. Пожалуй, они тоже не чувствовали себя уверенно.

Наконец начали вызывать:

— Абельский! Акатов!

— Я. Я...

— Раздевайтесь.

Засуетившись, вызванные застенчиво стягивали через головы рубашки, снимали брюки, оставались в трусах. Складывали одежду на стульях. Старались ни на кого не смотреть.

Дверь снова отворилась. Высунулась голова:

— Что вы там копаетесь! А трусы? Трусы тоже, тоже...

Ребята, потупившись, перешагнули трусы и стали какие-то совсем другие, с незнакомыми лицами.

— Болобонов! Бухалов — приготовиться.

Было холодно. Кирилл знобило все сильнее. Никак было не унять этой противной дрожи. Скулы уже пыли, — так он сжимал зубы, чтоб не прыгали.

— Вороненко, Зарембо — приготовиться.

«Скорей бы вызвали... О, черт! Трясет, как собаку. Жди тут. Словно тебя в Италию отправляют». Была бы у него фамилия на «А»...

— Иванов А. А., Иванов А. Б. — приготовиться.

«Скорей бы... И спать».

— Иванов Ф. Ф., Игошин — приготовиться.

«Наконец-то через Ивановых пролезли...»

— Приготовиться...

— Приготовиться...

— Капитонов, Капустин — приготовиться.

«Какой Капустин? Еще один Капустин? Глупость какая! Это же я — Капустин».

— Я.

— Раздевайтесь, не задерживайте.

Кирилл точно так же стянул через голову рубаху. Ощущение было новым: голова, круглая, гладкая, выскользнула из рубахи с удивительной легкостью. Точно так же перешагнул трусы. Стоял голый. Не знал, как ему стоять голому...

И вот их ввели: его и Капитонова. Этот Капитонов был очень мал и шупл, втрое меньше Кирилла. Зал, в который их ввели, удивлял своим несоответствием делу комиссии: тяжелая и легкомысленная лепка всюду и масса зеркал. Кирилл увидел сразу несколько отражений, своих и Капитонова. Зеркало отразилось в зеркале, и он увидел бесконечную шеренгу больших голых Капустиных и маленьких, но тоже голых Капитоновых.

Он шел по кругу зала, обходя стол за столом.

То, что за столами сидели одетые люди, а он должен был расхаживать голый, вызывало в нем чувство скованности: как перед фотографом, только сильнее. Некоторое время он был весь в переживаниях голого человека. Желание сохранить достоинство еще больше мешало держать себя просто. К тому же среди врачей были две молодые женщины. Ощущение, что ты стараешься сделать гордое лицо, а сам голый, было совсем глупым.

Первый врач понравился Кириллу. Весь его вид и тон были подчеркнута доброжелательны. Он вежливо предложил Кириллу сесть. И хотя Кирилл и ощутил всю нелепость этого предложения (сидясь, он еще резче почувствовал свою наготу, и клеенка стула была неприятно холодной), он был благодарен этому доброжелательному старику. Старик расспрашивал его про все болезни, которые с ним случались, расспрашивал со всеми подробностями и великим участием, слушал внимательно, слегка склонив голову набок и подмаргивая добрыми глазами. Старик так расспрашивал, что Кирилл начинал ощущать себя больным. Ему было приятно рассказывать и рассказывать старику все со всеми подробностями, но тот вдруг прервал его на полуслове и, откинувшись, словно удалившись, сказал, и лицо его было усталое и равнодушное:

— Все. Ступайте к следующему.

В Кирилле что-то поднялось и опустилось. Он стоял, снова голый, а потом шел, голый, к следующему столу.

Это была толстая, круглая тетка очень уютной натурности. Чувствовалось, что она не прекращает делать зарядку и обтираться холодной водой. Живые и веселые ее глаза обшарили Кирилла. Своим бодрым голосом она расспрашивала все больше о том, откуда он, да где учился, да как его выгнали, кто его родители и как они его отпустили. Она охала и причитала, сочувствовала и сокрушалась. Это был интерес матери, с детьми которой никогда такого не может случиться. Кирилл, опять попавшись на ту же удочку, охотно выкладывал ей все, потому что мало кто интересовался этим всем, его прошлой жизнью, а ему она не была безразлична. Но и врачиха слушала, слушала, а потом, словно насытившись, сказала равнодушно-ласково:

— Ну, желаю вам успеха.

И Кирилл почувствовал себя дважды голым, удовлетворив любопытство совершенно чужого ему человека. Досадовал.

Хирург, терапевт, глазник, ларинголог — все это Кирилл проскочил без особых задержек. Он перегнал Капитонова уже на два стола. Капитонова задерживали.

Последним был невропатолог. Эта красивая женщина имела брезгливое и недовольное выражение лица. Кирилл был уже достаточно измучен и разочарован, чтобы почувствовать себя очень сложно перед нескрытым презрением этой красавицы. Он понимал, что, голый, он не в силах сказать что-нибудь путное, остроумное, что привлечет внимание такой женщины. Удручало то, что, даже найди он в себе для этого силы и возможности, это не прозвучит у него, голого, вернее, она никогда ничего не услышит в своей брезгливой убежденности, что тут не может быть ничего достойного ее внимания. Она говорила отрывисто, в сторону, не глядя:

— Жалобы есть?

— У кого их нет, — сказал Кирилл.

— Перестаньте, — сказала она, поморщившись.

Она стукнула его по коленке — нога дрыгнула.

И вытянутые руки дрожали. Все это было сегодня не мудрено. Кирилла всего трясло. Он ничего не мог с этим поделать.



— Перестаньте, — опять сказала она. — Перестаньте вы трястись!

— Извините, — сказал Кирилл, — сегодня я ничего не могу с этим поделать.

— Ну да... — сказала она. — Пьете?

— Да нет... Не пью, в общем...

— В общем... — передразнила красавица. — Курите?

— Курю, — вздохнул Кирилл.

— Мочитесь? Припадки бывают?

— Господи! — сказал Кирилл. — Ну конечно же...

— Ну, ничего, — ядовито сказала красавица, — в армии это у вас пройдет.

Впритык к столу невропатолога был стол председателя комиссии. Этот круглый седой человек повернулся к Кириллу и теперь разглядывал его прозрачными глазами. Кирилл подошел к нему.

— Вы же неглупый и достаточно образованный молодой человек... — говорил он, рассматривая карту Кирилла. — Ну как вы не понимаете, что люди тут на работе.

Кирилл стоял перед столом председателя голый и чувствовал себя глупо. Ему нечего было возразить. Говорить про ночную смену и несчастье, выбившее его из колеи, он не мог и не хотел. Это было, впрочем, и не совсем то. Председатель крупным аккуратным почерком стал выводить в итоговой графе: «ГО...» Написав «ГО», он приподнял голову и сказал:

— Вам нужна армия. Вам она просто необходима.

И тем же почерком дописал: «ДЕН». И все это: и то, как он писал, и то, как делал ему замечание, — состояло из безукоризненно профессиональных движений врача, выписывающего рецепт.

Го-ден.

И размашисто подписался.

Годен и в авиацию, и во флот, и в пехоту, и в училища, и в танковые части. Всюду годен Кирилл Капустин.

Вот Капитонов — тот, кажется, никуда не годен.

Слава богу, кончилась эта морока. Не говорил ли он с самого начала: напишите «годен» — и все? Он оделся и согревался понемногу. Чувствовал себя даже свежим, даже бодрым какой-то дрожащей бодростью.

Он шел к общежитию и думал о том, как внезапно, и сразу, и все вместе приходят в спокойную жизнь события и потрясения. И все переворачивается. Да, думал он, скучать от спокойной, размеренной жизни нельзя: она так быстро проходит...

«Да, время пролетело... — думал он. — Полгода, как один день».

И вдруг его поразило, что со времени, когда ему вручили повестку, прошло всего два дня. «Не может быть, — подумал он, — чтобы — два дня.

С временем началась путаница...

Сначала очо было ожиданием. Завтра, завтра... Так прошла неделя, и ждать надоело — приелось. И с этим привыканием все как бы отдалилось в неблизкое будущее: это будет, конечно, но когда-то, не сейчас. И тогда дни потекли так, как текли они и до этого: как один, день за днем. Наступила совсем зима, холода. Работа, Валя, Валя, работа. Прошел месяц, проходил другой. И когда снова пришла повестка, она пришла опять вдруг, так же внезапно, как и в первый раз, так же неожиданно. Хотя что уж тут необычного, внезапного или неожиданного?..

## РАССТАВАНИЕ

### Послезавтра

Надо взять с собой кружку, ложку...

А остального не захватить с собой...

Не взять раздевалки и шкафчика № 308, который отпираешь своим ключом, а там твоя каска и роба, она была совсем новая и стояла колом, когда получал ее со склада, не взять с собой шуток, словечек, смешочков, перелетающих от шкафа к шкафу, не захватить сложного запаха пота, портянок и одежды, мокрой после смены и сухой, пыльной перед выходом, не пройти бо-сому, в одних трусах, по деревянным решеткам между рядами шкафчиков, неся на вытянутой руке железное

кольцо с нанизанными на него одежками, чтобы сдать их в сушилку толстой и распаренной старухе Марфе, а сдав, не пройти со всеми в душ, не тереть Коле или Сене спину и не гоготать, будя до странности громкое эхо душевой, не выходить потом распаренному, новорожденному на воздух и не идти со всеми в столовую, а потом в общежитие, и не приходить на рудник рано-рано утром, когда еще дымится от росы земля или новый снег на ней схвачен новым морозом, не приходить поздно-поздно вечером, когда звезды горят ярко и колюче, не обменивать номерок на лампу и не подниматься по скрипучей крытой деревянной лестнице-эстакаде, не захватить с собой бревнышка, на котором сидел и курил, пока собиралась вся смена, и этих разговоров о прожитом со вчерашней смены дне, не идти потом гуськом по выработкам, не раскачивать лампу в руке, не захватить с собой огромных теней, болтающихся по неровным каменным стенам, не перевезти с собой разнарядку, комнату в скале, не вернуть бегущих по откаточному горизонту составов, возникающих светлой точкой в темном конце выработки, и эта светлая точка бежит, растет на тебя, заполняет все, слепит и проносится мимо с лязгом, грохотом, и уносится, не взять, не поймать, не вынести горьковатого дымка отпалов, расплзающегося по выработкам после взрыва, воя вентиляторов и той струи воздуха из вентиляционного ствола — против нее так трудно шагать, не захватить с собой, не захватить с собой, не захватить с собой, не захватить с собой, не захватить с собой, не найти такой тишины, такой темноты, только здесь, только здесь, Коля мой, Коля, не захватить с собой дрожи стен, дрожи земли под ногами от взрывов где-то недалеко, не захватить и самих темно-серых каменных стен, неровных и влажных, по ним сбегаят, как испарина, струйки, а осветить лампой — какой там серый! — искрится, сверкает, не взять с собой, не взять разговоров, разговоров — о чем? — не скажешь, мудрости — в чем? — не поймешь, не захватить темной, сырой, живой массы добытой породы, прущей из люков, первобытной, животной ее силы и того звериного рыка, который раздается из темной пасти, откуда течет руда, мокрая, шевелящаяся, как лава, этого действительно рычания породы, мягкого, страшноватого, — голоса земли, не захватить, не взять перекуров, перекуров, их степенности и серьезности

и того, чего-то простого и понятного всем, что присутствует при этом, ни их веселости, смеха, ни тебя, Коля, ни Васи, ни Пети, ни того момента, когда кончается смена и идешь, идешь вверх, вверх — домой, идешь, а потом выходишь и — боже мой, небо, солнце, мир! — и шуришься, шуришься: как светло на земле! словно ты родился еще раз и еще раз, и пьян почти, — все это надо оставить.

Все это превращается в подписи на бегунке.

Сам того не замечая, Кирилл разговаривал вполголоса и даже шепотом, когда объяснял сестре, к кому он пришел, и сестра говорила, что нельзя, а Кирилл — что он узнавал и уже можно; сестра звонила по телефону и сказала, что да, действительно, уже можно, но до того было долго нельзя, потому что больной был очень слаб, но теперь можно; она просто не знала, что уже можно. А когда Кирилл надел халат и, усвоив, как пройти, стал подниматься по лестнице и потом шел по длинному коридору, — у него была уже другая походка, другая фигура и даже другое лицо.

Больница была новая, по последнему слову. Много стекла и много белых стен. Тишины, чистоты, белизны и света — всего этого было очень много. И больше ничего не было. Не было видно и людей, а если и появлялась какая сестра, то прошмыгивала такой неслышной тенью, что трудно было представить, была ли она на самом деле или ее на самом деле не было.

Кирилл шел другой походкой по бесконечному коридору, мимо одинаковых дверей, отличавшихся только номерками сверху, и эта одинаковость делала коридор еще более бесконечным. Лицо у Кирилла было другим и от общей скованности и неестественности, незаметно начавшейся, как только он переступил порог больницы, и оттого, что он чего-то ждал. Это ожидание не было выражено конкретно в том-то и в том-то. Тут и то, что на работе Коля — самый близкий ему человек, и то, что Коля спас его однажды, а позднее пострадал сам, и то, что Коля был долго плох, хотя теперь ему и лучше, и то, что Кирилл боялся увидеть, что Коля все-таки плох, и надеялся, что ничего, и то, что он боялся не увидеть, не узнать Колю, как не узнал в свое время бабушку, когда

навещал ее в больнице, и через неделю она умерла, и он сам со своей болью, со своими мыслями, надеждами и неладями — все это, неясное, неразделенное, невыраженное, было вместе и называлось ожиданием чего-то.

К тому же сегодня было солнце, когда он шел сюда, и снег слепил, небо синее-синее и воздух острый, кристальный — слишком хорошая погода...

Воздух в больнице был теплый, но в меру, абсолютно чистый, в меру сухой и влажный — целиком продуманный воздух. Индивидуальным был запах. Правда, он был значительно слабее, чем в других, более старых больницах, в которых бывал Кирилл. Этот чуть слышный лекарственный запах был тем тревожнее и острее. Казалось, он то слышится, то нет.

Бесконечный коридор, словно шаг на месте мимо одной и той же двери, и только мелькают номерки на дверях, возрастая на единицу.

Кирилл приоткрыл дверь «57», просунул голову. Увидел небольшую палату, такую же светлую, чистую и пустую, и в ней шесть коек. Койки ничем не отличались. Кирилл стал переходить взглядом от одной к другой и вдруг услышал свое имя. Это было так тихо, что можно было скорее угадать, чем услышать, но Кирилл уже подходил к одной из коек. Он подходил к ней и уже ясно видел что-то неестественное, громоздкое, распиравшее белоснежную простыню.

И Коли там не было.

Это было настолько точное ощущение, что его там не было, что Кирилл, не сознавая, неожиданно громко позвал:

— Коля!

— Да, Кирюша... здравствуй... проходи... садись... возьми табуретку...

Тогда он увидел, что это громоздкое и есть Коля, только он был там, внутри, как в раковине, и видна была только маленькая и сухонькая его голова с паутинкой серых волос на лбу. Это был Коля и не Коля.

Кирилл сел на табуретку.

— Вот... — сказал Кирилл. Он не знал, что делать дальше, что говорить, и деревенел.

— Расскажи, — сказал Коля.

— Вот тут апельсины... А тут ремешок...

— А, ремешок... — сказал Коля. — Часы-то мои стали.

— А что с ними? — не успев подумать, уже спрашивал Кирилл и сразу же злился на себя за глупость и никчемность вопроса.

— Не знаю, — сказал Коля. — Стукнулись, наверно.

Помолчали. Кирилл разглаживал колени.

— И я вот встал... — сказал Коля. — Как часы...

Кирилл не знал, как вести разговор об этом. И сразу вставала его не совсем понятная вина перед Колей. И ему хотелось отвлечь Колю от этого разговора.

— Ребята, — сказал он, — все о тебе вспоминают. Шлют тебе привет. Скоро зайдут.

— Да? Спасибо. Расскажи, расскажи...

Это «расскажи» прозвучало спокойно и равнодушно. Казалось, Коле это не было интересно. Но Кирилл был рад как-то начать разговор.

Он рассказывал про то, что Вася женился и какая была свадьба, а Сенья-старый снова разругался с женой, что им на участок дали новый электровоз и это очень хороший электровоз, что Кнютфер ушел в отпуск.

— Да... — сказал Коля вне всякой связи. — У меня вот тоже... Мне доктор обещал, что еще месяц — и все будет в порядке. Они ждут новое средство...

И Коля говорил с оживлением, даже с горячностью, об этом средстве, которое мы ждем со дня на день, и какое это замечательное средство, какие оно дало уже замечательные результаты, но только его еще очень мало и достать его трудно, но к нам оно придет уже точно, и мы ждем его со дня на день... и как оно быстро поможет ему, потому что пока он чувствует себя еще неважно, что вот болит... Он с легкостью оперировал медицинскими терминами, и это звучало странно в его устах. И он снова говорил о средстве, которого все мы ждем со дня на день. И говорил «мы», «нас» — о больничных, и «они», «их» — о ребятах, и это было тоже странно.

Кирилл томился и ждал, чтобы как-то вклиниться и попытаться переменить тему.

— Да, это здорово, если средство... — сказал он. — А я вот послезавтра ухожу.

— Куда? — безразлично спросил Коля.

— В армию... — Кирилл удивился, что Коля забыл об этом.

— А!.. — оживился Коля. — Ты говорил, помню. Я ей восемь лет отдал. Прямо из срочной, последний год уже шел... и на фронт. До самого Берлина. А потом еще восемь... Да я тебе рассказывал... А потом уже гора. А теперь — вот. Вот и жизнь.

— Да что ты, Коля! — сказал Кирилл. — Мы еще вместе поработаем, когда я вернусь.

— Может быть... Может быть. Да ты и не вернешься. Ты учиться пойдешь. Ты учиться иди. Неученому теперь — что. Не горбатиться же тебе, как мне...

— Жизнь длинная, — сказал Кирилл неуверенно. — Что загадывать.

— Не говори — длинная. Это ты не знаешь еще. Мелькнет — и нет ее. Это только каждый день длинный, а жизнь — пустяки, глазом не моргнешь.

Кирилл не нашел что сказать.

— Я вот все лежу, — сказал Коля, — не шевельнуться — все думаю. Думал, что умру, — так что думал много. И подумал я, что все люди жизнью своей недовольны. Им все кажется: не такая у них сегодня жизнь, а настоящая — завтра начнется. Им все кажется, что это пока, а должно быть — другое. А другого — не будет. Так и умереть можно — все ждут и ждут, и ни одного дня своего вроде и не жили. Всем кажется: есть какая-то «особая» жизнь, а сейчас — так себе, притворство. Может, это только мне кажется?.. Меня все гнуло — я все снова пережить хотел. Слишком много было лишнего. Иначе вроде все могло бы быть... Но вот я думал — и зависть прошла. Вдруг я понял, что не в обстоятельствах дело. Видел я мало, потому что плохо видел и мало любил. Жизнь всюду одна — так мне теперь кажется. Я не знал хорошей жизни, но теперь припомнить — все у меня было: и любовь, и вино, и товарищи... а уж работы! И свобода была, и горе... Все было. Может, чего-то побольше, а чего-то поменьше, чем надо, но все это было. И вроде бы как и у людей — такое же. Вот я и думаю теперь, что понимать это — и есть свобода.

Кирилл удивлялся. Ему казалось, что это и есть то самое, о чем он думал все последнее время.

— Я так тоже думал, — сказал он.

— А иногда я думаю, — сказал Коля, — что, может, и не так все это, что я тебе сказал... Может, и не так. Может, что вино было похуже, и бабы поне красивей, и вкалывания побольше, и свободы поменьше — может, это и худо, думаю. Думаю, может, чтобы все это было немного получше — в этом и смысл? Может, я ничего-то на свете и не видел, раз все у меня было чуть похуже? Только похуже чего? А, Кирюша?

Теперь Кириллу казалось, что не то, а именно это и есть то самое, о чем он думал. Но он хотел успокоить Колю:

— Да нет, Коля. Это сначала ты правильно сказал...

— Нет, это ты, наверно, еще не знаешь... — говорил Коля. — Подумать только: попасть в беду человеку надо, чтобы он думать начал! Слово я и не думал ни разу до этого...

— Ничего, Коля... Все еще будет хорошо... — не слишком уверенно сказал Кирилл. Он думал, о чем бы ему рассказать, но в голову лезли какие-то и вовсе глупые мелочи, случайности. И он уже понимал, что даже главные события — это не то, что надо сказать сейчас Коле. Что Коле необходимо что-то иное, какое-то особое участие. И он, любя Колю, не мог найти этих слов. Только мелочи. И он ничего не сказал.

— Да... — сказал Коля. — Хорошо, что у меня теперь другой доктор. Девчонка — какой она врач! А теперь настоящий доктор...

И он говорил с раздражением про прежнего доктора, который был, когда ему было так плохо, и ничего не умел сделать, чтобы ему было хорошо. И говорил хорошо про другого доктора, который появился — и ему стало лучше, и теперь уже доктор говорит: через месяц все будет в порядке, потому что это очень хороший доктор, и он достанет Коле средство буквально со дня на день...

Кириллу очень хотелось сказать наконец то, что надо Коле. Но он никак не мог найти слова сочувствия; то ему казалось, что они будут вялыми и равнодушными или надуманными и фальшивыми, то казалось, что они заденут Колю или испугают, и к тому же ему хотелось, чтобы Коля хоть ненадолго забыл о своей болезни, и это будет ему полезно. И он уже чувствовал, что именно



эти слова ему и надо сказать, обычные, затертые, жалостливые. Что они-то, и никакие другие, нужны сейчас Коле.

А в словах Коли появилась обида. Большая обида, что ему больно. Он жаловался, где у него болит и как. И что вот все придумывают и летают, а не могут придумать, чтобы не было больно. Что все это случилось с ним, а с другими и с Кириллом — не случилось, и вот он, Коля, болен, а другие с Кириллом — живы и здоровы.

И так как Кириллу все было не сказать тех хороших слов по чувству, которое нес он сюда с собой (словно он разучился говорить с Колей, такой здоровый с таким больным, словно разные они люди, на разных языках...), он сказал:

— Ты постарайся, Коля, меньше думать об этом...

Коля, словно очнувшись, словно поняв что-то, посмотрел на Кирилла.

— Очень ты молодой... — сказал он, — и здоровый. Ну, иди... Спасибо, что попрощаться зашел. Счастливо тебе служить. Иди, иди. Я устал.

И сразу как-то удалился во взгляде, закрылся, ушел в свою гипсовую раковину...

Кирилл ощутил себя только на улице. Прошло, оказывается, совсем немного времени. Еще не скрылось солнце, и снег слепил, и синее-синее небо, и воздух острый, кристальный. Кириллу стало радостно. Ему было совестно и неловко своей радости, но он ничего не мог с ней поделать.

Он думал о том, что болезнь — наибессмысленнейшая вещь для живого человека, вредная и подлая вещь. Что болеть нельзя. И радовался своей молодости.

Внизу, у тети Веры, лежало письмо, адресованное ему, Кириллу Капустину. Он повертел его: почерк был круглый и незнакомый. Штемпель — ленинградский. Подпись неразборчива.

Вскрыл.

Это было Мишкино письмо.

Какие-то далекие вещи писались где-то далеко...

Это ужас, до чего всем им сейчас туго приходится. Сессия на носу. Чертежи, курсовые... Завал. А тут еще

влюбился некстати. И он просто счастливчик, Кирюха, что ушел от всего этого... Надеюсь, ты на меня больше не сердишься и мы снова друзья, писал Мишка. Очень жаль, что они не смогут пойти вместе в турпоход на лыжах на зимние каникулы. А вообще — тоска, хандра. Состояние очень тяжелое... И т. д. и т. п.

А в конце — еще приписка, Р. С., так сказать. Обращение к Кирюхе, как специалисту и теоретику по всем вопросам:

«Не думал ли ты, какую цель преследовал Роден, изобразив Гюго голым? Я довольно долго ломал голову, но безуспешно. Напиши свои соображения по этому поводу.

Большой тебе привет от Боба. От него всяческие поклоны».

От какого Боба?.. Боба-боба... Какие у меня соображения по поводу того, что Гюго изображен голым? Надо же, никаких... Может, это и не Гюго вовсе?.. Если бы Мишка был здесь, то пришел бы ко мне и просидел бы весь день, считая, что помогает мне пережить отъезд!.. И мы бы поговорили о голом Гюго.

Голый Гюго?.. Гюго. Голый. Подумать только... Голый Гюго!!

Рабочий день подходил к концу, и Кирилл пошел встречать Валу.

## **Завтра**

Последний день Кириллу хотелось провести наилучшим образом.

Всегда хочется уйти чистым, оставить после себя все в образцовом порядке, стать на этот день своим собственным, ни разу не достигнутым идеалом, стать голубым во всех отношениях.

Хочется заплатить всем долги, сделать всем визиты и написать всем письма.

Вымыться, выбриться, переменить белье и разобратся в хламе.

Надеть чистую рубашку.

И открыть форточку.

Чтобы ветер гулял по комнате, шевелил занавески и гонял по полу последнюю ненужную бумажку.

Даже бегунок — эта нелепая необходимость в послед-

ний момент обскакать все на свете — даже бегунок посвоему нужен.

Надо, надо... Словно бы действительно так уж необходимо отыскать эту книгу и сдать ее в библиотеку или заплатить коменданту за разбитое стекло или пропавший чайник.

Надо написать домой хорошие письма...

Хочется оставить после себя все в полном порядке... И это никогда не удастся.

Завтра надвигается и гипнотизирует. И сегодня становится все торопливей и бестолковей.

Кирилл делал зарядку, бегал в лесопарк, мылся, брился, переодевался, прибирался и упаковывался, такой деятельный, образцовый.

Потом вдруг взглянул на часы — обмер. Так быстро и бессмысленно, казалось ему, пролетело драгоценное время. И заспешил, заспешил... Суетился — и никак ему было не остановиться. Какие-то ненужные, посторонние, чужие дела вдруг набежали, окружили, затормошили. Выколачивать, например, комендантше ее ковры в последний день — это же пытка! Но он выколачивал их целый час — выполнял давно данное и всегда откладываемое обещание. Все дело в том, что откладывать на завтра ничего уже было нелзя. И он, такой выглаженный и чистый, весь пропылился от этих ковров.

А ведь последний день... Надо спешить к Вале, надо прожить этот день так, чтобы остался он прекрасным воспоминанием... Как это делается, прекрасное воспоминание? Он разучался нормально двигаться и говорить, видеть и слышать, когда задумывался над этим. Разучался жить, как жил, не задумываясь, день за днем.

Ведь день-то последний! А вечером еще отвальная... А ему хотелось одного: остаться наедине с Валею эти последние часы — и больше уже никого не видеть. Но он не отказался от отвальной. Наоборот, бегал и суетился — организовывал. «Кому это нужно?» — временами лишь думал он.

И вот наконец ковры выколочены, отвальная кое-как организована, и он больше не станет так глупо терять время. Он идет к Вале.

Город идет ему навстречу. Это уже совсем другой город. Ленинград он знал и зимой и летом, и днем и ночью и не удивлялся его переменам: это был всегда

один и тот же город. А в этот город он приехал летом и запомнил его летним, этот полярный город. И город этот, став зимним, был ему незнаком и неузнаваем. Солнце садится, а ведь оно только взошло. Косые лучи бьют в лицо и не греют. А кругом все искрится под солнцем: крыши, над ними горы, над ними — небо. И озеро ледяное, белое. И воздух морозный, в иголочках. Идут навстречу люди, меховые, толстые. Идут навстречу женщины и несут сетки и сумки с картошкой, с булкой. И совсем молодые девочки идут ему навстречу... Идут навстречу, и никто не подозревает, что завтра его, Кирилла, не будет здесь. А куда он уедет, он еще и сам не знает. Идут навстречу люди — и не знают ничего о нем. Смеются, разговаривают, торгуются — и не знают. А завтра они не будут знать, что он, Кирилл, уехал. А жизнь идет, спешит. И там, куда он едет, не знают, что он едет туда. А он будет там жить. Трудно представить даже, где только люди не живут! И всюду они трудятся и любят. И всюду они приживаются. Как прижился он здесь. Как приживется на новом месте. Одним человеком больше, одним меньше... И снова больше. Может, вот он, Кирилл, уедет завтра и завтра же сюда приедет его двойник — и ничего не изменится. А если оттуда, куда он едет, тоже срочно выезжает его двойник и стремится сюда — то они просто меняются местами, поэтому никто и не замечает.

В общем-то никто никого не ждет.

И надо жить со всеми.

Это утешительно и спокойно.

И почему-то ему этого мало.

Конечно, трудно выделить себя среди всех — так неопытен человек по рождению своему: все повторяет чьи-то зады, прежде чем становится самим собой. И, наверно, выделить себя среди всех и осознать себя и свою жизнь никак невозможно, кроме как совершенно смешавшись и растворившись с остальными... Но так становится тогда хорошо и покойно: вот я, как все, и со всеми, — что можно и остановиться на этом, успокоившись. А что ты сам среди всех — остается неизвестным. Не растворившись, не выделить себя — из чего же себя выделять, если ты один? Но и раствориться — это только еще этап и никакое не достижение. И преждевременны разговоры о наконец-то окончившемся, столь затянув-

шемся детстве Кирилла Капустина — даже если кончилось, ну и что? Пройдут годы — придет посеревшая зрелость, а зрелости не будет в помине. И рано говорить о благотворном влиянии производства на юную душу, о том, что так находят свое место в жизни. Это тоже только этап, и не так его находят, это место. Главным по-прежнему остается твое отличие от других, чем ты нов и несовместим с другими, то есть что ты принес в эту жизнь. Главным остается: ты сам среди других и с другими, а не такой же, как они.

Ничего еще не достигнуто. И никаких гарантий, что, растворившись, не успокоится он и выделит себя из всех, — нет. Будет ли такой человек Кирилл Капустин — никому не известно. И радостный ли это момент — прощание с детством, которому пора было состояться много лет назад и которое было отодвинуто и отложено по не зависящим от Кирилла обстоятельствам, — тоже неизвестно. Остается: любящим — верить в него, остальным — надеяться.

Он был семенем, стал травой, а расти надо в небо...

Они сидели у Вали. Вернее, сидела только Валя. Она поместилась в углу дивана, поджав ноги, и следила за Кириллом. Кирилл то садился с ней рядом, то садился напротив, вскакивал, бегал по комнате, переставлял собачек на комод... Включал радиоприемник и, покрутив и не поймав ничего, выключал, ходил по комнате, целовал Валю, садился с книгой, полистав, бросал... Чинил утюг — не починил... Вдруг подошел к столу, приподнял чайник, заглянул, что под ним...

Под чайником ничего не было.

— Что мы торчим тут и теряем время! — воскликнул он. — Пошли хоть куда-нибудь...

— Сам и теряешь, — холодно сказала Валя. — Посиди хоть минуту спокойно.

— Да ты понимаешь, что у меня последний день! — возмущился Кирилл.

Валя вздохнула и нехотя поднялась с дивана.

Они побродили по городу напряженно и молча и оказались в кино.

— Этого еще не хватало! — зудел Кирилл. — Мне остались какие-то часы, а тут смотри всякую дрянь...

Но когда обнаружил, что до начала сеанса им ждать почти час, он ни за что бы уже не согласился пропустить этот фильм, и он говорил с досадой, что приходится ждать:

— Вот всегда так... Всегда со мной так. Автобусы только что отошли, а новые не подходят, сеансы только что начались, магазины закрыты на обед, и вообще выходной день!..

Валя молчала с холодной покорностью.

Они простояли в фойе, не разговаривая и все больше злясь друг на друга.

Картина сразу же не понравилась Кириллу. Он ерзал в кресле.

— Надо уйти, — громко шептал он Вале, — жалко времени...

— Пошли, — соглашалась Валя.

И он продолжал сидеть, возмущаясь фильмом.

— Надо уйти, — шептал он. — Встать и уйти.

И продолжал сидеть.

— Ну вот, потеряли три часа, — сказал он, когда сеанс кончился. — Да я, будь у меня вагон времени, не стал бы сидеть! А тут на счету каждая минута... — говорил он, имея в виду, что она, Валя, помешала ему уйти сразу, что она завела его в это кино, что из-за нее он потерял сейчас три часа, которых было два, и многое другое, чего он даже сам не имел в виду.

Его носило по городу, как осенний лист. Вот он слетел — он уже не принадлежит дереву, он уже не лист. И носится по асфальту, не в силах понять, что с ним случилось...

Они шли к кому-то, кого обязательно надо было повидать перед отъездом, и не заставляли его, а встречались с кем-то другим, кого и видеть-то не хотели, и долго с ним разговаривали и спорили о чем-то, что никого из них не волновало, — тем более спорили.

Потом они ждали автобуса. Его, конечно, долго не было.

— Ты меня завтра не провожай, — говорил Кирилл. — Простимся сегодня. Не все ли равно когда? Сегодня или завтра... Зачем мучиться понапрасну?

— Три года ждать... — говорил он. — Разве можно утверждать что-нибудь на три года вперед? Ты не жди. Писать? Зачем? А потом вдруг перестать? Лучше не

надо с самого начала. Уходить — так уходить сразу. Надо уметь хлопнуть дверью и уйти. К чему плакать на вокзале? Ничего уже этим не продлишь...

— Ну вот... И дурак уже... — говорил он. — Тем более не надо меня провожать. Ты говоришь, это твое право? Твое право: проводить или не проводить, писать или не писать, ждать или не ждать? Ладно, твое... А вот у меня есть право уйти или не уйти?.. Я ведь тебя люблю — разве бы я от тебя ушел? А раз надо уйти, то надо уметь уйти...

— Ну и не люблю, — говорил он, — ну и ладно! Подумаешь... Так даже легче... Это ты меня не любишь!...

— Люблю я тебя... — как-то устало сказала Валя.

— Что же ты делаешь такое лицо! Нарочно хочешь мне испортить последний день?.. Ну зачем, зачем, спрашивается, скрывать? Скажи прямо: так и так, и ненавижу! Ну, скажи же!.. — почти упрямился он. — Жалеешь? Думаешь, последний день — можно и потерпеть?.. А там — уедет... Ты думаешь, я ничего не вижу?..

И так ему было плохо, так плохо... Он чувствовал отчуждение от Вали, от города, от самого себя, он не хотел этого отчуждения... Злился на себя, а выходило — на других. Хотел перестать — и все более отчуждался. Так просто казалось: вдруг рассмеяться, сказать легкие слова — но отчуждение росло и ширилось; он словно был не властен и бессилен, и не мог сопротивляться... как во сне. Он удалялся, таял, уменьшался — и вот он уже не он — точка, крохотная, удаленная точка отчуждения, которая сейчас и совсем исчезнет.

День — такой день! — приходит к своему концу... Кирилл видел, как все это бессмысленно и ненужно то, что происходит с ним. Он не мог больше мучить Валу, себя, был противен самому себе, но, где-то себя потеряв, так и не мог найти и взять себя в руки и прекратить... и тогда все еще умножалось от бессилия, уже назло всему и самому себе, и развивалось по странному и дикому чувству «назло»... И он не мог остановиться.

Он искоса поглядывал на Валино лицо, усталое какой-то душевной скукой, и эта скука — он, Кирилл. Он видел это лицо — и восставал против себя, так было нельзя, он ненавидел себя — и продолжал говорить назло. И видел, как отдаляется и отдаляется Валино

лицо... Какая-то уже стена между ними, что-то непробиваемое, защитное, непроницаемое, и так хочется пробить ее, растопить этот лед собственными руками, дыханием. Ведь последний их день... Последний. Он мучился, чувствовал свое бессилие перед этой им же возведенной стеной и возводил, возводил эту стену. Это было одновременно падением: все быстрее, быстрее — и уже перехватывает дыхание.

— Ты сама! Ты сама... — по странному наитию обвинял он Валю во всем, в чем чувствовал себя виноватым сам. И, ощущая злую несправедливость своих слов, видя, как страдает от них Валя, и как бы не давая себе увидеть это, он говорил все резче, жесточе, несправедливей. Словно торопясь поспеть куда-то, заканчивал он работу, которую обязательно надо было сделать, прежде чем уйти: клал последние кирпичи в стену, разделявшую их.

— И уйду! Не нужен — и не надо! Обойдусь. И уйду! Надо уметь хлопнуть дверью...

И вот он настоял. Хлопнул. И вздрогнул: так поспешно звякнул за ним крючок и задвижка — на все запоры... Умеешь уйти — уходи. Он понял тогда, что говорил в надежде, что его будут отговаривать, упрасивать, что выбегут за ним без пальто... И вот он стоит, сторопелый, за дверью, словно пораженный неожиданностью того, чего добивался весь день... И дверь за ним заперта. Раз умеешь уйти — уходи. Уходи! Уходи!! И вот звякнул крючок — и не возвращайся...

Он стоял на площадке и смотрел на дверь и видел перед собой Валю, как видят какое-то время яркое пятно, хотя уже не смотрят на него. Он стоял и смотрел на дверь и видел бесконечную стену, ровную, высокую, непроницаемую. Он сам ее построил. И словно все силы ушли на ее возведение — сломать ее сил уже не было. Нигде не было щели... Валя таяла и удалялась. Оставалась стена. И он стоял один перед этой стеной, и она рушилась на него и раздавливала... И ее уже не было, этой стены. Ничего он не мог вспомнить из того, что произошло. Что, собственно, произошло? Почему они — врозь и он не может уже вернуться? Из-за чего? Что за бред...

День, который надо было прожить прекрасно. День последний. Их с Валею день. День сжался — и нет его. Словно лопнул воздушный шар, такой красивый и круг-



лый. Лопнул — и нет его. Осталась маленькая сморщенная шкурка... День, который так хотелось прожить хорошо... И прожить его хорошо оказалось всего труднее.

## Сегодня

Проснулся чумной, непонимающий. Звенел будильник оголтело, судорожно. Кирилл шарил по тумбочке, чтобы схватить, придушить его. И рука не находила, а будильник все звенел и звенел, уже целую вечность. Требовательный звон бился об стены, заполнял уши, череп, комнату. Кирилл пытался понять, откуда звон, но тот метался, рассыпался, и было не понять.

Кирилл нащупал рукой выключатель. Неприятный, желтоватый, как спитой чай, свет с трудом осветил комнату...

Бутылки на столе. Тарелки с окурками. На койках, разбросав руки-ноги, парни в безжизненных позах. Никто не слышал будильника, и лишь один промычал во сне.

И тогда мгновенно все вспомнилось, и стало ясно Кириллу: отвальная, которой он так не хотел и которая все-таки была... На ней не было Вали, потому что... (Кирилла передернуло.) И будильник... Он сам, подвыпив, завел его вчера на все обороты и поставил в шкаф, а шкаф запер. Чтобы проснуться наверняка, а не сунуть будильник под подушку и спать дальше. Будильник был здоровенный будильник, с блестящей шляпкой, он звенел пронзительно. А тут, в шкафу, фанерном, резонирующем, — трещал, как пулемет. Казалось, он прыгал там в неистовстве на фанерной полочке рядом с чайником, и чайник кипел с ним вместе, и чокались кружки...

Кирилл прошлепал к шкафу, судорожно дернул дверцу... Метнулся назад, нашарил под подушкой ключ. Но будильник вдруг ослаб, звон его стал тише и реже, и было уже слышно, как он распадается на отдельные звоночки.

«Прощай, труба зовет...» — пропел про себя Кирилл и проснулся окончательно.

Он посмотрел на притулившийся в углу рюкзачок, собранный с вечера. Клапан, кармашки, ремешки с пряжками образовали нестрашную морду.

— С добрым утром! — сказал он морде и потянулся за брюками.

Ребята спали в тех же позах.

«Странно,— думал Кирилл, одеваясь,— странно... Вот они ведь даже не слышали... Значит, я спал не совсем. Значит, я знал, что встать придется...»

Пока шел к военкомату, Кирилл очень замерз. «Сейчас бы под землю...— подумал Кирилл.— Согреться. Если летом под землей было холодно, то зимой — тепло...» Он услышал крики, они легко неслись по неживой и свободной в это время улице. Он шел на эти крики и пришел к ним.

Несколько парней стояли у входа и горланили с рас-теранным ухарством:

Как родная меня мать рожала...

Вразной, перевирая. И, чтобы не было стыдно, орали все громче. Старались быть гораздо пьянее себя — и поэтому были пьянее. Они казались довольными собой.

Кирилл миновал их и очутился в вестибюле. Тут уже было много народу. Но было неожиданно тихо. Стояли группками и переговаривались почему-то шепотом. Все было освещено одной слабой лампочкой и терялось в тени. Поэтому, может, и хотелось говорить шепотом. Кирилл огляделся: все лица были незнакомые. Валя конечно же не пришла... И это была целиком его вина. Все были с кем-то, Кирилл — один. Стоять вот так, в центре, одному было неуютно и как-то неопределенно. Эта неопределенность толкала куда-то идти и что-то делать, не стоять. Но идти было вроде некуда и делать нечего тоже. Он без всякой цели стал подниматься по лестнице. Он поднимался, и по стенкам лестницы, на ступеньках, тоже стояли, вытянувшись как бы в очередь. Стояли все больше парами. Голова поднималась над головой. Все — с кем-то. Каждый кому-то дорог. Нужен... О черт! Как это плохо одному... Неужели не придет? Уметь хлопнуть дверью... Что тут уметь?! Не придет.

Он поднялся до площадки и стал спускаться.

Что это за дьявольская суeta овладела им вчера,

думал он, поглядывая на пары с ревнивой завистью: тем не было ни до кого дела. Да разве можно все успеть? Разве можно построить день из ума и чтобы он получился? Он мог получиться только сам собой, если бы Кирилл тому не мешал. Да и кому это нужно: успевать, спешить, рвать? Успеешь ты одно или десять — все равно ты успеешь одно или ничего. Вот он не успел ничего... Разве время возможно терять или не терять? Можно жить или не жить. Если жить — разве может быть речь о потере времени? А если не жить — то его и вовсе нету. И Валя не пришла...

— Друг, а друг? — кто-то тянул его за рукав. Кирилл обернулся и увидел маленького паренька в длинном плаще и лондонке, натянутой на лоб и на уши. Он не знал его. Он вдруг подумал, что это Капитонов; бесконечные голые их отражения вспомнились ему... «Почему он здесь? — подумал Кирилл. — Ведь он же не прошел комиссию?..»

— Не помнишь? — сказал паренек и улыбнулся заискивающе. — Это я тебе повестку принес...

— А... — сказал Кирилл. — Ну и что?

— Так... — неуверенно сказал паренек, уже без улыбки. — Принес, и все.

— Молодец... — сказал Кирилл. — Ты молодец. — И он отошел от паренька.

— А я смотрю: знакомое лицо, — нагнал его паренек. — Дай, думаю, подойду. Все равно стоять ждаль... Меня вообще-то все Звонком зовут, а я Петр. Я вчера знаешь как напился! Там Мишка Брехин был с гитарой, знаешь Брехина?

— Нет, — сказал Кирилл.

— Люська, баба моя, знаешь как поет!.. — говорил паренек детским своим голоском.

«Баба у него!..» — усмехнулся Кирилл и взглянул с любопытством.

— Не веришь? — торопливо говорил паренек. — Честное слово! Она меня просила, умоляла, а я ей: «Не провайжай, говорю. Очень нужно на слезы мне смотреть...»

«И смех и грех...» — подумал Кирилл. — Неужели я такой же? Или это вчера был не я? И плел то же самое не я?..» А паренек все говорил и говорил, и слова его уже сливались для Кирилла, и он не слышал их. «Действительно Звонк», — подумал он.

Кто-то негромко начал песню. Рядом поддерживали еще двое. Но остальные не пели, слушали. Песня была самая обычная, тыщу раз слышанная. Кириллу она раньше не нравилась, казалась дешевой. Но тут он услышал ее.

— Помолчи, Звонок, — сказал он пареньку, и тот покорно смолк.

Ты рукой мне махнула с откоса...

Что-то защемило у Кирилла в груди, подкатило и отхлынуло. Глаза подернулись, и он плохо видел перед собой. Старался, чтобы не скатилась слеза. А песня все забирала его, забирала именно тем, что казалось ему наивным, глупым и дешевым. Именно это стало настоящим сейчас. Он этого не знал раньше и не узнавал поэтому.

Руку жала, провожала...

«О господи! — взмолился Кирилл. — Хоть бы пришла... Неужели так трудно простить!»

Дверь на площадку распахнулась, вышел капитан с красной повязкой на рукаве.

Провожа-ала, провожа-ала-а...

Последнее «а-а-а» повисло в воздухе, повисело, и песня вдруг оборвалась.

Капитан сказал:

— Призывникам собраться и пройти в дежурную комнату.

Не хотелось. Хотелось стоять вот так на лестнице и молчать.

Но вот, помедлив, оторвались от стенок парни. Кто-то бросился их целовать и плакать, кто-то замер, смотрел им вслед. Парни медленно поднялись и прошли в дежурную комнату, а капитан прошел последним, закрыв за собой дверь на защелку. У Кирилла было ощущение, что он едет куда-то, что уже отходит поезд, удаляются фигурки провожающих и вдруг обрывается платформа...

Они сидели бок о бок по трем стенам комнаты и молчали. Каждый сидел как бы отдельно. Они рассматривали досаафовские плакаты, в изобилии развешанные по стенам. Теперь все были разлучены, и Кирилл испы-

тивал даже что-то вроде облегчения: он теперь как бы сравнился со всеми, потому что тут уже было не понять, кого ждут там на лестнице, а кого — нет.

А Звонок все крутился сбоку, не находил себе места. Он поворачивался то налево, то направо, смотрел по очереди на каждого из ребят, желая поймать чей-нибудь взгляд и заговорить. Но никто не хотел встречаться с ним взглядом и говорить, все смотрели перед собой, словно что-то там перед собой видели и боялись упустить. Кирилл думал о Вале, и Звонок раздражал его и отвлекал. Кирилл сидел с каменным лицом и не смотрел на Звонка, будто не узнавал. Звонок, не поймав ничьего взгляда, поглядывал на него как на предателя. Он крутился и наконец, махнув рукой на то, чтобы привлечь чье-либо внимание, заговорил громко, обращаясь как бы к Кириллу.

— Вот ты говоришь, бабы...— сказал он, хотя Кирилл ничего такого не говорил.— А я тебе скажу...— Голос его, возбужденный, восторженный, покатился по комнате, и он с любопытством перебегал с одного лица на другое, стараясь увидеть, какое произвел впечатление. Но никто словно бы не заметил, и впечатления он не произвел, а Кирилл, испытывая все большую неловкость от его соседства, и вовсе на него не смотрел. И Звонок, не получая поддержки, говорил без всякой передышки и все громче про того же Брохина с гитарой, о неизмеримой водке, которую он вчера выпил, нес какую-то похабень. Резкий и звонкий его голосок носился по комнате, и Кирилл не слышал уже отдельных слов, а только шум, производимый Звонком, назойливо лез и лез в уши. Заполнял комнату. И уже непонятно, откуда шум, и кажется — со всех сторон. «Как будильник...» — вспомнил Кирилл.

— Слушай, Звонок, заткнись...— сказал кто-то резко и зло.

Звонок замер на полуслове и растерянно озираясь. И тогда показался таким маленьким, что все раздражение против него исчезло в Кирилле и ему стало жаль Звонка. «Нельзя так резко осаживать людей...— думал он.— Вот ведь... судьба. Звонок и Звонок. Имени, наверно, и не знает никто. В школе, в ремесленном и в армии — всюду он был и будет Звонком. Всю жизнь...» Он представил себе Звонка лет через пятьдесят, малень-

кого и седенького, такого же. И ему стало грустно. «Боже, как понятно все!..— думал он.— Всем чего-то не хватает, а ему больше всех. Все мы немножко Звонки...»

«А чего мы ждем? — вдруг думает Кирилл.— Что сейчас последует? Ничего теперь не известно. Все будет в первый раз... Что же они тянут-то так долго!..»

Ожидание стало томительным.

Стук в дверь. Сначала робкий, потом сильнее, сильнее. Все смотрят на дверь: и это развлечение... Знакомый лейтенант выходит из-за своей конторки, направляется к двери. Отодвигает задвижку.

Запыхавшаяся, зареванная Валя. Такое незнакомое ее лицо... Кирилл никогда не видал ее без краски: рыжие брови, рыжие ресницы. Беспомощное, детское лицо...

— Капустин... Капустин... — говорила она, не видя ничего: ни парней-призывников, сидящих по стенкам, ни среди них Капустина Кирилла, парня-призывника, а видела только расплывчатое, непомерно большое лицо лейтенанта, это лицо разрасталось и заполняло собой дверь...

— Капустина мне... мне Капустина...— слышал Кирилл и почему-то не вскакивал, а оставался сидеть и смотрел на Валино знакомое и родное — и неузнаваемое, рыжее, беспомощное — лицо, и некрикливое счастье печали поселилось в нем. Валя замерла на пороге, держа одной рукой распахнутую дверь, наклонившись вперед, а лицо невидящее, ждущее...

И поверх ее головы тянутся уже другие головы, заглядывают.

Лейтенант оборачивается: лицо у него растерянное, удивленное:

— Капустин, вас зачем-то спрашивают...— говорит он каким-то неуверенным, не офицерским голосом и смотрит на Кирилла чуть ли не с почтением.

И тогда Кирилл встает и видит, как его увидела Валя, идет к ней чинно, размеренно, сдержанно, а внутренне бежит, и этот почему-то подавленный бег разрывает его.

Валя стоит, все так же держась за ручку двери, чуть наклонившись вперед. Над ней тянутся чужие головы — ищут по стенкам своих, делают какие-то знаки... Кирилл подходит, и Валино лицо светлеет, светлеет...

— Здравствуй...— говорит он.

— Я так бежала, бежала... Думала, вы уже ушли...— скороговоркой, выдыхая, говорила Валя.— Думала, не увижу...— Она всхлипнула, и слезы висели на ее рыжих ресницах.— Я только под утро уснула — и проспала...— сказала она виновато, и все лицо ее, обращенное к нему, только к нему, лицо, большое как мир, глаза, зареванные, с рыжими ресницами, Кирилл запомнил на всю жизнь.

— А вы что нарушаете? — сказал из-за спины Кирилла лейтенант, и чье-то длинное, глупо ухмылявшееся лицо, потряхивавшее над собой бутылкой, сжалось и удалилось, и чей-то другой голос, кричавший что-то над Вaley, утих, и Кирилл сказал:

— Мы еще увидимся... Подожди тут...

— Да... да...— сказала Валя.

Лейтенант снова запер дверь, а Кирилл вернулся на свое место, пытаюсь не видеть, как смотрят на него ребята, не покраснеть. Да он и не видел. Только поймал восторженный взгляд Звонка.

Он сел на свое место и был счастлив.

А Звонк все крутился сбоку, подталкивал Кирилла локтем и шептал ему что-то непрерывно и быстро, но Кирилл не слышал его.

«Господи! Сейчас бы вчерашний день... Я все понял. Все было бы иначе...» — бессвязно думал Кирилл.

И тогда из двери, все время закрытой, вдруг появился тот же капитан с красной повязкой и сказал:

— Явитесь завтра, в это же время. А пока вы свободны.

И, ничего более не объяснив, ушел.

Это было так неожиданно — то, что сказал капитан, — что никто сразу не понял. Все молчали какую-то секунду с растерянными лицами, и было физически видно, как медленно шевельнулось что-то в общем мозгу и дошло до сознания. Звонк сказал: «Мама...» Тогда все загалдели, заулюлюкали и, подхватывая рюкзаки, бросились к двери. В дверях образовалась пробка. Кирилла прижали к косяку, развернули и спиной выпихнули на площадку. Он побежал по лестнице, увидел Вaлю, подхватил ее, ничего не понимающую, и вытащил на улицу.

Морозный воздух обжег лицо. После электрического света глаза ничего не видели, Кирилл держал Вaлю за

рукав и не отпустил, пока не увидел ее слова. Ему все еще казалось, что все исчезнет.

— Вот... — сказал он. — Мы свободны...

— Как?..

— Целые у нас сутки...

И они пошли, обнявшись, по темным улицам, какое-то не испытанное ни разу чувство овладело Кириллом, и он лепетал что-то бессвязное, словно вспоминая слова, но и молчать он не мог.

...Иногда особое состояние посещает человека. Это как итог, как высшая точка чего-то, давно и незаметно росшего и зревшего внутри. Это состояние особой полноты, спокойной и глубокой радости, доброты к окружающему и понимания его. Это взлет, озарение. Оно освещает человека изнутри. И вы всегда, если знаете, что это такое, увидите этот свет на лице человека, особую печать.

Это состояние длится и проходит. И идет та же жизнь. Но она и не та уже, раз человек знал такое состояние.

Это наивысшее человеческое счастье. Человек зарабатывает его. Долго и трудно. И может очень долго не знать его. И пробыть в суете, судорогах, в придуманных, не своих состояниях и в мелких сравнениях с самим собой строить понимание мира и иметь с ним мелкие и собственнические счеты. Можно бегать, что-то делать, чаще не то, уставать, злиться, спорить — и думать, что ты еще и не живешь вовсе, да ты и не будешь тогда жить, только будут отщелкивать годы, и вся твоя жизнь будет условна. Человек может так пробыть всю свою жизнь — и все будет серым для него. И земля, и деревья его — темны и мрачны.

И вдруг все открывается ему. Запах леса, запах земли, запах большой воды и запах снега. И их вкус. Трещит кузнечик, пятна света под деревом и лес травы перед глазами. И их смысл. Лицо, что наконец увидел, может быть, случайное, встречное — и не будет его больше. И небо, небо над головой! Трава и небо. Их запах. Их вкус и их смысл. Упасть лицом в траву — и лес травы перед глазами, огромные в нем звери. И только это перед глазами — весь мир в этом. А потом перевернуться на спину — и небо. Все — только небо. Трава и



небо — мир мгновенный и мир вечный, мир ничтожный и мир бесконечный. И мир первый равен миру второму.

Мир — огромный. И что в нем один человек?

И вдруг кажется, что жизнь человека в этом мире может быть измерена одним таким взлетом. Это начало всего творческого в мире. Это такое индивидуальное и одинокое чувство, но именно оно роднит нас с миром. И оно же делает одного человека отличным от другого.

Они сидели тихо, недвижно, почти не разговаривая, словно прислушивались к чему-то новому, неизвестному и самому важному в себе, прислушивались и боялись потревожить. Они не зажигали света. К полдню окно начало светлеть, с трудом светлело, потом сразу начало темнеть и к двум часам стемнело.

Пришла Клава, зажгла свет, смешалась, увидев их, и поспешно погасила. В сумерках она прошла через всю комнату, непонятно зачем взяла с комода спички и ушла, так ничего и не сказав.

И больше не возвращалась. Это было впервые, что она не пришла ночевать.

День был большой. Его было не забыть, но его было и не вспомнить. Ничего вроде бы не произошло. Не было событий, не было суеты, не было судорог, спешки и жадности.

Этот день начинался где-то бесконечно далеко в памяти и все не кончался.

## ПО ДОРОГЕ

Было раннее утро. Снег, темень. Скорее ночь, чем утро.

Колонна призывников шла по дороге. И если смотреть на них немного сверху и сбоку, то было видно, как покачивалась с каждым шагом колонна, как подпрыгивала при каждом шаге то одна голова, то другая и как подпрыгивали они все вместе, потому что люди в колонне шли не в ногу и построились произвольно, не по росту. Все были в выцветших, поношенных одеждах с нетяжелыми мешками за плечами, потому что все

равно им выдадут форму, а если взять с собой хорошие вещи, они испортятся за три года, а так они долежат дома до «гражданки». И из-за того, что они были так одеты, все они были гораздо более одинаковые, чем на самом деле. Да так и должно быть: идет колонна... Шла колонна, и все были одинаковые, в бесцветных, поношенных одеждах, с нетяжелыми мешками за плечами. Только двое шли отдельно: один впереди, другой сзади — несли красные сигнальные флажки. И еще только одно пятнышко было во всей колонне: кто-то нес большой желтый чемодан. Они шли, и если смотреть немного сверху и сбоку, то каждая голова подпрыгивала при каждом шаге, и все они подпрыгивали вместе, потому что шли они не в ногу и построились не по росту.

Марш был восемнадцать километров. Дорога шла лесом, но он только угадывался двумя темными массами по сторонам. Дорога была плотная, укатанная и попискивала под ногами, потому что был сильный мороз. Сначала холодно, колюче горели звезды. Потом они потускнели, ушли, и зажглись сполохи. Три аккуратных белых занавеса спустились с неба и так висели, изогнувшись красивыми складками. Эти занавесы, их складки, казалось, шевелились, по ним пробегали волны, словно там, высоко, их теребил ветер. Он теребил их все сильнее, и они разгорались все ярче странным, нервным светом.

А внизу, где шла колонна, было тихо. Лес стоял тихий, двумя темными массами слева и справа, и только попискивал под ногами укатанный наст дороги.

Колонна шла быстро, все разогрелись, и мороза словно бы не было. Но шли они молча — и потому, что быстро, и потому, что мороз прихватывал дыхание. Дорога то полого спускалась, то некруто поднималась, но понять это можно было разве по ощущению в ногах, потому что в колонне, да еще ночью, дороги не видишь. Когда дорога поворачивала, занавесы сполохов разворачивались тоже, и тем более переменчивой казалась их игра.

Шли долго, и уже не ощущалось время: минута ли, час ли...

Справа стало светлеть, и тогда оказалось, что лес был слева от дороги, и то чахлый, кривой, и за ним поднимались холмы, а справа была ровная снежная

гладь до самого горизонта. Горизонт был прочерчен ровной красной линией. В одном месте эта линия утолщалась и раскалялась — там обозначился краешек солнечного диска. Он был очень красный, и смотреть на него было не больно.

Совсем просветлело, и тогда стал виден мороз. Он носился в воздухе искристыми иголками. Воздух был сухой, крепкий, видимый, про него уже нельзя было бы сказать, что это пустота.

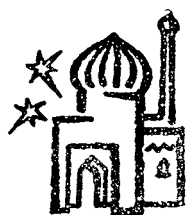
И оттого, что мороз стал виден, он стал будто сильнее, защищал нос, щеки и лоб. На самом деле это поднялся с рассветом ветерок, слабый, никому не заметный. И колонна прибавила шаг.

Солнце медленно, с трудом выползало над горизонтом и наконец словно вывалилось над горизонтом и повисло, отделенное от земли тоненькой полоской неба. Повисло непомерно большое и красное.

Дорога попискивает под ногами. Идет колонна, и все в колонне, если смотреть немного сверху и сбоку, совсем-совсем одинаковые. Тем более — если стоять, а они идут, удаляются. Да еще напротив повисло непомерно большое и красное солнце. А оно хоть и совсем неяркое, но на фоне его фигурки в колонне становятся совсем черными, да еще колонна идет, удаляется, и шеренги сливаются. Если стоять и смотреть немного сверху и сбоку.

Но нет, еще можно разглядеть... Вон там, в колонне, со всеми, в третьей шеренге с конца, второй справа... уже совсем маленькая фигурка... Уходит со всеми Кирилл Капустин, неплохой вроде бы человек. Не низкий и не высокий. Не толстый и не худой. Не красавец и не урод. Не сильный и не слабый. Не зрелый и не ребенок. С достоинствами и недостатками. Большой и маленький. Единственный и многих. Он успел уже полюбить что-то. Он не знает другой жизни. Он думает свою мысль, которую еще и понять не может.

Уходит человек по дороге, в колонне, со всеми. И вот его совсем не видно.



# *ОДНА СТРАНА*

*Путешествие  
молодого  
человека*





---

## ВОРОТА АЗИИ

### Начало

С детства я бредил Азией. Семеновы-Тянь-Шанские, Пржевальские и еще... Грум-Гржимайло — они ездили на своих верблюдах, стреляли своих яков, попадали в свои самумы и делали свои великие географические открытия. Я подыскивал себе достойный псевдоним (ни мое имя, ни фамилия не устраивали меня — устраивала их слава...). Сергей Карамышев! Это уже неплохо. Грум-Гржимайло и Карамышев! Пржевальский кладет мне руку на плечо, а другой обводит даль. Там хребет Сергея Карамышева. Великий путешественник Карамышев-Монгольский на фоне открытого им дикого верблюда. Книжка из серии «Жизнь замечательных людей» — фотографии: мать путешественника, отец путешественника, великий путешественник в детстве.

Я прибежал с книжкой к маме:

— Вот Пржевальский пишет... Как стать великим путешественником, какие нужны качества... А у меня все это есть: путешественником я родился, страстно я увлекся, научно я подготовлюсь, характер я воспитаю, трудолюбие я разовью, а энергия — приложится... — говорил я, загибая пальцы.

Вот я студент Горного института. Я уже знаю, что белых пятен, наверно, и нет. Что последнее, может, досталось Грум-Гржимайле (чудо, а не фамилия!). И что вообще это детство. Но еще не знаю, что детство, может, то небольшое, чего не следует стыдиться.

Я мечтаю о Японии, стране безукоризненного вкуса и тысячелетиями отточенного движения... Вот я сижу на корточках в такой красивой японской одежде. Раздвигаются створки разрисованной журавлями двери. Это за моей спиной, но я не оборачиваюсь: я знаю, почему они открылись и кто там. Я знаю, как она подойдет, как поклонится, как поставит передо мной чашку и снова поклонится, и как будет выходить, пятясь и кланяясь, и как сдвинет за собой створки, словно уходя в стену. А я не меняю ни позы, ни выражения лица: я все это знаю. Тыщу лет, как это всем известно. Известна эта комната и как в ней что стоит. И эта женщина. И я, который все это знает...

Япония... Это кончается тем, что я женюсь на курносой и рыжей девчонке, такой нелепой и такой славной. И теперь Япония все реже заходит ко мне.

А открытия? Моя специальность — ковырять землю, в двадцать три года я уже знаю, что это — работа.

И вот практика. Уезжаю на все лето в Среднюю Азию. Еду работать. Но еду я в Азию, с которой меня связывает детство.

## С чем я еду?

Ишак. Верблюд. Изюм — кишмиш. Аул — кишлак. Каракумы — Кызылкум. Басмачи — калым. Чайхана — скорпион. Арык. Тюбетейка — халат. Базары. Ташкент — город хлебный. Насреддин в Бухаре.

Я знаю и больше и не больше этого.

## Еще три начала

В первый раз Азия началась в Москве на Казанском вокзале. Сначала в очереди за билетами. Потом на перроне, у поезда.

Навстречу мне прошла девочка в ярком широком платье до земли. Я обернулся ей вслед: из-под тюбетейки змеилась тьма черных косичек.

Непонятливые старики окружили тележку газированной воды и пытаются перелить сидро из стаканов в бутылки. Стаканов всего два, и продавщица нервни-

чает, кричит, торопит их. Потому что стоит длинный хвост и расстраивается бойкая торговля. А старики все соглашаются, кивают ласково и не спеша делают свое нелегкое дело.

И еще по перрону прогуливаются другие в тубетейках. Много студентов.

Проводники — тоже в тубетейках. Они по-хозяйски берут билет, чуть ли не с превосходством не замечают меня. И с искренней страстностью договариваются о чем-то с людьми возбужденного вида, снующими туда-сюда по перрону.

И вот мы едем. Соседом моим — казах. Он возвращается из отпуска. Огромные его чемоданы занимают немало места — это он выполнял поручения односельчан, все для них закупил. Парень очень гордится, что побывал в Москве. Все рассказывает, словно репетирует. Он беседует с другим моим соседом, машинистом паровоза, русским. Этот машинист как-то сразу стал для него большим авторитетом. Говорят они в основном о городах, в которых побывали.

— Вот в Ленинграде вокзал — это да! — говорит машинист.

— А в Новосибирске какой вокзал... самый лучший! — говорит казах.

— Ну уж сказал! Что в Новосибирске...

— Да, действительно... — соглашается казах. — Вот в Актюбинске — это да!

— Ну уж и вокзал...

— Паршивый вокзал, — кивает казах.

Так мы и ехали. Пили пиво в вагоне-ресторане, после чего все рассказывали случаи, перебивая друг друга, потом спали. Потом просыпались.

Во второй раз Азия началась, когда на станциях газированную воду стали продавать не стаканами, а большими пивными кружками. Это уже были другие категории: другая жара, другая жажда. Мы катили по Казахстану, по Голодной степи. И я все диву давался, что и тут живут люди. Радостный (родина!) сошел наш казах.

Мы катили по голой, гладкой степи, и я все прислушивался, не понимая, откуда это посвистывание. Оказывается, суслики. Они бегали по степи в необычайном количестве. Жирненькие, серенькие, они сгорали от



любопытства. Подбегали к насыпи, выстраивались шеренгой, смотрели на наш поезд, стоя на задних лапках, и посвистывали от удивления.

Проводники стали совсем важные: ближе к родине. Купе мое опустело. Но на одной из станций проводник вселил ко мне целую юрту. Два старика, широколицые, шоколадные, с торчащими вперед узенькими бородками, одна старушка и три мальчика. Первым вошел толстый старик. Он поздоровался, снял шляпу. Под шляпой оказалась тубетейка. Снял с сапог востроносые галоши, снял ватный халат и оказался в вельветовом немецком костюме. Затем вошли все остальные. На всех был вельвет.

— Дедушка, вы до какой станции? — спрашиваю я старика.

Старик ласково улыбается, кивает. Я думаю, он не слышит, и кричу:

— До какой станции?!

Лицо деда совсем расползается и становится фантастически широким.

— Молодец, молодец! — кивает он.

И все улыбаются и кивают. И другой старик и старушка.

Какие славные!

Потом появляется проводник, говорит им что-то посвоему, и они начинают собираться. Одеваются в обратном порядке, чем раздевались. Пожимают мне руки. И выходят.

Так и катим. День наполняется какими-то мелкими событиями и даже волнениями. Вечер. Я все стоял в тамбуре и пропустил чай.

— Все кончилось, — говорит мне проводник, — что же я, все время должен кипятить?

Я совсем расстроился. И зря. Потому что тут случилась станция и сели два таджика, старый и молодой. Они потолковали с проводником, и в нашем купе появился чайник.

— Иди к нам чай пить, — говорит старый.

Я с удовольствием присоединяюсь. На столике появляются лепешки, яблоки. Все прекрасно. Это дядя и племянник. Дядя — учитель. Племянник едет поступать в институт.

Мы пьем чай. Дядя и племянник возбужденно обсуждают что-то.

Говорят они примерно вот что:

— Шавран савон ФИЗИКА—ХИМИЯ. Сопунанда вшор буд ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

— Зиргиданд ор?

— Чоршанбе сормадони КОНКУРС.

— Фикра нолабур СТИПЕНДИЯ?

— Табассум.

— Бигзада васваса аз ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА?

— Табассум.

— Почему чай не пьешь? — говорит мне дядя.

— Я уже напился.

— Чай не пьешь — откуда силы берешь? — удивляется он. — Пей еще.

Я наливаю пятый стакан, а дядя с племянником так, наверно, по десятому. Дядя берет газету.

— Порсоштани ГАЗЕТА? — разворачивает он ее. — Дар СТАДИОН «СПАРТАК» галабаш ФУТБОЛ сарсухан КОМАНДА КЛАССА «Б»...

Я уже не могу видеть чай. А они все пьют. Третий чайник.

— Откуда силы возьмешь... — сокрушается обо мне дядя.

Но вот и они напились. Укладываются. Гасим свет.

А рано утром меня расталкивает проводник:

— Приехали.

С толпой прибывших выхожу на привокзальную площадь.

В третий раз начинается Азия.

Стою в нерешительности. Таких городов я еще не видел. Все незнакомо. Низенькие, обмазанные глиной домики розовеют от рассветного солнца. Налево — сад и чайхана. Направо — автобусная остановка. Прямо под вывеской «Такси» к столбику привязан осел. По площади снуют люди. Всех мыслимых национальностей. Во всевозможных костюмах. Разные языки. Пестро, шумно.

Я стою в раздумье, как и куда тронуться.

За мной что-то лязгает. Я вздрагиваю и оборачиваюсь: тетка в шинели запирает на цепь ворота, через которые я вышел на площадь.

Я вошел, и ворота за мной закрылись.

## Еще одни ворота

— Где тут отдел кадров?

— Прямо и налево.

Прямо и налево. Темный коридор. В коридор запахнута дверь. Из нее на пол ложится полоса света. Прикрыв дверь, читаю: «Отдел кадров». То, что нужно. Снова открываю дверь, вхожу. Шкафчики. Железный сундучок на полу. За столом белокурый гигант с мужественным лицом. Сосредоточенно что-то выстригает ножницами. Подхожу вплотную, смотрю. Из красного листа выстригается огромная буква «Щ». Это становится ясно через некоторое время. Гигант сосредоточен. Наконец с могучим вздохом он завершает последний хвостик. Отставив руку, смотрит, щуря глаз.

— Так...— говорит он.— Ну, что?

— По-моему, хорошо,— говорю я.

Гигант вздрагивает, недоуменно смотрит на меня, краснеет.

— Вы что, читать не умеете? — рычит он.

— Умею, ща,— говорю я.

— Ну, так выйдите и прочтите, что написано на двери,— говорит он уже спокойнее и доброжелательней.

Выхожу, читаю. Возвращаюсь.

— Ну и что? — улыбается гигант.

— Написано «Отдел кадров».

— А ниже? Ниже! — Он улыбается еще шире.

Выхожу, читаю. Возвращаюсь.

— Посторонним вход воспрещен,— говорю я.

— Вот видите, — смеется он, — подойдите к тому окошку.

Действительно, в стене маленькое окошко с решеткой. Захожу со стороны окошка.

— Вот,— говорю.

— Ну, что? — гогочет гигант.

— Мне бы начальника отдела кадров...

— Это я. Так что?

— Вот, приехал...

— Налево и прямо. Подпишите заявление у начальника.

— А почему вы за решеткой?

— Чудак,— смеется он,— документы...

Налево и прямо. Стучусь. Вхожу.

За столом толстый седой человек. Я решительно подхожу вплотную к его столу. Толстый подымает на меня глаза. Я долго объясняю, кто я и что я, зачем и почему. Я решился объяснить столь обстоятельно, чтобы меня больше не разыгрывали. Он слушает меня внимательно, разглядывает меня своими голубыми глазами. Он мне нравится. И вот я все рассказал.

— Так...— говорит он.— Так это вам к начальнику.— И показывает на маленького, черненького, совсем мальчика, который сидит за соседним столом.

Я вспотел. Подошел ко второму столу. Начальник не поднимал головы, читал какую-то бумагу. Я вытащил направление и положил ему на бумагу. Он продолжал читать.

— Ничего не понимаю,— сказал он вдруг.

Поднял на меня глаза.

— Ах, это ваша? — Глаза усталые, скорбные.

— Моя.

— Раньше, чем через неделю, рабочего места не могу предоставить.

Зазвонил телефон.

— Так что приходите через неделю, устроим,— сказал он, поднимая трубку.— Да, я. Да, начальник. Ну сколько можно вам говорить, что сейчас не могу! Спать хочу, понимаете! Да убирайтесь вы...— Он швырнул трубку.

Ну и мальчик! Поднял на меня глаза:

— Вы еще здесь? Через неделю.

Я замялся.

— А-а-а... понимаю. У вас нет денег?

— Нет, что вы! Есть! — почему-то сказал я.

— Ага, тогда вам, наверно, негде спать.

— Смешно,— сказал я,— пол-Азии родственников!

— Гм, ну что ж, тогда через неделю.

Я вышел. Куда идти?

— Эй! — окликнули меня. Это был белокурый гигант из кадров.— Вы, наверно, тут ничего не знаете? Пошли вместе. Кстати, я вам покажу, где здесь самое лучшее пиво...

Он показал мне и гостиницу, и пиво.

Через три дня у меня кончились деньги.

## ЗАПИСКИ ЧРЕВОУГОДНИКА

### Как я наелся

Я шел по одному адресу, который раскопал в своей книжке. Это был один товарищ, русский. Мы познакомились с ним в поезде, еще на пути сюда.

«У него и поем», — думал я.

Это была совсем новая улица, на которой он жил, и никто не мог мне объяснить, как к ней пробраться. Один было объяснил, и я долго вышагивал по старому городу...

Улицы метровой ширины и дома двухметровой высоты. Я шел, чуть не царапая плечами дувалы слева и справа. В гладких боках улочек время от времени были прорублены дырки и вставлены дверцы. У дверей сидели босоногие, в ярких платяницах девчонки с сорока косичками, в серьгах, с накрашенными пальцами рук и ног и возились со своими толстыми братишками; или у дверей никто не сидел, а она была распахнута, и можно было видеть коридорчик между двумя дувалами, словно это еще более крохотная улочка, и там еще распахнутую дверь, а за ней садик, и в нем та же девчонка возилась со своим братишкой; что-то кипело в котле на треножнике, свисал виноград с деревянной решетки, был вынесен в садик топчан и расстелен ковер, а откуда-то из закутка выглядывал мотоцикл...

Я шел по старому городу и никак не выходил на нужную мне улицу. Я стал снова спрашивать, и оказалось, что иду я не в ту сторону.

Я повернул обратно, ругаясь про себя и вслух, со злостью вспоминая того типа, который указал мне неверно дорогу. В воспоминаниях он казался особенно жирным, самодовольным, и я ругал его сытость и самодовольство. Я награждал его все новыми недостатками и уродствами, пока не успокоился и это не превратилось просто в игру под ритм шага.

А в животе было так пусто... Я ощущал там своды. Как в храме. И словно там жили гул и эхо. И во рту перегорело.

Я выбрался на магистраль. Мимо бегали автобусы. Я мог бы сесть в любой из них и ехать, так как очень

устал, но у меня не было и на билет. Стоял самый что ни на есть зной. Не полуденный, как почему-то считается,—тогда сносно,—а послеполуденный, часа четыре. Я проходил мимо кваса, мороженого, газированной воды, стараясь не глядеть: они ранили мне сердце.

Но все имеет конец. И вот я у цели.

Я отыскал и улицу, и дом.

Здесь меня накормят и напоят.

Я отыскал его самого во дворе. Он возился там с машиной. Он не ожидал. Он приветствовал меня слишком бодро и радостно, чтобы мне это показалось. Мне это не показалось. У него протекал масляный фильтр, и лицо его было скорбно. Он очень извинялся и просил меня подождать немного, потому что он уже начал и когда еще соберешься взяться. Он залезал с головой под капот и забывал обо мне, а вылезая, видел меня, внезапно вспоминал, по лицу его проشمывала тень, и он начинал меня развлекать. Эти его вопросы и слова делали еще более неуютным мое сидение на табуретке около машины, гораздо более неуютным, чем когда он забывал про меня. Если бы он меня не «развлекал», я бы тоже забывал про него — да и про все на свете — в терпеливом и тупом ожидании еды.

А мысль о том, что мне давно надо встать, извиниться и уйти, пообещав зайти в следующий раз (сейчас я только на минутку, спешу), чтобы потом никогда сюда не приходить,—эту мысль я прогнал в настойчивом своем стремлении пообедать. И потом я уже так долго просидел у машины, что встать и уйти, помимо всего прочего, казалось мне просто неловко. А он, хам такой, уже вроде насмехаясь, поважнев, словно разгадав мой умысел, как-то уже не стеснялся и не извинялся передо мной. А меня все больше злило и заводило такое положение бедного родственника.

А он делал какую-то и вовсе бессмысленную работу: протирал гаечки, купал их в масле, свинчивал, развинчивал, сдувал пыль. В общем, наслаждался своей машиной и воскресеньем и упорно не обращал на меня внимания.

А когда изредка все-таки извинялся передо мной, это было уже явно формально, это звучало как-то особенно оскорбительно, насмешкой.

А я упорно сидел на табуретке, и не уходил, и не мог уже создать хотя бы видимость непринужденности. Не мог заставить себя говорить хоть о чем бы то ни было. И я сидел и выискивал в газете хотя бы одну не прочтенную еще информацию.

Удивительно, думал я, как это человек может так захлопнуться, стать пренебрежительным и нечутким, когда почувствует, что ты от него зависишь, что тебе что-то по-настоящему нужно. Ну хотя бы он и понял, в чем дело... Но ведь если бы я был в ином положении, то, наверно, он постыдился бы держать меня у машины и, наверно, давно выставил бы все на стол и всячески проявлял гостеприимство. И только показать чтобы, что не беднее он, не хуже... Сколько раз мне предлагали обедать, когда я был абсолютно сыт, и сколько раз, хотя сама мысль о еде была мне неприятна, я садился за стол и обедал во второй раз, почему-то боясь обидеть хозяев. А настойчивость их росла, чем больше и уверенней я отказывался. Уверенней... Может, моя неуверенность позволяет ему не замечать меня сейчас? Боже, и как много я не доел в своей жизни на всяких праздниках, свадьбах!.. Что бы — все распределить по жизни. Боже, до чего же все в ней неравномерно...

А этот — гад.

И я стал играть в ту же игру, что и плутая по старому городу: выискивал в хозяине наисквернейшие стороны, фантазировал, перебирал все возможные подлости, которые тот наверняка должен был сделать. И все распалялся.

А чтоб тот не подумал, что мне есть не на что, я стал врать что-то насчет моей геологической деятельности и тех длинных рублей, которые я с нее имел. И меня все больше заносило. Еще в поезде я начал ту же песню (тогда это было просто мальчишество), но тогда я говорил, что спустил астрономическую сумму в Москве, что там же оставил свои вещи «у одной знакомой», что в экспедицию только в тряпье и ездить, а теперь я плел что-то уж совсем неподходящее (слава богу, и в этом было мальчишество): как меня вчера ограбили на пляже, например. Тогда он угощал меня в вагоне-ресторане (о, тогда я был еще сыт и врал бескорыстно), тогда он верил мне и «уважал» за мои рассказы и восхищался мной. А теперь он снисходительно посматривал на меня,

ковыряясь в своей машине, стоя во дворе своего дома, отгоняя свою овчарку, прикрикивая на своего сына.

«Неужели голодный человек так теряет достоинство, что люди перестают считаться с ним? Но, главное, почему бы мне не встать и не уйти?..»

И, понимая, что он понимает, я раскатывался все дальше.

А мальчишка его, болезненный, с грустными мягкими глазами, все путался под ногами, опрокидывал ведра, разливал масло, бегал за собакой с гаечным ключом... и тоже не уважал меня.

Так мне казалось.

Смеркалось, когда хозяин, удовлетворенно обтирая руки ветошью, сказал:

— Ну что ж, теперь можно и перекусить.

Он крикнул своей жене, распорядился.

Что это был за стол! Салат из помидоров! Рубиновый, с золотыми блестками борщ. Мясо! Мясо с настружанной румяной картошкой. В центре стола запотел графинчик. И огромное блюдо с фруктами.

И когда стол был уже собран и хозяин с той же снисходительностью раскусившего меня человека, с улыбкой, показавшейся мне особенно оскорбительной, пригласил меня сесть, я сказал:

— Спасибо, я сыт.

Не сказал — подумал. Подумал — и сел за стол.

Хозяин и хозяйка — до чего же приятные и милые люди!

## Базария

Старый город — новый город. Новый базар — старый базар.

Площадь перед базаром вся в заплатках фанерных будок, ларьков, лотков, палаток и вывесок. А к самому базару ведет длинный и высокий крытый туннель. После солнца там особенно темно. У стен туннеля теснятся те же ларьки с подоконничками. А по туннелю идут с вами и вам навстречу черные старухи, несущие кошелки и прикрывающие лицо платком; и молодые узбеки, ведущие за рога велосипеды и с наслаждением нажимающие



в свои звонки; и пузаны в халатах, только отвалившиеся от чая в базарной чайхане, и многие другие люди.

Туннель кончился, и свет снова упал на меня, пронзительный, жаркий. Огромное пространство, усыпанное дынями и арбузами, залитое солнцем, стонущее, снующее; разгружающиеся грузовики, телеги; ослы, грустно и протяжно ревущие; странные, прошлые старики, еще поддерживающие уходящие ремесла. Перед стариками разостланы платки с потемневшими и ржавыми образцами — витрины. Но никто не подходит к старикам. Они пьют чай, который носит им мальчик из чайханы, перебрасываются непонятными словами и кивают друг другу.

А один старик торговал арабскими книгами. Иначе зачем же он разложил их на своем платке? Книги были черные, ветхие и глядели таинственно. Я подошел, взял первую попавшуюся и стал листать с видом знатока.

Тут же я понял, что не стоило так пугать старого человека. Он посмотрел на меня, как на пришельца с того света. И, словно проснувшись, стал озираться по сторонам. Он, наверно, впервые понял, где он, и увидел базар, подумал я.

— Хорош аксакал! — сказал он, испуганно и ласково глядя на меня. Он стал тыкать пальцами во всех соседних стариков, гортанно призывая их что-то подтвердить. Старики закивали, заболботали.

Он показывал мне паспорт.

Я стоял истуканом.

И тут приблизился здоровенный узбек, этакое бронзовое чудо в грязном халате. И они объяснились со стариком. И старик, вдруг приосанившийся, тыкал в меня пальцем, и все старики, встопорщив на меня бороды, показывали на меня пальцем.

Я предпочел скрыться.

И фруктовые ряды... Лучше бы мне этого не видеть! Непонятная сила толкала меня в них, приковывала. Зачем я тут? Ведь я просто болтался по городу, и вдруг мне потребовалось срезать угол — пройти через базар... Но зачем мне было срезать, раз я просто болтался и спешить мне было некуда?

Тут я увидел, что торговля может быть прекрасной. Как они раскладывают фрукты! Сердца художников у этих людей.

Я ходил вдоль бесконечных тентов, промеж виноград, черных и красных, белых и золотых, с косточками и без косточек, круглых и крупных, как орехи, и длинных дамских пальчиков; я ходил мимо яблок и груш, инжиров и гранатов, персиков, персиков... Персиков, женственных и истекающих соком. Смотреть на все это в моем положении было безумием. И когда я убегал от тентов, то попадал в разливанное арбузное море: огромные арбузные кучи, как зеленые волны. Или — в пустыню, где барханами золотились дыни. И в этом море плавали, размахивая руками, и в этих барханах кочевали пропитанные солнцем узбеки в распахнутых халатах.

И, убегая от арбузов, я снова попадал под тенты.

Все это напоминало сон. Когда все тянется, и нет времени, и все повторяется, и хочется бежать — и не можешь, и хочется кричать — и не можешь.

И я снова бросался в арбузное море. И старался выгresti к выходу, к выходу...

Где кончается базар, там начинается базар. И нет конца базарам...

Это был уже совсем другой базар. Тут ничто не растравляло меня. Но и торговля была совсем другая.

Там был бесконечный ряд, и женщины шумели над множеством разноцветных тряпичных обрезков, иногда аккуратно связанных в пучки, иногда разваленных щедрыми кучками.

И человек, расположившийся у целого собора востроносых, неприятно горячих на вид галош.

И поднимается раздражение...

И вдруг какая-то сказка — ковры. Ковры, подвешенные на веревках между деревьями, огромные, как взлетные площадки, яркие, пестрые, как... и не с чем сравнить. Они образуют коридоры и улицы, и пересекаются эти улицы и коридоры; по этим улицам ходят люди и разминаются на перекрестках. Тут можно заблудиться.

Я выбрался из ковров и попал к мотоциклам. Это было буйное место. Обсуждение походило на крик, жестикуляция походила на драку. Нажимали гудки, гладили никель, били в груди мокрые, возбужденные, действительно страстные люди.

А потом пошли быки, коровы, ослы, козы... Овцы раскачивали своими фантастическими курдюками. Кучи

связанных куриц. Все это мычало, бляло, кудахтало, и поверх этого не такая громкая и все-таки перекрывающая гортанная человеческая речь. При мне туда привели двух верблюдов. Они возвышались над всеми своими маленькими самодовольными головками, возвышались и выкатывали грудь, как командиры на параде.

И где-то впереди, казалось, маячил выход.

А у самого выхода — круглый, лысый человек, поражающий своей важностью и разнообразием разложенных перед ним товаров. Тут и кучи рваной разноплеменной одежды, и какая-то посуда, и примус, и медный таз, и мозервский будильник, и ручка от маузера — все это показалось мне олицетворением безобразного в прекрасном мире Базарии. И над всем этим, над его головой, объявление:

ЛЮБАЯ ВЕЩЬ — НЕ ДОРОЖЕ 10 РУБЛЕЙ

«Вот это да! — подумал я. — Тоже веяние...»

Совсем рядом с этим раскачивающимся болванчиком, с левого его боку, лежала прекрасная шляпа из рисовой соломы, благородных форм и совершенно новая. И конечно, стоила не десять рублей.

Какой-то чертик шевельнулся во мне.

Я взял шляпу и полез в пустой карман:

— Десять?

Я не знаю, как это возможно: подпрыгнуть, если у тебя ноги сложены по-турецки. Но он подпрыгнул, и не меньше чем на полметра. Он гневно буравил меня своими черносливами, вылезшими из орбит, как тубусы у бинокля. Все лицо его пришло в движение, словно под кожей у него забегала мышь. Казалось, он не находил слов.

И вдруг он вырвал у меня шляпу и заорал:

— Пшел вон из моего магазина!!!

И я вышел... Тихие, без людей, словно уснувшие улицы, застывшие деревья, дувалы, и тень от деревьев и дувалов, и застывший посреди улицы зной...

Как странно!

## Илов, Ленинград

Постепенно мысль, вначале робкая, что я найду деньги на улице, обратилась в фантастическую убежденность. Чем больше я бродил по городу и чем больше нагуливал аппетит (казалось, куда уж больше!), тем явственней пульсировало во мне: вот сейчас, за этим углом, за этой урной... вот сейчас. Сколько было поднято совершенно никчемных и грязных бумажек, прикидывавшихся рублями!

Был уже вечер, и на меня напала вечерняя жажда. Мне так хотелось пить, что я уже не чувствовал, что хочу есть. Я брел, глядя себе под ноги, и в наступившей темноте терял последнюю надежду найти. Вдруг что-то замедлило мои шаги и потянуло назад: показалось, что у забора, где терялся свет уличного фонаря, что-то мелькнуло, а я не обратил внимания. Такие штучки со мной уже бывали и кончались ничем. Я хотел уже идти дальше. Но что-то опять не пустило меня, я вернулся и... это были настоящие три рубля. Радость сменилась сознанием, что это не так уж много. Но и это...

Я купил сигарет, и свернул в чайхану, и взял чайник. Я утолил первую жажду и почувствовал, что хочу есть. Достал сигарету — закурил. Сосед-таджик завел со мной беседу и потом попросил сигарету. Я дал. Таджик говорил со мной и время от времени убегал посмотреть за пловом, который готовил на кухне при чайхане. А я говорил с ним и думал только о том, как бы он угостил меня пловом. И, выжидая, я выпил еще чайник, хотя пить уже не хотелось и уже думал, что мог бы вместо чая взять хлеба на рубль.

Таджик оказался студентом техникума.

— И кем будешь? — спросил я.

— Инженер-инструктор по общественному питанию, — важно сказал он.

— О, очень интересная профессия. — Я почувствовал нестерпимую резь. — И стипендию тебе платят? — почти угрожающе сказал я.

— И стипендию, денег — во! — провел он по горлу.

И тут я сказал:

— Я геолог, пять лет назад окончил институт. Получаю три тыщи.

— О-о-о-о! — сказал таджик.

Что это я опять! Я спохватился и пошел на попятный.

— Но в чужом городе деньги летят — ого! — сказал я. — Приехал на воскресенье, сто рублей уже истратил, а голоден.

— Да, чужой город — это да, — сказал он и побежал смотреть за пловом.

Я обдумал ситуацию и, когда он вернулся, сказал:

— Так, значит, ты инструктор... Так ты, наверно, здорово готовишь?

— О да, — сказал он, — о да.

— Это, наверно, очень трудно — приготовить плов по-настоящему?

— О, о, рис, мясо, сало, лук, перец, помидор, киш-миш...

У меня помутилось в глазах. И я сказал, проглотив спазму:

— А мясо чье? Баранье, да?..

— Баранье, баранье, — подтвердил таджик.

«Сам ты...» — подумал я. И сказал:

— У нас на севере хозяйки говорят, что труднее всего сварить рис как надо.

— Рис, рис, — сказал он. — Но у вас в Ленинграде тоже, наверно, есть чайхана и плов?

— Нету, — сказал я, надеясь, что тут уж он сжалится.

— О, нету!.. Нету чайханы, нету плова... — запричитал таджик.

— Я только здесь в первый раз попробовал, и то в столовой.

— О, о, ох, — закатывал глаза инструктор.

— Но столовский, наверно, не может идти в сравнение с домашним, — наседал я.

— О, дом! У тебя — Ленинград, у меня — Уратюбе.

— А домашнего я совсем не пробовал... — сказал я, и инструктор убежал смотреть за пловом. А я обнаружил, что чай у меня кончился, а сидеть просто так — он, пожалуй, еще подумает, что я напрашиваюсь.

И еще чайник.

Вернулся инструктор и попросил еще сигарету. Я угодил его сигаретой и чаем.

— Ну, как? — сказал я.

— Почти готов. Я прикрыл его крышкой.

Я представил себе, как выходят, сгущаются жирные пары и оседают на крышке... Картина была слишком яркой.

— Да,— сказал я, окончательно сдаваясь,— очень мне хотелось бы попробовать домашнего плова...

— Да,— сказал таджик,— да... Я возьму еще сигаретку.— И он взял.

«Где я и что со мной?..» — горько подумал я и сказал:

— У нас на севере тоже делают вкусные вещи. Другие, чем у вас. Вот приедешь в Ленинград — я тебя угощу.

— О да, приеду, обязательно приеду,— сказал он.— Надо пойти посмотреть — уже, наверное, готово.

Я тоже встал и сказал в отчаянной решимости:

— Пойду посмотрю, как это ты делаешь...

Мы миновали два больших, в рост человека, медных фыркающих самовара с колдовавшим около них чайханщиком. И вошли в маленькую комнатку.

Там сидели вокруг дыни не меньше пятнадцати женщин и говорили. Казалось, крутилась, работала камнедробилка. Одновременно, ежесекундно слетало с языка каждой по десятку незнакомых трескучих слов.

Я появился, и камнедробилка остановилась.

Все смотрели на инструктора.

— Рафикон колонсолон ЛЕНИНГРАД,— сказал он смеясь, — канибадам хушт либос ПЛОВ.

Все засмеялись. Камнедробилка заработала.

Издевается, подумал я, бессмысленно и всем улыбаясь.

— Плов, Ленинград,— сказал я с нелепой улыбкой.

И мы прошли в слепую (без окон) черную кухню. Только краснела у плиты кучка чуть поседевших углей да сквозь приоткрытую в соседнюю комнату дверь слегка прорывался свет. Темнота делала обстановку экзотической. Прямо в плиту был вделан огромный котел.

Инструктор приподнял крышку.

И, как взрывной волной, меня чуть не подкинул тугой, смутный и сложный запах.

Огромный котел — и он был полон.

Инструктор приподнял крышку. Он пошерудил в котле черпаком и сказал:

— Готово.

Я смотрел на красные рисинки, жирные стенки котла, и у меня мутился рассудок.

Инструктор крикнул что-то женщинам в соседнюю комнату, и одна из них принесла огромное блюдо — я еще не видал такого блюда! — и блюдец поменьше. Он выложил весь котел в огромное блюдо, и женщина унесла его и поставила в центр на место дыни.

Он соскреб со стенок остатки и положил их на блюдец поменьше.

Это нам, подумал я.

— Вот и все, — сказал он. — Такой кухни в Ленинграде не увидишь.

Мы вышли. Женщины макали руки в блюдо, скатывали плов в шарики, а шарики клали в рот.

Мне хотелось лечь в блюдо.

Инструктор отдал блюдец поменьше чайханщику.

— Возьмем еще чайник, — сказал он мне и достал четвертной. Я с ненавистью посмотрел на его четвертной и в один миг успел мысленно его проесть со всеми подробностями.

— Зачем же тебе менять крупные, — сказал я, — у меня есть мелкие. — И отдал чайханщику последние копейки.

Инструктор спрятал четвертной обратно.

Мы допили наш чай, и он говорил мне что-то, а я — ему.

— Кок-чай, хорош чай, — сказал он и слил остатки чая в пиалу и придвинул мне. Я отказался: два литра горячей воды кипели у меня в желудке, и больше ничего не было там.

Обида пробежала по лицу инструктора.

— Обязательно выпей. У нас говорят: никому не давай остатки чая — только лучшему другу.

И мы встали, похлопывая друг друга по плечам и смеясь как братья.

Инструктор посмотрел на часы.

— Ого! — сказал он. — Без четверти двенадцать... Мне надо спешить.

— Ну, спокойной ночи, — сказал я, улыбаясь широко и готовно.

...Я лежал на скамейке в парке и засыпал, слушая, как гудят и клокочут в чистом желудке три литра зеленого чая.

## ХЛЕБ

### Досуг

Сколько раз я собирался слазить на ближайшие горы... Интересно ведь. Я же любитель по горам ходить... Да, я очень люблю ходить по горам. Просто нет ничего лучше гор! Да и как здорово это у меня получается! Я лучше всех своих приятелей хожу по горам.

Но вот и месяц прошел на новом месте, а я все так и не сходил в горы ни разу. Как-то приходишь со сме- ны... пока помоешься, поешь, а там и спать.

Странно получается... Собрался я читать Толстого. Очень я люблю Толстого. Что может быть лучше Тол- стого! Но вот месяц прошел, как я взял его в библиоте- ке... и все 55-я страница.

Странно это... Поспишь, поешь, поработаешь... Да и какая же это работа: кажется, сидишь больше, чем ра- ботаешь! Перекуры одни. Тут и устать нечего.

Только ребята говорят:

— Ничего, привыкнешь. Работка у нас в самый раз: сиди себе смотри, как станок крутится.

Или:

— Да... Иногда приходится попрыгать.

Или:

— Да, работка-то — медвежья...

То есть каждый раз, как со смены вернусь, начинаю думать, как бы мне на эти горы слазить. Ведь рукой по- дать. Просто стыд, что за ленивый парень! Так уедешь обратно — и ничего не увидишь.

С этими словами, да еще с Толстым засыпаю каж- дый вечер.

Но вот наконец я выбрался. Просто удивительно, ка- ким это оказалось легким делом. А я-то все собирался, собирался... Ничего нет проще. Такими легкими скачка- ми — вверх, вверх... Как птица. Два раза толкнулся но- гой — и уже на утесе. Еще раз — еще на утесе, еще вы- ше. Все внизу такое маленькое: вся наша партия, с ее столовой, общежитием, работой, — просто не разглядеть.

Прыг-прыг! Выше, выше. Легкий, как кузнечик.

Прыг!.. Выше уже ничего нет. Я на вершине.

Как это я раньше не догадался! То есть дураку яс- но, что за горами все иначе. Оглянешься назад: да, там



наша партия, которой уже не видать; желтые, голые, острые камни до самой партии, и ни травинки, разве что редкие, совсем уже выгоревшие клочки между камнями...

А впереди — трава. Зеленая, сочная. Вон она, там внизу. Совсем как у нас дома.

Прыгаю вниз и лечу. Трава все зеленее, ближе. А вот и речка. И лесок подальше. И почему-то там стоит мой дом. Точно, это наш дом. Почему-то мне совсем не удивительно, что мой дом в лесу... Вот выбежал Рекс: его поручили нам на лето. На крыльцо вышла мама. А где же ты? Мне тебя надо видеть. Почему ты не выйдешь на крыльцо?

Я парю над домом. Медленными кругами снижаюсь. Вот уже заметил меня Рекс. Залаял радостно. Все громче, громче...

Сейчас она выйдет, думаю я.

Что-то у меня перестало получаться... Наверно, нельзя было думать о том, как это я летаю. Летаю — и все тут. Очень просто. А как подумал, сразу разучился: куда руки-ноги девать? Так можно и грохнуться. Маму напугаю...

Где ты там застряла?

А Рекс... Ишь разлаялся. Злой... Чего лаешь! Вот погоди, сейчас спущусь...

Да что же это, в самом деле... Падаю. Молчать, Рекс! У-у-ух!!!

— Вставай, вставай! — сдергивают меня за ногу. — Ну и горазд же ты давить... Да не смотри ты на меня так — не испугаешь. Собирайся поживее. Авария на вышке. Снаряд прихватило. Помочь надо. Все уже на ногах... Вставай...

Это Толя говорит. Так.

Это звезды надо мной. Ночь.

Ну что ж...

## **Ночь, день и еще ночь**

Сначала было весело.

— Дай патрубков.

— Убери ногу.

— Ну-ка... Хоп!

— Да не так...  
— Убери руку!  
— Ключ на двадцать два.  
— Взя-а-а...ли!  
— Да не туда!  
— Р-р-раз!!!

— Еще-о-о... Р-р-раз!!!

Но вот к утру все наладили. Настроили. Приступили.  
Трень-бом! Трень-бом!

Раз-два! Раз-два!

Трень-бом! — это мы стучим бабой. Р-р-раз! — приседаем, тянем канат вниз. Баба взмывает вверх. Восемьдесят килограммов в бабе. Баба стучает по хомуту. Снаряд подается вверх. Два! — распрямляемся. Канат ползет вверх. Баба опускается вниз, садится на нижний хомут...

Р-раз — трень! Два — бом!

Трень-бом!

Раз-два!

Приседаем — разгибаемся.

В голове пульсирует кровь. Сердце стучит во всем теле. Стучит в ушах. Грохочет баба. Кажется, что ритм бабы совпадает с ритмом сердца. И еще лезут в голову какие-то слова, имена, строчки... Влезет одно и звучит в голове до бесконечности, в ритм ударов сердца и бабы.

День-ночь.

День-ночь.

Раз-два!

Трень-бом!

Мы идем.

Мы идем.

Бом-трень!

Вверх-вниз!

Разгибаемся — приседаем.

Трень-бом! — никакой уже мочи. Но у них, рядом, есть ли у них мочь? А они тянут.

И я тяну. А в голову заползают какие-то глупости...

Трень-бом!

Мы идем...

Вверх-вниз!

«По Африке» — не влезает в ритм.

При чем тут Африка?

Раз-два!

Раз-два!

Впрочем, хорошо, что эти глупости заползают. Отвлекают от того, что трудно.

День-ночь.

«Ночь, день и еще ночь... Вернулся муж. Любовника спрятали в шкаф. А муж провел с женой ночь, день и еще ночь...» — это из анекдота.

Нет, это уже невозможно. Как они еще могут! Когда надо тянуть вниз, я извиваюсь, как червяк. А разгибаюсь даже слишком поспешно.

Трень-бом! Раз-два! Разогнись—согнись! Вниз-вверх...

...У меня ведь болело горло. Точно болело. Поэтому мне и трудно. Надо объяснить и уйти...

Раз-два! Трень-бом!

День-ночь.

День-ночь и еще день.

Сколько можно! Хватит уже.

— Хватит, ребята, передохнем, — говорит старший мастер.

Передохнем... Передо́хнем — это да. Мы отваливаемся от каната, как насосавшиеся пиявки. Отваливаемся и лежим. Никак не распрямить ладонь. Только через пять минут кто-то из нас соображает, что можно закурить. Закуриваем.

Боже, как хорошо! Солнышко над нами. Припекает. Высыхает пот, натягивается кожа на лбу и скулах. Ветерком потянуло. Дымком. Сколько можно — так пролежать? Без конца. Зачем это надо — двигаться? Кто это выдумал?.. Человек создан для лежания. Так хорошо... Все гудит, ноет, переливается внутри. И, как в детстве, кто-то говорит за меня, какой-то Сережа...

— Толик, а Толик... — говорит Сережа.

— М-м-м...

— Совсем я заболел вроде. Вечером еще горло болело. А теперь совсем не могу. Сердце, слабость...

— Конечно, Сережа... Чего ж тебе тут мучиться. Раз болен. Ведь это сверх смены. Чего тебе мучиться. Раз слабость... Конечно, Сережа, иди домой. Чего уж мучиться.

— Да, пожалуй, — говорит Сережа, — а то очень уж горло болит.

— Иди, иди, Сережа... Только старшому скажи,

Но я почему-то не подхожу к старшему и не говорю, что болен. Все собираюсь — и не иду.

Так сладко... Так расслабиться — это еще надо суметь. Вот так бы и лежать...

— А ну, ребятки, хватит, отдохнули. Передохнули и еще наддадим. Уже целый сантиметр выполз. Если мы еще так наддадим — еще выползет.

В эту минуту я ненавижу мастера... Ну и морда!

Трень-бом! Трень-бом!

И сколько ни колоти — хорошо, вылезет на сантиметр. А то и того нет. Но мастер говорит: хорошо идет. Главное — нельзя останавливаться. Еще немного, а там само пойдет. словно кто-то держит снаряд на глубине двести метров. Называется это прихват. Вот если сейчас мы не выколотим снаряд бабой, то уже ничем не поможешь... Ну, еще немного, ребятки... А там само пойдет.

Трень-бом! Вверх-вниз.

Раз-два! Разогнись-согнись.

Ай да баба!

Ну и баба...

Это баба.

Баба-баба.

Трень-бом-баба!

Бим-бом-баба!

Ну и ну! Можно же так уходить. Дальше некуда. Откуда только силы берутся... Передохнем — а ну, еще раз! Перекурить — а ну, нажмем!

Перекури — отставить! Перекури — отставить!

Разойдись!

Разойдись — постройся. Разойдись — постройся!

«У каждого человека есть свой запас силы и еще НЕМНОЖКО».

Говорят, работа — это фронт.

Р-разойдись!!!

Этого уже не могло произойти... Ночь, день и еще ночь мы колотили бабой. Миллиметр за миллиметром выползал из скважины снаряд. Кто-то, кто держал его внизу, на глубине двести метров, не хотел отдавать нам даже этих жалких миллиметров. Мы уже забыли смысл нашей работы: нас толкала вперед злость на «того, кто держит». Он не хотел отдавать нам своих богатств. Он

их глубоко запрятал. А мы вырывали у него из рук. Миллиметр за миллиметром.

Нам нужна медь. Мне нужна медь?

Казалось, так будет вечно. Ночь, день и еще ночь... И это уже казалось неправдой, когда вдруг пошло само. Пошло и вышло.

Само. Само собой.

Ай да мы! Ну и мы! Это мы! Мы! Мы! Мы!

Мы кубарем скатываемся по склону и идем по дороге вниз, к базе.

— Орел Сережа! — говорит мне Толик. — Ты хоть и сильный, а жилу животом зарабатывают...

И старшой говорит:

— Ну, как, Сережа?

— Ничего, — говорит Сережа.

— Ты парень крепкий, — говорит старшой.

«Хороший он, в сущности, парень», — думает Сережа.

И они идут такие веселые, сильные, дружные...

Сегодня — суббота.

Завтра — воскресенье.

Словно ничего и не было. Не было работы.

## Деньги, хлеб и работа

Как это можно — тратить деньги? Ведь они же зарабатаны! Можно сказать, потом и кровью. Так ведь и говорят: кровные денежки, трудовая копейка... Сколько раз можно разогнуться и согнуться, присесть и встать, поднять и бросить, чтобы потом пообедать, выпить пива, съездить в город, погулять по парку и покупаться, сходить в кино, позвонить домой в Ленинград... На все это, оказывается, нужны деньги. А деньги — это работа: разогнись-согнись, трень-бом, вверх-вниз.

Кусок застрянет в горле, если так вот думать.

Вот я, например, съездил в город на субботу и воскресенье. Снял номер в гостинице, позвонил в Ленинград, пошлялся по базару... Туда-сюда. Хватить — а уже последний рубль! Куда делись?

Ума не приложу. Значит, опять работай, опять зарабатывай на хлеб? Ужасно, не правда ли?

И вовсе не ужасно. На самом деле это легко. Это удивительно легко — тратить деньги. Даже, прямо ска-

жем, просто. Тратишь деньги и не думаешь о работе. Приведенный расчет совершенно противостоит.

Но самое приятное — это тратить деньги на подарки. Вообще тратить деньги на себя одного неинтересно, даже неприятно как-то. Стыдно, что ли. Дарить вот — хочется. Почему мы так редко дарим?

Нет больше денег — все вышли... Вот и хорошо, завтра на работу. Как раз хватило. Вот естественный ход мысли для здорового человека.

Конечно, оплата по труду, материальная заинтересованность — это неразделимо с трудом. И все-таки в нас по-человечески распадается: работа — одно, а деньги — другое.

Разные вещи.

## Веселый человек

Я работаю с Толиком. Работать с ним легко. И жить с ним легко. Все он делает как-то без усилий, незаметно. И мне помогает. Поначалу ведь не все выходит так, как надо. Помогает он тоже незаметно.

Толик видел в жизни разное. Всякое.

И все его взлеты и падения, казалось, оставляли в нем только след мудрости — а сожаления, зависти, ревности (что вот не достиг, не так сложилась жизнь) в нем не было.

Он говорил:

— Жизнь я прожил по-хорошему...

Или:

— Не понимаю, чего это вам ссориться, что вы мрачные такие... Веселее надо. Вот я — веселый человек.

Или:

— Шутить надо больше. В этом огромная наша беда — мало мы шутим. Легче надо. И веселее. Вот я — человек веселый...

Но за всем этим ходит где-то большая грусть. Где-то там, за шуткой, жестом, на доньшке взгляда...

Есть у Толика и официально отрицательные черты. Например — пьет.

И вот, когда выпьет, берет гитару:

Так здравствуй, поседевшая любовь моя...

Или пляшет. Цыганочку.

Тело его становится удивительно легким. И тогда он кажется особенно, подчеркнуто худым. Туловище во время танца неподвижно. Руки — плети. И только ноги, тощие, обутые в тапки, двигаются вдохновенно, мягко — бесшумная чечетка. Толик не любит ухарства в танце, стука.

И танцует медленно, словно разгоняясь и останавливаясь, чтобы разогнаться снова, но так и не набирая темпа.

А гитаристу говорит:

— Не понимаешь... медленней...

А лицо... Запрокинуто, взгляд льется куда-то, улыбка бродит по губам — тень улыбки — и не улыбка вовсе.

А глаза... Взгляд поверх нас, выше. Что он видит там?

Он говорит:

— Горы я люблю. Тут все не ровно. Взгляду — живо.

Или кличет свою собачку, маленькую лайку:

— Кнопка, Кнопка! Ах ты, родная моя...

Еще любит читать. Книги толстые, приключенческие. Говорит:

— Про жизнь скучно пишу. Веселее надо. Уж лучше вранье...

И еще ему нужно, чтоб рядом обязательно кто-нибудь был. Жена ли Маша, Кнопка ли, или я, или кто-нибудь другой. И кажется, жизнь его — желание, чтобы к нему пришли. И чтобы тому, кто пришел, стало легче, проще, веселее, вернее в жизни. К нему и ходят.

И безудержный запас историй, случаев, из которого он каждый раз достанет то, что необходимо тебе сегодня. И рассказ его (а Толик — рассказчик, большой рассказчик) должен быть прекрасным. Толик выставит себя и смешным, и глупым, и поерничает — только чтобы был рассказ. Рассказ для него — не похвальба. Рассказ не себе — а слушателю.

Замечаю странную вещь. О том, кого очень любишь, кто навсегда задел тебя, писать очень трудно. Трудно — о матери, о женщине, которую любишь. Как-то разговор о них не вяжется с умением писать. Это, может, так же трудно, как в разлуке вспомнить любимое лицо. Тыща других, полужнакомых, случайно встреченных людей пройдет перед взглядом, пока вспомнишь единственное лицо...

Фотография Толика у меня на столе.

О людях — память, тепло. Но Толиком я меряю жизнь.

При всей своей слабости Толик — человек. Потому что он — вне суеты. Суеты, которая гложет и сжигает человека. Суеты, от которой теряют собственное лицо. Теряют ощущение полноты жизни.

И все мне верится, что таким, как он, можно стать и не сломавшись, не потеряв силы.

И вот мне хочется, чтобы я сделал в этой жизни все, что могу, и в то же время мог сказать, в равновесии и простоте:

— Я — веселый человек.

## РОДНОЙ ГОЛОС

### Двенадцать коз белых и двенадцать коз черных

По горам прыгают козы. Огромное количество. И все они или белые, или черные. Других нет. Никакого перехода. Вот они столпились в большое черно-белое пятно на склоне. Вот они рассредоточились и четко рисуются черно-белым пунктиром по гребню.

Горы слева, справа, впереди и сзади. Слева горы — желтые, голые. Они то подходят к нам вплотную, то отступают, отходят в сторону. Словно танцуют. Впереди каменистая тряская дорога. Изгибается, как река. Вьется, как змея. Спрячется за гору, вытянется по саю, снова улизнет за поворот. А сзади — пыль.

Можно не включать мотор, а катить так, за счет английского короля, по крайней мере полдороги.

Суббота. Катим в город.

Вниз. С гор.

Нас швыряет в кузове, как игральные кости в стакане. Но это еще полбеды...

Еще поворот, и на тех же голых камнях — юрта. Вокруг бегают дети в ярко-красных рубахах. Перевернутые закопченные котлы. Раздвигается полог — выглядывает женщина. Около юрты толпятся козы. От юрты отделяется старик, подходит к обочине, голосует. В



другой руке веревка: на нее нанизаны длинной цепочкой козы.

Старик что-то длинно объясняет нашему шоферу, пуская в ход все пальцы, приподымая на руках беленькую козочку и просовывая ее в кабину и все время тряся головой и бородой — одновременно, но с разной частотой, бородой чаще.

Наконец и мы в кузове понимаем, в чем дело. Это благодаря шоферу.

— Да что же это такое?! — кричит он не своим голосом. — Да на что мне твоя коза! Как же мне тебе еще объяснить, что не могу я посадить двадцать четыре козы в кузов!..

Мы оглядываемся, осматриваем кузов. М-да... Хотя мы и утряслись немножко... Но ведь козы-то — двадцать четыре и нас — двенадцать. Я пересчитываю цепочку: двенадцать коз белых и двенадцать черных, — никакой ошибки.

Шофер заходится.

На помощь из кузова выпрыгивает Коля. Он татарин и берется переводить. Наконец старик отделяет от цепочки шесть коз — три белых и три черных, — и Коля с азартом, краснея и веселясь, начинает закидывать их через борт.

Мы смотрим.

Потом старик опять подходит к кабине и снова начинает пропихивать козочку.

— Да не нужна мне твоя паршивая коза! — В голосе шофера мне слышится рыдание.

Старик не понимает, качает головой.

— Ну, садись, черт с тобой... Да поживей, и так из-за тебя опаздываю. Да садись же!.. Ведь все понимает, старый хрен, — денег платить не хочет...

Старик подсаживает козочку в кузов. И садится сам. И мы едем.

Нас теперь двадцать в кузове. Двенадцать было, да еще старик, да еще семь коз. Впрочем, седьмую, беленькую козочку старик держит на руках, как грудного ребенка. Но от этого не легче.

Да, он едет в город. Да, на базар. Толковый старик.

Теперь-то нас не так легко трясти, как игральные кости. Но это только кажется. Нас таки трясет: небо-то над головой свободно... Козы испуганно жмутся сзади.

Они теплые, шерстяные. Глаза у них округлились, налились кровью. Тупой ужас в глазах.

Но мы привыкаем. Козы — сзади, впереди — дорога. И мы про них забываем. Разве пахнет несколько. Да еще я полетел через козу: машину тряхнуло. И все очень смеялись.

Тесно не тесно, а словно мы тут уже давно живем, в машине. Трое играют в очко. Один достал из сеточки пиво и рыбину и угощается с соседом. Коля-татарин заигрывает с Надей-кассиршей. Надя смущается, старается показать, что Коля ей не пара, воротит голову.

Коля вдруг обижается:

— Чего кривишься?

Надя молчит, словно это он не ей говорит.

— Подумаешь, начальство... — говорит Коля.

— Сначала научитесь разговаривать, — говорит Надя, — а потом говорите.

Это, конечно, мудрое замечание. И Коля обижается совсем.

Поблеивают козы.

Но тут машина затормозила.

Новое дело.

Осел стоит посреди дороги. Стоит и ухом не ведет. Сколько я видел ослов — ни тупости, ни упрямства. Это какое-то воплощение грусти и меланхолии. Они, по-моему, просто ничего не видят вокруг от этой грусти. Не обращают внимания. Серые, лопоухие, славные.

Так вот осел стоял посреди дороги. А уж если он стоит, единственный способ — взять его за чытыре ноги и перенести к обочине. Бить и пугать — бесполезно. Но тут был не просто осел-кататоник. Тут дело сложнее.

У обочины, в пыли, катаются два человека. То, как они по очереди садятся друг другу на грудь, и как держат друг друга за отвороты халатов, как лежат в пыли опрокинутые тюбетейки, как кричат они, гортанно и страстно, — по всему этому можно понять, что они дерутся.

Мы, конечно, выбираем себе любимца и начинаем болеть. Мы подбадриваем их криками. Мы даже начинаем спорить, кто — кого. А надо сказать, что меняются местами они так часто, что мы начинаем их путать. Но это не мешает нам болеть. Нисколько. Мы входим в азарт.

Тут один из двоих, оказавшись сверху, вскакивает на ноги и во всю прыть несется к ослу. Он вспрыгивает на осла, стучает в бока пятками, и тот, как по мановению, забыв, что он кататоник, оживает и трогается с места. Тем временем вскакивает и второй, догоняет первого, стягивает его за ногу с осла и садится сам.

Оказывается, они дерутся из-за осла, вот что.

Осел идет впереди как ни в чем не бывало. Мы ползем за ним. А два неподеливших человека стаскивают друг друга с осла, первый — второго и второй — первого. И все время они кричат не переставая, и кажется, что кричат они не сердито и дерутся как-то не страшно.

Мы ползем следом. Медленно, но интересно.

Тут случилось вот что. Они оба снова скатились к обочине, а осел убежал в горы.

Мы поехали дальше с положенной нам скоростью...

Машина теперь уже не катится сама собой. Она ныряет. Вниз — вверх. Вверх — вниз. Раскатится вниз — и на всем скаку на горюшку. А на самый взгорбок уже еле взбирается, ревя и задрав радиатор. Вниз — упираешься руками в борт, чтоб не ткнуться в соседа. Вверх — руки вытягиваются, как канаты, чтобы не опрокинуться на коз. Вниз — все видно впереди. Вверх — видно все меньше, меньше. Пока не влезешь на взгорбок: оттуда снова вниз. И снова вверх.

Вот мы, шипя и надрываясь, осилили один очень длинный подъем. Вот мы на взгорбке — и совсем иная картина. Словно и не было желтых раскаленных гор. Под нами котловинка, и она зеленая.

Аул. Оазис.

Вот и то самое, из-за чего возникли и аул и зелень, — узенький ручеек. Мы переезжаем его медленно, как канаву, сначала мягко нырнув передними колесами, потом резко — задними. Слева от дороги из камня выложен бассейн (хауз). Ручеек перегорожен. У плотины копошатся дети.

Мы спускаемся вниз. К аулу, к зелени.

Справа — поле люцерны. Оно обнесено плетеной изгородью. А сразу за изгородью начинается тот самый вечный желтый камень, такой мертвый на вид.

Это поле было такое зеленое! Я никогда не видел, чтобы что-нибудь было таким удивительно зеленым. Таким свежим. Трава густая, сильная. Кажется, изго-

родь выгибается под ее напором. Поле (какое поле! — что наш кинозал) — и не поле вовсе. Кто-то чуть покруглее нас поставил в пустыне на желтый камень плетеную корзинку, набитую тугой травой. А в поле пасутся две лошади. Удивительно милые лошади. Две лошади в корзинке. И все поле в отдалении. Прохладное, нежное... И две лошади. Сколько раз я проезжал по этой дороге, мимо этого поля: вниз — в субботу и вверх — в понедельник... И каждый раз так же зеленела люцерна, так же паслись две лошади. Казалось, они не меняли ни позы, ни места. Казалось, они и не паслись вовсе. А смотрели куда-то вдаль. Две лошади, два силуэта. Скоро вернется этот кто-то за корзинкой и понесет ее дальше. И люцерну, и двух лошадей... Унесет.

Мы спустились мимо поля и подкатили к аулу. Тут вперемешку стояли юрты и глинобитки. Из них высипали люди.

В центре толпы оказался солдат-отпускник. Я еле узнал его: такой он стал важный. Это мы привезли его в прошлый понедельник. Он остановил нас тогда в двадцати километрах от аула. Он шел пешком и запыхался с ног до головы. В машине он успел нам рассказать и про службу, и про жену, которую не видел год, и про хозяйство. Он нервничал, брал у нас папиросы, и его новорожденное лицо было так тревожно и так чисто. А сейчас он стоял, белый и растолстевший в армии, в толпе своих сухих темнолицых односельчан и был очень важен, и какое-то непонятное равнодушие покрывало его лицо. Он был уже в халате и тюбетейке и забыл про сапоги. Когда он успел привыкнуть к тому, о чем скучал год? Впрочем, много ли нужно человеку, чтобы почувствовать себя дома...

Тут наш старик издал пронзительный крик. В толпе обратили внимание и тоже закричали. Наш старик забарабанил по крыше кабины. Мы остановились.

Он поспешно, путаясь в халате и собственных ногах, цепляясь за коз, вылез из машины. Бросился обнимать отпускника. Старик обнимал и обнимал его, выкрикивая и притопывая. А отпускник давал себя обнимать и стоял важный. А раздавшийся круг смотрел на них. И отпускник давал на себя смотреть. Потом старик начал обнимать группу, стоявшую чуть ближе к центру, чем остальные, — по-видимому, родственников отпускника. Потом

он начал обнимать всех остальных, прижимая руку к сердцу, и пожимая руки, и кланяясь, и снова прижимая руку.

Мы не могли уехать, потому что у нас в кузове были стариковы козы. Шофер выбрался из кабины, опять вспоминая мать, и подошел к толпе. Он втесался в нее, продвигаясь к старику. Продвинулся.

Старик по инерции обнял шофера.

Шофер приволок старика к машине:

— Ехать надо. Понимаешь, ехать. Е-хать. Ехать, понимаешь? Твоя, моя, козы — ехать. Ах...

Старик не хотел ехать. Старик даже рассердился. Он что-то лопотал и бубнил с обиженным лицом. Затем махнул рукой и стал принимать от Коли-татарина коз.

Коля сказал:

— Он говорит, что базар никуда не уйдет. А тут вернулся племянник, и он уйдет.

Сгрузили коз.

Старик снова попытался пропихнуть козочку в кабину.

То, что сказал по этому поводу шофер, вообще трудно передать.

Старик, прижимая руку к сердцу, попятился от машины.

Шофер тронул.

Тут наш старик спохватился и побежал за машиной, крича и размахивая руками.

Мы остановились. Запыхавшись, старик подошел к кабине и долго разворачивал на груди свои халаты, откуда и извлек некий узел. Он долго развязывал его, прищепывая и притопывая, и все для того, чтобы извлечь из него еще узел, который тоже надо развязывать.

Развязав и этот узел, старик отвернулся от кабины и, образовав собой полусферу, шуршал в ней. Развернувшись, он просунул шоферу бумажку. Тот поморщился и взял. Взял и тронул.

Последнее, что мы еще видели, — это как старик протягивал молодую козочку отпускинику.

Стало свободнее. Но это ненадолго.

Скоро мы нагнали живописную группу... Осел. На нем старуха в черном. А сзади, держась за хвост осла, — еще старуха, такая же черная.

— Автомобиль с прицепом, — сказал Саня.

Старуха отпустила хвост и проголосовала.

Другая старуха слезла с осла, и оказалось, что она сидела на мешках. Оказалось, они везли кизяк. Они сгрузили мешки с осла, и тот же Коля погрузил мешки в машину. Туда же он посадил одну из старух.

Мы ехали. Ехали ныряя — в гору, с горы. А вокруг раскаленный желтый камень. И обжигает лицо раскаленным ветром. Но дышится легко. Воздух сух и чист.

Как ни странно, мы напуганы ленинградской жарой. Редкой, но влажной. В Азии жара легче. В Ленинграде климат хуже.

Благодатная страна — Азия!

А я сижу на мешке с кизяком и думаю, что все-таки это совсем другая и чужая мне страна.

## Междугородняя

В чужом городе быстро исчерпываешь все дела. Особенно, если ты один.

Почему-то рано проснешься. Еще не жарко. Сходишь на почту, напишешь домой. купишь газету. Побродишь по городу, пока откроется столовая. Наконец позавтракаешь. Выйдешь из столовой — уже жара.

Пойдешь купаться.

Купание прекрасное! Вода прохладная, чистая, быстрая. Но скоро понимаешь, что надежду освежиться надо оставить. Даже хуже: растравляешь себя только. Выйдешь из воды — и уже снова жара, снова лезь в воду. А пока оденешься — словно и не купался.

Ну, сходишь на базар.

Походишь по рядам, выбирая. Взмокнешь и уже совсем запутаешься, что дешевле и что лучше. Впрочем, все равно — все фрукты тут хороши. Поторгуешься. И если выторгуешь копеек пятьдесят, уйдешь крайне довольный своими финансовыми способностями.

Ну, съешь фрукты... Ну, купишь еще газету и посидишь в чайхане. Ну, выпьешь, положим, даже пять чайников...

Ну что еще?

А времени прошло — почти ничего.

Пойдешь обратно в гостиницу... Это так скучно — гостиница днем! Никого. Пустота. Дремлет на диване дежурная. Откроет глаза, посмотрит на тебя мутно. А ты бы и не прочь заговорить с ней... О том, как нынче уродились фрукты, о ее мальчишке-сорванце, об этих несносных врачах, а потом о доме, о «там в Ленинграде»... А она уже снова закрыла глаза, ей лень и вообще все равно — есть ты, нет тебя...

Проходишь двор... Спит банщик на скамейке под чинарой. Перебежала из двери в дверь прачка в одной рубашке...

Пусто. Пустой двор.

И вот ты шатаешься, шатаешься по улицам...

Куда пойти? К кому?

Это очень далеко, где можно пойти куда-то и к кому-то. Совсем в другом городе. В Ленинграде это.

Я пошел на переговорный пункт и заказал разговор с Ленинградом.

До разговора надо было деть куда-то еще шесть часов. Сходил в кино. Еще раз поел. Снова пошел купаться.

В общем, эти шесть часов прошли даже незаметно.

Потому что я думал о том, что вот разговор, как там Ленинград, как друзья, как мама. Думал о том, что скажу маме, а что — ей... Ведь телефонный разговор не шутка, я-то знаю, говорил не раз. Попробуй скажи все за пять минут, да еще если плохо слышно. Чтобы что-то успеть сказать, надо продумать, о чем и как. Так я рассуждал, сидя в кино, в столовой, на пляже.

Я скажу ей, помнит ли она меня, ждет ли, тогда как я очень помню и жду.

Я скажу ей, не приснилось ли мне все это, что мы были вместе, рядом. Помнишь, совсем недавно, мы шли по берегу озера, всюду были люди, и тогда мы пошли прямо по озеру, оно мелкое в этом месте и заросло зеленым ковром, который прогибается под нами при каждом шаге, и мы качаемся, как на качелях, и уходим от людей вон к тому островку, и при каждом шаге фонтанчики теплой воды из-под пальцев, а Рекс, пес, которого нам поручили, носится по болотине кругами как угорелый, а ковер под ногами такой широкий, такой зеленый, и когда мы пришли на остров, там тоже были люди, а мы пошли дальше...

Я скажу тебе: здесь такая прекрасная страна! Все, что вижу, мне так хочется тебе показать, чтобы вместе ходили, смотрели, удивлялись... Здесь такая чужая мне страна... что не нужна она мне.

Я скажу тебе...

Я даже записал на бумажке то, что скажу, по пунктам, чтобы не забыть у телефона. И при этом мысль о собственной опытности доставила мне удовольствие.

Вечерело. Была самая жара. Тот момент, когда зной стоит, стоит и вдруг начнет спадать. Но он все стоял...

Оставалось полчаса.

Я решил переждать их в переговорном пункте.

Разные люди — узбеки, таджики, русские, мужчины и женщины — сидят по стенкам бок о бок. Ждут. Осматривают каждого новоприбывшего. Потом снова смотрят перед собой. Сидят рядом, но как-то отдельно друг от друга. Строй фанерных будок. Все слышно, что там говорят. Фразы из разных будок накладываются одна на другую. И на все накладывается голос из репродуктора:

— Наманган, вторая кабина!

— Надя, как твое здоровье? Не очень хорошо... А когда ты собираешься поправиться? Нелепый вопрос?..

— Что? Что? Не слышу!

Неорганизованные люди, с удовлетворением думаю я. Так они ни о чем не договариваются.

— Москва, первая кабина. Москва! Кто ждет Москву! Москва на проводе!!! — сердится голос в репродукторе.

— Уже пять минут, как должны соединить, — говорю я.

— Это ничто по сравнению с вечностью, — важно роняет сосед.

«Дурак!» — обозлился я.

Сосед задумчиво бросает монетки в шляпу. Достает их оттуда и снова бросает.

— Два часа жду, — говорит. — Нет дома. Куда делась?

— Ни одного письма от тебя... — говорит девушка в одной из кабин. Тоненький голосок... И вдруг басом, вот-вот заревет: — Я прямо с ума схожу... Что? Почему у меня такой голос? Простудилась. Хожу каждый день купаться... Одна. Конечно, одна.

— Все врет, — со злостью говорит сосед.



— Наманган. Наманган! Четвертая.

Свинство слушать, думаю я.

Читаю на стенке: «Предметы, запрещенные к пересылке по почте... Во всех почтовых отправлениях запрещается...»

Скоро ли... Скоро ли! Чего они тянут!

«Пользуйтесь стандартными текстами поздравительных телеграмм... Всем семейством поздравляем, счастья в жизни вам желаем. Форма 5-а.

...дальнейших успехов в работе...

...Новый год... Первое мая...

...Форма 6-г...»

Ожидание нагнетается и становится невыносимым. Что-то препротивно закручивается внутри. Намерение еще чем-то отвлечь внимание не приводит ни к чему. Чуть не рычу. Ни о чем не подумать...

Я думаю о таком странном состоянии, когда что-то закручивается внутри. Такое же нетерпение бывало в детстве... Потом я думаю о детстве. Насколько все получилось не так, как думалось в детстве. И я думаю, что совершенно не могу себе представить, что будет со мной через столько же лет в будущем...

— Ленинград, первая. Ле-нин-град! Поспешите в первую кабину...

Я отряхиваюсь, понимаю, где я и что я, успеваю в какую-то секунду облиться с ног до головы потом и бросаюсь к кабине.

— Алло, — кричу я. — Алло!

— Это ты?.. — голос далек и слаб. Совсем искаженный голос.

— Да, это я, — говорю я и молчу.

— Ну, как ты там?

— Да что я... ты о себе расскажи, — говорю я.

— Да что мне рассказывать: все так же, все, как знаешь. Ты о себе расскажи — это главное.

— Да что мне говорить, — говорю я. — Все, как я уже в письмах писал. Тут надо о том, о чем только сказать можно...

— Ты же все знаешь...

Стесняется она, что ли? Вечно кто-нибудь торчит в этом коридоре!

— Как все там живы-здоровы? — говорю я.

— Все в порядке. Все живы и все здоровы.

— А Катя как?  
— Хорошо Катя.  
— А мама?  
— И мама здорова.  
— А как твой?  
— Хорошо.  
— На даче?  
— На даче.  
— А Петька?  
— Петя тоже на даче.  
— Ну, а как же все-таки ты?  
— Я... так же я. Приезжай скорее, — голос тихий-тихий. И вдруг обрадовался голос: — У меня рожа.  
— Что?! Пфу! Пфу-у! — дую я в трубку. — Алло! Алло! Пф-фу-у! Пф-у-у! Алло, Ленинград!

Да что же это такое! Неужели все? Ничего и не сказал...

— Пф-фу! Пфу! Алло!!! — ору я.  
— Что у тебя там за помехи?  
— Сам не знаю, — говорю я.  
— А сейчас их нет.  
— Так это я, наверно, трубку продувал, — догадываюсь я.

Смеется.

— Так что же с тобой? Я не понял, — говорю я.  
— Рожа.  
— Что такое! Ты не треплись: времени-то мало...  
— Я и не треплюсь. Это кожное заболевание такое.  
— И очень пострадало лицо? — озабоченно спрашиваю я.

— Лицо? — смеется. — Вовсе не лицо, а на руке. Я мыла кости для собаки — уж такие достала вонючие, что мне их даже даром отдали, — мыла и поцарапалась. Теперь ни купаться, ни мыться не могу. От воды вздувается — просто ужас!

— А как собака?

— Что?

— Как собака?!

— Говори громче, ничего не слышно.

— Как собака?! — ору я.

— Что, очень устаешь, да?

— Да нет же, я про собаку!!!

— Хорошо, хорошо. Что ты так громко кричишь?

— Да ты же сама говоришь — не слышно.  
— Все в порядке с собакой. Ей-то прекрасно..  
— А тебе от нее достается? Все так же лает?  
— Что?  
— Так же лает, говорю!  
— Ничего не слышу.  
— Лает!!! — ору я.  
— Кто лает?  
— Собака лает... — говорю я и чувствую себя окончательно идиотом.

— Ну конечно, что же ей еще делать... Сережа, ну при чем тут собака?

— Конечно, ни при чем, — соглашаюсь я.  
— ЗАКАНЧИВАЙТЕ. ЗАКАНЧИВАЙТЕ.  
— Я все не то говорил! — кричу я.  
— И я.  
— Правда? Скажи.  
— РАЗГОВОР ОКОНЧЕН.

Я еще некоторое время ору в немую трубку... Может же быть так, что только я ее не слышу, а она меня слышит?..

Потом вываливаюсь из будки. Какая духотища! Это надо суметь так взмокнуть! Как мышь. Осторожно, двумя пальцами, отлепляю от тела рубашку и брюки.

А тут сидят и ждут люди и делают вид, что не замечают меня. Мне неловко этих людей: ведь они все слышали... И я выскакиваю на улицу как пробка.

Так хорошо! Жара уже спала. Потянуло холодком. Набираю полную грудь. Иду. Только сейчас и замечая, что кулак судорожно сжат. Еле разжимаю: затек. Там совсем мокрая бумажка с пунктами. Какие глупости!.. Выбрасываю.

А в ушах и внутри долго еще звучит ее смех.

А больше ничего и не надо.

Я улыбаюсь девушкам. Помогаю старушке поднести кошелку с базара. У нее сын недавно женился... А невестка хоть и хорошая девушка, но попробуйте с ней поживите... Все будет прекрасно, говорю я ей. И иду дальше. Помогаю мороженщице катить тележку.

Покупаю лотерейный билет.

Долго беседую с дежурной в гостинице и с узбеками, соседями по комнате.

И засыпаю.

## ГАДЫ И ФРУКТЫ

Глядите — хо! — он пляшет  
как безумный:  
Тарантул укусил его...

*Эдгар По*

### Энциклопедия

Больше всего я боялся, что меня кто-нибудь укусит. Я расспрашивал знакомых, которые бывали в Средней Азии. Ровно половина рассказывала страшные истории, и ровно половина говорила, что все ерунда и легенда. Я так толком и не мог понять, что мне делать: бояться или нет. Неразрешимых вопросов, впрочем, нет. Есть Большая Советская Энциклопедия.

«ФАЛАНГИ, или сольпуги, или бихорхи... Тело членистое, подразделено на головогрудь и десятичленистое брюшко... Конечностей шесть пар: верхние челюсти — для нападения и защиты, нижние челюсти, или ногощупальца, третья пара — для осязания, 4—6-я пары — ходильные... Раздельнопопы, яйцекладущи, развитие без метаморфоз... Более 600 видов...»

«СКОРПИОНЫ... Тело длиной до 18 см... Две ядовитые железы открываются на конце острого крючковатого шипа — жала... Ног 4 пары, глазков 3—6 пар... Известно около 500 видов... Уколы С. очень болезненны, а уколы крупных С. могут оказаться смертельными».

Не знаю, из каких соображений именно так кончалась статья о скорпионах. Почему бы не сообщать об этом где-нибудь в середине?

Но все это пустяки. А вот что меня потрясло, так это кара-курт! Самка превосходит самца в 2,5 раза и в 160 раз более ядовита. Если попробовать представить, что такое быть в 160 раз более ядовитым, чем уже ядовитый кара-курт-папа, — это кружит голову, как астронмия. Но этого мало: оплодотворившись, самка убивает самца и пожирает его...

И кто может мне гарантировать, что я буду иметь дело только с мужчинами?

## Змея

Они попадают сравнительно редко.

Однажды уж совсем заморились за смену... Еще был с нами мальчишка Петя, приехал из города к брату погостить. За компанию с нами на смене был.

Сидим, дремлем. Вдруг он как заорет:

— Змея!

Вскочили, конечно. Где змея! Как змея! А змея испугалась — под настил забила. Так мы чуть все доски по очереди не содрали, пока поймали... Ну, прибили змею — и все.

Только мальчишка все с ней забавлялся. Поразила она его очень.

А нам почти до конца смены пришлось доски обратно приколачивать.

Притомились.

— Давай-ка уху заделаем!

Ухой мы чай зовем. Подзываем Петю:

— Петя, сбегай за водой...

Петя — в одной руке котелок, в другой змея — по-мчался, прыгая и улюлюкая, вниз, к роднику.

Вернулся, поставил котелок. Грустный какой-то.

— Что с тобой? — спрашиваем.

— Змею-ю потеря-я-ял...

— Как же это ты так?

— Да вот, взялся за хвост, раскрутил над головой — даже засвистело. И вдруг хвост оторвался, а змея улете-ла... Искал-искал — нету.

— Непрочная какая... — сказали мы.

## Скорпион

Надо сказать, и кара-курт и фаланга, в общем, благородные звери. Так, за здорово живешь, они тебя не тронут. Будут ползать по тебе, а не тронут. Разве что придавишь.

Скорпион — другое дело. До чего уж подл! Так и норовит цапнуть. Не успеешь слова сказать — он уже бьет.

И зря утверждают, что они самоубийством кончают. Это для них слишком благородно. Сколько раз мы их

ловили — и ни разу. И такая уж была обстановка: дураку ясно — пора кончать. Нет, ни разу.

Но вообще-то все эти гады — дело здесь привычное. Даже развлечение.

Сидишь на вышке. Станок крутится, гудит. И так в сон клонит — мочи нет. Особенно в ночную смену. А тут изловишь скорпиона да фалангу... Ночью их много на свет набегают. Поймаешь — или ниточкой за лапки свяжешь, или так стравишь. Зрелище — хоть куда. Уж до чего злы!

И надо сказать, фаланга, как правило, скорпиона забивает.

## Фаланга

Пакость это, прямо скажем, ужасная. То есть от одной мысли, что такая тебя может укусить, стошнит. Такой зеленый, толстый и мохнатый паук. С черным клювом.

Одно слово — гад.

Вернулись как-то мы со смены. Пообедали. И присели покурить на ступеньке столовой. Вдруг бежит к нам Санька с таким видом, словно он жемчужину нашел. Подбежал — видим, между двумя щепочками держит фалангу. Да такую здоровую, что мы таких никогда и не видавали. С ладонь. Сучит своими толстыми и мохнатыми, словно в штанишках, лапами.

— Вот, в уборной поймал, — радостно говорит Санька.

Присел рядом с нами, сложил фалангу у наших ног.

Только щепочкой придерживает, чтоб не убежала.

Сидим решаем, что с ней дальше делать. То ли сжечь, то ли лапки оторвать, то ли попугать кого-нибудь. И тут видим: курица за нами наблюдает. Стоит скромно в сторонке и все голову к нам кривит.

— Стравим ее с курицей, — говорит Санька.

Дружное одобрение.

Отшвырнули мы фалангу чуть поближе к курице и смотрим.

Фаланга стоит на месте, еще очухаться не может — озирается.

А курица робкими шажками и как-то по кривой, но уже подбирается к ней. И все боком поглядывает и головой так смешно и сосредоточенно подергивает. Обошла фалангу и остановилась в полметре сзади. Чтoб та не видела. Потом, словно ее подменили — куда только девалась недавняя вкрадчивость, — как прыгнет к фаланге, тюк-тюк ее клювом в самую серединку и снова отскочила.

— Такое, так! — закричали мы.

Фаланга покрутилась на месте и снова остановилась. Курица опять зашла к ней с тыла, подскочила — тюк-тюк-тюк! Приподняла голову, посмотрела, выжидая. А фаланга уже и не шевелится. Тут курица подхватила в клюв фалангу и как понеслась во всю прыть, кокетливо раскидывая ноги. Забежала за угол. А туда уже другие куры бегут: жирная добыча. А курица с фалангой от них. И все скрылись.

Уж мы хохотали! Столько они нам удовольствия доставили...

— Да,— сказал вдруг Толик раздумчиво и серьезно, — курицам тоже нужно мясо... Для них это мясо.

### **Кара-курт, что в переводе означает «черная смерть»**

А это один из знаменитых рассказов Толика. Вот как оно бывает с кара-куртом на самом деле...

Вечером Толик выпил. И не то чтобы выпил — просто встретил приятеля. Ну, выпили. Выпили в честь того, что выпутались из переделки, в которую впутались, когда выпивали третьего дня.

Толик пришел домой не то чтобы пьяный. Пришел и рухнул в постель под причитания жены. Во сне он икал, рыгал, клекотал, ворочался, раскидывался, задыхался, ругался, плакал, храпел — в общем, спал беспокойно. Потому что, во-первых, он все-таки выпил, во-вторых, была отвратительно душная ночь и, в-третьих, с утра было на смену.

Однако к смене он не проспал. Он даже проснулся раньше обычного: было всего часов шесть. Все гудело, саднило, трещало, ломало, горело — в целом, много неприятных ощущений. И все бы ничего особенного, если бы не было еще чего-то не совсем похожего в ощуще-

ниях. Так он лежал неподвижно, переживая похмелье, пока не выделил необычное беспокойство в единицу: особенно горело плечо, и вообще он был полупарализован. Он отвел плечо и увидел трупик кара-курта.

«Придавил, значит, беднягу...» — подумал он, пряча кара-курта в портсигар.

Он даже испугался, но потом вспомнил, что первое средство (а в больнице ему быть не раньше, чем через два часа)... первое средство — наспиртоваться. А в этом отношении ему повезло.

Но и еще не мешало бы...

Обдумав все это, он растолкал жену.

Жена, уснувшая сердитой, проснулась тоже сердитой. С криком.

— Беги к Бобру — неси пузырек, — сказал Толик, суммировав в этой краткой фразе свои предыдущие рассуждения.

Жена, конечно, возмутилась и сочла, что Толик потерял всякую совесть. Что ему уже мало выпить тайком, так он уже ее саму нахально за водкой посылает, да еще с утра...

— Хватит, — сказал Толик. — Поспеш. Меня кара-курт кусил.

Та, конечно, не поверила — и нет предела его наглости... Но Толик — он только молча раскрыл папиросницу и ничего не сказал. Жена быстренько выскользнула из палатки в предрассветное утро.

Она растолкала Бобра (нашего завмага), объяснилась с ним и, пока тот шел открывать свою лавочку, сбегала к начальнику, добудилась и его, а тот растолкал шофера и велел срочно собираться в город и везти Толика в больницу.

Через пять минут гудел весь лагерь. Жены, вставшие раньше своих мужей, чтобы приготовить завтрак, узнали о случившемся, и от их крика проснулись мужья, много раньше обычного. Следом проснулись дети.

К Толику потянулись паломники. У палатки образовалась очередь. А Толик допивал лежа свою бутылку, открывал и закрывал портсигар и рассказывал, уже туманясь и заплетаясь, как он его, голубчика, того...

Толик не удовлетворил еще и половины заинтересованных, как бутылка кончилась.



— Тащи еще пузырек! — крикнул он жене. — Да живее — для жизни опасно...

Он выпил еще с полбутылки, когда шофер собрался. Толика с великими почестями, на руках, отнесли к машине. Он что-то горланил, размахивая почему-то не парализованными руками: в одной было полбутылки, в другой — портсигар.

Ехать было далеко, Толика растрясло, он уснул и очнулся уже у самого города, на подъезде к мосту. Проснулся и почувствовал, что, пока он спал, кара-курт не дремал. Пожалуй, что он, Толик, почти уже не мог пошевелиться. Однако он сделал над собою усилие и допил водку, а бутылку вышвырнул в реку.

Шофер сгрузил его у больницы, хотел проводить, но Толик прогнал его.

— Я сам! — кричал он, путаясь в турникете, что не мудрено, если человек укушен кара-куртом и уже почти полностью парализован.

В приемном покое несколько удивились. И даже не хотели принимать. И даже хотели вызвать милиционера. Что естественно, если в чистых, тихих покоях вдруг появляется такая колеблющаяся фигура, что даже не разглядеть. Словно фотография не в фокусе. Но эта тень орет, гремит, опрокидывает стулья, матерится и хватается за грудки, а грудки — это белоснежный крахмальный халат.

Но фокус с портсигаром, в котором был красненький паучок, удался Толику и тут.

Как-то его умыли и переодели, что-то ему впрыснули, и он проснулся на следующее утро, ничего не понимая, в этой чистоте. Хотел закурить и ничего не нашел. И вообще обозлился.

Явилась чистенькая, аккуратная сестра, чтобы сделать ему укол.

Толик категорически отказался. Слишком категорически...

Конечно, скандал. Конечно, слезы.

Увещевали. Стыдили. Приходил главврач.

Кое-как успокоили. Приготовились к уколу.

«Надо же, — рассказывал Толик, — разве ж это врачи! Мясники. Ка-а-ак она мне всадит!.. Игла — с полметра. Не шприц — бутылка. Да еще у нее не сразу получилось, так она меня раза три тыкнула. Что там кара-курт —

ерунда. Я как вскочил, шприц разбился, а ее словно ветром сдуло. Опять появились всей бандой. И что-то мне еще вклеивают... А сами уколов делать не умеют.

— Выписывайте, говорю, меня... А не станете — удеру!

И удрал.

У приятеля в городе переоделся. Ну, полечились мы немного...»

Толик вернулся на следующий вечер. Хорошо выглядел...

А наутро вышел на работу.

## **Фрукты**

Ну а фрукты — совсем другое дело!

## **ФОРМЫ ТЕПЛА**

## **Жара**

Я сплю на крыше. Поперек ущелья. В ногах хребет и в головах хребет. Солнце восходит из-за моей головы, вернее из-за тех гор, что у меня в головах. Оно высовывается из-за острого гребня: долька, половинка... И вдруг встает на гребень, румяное и круглое, как колобок. Кажется, крикни, и оно покатится вниз по склону. До самой нашей базы. Солнце высовывается из-за гребня, и начинается перестановка, перераспределение света и тени. Лучи падают на вершины противоположного гребня, того, что у меня в ногах. Линия, разделяющая освещенную верхнюю часть гребня и теневую нижнюю, сползает вниз. А солнце поднимается вверх. Вот и весь склон освещен. Тени бегут. И даже на дне, где находится наш поселок и особенно застоялась тень, даже тут светлеет. Свет занимает окраинные дома поселка и стремится к центру. Подобрался к моей крыше, осветил ноги. Ногам становится жарко под ватным одеялом, сон слабеет. И вот свет ударяет в лицо, будит. Помычишь, покрутишь головой — проснешься. Делать нечего — солнце.

А если сон так крепок, что не проснешься от первых лучей, то все равно проснешься вскоре. Но проснешься разбитый, мятый, смурной. И целый день будешь ползать как муха.

А солнце стоит где-то над нами. И освещает уже и левый склон, и правый, и дно ущелья. А ведь еще так рано... и ты совсем не выспался.

Куда деться от солнца?

Дома накаляются, в комнатах душно и набиваются мухи. А деревьев тут нет. Ни сени, ни шума листьев. Нету деревьев. Единственная тень — от домов. Выносишь койку, приставляешь к стенке, в тень. А тень уменьшается, тает. И становится шириной в полкровати. Больше не поспишь... Можно еще так полежать. Но вдруг сетка под тобой начинает ходить ходуном. Оказывается, под кровать забился козлик и пытается устроиться поудобнее. Под кроватью — тень. Выгонишь козлика — там спрячутся куры: им там достаточно тени и места.

А настырное солнце лезет и лезет вверх.

Весь поселок вымер. Даже непонятно, куда все спрятались. Начинаешь слоняться по поселку. Никогда в жизни не приходилось бродить так медленно. Зайдешь на кухню: что будет на обед? Уйдешь из кухни: мыслимое ли дело стоять в такую жару у плиты? Зайдешь в клуб, шуганешь шара, он замечется по бильярду... Выйдешь из клуба... Тот же назойливый, надоедливый свет. После темного клуба ломит глаза. Та же жара.

Вдоль домов узкая, полуметровая тень. В ней, прижавшись мохнатым боком к стене, выстроились козы, нос в хвост. Они стоят тихо-тихо, как неживые. Если бы они встали поперек, им бы уже не хватило тени.

Три часа. Самая жара. Пора на смену.

Я подхожу к трубе, из которой узкой струйкой журчит в бочку вода. Подставляю голову. И направляюсь в гору. С волос течет по груди, за шиворот, по спине: приятно. Два километра вверх, в гору, до нашей вышки. Через полкилометра голова суха, а тело мокрое, но уже от пота.

Доползешь — и полчаса отходишь в тени вышки. И пьешь, пьешь...

Но вот с гиком и улюлюканьем побежала вниз предыдущая смена. Их смена кончилась.

Наша началась.

Вставай к станку. Жара...

А там, в глубине, где мы не видим, куда рвемся, — прохладно. Там наша цель — в глубокой и твердой прохладе руды: медь.

И от слова «медь» — еще жарче.

## Ташкент

В данном случае это не город. Это костер.

Ночью в горах холодно. Пробирает до костей. И темно, конечно. Особенно, если луны нет. А луны, как ни странно, все больше нет. Из-за гор, может быть, не видать?

Ночная смена. Пока подымешься — разогреешься, взопреешь. А вышка на гребне — со всех сторон ветер. И сразу начинаешь зябнуть. Натянешь ватник — все равно. Станок крутится. Сидишь и стынешь.

— Заделаем Ташкент? — говорит Толик.

— Заделаем, — говорю я.

Насобираем вокруг вышки негодных ящиков, досок, щепок — этого барахла всегда скопится за день. Соберем это в кучу, плеснем солярки...

Горит!

Жарко, ярко. Сразу как-то веселее на душе. Огонь мечется, пляшет, подставляя бока ветру. Куда кинется язык, отступает ночь. А вокруг она сгущается еще больше, еще чернее. Мы с костром — словно это весь мир, площадь которого — свет костра. И больше ничего никогда не было.

Лежим у костра, смотрим в огонь. Иногда на станок: как он там крутится? И снова в огонь. Разговариваем. Говорим словно не друг другу, а костру. Подбрасываем в огонь слова...

— Какая она была красивая!.. — Это Толик. — Она была главврач поликлиники, а я шофер. Возил ее. Однажды она сказала: «Сегодня нам никуда не надо — поехали купаться». А я был молодой, красивый — не то что сейчас. Веселый был. Поехали мы купаться. Красивая была... Покупались, потом она говорит: «Поехали к тебе, хочу посмотреть, как ты живешь». Ну, поехали... Я еще по дороге домой язвонил: хозяйка моя, такая старушка, — все понимала... Приезжаем — уже столик

накрыт, коньяки, закусочка. Деньги у меня тогда водились. Холостой был — зарабатывал неплохо. Выпили мы хорошо... Песни попели. Я на гитаре. Она так... Эх, сейчас бы гитару!

— И я помню. — Это говорю я. — У меня тоже...

— Вот какие дела, — Толик словно не слышит и продолжает: — И еще была... Дочка директора театра. Я тогда в Куйбышеве работал. Какая была! Одевалась... каждый день новое платье. Ну каждый день. Я сначала и не думал. Служил шофером в театре. Ну, возил ее иногда, конечно... Она сама меня пригласила: у меня, мол, день рождения, то да се...

И так полночи. Про красивую жизнь, про красивую любовь... Не иначе.

Вдруг замолчим. Смотрим в костер. Подбросим досочку, плеснем еще солярки. Развеселится, зашуршит огонь. Выплеснет в небо сноп искр.

— Ты посмотри за станком, я вздремну немного, — говорит Толик.

Натягивает воротник на голову, а голову втягивает в воротник. И, спящий, становится каким-то маленьким.

Я слежу за станком: гудит, крутится. Посмотрю на приборы: показывают.

Я лежу на животе. Подбородок на кулаках. Передо мной мир — пятно. Камешки. А за камешками — стена огня. И в этом мире разворачиваются свои события...

Огневки слетаются на свет. Вот одна, большая, уже опалив крылья, упорно ползет по камням к костру. Когда подползает слишком уж близко, испуганно бросается обратно, неуклюже взмахивая полуобгоревшими крыльями. И снова ползет к костру. Упорно делает одно и то же, как заведенная.

Выпрыгнул из темноты кузнечик. Сел на камешек под самым моим носом. Сидел, грелся, шевелил усами. Смотрел на костер. Неподвижно, замороженно. Вдруг заволновался. Собрался: хорошо тут с вами... — и прыгнул обратно в темноту. Свои дела...

Вползла фаланга. Ее я казнил.

Смотрю на огонь... И вспоминаю, что уже было так. На берегу озера. Между озером и лесом. Тоже костер. И тоже палились на нем огневки. Только фаланг там не было. И так же, вобрав голову в плечи, спала моя жена...

Или как полз муравей по песку. Мы сделали в песке воронку и посадили на дно муравья. Он сразу же побежал по склону. Он очень торопился, но продвигался крайне медленно, потому что песок осыпался под ним. Но в конце концов он добирался до самого края воронки, и тут край обваливался... И он начинал все сначала. Он даже не медлил, чтобы собраться с силами, — сразу бросался по склону, вверх, вверх. И снова падал вниз, вниз... И все-таки выбрался. И побежал в том же направлении, словно ничего и не было, серьезный и организованный.

Мне бы так!..

Как редко видишь этот мелкий мир... Странно. За всю жизнь можно пересчитать по пальцам. И хватит одной руки.

Вот тоже было... Обиделся я как-то на всех и на все. Мир почернел. Я сел на электричку и уехал. Потом слез, шел, шел. Уже утихший, сладко жалел себя. Вышел на луг. И бухнулся в траву. Лицом вниз. Огромный, мощный лес встал перед моими глазами — трава. И жители этого леса — огромные звери. Я смотрел, смотрел... И как-то все встало на свои места. Я потом все собирался еще раз съездить. Все собирался.

Непонятно только, когда мы успели ко всему привыкнуть?

Самые обычные вещи: раннее утро, заход солнца, звездная ночь, зимний лес, костер, лунный свет на снегу, небо... Родной город, родной дом, любимые люди... Все-то мы знаем. А что мы помним? Два-три рассвета, запавшие в память на всю жизнь. Четкие, словно это было вчера. Одна-две лунных ночи. Всего одна-две.

Один раз (а то и ни разу) мы увидели небо над головой. Не так: «Смотри, какое небо!», или: «Ах, какая голубизна!» — не так. А так, чтобы не уметь говорить — и небо, небо над головой, — все небо! Как увидел его князь Андрей на Праценской горе.

Почему мы не видим? Не удивляемся?

Может, некоторым выпало чего-то больше. Чего-то меньше. А у некоторых чего-нибудь вовсе не было. Это не важно. Важно, что все эти вещи чрезвычайно редки в каждой жизни...

Проснулся Толик. Растерянное, измятое лицо. Протягивает руки к костру, словно гладит.

Размывается чернота над хребтом. Светлеет.  
Догорает костер.

## Пишут письма

Забавное соображение приходит вдруг в голову: мне же гораздо ближе в Индию, чем домой. Во много раз ближе.

Над нашей вышкой пролетает самолет в Китай. ТУ-104. В полдень. Как раз полсмены. Еще пять минут — и он за границей. Вышка стоит на месте.

Нам приходят письма.

По этому поводу — тоже странное соображение. Письма... ведь это поразительно бессмысленное дело!

Представьте себе, что вы далеко: письмо до вас идет неделю или больше. И ваше туда — неделю. Вот вы читаете, волнуетесь и, безусловно, воспринимаете все сегодняшним днем. В этом вся соль письма. Вы представляете, как именно сейчас движется, думает тот, кто вам пишет, что с ним случилось, что происходит вокруг... И в жизни как говорят? «Что он вам пишет?», «Вот, смотри, друг мне пишет...» В настоящем времени говорят. А на самом деле писал он неделю назад. Уже и забылось ему то, что волновало его в тот день. Но вы отвечаете ему так, как будто он вам только что все сказал. «Ты совершенно правильно написал, что... Я, пожалуй, согласен с тобой насчет... На твоём месте я бы так не поступил...»

Вы отправляете письмо. И оно идет туда неделю. Две недели, полмесяца, а то и больше разделяют вопрос и ответ.

Ваш адресат получает письмо и с трудом вспоминает, о чем же он таком писал, что вы с ним не согласны или, наоборот, хвалите. Все это было так давно. Сегодня свои заботы, мысли, другие, чем тогда.

Но он вас любит, он ищет в письме прежде всего, что же вы написали о себе. Находит. Волнуется. И отвечает вам точно так же, как вы ему.

В разлуке все приукрашается: город, дом, люди. И письма отражают это, а отразив, идут дальше — уво-

дят вашу память, — все прекраснее, прекраснее становится то, что вы покинули.

Письмо, мягко говоря, — не совсем правда.

Но, может, мне это только кажется? И я сам искажаю все? Потому что ревную ко всему, что оставил...

Как они нужны, эти письма! Пусть не то, пусть не правда, пусть прекраснее, чем на самом деле.

Как мы их ждем!

Пишите нам.

## НАШЕ МОРЕ

### Человек, который не видел моря

Отработал неделю в утро — воскресенье. Неделю в вечер — воскресенье. Неделю в ночь... снова воскресенье.

— Вот так всю жизнь, — говорит Саня.

Снова семьдесят километров по желтым раскаленным горам. В кузове. А сегодня еще жарче, чем вчера. Пропылились, пропеклись...

Пить!

Скоро уже, скоро город. Там и попьем...

А вот и река. Широкая, гладкая, такая прохладная на вид. Зеленые берега.

А вот и город. Сады, улицы.

А вот и мост.

— Приехали!

Сейчас сразу — и купаться.

Выпрыгиваю из машины и чуть не падаю: ноги какие-то не свои. Тут же у моста раздеваюсь, а с моста — в воду. Течение быстрое, подхватывает и несет. Плаваю, плаваю... Так бы и плавал всю жизнь! Но еще больше я хочу пить. Стоило чуть освежиться, и стало ясно, что больше всего на свете я хочу пить. Пиво. Ларек на том берегу.

Одеваюсь, бегу через мост.

Еле дожидаюсь своей очереди. Кружка. Еще кружка. Холодное...



— Дай-ка еще кружечку, Миша, — говорю я. Все его так зовут, все кричат ему: «Миша, Миша!» — этому толстенькому усатому таджику, и я говорю: — Дай-ка еще кружечку, Миша...

Куда пойти: на базар или в ошхону? Все становится каким-то замедленным. Желания тоже.

— На, — Миша подает мне кружку, — ты с горы?

— С горы...

— Вот видишь, я сразу увидел!

— Как это ты?

— Так... Я человек опытный. Здорово я отгадал?

— Здорово, — говорю я. Пиво ударило в голову. — Здорово, — говорю я, — хорошее у тебя пиво... Но больше всего хочется есть, — говорю я.

Как-то я совсем затормозился: ни идти, ни двигаться...

— О, в нашем городе можно съесть что хочешь! Правится тебе наш город?

— Река у вас чудесная, — говорю я.

— Река — да. А ты был на нашем море?

— Море?

— Ну да, море. Он не был на нашем море... Эй, слушайте, он не видел моря!

— Кто? Кто?

— Вот этот человек.

— Бывает же...

— Там человек, который не видел моря!..

— Где?

— Нет, это вы серьезно?

— Что?

— Вы не видели моря?!

— Ну да.

— Так нельзя.

— Надо показать ему море.

— Гурам! Немедленно гони сюда свой мотоцикл.

Мы идем. Сзади эскорт. Прохожие попадают на встречу, не понимают:

— Куда ведут этого человека?

— Так его! Так!

— Что он сделал?

— Этот человек не видел моря.

— Не видел моря?..

— Моря-а-а...

Меня ведут.

Вот и Гурам с мотоциклом.

Садимся, едем. Толпа машет нам вслед:

— Увидите наше море!

— Прекрасное наше море!

— Наше голубое...

— Наше синее...

Город — зелень. И от города, вверх по реке, по пути нашего следования — тоже зелень. Но вот последняя глинобитка, кончились люди, и даже по берегам реки — пустыня. словно все устелено шкурами верблюдов, желтое и многогорбое.

Мчатся слева и справа многогорбые желтые верблюды...

Я в коляске — почетный гость.

Мои проводники: за рулем Гурам, за Гурамом — Мурад.

Едем. Мои проводники перекиваются о чем-то посвоему.

— Сейчас мы немножечко остановимся, — говорит мне Мурад.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Мы немножечко поборемся, — говорит Гурам.

— А море?

— Море? Какое море?

— Куда мы едем? — спрашиваю я невольно. (Кругом пустыня, и мотоцикл я водить не умею.)

— Ну конечно, на море. Вот немножечко разомнемся и дальше поедем.

Мотоцикл стоит у обочины. Я сжался в коляске.

Гурам и Мурад кружат друг вокруг друга. Полусогнувшись, на полусогнутых ногах. Вытягивают руки, пытаются ухватить друг друга.

— Суди! — кричат они мне.

Гурам ухватил Мурада. Нет, это Мурад ухватил Гурама. И Гурам и Мурад ухватили друг друга, полетели. Упали. Свалились. Мурад сверху. Нет, это Гурам сверху. Гурам. Нет, Мурад. Гурам — Мурад. Мурад — Гурам...

Ничего не разобрать! Пыль столбом.

Но вот они возвращаются. Обнявшись. Все в пыли, желтенькие. Довольные. Раскрасневшиеся.

— Гурам!

— Мурад! — похлопывают они друг друга по плечам.

Едем дальше. Изумительная дорога. Прямая как

стрела. Автострада! Удивительно приятно ехать на мотоцикле... Жара, пустыня. А тебя продувает, обдувает. Еще бы!.. Сто. Сто двадцать. Да... что и говорить, прекрасный мотоциклист.

Но дорога — это чудо. Такая мертвая пустыня... А в ней — такая дорога.

— В прошлом году построили, — говорит Гурам. — Теперь есть где гонять на мотоцикле.

— Для этого строили... — говорит Мурад. — Смешно сказать: строили, чтобы Гурам гонял на мотоцикле!

— И для этого, — настаивает Гурам.

— Я строил — я знаю.

— Только он и строил, — говорит Гурам. — Один Мурад построил всю дорогу!

— Не один.

— Вот именно. Я тоже строил.

— Мы оба строили эту дорогу, — соглашаются Гурам и Мурад.

Дорога — что и говорить! Но и Гурам мотоциклист что надо... Спорит на скорости сто двадцать километров. Как дома!

Мертвейшая пустыня вокруг.

— Это наша целина, — говорит Мурад.

— В будущем году тут будет хлопок! — говорит Гурам.

— Да, теперь у нас есть вода. Теперь у нас есть — море... — кивает Мурад.

Впереди, посреди пустыни, вдруг вырастает юрта.

— Сейчас мы немножечко остановимся, — говорит Гурам.

— Снова бороться?

— Тут наш друг один живет.

Ничего, ничего, думаю я.

Подъехали. Встали. Из юрты вышел молодой узбек.

Долго обнимались. Тщательно.

— Останьтесь у меня немножко. Как раз плов поспел. Чаю попьем. Послезавтра вернетесь.

— Нам нельзя, — сказал Гурам.

— Зачем обижать! Кого обижать! Больше я вас не знаю. И вы меня не знаете. Все.

Человек пошел к юрте.

— Ой! Ой! Ого! Ой! — закричали Гурам и Мурад и побежали за ним. Поймали, притащили обратно.

— Дурная голова, спроси сначала, почему мы не можем?

— Почему вы не можете? — покорно спросил убитый горем человек.

— Мы везем человека, который вообще не видел моря!

— А! О! — трясет мне руки весь преобразившийся человек. — Очень рад.

— Что вы? Чему? — смущаюсь я.

— Вы должны ехать, — говорит он, — и немедленно. Только подождите минутку.

Он бежит в юрту и потом из юрты. В руках большой узел.

— Тут немного козленка, плов, сыр, дыня, лепешки и еще...

Мы прощаемся. Клянемся зайти на обратном пути. И снова едем.

А вот и море. Оно показалось справа. Тоненькая голубая полоска. В желтой горячей пустыне.

Дорога подбирается к морю. Действительно, море! Того берега не видать. Барашки.

Мы едем по берегу моря...

## День Военно-Морского Флота

Наверно, жители города очень обрадовались, когда стали справлять День Военно-Морского Флота с полным основанием. Еще бы, свое море! Правда, пресное. Но волны ходят в нем настоящие. И бывают штормы. И того берега не видать.

В парк культуры и отдыха на берегу моря съехался весь город.

Третий день, но программа еще не исчерпана.

Парк — это та же пустыня. Ни травинки. Лес фанеры. Будочки, ларечки. И крупные сооружения — рестораны — на суше и на море, всего — два. И аллеи фанерных щитов. Благодаря им вы можете узнать, что вам есть-пить, курить, как обращаться с зелеными насаждениями, как не ходить по траве... Вы узнаете историю нашего флота, историю развития области и перспективы

развития, и план развития парка культуры и отдыха в ближайшие три года.

Пока зелени нет. Но не все сразу. Будет. Великое слово!

По территории парка разгуливают толпы голых людей. Чрезвычайно популярны тельняшки.

Часть купается.

Мы поставили мотоцикл в огромное стадо машин. Такое у нас бывает перед стадионом во время матча. Гурам и Мурад увидели тельняшки и загорелись.

— Сейчас мы пойдем за тельняшками, — сказал Мурад.

— Тут есть специальный ларек, — сказал Гурам.

Действительно, была специальная будочка, и ничем, кроме тельняшек и тубетеек, не торговала. Шла бойкая торговля. Узбеки брали тельняшки, русские — тубетейки.

Гурам и Мурад были крайне эффектны в своих обновках. Они сновали по парку в необычайном возбуждении и таскали меня за собой.

— Мы должны тебе все показать...

— Сначала покажем ему тир, — сказал Гурам.

— Нет, цирк, — сказал Мурад.

— Нет, тир!

— Нет, цирк!

— Слушай, — сказал мне Гурам, — ну скажи ему, что ты хочешь сначала в тир...

— Он хочет в цирк! — вскричал Мурад.

— Ну скажи, — сказали Гурам и Мурад, — куда ты хочешь сначала, в тир или в цирк?

— Мне все равно, — сказал я.

— Постой, постой, ты нас не так понял, — сказал Гурам.

— Ты не так сказал, — подхватил Мурад, — ты хотел сказать, что ты хочешь в цирк.

Был цирк, Мурад был вне себя от восторга. Был тир, и вне себя был Гурам: он попадал, мазал, кричал, что он мастер спорта, ссорился из-за винтовки.

Но это было не все.

По парку ходил голый человек в полосатых трусиках и кричал в рупор:

— Экскурсия на тот берег! Прогулки по морю. Про-

гулка по тому берегу. Возвращение обратно. Желающие, спешите!

— Сейчас мы поедem на тот берег! — сказал Гурам.

— Мы поедem по нашему морю...

— На этом большом теплоходе...

Меня повлекли к кассе. Гурам и Мурад оттеснили желающих.

— Пропустите, пропустите! Он не видел того берега, — предъявляли они меня. — Он вообще ничего не видел.

Маленький буксирчик запыхтел и отчалил.

Я стоял придавленный к борту. Команда каким-то образом порхала над головами.

— Плясать? Плясать! — закричали за моей спиной.

Раздался круг. Это я почувствовал по тому, как врезался в меня поручень. Такая шишечка.

— Блоп! Блоп! — хлопали ладоши.

Я не мог повернуться, чтобы посмотреть, как пляшут. Мои проводники были где-то в другом конце. И теперь я спокойно плевал за борт и предавался грустным мыслям о туризме. Плевков быстро убегал назад.

— Сниматься? Сниматься! — закричали голоса.

На трубе висел фотограф. Сложная, как акробатическая пирамида, выросла на корме группа.

— Петь? Петь! — закричали голоса.

— Причал! — орал капитан в рупор.

Экскурсанты высадились на берег. Я осмотрелся. Здесь была дикая природа. Не было ни будочек, ни щитов. Была голая пустыня.

Ко мне подошли Гурам и Мурад.

— Здорово? — спросили они.

— Здорово! — восхищенно сказал я.

Тут обнаружилось, что никто ничего не захватил с собой: все думали, что тут будет ресторан.

Заспешили обратно.

Когда мы снова очутились в парке, Мурад сказал:

— Теперь — бал-маскарад!

Под большим тентом толпились люди. С краю приютился оркестр.

— Начинаем наш костюмированный бал-маскарад! — сказал длинноусый человек и снял усы, как пенсне.

Мы тут же потерялись.

...Наконец, покрасневшиеся и запыхавшиеся, Гурам

и Мурад отыскиали меня. И мы съели все, воздавая должное нашему замечательному другу.

Потом мы гнали по ночной пустыне. Тянуло свежестью и прохладой.

Вот это день! Мы ехали довольные и усталые.

## ОДНА СТРАНА

### Что лучше, Ленинабад или Фергана?

Никогда я не слышал, чтобы человек так смеялся! Это было на пути в Азию. Курящие собирались в тамбуре. Приближение родных мест определяло тему разговора.

— У нас в Намангане...

— А у нас в Ташкенте...

— А вот у нас в Канибадаме...

Люди возвращаются в родные места. Они и говорят. А едущие из родных мест — в командировку, в гости — прислушиваются. И я прислушиваюсь.

Один — очень симпатичный, большой и толстый узбек, с седым бобриком волос, флегматичного вида. Другой — противоположный ему...

Большой сказал:

— У нас в Фергане...

— В Фергане?.. Ну, что у вас в Фергане? — напал противоположный.

— Ты что... Фергана знаешь какой город!

— Что ваша Фергана перед Ленинабадом?!

— У-ах-ха-ха-ха-ха! — захлебнулся большой. — Ленинабад лучше?

— Вот и ты говоришь, что лучше.

— Я? И-иг-ги-ги-ги-ги! Я говорю?.. И-и-ог-го-го-го-го-го!

— А что у вас! Ишаки...

— Ишаки... — Большой словно не мог уже больше, так его рассмешил этот глупый человек. — Пш-ш-ш... Вш-ш-ш... — выпустил он воздух, как пар из паровоза. — Ишаки?.. Ох-гу! Ух-го! — ухал он. — А у вас... — его душило, перехватывало дыхание. — А у вас текстильный комбинат есть?

— А у вас такси есть?

— У нас?? Хо-хо-хо...

— Кишлак — твоя Фергана...

— А твой Ленинабад... твой Ленинабад... твой... — Большой так и не мог сказать. Его выворачивало, его разрывало, с ним могло быть плохо.

Противоположный почти уже сдался. Он нападал, он говорил, но он ничего не мог поделать с противником: он не умел так великолепно смеяться... Наконец он выцарапал еще:

— У нас Сырдарья, а у вас так... арык жалкий.

— Он говорит, арык... Уох-хох! Уох-хоу-хох! — лаял большой. — Фьить-фьить! — свистнуло в нем. — Он говорит, Сырдарья... У-а-ах... Буль-бульк! — булькнуло в нем. — Арык?..

Тут нужен был магнитофон, чтобы записать пять минут самого искреннего, самого убежденного, самого заразительного и самого разнообразного смеха, на который был способен только этот великий человек.

Хохотал весь тамбур.

И действительно, что лучше, Ленинабад или Фергана?..

## **Боекомплект**

Последнее время я все думаю об одном: очень мало может вместить в себя один человек. Чтобы по-настоящему, глубоко и вечно. Что дано человеку в боекомплект всего по одному:

одна страна,  
один язык,  
один город,  
одно дело,  
один любимый человек.

Можно жить повсюду, и изучать языки, и браться за многие и разные дела, и знать много людей... Но всегда, через всю жизнь проходит что-то одно, а остальное — второстепенное. Наверно, бывает, приходит и другое. Но тогда уходит первое. Вместе не бывает.

Очень редко дается человеку увидеть родину. Почувствовать ее рядом. К ней ведь мы тоже привыкаем и не замечаем. А она ведь всегда рядом, эта одна-единственная страна.



## Где родина?

Я тоскую по родным местам. Я — русский. Но вот в смысле природы я тоскую по Карелии. Детство... Родные имена: Вуокса, Метсала, Линтула, Сайя-йоки — чужой язык. А самой России — средней полосы — я не знаю вовсе. Пока не успел. Но от этого я кажусь себе не менее русским. А вот в Средней Азии есть русские, мои сверстники, они снега не видели, травы, озер, леса, грибов, ягод не видели... И они тоже русские, и никакие другие.

Когда я ехал в Азию, я стремился туда, и за окном вагона, от станции до станции, все явственней проступали приметы Азии. А когда ехал обратно, проступали приметы России. И Россия началась много раньше Оренбурга. Так мне хотелось.

И вот я думаю.

А если бы долго плутал по всему свету, а потом возвращался домой, — может, Россия началась бы в Кушке?

А если бы вернулся с Марса и приземлился в Африке...

Где кончаются и где начинаются родные места?

## Слово против туризма

Ничего не имею против туризма — спорта. Спорт есть спорт. К тому же это трудно. А раз трудно, значит, человек соединяется с природой. Объединяется с ней.

Но вот меня всегда удивляло, как это можно приехать осматривать что-либо. В три дня турист опрыгает все театры, музеи, достопримечательности — обскочет столько, сколько ты, старожил, не видел за всю свою жизнь здесь. Но разве станет турист ленинградцем или москвичом оттого, что успел все? Разве он сможет понять Ленинград, как ленинградец, и Москву, как москвич? По-моему, они не видят ровным счетом ничего. Вернее, все туристы видят одно и то же, будь это Америка или Африка, Париж или Рим, видят захватанные миллионами посторонних глаз случайные вещи.

А чтобы что-нибудь увидеть, надо жить в каждом новом месте жизнью тех, кто там живет. Лучше всего — работать. Сразу включиться в режим жизни обыкновен-

ных людей. И даже если у вас в распоряжении три дня, и то их можно прожить со всеми. Главное, не спешить все увидеть. Раньше, чем вам будет положено, вы все равно ничего не увидите.

Я не говорю: не надо ездить. Не говорю: сидите на месте. Всем известно — путешествие расширяет кругозор. Это верно. Но заключается это расширение в том, что шире видишь родину.

Смысл путешествия в том, что вернешься домой — кто вернется...

Люди путешествуют и возвращаются.

## ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ

### I

Вот и кончились четыре месяца.

Я привык к природе, климату, людям. Мне уже не скучно. И я подумал: а не остаться ли мне еще на месяц? И уже совсем было склонился к этому. Даже написал об этом домой. Но вот подошел срок: я могу уехать, но могу и остаться. И вдруг пропадает всякая ко всему охота — скорей бы домой!

### II

Странно, особенно трудно расставаться с теми, с кем чаще всего собачился и ссорился за эти четыре месяца, кто долго не принимал тебя всерьез, долго не открывался тебе. И им грустнее всех расставаться с тобой.

— Привыкли мы к тебе... Жалко, что уезжаешь.

Это сказал Саня. Мы долго были с ним не в ладах. Даже дрались.

— До свидания! Пиши! Приезжай снова...

Машина трогается. Я стою в кузове и машу рукой. Впереди та же дорога, изученная по субботам и понедельникам.

В последний раз увижу двух лошадей и поле люцерны...

До свидания.

А с теми, с кем с самого начала установились ровные, ласковые, в чем-то равнодушные отношения, с теми расстаться было не так трудно.

Мало я тут пробыл и уже многое хотел бы захватить с собой...

### III

Интересно, что я везу с собой? В буквальном смысле: чем набит мой рюкзак?.. Оказывается, все, что я приобрел здесь, можно было купить и в Ленинграде. Просто здесь это напоминало о нем, о доме. И постепенно этим набился рюкзак. В основном это книги.

### IV

Все-таки я не так уж спешил домой. Я сделал лишнюю пересадку, чтобы посмотреть Ташкент. Рассчитывал пробыть там три дня.

Я знал, что в Ташкент приехал один мой хороший ленинградский знакомый. Но я не собирался идти к нему. Потому что и так мало времени, а надо все осмотреть, потому что он все равно через месяц вернется в Ленинград и я его там увижу, и, наконец, потому, что мне не к чему расспрашивать его о Ленинграде, раз я сам в нем буду меньше чем через неделю.

Ташкент... прекрасный город! Но вдруг мне стало нестерпимо скучно быть в нем чужим, глазеть и ничего не делать. Пусто как-то.

И я пришел к своему знакомому, и мы целый день, не вылезая, проговорили о Ленинграде, о знакомых, о себе. А вечером я уехал из Ташкента, не пробыв в нем и суток.

### V

Едешь, едешь, едешь, едешь. И вдруг проснешься, Была ночь — стало утро. Посмотришь в окно. Речка, луг, роща, проселок. Столбы, столбы. Опять речка, роща...

Избы. Луг. Дорога по лугу. Перековыляют дорогу гуси. И какой-то город, Ряжск или Мшанск...

Другое дело.

А на станциях нет людей в халатах и нету фруктов. Слава богу, нету фруктов! Бабы в платочках выносят на перрон горячую картошку, соленые грибы, соленые огурцы, морошку, чернику...

Как хорошо.

Едешь, едешь, едешь, едешь. И вдруг проснешься:

— ЛЕНИНГРАД!

## ЭПИЛОГ

Вернувшись из путешествия, он впал в глубокую тоску по бескрайним просторам своих пустынь. Жизнь в имении была ему постыла. Он уходил с ружьем на целый день в лес, чтобы как можно больше устать и вернуться прямо ко сну. Тюфяк, на котором спал, он набил хвостами яков.

*Из книги о Пржевальском*

Странно сознавать себя одновременно домоседом и бродягой. Когда я уезжаю, мне кажется, я прирожденный домосед и зря все это затеял. Разлука приводит к переоценке ценностей. Все дороже становится то, что оставил. Вернее, не переоценка, а возвращение ценности. Только бы вернуться... Теперь-то я все понял и оценил. И знаю, что мне всего дороже и что мне нужно.

И вот я дома.

И уже совсем не понимаю, для чего меня тянет из дому... Для того ли, чтобы увидеть что-то новое, или для того, чтобы еще раз расстаться со всем родным, чтобы оценить его еще раз и полюбить еще больше?

Я уезжал из дому и все оставил дома. И не мог забыть то, что оставил. И стремился домой.

А теперь что-то оставил там, в Азии...

Это, конечно, наивно и глупо, но вчера произошел такой случай: я захотел зеленого чая.

— Есть у вас зеленый чай? — спросил я в магазине, в полной уверенности, что его не может быть.

Оказалось — есть.

Вот и все. Я пью дома зеленый чай. Удивляю родственников: как можно пить такую гадость?..

— Чудаки, — говорю я, — вы просто не понимаете, насколько он незаменим в жару. Только им и можно напиться!

— Какая же тут жара... — говорят они.

Вот и все.

*1960*



# *ПУТЕШЕСТВИЕ К ДРУГУ ДЕТСТВА*

*Наша  
биография*

---

*Г. Штейнбергу*

---

Путешествие — старое слово. Все называется теперь иначе: командировка, поездка, экскурсия. Предотъездные волнения... Беготня по служебным коридорам — бумажки, подписи, и командировочные в кармане наконец. Прощание со случайно встреченным, тоже бегущим, убегающим приятелем — погребок, еще погребок... Возвращение домой — настороженная жена, а шапка у тебя, как ты вдруг обнаруживаешь в зеркале, глупо съехала набок, и глаза блестят и бегают... Да вот, уезжаю... завтра... вот и билет, посмотри... да нет же, ничего я не истратил!..

И ты едешь, летишь. Десять тысяч километров — и снова бегаешь по таким же коридорам с такими же табличками, знакомишься, знакомишься, трясешь руки, уши болят от улыбок. Летишь в соседний город и на обратном пути лениво спрашиваешь: какое тут расстояние между этими городами, сколько тут километров? Оказывается — восемьсот. А тебе казалось, ты выехал за город, скажем в Комарово.

Неделя, другая — и опять те же десять тысяч километров. Вылетаешь утром и прилетаешь утром. В тот же день. Стоп, приехали. Пиши авансовый отчет.

Две недели, двадцать пять тысяч километров — какое путешествие! — командировка. А главные люди для тебя — брезгливые бухгалтера и равнодушные кассиры: мало ли вас ездит! Ездят все и ездят.



## Старое слово

И все-таки в данном случае это то слово: путешествие! Оно длилось двадцать пять лет, двадцать пять раз по двадцать пять тысяч километров — летных, железнодорожных, в кузове и пешком. Мы сбрили двадцать пять километров бороды и снова ею обросли. Мы седеем, лысеем и вставляем зубы. «Таковыми ли мы были в ваши годы! — говорят нам. — Вот мой дед, девяносто лет, все зубы целы и ни одного седого волоса. И помер-то случайно: надорвался, катя жернов из деревни в районный центр». А мы все возвращаемся на родные пороги, топчемся, отряхивая снежок, и смущаемся понемногу: что это — сердце? А мы обнимаем, целуем и таем от счастья.

Конечно же, путешествие! Вся жизнь.

А с меня уже пуговицы сыплются.

«Очень вы нам нравитесь, — сказали мне в редакции, — вот мы вас и вызвали». — «Да, — говорю, — как приятно!» — «Вот вы такой-то и такой-то, — говорят мне, — и диалог у вас, и пейзаж — весь вы какой-то такой, какой нам нужен. Пора вам сделать что-нибудь и для нас...» Вот сижу я в мягком кресле, киваю, смущаюсь, пытаюсь казаться скромным — а я уже не я, мягкий, как кресло: растаял. «Вас должна заинтересовать, — говорят тогда мне, — такая злободневная тема, как строительство коровников без применения...» — «Да, нет, знаете, как-то, — говорю я, чужь трезвея, — это очень, конечно, но я, вы понимаете...» — «Понимаю, — говорят мне, — вам это неблизко. Ну а вот, например, проблема экономии кожи при закройке обуви, помощь ученых в этом вопросе...» — «Нет, — говорю я тверже, — я ведь ничего в этом не смыслю». — «Это и не требуется, — говорят мне, — просто вы со свойственной вам...» — «Нет, — говорю я твердо. — У вас есть другие люди, которые имеют в этом опыт и прекрасно справятся, а какое отношение имеет то, что я делаю, к тому, что вы предлагаете?» — «Ах, вот вы о чем... — сказали мне. — Вы, наверно, думаете, что мы собираемся как-то вас ограничить, изменить, принудить? Боже упаси! Нас как раз интересует сохранение вашей творческой индивидуальности в том, что вы для нас напишете, именно это нас и привлекает,

иначе бы мы просто послали Сидорова или Петрова. Если ваша манера не сохранится в материале, то он нам, говоря по чести, и не нужен. Мы лучше тогда Сидорова или Петрова пошлем — он, по крайней мере, справится. А мы именно хотим, чтобы вы поехали».

**Дорогой мой  
положительный**

«Нам нужен свежий, новый остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере...» — «Да ведь материал-то к манере небезразличен!» — восклицаю я.

«Не совсем вас понимаю, — говорят мне, — как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. А что вы так умеете, как вы умеете, то это мы и так знаем. А тут может получиться приятная для всех неожиданность...» — «Вот именно, — говорю я, слабея, — неожиданность!»

Я кошусь в зеркало и вижу, как на мне вспыхивают свежие седые волоски. «Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» — «У меня все положительные... — скучно говорю я. — На отрицательных у меня сил не хватает». — «Да нет, — говорят мне, — я про других положительных говорю. Герои, маяки... Неужели вас это не трогает?» — «Не знаю, — говорю. — Только героизм, по-моему, не черта, а проявление, в обстоятельствах... А так все люди обыкновенные. Живут — тем и герои». — «Да, — говорят мне, — интересная мысль... Я вас, кажется, не всегда понимаю... Ну так как же насчет какого-нибудь героя?»

«Есть! — вдруг кричу я с радостью и отчаянием. — Есть один! Как же я забыл! Знаю одного, хорошо знаю. С детства. Вот уж положительный, вот уж герой! В вулканы лазают. Каждый год себе что-нибудь ломает: руку, ногу, шею. И никто его, заметьте, не гонит — сам лезет, совершенно бескорыстно, в самый кратер. Не человек — символ!»

«А вы говорили...» — И мне улыбаются виноватой улыбкой.

И я уже лечу. Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло! Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазаешь? Все-таки я очень тебе рад. Сто лет не виделся. И когда бы еще свиделся? И вот вдруг, ни с того ни с сего... О тебе

уже столько писали! Теперь мой черед. Напишу я о тебе, дорогой мой положительный, вещь легкую такую, пузырячатую, словно в тонкий стакан нарзану налили.

Уже есть, что вспомнить...

Помнишь, как тебе исполнилось семнадцать... А дальше... Дальше? Пошло, поехало! Оглянулся — двадцать. Оглянулся — двадцать семь. Лермонтовский рубеж. И оказывается — что-то уже сделано, надо задумываться над тем, что ты не ребенок. Вдруг замечаешь, к примеру, что вот подходит автобус, и если ты не побежишь, то он отойдет, и если раньше ты обязательно побежал бы — к спеху, не к спеху, побежал бы — и вскочил бы и повис, то теперь идешь себе, и автобус сейчас отойдет — а не бежишь. Он отойдет у тебя под носом, а ты чинно встанешь первым в очереди и начнешь терпеливо, без озлобления, ждать следующего. И не то чтобы бегать уже разучился или врачи запретили. Просто вдруг неохота бежать и поспевать на этот автобус, можно и подождать и подумать о чем-то незаметно.

**Знакомые,  
знакомые...** Встретишь приятеля, школьного, старого, на одной парте сидели, — и говорить не о чем. Переберешь, кого видел, — и окажется: никого не видел. Ну, как ты там? Да ничего. Слышал, пописываешь? Да вот, грешу. И разошлись. И стыдно чего-то.

Не так давно одного из нашего класса встретил — Костю З. Он только срок кончил: бродил по городу и вдыхал родной воздух. Разговорились. Все он такой же, не изменился. Посерел, поредел как-то с лица — а так то же самое. И никак не представить мне было, что он — преступник. Все его маленьким видел: все тот же легкомысленный, неспособный мальчик — не медалист. Костя поразил меня одной историей. Я тогда чуть ли не впервые задумался, что мы все-таки уже не дети. «Представляешь, — говорит, — вижу я, в садике две девочки симпатичные на скамеечке сидят. Ну, подсаживаюсь. То да се. А они — даже не реагируют. Я и так и этак. А они — словно и нет меня. А я ведь так ничего себе, и с лица и в разговоре. И девочки не то чтобы очень строгие на вид. Да что же это такое? — думаю. Попробовал еще —

никакого результата. Тут я не выдержал и говорю: да что же это, девочки? Невежливо даже как-то. А они мне: «А нам неинтересно — ты уже старик». Старик, а? Каково?!» Костю вскоре опять посадили, а я эту его историю частенько вспоминаю и себя одергиваю.

И забавляешься домашней статистикой. Большие числа — большая точность, малые числа — точность, конечно, поменьше. Но уже и не так мало людей прошло через жизнь — можно их вспомнить и обнаружить статистические закономерности. Процентовка грубая — в бюллетене ее не опубликуешь. Но вот окончили лет десять назад школу двадцать пять человек: два кандидата наук, пять офицеров, один секретарь райкома комсомола, один лесник, один даже в сумасшедшем доме... Остальные выпали из поля зрения, но тоже почти все специалисты, почти все женатые — способный выпуск, рекордное число медалистов (десять, что ли?). И еще один — знаменитый человек, во всех газетах прописан, начальник экспедиции, изучает вулканы — мой друг. И я.

Разные получились из нас люди. Даже не верится. Действительно ли я сидел на одной парте с этим человеком? Скажешь об этом кому-нибудь — можешь попасть в неловкое положение. Подумают, врешь. Будто, если он такой знаменитый, то он и ребенком не был, и в школу не ходил, и никто с ним за одной партой не сидел...

И все-таки это он. Мы сидели на одной парте. Более того, мы ходили в один и тот же детский сад. Быть может, даже выходили на прогулку в одной паре. Что пишут теперь о моем друге?

дорогу осилит идущий

шагающий в бурю

идущие по облакам

робинзоны штурмуют огненное логово

вторгаясь в огненное подземелье

в пасти белого дракона

схватка у логова дьявола

покорители огнедышащих гор

пока дремлют вулканы

к тайнам дымящихся гор

вулканы не молчат

пульс вулкана

вулкан проснулся

на краю пропасти

карлик становится великаном

поверженный вулкан

Это еще только заголовки! Причем далеко не все.

Как много сделано, если верить газетам... А если сделано так много, то сколько же прошло времени? Тоже много? И с другой стороны, все, конечно же, только начинается. Как всегда. Так сколько же нам лет на самом деле? Сколько же мне лет, если мой друг уже в вулканы лазают?

**Знакомые,  
знакомые...**

Старик — не старик, конечно. Очень еще молодой даже. Но вот забавно... Десять лет назад — редко, когда знакомого встретишь. Бродишь, бродишь — людей много, а знакомых нет. И всем в лица вглядываешься. Разные люди, незнакомые — интересно. Теперь бредешь, весь в себе, никого и не видишь вокруг — окликают. Ты ли это? Сколько зим! Да, это я... Подумать только...

Нынче выйдешь на улицу — и все знакомые, знакомые. И незнакомые словно бы уже тысячу лет в твоих незнакомых ходят, так что как бы и тоже знакомые. Зайдешь в кино — обязательно знакомый, в ресторан — знакомый, в трамвай — знакомый. И где только с ними виделся? Когда успел? С тем — в экспедиции, с этим — в армии, с тем — учился (в школе, техникуме, институте — нужное подчеркнуть), а вот с этим — в отделение, как-то раз было, попали... Идешь по пляжу — подумать только, вот этот маленький, седенький, пузатенький — кто бы это мог быть? Отчего это он на меня так испуганно смотрит? Да это же капитан Бебешев, замполка по хозяйству! Он меня как-то на губу ни за что загнал. Просто ненавидели мы друг друга. «Вот встречу на гражданке!..» — грозился я. И встретил наконец. И словно озарение и радость: «Ба, Николай Васильевич! Вот неожиданность!» А он, дурак, пугается: то ли не узнает, то ли узнавать не хочет. Признал-таки. Боится он, что ли? Вот чудак! Да я же люблю его в эту минуту. И не помню зла. А он все жмется. «Молодец, молодец... — говорит. — А вот я уже в отставке, — говорит. — Тут за городом и живу. Домик себе справил...»

Боже, думаешь... И этого человечка я ненавидел, и боялся, и зависел от него? И времени-то прошло почти ничего — лет семь... И уйду. А он стоит, седенький, пузатенький. Жена толстая. И вокруг белоголовые дет-

ки ползают. А ведь зверь был! Уж как его не любили. Чуть в тюрьму меня не загнал... Что ж поделывать, человек, не трону я тебя, рад я тебе — память все-таки, мое прошлое — не твое...

Что говорить, новых знакомых уже и сосчитывать трудно, и словно не замечаешь их. Словно бы познакомился — то это еще и не познакомился. На следующий день и не заметишь и не вспомнишь, и тебя не заметят, не вспомнят. Мало ли кто кому руку за день подает...

Знакомых много, а друзья... где они?

#### КТО БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ?

...В течение двух минут три угловых удара! Темп игры пределен. На скользком от дождя поле все время надо быть на чеку. В игру вступает вратарь «Буревестника» Генрих Ш. Великолепно взяв верхний мяч, он спасает команду от, казалось бы, неминуемого гола. В игре обозначается перелом. И вот уже атакует «Буревестник». Гол! Еще гол! Теперь ясно, кто чемпион города по футболу...

Господи, кто чемпион? Конечно же, мой друг Генрих. Кто же еще.

Как он теперь выглядит?

...Белой июньской ночью по гранитной набережной Невы шел человек. Хотя он, несомненно, о чем-то глубоко задумался, шаги его были легкими, уверенными, выдавали хорошо тренированного спортсмена. Если бы автор в предыдущих главах, пытаясь передать стремительный ход событий, не опустил важное описание портретов, читатель сейчас по высокой, худощавой, но крепко сбитой фигуре, по узкому тонкому лицу с острым углом подбородка и по большим, немного подернутым влагой глазам без труда узнал бы Генриха...

*(«В пасти белого дьявола», газетный очерк)*

Узнаю ли я тебя без труда? По глазам, подернутым влагой? Когда я видел тебя в последний раз?

Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах — и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех — никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось: что там? Не случилось ли чего? ПЯТНИЦУ ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ БУДУ ЖДАТЬ ФИНЛЯНДСКОМ ВОКЗАЛЕ ГЕНРИХ. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу?..

**Взрослые люди** Я, конечно, прибыл. Озираюсь. Вдруг меня хватают и тащат. Генрих! Боже мой... Но мне не дают ни повоскличать, ни поохать. Меня впахивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места — он уже знает куда. «Нельзя терять ни минуты», — говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности, и я подчиняюсь.

Из суровых недомолвок и отдельно оброненных мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих же будет моим братом, конечно старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на два дня, и поэтому мне надо скорее, так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, по ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки, и я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого, и тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит, — экзамен по языку.

Так-то так. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно — ее хорошие знакомые, должна была подобрать экзаменатора подороже.

Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня, в свое время, тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые, дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может даже рухнуть. О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. «Так что придется тебе самому сдавать», — говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью. «Ну что ж, — сказал он, — только как я объясню все это ЕИ (он имел в виду доцентшу), она ведь нас ждет, чтобы представить

меня, то есть тебя, экзаменатору». — «Придется открыться, — говорю я, — тут уж ничего не поделаешь». — «Да...» — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит на меня широко распахнутыми восторженными глазами: «Так это вы?!» — «Я...» — говорю я. Почему она так смотрит? Может, она меня читала и ей нравится, как я пишу? Я надуваюсь и краснею. Она проникновенно жмет мне руку. «Вот вы какой!» Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимаю ей руку, называю себя по имени. Чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть. Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы непохожи...» — говорит она. Тут я начинаю понимать: Генрих ничего ей не сказал и сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем. «Что же ты!» — дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания, — говорит Генрих и не краснеет, — он только с самолета, одичал там несколько на вулканах...» — «Ну как там погода?» — говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. А я-то, дурак, растекся — это же она на Генриха так смотрит, а не на меня, потому что я — Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрашно спускающийся в жерла вулканов, русский Тазиев, Вулканавт-1. А я-то... «Ничего, — говорю, — погода». — «Какой-то он у вас странный...» — говорит она Генриху. «Он всегда такой», — не задумываясь, отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным, все работает на образ и, наверно, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий нравиться им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь, и всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся благодаря такому-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам.

И так мы все ближе подходим к моему старому учителю, к нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но, на счастье, он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня послед-



ний восторженный взгляд. «Что же ты! — зло шепчу я Генриху. — Почему же ты ей не сказал?» — «А не смог...» — спокойно говорит Генрих. «Ты все на свете можешь, а такого пустяка не можешь?» Генрих пожал плечами: «Все-то я могу...»

Появился мой учитель: как всегда, галстук набоку, машет толстенным портфелем, и весь не то прыгает, не то летит. А за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждают добряка — он, по-видимому, последний и верный шанс на пересдачу. Мы с ним всплескиваем, вскрикиваем, обнимаемся. Я представляю ему Генриха. Учитель устало отмахивается от наседающих, не перестających ни на секунду что-то скучно и однотонно лепетать студентов; они суют ему какие-то бумажки; близорукие его глаза, кажущиеся махонькими под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся, и он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю...» А я шепчу ему не по-русски, какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый, какие у него небывалые обстоятельства (послезавтра в вулкан лезть), что ему надо непременно сегодня сдать, и я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то канючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать.

Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке, — говорю я, возвращаясь к Генриху, — сдашь». — «Технического-то я не боюсь, а вот политического текста боюсь, — говорит Генрих. — Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты: у нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «Нью-Таймс», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит — о, бедный мой учитель! «Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала». — «Нев тимес», — невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен.

Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» — без конца спрашивает он. Мне страшно за него, ему — нет. Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя.

Но это еще не все. Мы видим, как по коридору к нам приближается та милая женщина, что меня, то есть Генриха, протезирует в этом темном деле. И прежде чем я успеваю остолбенеть, Генрих хватает меня и куда-то тащит. Но тут сразу тупик, и лишь налево закуток, и дверь заколочена. Две девушки, красивые, стоят и курят и нас снисходительно обмеривают. И все это в двух шагах от кабинета моего учителя. И мы слышим: «Да, я уже знаю, — говорит мой учитель. — Нет, в очках — это мой бывший ученик, он писатель, я его очень хорошо знаю, он мне рассказал про своего друга... Нет, нет, не брата, а друга. Ну да, вулканолога, он туда лазает... Да нет же, в очках — это ученик мой... У меня уже голова кружится... Ну да, я, наверно, путаю. Да, конечно же, мой ученик без очков, а тот, вулканолог, — в очках. Так они братья — скажите, пожалуйста...» Мы слышим, как к нам приближается цокот ее каблучков, Генрих запихивает меня за дверь и запихивается следом сам. Мы, стало быть, великий вулканолог и писатель, взрослые люди, прячемся от маленькой женщины. Я-то уже давно чувствую себя снова в пионерлагере, и вот мы с Генрихом убегаем от «воспиталки». Она уверенно приближается к нам и заглядывает за дверь: «Вот вы где? Что же вы от меня прячетесь? Ну, все в порядке», — говорит она. И снова смотрит на меня с восхищением: «Какой вы странный!» Странный, подумать только...

Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» — спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории. «Почему же удовлетворительно? — невозможно сказал Генрих. — Хорошо». — «Хорошо?!» — изумился я. «Жаль, не отлично», — сказал Генрих.

Я возвращался тогда домой разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность.

Друзей мало, знакомых — тьма.

Вот я лечу к тебе в самолете, через всю страну, лечу к другу детства, давно я тебя не видел. Лечу и встречаю знакомых. Выхожу в Омске — знакомый. Он — туда, а

**Знакомые,  
знакомые...**

я — оттуда. Или наоборот. Он — оттуда, а я — туда. Тоже и с ним давно не виделись. А когда-то вместе ели, спали, пили, работали — не разлей вода. Пеклись под жарким нерусским небом и пили одну и ту же теплую рыжую воду из общего в маршруте котелка... Вот тогда-то он, оказывается, и облысел. Все голову перед маршрутом под струйку подставлял, родничок там такой был, а вода радиоактивной оказалась. Они потом там крупное месторождение открыли. Месторождение стоило ему волос, но он говорит, что оно их стоит. Ему виднее. Вот мы снова и встретились. Встретились, выпили, разлетелись. Он — туда, а я — туда. В разные стороны.

И в Иркутске — знакомый. Мы с ним в Иркутске же и познакомились года три назад. Вместе ночь в аэропорту коротали. Выпивали и ждали погоды. Он и теперь вторые сутки ждет. И вот мне вдруг кажется, что то ли времени за эти три года никакого не прошло, а все вчера было и сегодня продолжается, то ли три года эти прошли, а только так и не дождался он за эти три года погоды, чтобы вылететь, и так и сидит все в Иркутском аэропорту, а командировочные все тают и тают. И действительно, девочку в справочном он зовет Катенькой, и она улыбается ему как своему, а швейцара в ресторане — Петенькой, голубчиком, и тот пропускает его вне всякой очереди.

Да что говорить, и в Хабаровске тоже нашелся знакомый, не такой близкий, я его не узнал даже, это он меня. Но все же — знакомый. Словно попал я в некое птичье племя, перелетное время. И все летаю, летаю. Туда, сюда. И обратно. Зачем, куда? Туда ли я лечу или обратно?.. Вдруг в самолете я легко представил, что во все я не из дому лечу, а наоборот — домой возвращаюсь. Полная иллюзия. Словно летают все время одни и те же люди, и перезнакомишься один раз в самолете — потом всю жизнь встречать будешь. И бортпроводница входит в салон и говорит: тут уже все не в первый раз летят, так я ничего объяснять не буду, вы все и без меня знаете, — и улыбается как своим. А почему бы тут, думаю, и не быть новичку, впервые взлетающему? А нет, говорят. Такая авиалиния.

Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобранные — целая пачка, — вживаюсь, так сказать, в образ.

### Седьмой подвиг Генриха

...Вулканолог Коля Безбородов огорченно махнул рукой:

— Неважнецкие у нас дела. Снова Генрих в больнице.

— Вулкан?

— Не грипп же, — ответил он почти обиженно. — Я вот отделался сравнительно легко, а у Генриха перелом руки и снова сотрясение. Врачи говорят, что до Нового года оправится.

Не везет начальнику отряда вулканологов Генриху Ш. Четвертый раз укладывают его вулканы в постель. Впервые это было еще несколько лет назад, когда он приехал сюда студентом-практикантом: тяжелые переломы рук и ног, сотрясение мозга.

— Никаких вулканов больше, — сказала тогда мама. — Из дому ни шагу.

— Хватит тебе и обычной геологии, — сказал папа. — Без камнепадов и извержений.

А ему обычной геологии было мало. Он все-таки закончил второй факультет — геофизический и все-таки отправился к вулканам. Не всегда же они одолевать будут, когда-нибудь и его черед придет одержать верх.

— Пойдем, к Новому году успеем вернуться, — сказал Генрих. — Такой случай упустить — век не простишь себе.

И они пошли. По гладкому, точно отшлифованному старательной рукой скульптора конусу и летом взбираться нелегко. Они вгрызались в ледяную гору, чтобы продвинуться вверх на шаг, и каждый шаг грозил гибелью. Но в кратере их, возможно, ждали данные, бесценные для науки, и они снова вгрызались в лед и поднимались еще на шаг, еще на шаг... Генрих повредил руку. Опухоль быстро росла, боль адская. А они шли, они добрались до кратера, спустились в раскаленное жерло, собрали материал.

Казалось, что все кончится благополучно, но небо вдруг заволочило тяжелыми тучами, и штормовой ветер обрушил на трехкилометровую сопку шквал снега. Пурга оглушала, слепила, валила с ног. Хотелось лечь в снег и больше не вставать. Но они знали, что именно этого делать нельзя. Они шли наугад, пробивая лбами упругую стену из снега и ветра. Они потеряли счет времени. Только потом, в самый канун Нового года, когда у подножия сопки их разыскал наконец вертолет, они узнали, что пурга длилась около трех суток. Они были счастливы. Знаете, отчего? Оттого, что успели послать мамам и папам новогодние поздравительные телеграммы. Раз есть телеграмма, значит, все благополучно, никто не станет уговаривать бросить вулканологию. Правда, и тогда врачам пришлось чинить Генриху руку. Ну, да ведь на то и вулканы, чтобы ломать руки, а врачи — чтобы чинить.

*(Из газетного очерка «Шагающий в бурю»,  
под рубрикой «Черты советского характера»)*

Да... Я вот, наверно, сидел в это время дома и ссорился с женой, она хотела куда-нибудь пойти на Новый год, а я — остаться дома, или наоборот. А он в это время пробивал лбом упругую стену из снега и ветра. Только вот что за привычка у него все себе ломать? Вулканы, понимаю. Не танцплощадка. Но ведь Генрих где угодно себе что-нибудь сломает! Например, приехал он не так давно домой отдохнуть, пришла к нему знакомая девушка, сняла с его стены винтовку и прострелила ему руку. В последний момент он успел подставить руку — и она выстрелила. Никогда ни с кем такого не бывало. Я лично уже за Генриха, когда он лезет в свой вулкан, не беспокоюсь. Я за него беспокоюсь как раз, когда он в этот свой вулкан не лезет.

Вот недавно тоже, возвращается он с научного заседания — хулиганы к девушке пристают, конечно красивой. Генрих, конечно, ввязывается в это дело. Один из хулиганов бьет его по плечу. Генрих бросается на них и, применяя бокс и самбо, укладывает всех троих, доставляет в отделение и только тут обнаруживает три ножевых в себе раны и чуть не умирает от потерянной

### **Девятый подвиг Генриха**

крови. Девушка, конечно, навещает его потом в больнице, и хулиганы наказаны. Я бы никогда этому не поверил, хотя и прочел об этом в местной газете под рубрикой «Так поступают советские люди», но столько очевидцев подтвердило мне это и сам Генрих выбрал из множества своих шрамов три и сказал, что именно так он их и получил, как описано. А уж если вспомнить детство, то таких историй хватило бы на целую книгу... Из всего множества подвигов я отобрал в памяти двенадцать характерных, и постепенно, по мере того как лечу к своему другу и останавливаюсь в пути, изложу их тут. Эту линию моего повествования я назову

#### **ДВЕНАДЦАТЬ ПОДВИГОВ ГЕНРИХА,**

ибо, как и Геракл, совершивший свой первый подвиг в колыбели, задушив, совсем еще малюткой, двух страшных змей, так и мой Генрих начал моделировать свои подвиги в самом раннем возрасте, чему я был свидетель.

И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. За его выдающимися спортивными и любовными успехами (только теперь я понимаю, что у него они мало отличались друг от друга по характеру) с замиранием, завистью и восхищением следил весь наш лагерь. На всех соревнованиях он занимал все первые места: по бегу, прыжкам и метанию гранаты. Он был капитаном нашей сборной по футболу, единственным и феноменальным ее вратарем. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети десяти лет? Один поднял двадцать пять раз, другой — тридцать семь, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял сто пятьдесят раз. Первенство мое было неоспоримо, мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением.

И тогда вперед подался Генка. «Я ПОДЫМУ ТЫЩУ ОДИН РАЗ», — сказал он. Все поняли, что Генка оскандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими, как

### **Первый подвиг Генриха**

спички, руками нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что о ТЫЩЕ ОДНОМ РАЗЕ. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На сто первом разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще пятьдесят и один раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел. Все были свидетелями ПОДВИГА. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков воодушевленный Генка довел рекорд до двухсот, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверно, равен рекордному весу Новака, он выпустил два больших слюнявых пузыря, но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения, это было бы, как говорят критики, «ненужным физиологизмом» — на него вылили не одно ведро, зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться по-

немногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность: ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит, он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в четыре раза, девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем, некрасиво открыла рот и смотрела на героя, теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжал всю ТЫЩУ ОДИН РАЗ и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался.

Это было чудо — таким я его понимаю до сего дня. Для меня это первый из ДВЕНАДЦАТИ ПОДВИГОВ ГЕНРИХА, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на полтора метра, так разозлиться на человека, перешедшего двухметровый рубеж, что сказать сдуру: а я прыгну на двадцать! — и прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо, первое чудо воли Генриха Ш., происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих вырослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе, уже почти абстрактно, так сказать из любви к искусству. И начинает теперь мерещиться, что больше всех был он неуверен в себе и слаб, иначе зачем же доказывать свою силу столь непрерывно и бесконечно?

Множество подвигов совершил Генрих в футболе — капитан дворовых, школьных, институтских, городских — всех команд, в каких ему доводилось играть. Вратарь он действительно очень хороший. Он неплохо

### **Третий, четвертый пятый подвиги Генриха**

прыгает, у него отличная реакция, но самое главное его качество — бесстрашие. Стоит только посмотреть, как легко он кладет свою голову под занесенную для удара бутсу, чтобы убедиться

в этом. Можно подумать, что ему никогда по голове не попадало, так он о ней не заботится. Но ему попадало, и часто, и еще как. Несколько раз его увозили с поля

в больницу, и он отлеживался с сотрясениями. Нормального человека такое приучает хотя бы к осторожности. Но и после самой серьезной травмы Генрих бросается под ноги с той же легкостью. Это, надо сказать, обескураживает самого грубого нападающего, и многие из футболистов, кому часто приходилось иметь дело с Генрихом, откровенно его боялись и, видя, как он опять бросается под ноги, просто отбегали поскорей в сторону, — какой там мяч! — лишь бы не попасть ему по голове. Из множества футбольных подвигов Генриха минимум три можно выделить в ранг великих, но излагать все три нет никакой возможности, тем более я не очень-то в футболе смыслю. Знаю только, что в институте, прежде чем стать выдающимся вулканологом, Генрих всерьез подумывал о том, не сменить ли ему коня и не стать ли футболистом. Ему сделали такое предложение, и он мог перейти в команду мастеров. Тут надо отдать должное родителям: папа встал стеной — и так Генрих не изменил вулканам.

К наиболее невероятным подвигам Генриха относится его прыжок с Ласточкиного гнезда в Крыму. Не знаю почему, но именно этот подвиг всегда волновал меня

### **Шестой подвиг Генриха**

сильнее всех прочих подвигов Генриха. Бало ему лет пятнадцать, и это была его первая самостоятельная поездка, без родителей. В Крыму я в ту пору не бывал и очень долго потом представлял себе некий удивительный пейзаж: полосу гальки, голых людей, приставивших ладони к глазам, синий замок, нависший над морем, и на башне его стоит Генрих, взмахивая руками, и все это освещено каким-то странным, жарким и темным солнцем. На прямые мои вопросы, не вранье ли это, что он прыгнул с сорокаметровой высоты, Генрих всегда несколько отмалчивался: не отрицал, но и рассказывать не любил. Зато приятели, бывшие с ним в Крыму, рассказывают об этом охотно и с увлечением, и каждый предлагает свой вариант истории. По одному, конечно же, он прыгнул, посвятив свой прыжок одной девочке. По другому, который я предпочитаю, дело заключалось в том, что у них вышли все деньги и, сидя на пляже, голодные, они



наблюдали, как голые полковники крупно играли в карты; денег была целая куча, они были тут, рядышком, но они были чужие, что приводило ребят в тоску и уныние. И тогда Генрих, ничего никому не сказав и не посоветовавшись, вдруг встает, направляется к голым военным и говорит: «За тыщу рублей прыгну с Ласточкиного гнезда» (в старых деньгах, конечно). Военные опешили, заругались, заспорили, заиздевались, глядя на шуплую его фигурку, а один, наиболее весомый, вдруг сказал: «Ну что ж, прыгай». И Генрих прыгнул, хотя, надо сказать, никогда до того специально прыжками не занимался, прыгнул и не разбился, а это за всю историю, кажется, третий случай... Я всегда млею от этого рассказа, в который бы раз его ни слышал, а разомлев, спрашиваю: «Ну, а деньги-то они заплатили?» — «Сволочи! — всегда говорит Женья Р. — Всего шестьсот рублей». — «Надо же, — говорю я, — хоть шестьсот». Называет рассказчик, надо отдать ему должное, всегда одну и ту же цифру.

Недавно я все-таки побывал в Крыму и проезжал на катере под Ласточкиным гнездом. Пейзаж этот разочаровал меня. По сравнению с той картинкой, которая постоянно существовала в моем представлении и была для меня паспортом Крыма, пейзаж этот ничего интересного не представлял. Я смотрел вверх и вспоминал Генриха. Если он сделал такое, думал я, то он действительно великий человек.

Но даже если он не прыгал, все равно Генрих, конечно, великий человек. Потому что любая история об этом человеке вызывает недоверие. Правдоподобных историй с ним просто никогда не происходило. Они его, по всей видимости, никогда не привлекали. И даже та история, про которую 99 из 100 скажут, что это ложь, неоднократно на моих глазах оказывалась правдой. Так что даже если о Генрихе говорят неправду, то это нельзя назвать ложью — это легенда. Правда или не правда, что Генрих прыгал с Ласточкина гнезда, никто, да и сам Генрих, сказать не может. Но то, что это одна из самых прочных историй о нем на протяжении уже пятнадцати лет, — факт. Это, по крайней мере, настоящая легенда. А если о человеке существует легенда, он чего-то стоит, не правда ли?

---

Я бы не успел все это вспомнить и не стал бы задумываться над вещами, столь далекими, если бы не летел так долго. Оказывается, и жизнь не так уж велика и совсем мало успело произойти в ней событий, если ты долго в дороге. Вторые сутки — и ты уже все вспомнил, и воспоминания начинают прокручиваться по второму разу, и ничего нового не выплывает. Потому что, хоть и чудеса техники, и мы летим всего двенадцать часов эти десять тысяч километров, но и двенадцать часов — время, а к тому же над всей страной крошечная нелетная погода, и мы сидим всюду, где бы ни приземлились, тоже никак не меньше двенадцати часов. Эти часы в перемножении образовали уже семьдесят два часа, а за это время можно не только все на свете вспомнить, но и забыть все на свете и задавать себе в конце полета вопрос: зачем же это я лечу, а главное — куда? Занесло же меня, господи!

А если тебе так жилось в последнее время, что в самолете тебе не спится, и уже не читается, и в окно не смотрится? Вот стюардессы... Они менялись трижды во время нашего полета. Двенадцать девушек проходят перед вами за эти десять тысяч километров. Одна другой лучше. Ну ладно, бог с ними. Женатый все-таки человек. Но это очень неглупо придумали, что в воздухе есть хоть на что посмотреть. Для меня это был целый театр. Было это красиво.

Они появлялись из-за шторки, которую отдергивали и задергивали столь старательно, что поневоле возникало представление: какой же странной и, должно быть, прелестной жизнью они там, у себя за шторкой, живут. Эта не то шторка, не то занавеска не достигала пола, и, хотя я не видел, что за ней делали девушки, — я видел их ноги: они сновали там, за шторкой, стройные, на высоких каблуках, обрезанные нижним краем занавески по колено. Их закуток за шторкой был освещен много ярче, чем салон, из-под шторки бил яркий свет, и у меня возникало ощущение, что я сижу в кукольном театре, где на большой сцене, в большой плоскости занавеса, вдруг освещается небольшой прямоугольник, и там оживают куклы. Ноги, то одни, то другие, сновали

по этой маленькой сцене и явно разыгрывали какую-то пантомиму, пластично, в хорошем ритме.

И когда вдруг, отдернув занавеску, появлялась одна из обладательниц этих ног, вся, целиком, — в этом было некое чудо. И я был благодарен за него и этим девушкам, и Аэрофлоту, и людям, создавшим интерьер в этом самолетном чреве и почему-то сделавшим занавеску в служебном салоне не до полу, а несколько короче.

...Она появлялась вдруг, вся, целиком, со своими конфетками и лимонадом, и, хотя она и представления не имела о том, в каком спектакле участвует и что за пьесу я для нее выдумывал, до чего же точно она играла! Как ни странно, тут почти не было чувственного интереса, и, может, именно потому этот маленький театр женских ног был столь увлекательным для меня. В конце концов это оказалась грустная пьеса. Развязка была печальна.

Подлетая к Омску, первой нашей остановке, когда нам были уже розданы предпосадочные леденцы и мы должны были пристегнуться и не курить, они вдруг, все три, забежали по проходу, возвращались со своими пальтишками, лица их озаботились, и на лицах появилось отсутствие. Они приводили себя в порядок за своей занавеской и прятали свои красивые туфли в свои большие сумки. Они уходили от нас, их уже не было с нами, мы ничего для них, оказывается, не значили. Мы были неисчислимы, как песок, и однообразны, как пустыня. А у них была СВОЯ жизнь. Я ощущал какую-то тревогу, но еще не знал ВСЕГО. Я еще утешал себя спасительными мыслями о том, что они хотят предстать в лучшем виде перед своими омскими знакомыми летчиками. Ведь потом они полетят дальше с нами. Но замысел пьески был коварен.

Дело в том, что они сменялись в Омске, они уходили из моей жизни навсегда. В том же театре, на отрезке Омск — Иркутск, работала новая труппа, новые ноги и новые их обладательницы. Они были так же хороши — но что мне было до них! Я смотрел на них уныло, исполненный юношеского скептицизма: и вы тоже, мол, сойдете в Иркутске... Исполнители разные — роли те же. Но пьеса имела новый поворот. Я обнаружил, уже в полете, как на маленькую, облюбованную мной сцену,

па которой новые прима-ноги разыгрывали свои новые диалоги, вдруг ворвались мужские ботинки, длинные и черные, как баржи среди легких лодочек. Я думал еще, второй пилот вышел покурить и поболтать с девушками, и лишь слегка позавидовал ему. Но тайное становится явным, что-то путалось в подтексте пьесы. Это оказался стюард. Он мне, конечно, сразу не понравился, этот бездельник. Слава богу, он составил вскоре кому-то компанию в карты и покинул сцену. Видно, девушки не позволяли ему делать женскую работу, а вся работа его была женской. Но, как в современной постановке, когда действие вдруг переносится со сцены прямо в зал, так к нему в салоне подходили по очереди и подсаживались девушки, заглядывали в карты через плечо, смеялись, шептали ему что-то в ухо, приносили ему воду. И это растрavляло меня.

И когда девушки, как перед тем их предшественницы, вдруг стали собираться, когда они снова уходили от меня раньше, чем самолет коснулся земли, и я уже знал, что они пойдут сейчас куда-то и к кому-то, кто им дороже, чем я, и что никогда они не узнают, чем они были для меня и чем бы я мог быть для них, не подумают, что пассажиры тоже люди, среди которых есть те, как это ни фантастично, кого можно любить... Я смотрел на них уже с горьким разочарованием, и следующих девушек, сменивших их, уже и не заметил и не запомнил. Я бы внес предложение Аэрофлоту, если бы не опасался показаться безумцем, чтобы так же, как зритель не видит, как покидают здание театра исполнители, и уносит в своей душе ощущение, что актеры — особые люди, живущие для других, для него, зрителя, так же и стюардессы покидали корабль тайно и тихо — исчезали, а не уходили.

А раз уж речь, имеет это отношение к делу или не имеет, коснулась любви, то опять вспоминается детство. Теперь мне кажется, что в пионерлагере в Терриоках нас больше всего интересовали вопросы любви. Во всяком случае нашу, старшую, пионергруппу именно это волновало.

Вот мы спускаемся по песчаным тропкам между сосен, которые почему-то зовут корабельными, к Фин-

скому заливу, который зовут Маркизовой лужей, и что лужей, понятно, но почему Маркизовой? Мы идем в парах и поем: «Ах, поцелуй же ты меня, Перепетуя!».

**Об «этом»** Больше всего мне нравятся строки: «Я кровать твою воблой обвешу, чтобы было приятнее спать», но мы не успеваем допеть до них, потому что разбегаемся с гиком по пляжу. У нас соревнования по плаванию. Для этого наш физрук, лысоватый геркулес из сборной города по водному поло, выстраивает нас в шеренгу на второй мели, сам же с нашей медсестрой, матерью одного мальчика из нашей группы, идет к третьей мели. Мы следим, как они, такие большие и старые, бегут с повизгиваниями и похлопываниями к своей мели. За отношениями физрука и медсестры мы следим с интересом вот уже вторую смену — мы их осуждаем. Физрук кричит нам со своей мели: «По моему свистку вы все стартуете и плывете к нам». Он достает из плавков свисток и начинает его продувать. Некоторые понимают это как команду. Я прыгаю первым. Наш строй ломается. «Да не сейчас! — сердито кричит физрук. — Сейчас я еще не свищу. Это просто так. Становитесь по местам!» В этих соревнованиях первое место занял, конечно, Генка. Я занял последнее и не жалею об этом. Я зазевался на старте и потому увидел, как целовались физрук с медсестрой. Они были мокрые и совсем почти голые. Наши подозрения подтвердились. Меня это так поразило, что, когда я бросился в воду догонять всех, это было уже невозможно. «На дистанции 25 метров, — торжественно объявил физрук, — победил председатель нашего физкультурного совета Генрих Ш.!»

Вот мы сидим на дамбе, избранный круг, нас было пятеро, и разговариваем о мамах. Чья красивая, а чья нст. Мы говорим о маме, которая медсестрой, — она некрасивая, вобла какая-то, как ей сына своего не стыдно. У того мама толстая, у этого — старая и одета плохо. О своих мамах не говорим. Генка сидит и в разговоре почему-то не участвует — смотрит вдаль. Один из нас не выдерживает: «А вот у меня мама...» — говорит он. «У тебя мама с усами», — говорит ему другой, гогочка, маменькин сын, мой враг, и мне становится обидно: почему мой враг так задается? К нему на ма-

шине приезжают, ну и что? Мама у него, пожалуй, красивая, но так себе, не сравнить с моей...

«Ха-ха,— говорит мне враг,— у твоей ноги толстые!» Слезы закипают, и кулаки белеют... Я отворачиваюсь и смотрю вдаль за горизонт, чтобы враг не увидел моих глаз, пока не просохнут. «Вот спихну тебя сейчас с дамбы! — думаю я. — Толстые!..» Генка вдруг, так же молча, вскакивает и убегает. Всегда-то он так вдруг убегает. У него мама, тут уж никто не спорит, действительно красивая, и главное, всегда он может ее видеть, потому что она — наша воспитательница.

Мы сидим на дамбе, болтаем ногами и уже молчим. «Темную тебе устрою»,— думаю я о своем враге. «Замной! Скорей!» — вдруг слышим мы. Малыш из средней группы — запыхался, и глаза растопырены — сейчас его шурануть надо, чтобы не лез к старшим. Но он кричит: «Идите скорей сюда! Тут тетки и дядьки голые!» Мы вскакиваем и мчимся за ним по дамбе. В конце ее, где нависают над берегом кусты, наш проводник прижимает палец к губам и начинает ползти. Мы ползем за ним. Сердце бьется у меня в горле, и перед глазами темные пятна, и я ничего не понимаю. Раздвигаем кусты и видим... Действительно, голые. День-то жаркий. Они лежат тесно, рядом, кто вверх, кто вниз лицом, — четверо, две тетки, два дядьки. Растомленные, неподвижные, ленивые. Закинули ноги друг на друга и лежат. Мне вдруг становится жарко — так они лежат, такой расплавленностью, раскаленностью дышит от них. А мы не дышим в кустах. Уже слишком долго не дышим. Воздух вырвется из меня сейчас со свистом. Наконец один дядька оживает и переворачивается. Хлопает тетку по спине, звонко. «Пошел к черту!» — лениво говорит она, не пошевелившись. Снова все замирают. Чья-то рука выдергивает меня из кустов. «Атас!» — слышу я запоздало. Физрук дает мне леща, и я мчусь в лагерь без оглядки. За спиной у меня ленивая ругань.

Мы не говорим о случившемся до вечера. И лишь после отбоя, оставшись в нашей маленькой палате, в своем тесном кругу, мы заводим разговор об этом. Генка тут же засыпает. Он спит в красивой позе бегуна. Рвет во сне финишную ленту. Один из нас, самый старший и самый чувствительный и слезливый, даже вслух сказал: «Как он красиво спит!» Мы говорим об этом

и расходимся необычайно. Каждый из нас стремится превзойти другого. Мы начинаем обсуждать наших девочек. Мы употребляем все неприличные слова, какие знаем. Больше всех, кажется, стараюсь я: у меня старший брат, и я знаю больше других. Вдруг открывается дверь — и на пороге Генкина мама. Оказывается, она давно уже слушает под дверьми. До сих пор я краснею при воспоминании. Она говорит, как это чудовищно, и, кажется, плачет, она говорит: это так страшно, что она не сможет даже сказать нашим родителям, она не скажет, но мы должны поклясться, что никогда... Мы клянемся. Она уходит. Мы еще долго лежим, бессонные, молчаливые, уничтоженные. «Какое счастье! — говорит вдруг самый чувствительный из нас. — Какое счастье, что Генка спал и молчал поэтому!» Всегда-то этот самый чувствительный скажет то, о чем все подумали и никто не сказал бы вслух. «Какое счастье...» — думаю я, засыпая.

Когда я вспоминаю Генку, Генриха, Генриха Семеновича, меня всегда поражает эта его способность уйти, вдруг скрыться, исчезнуть, уснуть и не участвовать, сознательно или бессознательно, в том и там, где он может себя уронить, сам ли, с помощью ли других — проиграть. Он замолкает, если ему вдруг нечего сказать, когда все еще говорят, хотя им тоже нечего, уходит, когда все еще сидят, хотя давно уже хотят уйти. Друзья дисквалифицировали его в преферансе, потому что его всегда внезапно вызовут по делу, когда он начинает проигрывать или партия затягивается и нарушает его режим. Девушки его любят, потому что при серьезных объяснениях и выяснениях он вдруг встает и молча уходит и не приходит, пока она сама не придет. Друзья за него держатся, потому что он вдруг замолкает в самой накаленной точке спора, где еще не известно кто — кого, где самый накал борьбы, замолкает и смотрит вдаль, отвлеченный, замерший, как бы общающийся с чем-то высшим. Есть тут некий фокус, которым я так и не овладел, хотя, видит бог, грешен — хотел бы им так же пользоваться. Я-то не остановлюсь, пока не проиграю все — в карты, с любимой, с другом.

Вполне понятно, что в пионерлагере Генку любили самые красивые девочки. У него уже второе лето был роман с Галей Ш., очень милой, рано развившейся, уже девушкой, когда к нам приехала Рена К. — моя первая

любовь. Я смотрел на нее издали восхищенными глазами, крался по пятам — она же меня соответственно не замечала. Так я любил ее, пламенно, издали, и вдруг увидел — эта сценка до сих пор перед моими глазами, — как в стороне от дорожки, между соснами играют в пинг-понг без сетки Генка с Реной К. Цок! — стучается мячик о Генкину ракетку, цок! — о ракетку Рены. Цок да цок, цок да цок... И такая радость и счастье на ее лице, цок-цок, при каждом ударе, и так ловок, легок и точен Генка, цок-цок, при каждом ударе, и так они переговариваются, цок-цок, слов не слышу, сердце во мне опускается — цок! — и не поднимается. И Галя Ш. в стороне, совершенно, цок-цок, так уж безучастная. Смотри — цок — во все глаза — цок — больше ни на что — цок — не надейся...

Да и как не любить такого?

#### СХВАТКА У ЛОГОВА ДЬЯВОЛА

*Из журнального очерка*

Человек стоял, опираясь на костыль, в наброшенном на плечи широкополом плаще, чем-то похожий на большую серую птицу, опустившую сломанное в битве крыло. Нет, не было безнадежности в этой позе. Скорее — терпеливое и мудрое ожидание. Придет-де срок, и я еще взмахну крылом и поднимусь в небо.

Человек протянул нам левую свободную руку и назвал себя: — Генрих.

Так мы впервые встретились с вулканологом Генрихом Ш.

Потом мы много беседовали с ним — и у вечернего догорающего костра, и ночью в палатке, по горло зашнуровавшись в спальные мешки, и утром, умываясь ледяной водой ручья. Но о чем бы ни шел разговор, Генрих все время поглядывал в сторону дымящейся вершины вулкана. Мы знали: там, на вершине, проходил передний край фронта науки, там были его друзья — разведчики. Ему очень хотелось туда. Ведь он тоже принадлежал переднему краю. Самому переднему.

Вот хотя бы только одна страничка его жизни — жизни ученого и исследователя, жизни смелого человека, комсомольца шестидесятых годов...

Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Другой ждал, пока его товарищ не находил какое-то безопасное место под укрытием скалы. Лавовый поток был всего в двух метрах от них. Сверху его покрывала серая, дымящаяся, остывающая корка. И вдруг произошло неожиданное: огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, — встревоженное лицо Генриха Ш. и летящий на него огненно-красный камень...



Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на восьмые сутки — и остался жив.

Генрих умеет ездить на мотоцикле, охотиться, водить автомобиль... Не стоит перечислять. Он умеет все то, чего не умею я. Вот прилечу и спрошу его: «Наверное, тебе очень обидно, что ты не умеешь летать на самолете?» — «Почему же не умею, — скажет он, — умею», и покажет мне фотографию, где он за штурвалом самолета. Я кивну, но все равно не поверю. А через несколько дней представится случай убедиться в том, что я напрасно ему не поверил, потому что мы полетим в облет над вулканами на «Аннушке» и я действительно увижу его за штурвалом... И я пойму, как это было глупо с моей стороны предположить, что Генрих не умеет водить самолет, — это невозможно, Генрих бы просто этого не вынес. Это будет потом, когда я уже прилечу к нему, — пока-то я все еще не прилетел, но ведь когда садишься писать, все, о чем пишешь, уже в прошлом: и мой прилет к нему, и мой отлет от него домой, — так что невольно смещаются времена и я забегаю вперед.

Мы будем лететь на высоте 4000 метров, и поскольку зима, декабрь, а в брюхе у самолета открытый люк для фотосъемки, и летать нам долго, кружить над каждым вулканом — то мы замерзнем. Я впервые увижу вулканы — сразу много, они все белые, чистенькие, ровные, поскольку зима и потому что они вовсе не извергаются каждую секунду, а ведут себя очень спокойно. Будет сначала любопытно, особенно когда мы будем кружить над кратером знаменитого вулкана так низко, что я буду заглядывать в его дымящееся нутро, — а потом все покажется уже однообразным и утомительным не профессионалу, будет непонятно, зачем это они часами кружат над одним и тем же местом и зачем Генрих так волнуется и горячится — было бы из-за чего... И наконец я увижу маленькую и грязную гору, похожую на прыщ в этой белизне, и это будет вулкан действующий, мы будем летать и летать вокруг в ожидании, когда он выстрелит, а он все не будет стрелять.

## Стихи и проза

С нами будет лететь один очень хороший поэт, наш с Генрихом друг, тоже ленинградец. С утра он будет болен после вчерашнего и еле приползет на аэродром. В самолете его будет маять, и он сразу же уснет и проспит все вулканы, которые я увижу. Но когда этот маленький грязный вулкан наконец соберется выстрелить, поэт вдруг очнется в своем углу, поведет очумелыми очами, спросит: «Где я?» — с привычным удивлением, быстро сообразит, что с ним случилось, выпрыгнет из своего угла, выглянет в окошко и как раз увидит, как этот вулканчик сделал наконец свое дело — ничего особенного, просто поднимется над ним небольшой черный столб. А Генрих скажет: «Смотрите, какой сильный взрыв!» Поэт не станет больше смотреть в окно, а согнется над своей книжечкой и через минуту прочтет следующий стих:

Пролетая в самолетике над вулканами<sup>1</sup>

Подо мною,  
чуть пониже,  
дышит тепленький вулкан...  
Знал о нем —  
посредством книжек:  
мол, конечно, великан,  
дует,  
плюет,  
посыпает,  
лава льется на поля...  
...В общем, плохо поступает  
с нами  
бабушка Земля...  
...А вулкан-то, он потешный,  
кудри выются на башке...  
И разинут рот крошечный  
в неосознанной тоске.  
Вот он выкинул немного  
камня, дыма и огня..  
Так сказать — спасибо богу,  
поприветствовал меня!

Прочтет он этот славный стих, и, больше ни разу не взглянув в окно, снова свернется в своем углу, и проспит до самой посадки, и высадится, молодой и свежий, и ста-

---

<sup>1</sup> Стихотворение Глеба Горбовского.

нет думать о вечере. Я же так и проторчу у окна, но больше ничего такого интересного не увижу. Замерзну только окончательно. И позавидую другу-поэту, как это у него все четко и точно получается: и выпался, и проснулся ровно, когда было нужно, и все увидел самое интересное, и стих славный написал, и снова уснул. А я-то, что я об этом напишу? Неизвестно. Как я мерз? Как было скучно? Да, прозаику куда труднее... В общем, вулканы разочаруют меня.

Вечер, правда, будет приятный. Кривой мужик встретит нас на аэродроме и доставит в санях на базу Академии наук. Этот теплый деревянный двухэтажный старый дом, скрипучий и тихий, с библиотекой, с бильярдом, с коврами дорожками на лестницах, подействует на мое банальное воображение — я выгляну в окно и увижу действительно красивую картинку: как из-за огромной сопки, высящейся над поселком, начнет всходить луна и подсвечивать дым, который валит из этой трубы и днем и ночью. Я почувствую себя далеко от дома, мне станет тепло, грустно и приятно и захочется написать некий рассказ про такой вот тихий дом, где работают всё молчаливые и чистые люди, и одна девушка, очень мне симпатичная, безмолвно любит одного парня, несколько напоминающего меня, и весь этот рассказ будет чем-то пропитан и пронизан, каким-то таким неопределенно-лирическим чувством, в нем будет особый воздух... В общем, взволнуюсь необычайно по поводу рассказа, который в здравом уме никогда писать не буду и не напишу. И видимо, у всех будет что-то такое на уме. Во всяком случае, поэт тоже будет нервничать и не успокоится, пока мы все не пойдем в ресторан «Сопка». Там кроме нас будет только одна подвыпившая мужская компания, из которой будет выделяться один огромный человек с добродушнейшим детским лицом и один маленький вредный горбун с гармошкой. Они будут выпивать, как и мы, спирт, и горбун после каждой стопки будет что-нибудь играть, и поскольку он умеет только «Подмосковные вечера» и «Жертвою пали», то именно их он и будет играть вперемежку. И великан будет смотреть на горбуна с восхищением.

И все начинает покачиваться в такт.

«Надо было тебе летом сюда приехать,— говорит Генрих,— что — зима...» Мы трясем друг другу руки.

«Я еще приеду, обязательно приеду,— говорю я.— Летом...» Всегда я обещаю приехать еще раз — и не приезжаю. И начинает мне теперь казаться, как приезжаю куда-нибудь, чтобы больше мне тут не побывать... И грустно становится, и расставание — прежде встречи...

И это будет хорошо, но только когда это еще будет!.. А тут торчи в аэропорту, и выпить не с кем...

## **Моя зависть**

Он был первая и последняя моя зависть, самый непохожий на меня человек.

...У него был жук-носорог. У меня жука-носорога не было. У него был самый большой жук с самым большим рогом, жук-чемпион, жук чемпиона. Ему было мало, что у него жук, — так он еще всем говорил, что ему привез его из Афганистана папа-летчик. Хотя и у нас, в Ташкенте, таких жуков предостаточно. Только у меня его не было. Мне бы хоть самочку безрогую, как у идиотика Ромы. Но у меня и самочки безрогой тоже не было. Ему он был и не нужен, жук-носорог, он ничего в нем не смыслил. Просто раз у всех — жук, то и у него жук, причем самый крупный. «Он у меня любого жука забодает, одного как поддел — тот кверху тормашками и вон туда улетел», — показывал он на дальний арык, за которым кончалась территория нашего садика. «Врешь...» — говорил я и тут же ему верил. Этот бесчувственный человек не понимал, каким чудом он владел, он просто — владел, милостиво разрешая мне кормить его моими крошками. «Он ест только белые, — говорил он при этом, или даже: — Он ест только из моих рук», — и забирал у меня крошки. Я мечтал украсть у него жука, но не знал, как это делается. Я украл наконец, но не жука, а иголки-буры у нашей хозяйки, зубной врачихи. Они напоминали холодное оружие лилипутов, палицы или булавы, какие я видел на картинке, и очень нравились мне. Хозяйка, затворив ставни от жары, ходила голая по пустому сумрачному дому. Она лениво носила свое белевшее расплавленное тело из комнаты в комнату и нехотя била мух или проходила к буфету и, голая, ела варенье прямо из банки. Когда она пошла есть варенье, я схватил из белой ванночки горсть иголок и, зажав их

в кулаке с неоправданной силой, с ухающим сердцем выскочил на ослепительный свет.

Я обменял иголки на жука. Он был МОЙ, коричневый, полированный, с необыкновенным рогом. Я утаил одну иголку и положил ее в коробку. «Это твоя палица»,— сказал я ему. Я был настолько счастлив, что уже как бы страдал от неспособности чувств ко все более сильному выражению. Вечером кража обнаружилась, и был скандал. Утром я выпустил жука, не знаю, случайно или нарочно. А у Генки был уже новый жук, даже крупнее прежнего.

Я, может, и не помню этого. А помню большую цементную чашку недействующего фонтана и выбитую обширную площадку вокруг—все это очень сухое и пропитанное солнцем, перенасыщенное. А мы сидим на краю фонтана, свесив ноги, и Генка приоткрывает коробку с жуком. И то чувство томящего восхищения, какого с такой силой мне уже не переживать после.

...Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?»—«Летает!»—и мы все машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?»—«Летает!»—увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый»,—говорит воспитательница. И обидный смех до сих пор в моих ушах... Воспитательница объясняет следующую игру. Она прячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым! Выбраться из моего падения и позора. Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо: «Молодец, молодец». Я даже забываю искать и вспоминаю об этом, когда еще, сразу двое, подбегают к воспитательнице и шепчут. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр земли. Хотя бы одним из первых, хотя бы в первой половине! А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас едва трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скупном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, сгучились вокруг воспитательницы

и нетерпеливо переминаются—надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть, в сотый раз я проверяю себя, разглядывая до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте — голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли — и вдруг вижу. Открыто, у всех на виду, на сломанном волейбольном столбе, лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!!» — кричу я и показываю пальцем. Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты, — презрительно говорит воспитательница, — ведь надо на ушко! Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не подумал, испортил им игру». И если я вынес и это и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.

...У нас слишком длинный мертвый час. Это из-за азиатской жары. Хотя мы, по правде, ее не чувствуем. Но ведь надо же дать отдохнуть и воспитателям, на такой-то жаре. Нам-то что. Генка, например, дает подносить спички к своим пяткам — и то ничего, не больно — такие пятки, как подметки, только горелым пахнет, а ему хоть бы что. И спички воспитательница отобрала. Слишком длинный час и слишком мертвый — часа три в нем. Мы лежим под простынями, матрацы наши на полу, и воспитательница, как назло, не уходит, сидит — читает, за шепот — без компота. От тишины звенит в ушах, от скуки сводит внутри. Генка говорит: «Марьстепанна, а Марьстепанна!» — «Ну чего тебе?» — «Можно выйти?» — «Выходи», — недовольно говорит Марьстепанна. Всегда-то он первый догадается! — прямо завидно. Лежи тут, а он будет по двору гулять! Злость берет. Все-то ему можно — меня бы еще фиг выпустила. А Генка встает, важный, и, чтобы выйти, ему надо через меня перешагнуть. А он не перешагивает, а наступает своей замечательной пяткой на мой голый живот, как на землю, и идет себе дальше. Больно мне не было ни капельки, но от скуки я все равно заорал. «Что такое?» — взвилась Марьстепанна. «Он мне на пузо наступил». — «Не на пузо, а на живот». — «Он мне и на живот тоже наступил». —

«Так,— говорит Марьстепанна.— Вернись!» — кричит она Генке. Генка возвращается, презируя меня взором. «Ложись», — говорит она ему. Он ложится. «А ты встань», — говорит она мне. Я встаю. Жду, не понимаю. «Поступи с ним так же, как он с тобой». Я не понимаю. «Ну, наступи на него и перешагни!» — сердится Марьстепанна. Я наконец понимаю и исполняю все это с наслаждением. «Ну вот, теперь вы квиты», — говорит Марьстепанна и садится в свой угол читать. И мертвый этот час проскочил как живой в потайных пинках и щипках между Генкой и мной.

Так я впервые узнал, что такое соломонов суд. Так я понял, что главное тоже наступить на живот и перешагнуть лежащего. С тех пор мне никогда не приходилось делать это столь чисто и откровенно, а как правило — мысленно, по внутреннему счету, но перешагнул я многих. С этим ли связано, что друзей остается все меньше?

Мы сидим и поем. Это мне очень нравится. Вс поют — и я пою. Так я наконец чувствую себя в коллективе — это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». «НАВЕРХВЫ, товарищи...» Это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом — мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжусь спросить что угодно: и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давно знаком, могу даже сказать в магазине: «Нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, а от серединки...» Я теперь могу спросить что угодно.

Да, мы поем. И от первого же слова «НАВЕРХВЫ» — у меня начинаются спазмы в горле. До чего красиво мы поем! Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот, а когда мы доходим до «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»...» — у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марьстепанна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне — я так прекрасно пою, я сильнее всех чувствую эту песню, я озираюсь возмущенно по сторонам: кто там орет и

портит песню? Но это относится ко мне: «Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю».

Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И когда потом, в старших классах, мы заучивали, что мысль и слово — одно, что мыслит человек словами и что чем правильнее мысль, тем точнее она выражена, — я заучивал урок со всеми, но мне было не вполне понятно и даже неприятно: я же думаю гораздо лучше, чем могу сказать об этом! Так и до сих пор для меня самое большое мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил я что-либо точно, на том пределе, который ощущал, и где-то глубоко у подножья мысли барахтаются мои слова... Мне слишком хорошо помнится, как мы пели хором, шестилетние, и как это было здорово, хотя, может, это я и сейчас додумал. Но отчего же только одна и никакая другая комната стоит сейчас перед моими глазами — темная, прохладная, и мы на лавках, в сумраке, по четырем ее стенам, а в середине что-то большое в белом халате машет руками, и лица не разглядеть. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства: как прекрасно я мог бы петь — и не пел. Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел прекрасно и был запевалой, но тут был бы уже пережим и неправда: у него не было ни голоса, ни слуха, но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни — он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука, и воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но поет он с каждым разом все лучше — я его теперь даже не слышу». Хотя петь Гена не умел...

Впрочем, теперь мне кажется, что я должен быть благодарен природе за печальную в детстве способность не задавать вопросов и за эту несчастную неспособность выразиться в пении ли, в игре... И я никому не завидую.

Вот и пишу теперь потихоньку. Пишу про наше военное детство. И как про него еще написать можно — не подозреваю. Потому что и так и еще так — мне уже



нельзя про него писать. Например, что оно страшное и полно тяжелых переживаний... Потому что, как ни крути, о нем все равно получается радостней, чем об обычном и даже занимательном ожидании самолета в Хабаровском, к примеру, аэропорту. Потому что между военным детством и тем, как я сижу в аэропорту, писатель, летящий на ТУ-114 в страну вулканов по командировке толстого журнала,— лежит двадцать лет. И мое пребывание в этом аэропорту в тыщу раз грустнее моего военного детства.

Конечно, такая уж вещь очерк о положительном герое — само собой получается стиль выпененный и нелепый, красивый. Но ведь все правда одновременно. В фут-

**Десятый  
и одиннадцатый  
подвиги  
Генриха <sup>1</sup>**

бол Генрих играет здорово и в кратер действующего вулкана спускался неоднократно, мы его зовем в шутку Вулканавт-1, и в пургу он попадал, и руки-ноги ломал, попадал в камнепады и лавины. Так что все правда, что в газетах пишут, только стиль — неправда. А может, даже в стиле доля правды есть, именно в этом, в неестественном, высокопарном? Вот как пишет сам Генрих о спуске в кратер, соответственно умнее, точнее и скромнее. Скромность ведь — тоже стиль.

**РЕПОРТАЖ ИЗ КРАТЕРА ВУЛКАНА**  
*Автор Генрих Ш.*

Не так-то просто выспаться у самого кратера вулкана, который то и дело дает о себе знать. В час ночи наше безмятежное настроение улетучилось: под палаткой открылась трещина, из которой шел горячий пар — плюс 94 градуса.

Температура площадки возросла до 56 градусов. В довершение ко всему поднялся сильный ветер и повалил снег. Температура воздуха за палаткой упала до минус 12. Горячий пар, конденсируясь на холодных стенках палатки, падал на нас ручейками тепловатой воды.

---

<sup>1</sup> Каждый спуск в кратер действующего вулкана можно назвать подвигом. Генрих совершал этот подвиг много раз. Два из них я возвожу в ранг ВЕЛИКИХ и причисляю к ДВЕНАДЦАТИ: первый в его жизни спуск и первый в истории зимний спуск.

— Если погода не испортится, то завтра, — говорю я перед сном Анатолию. Он молча кивает. Он знает, о чем я думаю.

Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку:

— Дымит на всю катушку.

И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск.

Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку — горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает пяти метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный: термометр, рассчитанный на температуру до 350 градусов, лопается почти мгновенно. Беру 500-градусный термометр, но его постигает та же участь. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650—700 градусов.

Часы показывают четыре. Значит, я здесь уже около двух с половиной часов — надо выходить; к тому же противогаз начинает пропускать газ, по-видимому пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой — подъем.

Газета трехлетней давности... Что делал я три года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку и, какую не находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя — такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. И потом тоже не утруждал себя писанием лишних, обеспечивающих меня бумажек, верил на слово. И теперь у меня не хватало: трех одеял, двух спальных мешков и одного матраца; одного радиоприемника, которого я в глаза не видел, двух мисок и трех ложек; был фантастический перерасход рукавиц, а главное, не хватало насоса-лягушки, который я отправил на склад как недействующий, а накладной не выписал — не иголка же, насос! — и теперь его не находили на складе. А также не хватало 50 метров обсадных труб, которые, как это явствовало из моего

акта приема, я в свое время принял, в чем и расписался. Все это составляло фантастическую сумму денег, которой у меня, конечно, не было. Насос все-таки нашли, трубы как-то списали, остальное из зарплаты высчитали... Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.

Я тоже было вступился за женщину на улице. Тоже было три хулигана. Поднакидали они мне изрядно. Тут и милиция подоспела, а хулиганы убежали. И женщина сказала, что это я сам пристал ни с того ни с сего к совершенно посторонним людям. Женщина направилась к хулиганам, поджидавшим за углом, а меня забрали в милицию, как учинившего драку на улице.

И буран был в моей жизни. Только меня не замечало и меня не искали с вертолетом. А был я в это время на Севере. И поставили меня на узкоколейке слесарем-смазчиком. И ходил я с крючком, проверял буксы и стучал по колесу молоточком. И думал, что никогда бы в жизни не мог представить себе, что буду этим заниматься. И все вспоминал, как ехал летом с мамой на юг, и на каждой станции появлялся этот таинственный чумазый человек, поднимал крючком крышки и стучал по колесу молоточком, и я уезжал, а он оставался, с крючком и молоточком, потому что вряд ли он ехал вместе с нашим поездом. А на следующей станции — точно такой же. А может, он и едет вместе с нами и слезает на остановках?.. Я иду, проверяю, мороз чуть не за сорок, и метет. Поднимаю крышку и молюсь каждый раз, чтобы все в порядке было, чтобы не пришлось сейчас менять подшипник или, упаси боже, даже скат на таком-то ветру и морозе. А платформы, как назло, все старые, подшипники все горят, и оси горят. И я кричу в будку — выходит вся бригада, и мы начинаем подсовывать под ось палки-елки — вываживать, а ветер свистит, руки, как клешни у вареных раков... И только бы этот чертов скат был единственным в этом составе — тогда в нашу конуру, к красной печке...

## Моя коза

А когда Генрих попал в извержение, у меня на буровой в утреннем тумане в зумпф с глинистым раствором упала и утонула коза... Сбегали мои работяги за мной. И вот стою и смотрю, как неловко они эту козу извлекают и дотронуться до нее боятся, и думаю, что

мне теперь с этой козой делать, как быть с ее хозяйкой? Денег уже вторую неделю нет, нечем мне с ней расплачиваться... Или просто зарыть эту козу, будто ее и не было? Тоже нехорошо... И чем мне теперь работяг кормить, раз артельные и вообще все деньги вышли? Разве у куркуля Петра занять? У него должны быть, только он разве даст, сам с голодудохнет, а не даст. И лучше бы, думаю, прибили мы эту козу в свое время, раз уж все равно ей суждено было, да ели бы теперь ее мясо.

И что общего у нас с Генрихом? Ничего. Он в команде мастеров играл, а я даже в детстве футболом не увлекался. Он два факультета кончил, самых сложных, а я в том же институте — один, самый легкий, и то с трудом, в три приема: между первым и вторым курсом поместив завод, а между вторым и третьим — армию... И ни разу не попадал я на передний край — все какие-то задворки: ни почета, ни перспектив, ни даже выполнения плана, ни в газетах не напишут, ни даже благодарности в приказе не дождешься. Только вот люди мне всегда исключительные попадались. Или очень хорошие...

Зачем я, собственно, лечу к Генриху? Я лечу в творческую командировку. Но это еще ничего не объясняет. То есть не объясняет зачем. И вообще, что это такое, творческая командировка? По совести, понятия не имею. Никогда в такие командировки не ездил. И всегда относился к ним пренебрежительно. Ехать, утверждал я, так ехать. Застрывать. Надолго. Работать. Вариться. Никакой ты не писатель, а вот приехал жить и работать, по необходимости приехал, так уж жизнь сложилась. Пройдет время, жизнь твоя перегруппируется — вернешься домой, к маме, к жене и детям. Только так ты можешь что-то увидеть, если точка зрения у тебя естественна и ты на нее не взобрался, а в ней находишься, в этой точке. А то — что такое... говорил я, творческая командировка!.. Приехал, посмотрел и уехал. Ничего не увидел, ничего не понял. Ни в чем не властен. Что покажут — то и ладно. Не годится, говорил я, не годится уважающему себя автору допускать себя до таких вещей. Да потом, если все будет прежде, чем ты успеешь куда-нибудь войти, знать, что ты писатель, то все для тебя будет закрыто, все будут цепенеть и мертветь перед

тобой, и люди, желая лучшего, станут натянутые и неживые, как на групповой фотографии, снятой провинциальным фотографом.

Но я лечу, если можно назвать полетом бесконечные сидения в каждом промежуточном аэропорту. И я не переменял точку зрения на подобные командировки. А вот соблазнился... Такая возможность: съездить к другу, в места, где давно мечтал побывать, а случая к тому все нет как нет,—такая возможность—грех ее упускать. И вот если раньше я ездил все и ездил, оказывался то там, то тут—работяга, солдат, геолог—и все что-то интересное увозил с собой в памяти, то теперь еду специально, чтобы обогатиться творческим материалом, быть ближе к жизни (куда уж ближе, если ты живой!), еду специально, чтобы увидеть нечто из ряда вон выходящее, а это ведь мой собственный приятель, друг детства... И поневоле возникает мысль: а как вдруг я возьму и ничего, ничегошеньки не увижу из-за этого своего «специального» намерения увидеть? А если все вдруг онемееет перед моим специальным взором, что же я напишу тогда? Стыдно ведь будет.

Бросил дома дела, жена опять ворчит, что уехал, кто теперь дрова колоть будет и печки топить? И художник, мой друг, что-то к нам домой зачастил, и дочка опять простужена. И еду я мешать занятым людям, и в деле-то я их ни черта не смыслю, буду спрашивать какие-то маловажные глупости с серьезным видом, и прочее, и прочее, и прочее приходит на ум, когда летишь третьи сутки, и все без сна, и все ждешь.

**Что-то не так** «Что-то не так,—говорим мы в таком случае,—что-то пошло не так». В последнее время меня поддерживает уверенность, что всегда можно вернуться к себе и выделить это «что-то не так» опять же в себе и исправить—и все будет «так». Скажем, врать тебе приходится в последнее время слишком много. И больно, и противно, и не хочется—а приходится. И вроде бы ты не властен: все это ты вроде вынужден делать из самых человеческих чувств и побуждений. А заглянешь в себя и найдешь пакость, исправишь, если не поздно,—и врать вдруг не окажется никакой надобности, и окажешься ты властен. Или тебе вдруг врут—как это больно!—стучись, ломись, будь прав,

требуй — все без толку, как об стену, отчаяться можно. И что остается? Задай себе вопрос: почему это мне врут? Вернись к себе — найдешь в себе же, поправишь, если не поздно, — и врать тебе вдруг никакой ни у кого не окажется надобности. И т. д. Приблизительно, конечно, и слишком просто. Но так я себя утешаю в последнее время и так стараюсь жить.

Ну, а если погода нелетная?

Тут ты вроде не виноват. Можно, конечно, и тут найти свою вину... У каждого она такая, предотъездная вина найдется: в сутолоке последнего дня, больше или меньше, но обязательно чье-нибудь чувство или движение то ли толкнешь, то ли придавишь ненароком, то ли не заметишь, то ли чьих-то искренних даров не примешь, то ли сам не поделисься. И это хорошо: найти в себе такое и приговорить, чтобы больше не было, хотя и снова все повторится в следующий раз. Но погода от этого все-таки не исправится. Нелетная — и все тут.

Ты сидишь на чемоданах и вдруг поймаешь себя на том, что давно уже, устав вскакивать, прохаживаться, потягиваться, прислушиваться, то ли бормочешь, то ли напеваешь себе: «Что-то не так, что-то не так...»

И действительно...

И опыт вроде есть, а проходит время — и забываешь. Все рисуется схематично и плакатно. Длинные, полупустые залы, немногие люди с красивыми портфелями (ручная кладь) не спеша занимают свои красивые позы, сами изящные и продолговатые, как манекены (удобно, выгодно) или как воздушные лайнеры. И все представляется таким стремительным, просторным и вытянутым, как рисунок архитектора (бетон, стекло) с уже выросшими деревьями и нарисованным для масштаба человечком. Новые кварталы, новые районы, город будущего... И ты, припрыгивающий от острого и стесняющего ощущения дороги, видишь себя тоже таким вытянутым, стремительным и изящным, пока не споткнешься или зеркало тебе дорогу не перебежит, и не окажешься ты, живой и несколько растерянный человек, в живой и несколько бессмысленной толкотне и неразберихе.

Быстро, удобно, выгодно. Слаженная, четкая работа. Квалифицированный персонал. Все для удобства, все

к услугам. Два часа — и ты из зимы попадаешь в лето, пальмы и море. Четыре часа — и ты вообще черт знает где, то ли в Париже, то ли на Таймыре. Все это так или все это почти так (за вычетом столь понятных в любом деле и столь постоянных накладок) при одном условии: если погода — летняя. Пассажиры прилетают и улетают, выпивают кофе и прочитывают газету, сегодня здесь — завтра там, пустые скамейки глядят отчужденно и холодно, хозяйственный человек скажет: и зачем это надо? Столько места, столько средств? Вполне можно было обойтись небольшим зданием.

А если погода нелетная?

Все тогда очень просто. Пассажиры дисциплинированно прибывают за час до отлета, проходит час, и они не улетают. И следующие пассажиры прибывают — и не улетают. Сегодня здесь, завтра — тоже здесь. И послезавтра. Что тогда? Удивительно маленькими строятся наши аэровокзалы. Их надо строить безбрежными. На их месте должны вырастать города.

И газеты все читаны-перечитаны. Когда еще выйдут завтрашние? Всю жизнь я чего-то жду. Он, она, они чего-то ждут. Мы чего-то ждем. И вы чего-то ждете. И мест свободных нет. Ждем любимых — и они не идут. Ждем денег, а их задерживают. Ждем квартиры — очередь все не доходит. Ждем решений по поводу наших дел. Как только решатся эти дела, возникнут следующие, еще не решенные. Ждем автобуса, трамвая и самолета. Подходит наконец, набитый, дверей не открывает, и мы начинаем ждать следующего. «Знаете, — сказал мне один нервный человек из очередей, — что у нас самое дешевое?» — «Не-ет...» — сказал я в уверенности, что если такой простой вопрос задается, то ответить на него все равно не удастся. «Время, молодой человек, время!» — воскликнул он и исчез. Как не бывало. Что-то было в этом. Если подумать. Конечно, зачем такие обобщения, бывает так, бывает и иначе, надо иметь терпение, скажут люди, степенные и обходящиеся без очередей. Но я в чем-то соглашусь с этим дьяволом — вот ведь шепнул и исчез, пригрезился, что ли?

Э, да бросьте вы обобщать. Неверно это. Несправедливо. И мешает строить. Просто нелетная погода. А завтра что будет? Будет сол-ныш-ко! И мы все улетим. Куда кому надо.

**Двенадцатый  
и все будущие  
подвиги Генриха**

Вот я все торчу в аэропортах, злуюсь, брюзжу и не живу толком. А если я такой прилечу, то что увижу и что напишу в результате? Вот передо мной десятки газет и журналов, и все пишут про Генриха. Своего Генриха я не узнаю, а нового представляю себе по ним так... (По газетным и журнальным статьям: «Робинзоны штурмуют огненное логово», «Идущие по облакам», «Карлик становится великаном», «На краю пропасти» и многим другим.)

Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака наползают прямо на палатку — зги не видать. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров, иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания, они манят и будоражат воображение.

А они сидят на этом вздыбленном куске земли, а вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. Пять дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже семь дней подряд все заслонила собой рвущая белая мгла. В этой крошечной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо. Ложка тушенки в день. Ложка — на четверых. Ее, разведенную водой, съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий.

Дракон притих, затаился перед новым прыжком.

— Ребята, мы — накануне больших событий, — взволнованно сказал Генрих. — Надо собираться в путь.

Старый геолог был хмур и неласков. В наушниках проскрипело: — Возражаю. Категорически! Скалы. Пропasti. Будут трупы. С гарантией. Ждите. Прояснения.

Разгневанный дракон встретил «гостей» канонадой. А может, он салютовал непокорным? Но зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно, да, риск... Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда.

На вершине ветер дул со штормовой силой при морозе в 40 градусов. Кинокамера и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг — и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля.

За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей. Но он и сам понял, что единственное спасение — вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрастая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением: ну, пронесло.



Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал: там, метров на сто восемьдесят пять ниже, — бездонная пропасть.

Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец.

Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги...

Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови, переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева.

— Может, дать SOS?

— Я против, — сказал Генрих, глядя на друзей.

Радист без усталости отправлял в эфир тревожные сигналы. Эфир — затянутое туманом небо — зловеще молчал. Герои не отвечали.

Но солнце еще не село, когда Генрих лежал на операционном столе. Четыре тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. Сотни ушибов в счет не шли. Их было невозможно сосчитать. Но опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители: молодость и крепкий организм спортсмена.

...Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Наши куры и редиска пришлись всем по вкусу. Генрих, худошавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, рисуя в воздухе куриной лапой, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер.

Грозная «преисподняя» вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. Но страсть исследователей оказалась сильнее опасений.

— Буду спускаться, — произнес Генрих, заглянув в дымную глубину и прислушиваясь к гулу.

Вулканологи, такие же, как он сам, молча принялись за дело.

Генрих, обвешанный двумя рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью.

Мы оглянулись на домик вулканологов и увидели самодельный плакат, бьющийся на ветру:

## НАШИ ВУЛКАНЫ — ЛУЧШИЕ В МИРЕ!

Вышло солнце, и повалил тяжелый, мокрый снег.

А что я буду делать в это время? И где я буду? Ума не приложу. Воображение ничего не подсказывает. Все что-то похожее на сегодняшний день или на прошлый мерещится в будущем. А ведь как вспомнишь, ничего похожего на предыдущее никогда не случалось в последующем. Все что-нибудь новенькое, о чем ты и представления не имел. Вот сейчас подбираю себе событие, параллельное ДВЕНАДЦАТОМУ ПОДВИГУ ГЕНРИХА, и все какие-то нелепые в голову лезут.

Такая, например, странная история...

В то время, когда Генрих попал в свою первую переделку с вулканами: угодил в камнепад и получил четыре перелома конечностей, не считая сотен ушибов,— я служил в армии на Севере, и обстоятельства мои были очень будничны, прозаичны и лишены романтики. Как раз в то приблизительно время, осенью, мне удалось сменить работу на лесоповале на непыльную, как считалось, работенку. Наша машинистка в штабе ушла внезапно в декрет, а вольных, тем более незамужних, тем более умеющих на машинке, в поселке, бедном на женщин, не было. И вот тут высунулся я, потому что на машинке-то кое-как умел печатать. И сел я в штабе. Надо сказать, что к тому времени у меня уже сложилась кое-какая дружба с ребятами, так что о подрыве своего авторитета тем, что стал «штабной крысой», я не беспокоился. И вот сижу я, значит, стукаю. Например, приказ по гарнизону, чтобы владельцы собак такого-то числа заперли своих псов дома, потому что ввиду излишнего количества бродячих собак будет проведено профилактическое их уничтожение. Я, значит, перепечатаваю такую бумажку, а на следующий день славные псы валяются там и сям по поселку, пристреленные и совершенно мертвые. Не нравится это мне.

#### **Дело о двух банках тушенки**

Я сижу в штабе, стукаю и уже мечтаю снова о лесоповале. Конечно, тяжело и мошкара, но зато общество самое избранное, костер, чаек, воздух... И вот тут вваливается ко мне приятель и говорит: «Сунь куда-нибудь» — и подает мне две банки тушенки. Я человек нелюбопытный, я беру их и молча закатываю под сейф. Он мне что-то говорит о том, как с машины свалился ящик тушенки, и шофер не заметил, а ребята разобрали, а это, значит, моя доля. Моя так моя. Сижу, стукаю. Отстукал и пошел домой, в казарму то есть. Наутро прихожу в штаб, вызывает меня замполка по хозяйству, тот самый Николай Васильевич Бебешев, капитан, о котором я уже писал раньше. А с ним рядом следователь, подполковник, сегодня утром для разбирательства всяких наших поднакопившихся солдатских дел прибывший. Я-то спокоен, думаю, что-нибудь перепечатать надо. Совесть-то у меня чиста. «Прибыл, так и так», — говорю. «Выкла-

дывай», — говорит капитан Бебешев и на меня не смотрит. «Что, — говорю, — выкладывать, товарищ капитан?» — «Про тушенку», — говорит. «Про какую тушенку?» — говорю. «Про такую, — говорит, — в банках». Меня даже пот прошиб, и вкус ее замечательный, какой вчера был, когда мы ее, разогрев в печке, ели, омерзительным вдруг показался. «Никак нет, — говорю, — не было у меня никакой тушенки!» — «Постойте, — говорит подполковник, — вот вы говорите, что ее у вас не было... Значит, вы допускаете мысль, что она у вас могла быть, иначе вы бы не построили так фразу, значит... Я верю, что ее у вас не было, но что-то вы о ней знаете. Что вы о ней знаете? Вы ее у кого-то видели? У кого?» Ну и гусь, думаю я, это тебе не Бебешев. «Никак нет, — говорю, — не видел!» — «Как же, вот я записал, вы сказали: «Не было у меня никакой тушенки». Значит, вы допускаете мысль, что она...» и т. д. — все сначала. «Так я потому сказал, — говорю я ему в тон, — что меня так спросили. Спрашивают про тушенку — я про тушенку и отвечаю. В ответе по уставу должно быть повторено то, что сказал командир». — «Вы же образованный человек, — начинает капать следователь, — зачем вы простачком прикидываетесь?» — «Срам! — вдруг кричит Бебешев. — Я же сам у тебя эти банки видел!» — «Где?» — обомлел я. «Под сейфом!» — «Под сейфом?» — говорю я, все еще удивленно, что естественно, когда подгибаются коленки. «Именно, — говорит Бебешев, — ты когда на обед пошел, я в сейф-то за бумагой одной полез, а банка-то и выкатилась, а я уже тогда, — говорит Бебешев, страшно довольный собой и своей проницательностью, — уже тогда знал про пропажу ящика тушенки. Я, не будь дурак, и закатил ее назад, как будто и не видел. Утром, думаю, поймаю с поличным. А ты ее, выходит, уволок». У меня отлегло. Ну и дурак же ты, думаю. «Никак нет», — говорю. «Что — никак нет?!» — Бебешев наливается кровью. «Не может быть, — говорю, — не было у меня никакой тушенки». — «Да что я, с ума сошел, что ли! — кричит Бебешев, и вижу, действительно близок к этому. — Я же своими глазами видел». — «Вы, может, видели, — говорю я, — а я не видел. Сейф за моей спиной стоит, мало ли тут всякого народу шляется». — «В штабе не шляются! — кричит Бебешев. — Распустились!» — «Виноват, — говорю, — мало ли тут народу хо-

дит». — «Так-то, — говорит Бебешев. — Так как же?» — «Что — как же?» — говорю. «Тушенка!!!» — орет он. «Не видал», — говорю. «Как же ты, паршивец! И не стыдно тебе! Ведь сам вчера небось ел ее! Банки пустые за казармой сегодня нашли...» — «Не ел», — говорю. «Ел!» — кричит Бебешев. «Не ел!» — говорю. «Ел!!!» — «Перестаньте, — говорю, — меня мучить, я и сегодня-то не успел позавтракать — в штаб торопился. А если не верите — сделайте анализ». — «Что?! — Как его кондрашка не хватила, не знаю. — Анализ?!» — «Ладно, — вдруг обрывает его подполковник, — не кричите. — И смотрит на меня, а глаза его смеются. — Не знает он ничего. А если и знает, то все соображает и нам его не сбить с толку. Правильно я говорю?» — доверительно обращается он ко мне. «Никак нет, тр-пп-п!» — говорю я. «То есть как?» — говорит он. «Не видел», — тупо говорю я. «Идите, Дрейфус», — устало махнул рукой подполковник.

Больше не работал я машинисткой — вернулся в свою бригаду. Лес валить. Мошкара, правда. Но зато костер, чаек, общество...

«Ну, ничего. Скоро уже все увижу своими глазами, — успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. — Мало ли что пишут. Кушать-то надо... Ладно, пора спать».

А ночевал я в аэровокзале Х. Вот уж свободных мест нет! То есть чтобы в огромном этом здании я нашел хоть одно свободное место так, чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене, — так такого места ни одного не было. Свободными оставались лишь дверные проемы. И то, если отворялась одна створка, а другая была на шпингалете, то у этой другой створки наверняка кто-нибудь привалился, счастливчик. Лестницы тоже были заняты. Узенькая дорожка — змейкой между телами. Ловко перешагивая, перепрыгивая и подтягиваясь, можно пройти и никого не задеть. Впрочем, никого это уже не заденет. Я не нашел ни одной плевательницы. Их будто не было. «Что такое?» — думал я. И не сразу обнаружил, что просто все они перевернуты на попа и на них сидят, и оттого их не видно.

Я пристроился на лестнице и был счастлив. Милые сибирские студентки техникума пели свои студенческие песни, и вокруг них вились их курсанты. Девушки пели, и никто их не одергивал, что спать мешают. Тут уже было так: если кто хочет спать — то и спит, и песня ему не мешает, и ступени не впиваются ему в бок, и газета мягче перины, а не можешь уснуть — то и спать не хочешь. Я и не хочу, значит, и смотрю, а горизонт в этой позе у стенки неширок.

Вижу я, если посмотреть вверх, широкие гладкие колени одной из студенток, сзади ей шепчет что-то курсант, а она и не слышит. Она очень уверена в своих коленях. Она видит, как я смотрю на ее колени, — это ее не смущает, только смотрит она на меня уже как-то внимательней. «Вот, — думаю, — у меня-то колени не видны?» Но пора уже либо что-то предпринимать, либо отводить взор. И я отвожу. И она со вздохом начинает прислушиваться к шепоту курсанта.

Смотрю вниз. До конца лестницы рассыпаны неподвижные тела. Вот парень, здоровила, развалился через все ступеньки, рука под голову, спит и во сне улыбается. А рядом со мной чинный такой паренек — кепочка махонькая, степенность необыкновенная. Сидит, читает толстенную книгу «У нас в Байлык-Чурбане», роман. Сбоку у него сеточка, в сеточке аккуратный большой пакет, веревочкой перевязан. Рядом с ним молодой, светлый лейтенант, младший. Лицо круглое, детское, глаза круглые, ясные — скучно ему. Смотрит он своими ясными глазами, и заговорить ему хочется. И девушек свободных нет. И у меня, рядом, лицо, по-видимому, неразговорчивое. А паренек книжку читает, толстую, обстоятельную, еще много ему читать. А сбоку у него что-то в сеточке лежит. «Друг, а друг?..» — умоляюще говорит лейтенант. Друг и не шелохнулся. И не то чтобы не слышал — просто дочитать надо. Медленно ползут его глаза вдоль строчки. Есть. Готово. То ли точка, то ли абзац. Поднимает глаза на лейтенанта. Одинаковые у них оказываются глаза. Лейтенант словно счастьем своему не верит — так обрадовался, расплылся. «Что это у тебя за книга?» Парень молча приподнимает ее так, чтобы лейтенант мог прочесть название. «Мгм, — говорит лейтенант, не знает он такой книги — Интересная?» — «Интересная, — наконец говорит парень, опу-

скает ее и снова начинает читать, так же медленно ползет его взгляд.— Про наши места»,— добавляет он и замолкает совсем. «Друг, а друг?» Парень опять так же сначала дочитывает до точки, потом поднимает глаза. «А это что у тебя?»— И лейтенант показывает на сеточку. Медленно и словно бы не зная, что бы это еще там такое, парень поворачивается и видит сеточку. «Книги?— говорит лейтенант.— Дай почитать?» Парень поднимает голову, смотрит на лейтенанта. «Нет»,— говорит. По лицу лейтенанта пробегает отчаяние. «А что там у тебя?» А парень уже снова смотрит в книгу, странный парень. «Альбом»,— говорит он. «Дай посмотреть?» Вот ведь ребенок. И лицо у лейтенанта такое, словно он снежную бабу лепит.

### **Фотоальбом**

Парень дочитывает до точки. Откладывает книгу, достает пакет, развязывает тщательные его веревочки и молча подает альбом лейтенанту. Лейтенант смотрит. Буровая, так я и думал, что парень с буровой! Откуда же еще... Я смотрю лейтенанту через плечо— интересно-то до чего! Сколько я этих альбомов пересмотрел! Все одно— и всегда интересно. Вот солдатики стоят. «Служил?»— «Служил». Вот девочки кудрявенькие, шестимесячные. А вот и вовсе актрисы. «Хорошие девочки»,— говорит лейтенант. А вот и еще одна, такая же кудрявенькая. «Невеста?»— «Она»,— говорит парень. А сам словно бы читает. Чудо, а не парень. Самостоятельный...

А мы все не летим и не летим. Только вдруг по нашей лестнице движение началось. Человек двадцать летчиков, крепенькие, красные мужики с чемоданчиками. Как из бани. Невозмутимо, друг за другом, перешагивают спящих, а наверху— дверца. И лица их ничего не выражают, когда они перешагивают. А потом они все по одному начинают спускаться... Когда же мы полетим, господа!

Я спустился в буфет. В левом крыле— буфет, и в правом крыле— буфет. В левом— цыплята и шампанское, и в правом— цыплята и шампанское. Зеркальное отражение. И магазины не работают— ночь. Бродят бессонные мужики, надувшись шампанским, икают: пьешь, пьешь— никакого проку.

И когда я вернулся, место мое уже было занято. Лейтенант и паренек разместили на нем шахматную доску. Паренек, конечно, задумался над ходом, а лейтенант ерзает от нетерпения.

### **Рассуждение**

#### **о подвиге**

#### **и поступке**

Я бродил неверными шагами по залам аэровокзала. Вот уж — «не находил себе места»! Кресла, нарушив свои ряды, развернулись кто куда и разбрелись по залу и остановились кто где, словно приняв позы уснувших

в них людей. Вот человек занял сразу два кресла — счастливчик и нахал, — но никто не требует и не отнимает у него второе... Значит, он дольше всех торчит тут, если у него два кресла, значит — по заслугам. Вот два кресла составлены корытцем — в них двое, валетом — семья...

Как только люди не ухитряются уснуть! Вот девочка, нарядная, свернулась клубочком прямо на стеклянном лотке — он ночью не торгует. А рядом туфли на остреньком каблучке стоят. Один стоит, а другой набок повалился. Заглянуть ей в лицо... Но лица не видать — только волосы. Их погладить охота.

То ли судьба отступает перед нашим отчаянием и в последний момент предоставляет нам долгожданную возможность, то ли мы начинаем видеть эту возможность там, где бы раньше никогда не увидели... Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу: прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор, и в нем проступал некий сюжет, и я безвольно следил за ним вполуха, боковым зрением.

Она сидела в моем кресле, то есть в том, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась — чуть запинаясь на бегу. Какая-то бесконечная интонация простодушного удивления царила в ее речи. Словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло... Она все рассказывала, рассказывала... А соседка все слушала.

Я не видел обеих, но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что? А вы?

Ах ты господи!» — иногда вставляла соседка голосом дамы, и была видна ее пухлость, ее круглые каренькие глаза, безуспешная мина участия и нескрываемая похоть к чужой жизни — азарт людоедства. А рассказчица... За ее голосом сразу было видно лицо, и в этом лице был весь человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов.

А сюжет был до того прост!.. Жила на Сахалине и сошлась с лейтенантом, летчик он, техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала — любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал: только устроюсь на месте и вызову тебя, Катя. И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила, изматерила и как начала пилить изо дня в день... («Что вы говорите? Надо же...» — сокрушалась соседка.) Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился... (Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя — и задохнулся: все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно с чувством вора.) Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала как-то, кто он, где служил и куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится — военный ведь, — то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной. Я ведь и не стала бы ему причинять никаких неприятностей... Если он так, то лучше бы я не поехала... Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его... Еду и, чем ближе, тем больше мучаюсь: может, я сама к нему не хочу?.. («Ну конечно, — говорит соседка, — так им и надо. А то все цветочки-ягодки. Саночки возить. Живи, а не живи — то плати... Правильно сделали, что поехали. Ну да, совершенно с вами согласна: что же без любви, без любви и деньги не нужны... Ну конечно поезжайте... Ну конечно не поезжайте...») Может, все-таки мне назад вернуться, — говорила Катя. — Тетка съест... А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть? И так она



себя уговаривала, упрашивала, а сама-то все уже знала...

Был тут еще один человек — мой сосед напротив. Был он немолод, некрасив и одет не по-городскому, в сапогах и свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбывшись, чуть ли не зло. Казался все более усталым, неспавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал, неожиданно большого роста...

«Брось, — сказал он, — не езжай ты к нему, не стоит». — «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. (Тут я вывернул шею и увидел ее лицо... Все было точно. Точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дрянцо... Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения.) «Правда? Вы так думаете? — с непонятной радостью отвечала она моему соседу. — Вот и я так думаю. — Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. — Но как же...» — «Слушай, — сказал сосед, — пойдем и сдадим твой билет. И купим другой. (Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит... Оказался он прораб, он ведь и был похож на прораба.) Если захочешь, — заключил он, — выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куцо, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним.

А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно что подсматривать, и я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку.

Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут потом ругаться и ссориться и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда — никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком, никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды. Потому что это был

поступок в подлинном и полном значении этого слова, и он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования.

Время выдвигает свое слово. И слово это — ПОСТУПОК. Способность к поступку — основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. А подвиг... Они, конечно, были, есть и будут в наше удивительное время. Но ведь вот даже возникают непонятные дискуссии: «В жизни есть место подвигам? В жизни нет места подвигам?» Бессмысленно ведь спросить: «В жизни есть место поступкам?»

Поступок — форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Подвиг требует условий, подразумевает награду. Восхищение, признание, хотя бы даже посмертные, для него обязательны. Поступок существует вне этого. И подвиг я могу понять лишь как частный вид поступка, способный служить всеобщим примером.

Так я вылился в цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня, завистливого, и я перевожу взор...

И вот сидит девочка на сундуке, в валенках, в варежках, и большим пуховым платком вся крест-накрест перевязана. Сидит пряменько, ноги рядышком, ровненько поставлены, и ручки на колени ровненько положены, а лицо серьезное, покорное. «Жди,— сказал отец,— никуда не уходи». Мужик он уже немолодой, мрачный, а дочка у него вон какая махонькая. Сидит, ждет. Не шелохнется. Славная девчонка... Смотрю я на нее умильно, она это видит, но не реагирует. А отец ее мне не нравится. Жарища, духота, расстегнул бы ее хоть, что ли. Бросил ребенка, а сам шампанское небось пить пошел. Но вот он возвращается. Устало утирает лысину и снова надевает шапку. Стелит газету и пристраивается рядом не то с сундуком, не то с дочкой. И все молча. Жарко ему становится. Стягивает валенки, снимает полшубок. «Вот ведь,— думаю,— ребенок парится, а он...» А он вдруг смотрит на дочь, и какая-то мысль медленно проворачивается в его мозгу. И вдруг словно понимает что-то. Стаскивает с нее валенки, развязывает платок.

И с такой он это нежностью делает! Снова укладывается. Достает яблоко, начинает есть. Ест — и снова мысль пробирается ему в голову. Начинает рыться. Отрывает самое раскрепасное яблоко и дочке дает. «Что же это? — думаю. — Вот как дивно!» Просто он только через себя все понять может. Ему нежарко — то и всем нежарко. Он сыт — то и все сыты. А так сердце у него, как и у людей, — замечательное: ему жарко — то и всем жарко, он голоден — и все голодны. А особенно дочка. А может, баба его бросила? И ему одному с девчонкой непривычно? А может... Что мы вообще знаем о людях? А все судим и судим.

Не так ли и я то ли сужу, то ли не понимаю тебя, Генрих? Сужу или не понимаю — одно и то же. И тогда я, наблюдающий и формулирующий этого мужика, который все чувствует и понимает только через себя, оказываюсь в большей степени таким мужиком, нежели он сам.

И наверно, окажусь я вдруг гораздо более уверенным и сытым человеком, чем ты. Не дано ли нам за нашу жизнь побывать во всех шкурах и состояниях и переходить в свои противоположности? И если мы были открыты и общительны, то становимся замкнуты и нелюдимы, и наоборот. И если мы были радостны и восторженны, то становимся угрюмы и мрачны. И если мы старались быть сильными, то вдруг — слабы. И если мы были верны, то не станем ли изменчивы, как вода?

Когда я вижу проповедь силы и мужества и делание жизни по ним, мне всегда мерещится кошмарная слабость. Мужество Джека Лондона и Хемингуэя не убеждают меня.

Я работал однажды под началом очевидно мужественного человека. Он был справедлив, сдержан, тверд. Он был очень силен и крепок в свои сорок пять. Мужественный шрам пересекал его лицо. Бывший начальник партизанского отряда, а теперь начальник огромной экспедиции, член бюро райкома. У него была молодая хорошенькая жена и две маленькие девочки — чудо, а не семья. Парился он в бане крепче всех, и ни один подчиненный не мог с ним сравниться. По утрам, на рассвете, раньше всех, в любую погоду он выскакивал в легком тренировочном костюме, делал зарядку и бежал

к ручью, где обливался ледяной водой. И ровно в восемь его можно было застать в конторе, бодрого, свежесвыбритого. И ровно в девять он садился сам за руль «козла» (шофер сидел рядом) и лихо стартовал на объекты. Он был до того похож на положительный образ руководителя из нашего социального романа, что это нарушало все мои представления о жизни, по которым такой руководитель всегда бывал выдуман неким мечтателем. И если все было в нем так, как казалось, потому что он не был ни фальшивым, ни наигранным человеком, то мне все равно мерещилось что-то не так. А если все-таки так, то какой же ценой, думал я, уплачено за все это? Или будет уплачено? За молодую жену, за парилку и обливание холодной водой, за нестигаемость, твердость? Каким же одиноким и слабым останется он, если совсем некому будет посмотреть на него?

### **Рассыпанное лицо**

И однажды я увидел... Торжество мое было мелким и ничтожным по сравнению с болью, какую я почувствовал, глядя... Он сидел, наконец, оставшись совсем один, уверенный, что никто больше не войдет, не увидит... Про него нельзя было сказать, что он сидел, что он вообще занимал какое-то положение и форму в пространстве,— это была рассыпавшаяся, старая, слабая куча, именно куча, в которую были свалены абстрактные, не имевшие никакого смысла черты: и твердый подбородок, и рот, и шрам, и проседь, и суровые брови, и тяжелые руки — весь набор был рассыпан по его столу. Он мычал, долго, протяжно, прерываясь лишь для вдоха. И это было страшно. Я так опешил, что не сразу сообразил тихо уйти, оставить его одного. И когда начал красться к выходу, что-то скрипнуло — он вздрогнул. Это было так болезненно, что мне было невыносимо — не знаю уж, как ему. Его рассыпанные черты вдруг стали прыгать на свои места: бровь вспрыгнула и сразу приобрела насупленное, слегка удивленное выражение, студень губ, слегка подожав, застыл в твердый его рот, и шрам, подергавшись, устроился на своем месте. Разборка и сборка затвора винтовки на скорость... И вот он, такой же смазанный, вороненый, с безотказным боем: «Вы ко мне?»

До сих пор вижу это рассыпанное по столу лицо.

Внешнее, скульптурное мужество настораживает меня. Поступки, приобретающие хрестоматийно-героическую форму, не внушают мне доверия. Как закаленная сталь, они обладают излишней твердостью и хрупки при ударе.

Хорошие пловцы чаще тонут. Люди спортивные, очень сильные физически, не переносят голода. И как убедительно мужество физически слабых и больных людей, их жизнестойкость: она — вынуждена, она оправдана. Там, где они будут добиваться и терпеть поражение, одаренному будет дано, и ему придется справляться с такими тонкими и страшными вещами, что и представить трудно.

И стало мне даже казаться, что против бытующих представлений сильный — это слабый и слабый — это сильный...

Но как мы успеваем за свою жизнь несколько раз устать от самих себя, хотя бы в своей данности, то переходим в свою противоположность. И сильные оказываются вдруг человечны и слабы. И слабые жестокосердны и сильны.

Может, наши роли уже переменились, Генрих? И я из человека, с детства терпевшего поражения, приустав, приостановившись, вдруг почувствовал во всем этом победу и превратился ныне в победителя, поставив перед собой цели конкретные и замкнутые в самих себе, короткие?.. И только тогда понял, как это пусто, одиноко и горько — победа, если с победой исчезает цель? А ты, всю жизнь бывший победителем, первым, вдруг почувствовал усталость и горечь поражения во всех своих победах?

В конце концов слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе, и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Конный пешему, мол, не товарищ. Тут я ловлю себя на том, что все преувеличил, чрезмерно увлекшись в последнее время графикой чертежа. Я преувеличил, и с какой же радостью встречу с тобой и увижу, что не прав. И что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой подтрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоры у тебя куча... И вдруг мы, всегда несколько

настороженные друг к другу, потому что признать и принять друг друга для нас до сих пор значило в чем-то крупном, в целом, осознать свою зряшность и никчемность, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали... За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно: «Знаешь, никогда раньше не уставал... А вот после последней переделки, когда мне проломило череп на Аваче, нет-нет, а стал иногда уставать...» — и закроешь глаза.

**Моложе тебя** И твои помощники моложе тебя и меня. И я долго буду внутренне не принимать их. Их магнитофоны с Клячкиным и Визбором, их внимание к поэзии, их ежедневные разминки, их баскетбол и бокс, их развешанный по стенам Чюрленис, их самодельный модерн абажуров, полочек и торшеров, их наигранная суровость, или молчаливость, или сдержанность с мимолетными то там, то сям трубочками и бородками, их вечеринки с песнями и сухим вином, песнями и девушками, поджавшими под себя ноги на медвежьих шкурах и поглядывающими из углов, их отношения с ними с благородными подтекстами любви по Хемингуэю — все это будет раздражать меня, во все это я буду не верить, все будет казаться мне ненастоящим, игрой, чем-то неестественным и неполноценным. И тогда я вдруг обнаружу, Генрих, что у нас с тобой много больше общего, чем я мог бы подозревать или предположить. Что время перемешало наши отличия и объединило нас, отделив нас сначала от наших отцов, а потом от младших братьев. Мы переглядываемся с тобой на вечеринке, где твои товарищи моложе тебя и меня, и понимаем друг друга, и что-то сблизжает нас против них. И прежде чем я полюблю всех этих ребят и пойму, что я был несправедлив к ним, просто не знал их, а они — отличные, чистые, настоящие товарищи и, главное, никогда не продадут, не предадут... Так вот, прежде чем полюблю их, — ты благодаря им станешь мне близок, понятен и дорог не только как воспомина-

ние детства, а как такой же человек, как я, такой, каких мы ищем и находим изредка, и они — друзья.

Все это можно с уверенностью утверждать, потому что хотя я не прилетел еще к тебе и не встретился с тобой, но ведь всякая вещь на документальной основе пишется потом, когда уже в прошлом не только полет к тебе, но и встреча с тобой, и отъезд назад, домой...

А пока мы все не летим. Я не лечу — и все не летят. И вдруг смятение какое-то и движение, словно ветерок пронесся. И побежали куда-то девушки в пилотках, на бегу набрасывая полушубки, и вдруг все расступились как-то. «Кто это? Кто это?» — пошел шепоток. И по радио ничего не объявляли. Вдруг — свита. И три деятеля: два высоченные, толстенные — он и она, муж и жена — он в сером, каракулевый, и трость, она — вся в шубе необыкновенной. К тому же они — буряты: лица широкие, чиновные, бесстрастные — и все расступается перед ними. А за ними парень, молодой, одет как из журнала, и с догом, — их сын, русский. Делегация, что ли? И распахнулись перед ними двери, крутануло из дверей снегом, ветром и темнотой, и захлопнулись за ними двери. Вышли они на аэродром и не возвращаются. Все нет их и нет. Сами они летают, что ли?

И смотрю я на эту внезапную пересылку, возникшую в аэровокзале X. из-за нелетной погоды, и голова уже ничегошеньки не варит. Только в десятый раз, друг за другом, проворачиваются все одни и те же два соображения.

## **Два соображения**

Одно, что Аэрофлот прочно вошел в быт народа, потому что кто же не летает? И старухи, уж до того древние, летят с Сахалина в Москву в гости, и наоборот. И переселяются насовсем с Украины на Камчатку. И есть, да и полно таких, что поезда, например, никогда не видели, а летают не впервые. И дремлют старухи на чемоданах в боевой готовности: а вдруг, хоть и завтра лететь, но сейчас объявят посадку. И нервничают старухи, и не спят: куда подевались их сыновья, опять застряли в буфете, — темные старухи, древние, не расстегиваются, не разуваются, а ноги болят-болят, неразутые (мозоля небось), и не слезают с сундуков, и руками чемоданы придерживают, и не спят вовсе.

До чего все, если присмотреться, пронзительно и любимо в этом мире! И летают темные старухи над страной, раскидав огромные материнские крылья своих шалей, и обнимают они Землю и своих детей на ней и в ней, и уходят они в землю, а на сундуке сидит махонькая серьезная девочка, дочь мужика, который все понимает через себя, отец ее спит уже, а она не спит — сторожит, и принимает она от старух эстафету.

И такое тут переселение народов, что вспоминаю я войну, эшелоны, эвакуацию, и что-то хрипит радио, а люди все прислушиваются и прислушиваются, все ждут чего-то, и некоторые дожидаются в конце концов. Но тут только похоже, тут, слава богу, не то... И все же мерещится мне репетиция, а если не репетиция, то напоминание и урок. «Повторение — мать учения», а учиться надо с первого раза. И это мое второе соображение.

А радио хрипит, а люди все прислушиваются и ждут... И вдруг радио брякнуло, хрюкнуло, никто и не понял ничего, только ветер из общего вздоха всех людей закружил мусор по полу — и никого не стало.

Что общего у нас с тобой, Генрих? ВРЕМЯ.

И мы снова летим. И на этот раз прилетим. Потому что там, где мы сядем, так далеко, что и самолеты эти огромные дальше не летят, а лишь свои, местные, да и сядем мы в пункте моего назначения.

И взлетали мы из пурги и ночи, а тут светлеть стало, и зарозовела под нами и вдали полоса, и стала она шириться и расти, и стали видны под нами белые плотные облака.

Потом засверкало все невыносимо. Погасли плафоны. Настало утро. Но там-то, внизу, мы думали, все та же темень и пурга, и это только тут, на десяти тысячах, такое сверкание, потому что мы выше всех облаков — тут всегда сверкание.

И вдруг не стало под нами облаков. И не то чтобы мы уже пошли на посадку — просто мы влетели в хорошую погоду, а погода эта простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера — они разворачивались



под крылом и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А старожилы кричали и тыкали пальцем в иллюминаторы: видишь, видишь! — и называли хитрые имена этих гор и этих озер.

А когда мы сели, то сели мы у подножья большого, отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу, у трапа, стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался.

Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там, далеко, дома, еще спят всюю.

Здравствуй, друг! Это дома мы — противоположности. А здесь у нас все будет общее: крыша тут и дом там, в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел, я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты — залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось — возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров, и мама здорова. Хорошо-то у вас как! Весна! «У нас всегда так», — бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду ни одного и лишь над ней? «А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курится...» — бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я — здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо.


— Здравствуй!

1963—1965



# *УРОКИ АРМЕНИИ*

*Путешествие  
в небольшую  
страну*



...Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудями камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах проезжими офицерами. Суета сует! Граф \*\*\* последовал за мною. Он начертал на кирпиче имя ему любезное, имя своей жены — счастливец, — а я свое.

Любите самого себя,  
Любезный, милый мой читатель.

Пушкин, «Путешествие в Арзрум»

## УРОК ЯЗЫКА

**Азбука**

Да простит мне Армения, небу ее идет самолет! Я вышел на поле — горячий и чистый ветер ударил в лицо. Он был очень кстати после вчерашнего. Я оглянулся и счастливо посмотрел вверх — там увидел я самого себя несколько мгновений назад, — там, разворачиваясь, садился самолет, а небо было самого аэрофлотовского цвета, как тужурка у стюардессы, а самолетик — как крылышки в ее петличке... Я шел к зданию вокзала: ЕРЕВАН.

*бгбгбг*

Ага, значит, вот эта штука — Е, вот эта — Р, а эта опять Е...

Так и запечатлелся во мне первый кадр: ветер и выгоревшая трава, которая не то чтобы стелилась по ветру (она была слишком короткой для этого), но была навсегда им причесана. Ветер подталкивал меня к Еревану. Это, значит, В, а это вот А, а это уже Н. Красиво.

Потом я ждал свой чемодан, привычно размышляя о том, стоит ли так быстро летать, чтобы столько же ждать свой багаж. Будто он еще летит, а только я уже прибыл.

Вокзал, по моему убеждению, не место для естественного человека, но этот был не совсем похож на мои

прежние вокзалы. Тут было по-южному гортанней и шумнее, но одновременно почему-то и спокойней. Конечно же, толкучка, даже более темпераментная, но как-то вроде и не толкается никто... Не было тут той затравленности пассажира, где каждый сам по себе — боится за чемодан, боится опоздать, боится быть обиженным и обойденным, — и оттого появляется в нем автобусная, вокзальная твердоватость и туговатость, и сам он становится похож формой и твердостью на свой фанерный чемодан с царапающими и цепляющими углами, и лицо — как замок. Такой заденет плечом — синяк будет.

Тут толкотня была другая — базарная, мягкая, — где перешагивают чемоданы, как арбузы и дыни. И в ожидании нет трагедии: можно взвеситься на аэрофлотовских весах, красивых, как часы... Взвешивают детей, взвешивают бабушек, взвешиваются сами. Никто их не гонит и не кричит на них, как ни странно. Я приехал с желанием, чтобы мне здесь нравилось, и мне нравилось.

Весил же я все столько же. Тридцать лет от роду. Весы показывали 7 сентября 1967 года. Я ждал, когда прилетит мой чемодан, и пялился на вывески, как дошкольник...

*ՀԱՆՈՉԵՒՆ ԶԻՄԱՍՏՈՐԹԻՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐԱՅ,*

Что могло быть написано такими вот красивыми и значительными в своей непонятности буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения?..

### *Права-обязанности пассажира Аэрофлота*

Вот что было написано этими удивительными буквами. Это утверждал справа уступивший первое место, подчиненный, как и положено переводу, русский текст. Но раз такие родные «не курить, не распивать, выхода нет» были переводом с армянского, не означало ли это, что армяне — вот кто ввел их в наше российское обращение? Не может быть. Значит, тут имел место редкий случай перевода справа налево или воссоздания оригинала по подстрочнику.

Поразительно все-таки прочна природа уважения к печатному слову — ничем его не подорвать. Стоит столкнуться с чужим языком — и благоговение перед таинством грамоты, как у подписывающегося крестом. Трудно тогда поверить, что записать можно что угодно, так же как и сказать. Трудно поверить в безразличие таких мудрых и совершенных букв к словам, ими составленными. «Буквы... Ну подумаешь, буквы! — увещевал себя я. — Разве что красивые. Русские, что ли, некрасивые? А ими что угодно пиши — это же меня не смущает... — И только тогда подумал: — Ладно, пусть. Пусть с русского на армянский, хоть и справа налево... Но разве это русский — то, что справа?.. С какого же это злого языка на русский-то переведено?»

Если уж очень многого ждать от встречи, то можно забыть сказать «здравствуйте». Никогда бы не предположил, что после палочек и ноликов первого класса буквы могут стать еще раз предметом волнений и даже страстей... Однако если не первый, то второй вопрос, который мне был задан на армянской земле, был: «Ну, как тебе нравится наш алфавит? Правда, очень? Скажи, только честно, какой тебе больше нравится, твой или наш?»

Да простит мне Россия, я готов согласиться: наш алфавит проигрывает... У «великого, могучего, правдивого и свободного» (Тургенев) не убудет от такого заявления.

Собственно, раньше я о достоинствах нашего алфавита почему-то не задумывался. Разве что мне казалось неверным набирать классиков по новой орфографии — они-то ведь не по ней писали. Мне не хватает фиты в имени Федор, например, и-десятеричного в слове «идиот» и кое-где твердых знаков, в конце некоторых слов. (Так же и рождались классики не по новому стилю, а по старому: привыкали к числу и месяцу своего рождения... и число это что-нибудь для них значило.) Не переименовываем же мы в их произведениях города и улицы в соответствии с названиями нынешними, не переводим цены в новый масштаб цен... Такие мелкие вопросы досуже возникали во мне. А так я не обращал внимания на наш алфавит, не замечал его, более вслушиваясь в слово, чем всматриваясь в него.

Задумался я об этом, лишь присмотревшись к

армянскому алфавиту и наслушавшись чужого звучания речи. Это великий алфавит по точности соответствия звука графическому изображению. Тут все цельно и образует круги. Цепкость армянской речи («дикая кошка — армянская речь») так соответствует кованности армянских букв, что слово — начертанное — звякнет, как цепь. И так ясно представляются мне эти буквы выкованными в кузнице: плавный изгиб металла под ударами молота, слетает окалина, и остается та радужная синеватость, которая мерещится мне теперь в каждой армянской букве. Этими буквами можно подковывать живых коней... Или буквы эти стоило бы вытесывать из камня, потому что камень в Армении столь же естествен, как и алфавит, и плавность и твердость армянской буквы не противоречат камню. (Стоит вспомнить очертания армянских крестов, чтобы опять восхититься этим соответствием.) И так же точно подобна армянская буква своим верхним изгибом плечу древней армянской церкви или ее своду, как есть эта линия и в очертаниях ее гор, как подобны они, в свою очередь, линиям женской груди, настолько всеобще для Армении это удивительное сочетание твердости и мягкости, жесткости и плавности, мужественности и женственности — и в пейзаже и в воздухе, и в строениях и в людях, и в алфавите и в речи. В армянской букве — величие монумента и нежность жизни, библейская древность очертаний лаваша и острота зеленой запятой перца, кудрявость и прозрачность винограда и стройность и строгость бутыли, мягкий завиток овечьей шерсти и прочность пастушьего посоха, и линия плеча пастуха... и линия его затылка... И все это в точности соответствует звуку, который она изображает.

Я по-прежнему не знаю армянского языка, но именно поэтому ручаюсь за правду своего ощущения: передо мной был только звук и его изображение, а смысл речи был за моими пределами.

Этот алфавит был создан гениальным человеком с поразительным чувством родины — был создан однажды и навсегда, — он совершенен. Тот человек был подобен богу в дни творения. Создав алфавит, он начертил первую фразу:

**ԱՄԲԻՆՆԵՐ ՈՒՂԵՎՈՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:**

На этот раз фраза то и значила, что было ею начертано:

*Познай мудрость, проникни в слова гениев.*

Начертав (именно не написав, не парисовав), он обнаружил, что не хватает одной буквы. Тогда он создал и эту букву. И с тех пор стоит армянский алфавит.

Для меня нет ничего убедительней такой истории. Можно выдумать человека и можно выдумать букву, но нельзя выдумать, что человеку не хватило одной буквы. Это могло только быть. Значит, был и такой человек. Он не легенда. Он такой же факт, как этот алфавит. Имя его Месроп Маштоц.

Я бы поставил Маштоцу памятник в виде той последней буквы — каменное доказательство его правоты.

Человек, мало-мальски наделенный чутьем и слухом к слову, никогда не усомнится в существовании творца... Когда была опубликована статья русского ученого-филолога, ставящая под сомнение реальное существование Маштоца, кто ее заметил, кто ее прочел, кроме горстки специалистов? Вся Армения. И до меня, приехавшего год спустя, все еще доходили отголоски национальной бури. Чтобы взрослые люди и так волновались из-за каких-то букв...

Я испытал удивление и чувство неловкости. В течение одного дня я знал об истории армянского алфавита больше, чем об истории русского. Мне пришлось приблизиться к себе никогда не волновавший меня вопрос...

Слово — самое точное орудие, какое было когда-либо у человека, но филология еще не достигла точности угаданного слова. Ей пристала скромность. Она при слове, а не слово при ней. Сомнение в существовании Маштоца оскорбительно для армянина. И я прекрасно понимаю его. И уж во всяком случае такой алфавит не мог быть плодом трудов коллектива ученых-языковедов. Это уж точно.

Армяне сохранили алфавит неизменным на протяжении полутора тысяч лет. В нем древность, история, крепость и дух нации. До сих пор рукописная буква не расходится у них с печатным знаком, и даже в книгах, в типографском шрифте существует наклон руки



писца. Рукопись переходит в книгу, почти не претерпевая графических метаморфоз. И это тоже замечательно.

Прогресс, врывающийся в словарь, в правописание, унификация правил, упрощение начертаний — дело, полезное для всеобщей грамотности, но не для культуры. Охрана языка от хозяйственных поползновений так же необходима, как и охрана природы и исторических памятников. Стоит вспомнить кириллицу — насколько она ближе по своей графике русскому пейзажу, русской архитектуре, русскому характеру...

Пресловутый анекдот об учителе гимназии, покончившем с собой из-за отмены ятей, в Армении не пользовался бы успехом. Он бы не был смешон. Такой человек в Армении мог бы быть национальным героем.

Больше всего меня веселит, что реформа правописания сэкономила много бумаги, что на одни отмененные твердые знаки в концах слов в «Войне и мире» набегает целый печатный лист, а в общегосударственном масштабе... Но эта экономия не перекроет макулатурного потока.

**Букварь** Ереван — моя азбука, мой букварь, мой каменный словарик-разговорник. Слева — по-армянски, справа — по-русски. Только слова в беспорядке. Рядом с А — автомат — Ш — шашлычная. А Б — базар — совсем на другой улице, через несколько страниц.

Я шуршу страницами кварталов, улиц и площадей в поисках Р — редакции, Д — друга, Ж — жилья и П — просто так. Это мой русско-армянский словарь.

Но если бы я знал армянский и мог пользоваться Ереваном как армяно-русским словарем, порядка, конечно, было бы не больше. Это меня утешает.

Но я нахожу своего друга, и у меня появляется учитель. Ему попадаетеся малоспособный ученик, с памятью восторженной и дырявой. Но у учителя появляются помощники. Я попадаю в сладкий плен — у друга есть мать жены, жена брата, друг брата и брат друга. Я познаю всю прочность армянских родственных связей и опутан этой цепью, и каждый мой новый час прибавляет новый виток. И мне уже не бывать одному никогда...

— Андрей, сурч — это что такое?

Я еще ни разу не угадал и теперь молчу, улыбаюсь смущенно.

— Андрей, сурч — это хорошо или плохо?

И все ласково смеются над моим замешательством.

— Андрей, хочешь сурч?

— Хочу.

— Молодец. Пятерка.

И мне несут кофе. И так хорошо у нас не варят кофе...

— Андрей, дзу — это что такое?

— Андрей, дзу — это хорошо или плохо?

— Андрей, какое слово, по-твоему, лучше: дзу или яйцо?

И я ем дзу. Таких яичниц я не ел никогда в жизни. О, нищая глазунья.

Хоровац, бибар, гини... Я поедаю наглядные пособия.

И все это хорошо. Только есть так много — плохо...

Учат и сами учатся.

— Я пришла,— говорит мой друг,— как правильно: пришла или пришел?.. Я пришел к сестру... Как правильно: к сестра?..

И когда они устают ломать свою голову и язык переводом таких простых и понятных слов, таких прекрасных, на чужой, мой, язык, устают путаться в падежах и родах, они вдруг соскальзывают счастливо на родную речь и начинают отдыхать в ней между собою; я тем временем опять ем, все еще ем и еще раз ем, ем за всех: за маму друга и за папу его жены, за друга его брата и за брата его друга, разве что за друга своего не ем (он-то может оказать мне такую услугу)... Зато, пока я ем, они могут хоть поговорить спокойно.

И когда они наконец погружаются в покалывающие, как горная река, воды своей речи, я вдруг испытываю ту же легкость, что и они, с меня спадает эта невнятная неловкость, и мне радостно слышать чужую речь. И не только по причинам, приведенным выше. Впервые в жизни я поймал себя на том, что, не понимая языка, я слышу то, чего никогда не слышу в русской понятной мне речи, а именно: как люди говорят... Как они замолкают и как ждут своей очереди, как

вставляют слово и как отказываются от намерения вставить его, как кто-нибудь говорит что-то смешное и — поразительно! — как люди не сразу смеются, как они смеются потом и как сказавший смешное выдерживает некую паузу для чужого смеха, как ждут ответа на вопрос и как ищут ответ, в какой момент потупляются и в какой взглядывают в глаза, в какой момент говорят о тебе, ничего не понимающем...

И еще, когда они говорят со мной, то есть говорят по-русски, они никогда не смеются. Стоит им перейти на армянский — сразу смех. Словно смеются над тобой, непонимающим. Так вполне может показаться, пока не поймешь, что смеяться возможно лишь на родном языке. Мне не с кем было посмеяться в Армении...

Если им бывало уж очень смешно, отсмеявшись, они спохватывались. Улыбка смеха сменялась улыбкой вежливости — подчиненная жизнь лица, — ко мне поворачивались. Та, невольная, улыбка сходила еще не сразу, память о смехе тихо таяла в глазах, и в них отражался я, мое наличие. Их лица приобретали чрезвычайно умное и углубленное выражение, как в разговоре с иностранцами на плохом языке, когда, чем глупее разговор, тем значительнее интонация, а киваний и поддакиваний не сдержат никакими силами... После таких разговоров ноют мускулы лица и шеи от непривычной, неестественной работы.

Только на родном языке можно петь, писать стихи, признаваться в любви... На чужом языке, даже при отличном его знании, можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. Один язык у человека — два языка не покажешь.

Чуть ли не так, что, чем тоньше и талантливей поэтическое и живое знание родного языка, тем безнадежней знание чужого, и разрыв невосполним. Как остроумен мой друг, по-русски мрачный, почти унылый человек... Каждая его фраза по-армянски встречается таким радостным, неподвластным смехом... «Ах, как жаль, что ты не понимаешь его армянский!» Как жаль.. Вот еще и кроме армянского существует его армянский! Но ведь и кроме их русского существует в нашем русском и мой русский...

Мне не с кем было посмеяться в Армении. И я был

счастлив, когда обо мне забывали. И был счастлив журчанием и похрустыванием армянской речи, потому что у меня было полное доверие к говорящим. Антипатия к чужой речи в твоём присутствии — прежде всего боязнь, что говорят о тебе, и говорят плохо. Откуда эта боязнь — другой вопрос. Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде всего среди людей, не доверяющих друг другу. Среди дипломатов, допустим. Мы же доверяли друг другу. Более того, мои друзья были настолько тактичны, что при мне договаривались насчет меня именно на своем, непонятном мне языке, чтобы я не подозревал о всех тяготах организации моего быта: поселения, передвижения, сопровождения и маршрутов. Опять забываю, что им было легче так договариваться...

Я слушал чужую речь и пленялся ею. Действительно, что за соединение жесткого, сухого, прокаленного и удивительно мягкого, «нежного» — как сказал бы мой друг! Как жесткая, прожженная земля и сочный плод, созревающий на ней... Хич — россыпь мелких камней, джур — вода, журчит в этих камнях, шог — жара над этим камнем и водой, чандж — муха, звенит в этой жаре. Хич, джур, шог, чандж — и вдруг среди всего этого лолик — помидор.

Хич, карь — конечно, это не наш камень, это их камень. Что ка-мень? — лежит на дороге... Джур — это их вода, она холодная и журчит под этими камнями, и ее мало... Что им наша во-да?.. Так много воды в этом слове, и сверху и снизу... Чандж — разве это наша нарисованная муха?.. Дехц — персик... Тут же есть жожа персика, в этом слове, его пушок, ворсинки!.. А что такое пер-сик? От перса... Просто иностранный фрукт.

— Андрей, что лучше: кав или глина? Арагил или аист? Журавль или крунк?

И действительно, что лучше? Подумать только, журавль! — и не подозревал, что это так красиво. Или — крунк... До чего хорошо!

Я влюбляюсь в слова: в армянские благодаря русским и в русские благодаря армянским...

— Что лучше: цов или море?

И вдруг не чувствую «море», в нем нет волнения, зеркало, и вдруг сочувствую слову «цов» — вижу в нем

волну набегающую... но волна, оказывается, вовсе не цов, волна — алик, нежно лижет берег. Но если бы цов было только море! А цов — это и море, и тишина, цов — это тоска в красивых глазах и просто красота, цов — это народ толпою и просто «много»...

**Созвучия**

майр — мать  
сирд — сердце  
серм — семя  
мис — мясо  
гини — вино  
.... — ....

Но камар — это вовсе не комар, камар — это арка.  
А арка — это вовсе не арка, арка — это царь.  
А цар — это вовсе не царь, цар — это дерево.

пар — танец, пляска  
гол — тепло  
цех — грязь  
.... — ....

Но парение есть в пляске, голое и тепло — так близко... Дерево, конечно же, царственно, и все это натяжка, а вот что цех это грязь — точнее не скажешь.

— У вас есть слово «атаман», — говорит мне друг, — а у нас «атам» — это зуб, клык. Поэтому, когда я в детстве книжки читал, все думал, что атаман — это человек с клыками...

— А я думал, что он на оттоманке лежит, — говорю я.

— У вас есть слово «хмель», — объясняет мне друг рано утром на первом уроке, — а «хмел» по-армянски значит «выпить». Поэтому у нас прижилось ваше слово «похмелье».

— Андрей, аствац — что такое? — строго спрашивает друг.

— Андрей, аствац — это хорошо или плохо?

— Аствац — это хорошо, — говорю, — аствац — это отец.

— А ведь верно! — удивляется мой друг. — Кенац!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> А с т в а ц — бог, К е н а ц — приветствие, аналогичное «Твое здоровье!» (арм.).

**Прямая  
речь**

Аё — по-армянски «да». Чэ — по-армянски «нет». Не знаю почему, но всюду — на улицах, в магазинах, в автобусах — я чаще слышу «чэ», чем «аё». Чэ, чэ, чэ.

Обычный автобусный диалог представлялся мне так: один все спрашивает, наседает, а другой отвечает «чэ, чэ», а потом, наоборот, другой все спрашивает, а первый отвечает свое «чэ». Я так сам понял, что «чэ» по-армянски «да», и спросил друга: а как по-армянски «нет»? А он мне и говорит: «Чэ». — Как «чэ»? — воскликнул я. — А как же тогда «да»? — «Аё». Вот как я ошибся. Думал, теперь разберусь... Но так я ни разу и не услышал «аё», а все «чэ».

Брат моего друга — журналист. Он меня очень любит, потому что я очень люблю его брата. Это в Армении естественно. Как-то мы шли с ним по улице, и он мучительно, страшно молчал. И смотрел на меня таким просящим взглядом, что я поневоле говорил без передышки и за себя и за него. Дело в том, что в Армении, наверно, нет другого такого человека, кому бы русский язык доставлял бы столько же истинного, даже физического страдания. Со мной он разговаривал в основном глазами. Когда ему следовало составить фразу по-русски, глаза его немели от напряжения и того давления, которое, по-видимому, развивалось в этот момент в его мозгу. Потом во взгляде его появлялась короткость и кротость, как у жвачных животных, и он не произносил задуманную фразу. Дело, по-видимому, было даже не в том, что он мало знал русских слов, а в том, что ни одного слова по-русски он не мог подумать.

И вот мы шли по улице, и вдруг из моей речи он понял, что я приехал не просто в гости к его брату, а в командировку от газеты. (Это я обмолвился, учитывая, что он журналист.) Лицо его затуманилось, и вдруг его прорвало. Передавать речь его в точности я не берусь — никто не поверит...

— И ты будешь про нас писать? — сказал он.

После этого он стал разговаривать со мной так: увидит — арбузы везут...

— Это армянский арбуза, — говорит.

Увидит ослика...

— Это армянская ишак, — говорит.

— Это армянский очень толстый женщина. А это армянский пиво. Пиво хочешь? Арбуз хочешь? Это обыкновенный армянский такси. Поедем, хочешь?

Я сначала улыбался, потом надумал обидеться. Но сдержался. Потом мне было уже проще: я знал, что это будет армянский забор, а это армянский столб, а это обыкновенный армянский милиционер. Как ему не надоело? Я уже не обижался, а думал: почему он так?

Наконец он устал.

— Только не пиши, пожалуйста,— сказал он,— что Армения — солнечная, гостеприимная страна.

Помолчал и добавил:

— Я вот сколько живу тут и пишу, а все не написал, какая она.

— Знаешь,— сказал я искренне,— это же и меня мучит. Я даже думаю, что ничего писать не буду. Что я увижу за две недели? Что пойму? Серьезно не напишешь, а несерьезно об Армении я уже писать не могу... И потом, если рассудить, разве бы я сам, для собственной радости, не согласился бы сюда приехать? За свои деньги? Значит, верну деньги за командировку и скажу «спасибо». Тем более что я же не работаю в газете и от нее не завишу.

— Ну зачем же возвращать?! — возмутился брат друга.— Почему же это ты не напишешь?.. Поживи еще. Напишешь...— сказал он, и этой его интонации я уже совсем не понял: «напишешь» — это хорошо или плохо?

И вот кончилось мое путешествие, вот я дома, вот я мучился, мучился, гуляя вокруг стола, и вот все-таки сел за машинку.

И что же я вывел в первой фразе?

«Армения — солнечная, гостеприимная страна».

И что же я вдруг услышал?

— Чэ, чэ, чэ! Чэ, Андрей, чэ!

— Да, но это же так! — Я покраснел.

— Чэ, Андрей, чэ!

Я поднатужился:

«Армения — горячая, многострадальная земля».

— Чэ.

— Ну какая же она, твоя Армения?! — взвился я.

— Знал бы, сам написал.

— Ну скажи хоть лучше, чем я! Смотри, я сказал: горячая... Разве сразу найдешь такое слово? Именно

горячая. Тут все горячо: небо, земля, воздух, солнце, люди, история, кровь, та, что в людях, и та, что из людей...

— Чэ, Андрей.

— Ну скажи лучше, попробуй!

— Попробую... Армения — моя родина.

— Ты прав. Но не моя же! Я не могу так написать!

— Зачем же пишешь?

— Но я же очерк пишу! Не стихи, не рассказы. О-черк. Путевые заметки. Заметки чужого человека. Заметки неармянина. О-черк, понимаешь?

— А очерк по-армянски знаешь как?

— Нет...

— Акнарк. А «акнарк» по-русски знаешь что?

— ? ? ?

— Намек.

**Намек** Да, когда я писал о созвучиях, я пропустил одно: уш. Уш — это не уши. Но близко. Уш — это внимательный. Зато апуш — это не просто невнимательный, что было бы логично. Апуш — это идиот.

## УРОК ИСТОРИИ

**Лео** Мне достаточно трудно представить себе кого-нибудь из высокопросвещенных своих знакомых (дедушки нет в живых...), прогуливаясь с которым я бы слышал следующее:

— Вот здесь нашли тело Распутина.

— А вот здесь останавливался Наполеон.

Или:

— Вот видишь горку, за ней роща, вот оттуда, когда мы уже отступали, выскочил Денис Давыдов и своими ошеломительными действиями вдохновил наше уставшее войско...

В Армении подобные вещи знает, кажется, каждый.

Такое впечатление, что в Армении нет начала истории — она была всегда. И за свое вечное существование она освятила каждый камень и каждый шаг. Наверно, нет такой деревни, которая не была бы во время оно столицей древнего государства, нет холма, около которого



не разыгралась бы решительная битва, нет камня, не политсго крозью, и нет человека, которому бы это было безразлично.

— Андрей, посмотри, во-он та гора, видишь? А рядом другая... Вот между ними Андраник встретил турок и остановил их, и они повернули обратно...

— Вот видишь трубу? А рядом с ней длинное здание. Это ТЭЦ. Построена несколько лет назад. Раньше тут жили молokane.

— А вот тут Пушкин встретил арбу с Грибоедом...

И так без конца. Это мне говорили шоферы и писатели, повара и партийные работники, взрослые и дети.

И не было дома, где бы я не видел одну толстую синюю книгу с тремя красивыми уверенными буквами на обложке — ЛЕО. Я видел ее и в тех домах, где, в общем, книг не держат,— тот или другой из трех синих томов ЛЕО.

Лео — историк, написавший трехтомную историю Армении.

Как мне объяснили специалисты, Лео — замечательный историк. И очень популярный. Как наш Карамзин или Соловьев.

Я спрашиваю русских:

— Вы читали Карамзина?

— Ну, а вот недавно переиздали Соловьева, читали?

Вряд ли я найду том Соловьева у шофера или прораба строительных работ. У писателей-то в лучшем случае у одного из десяти.

Я, например, не читал.

А Лео читают и читают. Всюду Лео. Читают так же добросовестно, как он писал. А он писал и писал и ничего другого в жизни не знал, с утра до вечера он писал, каждый день и всю свою жизнь. К старости он ослеп. Но он хотел написать свой шедевр, последний. Он просил у дочери перо, бумагу и чернил.

И, слепой, писал с утра до вечера.

И написал.

И умер.

Только дочка, оказывается, ставила слепому чернильницу без чернил, чтобы он не пачкал.

А он и не заметил.

Такая легенда.

Господи, что он написал?!

Если многое считается замечательным в современной армянской архитектуре, то Матенадаран — самый замечательный пример этого «замечательного». К тому же построено здание только что, и буквально в наши дни, то есть в мои и ваши.

Начать с того, что назначение строения самое почтенное. Это хранилище древних рукописей. И поскольку армяне очень давно пользуются своей дивной письменностью, то рукописей этих, несмотря ни на какие национальные беды, сохранилось великое множество, и каждая из них уникальна и уже не имеет цены. И хранить это национализированное национальное сокровище необходимо бережно и достойно. Тоже понятно.

Матенадаран построен для этой цели. Безупречно отвечая своему назначению практически и технически, он еще и воздвигнут как памятник многовековой и великой культуре.

И так все отлично выполнено, что ни к чему не придерешься. Во всем видны благородные намерения строителей, и к тому же намерения эти вполне выражены. И место выбрано — издалека виден Матенадаран, ничто не заслоняет его, и в стороны ему просторно, и за ним уже ничего не толчется — дальше горы. И он спадает с этих гор таким строгим гранитным отвесом, как водопад, а ниже, куда он спадает, пенятся лестницы, разливаясь в струи и сливаясь внизу в одну, главную, приближаясь к которой ты обязан неизбежно ощутить высокий строй, а когда ставишь ногу на первую ступень, уже испытываешь трепет, а по мере подъема, когда на тебя надвигается отвес Матенадарана и все выше и вертикальней нависает над тобой, трепет этот как бы переходит в холодок в спине. И когда, приближаясь, ты все уменьшаешься, уменьшаешься, а над тобой все растет и растет здание, это, по-видимому, символизирует величие и огромность человеческой культуры и твою затерянность в ней. Но — вкус во всем. Такой светлый, серый камень, что и строго и не мрачно. И такие линии, и прямые и мягкие, что сразу же ясна и великая традиция армянского зодчества, и одновременно полное овладение всеми достижениями современной архитектуры с ее обнаженным назначением и эстетизированной

простотой... Бездна вкуса. То есть нигде не видно безвкусицы. Вот, например, на этом повороте лестницы, на этой чистой дуге, вполне могла бы стоять ужасная ваза — а не стоит. Голое место, прекрасная, ничем не запятнанная плоскость. Место для вазы есть, а вазы нет.

Я уже начинаю злиться на эту безупречность и что авторов нигде вкус не подвел... А может, и подвел их именно вкус? «Эта церковь построена со вкусом» — попробуй выговори такую фразу — абсурд. Или «изба со вкусом» — тоже не звучит. Между тем и церковь и изба — это самые чистые формы, они отвечают только своему назначению, и, чем точнее отвечают, тем прекрасней. Граница между зодчеством и архитектурой вдруг впервые намечается для меня. Никогда не задумывался над этим, лишь в Ереване, где так много замечательных образцов, находящихся по ту и по сю сторону этой границы...

Я поднимаюсь по лестнице и не трепещу. Жара мешает, одышка. Вдруг что-то деревянным глухим забором обнесено: мусор, свалка, не все еще доделано... Заглядываю. А там огромные камни в тогах стоят. Тоже очень современно и глубоко исполняется. Камень иногда сохраняет свой естественный излом, и то формы человеческие незаметно произрастают из случайных линий необработанного камня, то эти линии растворяются в естественной цельности камня. Крупные люди в плавных ниспадающих одеждах (как приятно передать в камне эту крупную вертикальную складку во весь рост!), и крупные, без лишней толкотни в чертах, лица с достойным и несуетливым вдохновением. Их несколько, таких людей. Но один еще в лесах, один начат едва, а третий почти готов. Словно каменная кинолента о создании одной и той же скульптуры, немножко напоминающей памятник Дзержинскому в Москве (из-за шинели до пят) и Тимирязеву (из-за оксфордской тоги), только гораздо, гораздо современнее. Эти великие люди (по-видимому, именно величие так сравнило и уподобило их), которые написали те великие книги, что хранятся в этом величественном здании — такая цельность замысла, — будут стоять — ага! — на тех столь прекрасно свободных от ваз площадках. Только несколько позже, когда они все вместе будут готовы, отличаясь лишь оставленным свободным нетронутым камнем, будто уходя в эту зем-

ную твердь, с которой они так связаны... Так по-разному, так одинаково высовывались они теперь из этой тверди, как в свое время из нее же произрастали. Такие, со взглядом в будущее, в наши дни.

Да и все строение как бы смотрит в светлое будущее, соответствуя авторским представлениям о нем.

Это величие замысла в дверях достигает наивысшей точки (как бесконечно взлетают вверх мощные плоскости!) и обрывается в холле. Там уже новый строй — бесшумности и шепотливости, где-то там, впереди, склоненные вдумчивые головы наших современников, творящих новую жизнь на базе всех знаний, накопленных человечеством, истинные хозяева этих духовных богатств.

Именно с таким прищуром очутился я в некоем квадратном зале. Надо мной была стеклянная крыша, как в оранжерее, стены же были черные, с глубокими тенями, и там, из тени, тянулись к свету пюпитры на тонких ножках. На пюпитрах, отворенные, лежали книги.

Я пожал руку молодого тоскующего сотрудника, прозвучали наши неуместные здесь имена. Словно нехотя подвел он нас к одному из пюпитров...

Это была биография Маштоца, написанная его учеником. Отсюда почерпнуты основные сведения о жизни великого буквотворца.

На соседнем пюпитре лежал старательно переписанный конспект по ботанике. Тысячелетний школяр рисовал на полях цветочки.

Еще в двух шагах крутились звездные сферы, пересекаясь и разбегаясь в милом и изящном чертеже, а земля так удобно покоилась на чем-то вроде трех китов.

Сам тому удивляясь, в тысячный раз поневоле оживился экскурсовод. И правда, от рассыпающихся страниц до сих пор веяло жизнью, простой и ясной. Будто вся смерть ушла в новенькие стены Матенадарана.

Матенадаран — этажи под землю, и там, в кондиционированных казематах, книги, книги...

— А что, они все прочтены, изучены, описаны?

— Нет, что вы! Ничтожная часть. Они еще не переписаны даже в каталог. Эта работа потребует еще десяти лет.

Если представить себе, сколько потребуется времени и терпения, чтобы переписать от руки чужую книгу, то

какой дурак возьмется за это в современном нам мире? Между тем, разглядывая чудесный цветок заглавной буквы, понимаешь, что переписчик, возможно, едва управлялся с нею за день.

Этих книг — десятки тысяч.

Сколько же у людей было времени в те времена! И сколько они успевали!..

Успевали они ровно столько же. А может, и больше.

Они не спешили, и дела их обретали время. В сыновьях и изделиях продолжался человек. Изделия дошли до нас, утратив имя автора, но как безусловно, что каждое из них создано одним когда-то жившим человеком!

Лечебник, травник, звездник, требник...

Вот такой травкой следовало лечить человека от вот такой болезни... И травка и болезнь называются теперь иначе и, возможно, уже не имеют отношения друг к другу. Другим лекарством лечат ту же болезнь под другим названием. Но суть-то в том, что болезнь — та же и так же принадлежит человеку, которого надо чем-то лечить.

Как много люди знали всегда! Как легкомысленно полагать, что именно наш век открыл человеку возможность пользоваться тем-то и тем-то, до того никому не известным...

Как много люди знали и как много они забыли!

Сколько они узнали, столько они забыли.

И сколько они узнали и забыли зря!

## **Развалины (Зварнотц)**

Словно бы зрение болезненно моему другу... Чтобы увидеть каждую следующую достопримечательность, ему надо на это решиться. И он заставляет себя. Для меня. Меня ради. Это исполняет меня благодарности и неудобства. Хотя ни он, ни я не показываем этого друг другу, да и не осознаем. Что-то сопротивляется в друге перед каждой следующей экскурсией. Конечно, он все это зрит не в первый и не в десятый раз. Конечно, тяготы гостеприимства. Но и тяготы эти привычны. К тому же достопримечательности таковы, что их, конечно же, можно видеть бесчисленное число раз: они не исчерпаются, и от них не убудет. К тому же не показать их мне тоже невозможно и не полюбить их мне — нельзя.

Но почему-то снова взглянуть на то, что прекрасно и любимо, трудно моему другу.

И он отправляется в очередную экскурсию...

И когда он снова видит эти камни, уныние вдруг разламывается у него на лице, он успокаивается и светлеет. На меня он не совсем смотрит, и вовсе не потому, что хочет спрятать какие-то чувства. И мне кажется, что он не хочет увидеть в моих глазах, что я не понимаю. А когда он все-таки встречается со мной взглядом, то говорит, опять в сторону:

— Я хочу, Андрей, понимаешь?.. я хочу, чтобы ты устал-устал, чтобы все это солнце-солнце, эти камни... и ты вдруг почувствовал позвоночником... понимаешь, позвоночником?.. как ты устал...

— Понимаю,— поспешил кивнуть я,— хребтом...

Друг не продолжал. Мы бросали горящую бумажку в какой-то колодец. Бумажка, безусловно, так и не достигала дна. Мы осматривали каменные винные чаши, огромные, как доты. Нас сопровождал смотритель со строгим лицом скопца. Он так же глубоко проникался своей прислоненностью к великому, как вахтер проникается своей государственностью. Вся эта праздность наблюдательности, этой ложной остроты зрения унижала меня, и вдруг становилось так жарко, я так уставал, настолько ничем были для меня эти камни и так я стыдился этой своей бесчувственности, тайком пощупывая поясницу и чуть ли не ожидая этой спасительной, все объясняющей боли в позвоночнике. О это мягкое насилие! Как заставить себя чувствовать хоть что-нибудь? И уже почти подсказывал мне мой симулятивный организм эту боль, как тут мы все уходили, насмотревшись, и уже фотографировались или арбуз ели. И я с чувством новичка радостно впился в прохладную мякоть, как только позволил себе это мой друг. А он себе тут же это позволил, будто это он всего лишь образно сказал про «позвоночник».

Но вот и мысль меня наконец посетила — на этих развалинах. Или на других... Храм был разрушен в таком-то веке, потом в таком-то, потом еще раз и потом еще, чуть ли не в наши дни. И как, однако, много осталось! В первый раз, когда рушили, то и разрушить, кажется, не удалось, а лишь — в третий раз. Потому что глыбы — два на два, допустим, метра, да обработаны

так гладко, да уложены так плотно, да еще в сердцеви-  
ну глыбы свинец залит, чтобы потяжелее была и по-  
основательней лежала. Строили навсегда. Но потом ка-  
ким-то туркам, или арабам, или еще кому-то понадо-  
бился свинец для пуль — вот тогда только и расковы-  
ряли наконец... И то, смотрите, величие какое!

Простая мысль... Когда мы видим древние разва-  
лины, в нас прежде всего забредает романтическое и  
бумажное представление о неумолимости и мощности  
физического времени, прошедшего за эти века над де-  
лами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия. Капля  
долбит камень... И каждый день уносит... Еще что-ни-  
будь о краткости собственной жизни, о мимолетности,  
о тщетности наших усилий и ничтожности дел. Но как  
это все не так и не то!

Это только кажется, что мощностъ времени... Не вре-  
мя, а люди развалили храмы. Они не успевали за свою  
жизнь увидеть, как расправится с храмом время — по-  
том когда-нибудь и без них,— и нетерпеливо разрушали  
сами. Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет,  
чтобы от одного времени... «Время разрушать и время  
строить». Даже в Библии «разрушать» — сначала. Вре-  
мя успевает лишь слегка скрасить дело человеческих  
рук и придать разрушениям вид смягченный и идилли-  
ческий, наводящий на размышления о времени.

И в таком виде развалины стоят уже вечно.

## **Связь времен**

Я мечтал бы жить сию секунду. В эту  
секунду, и только ею. Тогда бы я был  
жив, гармоничен и счастлив. Живу же я  
где-то между прошлым и настоящим соб-  
ственной жизни в надежде на будущее.

Я хочу ликвидировать разрыв между прошлым и настоя-  
щим, потому что разрыв этот делает мою жизнь нереаль-  
ной, да и нежизнью. Я все надеюсь с помощью чудесного  
усилия оказаться исключительно в настоящем времени  
и тогда уже не упустить его более, с тем чтобы жизнь  
моя вновь обрела непрерывность от рождения до смерти.

Даже внутри одной жизни отношения со временем  
(физическим) так сложны. А если к этому прибавить от-  
ношения с временем историческим? А если продолжить  
мысленным пунктиром отрезок личного времени в про-  
шлом и будущее, за твои временные границы? Если

взять твои отношения уже не с историческим временем, а с временем истории? И если соотнести время истории с временем вечности?

Голова, конечно, кружится. И разве бы она кружилась, если бы ничего тебя с этой бездной не связывало? Что связывает времена? И что связывает тебя с временами?

Для простоты употребления времена связывают историей...

«Да и есть ли история? Существует ли объективно? Не есть ли она наше случайное отношение к времени?» и т. д.—такие мысли однажды посетили меня...

...В воскресенье необходимо было ехать в Эчмиадзин. На воскресную службу. Мой друг со мной не поехал, препоручил брату. Правда, тому были у него свои уважительные причины, но теперь мне почему-то кажется, что его всегдашнее сопротивление перед новым посещением любимых Мекк тут не присутствовало, что ему просто неинтересно было ехать в Эчмиадзин.

Но мне-то туда обязательно надо было ехать. Будет католикос. Будет петь преемница Гоар... И вообще — посмотреть.

Толпы людей на автобусных остановках — все в Эчмиадзин, Эчмиадзин. Уже эти-то, свои люди, сколько раз все видели и слышали, а едут — это еще убеждало меня. Толпа была очень интеллигентна.

Толпа интеллигентов — не часто встречающийся вид толпы и зрелище довольно удивительное. Каждый полагает себя не подчиненным законам толпы, а все вместе все равно составляют толпу. Это самая неискренняя толпа из всех возможных. Сдавленный и стиснутый со всех сторон, интеллигент-ценитель тем не менее полагает себя продолжающим существовать в своем личном пространстве. Это очень видно на всех лицах. На лицах у них, напряженно и вытянуто, выражено, будто это не их толкают и не они сейчас остро и больно оттопыривают локоть. Подчиняясь законам толпы, интеллигент все-таки полагает себя единственным носителем истинных побуждений в бессмысленной толпе. И видеть столько масок отдельности друг от друга на лицах, отстоящих одно от другого на несколько сантиметров, по меньшей мере странно. Так и я имел отдельное от этого удивительного наблюдения лицо, пока не успокоился



лицезрением поразительно красивой девушки с таким пряменьким золотеньким крестиком на шее, полупогруженным в удивительную ложбинку. Я мог смотреть на нее сколько угодно — деться ей от меня в этой душегубке было некуда. Ей же разрешалось лишь не смотреть на меня сколько угодно.

Так выдохнуло нас наконец в светлое пространство, и мы разжались с поспешностью.

Но тут уже, на просторе, начались радостные оклики и рукопожатия. Тут был «весь Ереван», и все знали брата моего друга, а я пожимал руки в качестве друга его брата, то есть и его друга, и после рукопожатия уже был другом тому, кому только что пожал руку. Это тоже могло показаться странным, до какой степени все были незнакомы в автобусе, прижатые друг к другу, и как вдруг все стали радостно узнавать друг друга, как только обрели возможность увидеть себя в нескольких метрах от знакомого. Тут узнавали друг друга не при приближении, а при удалении — так получалось. Это подтвердилось, когда все набились в храм: имея десять знакомых на один квадратный метр, снова перестаешь быть с ними знакомым. Но тут уже можно было внутренне сослаться на сосредоточенность и благоговение.

Ну, я населил это пространство и теперь могу рассказать о том, что видел. То есть у меня несколько другая задача: рассказать, как я не видел.

Мы прошли в парк, и перед нами выросло древнее тело огромного храма. Почему-то казалось, что он построен в конце прошлого века, а не шестнадцать веков назад; может, так тщательно и давно следили за его состоянием, так все подновлялось и заменялось, что уже все и заменено, и хотя формы те же, но таким новым не может быть храм, такой новой бывает только посуда. Вдруг реально: свежая кровь на стене, кровь и должна быть свежая — понятно. «Что это?» — «Это быют голубей, головой об стенку». — «Для чего?» — «Приносят в жертву». — «Кому?» — «Богу». Тут же и мальчишки вдруг видимыми стали, хотя и до этого поблизости толклись; голуби у них живые, связками, на продажу для жертвоприношений — тоже нормальные мальчишки, своего возраста, не старше и не моложе. Дальше, кажется, мы в храм протискались... Толпа из автобуса, но — в храме; служба идет, ритуал — все чинно, красиво: что

за одежды, какие лица! Справа, чуть ли не на эстраде, певица поет, замечательно поет, голос — дивный, заслушаешься, про музыку и говорить нечего — музыка.

Так мне вдруг и бросился в глаза какой-то базар: в одном месте служат, в другом поют, в третьем молятся, в четвертом глазают. То есть совершенно непонятно, что происходит. В чем дело? Да верующих же нет! Полно, битком, дышать нечем, цыпочки и шея болят, а верующих нет. То есть направо — филармония. Налево — театр. Сзади — любопытство. И лишь впереди, на коленях, тщеславие завсегдатая. А кто протолкался вперед — уже и посмотрелся, да назад ходу нет. А служба течет своим чередом, а таинство ее никому не понятно. Рассмотрели одежды и лица, понюхали курения, но одежды и через десять минут те же, и лица, и запах — развитие не ясно. И я... Почему я так все это вижу? Чем у меня голова забита!.. Просто срам.

Тут хоть ребенок заплакал искренне — маму потерял, такое облегчение на лицах: понятное это, ребенок плачет — даже души в телах задвигались: по-понятному, сочувствие. И рад бы от стыда хоть знамением себя осенить, да тоже никак не запомнить, с какой стороны на какую и сколько перстов сложить. «Католикос! Католикос!» — наконец оживилась толпа. Вот кого выстаивали-то!

И такое передвижение началось, чтобы подвинуться поближе, водоворотики и вороночки образовались, меня к выходу вытолкнуло, а я и рад — свет, воздух! — божественное пространство. Но все, кто стремился к цели, просчитались: католикос прошел другим путем, где не ждали. Прошел между могильных плит, таких же, как он, католикосов (где-то и ему тут будет плита), — и никого там народу не было. Один я. Прошел он сквозь меня, будто меня и не было, и ветерок поднял. Окаменел я, ветерком этим обдуваемый, тут-то меня толпа и растоптала...

Очнулся я на полянке, рядом — брат друга, порадовались, познакомил он меня с певицей, пригласили нас на травку, стали потчевать так просто, так естественно — ешьте, пейте! Здесь такой народ сидел замечательный! Пока все там в храме культурно развлекались, скучая, тут ели под открытым небом жертвенных барашков: всех угости, а сам своего барана не ешь... Ешь, пей,

славь господя! На одной земле сидим, под одним небом, всем делимся, ничего друг у друга не просим! Мир на лицах, мир на миру. Опять чудесная жизнь окружает нас, люди! Вон баранчика, такого трогательного, повелл, с красной ленточкой на шее, сейчас его зарежут... А там, в каменном мраке, в пламенном и жирном аду, шашлык из него сделают и тем шашлыком тебя угостят... А там женщина куру какой-то бедной старушонке вручила, по-настоящему ей бы надо куру эту приготовить и угостить, но готовить неохота, можно и так отдать, пусть та старушка потом сама себе сготовит... Главное — отдать свое и, что отдашь, того самому не есть... Сижу это я, в одной руке вино, в другой — шашлык, в лаваш завороченный, вокруг меня чужая речь — и хорошо мне вдруг, так по-детски хорошо! Пропало на секунду время, как только, наверно, в молитве да в счастье бывает, когда господь слышит... А уж на эту поляну он непременно бросит взор — это будет для него воскресный отдых.

А нас уже и на свадьбу пригласили, и еще к одному знакомому брата друга в гости, и еще к одному знакомому знакомого, и еще к одному незнакомому. Улыбнулся господь поневоле, уголком рта...

Ну и что же? Что за водоворот времен закружил меня? Церкви тысяча шестьсот лет, но крыше ее один год, христианству две тысячи лет, а жертвоприношениям — десять тысяч; сноб вошел в храм лет десять назад, а люди следуют обычаю не первую сотню лет, газетка под пир подстелена вчерашняя, а небо над нами вечно, католикошу шестьдесят, а мне тридцать — боже! — а певице — двадцать пять, а кто-то еще и не родился, и неба еще не видал!

Из каких разных времен пришли сюда жертвоприношения и снобы, служба и филармония, постройки и пристройки, текст и пение его! Каша, водоворот, стремнина времен в секунде настоящего времени.

История в своей последовательности трещит по швам. Связывает времена лишь то, что было всегда, что не имеет времени и что есть общее для всех времен. У вечного нет истории. История есть лишь для преходящего. История есть у биологии, но ее нет у жизни. Она есть у государства, но ее нет у народа. Она есть у религии, но ее нет у бога.

Мой друг — армянин, а я русский. Нам есть о чем поговорить.

— О,— сказал друг,— если ты раз проявил любовь, тебе придется отвечать за это!

— Как это?

— Тебе придется ее проявить еще раз.

— А если я разлюбил?

— То ты предал.

— Почему же?

— А зачем же ты любил до этого?

О чем это мы говорим? А говорим мы вот о чем...

— Если я армянин,— говорит он,— то я армянин и никто другой. Есть ли у меня основание любить какую-нибудь нацию так же, как свою? Нету. Но тогда есть ли у меня право предпочитать какую-либо нацию другой? Никогда. Нельзя быть армянофилом, если ты не армянин, так же, как нельзя быть армянофобом. Вот ты стал армянофилом, а это нехорошо.

— Почему это я стал армянофилом?

— А так. Вот ты написал уже раз обо мне, как об армянине, и похвалил, написал только хорошее. Просто так написал. Потом ты напишешь еще раз, об этой поездке. Тоже, конечно, не скажешь об армянах плохо, скажешь еще раз хорошо. А потом, в третий раз, ты уже обязан будешь любить нас и стоять на этом, чтобы не быть предателем. Ты уже армянофил.

— М-да,— сказал я,— это мне не нравится.

— И мне это не нравится,— сказал друг,— именно поэтому я дал себе слово: никогда ни о какой другой нации не сказать ничего. Ни дурного, ни хорошего.

Но мне уже поздно следовать этому принципу, мне уже не отказаться от многих слов, чтобы не предать.

И мне придется сейчас признаться, как я попался, как стал армянофилом. И говорить о том, о чем я сейчас скажу, я не имею права так же, как, начав, не говорить об этом. Это мое заявление станет скоро понятным...

...Армянофилом можно стать, совершенно не заметив, когда и как это случилось. Например, открыв одну академическую книгу в любом месте и прочитав из нее любую страницу...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «Геноцид армян в Османской империи (Сборник документов и материалов)». Издательство Академии наук Армянской ССР, 1966.

«В некоторых из деревень жители перебиты, а другие — только разграблены. Также значительное число людей вместе со священниками силой обращено в магометанство; церкви превращены в мечети.

Большинство деревень Хизана разграблено и подвергнуто избиению. Изнасилованы девицы и женщины, и множество семейств обращено силой в магометанство. Церкви ограблены, святыни осквернены, настоятели монастырей Сурб-Хача и Камагиеля умерли в ужасных пытках, а монастыри ограблены.

Город Сгерд подвергся избиению; лавки и дома разграб-...»

...Это был первый день моего пребывания в Армении. Я сидел у сестры жены друга и ждал друга. Я уже трижды отведал всех яств и прислушивался: после самолета у меня все еще были заложены уши. Но глаза мои были открыты. Я вышел на балкон.

Непривычная картина, которую я тут же посчитал экзотической, открылась мне. Я видел перекресток, и по нему, изгибаясь толстой змеей, медленно продвигалась похоронная процессия. У себя дома (на родине) я давно отвык от торжественных похорон; тихо, не омрачая моего зрения, увозили от меня незнакомых мне соседей, и я не всегда даже знал, что они умерли, так же как не знал, что они — жили.

Впереди, как бы раздвигая улицу и очищая ее от суеты (и улица пустела), с невыносимой плавностью и медленностью плыл некий кадиллак, в нем стоял страстный человек с красной повязкой на рукаве и дирижировал. Далее в расчищенном уже пространстве шел грузовик: алая, кумачовая платформа, в центре — открытый гроб, а по углам, преклонив колено, — четверо черных мужчин, противоестественно выпрямившись и затвердев (кажется, с венками в руках), торжественно глядели вперед, как бы даже не моргая... И далее следовало такое количество «Волг», что я сбился со счета.

Сила впечатления была не от смерти, не от скорби, не от торжественности — оно проникало с какого-то другого, потайного хода. Это солнце, эти черные раскаленные костюмы, это необъяснимое опустение, эта тяжкая медленность — казалось, мир загустевал вокруг, а воздух и прозрачность его становились материальными и предметными. В этом стекленеющем, густеющем, раскаленном, но уже остывающем мире тяжело было само движение вереницы машин, созданных для скоро-

сти. Они шли беззвучно, пешком, вброд, увязая в воздухе, выпавшем, как снег.

Подавленный, я вернулся в свое кресло, поднял оставленную корешком вверх академическую книгу, перевернул страницу назад, чтобы понять, о чем была речь...

«IX. Битлисский вилайет. Город Битлис перебит и разграблен вместе с окрестными деревнями и уездами, которые суть: 1) Хултик, 2) Мучгони, 3) Гелнок, 4) ... 99) Уснус, 100) Харзет, 101) Агцор, 102) ...»

Что же это? Листаю вспять...

«Верховному патриарху нашему Мкртичу,  
святейшему католикосу всех армян

Ваше святейшество, блаженный Хайрик, со слезами на глазах и прискорбным сердцем...»

Кто это написал? Листаю, ищу подпись...

«... вот наша судьба и участь; просим, умоляем со слезами, сжальтесь над оставшейся в живых горстью народа, и, если возможно, то не откажите бросить горсть воды на огонь, сожигающий его.

В ар та пет Акопян».

Я бросился в конец книги и снова раскрыл в «любом месте»...

«Линия поведения, предписываемая на этот счет книгой цензуры, опубликованной в начале 1917 года отделом цензуры при службе военной прессы, была изложена в следующих словах:

«О зверствах над армянами можно сказать следующее: эти вопросы, касающиеся внутренней администрации, не только не должны ставить под угрозу наши дружественные отношения с Турцией, но и необходимо, чтобы в данный тяжелый момент мы воздержались даже от их рассмотрения. Поэтому наша обязанность хранить молчание. Позднее, если за граница прямо обвинит Германию в соучастии, придется обсуждать этот вопрос, но с величайшей осторожностью и сдержанностью, все время заявляя, что турки были опасно спровоцированы армянами. Лучше всего хранить молчание в армянском вопросе».

Откуда это? Переворачиваю страницу... «Иозеф Маркварт о плане истребления западных армян». Кто это — Маркварт?

Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие

же пышные и длинные, как первые, пересекали перекресток...

Тут мне изменяет прием, хотя именно так и было: мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу... Но сейчас я уже не верю в эту последовательность и не выдерживаю ее.

Все это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И, написав, что ее можно раскрыть в любом месте, я оставил пустую страницу. Повесть была окончена, а в начале рукописи, приблизительно вот здесь, все белела пропущенная страница: достать книгу оказалось так же трудно, как Библию.

Я пишу эти строки в Ленинградской Публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести, но если следовать хронологии написания самой повести — это безусловно последняя глава.

Так вот, я сижу в библиотеке и наконец снова держу в руках эту книгу. В ней пятьсот страниц, у меня два часа времени, и я понимаю, что выбрать из нее наиболее характерные, яркие и впечатляющие места мне не удастся. И тут же понимаю, что это было бы и неверно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посередине...

«Из 18 тысяч армян, высланных из Харберда и Себастии, до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 тысяч, высланных из Эрзрума, — всего 11 человек... Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге, рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух».

Это из путевых заметок немца, очевидца событий в Киликии.

Переворачиваю на сто страниц назад.

«Мадам Доти-Вили пишет:

«Турки сразу не убивают мужчин, и пока эти последние плавают в крови, их жены подвергаются насилию у них же на глазах»... Потому что им недостаточно убивать. Они калечат, они мучают. «Мы слышим, — пишет сестра Мария-София, — душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам»,

Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали ее; многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам.

Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски или распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает еще о другого вида поступках:

«Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака».

Пытки бывают то грубые, то искусно утонченные. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить свое удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинаят или зажимают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого.

Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребенка, которого те недавно несли на руках».

Я раскрывал эту книгу в четырех местах. И я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова, и почти озираюсь, чтобы никто не видел. Тут сидит около ста человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырех местах, как открылось. Я могу поклясться любой клятвой, что это не прием, что это действительно так. В этой книге осталось еще пятьсот страниц, мною не прочитанных.

У меня кончились черные чернила, когда я раскрыл ее в четвертый раз, и я вынужден писать красным грифелем. И тут нет ни подтасовки, ни символа — это случай, но страницы мои красны.

Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то



невозможно, — то это есть. Если мы только подумаем — то это уже есть.

Все есть в этом мире, и для всего есть место.

Все помещается.

Я больше не буду открывать эту книгу, я не стану ее читать. Мне кажется, что тогда в Армении, в мой первый день, я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое привел сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны... И они уже не казались мне экзотическими: другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней...

И теперь, постановив больше не заглядывать в эту книгу, я могу, отдыхая и понемногу успокаиваясь, перед тем как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление:

«1. Избиение армян при султанах Абдул-Гамиде (1876—1908).

2. Массовая резня армян младотурками (1909—1918)».

Вот и все оглавление. Как прекрасно прилегает 1908-й к 1909-му! Как последняя страница первого тома к первой странице второго... Двухтомник. Ранние произведения — первый том. Посмертно опубликованные — второй.

А потом и предисловие...

«Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдул-Гамиды погибло около трехсот тысяч, в период правления младотурок — полтора миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении и вообще по всей Турецкой империи проживало более трех миллионов армян, то в 1918 году — всего 200 тысяч».<sup>1</sup>

А мой друг говорит не «резня», а «рёзня». И я никак не могу отделаться от этого удара на первом слоге. Будто «резня» — это так, режут друг друга... а «рёзня» — это когда тебя режут. И вкус собственной плоти во рту...

---

<sup>1</sup> После геноцида половина армян оказалась в эмиграции. Но армяне не признают слова «эмиграция». Это слово для них оскорбительно. Одно дело, когда ты покидаешь страну из политических убеждений или в поисках лучшей жизни, а другое — когда спасаешь жену и детей от насилия и кривого ножа.

**Голос крови**      Не оттого ли так силен голос крови?  
Не та ли, пролитая, откликается?..

Едут старые и малые, миллионеры и по грошу накопившие на путешествие, знаменитые и совершенно безвестные армяне-американцы, армяне-французы, армяне-австралийцы... Звезды «Метрополитен-опера» и Азнавур, Вильям Сароян и знаменитый польский кинорежиссер, в жилах которого, оказывается, течет половина армянской крови... Их маршрут Ереван — Москва, а не Москва — Ереван. «В Ереване случаются концерты, которым позавидует Москва!» — трогательное тщеславие ереванцев...

Толпы армян-туристов, зачастую ни разу не видевших родину или видевших в далеком и страшном (геноцид!) детстве, забывших или вовсе никогда не знавших родной язык (даже родившиеся за границей от эмигрантов-родителей могут быть уже очень немолодые люди!..), — все они едут в Советскую Армению приобщиться к духовным истокам нации, посмотреть, как живет их родина ныне.

Теперь у них есть эта возможность.

Едут и старики, бежавшие в свое время от геноцида, взглянуть еще хоть раз — можно и помирать.

А то и возвращаются навсегда, целыми семьями — из Сирии, из Ливана... Их быстро научаешься отличать в уличной толпе: они темней, южней, почему-то толще, идут, словно дорогу вспоминают...

...Многое может забыть человек, но никогда, оставаясь человеком, не забудет он себя вплоть до родины. И в этом — залог.

В этом же и та последняя помощь полузабытой родины: ты еще сам не забыт, раз меня помнишь... Ты еще мой сын. Мать не отступается и от блудного сына, тем более — от изгнанника.

Отношения с родиной такие же, как с мамой: быть может, и слабеет связь с тех пор, как она уже не кормит тебя... но — до последнего часа! Тут она придет закрыть тебе глаза. И это уже совсем невозможно вынести, что не придет.

Смысл того, что родина — мать, в том и заключается, что родина в конечном счете, в счете конца, любит своих сыновей сильнее, как и всякая мама.

Мы можем и не подозревать в себе этой любви... Во всяком случае, ее не следует выкликать и насильственно вызывать ее образ — она никуда не денется, и ты никуда не денешься: как помнишь ты имя матери, и в этом лишь один смысл, что только одна женщина могла родить тебя, так и у земли, где ты родился, где родились твои предки, лишь одно имя, и это не в том смысле, что земля твоя лучше всех, а в том, что такая точка могла быть только одна, обыкновенная, ничем не примечательная точка, как и мать твоя — обыкновенная женщина, одна из тысяч, но одна, но именно эта. И от них произошел ты, и только так возможно осмыслить свою единственность на земле...

...И стоит посреди ереванской улицы толстый и старый армянин-сириец, растерянный и оглушенный, шурится на родное солнце и все узнает, узнает... и словно узнать не может.

### **История с географией**

А это ты уже, конечно, видел, — сказала учительница истории (сестра жены друга), беря с полки плоскую-плоскую, как лаваш, книгу. — Как не видел?!

Мы садимся на диван, разламываем атлас пополам: одна половина закрывает ее колени, а другая — мои. Я не видал таких атласов с тех славных пор, когда, склонив голову набок и высунув язык, раскрашивал красным цветом Киевскую Русь.

Я смотрел на крашенные карты, и на меня повеяло тоской домашних заданий.

Карта — немая для меня, армянские имена на армянском языке. Синее — это море. А Армения — то желтая, то зеленая, в зависимости от эпохи. Имена армян-завоевателей и завоевателей Армении обрушиваются на меня — лес веков и имен. И моя собственная история кажется мне редколесьем, потому что там, где у нас древность — XVII век, у них — VII, а где у нас — VII, у них — III до н. э. А III у нас уже нет.

Вот она — зеленая, круглая — простирается на три моря. Вот на два. Вот на одно. А вот — ни одного. И так стремительно уменьшается Армения от первой карты к последней, все время оставаясь в общем круглым государством, что, если пролистнуть быстро атлас, это будет уже кинолента, на ней будет заснято падение

огромного круглого камня с высоты тысячелетий, и он скрывается в этой глубине, уменьшаясь до точки. А если так же пролистнуть с конца до начала, то будто маленький камешек упал в воду, а по воде все шире, шире исторические круги.

Вошел мой друг, увидел.

— А, — сказал он, — атлас...

Сел на диван, положил на колени, раскрыл... И пропал. Буквально — углубился. Он уходил в свою историю по колени, по пояс, по грудь с каждым поворотом — ударом страницы. Он скрылся с головой. И вдруг вынырнул, поднял на меня далекие свои, из глубины, глаза, словно голову высоко вверх задрал, и крикнул, а голос уже еле дошел до меня:

— Что мне не нравится иногда в армянах, так это их воинственность.

— Что, что? — крикнул я в глубину его колодца, голос мой падал, падал вниз, но, кажется, так и не достиг дна.

Мой друг снова склонился и что-то искал на дне. Видно, колечко обронил...

Наконец он вылез на поверхность современности, перед ним была последняя карта сегодняшней Армении.

— Вот так хорошо. Такая круглая-круглая республика...

Я не знал уже, кричать ли мне ему глубоко вниз или высоко вверх, и глупо улыбнулся.

Армяне — воинственный народ. Несколько тысяч лет они завоевывали, и несколько тысяч лет — их завоевывали. Война за собственную историю — их последняя война. И об этом атласе, и тем более о сборнике материалов о геноциде, и о поражении Климова они говорят с гордостью и болью, как о победе.

...Вошел брат друга. Его молчаливый младший брат. Мы его ждали с новостями: он отвозил жену в роддом. Молча прошел он к дивану, поднял атлас, как тяжесть, и молча утонул в нем.

Он смотрел в трубу своей истории. Он наводил на свою страну опрокинутый бинокль, и там, в невероятной глубине, на дне, светилось колечко Севана, а может, его будущий сын.

## УРОК ГЕОГРАФИИ

### Макет

И я следую образу, как методу. Невооруженным глазом я ничего не вижу — надо тут родиться и жить, чтобы видеть. В бинокль я вижу большие вещи, например арбуз — и ничего, кроме арбуза. Арбуз заслоняет мир. Или вижу друга — и ничего, кроме друга. Или... «Армянский ишак, армянский очень толстый женщина и обыкновенный армянский милиционер...» Каждый раз что-то заслоняет мир. Я переворачиваю бинокль — от меня улетает арбуз, как ядро, и исчезает за горизонтом. И вижу я в невообразимой глубине и дымке маленькую круглую страну с одним круглым городом, с одним круглым озером и одной круглой горой, страну, которую населяет один мой друг.<sup>1</sup>

### Город

С него началась для меня Армения. В былые времена это было, по-видимому, невозможно. Раньше в незнакомую страну въезжали, теперь влетают. Я летел, подо мной была подстелена вата, я ничего не видел внизу, и то, что я прилетел-таки куда надо, можно объяснить разве что моей доверчивостью, и, если бы у Аэрофлота вдруг объявились бы дурные намерения, я мог бы очутиться где угодно... Какого-либо количества дорожных впечатлений, кроме стюардессы, на этот раз даже некрасивой, я не имел. Страна для меня по произволу Аэрофлота началась не с границы, а с середины.

Это очень существенно, думаю я, пересекать границу и ощутить перемену качества, хотя бы и тобой принесенную. Надо было ехать поездом. Очень суще-

---

<sup>1</sup> Этот макет справедлив еще и потому, что соответствует наиболее расхожим представлениям о стране. Город? Ереван. Озеро? Севан. Гора? Арарат. Это мы знаем назубок, остальное, выражаясь языком школы, знаем «нетвердо». Меня, например, поразили следующие «географические открытия»:

- а) Армения граничит с Грузией и Турцией;
- б) более 90 процентов населения республики — армяне. Это самая «национальная» из республик;
- в) на территории республики живет менее половины всех армян: почти две трети раскиданы по всем странам мира;
- г) Арарат, изображенный в гербе республики, находится в Турции

ственно, думаю я, всегда и во всем иметь начало и тогда уже идти до конца. Книги надо читать с первой страницы или вообще не читать... Где-то в разболтанной моей крови до сих пор откликается педантичность двух немецких бабушек. Во всяком случае, ни одной книжки, которую нельзя было бы читать с самого начала, я не прочел.

Эту книгу мне раскрыли посредине, и я ничего не понимал.

И как книга, о которой уже слишком много и давно все говорят, а ты еще ее не читал, постепенно вызывает в тебе глухое сомнение,—уж больно все и уж больно много о ней говорят!—а потом и возмущение: говорят и говорят, а ты так и не прочел,—так и город этот... «Да не хочу я ее читать!»—восклищаешь ты в конце концов. Не хочу я в Париж, не очень-то и хотелось.

Отняли от меня и книгу и Париж. Отняли от меня время их открытия. Я еще, быть может, любви не знаю, а мне говорят: люби! Не хочу! Хочу еще раз собрать подъемный кран из детского «Конструктора». Это я знаю, понимаю и умею.

Можно это объяснять и так, что человеку хочется быть самому и вовсе не хочется подчиняться большинству. Мол, такова природа протеста. Не хочу я читать эту замусоленную книгу, восхищаться этой выпотрошенной красотой и любить общую красавицу. Для меня, мол, это все общепитовские холодные макароны. Но я не хочу объяснять это так.

Слишком много во мне было заготовлено предварительного восторга, чтобы город так вдруг мог мне понравиться. Мой восторг не имел адреса и был неточен. Я не забрел в этот город по пустым дорогам, запыленный и осунувшийся, а влетел в него, гладкий и сытый, из Москвы.

Я въезжал в город по проспекту Ленина... Вот, слева, видите? Это трест «Арагат» — армянский коньяк, знаете? А впереди тумба, видите? Постамент, то есть бывший постамент, то есть...

Ну, как тут что увидишь?

Ну, розовый Ереван, розовый. Из туфа. Да, красивее строят, искуснее. Но почему это именно Армения, я еще не понимал.

Ну, о том, что Ереван мой букварь, я уже говорил. Язык — тут уже ничего не скажешь, — другой здесь язык, армянский... А что букварь, так это только сказано красиво.

Этого города я не чувствую, в этом городе я не властен, меня все время ведут куда-то бесчувственного.

— Ну что, пойдем? — говорит друг.

— А куда?

— Пойдем, увидишь.

Мы идем, и я не вижу.

— Сюда зайдем, — говорит друг.

Заходим в учреждение. Мой друг отлучается навсегда. Запоминаю несколько ереванских стенных газет. Возвращается наконец, не один. Знакомит. Выходим втроем.

— Сейчас мы зайдем еще в одно место... — И не то это просьба, не то приказ.

Очень занятые мы люди, очень деловые. Нам все время надо идти куда-то, зачем-то, зачем — не знаю, но верю другу: надо.

Так нас становится — четыре, пять, шесть...

— Ну, — сказал друг, — мальчики в сборе... Пошли.

И очень деловито мы пошли, шестеро мужиков.

Еще одно учреждение. Почти такое же, как предыдущее. На юге они всегда кажутся такими случайными и пустыми! Коридор, потом еще коридор, внезапные три ступеньки вниз, занавесочка, ее мы отдергиваем...

И вдруг мы в пивном зале.

— Так мы и знали, что ты тут сидишь! — восклицают мои друзья, и нас становится семеро.

Так вот чем мы были так заняты! В мужском обществе проводим день. Разговор потихоньку тянется, застревающая, — пива много.

Я никак не могу поверить, что ничего не вижу, мне стыдно в этом признаться. Восприятие мое натужно, я во всем хочу увидеть Армению — и не вижу.

— Ну, как тебе нравится в Армении? — и на меня смотрят мягко и требовательно.

— Очень нравится, — конечно, говорю я. И на меня смотрят, как на конченного человека.

Я наливаю тогда пива, а когда ставлю бутылку на стол, в ней лопаются необыкновенное количество чуть выпуклых плоскостей, неявных, кругловатых многогран-

ников, и это красиво за зеленым стеклом. Мне там вдруг померещилась армянская церковь, и меня озарило.

— Смотрите, — сказал я, — видите! Вот так же удивительны все плоскости в Армении. Словно бы выпуклые... Круглые многогранники... — Точность моего наблюдения должна была бы снять всякие сомнения в искренности моего восхищения.

На меня посмотрели, не понимая. Взглянули на моего друга, как на переводчика. Он заговорил по-армянски, поначалу словно объясняя сложность моего образа, но потом мне показалось, что он просто объясняет своим друзьям, что я хороший все-таки парень и не надо обращать на меня внимания. Но потом вдруг я догадываюсь, что нельзя так долго говорить обо мне — не о чем. И тогда я наконец понимаю, что они уже давно говорят о своем и это не имеет ко мне никакого отношения.

Я оказался в одиночке, как в бутылке. Стенки у нее были прозрачные, зеленоватые. Такие странные стенки, немного выпуклые, немного угловатые, немного круглые.

Они ломаются, сливаясь. Граненые пузыри...

Друзья спохватываются.

— Ну, как вам нравится?.. — спрашивают ласково.

— Очень нравится...

Что я могу еще сказать?

— Неплохой денек, а? — сказал друг, обошедшийся сегодня без поездки на Севан и явно этим довольный.

— Зам-мечательный...

А что я могу еще сказать?

По обстоятельствам чисто внутренним я чувствовал себя запертым в родном городе и удрал из него... Удрав же, опять оказался в клетке, причем чужой. И своя была все-таки лучше.

Мне следовало обрести простор, чтобы ощутить логику построения дома в этом просторе.

Я обрел простор, вырвавшись из города. Я захлопнул книгу, раскрытую не на той странице, и открыл ее на первой.

Оставалась надежда, что если книга действительно прекрасна, то она сломит мое предубеждение и сама заставит любить себя. Насильно мил не будешь, но



насиленно ничто и не станет милым. Я никогда не смогу заставить себя любить что-либо. Это мне неподвластно. Я не свят. Но если вдруг: «Боже! — восклицаешь ты. — Так все понятно. Вот, оказывается, почему я не доверял тебе. Это я не тебе не доверял, а тем, кто рассказывал мне о своей любви к тебе, я не доверял. Да не так, не так тебя любили, как следовало любить! Вот в чем дело, — осеняет тебя, и ты меняешь адрес возмущения. — Вот как надо все это любить!» Так надеялся я вернуться в этот город, покидая его.

Нам неважно прошлое любимой, если мы действительно любим (именно потому, что все прошлые любили не так — и их любили не так? — их и не существует для тебя). Может, потом, когда любовь начнет уходить из тебя — земля из-под ног, как неверная точка опоры, и понадобится тебе знание прошлого и ревность к нему. А если это тебе неважно, ты любишь.

Так хотелось бы.

Любовь к городу могла возникнуть лишь после любви к простору, в котором он заключен. Поэтому о городе потом, благо у меня будет к тому повод. Сначала о просторе.

**Простор** Простор — категория национальная. Необходимое условие осуществления нации. Когда я смотрю на карту, на нашу алу ю простыню, я ощущаю пространство, огромное, но еще не ощущаю простора. И если где-то в углу зажато пятнышко: болотцем — Эстония, корытцем — Армения, то какой же можно заподозрить там простор? Кажется, встань в центр, крутанись на пятке и очертишь взором все пределы. Да и как жить на подобном пятачке? Пожмешь плечами, имея столь немыслимые заплечные пространства.

И какое же удивление овладевает тобой, когда едешь по крошечной, с нашей точки зрения, стране и час и другой, а ей все конца и краю нет.

Оказывается, есть горизонт, кругозор, и он ставит всему предел. Он и есть мир бесконечный. Есть то, что человек может охватить одним взглядом и вздохнуть глубоко, — это простор и родина. А то, что за его пределами, — не очень-то и существует.

Два полярных впечатления владеют мной.

В России что-нибудь да заслонит взор. Елка, забор, столб — во что-нибудь да упрется взгляд. Даже в какой-то мере справедливым или защитным кажется: тяжело сознавать такое немыслимое пространство, если иметь к тому же бескрайние просторы.

Я ехал однажды по Западно-Сибирской низменности. Проснулся, взглянул в окно — редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колено в болоте и жует, плоско двигая челюстью. Заснул, проснулся — редколесье, болото, корова жует по колено. Проснулся на вторые сутки — болото, корова. И это был уже не простор — кошмар.

И другое — арка Чаренца в Армении.

Отрог подступил к дороге, подвинул ее плечом вправо, дорога подалась в сторону, легко уступая, но тут и справа появилось кряжистое плечо и подтолкнуло дорогу влево, дорога стиснулась, сжалась, застряла, увязла в отрогах — горизонт исчез. И вдруг вырвалась, вздохнула — справа раздался внезапный свет, будто провалилась гора, на миг что-то проголубело, просквозило вдаль, и маленькая горка досадно снова все заслонила. Впрочем, она бы еще не все заслонила, что-то еще могло синеть за ней краешком, если бы не странное сооружение на вершине, скрывшее остаток вида. Оно выглядело довольно неуклюже и неуместно. «Сейчас мы это проскочим», — успел подумать я, почему-то рассердившись на это препятствие взгляду. Но мы круто свернули с шоссе и со скрежетом въехали на горку. Арка на вершине приближалась и наконец заслонила собой все. Мы вышли.

Я недоуменно взглянул на друзей: зачем стали? Чем замечательно это слоноватое строение?

— Арка Чаренца, — сказали мне и молча пропустили вперед.

Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ждали, какого-то проявления. Ровным счетом ничего замечательного при всем желании не обидеть друзей я в этой арке не обнаружил. Меня подтолкнули в спину, даже как-то жестко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошел под арку и охнул.

Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то поднялось во мне и не опустилось. Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось.

Это был первый чертеж творения. Линий было не много — линия, линия, еще линия. Штрихов уже не было. Линия проводилась уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена. Все остальное, кажется мне, бог творил то ли усталой, то ли изощренной, то ли пресыщенной рукой. Кудрявая природа России — господне барокко.

«Это — мир», — мог бы сказать я, если бы мог.

Пыльно-зеленые волны тверди уходили вниз из-под ног моих и вызывали головокружение. Это не было головокружение страха, боязни высоты, это было головокружение полета. В этих спадающих валах была поступь великая и величественная. Они спадали и голубели вдаль, таяли в дымке простора, и там, далеко, уже синие, так же совершенно восходили, обозначая край земли и начало неба. Какое-то темное поднятие было справа, какое-то сизое пропадание слева, и я вдруг почувствовал, что стою с приподнятым правым плечом, как бы повторяя наклон плеча невидимых весов, одна чаша которых была подо мною. «Это музыка сфер», — мог бы вспомнить я, если бы мог. Передо мной был неведомый эффект пространства, полной потери масштаба, непонятной близости и малости — и бесконечности. И моего собственного размера не существовало. Я мог, казалось, трогать рукой и гладить эти близкие маленькие холмы и мог стоять и поворачивать эту чашу в своих руках и чувствовать, как естественно и возможно вылепить этот мир в один день на гончарном круге. («Что такое мастер? — сказал мне однажды друг. — Творение должно быть выше его рук. Он возьмет в руки глину — и она выпорхнет из рук его...»)

...И вдруг эта близость пропадала и мир подо мной становился столь бесконечен, глубок и необъятен, что я исчезал над ним и во мне рождалось ощущение полета, парения над его бескрайними просторами. «Горный ангелов полет...»

— Видишь Масис! Масис видишь? — Я вздрогнул. Что тут можно было увидеть еще? Друг протягивал руку к краю земли. — Вон, видишь? Чуть темнеет? Вот слева маленькая вершинка, она лучше видна... А справа уже большая. — Друзья наперебой чертили

в воздухе контур. — Видишь? Он то пропадает, то опять виден.

Я напрягался и то ли видел, то ли не видел. Я ведь не знал, что именно мне надо увидеть.

— Вижу, вижу! — восторженно подтверждал я, тоже обводя рукой нечто невидимое. (Достаточно ли восторга на моем скифском лице?) И действительно, вдруг показалось, что некая линия в голубом небе чуть потемнела, обозначилась, поднимаясь вверх. — Большую вижу! (Или от напряжения потемнело в глазах?)

— Правда, видишь?

Я все еще не видел Арарата.

— Ну, пора, — сказали мне.

Смущаясь, прошел я назад под арку. Мои друзья шли легко.

— Ах, если бы мы захватили с собой вино!

— То что же?

— То мы бы выпили тут, господи!

Я оглянулся в последний раз: «Вот тот мир, где жили мы с тобою...»

Как естественно, что Ной приплыл именно сюда! Нет, он не сел на скалу Арарата, он причалил. Он не знал другой земли и приплыл на ту же землю. Другие пейзажи просто исчезали за кормой, он не видел их, они не отражались на его сетчатке. Переселенец ставит новый сруб в том месте, в котором способен узнать родину.

Страна не мала для человека, если он хоть раз почувствует ее простор. «Здесь я увидел мир», — говорят о родине.

## Озеро

Из центра Еревана, где все строения, кажется, поставлены уже навсегда, все притерто и прижито, ладно, прочно и окончательно, мы попадаем в розовое одинаковое младенчество новых районов, оттуда в пропыленный индустриальный пригород, а дальше у дороги вырастают крылья. Слева от дороги — левое крыло, справа — правое. В пейзаже Армении царствует линия, горизонт ее крылат. Приподымется левое крыло — опустится правое. Левое золотится на солнце, правое синее в тени. Цвет меняется сразу, часто и бесконечен в оттенках, но пестроты никакой нет — в каждом своем существовании он целен, всеобщ.

Исчезнут последние строения, появятся виноградники, прикованные к бетонным столбам (до чего же мало дерева в Армении!), а потом и виноградники вдруг пропадут. Только крылья дороги, только линия и цвет, только всплывают черные лужицы жары на взгорбах дороги. И такая подлинность и единственность этой страны снова и снова является тебе, что подлинность эта кажется уже чрезмерной. А когда чувство рождается в человеке, то оно рождается одинаково и в другом, как рождалось всегда. То же чувствует шофер, что чувствую я и что чувствует мой друг. И так же выразить это нечем. И поскольку выразить нечем, чувство прибегает к цитированию.

— Все-таки как это хорошо почувствовал Сарьян... — говорит мой друг. — Никто по-новому не может. Все — как он.

И я думаю вдруг, что никакой трансформации художнического видения не потерпит эта натура — так она точна. Быть в плену у этой абсолютной точности линий и цвета, должно быть, не под силу художнику, а копия — невозможна. Что ж, земля эта была уже создана один раз, и второго творца быть не может.

Мы поднимаемся в горы, они вырастают на горизонте, невысокие и плавные; эти женственные линии сводят с ума. Никогда бы не подумал, горожанин, что влечение к земле так похоже на желание. Без преувеличения, я страстно хочу слиться с нею, даже взять ее силой. Захватчик дремуч, неосознан, но зерно его здесь. И если во мне живет захватчик, то вот он...

Напряжение горной дороги вдруг ослабло, теснота распалась, горы отступили, мы въехали в долину, и на горизонте впервые обозначилась прямая линия.

Такая дорога могла привести меня в Апаран, Бюракан, Гехард. Такое чувство могло привести меня только на Севан.

О эти знаменитые места! Я их опасуюсь. Как бы скептически ни настраивал я себя, в дороге непременно нарастет ожидание некоего восторга, откровения и счастья, потом все не совпадет, разочарует и распадется. Разве в воспоминаниях снова оживет и раскрасится... Сколько видел я разных маленьких Мекк, пустых, выпотрошенных, рассмотренных, как расстрелянных! Слава убийственна не только для людей.

Севан приблизился ко мне, и я не испытывал ни потрясения, ни восторга. Озеро. Красивое озеро. Даже очень красивое. Но я больше слушал какую-то тоску и тревогу — невнятная и опасная возня поднималась во мне.

Свет... Слишком много света.

Сейчас я ловлю себя на том, что, когда говорил «линия и цвет», я не был точен. Я скорее следовал традиции, нежели собственному ощущению. Я скорее отдавал дань Сарьяну, чем природе. Может быть, моя привычка и склонность к северным гаммам не давала мне возможности оценить резкую подлинность красок юга. Во всяком случае, ничего своего в ощущении цвета в Армении у меня не было. Хотя, конечно, я легко отдаю должное их подлинности по сравнению, например, с красками наших поддельных черноморских субтропиков...

Должен же я был сказать: линия и свет.

Свет в Армении, быть может, основное мое зрительное впечатление, главное физическое переживание. Сказать, что он слишком яркий и его слишком много, — ничего не сказать. Это свет особого качества, которого я нигде ранее не встречал. Я вспоминал свет в Крыму, Средней Азии, снежных горах — вот там было много света, яркий свет, ослепительный, даже громкий свет, — но никогда я его не переживал так, как в Армении. Впервые он был для меня чем-то таким же осязаемым, что ли, как вода, ветер и трава. От него было не спастись, не деться, не укрыться. Более того, я словно и не хотел прятаться от него, хотя он доставлял мне истинные мучения: уже через два часа после сна глаза болели, слипались и слепли и какая-то особая усталость передавалась именно через глаза всему телу. Даже темные очки я спрятал в первый же день на дно чемодана, и не только потому, что не хотел выделяться среди моих друзей, которые их не носили: мне хотелось испытывать эту непонятно сладкую муку, хотелось, чтобы весь свет, до единого луча, прошел сквозь меня за эти две недели, до последнего дня и часа.

И если Армения — самое светлое место в моей жизни, то Севан — самое светлое в Армении.

Что-то противоестественное было в том, что я стоял

на берегу Севана.<sup>1</sup> Что-то опасное было в самом Севане, его воде, воздухе и свете. Опасное именно для меня. Я это сразу почувствовал, хотя и не сразу осознал словами.

Ничего очевидно грозного в нем не было. Была прекрасная погода. Солнце и синь небес. Волна — небольшая, вполне уютная. Кругом расположились топчаны, грибы, кабинки, тенты — пляжная цивилизация. У пирса стояли белоснежные катера-такси. Рядом был ресторан с открытой террасой и немногими словно для создания настроения посаженными туда людьми. На грифельной метеодоске было написано: «Температура воздуха 19, температура воды 17».

И все-таки не надо мне было лезть в эту теплую воду. Именно неосознанное чувство опасности, моей тут ненужности и напрасности толкало меня в воду. А что же? Для чего же здесь тенты и топчаны? Вон и люди купаются. Такие же пляжные, как всюду. В том-то и дело, что тенты и топчаны — ни к чему.

Вода обожгла по каким-то своим свойствам, не зависящим от температуры. Но ощущение было таким же болезненно-приятным, как и мучение светом. Очень похожи были эти два ощущения. Это была уже не вода, а некое второе состояние неба.

Вылезал же я из воды человеком новым. Не обновившимся, не освежившимся — новым, другим. То ли одно дело смотреть с берега на воду, а другое — из воды на берег... Озноб усилился (тут я понял, что он был и сначала). Мой друг смотрел на меня мягко-посторонним взглядом некупавшегося человека. Круто вверх уходил склон, венчался монастырем, и синее небо как раз там начинало свой купол, опрокинутый над Севаном. А то чувство, что так неопределенно мелькало во

---

<sup>1</sup> Противостоит естественно хотя бы это выражение «стоял на берегу». Не на берегу, а на дне Севана я стоял! О катастрофическом падении уровня воды в Севане писалось много. Бескорыстие многочисленных энтузиастов, создающих проекты спасения и восстановления Севана, достойно восхищения. Но проблема эта пока далека от разрешения. Об этом нельзя писать вскользь. Но тогда мне пришлось бы писать только об этом... Вся та суша, по которой я гулял, на которой проложены дороги и построены санатории, которая уже производит впечатление, что она была всегда, вся эта суша — дно Севана. И полуостров, на котором мы находились, на самом деле был островом. Еще недавно.

мне — неуютство, ненужность, опасность, — оказалось стыдом.

Я не совершил ничего святотатственного. Мой друг завидовал мне, что я искупался, а он нет: не знаю уж, что ему помешало... Я же одевался как-то смущенно и поспешно, неловко прыгал, путаясь в брюках и теряя равновесие.

Анализу это не поддавалось, стыдно было не перед кем и не за что, но стыд был стыдом.

Уже защитно-равнодушный, стоял я несколько в стороне, пока вся компания оживленно спорила, выбирая катер; тут был тот же счастливо-базарный ритуал, который много раз на моих глазах предшествовал любому, даже самому простому, мероприятию: ехать на такси или в автобусе, идти в ресторан или домой, купить слив или арбуз и т. д. Мы садились в один катер, потом вылезали и снова спорили. Жар и холод непонятно соединялись в севанском воздухе, и эта чересполосица озноба была как прикосновение любимых рук — я стоял, отдаваясь этой опасной ласке, и уже как-то издалека доносился до меня спор, как потрескивание огня в печи, и люди, рядом стоящие, вдруг словно уносились в далекую перспективу.

И вот я трогаю своей посторонней пяткой постороннее нетвердое тело катера, и то небольшое смущенное презрение к нему, которое я испытываю и показываю, по-видимому, должно означать мою непричастность к его искусственности, к тарахтению мотора и радужным нефтяным пятнам на воде. Мы одинаково чужие этому свету, воздуху и воде, и вот эту-то одинаковость мне и не хочется признавать.

Великолепный водитель? шофер? капитан? лениво и чересчур пластично поднимается с нагретых досок, натягивает тугой свитер на свои бронзовые чудеса и, как бы не глядя на дам, проходит сквозь нас и занимает свое место у руля? штурвала? баранки? Он становится своими скульптурными босыми ступнями на специальную подушечку и, нажав какую-то слишком простую кнопочку, которая разрушила бы представление о сложности его дела, если бы он не был так величествен, выстреливает всеми нами в легкомысленной капсуле катера на середину озера.

Тут мы как бы останавливаемся и как бы не сами



несемся, а озеро начинает стремительно поворачиваться вокруг нас.

Отлетает за спину пляж с его маленьким фанерным торжеством, мы стираем его с лица, как осеннюю паутину, и, когда отнимаем руки...

Ветер с брызгами ударил нам в лицо, сапфировые непрозрачные волны трепали наше беленькое легкомыслие, как гусиное перо, а стая улетела... Улетела она за те зеленые, желтые горы, что дугой поворачивались вокруг нас. Мы обогнули мыс, и он, совпав с линией берега, замкнул залив в кольцо. Мы очутились в синей тарелке с белым, как выжженная кость, ободком — границей воды и суши. Невысокие толстые горы на солнце выглядели уютно и надежно, а в тени противоположного берега супились и морщились.

Человека тут уже быть не могло и не было. Любоваться Севаном невозможно. Можно только подглядеть. И восторг был сродни резкому колющему холоду брызг. Вода выталкивала нас, как мусор.

Я оглянулся на спутников — и понял, что у меня такое же лицо. В эти лица, расстегнутые и зеленые от счастья, голые, как граница между загорелой и никогда не загоравшей кожей, смотреть было тоже нельзя — и вообще пора было поворачивать назад. Подглядели, и хватит.

И когда я ступил на твердую землю, ощущение чужестранца, пришельца, незваного гостя, позорной праздности уже вполне сформулировалось во мне.

Опустевший пляж, всегда-то смотрящийся достаточно странно, в окружении выжженной травы, синей воды и неба, безлюдья и такого молчащего монастыря над ним смотрелся неправдоподобно и страшно, как на сюрреалистической картине.

И этот немыслимый свет, вспыхнувший на белой прибрежной полосе!.. И как же я понял того абстрактного русского мужика, заброшенного сюда роковой рукой профсоюза (где-то поблизости, немыслимый, такой же сюрреалистический, исторгнутый всей природой, находился дом отдыха), — мужик отделился в этот момент от столика, черный, как муха, до боли родной, и, шатаясь по этой костяной полосе, на этом светлом, светлом, светлом свете, запел настойчиво и истошно, стараясь перекричать этот свет: «А но-о-о-о-о-о-очка темная была!..»

И пока мы закусывали, почему-то хотелось отвернуться от Севана и успокоить свой взор на таком понятном ларьке...

Ничего, ничего не хотелось больше видеть! Высокий звон натягивался и рвался в ушах, горячий холод гулял по спине, и в носу стрекотал кузнечик. И где-то во лбу тикало. И, уже направляясь к машине, стараясь не оглянуться на Севан, мы вдруг с тоскою и обреченностью свернули вправо и полезли вверх, к самому высокому и непосильному мгновению.

И там, наверху, все исчезло. Провалилось время. Скрылся перешеек — и полуостров стал островом. Ларьки и тенты сверху были, как тот же мусор, выкинутый на берег, — работа моря. Монастырь стоял уже вторую тысячу лет, как стоял он тут всегда. Желтая, довольно высокая трава навсегда обозначила ветер, который дул тут вторую тысячу лет, который дул тут всегда.

Побледневшее и будто опустевшее к вечеру небо легко помещало в себе и ветер, и остров, и Севан под собою. Севан же темнел, пока светлело небо, и был там внизу, как натянутая для просушки шкура, а белые лепестки высохшей кожи выворачивались трубочкой по краям.

Это было такое дикое, опасное, напряженное, натянутое как струна, звенящее место на земле, подставленное свету, как ветру, и ветру, как свету, место, которое могло бы еще принять паломника, чтобы обдуть с него пыль дорог, но праздного пришельца сдувало с него, как пыль, и оставалось таким же невиданным, таким же непосещенным, как тысячу лет назад, как всегда. Ослепительное, как зубная боль. Место для родины... Ни для чего больше оно не подходило. Закладывает уши, слезятся глаза.

«Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре», так же было холодно и сине, так же полегла желтая трава и в ту ночь, когда трижды отрекся Петр, прежде чем пропел петух, и когда чеховский студент подошел к тому костру на огороде...

Но никогда не висел амбарный замок на дверях монастыря; не был похоронен под обелиском со звездочкой меж двух старинных могил с кудрявыми крестами капитан Севанского пароходства; не становился монастырский остров полуостровом; не пролегал по пере-

шейку шоссе до самого берега этого острова (теперь — до подножия горы, где дом отдыха); не стояла голубая комсомолка с веслом; не утекал Севан, как песок в песочных часах, обозначая узкое, как шейка тех же часов, наше время, оставляя мертвую костяную полосу между собой и горами...

Так светло бывает только при зубной боли.

Закладывает уши, слезятся глаза.

«Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...»

Великая поэзия всегда конкретна. А образов никаких нет.

**Гора** Я должен был, как мне объяснили в Москве бывалые люди, увидеть Арарат прямо на аэродроме. Просто первое, что я должен был увидеть.

Но его там не было.

И в Ереване я тоже должен был видеть его, но не видел.

Дымка закрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубела и сгущалась до мутноватой синевы, и казалось, что там, за городом, — море.

Мне полагалось видеть его из окна своего пристанища в ереванских Черемушках — дом стоял над городом, и ничто не заслоняло взор. Из окна должен был быть отличный вид на Арарат, но его не было.

Мне полагалось видеть его с кругозора арки Чаренца, и я то ли видел, то ли так и не видел его.

И так до последнего дня.

Я улетаю первым рейсом и поднялся с рассветом.

И тогда я увидел его.

И большую вершину, и маленькую.

Это оказалось очень неожиданно. Он не был так уж органичен для того места, где так внезапно вырос на прощание. Он казался пришельцем.

Он оказался не таким лучезарным, как на этикетках или фресках московского ресторана «Арарат».

...Довольно мрачная, насупленная гора, словно недовольная открывшимся ей видом. Молчаливая гора — именно такое впечатление обета молчания она на меня произвела. Может, это естественно для потухшего вулкана.

И потом — гора смотрела. Я на нее, она на меня. И я чувствовал себя неловко.

Это, наверно, случайное, однократное мое впечатление, но мне было непонятно, как она сюда попала.

Словно горе этой пришлось возникнуть и вырасти поневоле, чтобы подставить плечо ковчегу.<sup>1</sup>

## КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Я задаю себе вопрос: откуда берутся  
Тезис идеалы?

Воспитание? Среда? Семья, школа, коллектив, общество? Безусловно — но тут-то и обнаруживается, что это не все. Не все объясняет. Кое-что остается неясным. Но как саднит, как болит, как терзает это кое-что!

Страсть. Ревность. Любовь. Вот уж когда мы не принимаем жизнь такой, как она есть; вот уж когда у нас неостанет ума примерить трезвый опыт; вот когда страдание возникнет ниоткуда, нипочему, а объективность его будет столь очевидна, как принадлежность нам нашего тела... Где же мы видели эту идеальную любовь? Когда узнали?..

Искусство? Книги? Да, конечно, оттуда к нам подвигается идеал, который мы ищем потом в своей жизни и не находим. Тут, мысленно, начинаю я перелистывать книги юности и вдруг, нынешним-то, протрезвевшим и охладевшим, взором обнаруживаю, что в книгах тех ничего-то как раз о том и не писалось, что я в них когда-то вычитывал, как мечту. Эти книги были написаны такими же протрезвевшими в свое время людьми, как я — в свое. Это юность моя читала в них то, что хотела, что было записано в ней самой...

Можно расти сиротой, семья, среда могут оказаться трагически не подходящими идеальному развитию детства и юности, и однако именно в этом случае вполне возможно зарождение мечты о счастье и идеалов прек-

---

<sup>1</sup> Такое же чувство неожиданности вызывает, как правило, армянский храм. Он одинок и внезапен, как Арарат, ничего подобного которому нет в поле зрения. Храм почти так же не подсказан. И если говорить о «невписанности» армянских храмов в ландшафт, то она, как и Арарат, имеет вулканическую природу.

расного, ничем не подтвержденных в раннем и нежном опыте. Что же, идеалы эти возникают из одной лишь полярности, для равновесия, по законам диалектики?

Со школьной скамьи мы знаем, что уродливая среда и общество с редким постоянством рождали светлых людей, которые, исчислив неким, опущенным в учебнике, способом свои идеалы, с непонятной наивностью и упорством не шли дальше, а возвращались с этим светом в ту же темень, из которой вышли, чтобы светить людям, которым это было ненужно, которые шурились, раздражались и самыми примитивными способами сводили просветителя на нет.

Тут тоже, на мой взгляд, все не вяжется одно с другим.

Как возникает идеал, если он в тебе не воспитан и если опыт жизни тоже не может привести нас к его лицезрению? Идеалы ведь не существуют в жизни. Поэтому они и идеалы.

Может, они врождены? И тогда воспитание, среда, жизнь и опыт — лишь благоприятные или неблагоприятные условия для их выявления?

Природа идеала исключительно неясна мне как материалисту...

Так постепенно я понимал, что материализации идеала быть не может. Это даже слишком просто. Потому что все, что может материализоваться, уже не идеал. В материальном мире идеал не существует.

Торжествуют же идеи — не идеалы.

Тогда где же он? Что заставляет меня и мучиться, и крутиться действительно как на сковороде? Почему я не принимаю жизнь такой, как она есть, той, что происходит со мною, — ведь более глубокого примера и опыта, чем свой собственный, у меня нет и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать? Если я не видел и не знаю другую жизнь в той мере, как свою, в чем же дело? С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я свою жизнь, чтобы постоянно твердить — не то, не так! — и обличать самого себя перед самим собой — никто же не видит! — так безумно?

Приходится признать существование в нас, и нигде больше, идеального мира, населенного идеальным человеком, мира, доставшегося нам с рождения (потому что родиться физически мы могли где угодно) и лишь с раз-

ной степенью полноты и силы выявившегося в каждом из нас, чтобы нам было с чем сличать и сравнивать свою жизнь, и мучиться, и страдать несовпадением, недостижением, запредельностью его. Что за мучение такое — быть человеком? Что такое — болит совесть, мучает стыд, гложет тоска?

Откуда?

И где взял я, как родился во мне образ некой горней страны, страны реальных идеалов? Между тем страна эта всегда была рядом, где бы я ни был; просто страна, где все было тем, что оно есть: камень — камнем, дерево — деревом, вода — водой, свет — светом, зверь — зверем, а человек — человеком. Где труд был трудом и отдых — отдыхом, голод — голодом и жажда — жаждой, мужчина — мужчиной и женщина — женщиной. Где всем камням, травам и тварям соответствовали именно их назначение и суть, где бы всем понятиям вернулся их исконный смысл... Страна была рядом, и только меня в ней не было... При каких обстоятельствах покинул я эту страну? Как давно это случилось? Не помню. Как я жил дальше? Не знаю. Я просыпался и смотрел не в окно, а на часы — утро, вечер ли? — я завтракал без аппетита, потому что, чтобы жить, надо есть. А может, жить, чтобы есть? Я выходил на улицу — путник вышел из пункта А в пункт Б: надо же куда-нибудь идти и что-нибудь делать! Вечером я брал человека за руку — я? брал? человека? за руку? — я смотрел ему в глаза... Господи! Кто это? Кого я беру за руку?

Мне пора было вернуться.

...Страна с одним городом, озером и горою, населенная моим другом! Я глотал пересохшие в горле слова и не мог описать тебя. Камень был камнем, свет — светом... Я нашел слово «подлинный» и остановился на этом. Я беседовал с мужчиной, который был мужчиной, и беседовал, как мужчина. Мы ели с ним еду, которая была едой, и пили вино, которое было вином. Тогда, в благодарности и все еще в суете, мне непременно, необходимо было нашарить слово, чтобы накинуть, надеть, натянуть его на свою радость, я сказал: «Вот страна понятий...»

И не есть ли мой судорожный поиск непременно одного слова, определения по отношению к этой стране

и к этой радости косвенное доказательство того, что так оно и есть, что существует такое слово для этой страны, раз уж его так не хватает моей суете?

**Богатство** Это была небольшая черная слива; вернее, темно-синяя, чернильного цвета слива; небольшая она была не потому, что недозрелая и мелкая, а потому, что принадлежала к такому достаточно широко распространенному и известному сорту небольших по размеру слив, несколько более удлиненных, чем крупные сливы, с островатыми концами, несколько менее сочных, даже суховатых, и более сладких.

Это был один из крупнейших крытых ереванских рынков, архитектуру которого, как и многое в ереванском современном градостроительстве, следует признать передовой и удачной. Особенно рынок нравился мне внутри, где казался очень органичным, а назначение и решение предельно соответствовали друг другу, сливались. После уличного света и жары — прохладная и какая-то очень светлая тень и чистота, и своеобразная тишина. И нет той кипящей и резкой жизни открытого южного базара с его солнцем, гомоном, толкотней и осами.

Какие петли делает сравнение во времени, возвращаясь к самому себе! Если птичий базар был назван так в сравнении с человеческим, то прежде всего не по многочисленности того и другого, а по тому ни с чем другим, как друг с другом, не сравнимому звуку слитых голосов, слитых в таком абсолютном беспорядке, что уже образующих гармонию. И если птичье собрание было не с чем сравнить, как с базаром, то базар мне не с чем сравнить, как с птичьим собранием. Тысячи голосов, не различных и не доносящихся до меня, уплывали вверх под высокие своды, там сливались, отражались и медленно падали вниз, и этот обращенный шум был так нежен, что не сразу достигал моего сознания, как шум моря и шум далекого птичьего базара (шум открытого базара близок: будто ты ступил на берег, непрощенный гость, и испугнул тысячи пернатых хозяев сразу). И высокий свод, поддерживаемый изящными и легкими стрельчатыми арками, и рассеянный, непонятно

откуда идущий свет, и этот мягкий нежный гул невольно наводили на мысль о храме.

Эта небольшая слива лежала на вершине аккуратно сложенной пирамиды из точно таких же слив. Пожилая женщина опрятного и достойного вида построила эту пирамиду и теперь стояла величественно и скромно. Рядом, лишняя, топталась ее некрасивая дочь с каким-то скучным трепетом на лице. Еще рядом находилась суетная торговка травой, но тут уже проходила явная граница между сливами и травой.

Покупателей не было.

Достойная женщина в этот момент как раз быстро поймала скатившуюся было сливу и плавным, не лишним величия движением поместила нашу героиню на самый верх, после чего несколько безотчетным и очень бережным движением придержала всю эту конструкцию сбоку и отпустила — пирамида застыла не дыша, подчиненная чудесным законам трения...

Мы шли с другом по рынку, и изобилие юга в который раз поражало мое северное сердце. Чудо существования фрукта вызывало легкое головокружение. По-своему фрукты были заметнее в крытом рынке, чем на базаре. Отсутствие солнечного света, прежде всего подавляющего на базаре, словно возвращало фруктам их собственный свет (именно свет, а не цвет). Казалось, они светились изнутри, возвращая поглощенное солнце, сами маленькие солнца. И поскольку мое участие в торговле было поневоле пассивным и о чем торговался мой друг со своими соплеменниками и принцип его выбора были мне неясны, я полностью предавался восхищению и созерцанию. Я стал классифицировать фрукты по принципу солнечности: помидор солнечнее огурца, а груша солнечнее яблока, но всех солнечнее, как ни странно, абрикос, — так рассуждал я... Отсутствие табличек с ценами полностью устраняло возможность моего участия в торге, но само по себе это отсутствие мне нравилось, обозначая некий первородный и живой принцип торговли, где сделка еще и какой-то союз, отношение и родство. Мне тут все казались родственниками.

— Как красиво, — вяло сказал я, обводя глазами это великолепие.

— Плохой рынок, — сказал друг. — Вот недели через две!..



Тут-то мы и поравнялись с этой сливой, и мой друг начал ее покупать. То ли достойная женщина никак не ожидала покупателя, но наше появление оказалось как бы внезапным для нее, и за свое дело торговли, после секундного замешательства и словно в компенсацию его, она принялась слишком порывисто, хотя и не роняя нисколько своего достоинства. От резкого ее движения верхняя слива покачнулась и, чуть помедлив, покатилась. И женщина, и ее дочь чуть подались вслед за ней безотчетным движением, но ловить ее было уже поздно и, помимо того, что был риск, ловя одну сливу, своротить всю пирамиду, как-то и непристойно. Так они обе застыли, остановив чуть заметное и непроявленное свое движение, и следили за падением сливы. Я тоже несколько замер, меня всегда гипнотизирует неожиданное падение. Слива скатилась с пирамиды, прихватив за собой еще одну. Они прыгнули с мраморного прилавка на плиточный пол и резво покатались, обгоняя друг друга.

Мы проводили их глазами до полной остановки, и достойная женщина уже взвешивала сливы моему другу.

Две сливы лежали неподалеку одна от другой на грязноватом полу, и над ними ходили люди. Женщина успешно и споро справлялась со своим делом, по тайком, помимо своей воли взглядывала на те две сиротливые сливы. Их заметил мальчишка, мы посмотрели на него с надеждой, но время базарных беспризорников, подбирающих с полу, давно прошло... Люди стали жить богаче... Какой-то человек чуть не наступил на сливу, но в последнюю секунду, неуклюже вздернув ногой, обошел стороной. Мы вздохнули.

Две маленькие сливы дешевого сорта. Как мне объяснить, что во всех этих переживаниях нет ни нищеты, ни жадности! Просто жалко, что они пропали, что их раздавят, что их никто не съест.

Эта жалость к сливе была благородна. Это было уважение к сливе. Цена земли и цена труда в каждой его капле.

В этом тоже культура.

Культура даром не дается. Если коренные ленинградцы до сих пор неспособны выбросить зачерствшую корку на помойку, то это означает вовсе не близость к земле и уважение к труду землепашца — этого,

быть может, уже нет в их крови,— но если вычесть сегодняшнюю сытость из этой вот не выброшенной, а непременно пристроенной куда-то корки, то в разности получится блокада. И этот глубокий и далекий голод дает людям, давно забывшим землю, элемент крестьянской культуры. И не только это уважение к хлебу есть культура, но и к такой культуре необходимо относиться с уважением, как к хлебу.

Пища — это пища. Не только жизненная функция, но и понятие. Этим открытием я во многом обязан Армении. Там сохранилась культура еды, еще не порабощенная общепитом.

Я закрываю глаза и вижу этот стол... Вот помидоры, такие круглые, такие красные, такие отдельные друг от друга. Вот кулачок деревенского сыра с отпечатавшейся на нем сеточкой марли. Вот лук — длинные немятые стрелы в капельках воды. Вот зелень — зелень зеленая, зелень синяя, зелень красная, целый воз, целый стог. Это не еда — это кристаллы еды, это не соединения — элементы. Вот уж что бог послал...

И стопка лаваша. Как древняя-древняя рукопись. Лаваш — отец хлеба, первый хлеб, первохлеб. Мука и вода — так я понимаю — кристалл хлеба. Вечный хлеб. Вот развернуто влажное полотенце — и вздыхают вечно свежие страницы лаваша.

Это чистое-чистое утро. Садится мой друг. Сажусь я. Мы отрываем угол лаваша, кладем туда стрелы лука, стебли травы и сыр, свертываем в тугую трубку, не спеша подносим ко рту, чисто откусываем и не спеша жуем. Мы не торопимся, мы не жадничаем, мы и не гурманствуем — мы едим. Мы уважаем хлеб, и уважаем друг друга, и уважаем себя.

— Лаваш — это хлеб, — говорит мой друг, отрывая новый лоскут. — Лаваш — это тарелка, — говорит он, укладывая на лаваш зелень. — Лаваш — это салфетка, — говорит он, вытирая лавашем рот... И съедает салфетку.

Я не видел в Армении грязных тарелок, недоеденных, расковыранных блюд. В Армении едят достойно. И дело не в ножах и вилках, не в салфетках. Можно, оказывается, есть и руками... Вытирать тарелку хлебом, потому что было вкусно, всегда вкусно. И не только поэтому.

Если бы мне дали задачу определить в двух словах, что такое культура, не та культура, которая высшее образование и аспирантура, ибо и образованный человек может оказаться хамом, а та культура, которой бывает наделен и неграмотный человек, я бы определил ее как способность к уважению. Способность уважения к другому, способность уважения к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, истории и культуре — следовательно, способность к самоуважению, к достоинству. И поскольку я не был бы удовлетворен этой формулировкой, мне бы показалось, что она неполна, я бы еще добавил — способность не нажираться. Обжирается и пресыщается всегда нищий, всегда раб, независимо от внешнего своего достояния. Обжирается пируя, обжирается любя, обжирается дружа... Выбрасывает хлеб, прогоняет женщину, отталкивает друга... Грязь. Пачкотня. Короткое дыхание, одышка. Такому положено ничего не иметь — голодать, только голодный он еще сохраняет человеческий облик и способен к сочувствию и пониманию. Он раб. Сытый, он рыгает и презирает все то, чем обожрался, и мстит тому, чего жаждал, алкал. Алкал и налакался. Такая мнимая свобода от мирского, когда уже сыт, такая якобы духовность... Поводит мутным взором, чтобы еще оттолкнуть, испачкать и сломать. Он исчерпал свое голодное стремление к свободе, нажравшись. И теперь его свобода — следующая ступень за сытостью — хамство. Потому что опять он не имел, не владел, дорвавшись, и теперь, чтобы убедить себя в своей свободе, он должен плевать на все то, к чему так позорно оказался не готов, — к обладанию.

С изобилием справляется только культура. Некультурный человек не может быть богатым. Богатство требует культуры. Некультурный всегда разорится, а потом будет разорять.

— Нравится тебе лаваш? — спрашивает друг.

Как бы мне ему выразить — как он мне нравится! Я говорю:

— Я бы ввел наивысшую премию для поэтов: если он напишет строку истинно прекрасную, то ее напечатают на страницах лаваша...

— Правда, правда, — радуется друг. — Ты тоже, значит, заметил, что лаваш — как древний свиток...

— Какое бы место из своей книги,— говорю я, большой поклонник этой его книги,— ты бы выбрал для того, чтобы напечатать на лаваше?

И мой друг, способный написать о людях, которыми руководят только ветер, солнце и облака, который может написать, как человеку жарко, только жарко — и вам жарко; как одна буйволица в одной деревне, где уже не осталось буйволов, рано утром уходит от своей старой хозяйки и бредет по горам Армении из села в село, где тоже нет буйволов, исполненная непонятной и прекрасной тоски, она идет по этой прекрасной стране, где нет буйволов, и все это только через нее, только через запахи, простые картины и звуки, и как она буйвола не находит и возвращается... И мой друг, способный написать такое, говорит с искренней сокрушенностью и серьезностью:

— Нет, такого, чтобы — на лаваше, я, пожалуй, еще не написал.

О эта страна, где меня спросят:

— Андрей-джан, что ты хочешь, персик или помидор?

И если я отвечу правильно, на меня посмотрят с любовью и благодарностью, как на посвященного.

## **Семья и маска**

В конце концов, плод любви — дети. Об этом и напоминать-то как-то неудобно. Скажем для тех, кто, погружаясь в процесс, теряет цель из виду. Напомним себе. Конечно, все любят своих детей. Отдать предпочтение какой-нибудь нации рискованно. Все мы любим своих детей, но по большей части раз уж они получились. Родовое заглушено.

Тут следует разобраться в простых словах. «Пора жениться» и «пора обзавестись семьей». Что впереди, «курица или яйцо»? — это не так уж бессмысленно. Скажем так: все мои друзья женились по любви. То есть была первая любовь и прошла, была еще одна, две, десять, сто женщин. Казалось: вот люблю. Оказывается: нет, вроде не люблю. Наконец исподволь, может, даже с удивлением, обнаруживалась любовь к одной из них, к последней, желание видеть ее все чаще, все время, всегда, невозможность потерять ее, представить с другим, желание удержать навсегда — женились.

Высшая мера, потолок. Значит, целью все-таки была женщина, любимая, желанная, но одна. Двое — с удивлением обнаруживалось — семья. Дети — туман, отрезающий и пугающий. Появление их чаще связано с неким неравновесием, атмосфера конфликтна и драматична. Обилие бездетных молодых пар, где неравновесие, неуверенность, непрочность — источник страсти, длина брака... И если ребенок все-таки появляется, то осмысленность, природность семьи опять воспринимается с некоторым удивлением.

Я готов предпочесть мужицкое — «довольно по свету шлаться», «пора иметь свой угол», «пора обзавестись семьей». Мужик испытывает тоску по назначению, уговаривая себя расчетом. Выгоды между тем в браке нет, есть смысл.

Все, конечно, любят своих детей. В основном потому, что мой. Слепое чувство. Мой, а не соседа.

Как любят детей в Армении? Если бы не было в принципе нелепым членить чувство, то, во-первых, вообще очень любят детей, во-вторых, потому что мой, в-третьих, потому что Матевосян, Петросян, Ионнесян из рода Матевосянов, Петросянов, Ионнесянов, в-четвертых, потому что армянин, еще один армянин. Тут-то и смыкается кольцо — во-первых и в-четвертых: исполнение долга, биологического, национального и личного.

Надо, чтобы тысячелетиями тебя вырезали кривым ножом, чтобы ты понял: вот твой сын, он будет жить на твоей земле и говорить на твоём языке, он будет сохранять землю, язык, веру, родину и род.

Это не просто твой сын, не только твой сын.

Любовь к детям, как почти все в Армении, достойна. Сильна, но не аффектирована, нежна, но проста. Воспитание детей имеет, как мне показалось, одно общее отличие от того, что я привык наблюдать у себя дома. Отличие, по-видимому, принципиальное: наше влияние и власть над детьми расположены с возрастом по убывающей, у них — по возрастающей.

Чувство меры в проявлении любви — основа воспитания. Как чувствительны дети к этой вере, к этой ровности! Устойчивость, верность, постоянство, спокойствие прежде всего вызывают доверие в душах маленьких консерваторов. Экспансивность в ласках, наверно, почти равна окрику и удару. Просто при ребенке надо посто-

янно держать себя в руках — это не противоречит нежности. Это постоянное волевое усилие, оно трудно, но, наверно, входит в привычку.

Конечно, с каждым человеком все в его жизни когда-то происходит впервые, когда он не вооружен тем или иным опытом. Тем более первый ребенок — тут многое можно понять. Но, во-первых, вооружение опытом вещь вообще очень спорная, и, живя, нам всю жизнь поступать впервые, и я не очень-то верю в применимость прежнего опыта, тем более личного, к последующему, настоящему мгновению. А во-вторых, рождение ребенка, даже первого, дело столь естественное, природное, что травма сюда прокралась именно от цивилизации, от разрыва с собственной природой, некоторой биологической атрофированности.

К таким мыслям я приходил, наблюдая и сравнивая...

Например, меня поразила какая-то немислимая, абсолютная свобода младенца, такой мне не приходилось наблюдать раньше... Я вошел впервые в квартиру моего друга — семья была на даче, — стал озиаться: как он живет, мой друг? Вот стиральная машина, я таких не видел — пощупал. Брякнула отломанная крышка. «Это Давидик», — с удовлетворением сказал мой друг. «Как? — удивился я. — Ему же два года!» — «Нет, двух еще нет», — сказал друг. Я торкнул пальцем в пишущую машинку. Она тускло звякнула, как консервная банка, — она не действовала. «Это тоже Давидик?» — пошутил я. «Давидик, — чуть ли не гордо сказал друг. — Извини, у меня только такая чашка, — сказал он, наливая кофе, — было двенадцать, осталась одна». — «Давидик?» — «Давидик». Я представлял себе виновника разгрома, этого юного Пантагрюэля, и гордился гордостью моего друга. «Хорошее имя, — сказал я, — подходящее. Он сокрушит Голиафа...» Каково же было мое удивление, когда я познакомился с Давидиком! Это был нежнейший мальчик с лицом ангела, у него болели ушки, такой зайчик-ангел, слабенький и болезненный, тихий, даже грустный. И чтобы он мог учинить тот разгром, я не мог поверить. И тут же, чтобы развеять мои сомнения, Давидик хлопнул об пол последнюю чашку. «Ах! — радостно всплеснула мама. — Ай, Давидик! Ай да Давидик!»

Так и улыбаются у меня до сих пор перед глазами мама Давидика, папа Давидика, сам Давидик над осколками, округлив глаза, разведя ручки... И я улыбаюсь как-то завистливо и счастливо, и свет моего детства, тот неповторимый свет, который освещал тогда другие комнаты, освещает мне эту сцену.

«Вах! — говорит мама. — Он уже второй сервиз перебил!» И это звучит так — ничего, купим третий. Должен сказать, они были не настолько богаты.

Старшенький же, тоже небольшой в общем ребенок, мог бы показаться пасынком, настолько с ним были строги. Строгость как бы возрастала прямо пропорционально пробуждению сознания. И к тому возрасту, когда, по моим наблюдениям, в наших семьях дети окончательно выходят из повиновения, а родители все более попадают в зависимость, здесь, казалось, строгость отношения достигла уже таких пределов, что отпадала даже необходимость проявлять ее, а возможно, просто неприлично было бы, если бы при госте была заметна хоть малейшая черточка отношений... И дети превращались в тех невидимок и неслышимок, когда лишь в глубине за приотворенной дверью, если ветерок отодвинет занавеску, можно заметить тень подростка, а разглядеть его поближе удалось бы, лишь если отцу во время нашей неторопливой беседы захотелось бы вдруг похвастаться, какие сын-дочь растут у него. И то тут же — легкое подталкивание отцовской руки, напутственная неширокая улыбка, и подросток уже исчез навсегда.

Во всяком случае, того, что в наших семьях называется «разбитной мальчишка», или «ах, этот возраст», или «что за непосредственность», или «сколько в них энергии, жизни», ничего такого я не слышал. Или, чтобы справиться с чувством неловкости от быстрых обобщений, просто семейная жизнь, в том числе и дети (за исключением младенцев), никогда не вылезала на видимую поверхность, когда вы посещали дом и хозяин занимал вас беседой. Я уходил из дома, столь же непосвященный в семейные отношения, как и приходил. И тут, по-видимому, нечему особенно удивляться, разве лишь тому, что порядок вещей с каких-то пор и по каким-то причинам является для тебя удивительным.

И старший по возрасту становится старшим по положению — что же тут непонятного? — ведь обязанности расширяются много быстрее прав...

И как бы я ни изощрялся в привычной наблюдательности, я узнавал о частной жизни не больше, чем фотограф, приглашенный сделать семейный портрет, — только стылые черты лиц да фирму мебельного гарнитура... Да и почему бы мне, постороннему, за час составлять представление о том, что складывалось годами? На каждого хватает его семейной жизни, не правда ли? Здесь я мог не загружать себе голову посторонними знаниями психологических рисунков, катаральных переживаний и половых вкусов гостеприимной семьи. И на этой счастливой и приветствуемой мною невозможности проникнуть глубже я с удовольствием ограничу свои наблюдения над семейной жизнью Армении. Ибо никаких эпитетов к семье, судя по тому, что мне удалось видеть, кроме «ладная, дружная, крепкая», я, по-видимому, не найду. А в нашем языке они давно стали штампами.

Постепенно я уставал от отсутствия распушенности — негде было расслабиться. И мне становилось скучно. Здесь в семейных синематографах показывали лишь нудные лакировочные картины, не идущие ни в какое сравнение с нашими неореалистическими достижениями.

Я, естественно, старался вести себя прилично. Раз уж ты не способен в одночасье залопотать на новом языке, то, по крайней мере, приходится следить за тем, чтобы не совершить невзначай того, что не принято в этой стране. То есть поневоле ты все меньше располагаешь возможностью быть собою и становишься представителем, все более подчиняясь тупой логике представительства. Ибо если тебе по неведению чьи-то индивидуальные черты могут показаться национальными, то тем более, раз ты один среди иноплеменников, обезличиваются твои замашки и привычки и вдруг начинают представлять как коллективные и народные. Тут и усредняется пришелец, сам, по собственному почину... О туристе я все чаще думаю в среднем роде. И все с большим трепетом думаю о возможности



маршировать по Парижу с широкой расплывчатостью среднего пола на лице...

Прилично вести себя нетрудно, потому что неприлично вести себя опасно... Если бы даже это было моей неотъемлемой чертой, я бы, наверно, быстро сообразил, что не стоит в Ереване знакомиться с женщинами на улице и вряд ли мне удастся проникнуть по водосточной трубе на ночной балкон... От всего этого, скажем так, было нетрудно отказаться. Тем более что (и за этот свой конкретный опыт я поручусь) мне ни разу не удалось встретиться (не призывным, не игривым — просто обыкновенным, случайным) взглядом ни с одной незнакомой армянской женщиной или девушкой. Мне было уделено не больше, а меньше внимания, чем любому столбу или забору. Я бы считал такую задачу в отношении себя противоестественной и нарочитой, если бы это «невстречание» с моим взглядом не давалось им столь же легко, как дыхание. В том-то и дело, что это не стоило им никакого труда: они не замечали того, как они меня не замечают. Меня, правда, занимало, как они видят окружающий мир и так ли уж не видят меня? Нет ли тут какой-либо особенности в восприятии спектра?.. Но вдруг подумал: а что, собственно? Что за манера такая — глазеть на кого попало? Какая цель?..

Странное все-таки это рассуждение: принято и не принято... Только улавливая, что же не принято в той или иной чужой семье, среде, стране, глупо удивляясь, что у «них» все не как у людей, начинаешь понимать, что же принято в твоей семье, среде, стране... А потом приходит простая мысль: а вдруг то, что у тебя «принято», то, что ты полагаешь единственно естественным и правильным порядком вещей,— и не так уж естественно и правильно и, может, в лучшем случае, до крайней степени условно?

Ну ладно, на третий день я разучился пялиться на женщин, и это можно пережить. В конце концов, у меня даже освободилось время замечать иные предметы и думать о них. Между прочим, довольно много времени.

Тут мне хочется привести один примечательный разговор.

Однажды во дворе дома моего друга, где гулял Давидик, меня представили соседке, как бы интеллигентной

мамаше в очках. На руках у нее сидел толстый младенец и неловко пожирал мацони, поливая мамину грудь. На маме был джерсовый костюм, и такая широта в отношении к импорту поразила меня, хотя я уже был знаком с Давидиком... «Лишь бы ел...» — спокойно сказала мамаша, проследив мой взгляд и правильно поняв его. Она равнодушно посмотрела на свою грудь, покрытую простоквашей, и стала расспрашивать меня о впечатлениях. После рядовых — как вам понравился Ереван и как вам нравится в Армении (очень и очень) — она задала мне внезапный и единственный в своем роде вопрос, так и брякнула:

— А как вам нравятся армянские женщины?

Я растерялся. Я сказал, что встречаются удивительно красивые лица. Я сказал, что в общем не очень-то приглядывался.

Она удивилась.

Я пояснил, что быстро постиг невозможность какого-либо контакта и перестал смотреть.

Она как бы опять удивилась и не поняла.

— А вы бы женились на армянской женщине?

Теперь еще раз удивился я.

Мы плохо понимали друг друга. Она сказала:

— Разве вам не хотелось бы, чтобы вы уехали на три года и наверняка знали, что жена не изменит?

— Ну, видите ли... — промямлил я.

Долго не шел у меня из головы этот разговор, не порождая в то же время каких-либо отчетливых мыслей. И лишь сейчас, и то неотчетливо, думаю о том, что мне хотелось бы не столько даже гарантированной верности моей жены, сколько собственной потребности в этой вот непреложности понятий: жена — семья — верность...

**Аэлита  
из Апарана**

Конечно, все любят своих детей. Отдать надежды. Однако скептицизм, которым мы попробуем в этом случае вооружиться, одна из самых непрочных вещей на свете, как, впрочем, и всякое вооружение. По сути, скептик — это существо, обращенное к каждому без разбора с мольбой, чтобы его разубедили в его горьком опыте. Ахиллес, демонстрирующий свою пятку. Пожалуй, нет существа, более готового заглотить

наживу надежды, чем скептик. И так глубоко заглотишь... Потом, конечно, есть возможность утверждать, что меньше всего на свете мы могли этого от себя ожидать или что «так мы и знали». Это одно и то же.

Впервые я увидел ее... но я понятия не имел, что увидел именно ее.

Мы стояли с другом посреди деревеньки (конечно, это была древняя столица Армении), на площади, рядом с дремлющим чистильщиком обуви, и, точно так же, как в Ереване, томились и ждали кого-то, а я не знал кого. Посреди улицы застыл зной, и на дно его осел слой толстой ленивой пыли. Никого. Мы стояли в особенно черных от жары ботинках, только что к тому же начищенных (и это дело сделано!), стояли, не переступая ради их блеска, чтобы не утопить их тут же в лужах пыли, и я прискорбно думал о природе гостеприимства. «Что за рабство такое — нарушать все течение своей жизни, бросать семью и работу ради того, чтобы гость изнемог от вина, мяса и невозможности побыть одному? И все это, чтобы потом быть обязанным исполнить тяжкую работу гостя в ответном визите... И так запутаться в этой непреложной последовательности, чтобы не знать, ублажаешь ли гостя или мстишь ему, оказываешь ли уважение хозяину или досаждаешь?..»

— Аэлита! — позвал друг.

Смешная девушка направлялась к нам: коротенькая, крепкая и красная, как помидор; с тщательно уложенной башней на голове; в мини-платье из черной с золотом тафты и босиком. Коленки ее, тоже толстенькие и красные, гримасничали при каждом шаге. Аэлита было ее имя, вполне по-армянски. Меня, конечно, с ней не знакомили, что я, не вдаваясь, уже принимал как должное. Она на меня не смотрела и не видела, чему я тоже не удивлялся: может ли хорошая, молодая, чистая, здоровая девушка, определяемая одним словом — «невеста», обращать на меня внимание? Невеста и должна быть скромной... Она слушала, что ей говорил мой друг, и только пальцем шевелила в пыли...

Они говорили — я не знал о чем и продолжал свой ход мыслей, ибо только в нем был волен... Что за неотклонимость этих трасс угощений и зрелищ! На такие траты у нас в России решаются лишь исключительных случаях рождений, свадеб и смертей... Однако попро-

буй отклониться от этого щедрого маршрута! Он проложен для гостя, а не для тебя — вот и будь гостем, а не собой. Словно бы в этих каналах гостеприимства тобой-то как раз и не занимались — от тебя откупались. Малейшая мысль именно о тебе, а не о госте, была уже затруднительна, озадачивала, утомляла и ставила в тупик. То есть в ритуалах гостеприимства не было участия. Они стоили сил и средств как работа и время жизни, но не имели стоимости любви.

Так мелко думал я, разрешая неразрешимую задачу: нам опять предстоял пир, к которому велась серьезная и трудоемкая подготовка, а мне хотелось через улицу перейти в аптеку, но мой друг ни за что меня туда не пускал: одного, говорил, не могу пустить, — но и со мной туда тоже не шел. «Слушай, зачем тебе в аптеку?.. — морщился он. — Не надо тебе в аптеку...» Так вот: почему было легче пир устроить, чем в аптеку со мной зайти? — и было мне окончательно непонятно.

Аэлита нарисовала три босых крестика и ушла.

Что мне не уставали объяснять по десять раз, а что никогда не объясняли... Простых-то вещей как раз и не объясняли. Например, мне пришлось очень удивиться, застав, по возвращении в Ереван, ту же Аэлиту в квартире моего друга, играющей с его детьми. Она же ничуть не удивилась моему приходу и по-прежнему не заметила меня. Ну почему бы, казалось, мне тогда было не объяснить, что она родственница, племянница, троюродная сестра? Нет, это было ни к чему. Вот эта твердость и определенность, с которой за меня решали, что мне может быть интересно, а что не может, — и есть языковой барьер: ни за что, кроме предложенного, я не мог зацепиться сам. Я был своего рода калека-глухонемой: со мной объяснялись и меня понимали лишь самые близкие люди. Друг.

Но друга в этот вечер не было дома: у него было дело, которое он не мог отложить. Я уже научился не знать и ждать: я терпеливо просиживал диван, наблюдая Аэлиту. Как быстро ее полюбили дети! Они ползали по ней, исполненные нежности и восторга. Она была невозмутима и двигалась внутри этих объятий плавно и свободно, как купальщица. Жаль, что я не

мог понять, что она им так тихо и бесстрастно рассказывала,— но глаза детей время от времени круглели и рты расстегивались. Она извела всю шоколадную фольгу в доме на короны: все трое сидели теперь в коронах,— и бесконечно рисовала красавиц вроде бы для детей, но и для себя, испытывая на них фасоны и моды. Красавицы, тоже все в коронах, были, не в пример ей, все очень длинные и узкие, с распущенными пышными волосами, кривыми, как турецкие ятаганы, ресницами, огромными среди ресниц глазами и крохотными, точечкой-сердечком, губками. Так они стояли в длинных до полу платьях, воплощая макси-предчувствия Аэлиты. Хуже всего получались у них руки: красавицы, совершенно не по-светски, не умели обращаться с ними, не знали, куда их деть: растопыривали их, как пингвины. Аэлита меняла им рукава, плечики, вырезы на груди... Дети с восторгом переводили взгляды с рисунка на нее, с нее — на рисунок: до чего похожа их красавица-королева!.. Да, Аэлита не собиралась всю свою жизнь проводить в няньках! — вот что она рисовала. Я сидел и ждал друга и час и другой — род мебели; дети не видели меня из-за Аэлиты, которой были поглощены, Аэлита не видела меня по природе своей, жена друга старалась реже попадаться мне на глаза, может быть, потому, что совершенно не знала, чем меня занять. Так я сидел и вдруг обнаружил, что, как и дети, уже привык к Аэлите, привык, как мебель к хозяину.

Тут появляется сестра жены друга Жаклин — и ситуация разрешается: бремя моего времени равномерно ложится на плечи этих милых женщин. И так сразу становится весело и непринужденно, что я впервые понимаю, что до сих пор ставил жену друга в положение неловкое. И это опять то простое, чего мне никто не объясняет и чего я сам понять не могу — другая страна: сама ли пришла Жаклин, к радости и облегчению сестры, или та специально ее вызвала?.. Так я и спотыкаюсь лишь на самых плоских местах — где надо проявить понимание, там-то я вроде понимаю сразу.

Нам становится легко, мы решаем идти все втроем в кино. Жена друга так рада: теперь у нее наконец есть Аэлита, теперь она наконец хоть сходит в кино! Но без сестры она не могла бы пойти со мной и сестру одну со мной не отпустила б. Так, махнем рукой и не пой-

мем, слава богу. Мы идем в самый новый, роскошный суперкинотеатр. Тем более замечательно, что идем мы на «Фантомаса», потому что южный темперамент зрителей... смотреть на того, кто смотрит,— еще одно удовольствие.

Все разрешилось — и опять не все. Взгляд жены друга становится печален и короток: совсем уж неведомое мне соображение приходит ей в голову — и она нет, не идет, вспомнила одну вещь... Зато новая радость озаряет ее: с нами пойдет Аэлита! Она же впервые в Ереване, сидит взаперти уже третий день — пусть посмотрит.

Все так сложно! Мне кажется, мы так и не пойдем никуда...

Но Аэлита появляется невозмутимо и мгновенно, уже готовая: в том же золотом платье, только уже не босиком.

Это был действительно выдающийся кинотеатр, построенный столь оригинально, что при вечернем освещении я так и не уловил, как же он выглядит в целом: казалось, он висел над землей, как приземляющаяся летающая тарелка. До начала сеанса было много времени, мы сидели в бесплотном кафе, состоявшем из дырок, теней и каких-то трепещущих подвесок. Болтала Жаклин, Аэлита молчала. Меня так поразило, что, впервые в жизни попав из деревни в большой город, она не была ни возбуждена, ни любопытна, как должна была бы быть любая наша юная провинциалка на ее месте, что три дня просто просидела не вылезая из дому и, не вытащи мы ее, так бы и сидела... меня так это удивило — я все приглядывался к ней. Что это, тупость или ум особый? Мне уже начинало мерещиться, что ум. Оказалось к тому же, что приехала она не только в няньки, но и в институт поступать. Я пытался вовлечь ее в разговор — напрасно. Тогда Жаклин перевела ей мой вопрос. Аэлита внимательно выслушала и ответила, но не мне, а Жаклин: она собиралась поступать на археологический, вот что. Я похвалил профессию и двинулся вглубь... Так мы и беседовали: я задавал вопрос, Жаклин переводила, Аэлита отвечала Жаклин, та переводила уже мне. Аэлита смотрела прямо перед собой ровными, спокойными глазами, не обращая ни на что внимания. Такая ее бесстрастность показалась

мне уже чрезмерной: и я-то впервые сидел в подобном кинотеатре и все крутил головою, а в ее деревне — один двухэтажный дом... — не грех и полюбопытствовать... Несколько юношей картинно, «иностранно», пили за стойкой кофе и разглядывали нас.

— Что это они?

— Русский парень пришел в кафе с двумя армянскими девушками, — смеялась Жаклин, — еще бы им не смотреть! — Так или иначе, она была довольна этим вниманием.

Значит, с одной было нельзя, а с двумя — много... подумал я. Кино!

Раздался звонок, и, под скрежет отодвигаемых стульев и шорох вставаний, я наконец поймал подобие взгляда, коснувшегося одного из изучавших нас парней: какая-то живая темнота словно бы сверкнула на дне ее глаз, — и я заподозрил, что, может быть, она видит, значит, и раньше все время — видела, что неподвижность ее — напряженна и восприимчива, и, кто знает, сколько она видит и как... Может быть, много и сильно, а может, и ничего.

Зал под открытым небом напоминал форум. Над нами горели жирные южные звезды, как в планетарии; мне казалось, мы взлетели и если рискнуть подойти к краю и взглянуть оттуда вниз, то где-то глубоко под собой увидишь нашу милую, еще не столь роскошно застроенную Землю и, расчувствовавшись, прочтешь вниз длинные стихи об оставленной на Земле любви...

Ничего сверхъестественного в реакции армянской публики я не обнаружил.

Фантомас побезобразничал, и фильм кончился.

Мы вышли из кинотеатра, и национальная режиссура снова осложнила мною чье-то существование, в котором я не поместился... Жаклин с кем-то поздоровалась и чрезвычайно смутилась. Она отвела его в сторону и долго объяснялась. Он выслушал ее и молча ушел. Она вернулась к нам, слегка утратив присущую ей жизнерадостность; чуть помялась; не умея что-либо скрыть по прямоте души, неуклюже посмотрела на часы, притворно охнула, что забыла позвонить маме... и теперь... что мы тут просто доберемся, очень просто... И, махнув рукой, скрылась.

Так я остался с Аэлитой вдвоем.

Я намеренно изложил здесь более или менее последовательно и подробно всю систему уравнений, все действия сложения и вычитания, в результате которых такое оказалось возможным. Может показаться, что я говорю о незначительном, мельчу и вдаюсь в частности, однако вся эта система недопониманий является существенной частью атмосферы пребывания в Армении, и уверяю, что случай этот — невероятный, невозможный, практически не встречающийся в жизни города Еревана... Чтобы русский парень оказался в полночь в центре Еревана с семнадцатилетней армянской девушкой, ни слова не знающей по-русски!..

На улицах не было вообще ни одной девушки, даже с армянским парнем.

Небо за время сеанса затянуло, и звезды погасли; фонари же горели изредка. Что-то навалилось на землю мягкое, теплое и вкрадчивое, вроде тумана, но не туман. Запахло редким запахом какого-то стручка. Непонятный, наркотический ажиотаж расцветал на углах улиц, как ночной бутон: бесшумно мелькали стройные армянские юноши в белых рубашках, вспархивали из-за деревьев, как большие ночные птицы. Куда-то все несло: останавливалась машина, какой-нибудь юноша внезапно отделялся от стены или ствола и тихо переговаривался с шофером, склонившись... машина, резко газанув, уезжала и потом подъезжала снова. Ритуальное прикуривание от зажигалки.

Городской транспорт внезапно, в одну секунду, пока я отыскивал ту остановку, что выкликнула на бегу Жаклин, перестал ходить. Я понял, что даже приблизительно не представляю себе, в какой стороне наш дом и далеко ли. Я спросил Аэлиту, знает ли она дорогу. Она уверенно замотала головой отрицательно. Любопытно было бы представить, что творилось в ее голове... Она тихо шла на полшага позади меня и несколько ближе, чем, по моим представлениям, могла себе позволить. Я осторожно поглядывал на нее, пытаюсь обнаружить в ней признаки хоть какого-нибудь волнения, — их не было.

Мы вышли на новую улицу, и это была не та улица, на которую я собирался выйти. Казалось, мы брели в другом городе, другой стране, еще более других, чем Ереван и Армения... Мы проплывали мимо витрин, как рыбки за стенкой аквариума.



...Витрины в Ереване смотрят как-то удивительно наружу. То ли осталось что-то от наивности и прямодушия ремесленников, вешавших образец своих изделий над входом в мастерскую: сапог так сапог, ковер так ковер,— но когда идешь по ночному Еревану и светятся изнутри магазины и мастерские, наполненные предметами, без человека обретающими абстрактное, отрешенное значение, то кажется: товар вышел из витрин и замер на пустой мостовой— вдруг стоит посреди дороги кровать с никелированными шишечками или швейная машина, не крутится, не жужжит... Будто ночью в Ереване выставились поп-артисты.

Так мы шли меж этих странных предметов, по этой пустой выставке, все нерешительней, и, наконец, остановились. Аэлита послушно замерла рядом. На освещенном углу, где ночной магазин вот так смотрелся наружу и обнаженные его предметы, как существа иного мира, совершали свою вылазку в город, появилась группа юношей и застыла, как манекены из той же витрины, молча разглядывая нас.

Спросить дорогу я не рискнул. Может быть, я и испугался. Но если и испугался— то не за себя. Я вдруг понял, что если без приключений доставлю Аэлилу к другу, то буду сегодня совсем счастлив. Спокойно и верно ждала она, что же я предприму. Тут было по-светлее, и я разглядел ее лицо: пожалуй, все-таки она волновалась немножко. Лицо ее как-то посерьезнело, утоньшилось и даже похорошело, и глаза будто стали больше и блестели чуть сильнее, хоть взгляд по-прежнему ничего не выражал.

— Ну,— сказал я, смело улыбаясь,— кажется, мы пошли не в ту сторону...

Она кивнула.

Я повернулся поуверенней, и мы пошли в обратную...

Она теперь шла настолько близко ко мне, что можно было лишь умудриться не касаться меня плечом, краем платья. Я странно переполнялся ее присутствием, параллельным существованием и дыханием— юно и немо, забыто... Только потом, вспоминая, приходили мне те мысли, которые могут приходить мужчине в подобном случае,— тогда же, уверяю, я был чист от малейшего, даже абстрактного, помысла. Все-таки невозмутимость ее была чрезмерной и, может быть, задевала меня... Как

ть, повторяла она каждый мой шаг, что-то было в этом выучное, жвачное. Что это? Покорность судьбе? Покорность мне? Доверчивость или доверие? Что бы это ни было, дикий страх или сонное бесстрашие, она шла со мной рядом, как в поводу, и никакого сомнения в моем успехе у нее не возникало. Хотя видела же она прекрасно, что я не знаю дороги и не решаюсь спрашивать прохожих?.. Но если какое-нибудь переживание и таилось за ее невозмутимостью, выражалось ею, то я льщу себя надеждой, что это было не то, что мы заблудились и нам что-нибудь грозит, а то, что мы, вдвоем, вот уже час бродим по большому ночному городу. Ведь точно, что все это происходило с нею впервые в жизни! И как бы далек я ни был от ее мира вчера и завтра — но в эту-то минуту...

— Ты совсем не знаешь по-русски?

— П-плохо. — Лицо ее исказилось чем-то вроде улыбки.

— Ты не боишься?

Она старательно замотала головой.

Но я-то вдруг ужасно разволновался. Я стал насккивать на машины. Я умудрился остановить даже автобус, но ему было не по пути... И когда после каждой попытки я возвращался к Аэлите, то заставлял ее ровно в той точке, где покинул, ждущей тихо и терпеливо. И если бы я отчаялся и побрел куда глаза глядят, миновал окраины и вышел в поле, зашагал бы в гору, пересек пустыню, вышел к морю и оглянулся — Аэлита бы оказалась у моего плеча: мог бы и не оглядываться. Так бы мы и состарились в этом походе, незаметно обрастая детьми и внуками... Такое было у меня чувство, когда, упустив очередное такси, я обнаружил, что она на меня смотрит. Это был действительно «марсианский» взгляд, как с обложки фантастического журнала: взгляд другого существа. Оно смотрело из себя — другая логика, другой мир... Помню, мне стало мучительно неловко от моих ужимок и прыжков, но я мог краснеть спокойно в этой темноте.

Наконец мы попали в какой-то «подкидыш» и поместились на одном сиденье. Никогда не сидел я настолько не прикасаясь к соседу! Автобус вскоре набился, на меня давили — и я окаменел, как кариатида, сохраняя «азор» между собою и Аэлитой. Чтобы никто (ни она)

ничего не подумал такого!.. Свело поясницу и шею, но даже невольно, «под давлением», я не прикоснулся к ней. Волнение за ее жизнь прошло, а за судьбу — осталось. Я был явно не в себе. Сейчас вижу ту дурацки-ясную улыбку жениха, что блуждала по моему лицу, — тогда не видел.

«А что? — думал я. — Переехать в Армению, жениться на Аэлите, наделать ей детей, потом уехать навсегда и знать, что она никогда мне не изменит?..»

И вот мы приехали, сошли, подошли к нашему дому — а она, все так же доверившись, шла рядом, куда бы я ни пошел... Это было все-таки странно. Ведь мы уже не заблудились, нам теперь ничего не грозило, мне некуда было больше ее провожать, нам некуда было больше идти: мы пришли. Я приостановился и повернулся к ней — она смотрела перед собой, взгляд касался моего плеча и уходил в темноту двора. Так она замерла и опять ждала меня: мы же стояли у нашего подъезда! Она молчала — чего молчала? стояла — чего стояла? Может, сказать что-нибудь хотела?

«Может, после того, что я ее проводил, я должен жениться на ней?» — насмешливо похолодел я.

— Мы же — пришли, — сказал я вслух.

И тут же — это было феноменально! — расстояние между нами стало два метра. И не то чтобы она отпрыгнула в испуге, просто как-то сразу оказалось: два метра — новое качество...

И мы поднялись по лестнице, держа новую дистанцию. «Может, она не узнала свой дом?» — думал я.

— Наконец-то! — Каринэ, жена друга, уже так волновалась, куда мы делись, звонила Жаклин, они так волновались...

«Интересно, — подумал я, — что же их так волновало?»

Я сдал Аэлиту Каринэ в целости и сохранности, из рук в руки.

А друг мой задержался, так и не приходил.

Дети спали, я хлебал суп, Каринэ ждала мужа. Где-то на втором плане из комнаты в комнату ходила Аэлита с подушками. Была она безучастна и царственно невозмутима — ничего не произошло, ничего и не было.

«Нет, не должен...» — вздохнул я с облегчением и разочарованием.

И еще был случай. Совсем незаметный.  
**Песенка**      Настолько «случай в себе», что его практически и не было. Никаких внешних событий в нем не наблюдалось, и зритель ничего не видел, но события внутренние были столь страстны и властны, что забыть их я не могу и горячо помню.

Я уже говорил, что маленьким детям в Армении предоставляется значительная свобода, которой уже нет у подростка, а тем более у юноши. Но хоть в детстве ею дают насладиться и запастись на всю жизнь... Это относится и к девочкам. Им тоже многое позволено из того, что не позволено девушкам. Они могут поднимать глаза, они имеют право смотреть.

Вот единственный женский взгляд, подаренный мне в Армении.

Девочке было лет десять-одиннадцать. Это была очень красивая девочка, и смотреть на нее было радостно. (Так я определил границу, когда становлюсь «невидимым», — лет с четырнадцати. В десять лет любопытство еще дозволено.)

Еще один дом, друга друга друга... Мы сидели на веранде, потихоньку пили и беседовали... Девочка вбежала, не ожидая увидеть чужого, и замерла с разбегу. О, какой взгляд! Отец похвастался красавицей, она еще раз обожгла меня взглядом, покраснела и убежала. Я был смущен тем, что был смущен... Но, право, продолжая беседовать, не переставал я чувствовать ее присутствие... Спиной, ознобом, кожей... Я с трудом заставлял себя не вертеть шеей и не шарить глазами. Она пробегала где-то в глубине двора... Вдруг показывалась из неожиданной двери... Отец ухмыльнулся в усы.

Так прошло с полчаса. Я разволновался от ее мельканий необыкновенно. Наконец она пропала надолго. Я почти забыл о ней, и неловкость прошла. Как вдруг — не сбоку, не из глубины, не тайком — она вышла прямо к нам и, подойдя вплотную, в упор посмотрела на меня. Я не выдержал ее взгляда. Щеки ее пылали, головка была смело поднята, взгляд открыт, и такая светлая решимость была во всей ее фигурке, что мне стало окончательно не по себе. Как бы испытал меня, она отвернулась и что-то горячо сказала отцу. Отец ответил коротко, ласково, но решительно. Девочка вспыхнула и произнесла целую речь. Я впервые ощутил все свои

границы сразу — я стал отличаться чуть ли не цветом кожи, чуть ли не негром почувствовал я себя на секунду — и все не мог поднять глаза... Девочка не просила — требовала. Речь ее была так пряма, горяча и горда, что отец сдался, хотя и с очевидным неудовольствием.

— Она хочет спеть... — сказал он.

Я изобразил на своем лице жалкую официальную радость, и на секунду в глазах девочки появилось презрение... Но тут она встряхнула (ничего не могу поделывать) кудрями, лицо ее осветилось, и она запела. У нее был прелестный голос, древняя песенка была очень красива, но теперь я мог смотреть на девочку не отрываясь, как бы не на нее — на певицу, восхищаясь как бы не ею — пением... Она умела петь, это была не детсадовская самодеятельность, она владела голосом и мелодией настолько свободно, что могла не владеть собой. Я не мог понять слов, но как мог я не понять взгляда! Вот уж кокеткой она не была...

Господи, что она во мне нашла?! Быть может, никогда в жизни не чувствовал я себя так жалко. Я видел как-то изнутри, до чего же я некрасив, стар, толст, нечист... Я сидел обрюзгшим мешком, и каждое мое движение казалось мне отвратительным. Мое лицо забыло, как не задумываясь сложиться в удивление, улыбку, восторг... Я пытался припомнить и выполнить за него эту работу. И это у меня не получалось.

Чувство мое было безнадежно, без надежды. И на что я мог надеяться?

Но каким бы жалким я себя ни чувствовал, в этом было счастье, возможность другой жизни...

И счастье это кончилось вместе с песней.

Голос ее дрогнул и замер. Все захлопали, нежно и медленно складывая ладони. На меня обратился ее страстный взгляд. И тут я струсил (хотя что бы я мог поделывать?): я заозирался — все хлопали... От смущения я вдруг неловко сложил свои чужие, краденые ладони... Боже, как изменился ее взгляд! Сколько презрения, стыда и жаркой ненависти объявилось в нем... Отец был прав: не стоило петь для меня.

Она уронила лицо, закрыла руками и что-то воскликнула несколько раз, досадное, обидное, от чего я

пропал навсегда — притопывала в такт своему гневу. И убежала.

Больше ни разу, ни в глубине, ни из боковой двери, нигде не мелькнула ее быстрая тень.

Я хотел, безумно хотел спросить, что же она воскликнула, закрыв лицо руками, но, слава богу, не решился.

Хозяин сказал тост. Я подымаю бокал. Я чувствую себя странно... Я заперт в этих стенах, я пленник и никогда не выйду отсюда... Утешаюсь тем, что вопрос той милой мамы не кажется мне уже столь бессмысленным.

**Попугайчики** Я завираюсь. Я ловлю себя на том...  
**(Антитезис)** Я все время ловлю себя за руку, однако продолжаю писать, как непойманный. Я ворую у самого себя невозможность каждой следующей страницы, с тем чтобы написать ее. И тут же ловлю себя на слове. Ловлю и отпускаю, кошки-мышки... Пиша, как не солгать? Обнаружив ложь, как не отшвырнуть перо? (Вот опять... Откуда же перо взялось? Когда машинка...)

Однако я забиваюсь в узкую щель...

Эта глава вся состоит из ряда путаных и непереваренных впечатлений, непереваренных в буквальном смысле, потому что не может человек переварить столько мяса и травы — даже зубы постоянно ныли от усталости... А пищеварение, от кого-то я слышал, тесно связано с головой. Это к вопросу о «богатстве», недавно затронутому.

К тому же и грипп, привезенный с Севана. Кому не приходилось простужаться на юге, тому этого не объяснишь. Жара, озноб; острый как бритва свет и скрежет чужой речи... Что может быть унижительней, чем неудержимо чихать на залитом солнцем, заваленном солнечными плодами, иноязыком и горячем базаре? Где моя национальная гордость, наконец?..

Она как насквозь мокрый носовой платок в кармане.

Всего этого более чем достаточно, чтобы ощутить себя несчастным.

Ничто, наверно, так не будит чувства родины, как обыкновенный насморк на чужбине. «Ностальгия аллер-

гика» — непристойный, чувственный, пышно распускающийся бутон...

Мы приглашены на арбуз. Об этом, кажется, была речь еще позавчера, так что это мероприятие. Для проверки ряда размышлений и догадок мне бы очень хотелось знать, имело ли бы место это мероприятие, если бы не мой приезд в Армению? То есть собрались ли бы все эти люди есть арбуз и без меня или они собрались все вместе за арбузом исключительно ради меня, точнее благодаря мне? Со мною, из-за меня, ради меня или благодаря мне? Но этого я, по-видимому, никогда не узнаю... Целый день мы катались по Еревану из конца в конец, прибавляясь по одному, чтобы осесть всем вместе у нашего общего, еще одного, друга вот на этой верандочке, выходящей во дворик-садик. А в садике перед самой верандочкой стоит огромная клетка с волнистыми попугайчиками, этими странными разноцветными птичками, выведенными людьми по каким-то их сокровенным представлениям о безоблачном счастье и радости...

И вот мы сидим. Мы сидим тут уже целую вечность — мы сидим тут всегда. Нарды, арбуз, попугайчики!.. Не знаю, в какой последовательности о вас повеждать и какую извлечь из последовательности мысль.

Мой друг играет с хозяином в нарды, а их друзья смотрят, как они играют. Это им никогда не надоест... Я не могу сказать, что никому нет до меня дела, но, если бы и было, никто не знает, что со мной делать. От попытки понять игру в нарды я отказался, вернее, отчаялся понять, и меня остается только кормить арбузом. Как всегда — кормить... Что со мной еще делать?

Арбузами до потолка завалена соседняя комната, и у меня такое впечатление, что мы призваны все их съесть прежде, чем уйти, потому что игру в нарды нечем остановить, как отсутствием арбузов. А их еще много. Арбуз — это не плод, как все считают, и не ягода, как его объяснили в школе, арбуз — это мера времени, приблизительно полчаса. В соседней комнате гора высотой с неделю... Как бой часов с репетицией — кто-нибудь роется в этой горе и долго выбирает два арбуза, один час, потом выносит их и заряжает ими холодильник взамен съеденных.

Значит, мы играем в нарды и едим арбуз. Рассказано это по очереди, но происходит одновременно. Арбузы выбираются, остужаются, нарезаются и съедаются. То есть съедаются уже давно остывшие арбузы, так что последовательность иная: арбузы нарезаются, съедаются и остужаются. Опять не так. Расставьте сами.

В одной руке у меня доля арбуза, в другую интеллигентно сплевываю косточки, и тогда я чихаю... Я кладу лопоту на перилы так, чтобы он не перевернулся, и он переворачивается, а зерна сую в карман, чтобы достать платок... О, этот платок с налипшими арбузными зернышками! Мне хочется плоско-плоско лечь на полу и чтобы по мне пустились петушки поклевать мою прорастающую травку...

Все-таки очень многого не знал я еще в этой жизни! Например, такого количества попугайчиков. Вряд ли это характеризует страну Армению. Но что я могу с ними поделать? Их было пятьдесят, не меньше. И все они галдели, и разноцветный их шум рябил в глазах, бесподобный по яркости, громкости, наглости и великой отрешенности от всего прочего мира, до которого им не было никакого дела. И все они целовались с какой-то непристойной торопливостью и деловитостью. Их разноцветные любовные треугольники и многоугольники, не обремененные моралью и не отягченные Фрейдом, создавались и распадались с такой же мгновенностью и легкостью, как в калейдоскопе: любовь их была воздушна и геометрична. Они были деятельны в любви, какая-то направленность была в их вращении: по-видимому, каждому перецеловаться со всеми, чтобы всем перецеловаться с каждым и поскорее начать все сначала, по следующему кругу. По времени, измеренному моей злостью, один их круг совпадал с одной партией в нарды. И пока расставлялись шашки для следующей игры, хозяин уходил к холодильнику, доставал остывший арбуз, вскрывал его с поразительным изяществом и проворством и раздавал зрителям ровные и красные доли, симметричные, как витринные муляжи... «Как галдят!..» — ласково улыбаясь и принимая арбуз, кивнул я в сторону попугайчиков. Я сказал это просто так, из вежливости, чтобы он не думал, что мне чего-нибудь не хватает... Но — не следует быть дипломатом!



Хозяин понял меня по-своему. «А... — сказал он сокрушенно и виновато, словно извиняясь за неприличное их поведение. — Очень глупые птицы!» С этими словами он взял здоровую палку и треснул по перильцам рядом с клеткой. Удар получился звонкий, как выстрел. Хозяин улыбнулся мне сконфуженно — мол, все с этим безобразием — и отошел к нардам. «Вот и о попугайчиках не поговоришь...»

Это было, конечно, эффектно: одним движением обрезать столько натянутых в разные стороны разноцветных ниточек их голосов и столько же прозрачных ленточек их движений! Это казалось невозможным — так мгновенно, одновременно и поголовно замереть и замолчать. Попугайчики остановились во времени, не только в пространстве — так казалось. Шок, летаргия, соляной столб, сомнамбула, седьмая печать... не знаю, с чем сравнить чистоту и абсолютность их остановки. Впрочем, и я ведь настолько не ожидал этого удара, что замер, как попугайчик.

Господи! Мир! Чем мы лучше? Не так ли и мы замрем, когда очередной ангел снимет с книги очередную печать! Не висит ли наш, покрашенный в синее, желтое и зеленое, глобус где-нибудь на ниточке в твоём саду? Может, земля — арбуз с какого-нибудь твоего райского древа? Не забыл ли ты о нас, задумавшись над очередным ходом в свои галактические нарды? А мы разгалделись... Лучше не вспоминай. Люблю тебя, господи, и надеюсь, что это взаимно, как поется в песенке...

Попугайчики все еще не опомнились. Они замерли так искренне, что, наверно, забыли, что они живые, и решили, что умерли... Милые глупые птицы! Как же им не подумать, что они совсем исчезли, если самих себя они не видят, а в движении и любви перестали себя обнаруживать? (Даже не моргают... Какое большое, размытое пятно видят они вместо нас перед собой?) Пятьдесят маленьких чучелков — только сейчас их и можно разглядеть. У них не наблюдается внутренних противоречий, но наблюдаются внешние: стройные тельца — и непонятная щекастость и толстомордость; солидность и благопристойность, даже чиновность, чичиковщина какая-то в лице — и такое легкомыслие!.. Как с такой благочинной внешностью столь открыто предаются они

любви? Даже непонятно. Словно это их служба. Любовь в мундирчиках...

Но вот ожил первый — Адам, — покрутил головой: ничего, а главное — можно! позволено жить. Затем другой... И вся клетка начала медленно просыпаться с той же постепенностью, как делаются в нарды первые стандартные ходы, прежде чем определится отличие и начнется партия. А через несколько секунд Адам уже возродил новое человечество: крик, любовь, измены — содом! А партия подходит к концу, хозяин достает новый арбуз, потом берет в руки палку, заодно пользуется случаем улыбнуться гостю, то есть мне, и... Ах, не могу!

Я решительно не понимаю, кто с кем проводит время: я — с ними? они — со мной?

Нарды, арбуз, попугайчики. Час, другой, третий... Расстановка шашек, первые ходы, игра. Разрезать арбуз, раздать доли, съесть арбуз. Рождение попугайчиков, жизнь попугайчиков, смерть попугайчиков. Четвертый, пятый, шестой. Арбуз, улыбка, удар. Мысль о нардах, мысль об арбузе, мысль о попугайчиках. Время, где ты?

Я заперт, я в клетке. Каждый день меня переводят из камеры в камеру. Питание хорошее, не бьют. Сколько времени сижу, не знаю. По-видимому, скоро придет приговор. Не знаю, увижу ли тебя, родная...

Я в клетке — на меня все смотрят. Нет, это они все смотрят на меня из клетки! А я-то как раз снаружи! Всех обманул...

Меня посадили в яму времени. Девочка с пением уже сбегает с гор, несет мне свой кувшин... Кавказский пленник. Узник находит однажды в кармане затерявшееся арбузное зернышко... Сажает. Ждет ростка. Росток — это те же часы: он распустит листья и затикает вверх, вверх.

Безвременье мое проросло наконец. И что бы я понял, что увидел, если бы не сумел тогда, в одной клетке с попугайчиками, постичь, что, кроме моего, существует иное, их время? Если бы тогда я не сумел отказаться от своего времени, не махнул бы на него рукой, не было бы у меня времени в Армении, а были бы часы, сутки, килограммы, километры непрожитого, пропущенного, действительно потерянного времени, взвешенного на браслетках, будильниках и курантах.

Только потеряв свой будильник, мог я прожить в настоящем времени несколько дней на чужой земле, а если непрерывно прожить в настоящем времени хотя бы несколько дней, то вспоминать их можно годы. Настоящее время относится к тикающему, по-видимому, так же, как время в космосе при скорости, близкой к скорости света (что-то из Эйнштейна), к земному. Настоящее время мчится с субсветовой скоростью, оставляя глубоко под собою прошлое и будущее, навсегда привязанные, стыкованные, притянутые друг к другу до полной остановки.

Я хотел посвятить эту главку оговоркам. На полях моей рукописи, по краям моих славословий скопились стаи птичек, галок, нотабене. Они были черноваты и вытеснены из текста. Мне вдруг показалось, что они не помещаются, потому что я начал лгать. Потому что на самом деле все отнюдь не было так прекрасно, как я пишу. Мне казалось, что, совместив восторги с неудовольствием, я добьюсь правды повествования.

Куцая, козья мысль! Слава богу, другая правда, из свиты истины, вынесла меня в настоящее время, подсказала мне то, что я не знал, и утвердила себя помимо моей неуклюжей воли.

И мне не надо тяжко потеть над реализмом черных страниц.

Оговорки оговаривают прежде всего того, кто их делает.

Да, у меня насморк, несварение, ностальгия, и я в плену собственных впечатлений. Самостоятельной правды нет ни в восторге, ни в неудовольствии. Так же не добьешься ее, играя в диалектику и примитивно прикладывая их друг к другу.

Правда же и диктуется только правдой. И правда этой книги в том, что, дописав ее до середины, я обнаруживаю, что уже не в Армении и не в России, а в этой вот своей книге я путешествую. Пусть это даже некая фантастическая страна, домысленная мною из нескольких впечатлений по сравнению. Страна гуингнмов... И сам я новый Гулливер, лилипут, великан и сопливый йеху одновременно...

Я испугался, что забираю все более высокий и уверенный тон лишь для того, чтобы убедить хотя бы себя в том, что продолжаю следовать действительным собы-

тиям, когда я им уже не следую. Опыт подсказывал мне, что приблизительность речи может скрасться за модуляциями голоса, незнание — за интонированием, неуверенность — за апломбом... Что убедительным тоном говорят именно лжецы. О, как трудно быть объективным своими нищими силами!

Да нужно ли?

Эта книга — все-таки акт любви... Со всей неумелостью любви, со всей неточностью любви же... Кто сказал, что любовь точна?

Так пусть же все и остается, как написано.

Любовь не лжет. Лжет желание любви.

Любовь не взвешивает своих признаний на весах объективности, у нее нет ни колебаний, ни выбора между «да» и «нет», а есть граница между ними, как между верой и безверием. Это нелюбви принадлежат тяжкие усилия быть честной, справедливой и объективной, у любви нет этих затруднений. Итак:

«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить».

## ГЕХАРД

**Врата** «Где он был?» — спрашивали про меня моего друга. Он перечислял. «Надо ехать в Гехард», — выслушав его перечисление, твердо и всегда говорили все. Единодушные это было утомительно, как сговор. Что Гехард? Где Гехард? Пожимали плечами. Никто не пробовал объяснить. Увидишь.

Гехард для меня был лишь имя, настойчивый, даже назойливый звук. В этом, как потом оказалось, уже был своего рода залог.

...Армянский простор, помахав, как бабочка, крыльями, потрепетав, вдруг сложил их, как бабочка. Бронзовый лев, необыкновенно похожий на кошку, повернул к нам голову и приподнял лапу, обозначив, что мы приехали. (Несколько позже, увидев такого же льва на древней стене, я понял, откуда взялся гений в профессиональном современном скульпторе.)

Лев стоял на красиво-высоком столбе в горле ущелья. Мы въезжали в это горло как бы все стремительней по мере его сужения, ускоряясь и ввинчиваясь, как вода

в воронке. И, сло́жив крылья, вдруг с тихой легкостью очутились в ущелье.

И тут же кончилась сытость. Ясный голод и озноб зрения... Само это место было как храм. Оно было выстроено посреди простора, из простора. Как храм, оно имело вход (у врат стоял лев), и лишь за вратами открывалось помещение, как вздох и смущенная тишина речи.

Зрение здесь звучало.

Из простых щек теснины, где увязал ветер, как дыхание музыканта в мундштуке трубы, вырываясь завитками раструба на простор, рождался зримый звук, необыкновенной широты и круглости одновременно. Мы оказывались в царстве, из которого нет возврата, хотя этой невозможности вернуться еще и не сознавали, и потому страшно еще не было.

Пока мы дышали восторгом — и нами дышал восторг. Восторг пока еще легкомысленный, без часа расплаты — туристский...

Слева, как хор, поднимались скалы. Низкого, тепистого, плотного звучания внизу, они росли вверх, светлея и утончаясь, несколькими ступенями: вступали все новые, все более высокие голоса, и наверху выветренные стрелы были уже как хор мальчиков; вправо и вниз, сворачиваясь спиралью, как раковина оркестра, лежало дно котловины: с духовым серебром ручья, зеленью, кудрявой, как флейта, спокойными и уверенными лбами ударных — валунов и глыб, — земная понятность придуманных инструментов, исчезающих в тайне человеческого голоса, как деталь в машине, как черта в лице, как лемех в земле — орудия труда и предмет того же труда. Все это пропадало в хоре скал. С берега ручья вился дымок, вокруг копошились точки исполнителей: паломники жарили шашлык, и необыкновенно красное платье среди них казалось первым листком осени.

Перед нами стояла церковь, стройная, цельная, конечно тысячелетняя, и была она как подсобное помещение в этом естественном храме и уже не вызывала трепета. Ее крепенькие стены со светлыми прямоугольниками современной штопки на стенах, ее свежецинковые крыша и шпиль еще подчеркивали это впечатление служб при храме. Церковь же не была в этом ощущении повинна, поскольку во всех отношениях была шедевром, и никто,

кроме окружающей природы, у нее этого титула не мог отнять.

Но за ней подымался новый хор скал, и церковь, приткнувшись к подножию этого отвесного звука, была лишь одним из исполнителей дивной музыки, одним из многих и забытых виртуозов прошлого. Ибо что такое исполнитель перед музыкой? Служитель, не творец же...

Небо было крышей этого храма. Еще недавно, пред вратами, оно бледно голубело, вяло накрывая простор, а тут, очерченное хором скал, приобрело необыкновенную, глубокую и близкую, синеву.

— Господи! — воскликнули мы, глядя на эту застывшую в верхней, высшей точке музыку, и за спиной, как крылья, были ощутимы вскинутые руки ее дирижера и творца — вечное, единственное, первое исполнение. — Господи! — воскликнули мы, утратив суетный стыд перед банальностью и утратив банальность вместе с этим стыдом. — Выбрали же место!

## Восхождение

Да, это был природой уготованный храм, и так понятно, что он стал цитаделью и обителью раннего, гонимого христианства (армяне приняли христианство задолго до нас, в IV веке). Это место, столь неожиданное в Армении, столь ни на что в ней не похожее, которого просто и быть не может (но раз оно есть, то уже и не может не быть), было сначала создано специально для этой цели, потом ждало, безлюдное, своего часа, а потом было угадано первыми верующими...

Но место это, как оказалось, еще не было Гехардом. То есть, конечно, оно носило это название, но это был Гехард без ударения на этом слове, это был просто Гехард. Тысячелетняя же церковь при этой местности тем более не могла быть тем Гехардом.

...Мы взбираемся вверх к древним пещерам-храмам, на первую ступень скалы, нижнюю нотную линейку. Входим. Время проваливается. Тесные, мелкие пещеры с закопченными неровными стенами напоминают забой. Даже следы шпуров обнаружил я, бывший горный инженер. Грубые ниши для образов, мелкие чаши для жертвоприношений, узкий желоб для стока крови, древняя, немажущаяся копоть кровли — и свежесыцарапанные имена, символы новой туристской эры, и современ-

ные цветные лоскутки (молитвы об излечении ближних), и современный воск растаявших свечей — сталактиты этих пещер. Какая скромность и величие веры в этих нищих каменных углах.<sup>1</sup> Храм был создан самой природой, а пещеры — его алтари. Никакого нарушения природной гармонии, никаких вмешательств и модернизации естественного храма. Скажешь слово — низким голосом откликнется скала, словно просыпается застывший в скале музыкальный строй. Тут была только молитва, и праздно сюда не придешь...

Вылезает на свет, застенчиво щурясь. Рассматриваем, гладим выбитые на поверхности скал кресты. Кудрявый армянский крест! Как постепенно и прекрасно приобретал он свои канонические черты. Ни один не повторяет линий другого. Меняются пропорции, мягкость и округлость исчезают, тают, кресты становятся прямей и строже. Но первый крест — это цветок о восьми лепестках. Лепестки сближаются попарно — крест с расщепленными концами. И то ли крест произошел из цветка, то ли художник уподоблял символ природе и жизни, раздвигая концы, раздвигая их и приближая очертаниями к цветку, — неизвестно, и спросить не у кого.

Спускаемся, проходим позднейшие, такие внешние врата высокой церковной ограды и направляемся к этой крепенькой и ладной церкви с куполом цинковым, как ведро. Я рассматриваю ее равнодушно и праздно и в упор не вижу. Сейчас, думаю, мы попадем внутрь...

Но нет, мы снова начинаем карабкаться вверх, вдоль стены вросшей в скалу церкви.

— Пройдем сначала так, — мягко и настойчиво говорят мне.

— Что там?

— Сейчас увидишь.

О, эта достойная манера не предвирать впечатление восторженными рассказами! Ни разу я толком не знал, куда и зачем меня ведут, и радости встреч не размени-

---

<sup>1</sup> Эти пещеры — ключ к истории нации. Армян резали как «неверных», но на самом деле их уничтожали именно за верность — земле, языку, Христу. Они теряли жизнь, но не теряли родины. Если бы, следуя естественному инстинкту самосохранения, они уступили веру, возможно, было бы пролито меньше крови, но нация бы растворилась и исчезла. Для армян слово «Гехард» — не только название святого места, но и некое образное понятие. Гехард — оплот веры. Словом «Гехард» можно объяснить многое.

вались на предварение и представление. Пещерные мо-  
дельни первых христиан тоже, оказалось, еще не были  
тем Гехардом.

Высокое, но короткое чувство, возникшее там, не сов-  
падало с суетной городской бодростью, прочно жившей  
в нас. Мы громко говорили, не глядя друг на друга.  
Впрочем, раздвоенность наша не была нами осознана, и  
мы лишь безотчетно стремились принизить высоту на  
миг вспыхнувшего ощущения. Наш взор развлекался  
деталью: росписью туриста на немыслимой высоте, про-  
давцом фотографий генерала Андраника, куцей дощеч-  
кой: «Не сорить», пасекой, такой вдруг прекрасной и  
естественной на земле монастыря... Два работника копо-  
шились около ульев... Чувство наше снижалось, нам ста-  
новилось все легче, и, освободившись от смущения, мы  
стали как дети. Мы свернули с тропинки и закарбка-  
лись вверх по скале с неуместной спортивностью. Где-то  
мы потеряли себя, и наше одышливое, грузноватое маль-  
чишество было несколько стыдно, по-видимому, каждому  
из нас. Но по отдельности, не вместе.

И сейчас мне кажется, что я понимаю, что же застав-  
ляет туриста выцарапывать свое имя, сорить, петь песни  
и фотографироваться в самых не подходящих местах —  
так сказать, осквернять памятники истории и природы...  
Высоко ведь, невыносимо высоко, до звона, стоит этот  
памятник по отношению к его невежественной душе! И  
в этой душе, такой неловкой, необученной, невнятной,  
рождается отзвук, и этот отзвук непонятен ему. Что, как  
не полное смятение чувств, может выкинуть его на столь  
смертельную (физически) высоту (физическую) — не  
только ведь девушка, стоящая внизу (не забирается же  
он на столбы или на стены домов в городе)? Думается,  
зрение истинного величия и красоты глазу неподготов-  
ленному столь же раздражительно, как резкий свет или  
звук, и все реакции отсюда — по Павлову...

Почему громили варвары?

Кто же мы были, как не испорченные дети, в зрелом  
и совершенном обществе храмов и скал?..

Ну уж мы-то, писатели, могли полагать себя более  
подготовленными к совершенному зрению?.. Но нет. Так  
давно мы стараемся говорить правду миру и не говорим  
правды себе и друг другу. И теперь не только оттого не  
говорим, что скрываем, но и потому, что уже не знаем.



Имен мы не писали (мы их уже видывали напечатанными, разве поэтому), но у нас то же самое принимало другие формы. Этот наш прозаизм, я бы даже сказал повеллизм, судорожно отыскивал детали самые заземленные и низменные.

Так, карабкаясь, увидели мы на балконе второго этажа жилого дома, расположенного напротив храма, старика священника... Он сидел за столом и смотрел в книгу. Какая-то девушка, на втором плане, подавала на стол, появлялась и исчезала. Старик сидел совершенно неподвижный и смотрел в книгу (именно смотрел, не читал: казалось, и взгляд его, издали невидимый, был неподвижен). Был он разительно красив — с орлиным профилем, высоким чистым лбом, седыми кудрями, тощий, младокожий, бледный... Ах, как бедны слова по отношению к красоте канонической, совершенной, древней! Он не был артистичен или иллюстративно красив, этот старик, — он был так же высоко, идеально, абсолютно красив, как Гехард. И неподвижен, как здешний тысячелетний камень. Он сел обедать и раскрыл книгу, но он сидел тут всегда, вечно — так казалось, на него глядя, — и даже стол перед ним с едой и питьем никак не мог заземлить его облика... Я и мой друг, мы одновременно и одинаково увидели этого старика и поняли это, поймав взгляд друг друга. «Какое лицо!» — пошло сказал я. «Да... — сказал мой друг, умный человек. — Вот я думаю, будь я так же красив, веди святую жизнь, доживи до таких волос... Может ли у меня быть такое лицо? Невозможно. Никогда». И опять это было для нас слишком высоко, чтобы уж все, совсем все, даже люди тут были так прекрасны!.. И приятель друга, шедший за нами, поэт, говорят, интересный, сказал, унижаясь, с нехорошей улыбкой: «А самое смешное, если он вот с таким лицом рассматривает сейчас порнографические картинки...» — «Ужас! — сказал я со смехом. — Самое ужасное, что это вполне может быть...» Ах, пусть он читает все что угодно, но, именно раз мы можем так подумать про него, у нас никогда не будет такого лица!

И тут мы достигли неведомой мне цели. Небольшой вход, вырубленный в скале, напомнил мне входы в древние молельни, только что посещенные. Молча меня пропустили вперед, и я шагнул в темноту пещеры...

Ах, мы были шалунишки!..

## Вершина

Это и был Гехард... Я стоял в центре, задрал голову. Там, высоко надо мной, был небольшой голубой круг — оттуда и проникал сюда свет. Там было небо. «ОН начал оттуда... через это отверстие ОН и выдолбил весь храм...» — детским шепотом сказал мне друг. И хотя я стоял глубоко внизу, до сих пор внутренним взором я вижу этот храм сверху вниз, как видел, по-видимому, ОН, стоя там, на скале, наверху, когда храма еще под ногами его не было...

От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода, и, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял, — и тогда уже купол покоился, опираясь, на четырех колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялось на четыре стороны от каждой четверти круга четырьмя округлыми лепестками полое тело храма; там уже, в далеких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основание, — там уже я стоял, на плане. На плане угадывался все тот же армянский крест-цветок...

Там уже я стоял, на дне... В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз неба. Все это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны — такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел.

ОН... выдолбил... во-он через то отверстие, сверху вниз... весь этот храм... Кто ОН? Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек, верующий, как бог. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры — вот что Гехард.

Никакого крепления в храме не было.

Храм уже был в этой скале, надо было только выдохнуть оттуда камень... Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только царапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчета, потому что там был именно этот храм, эти формы и эти очертания. ОН верил и видел единственное, вот и все. ОН мог бы и не молиться, и не ходить в церковь, и не знать слова божьего — в нем был бог. У него не было чертежа, ОН имел в своем мозгу столь честные и чистые своды, что перенес их сюда и ошибки быть не могло. Его мозг стал подобен будущему храму, храм же был подобие бога.

Это сейчас я нанизываю косноязычную логику слов — у меня нет другого выхода. Тогда же у меня не было слов, и не могло быть, и не должно было быть — меня не было. И я стал подобен ЕМУ, та же немота, то же отсутствие себя, та же вера жила теперь во мне, потому что я был заключен в его честный и чистый мозг, в его веру, в его цельную и единственную мысль, где никакая другая уже существовать не могла. Это было ЕГО бессмертие.

Но долго наша несовершенная душа этого не могла вынести. Мы переглянулись наконец. И тогда мои друзья, вспомнив, что мне надо показать, как гостю, все, таинственно разошлись в стороны, оставив меня в центре, и остановились каждый у одной из колонн. И запели. Это была старинная армянская мелодия, медленная и скорбная. Эхо многократно повторило их голоса, и вся скала отозвалась, как колокол. Мы и были внутри каменного колокола, как ботало. И многоголосие это было столь же органичным и гармоничным, как и линии храма, да и не могло быть другим. И линия и звук были подчинены здесь одному закону... Разве наше разветвленное знание не есть потеря знания единственного, единого закона? Когда нет этого закона, тогда уже, конечно, — архитектура, чертежи, правила, расчеты, физика, акустика, машины — муравьиное совершенствование обломков единого и цельного, нами утраченного...

Песня была прекрасна, но после пения мы уже могли вынести усталые от прямой нагрузки души на божий свет.

...Просто скала, ничем не нарушенная, обыкновенная. То же, такое внешнее, светское тело церкви... Но когда я поднял глаза вверх и увидел те прекрасные скалы, что уходили так строго ввысь и там остывали стрелами в синем небе замолкшим на верхней ноте хором,— то же великое подобие еще более поразило меня. Оно было теперь обратным. Теперь эти скалы были подобны храму, из которого я вышел. Этот храм был более перво-зданным, чем природа, и теперь природа уподоблялась ему. Все это дивное место и небо были подобны творению, только что виденному, да и были творением.

Тут все, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чем же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чем-то, как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо...

Богослужение в этом храме не прекращалось никогда, свечу можно ставить на любой камень.

**Побег** Мы поднялись еще выше, и, уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул я в то голубое отверстие, откуда ОН начал... Это была черная немая дыра. «Вот почему,— сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру,— вот почему я так редко бываю тут... Если бы не ты, то и не был бы... Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?..» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, все более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга» (ее не было, когда мы поднимались), водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так, что черная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем вблизи, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик — нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа ее перед собой в щепоти пальцев. Кисть его была так же одухотворена, как и лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу: так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости

простым величием,—веки его были чуть опущены, но лоб, чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как веко. Ох, мы были не правы. Не было книги, не было свечи! Ничего уже не было.

То же красное платье мелькнуло внизу у ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх, — сказал шофер, — была бы у нас бутылка, мы бы могли сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку...»

Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула! Никто не обернулся. Когдаходишь — все отворяется тебе, но когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва.

А уж тут, а уж тут нас ждали одни радости. Все легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду, мы останавливались, ели шашлык и пили водку и наконец к закату достигли Гарни. Гарни — это единственный в Союзе языческий храм. Развалины его. Гарни — это прекрасно.

Но тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у смотрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохатывали, ржали, улюлюкали, гикали... Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной... Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами все глубже темнело.

И наконец мы ехали назад, в город Ереван, оставив все позади и не заметив перехода, веселенькие, шумные, такие счастливые! Уже ночь спустилась, шофер лихо заламывал руль на повороте, бабочки прядали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни, и я чуть ли не подпевал им, такой умиленный, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана.

Мы расстались, пожав друг другу руки.

Все очень просто: небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась,—всего лишь еще один день прожит, до свидания, до завтра.

## СТРАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЯ

### «Раньше и теперь»

Чем естественней и глубже становилось мое пребывание в Армении, тем расплывчатей и удаленней была конкретная цель моего сюда приезда. Пока я приспособливался, вживался, пока мне было не по себе, цель эта еще жила, вполне совпадая с общей неловкостью положения. Но как только я начал жить, тут же, словно некую верховную темную силу не устраивало, чтобы я жил, из памяти выплывало, как возмездие, и погрозило пальцем: не живи.

Срок командировки истекал так же неумолимо, как еще в дороге истекают суточные. Час расплаты надвигался, честный и чистый образ главного бухгалтера редакции беспокоил и смущал.

«Раньше и теперь» — таково было мое задание. Взволнованный лирический репортаж о современном градостроительстве.

Только теперь начинал я постигать всю меру того легкомыслия, которое позволяет людям передвигаться с места на место по собственному желанию. Соблазн — это надежда на бесплатность. Платить же приходится не за вход, а за выход. И мне надо было выходить из положения. Вошел-то я в него более или менее с легкостью. Так, затухая, думал я, постепенно подводя себя к уровню задания.

Во-первых, «раньше». Я не знаю, как было раньше. Мне было предложено прочесть очерк М. Кольцова, чтобы знать, как раньше. Но даже очерка этого я все еще не прочел.

Во-вторых, «теперь». Оно требовало безусловно восторженного к себе отношения. Это вытекало из задания и было, по заданию, ясно. Восторгов было более чем достаточно, но все они будто не имели отношения к заданию. Ну прямо как в школе — все, кроме уроков... Я бы покрасил забор Тому Сойеру.

Школярские, предэкзаменационные мысли...

Я ходил по Еревану и рассматривал его современные ансамбли. Они были так хорошо исполнены, словно даже восторг отношения к ним был учтен архитектором и направлен по нужному руслу. Они были выстроены так,

чтобы вы не могли их не заметить, чтобы вами овладевал восторг в обязательном, рабочем порядке.

И тут невнятная мысль приходит в голову. Что лучше: совсем плохое плохое или плохое несколько получше? Такое, что почти хорошее? Сразу избобличающее себя, постепенно изживаемое временем или годное до сих пор? То есть, представляя себе эпоху, когда был сооружен, к примеру, ансамбль площади Ленина, легко допустить, что это почти невозможный предел органичности, вкуса и естественности для своей эпохи, что для воплощения этого замысла потребовались смелость и талант, почти дерзкие. И современники ощущали ветерок прогресса на своем лице. Но что-то случилось за эти годы — а здания остались стоять, хотя время их ушло. Они стоят в ином времени...

Не так-то легко разграничить «раньше» и «теперь», как может показаться на первый взгляд. Если бы это сводилось лишь к различению зданий, недавно построенных, от зданий, построенных давно, деревьев выросших от деревьев, недавно посаженных, и т. д., то такая формальная задача вряд ли интересна — естественный навыв, часы. Если же искать границу между прошлым и настоящим, то это просто физически невыполнимо, потому что граница эта сползает каждую секунду, каждую минуту, и каждый шаг, каждый вздох невозвратим, каждая написанная строка уже написана, а не пишется... По сути, настоящее и есть эта граница с прошлым. Если же провести эту границу по какому-либо важнейшему историческому рубежу (как естественно для нас проводить ее по 1917 году), то ведь и пространство между этим рубежом и сегодняшним днем все растет и заполняется прошлым, и в это пространство уже легко вмещается и человеческая жизнь с ее личным прошлым, как, например, моя... и сравнение становится все более умозрачительным и далеким.

Значит, только «сейчас» или, самое большее, «только что» — вот реальный мой материал, о котором я могу успеть сказать в настоящем времени, пока все не умчалось в далекое прошлое. И так ли важна дата творения, если творение живо и дышит до сих пор? Если здание, возведенное тысячу лет назад, и здание, вчера законченное, стоят по соседству сегодня, то они современники. В этом смысле все живое — современно. И то, что

они стоят рядом, и есть теперь, а не только то, чего вчера еще не было. Мир населен не одними новорожденными...

Так что, о чем бы я ни писал, только настоящее интерсует меня, только живое: и только что родившееся и давно живущее, и возникающее и уходящее в прошлое, но еще не ушедшее.

Только теперь, думал я, только теперь...

И ничего не мог видеть после Гехарда.

## **Контрольная работа**

...И следующее утро наступило, укоротив мою командировку еще на день, а я так ничего и не предпринял, но и жить, радуясь тому, чему радовался еще вчера, тоже уже не мог.

В это утро у меня было назначено свидание с одним крупным деятелем города Еревана, энтузиастом и вдохновителем современного городского строительства — по всем свидетельствам, человеком во многих отношениях замечательным.

Все более совестно становилось мне при воспоминании о всех тех людях, что шли мне навстречу: придумывали тему, чтобы я мог сюда приехать, оформляли командировку, выписывали деньги, помогали советом, интересовались устройством моего быта, предоставляли редакционную машину.

Теперь они все чего-то от меня ждали. Я должен был не подкачать и не подвести.

Я вышагивал по утреннему городу, радостно отмечая в себе, что был не прав, что город мне нравится все больше и больше — просто я заостенел в субъективности и т. д. И действительно, утром город смотрелся. Чистый и нежаркий, с еще длинными тенями, он был тих и скромен, и розоватость ему шла.

«Ереван следует смотреть рано-рано утром...» — так я начну очерк. «Да, именно так я его начну», — бодро сказал себе я, перешагивая порог большого учреждения.

Без трех минут одиннадцать, довольный своей точностью, я представился секретарше. Она скрылась в кабинете и тут же объявилась: меня просили чуть обождать.

Все пока не расходилось с эскизом, уже возникшим



во мне из рассказов различных людей об этом человеке. Рассказы эти носили всегда и только положительный характер. Никто не сказал о нем дурного слова, несмотря на его высокое положение. Но всегда вместе с высокой похвалой постепенно проявлялась некая полуулыбка, улыбочка, не насмешливая, не скептическая, скорее уж добродушная, но — до конца мне не понятная. «Да, да! — говорили все. — Исключительный! Порядочный! Знающий-понимающий!» Само единодушие в оценке этого руководителя было исключительным и отнюдь не объяснялось боязнью или осторожностью, что было бы сразу заметно. И действительно, порядочный и знающий человек на своем месте — явление, достойное всяческого одобрения... Но... тут возникала полуулыбка. Нет, никто не говорил «но», это я говорю «но», на месте «но» была половина улыбки. У некоторых она была без слов, на ней все и кончалось. Один сказал: «Он любит подчеркнуть свое сходство с Н., вот увидишь». Это мне мало что говорило, поскольку о внешности Н., замечательного армянского поэта, я имел еще более отдаленное представление, чем о его стихах. Другой сказал: «О, это актер!» Замечание, впрочем, было лишено язвительности: так, просто — актер, и все...

«Спросите его, сколько лет он не был в отпуску», — посоветовал кто-то, совсем уж загадочно.

И что-то проступало в моем воображении, неотчетливое в чертах, но определенное в характере, и мне уже не терпелось сличить эскиз с оригиналом. Пока все совпадало: и маленькая, опрятная, демократичная приемная, наводившая на мысль, что передо мной руководитель не из тех, что в первую очередь заботятся о солидности своего обрамления, а даже из тех, у кого руки до себя не доходят; и секретарша, не красавица и не бывшая красавица, а в самый раз; не высокомерная и не фамильярная, не эффектная и не уродливая, будто и нет ее и есть она... Все пока было так, как костюм от аристократического портного: и сидит превосходно, но не заметишь, как сшито и из чего.

Тут из кабинета вышел некий ходок — старец-горец, чуть ли не в бурке, чуть ли не барашек выбежал впереди него — представитель народа, простой человек... Секретарша тотчас сняла трубку и попросила меня войти. Было ровно одиннадцать, секунда в секунду.

Он сидел в дали большого и длинного кабинета и говорил по телефону. Я приостановился, закрывая за собою дверь, мы встретились взглядами и какую-то долю секунды как бы покачивались, устанавливая равновесие, как бы на концах одной доски. Потом он перевесил: точным кивком, не суровым и не нарочно любезным, он попросил меня подойти. Мой конец поднялся, и я легко, как под уклон, направился к его столу. Это было время, пока я пересекал пространство между нами... И это было именно пространство, потому что ничего, кроме его стола и пары кресел, в кабинете не было. Это до меня даже не сразу дошло — самое вопиющее отличие его кабинета... В нем не было ни буквы «Т», ни буквы «П». То есть никакого такого стола для заседаний. Ни графина, ни стакана. И телевизора там не было. Не помню точно, была ли там модель парусника, но картины над головой, кажется, тоже не было. Это был кабинет, из которого все вынесли. Но — как бы сказать поточнее — это не был и кабинет, в котором никогда ничего не стояло из того, чего сейчас в нем не было. Опять же не уверен, действительно ли более светлый прямоугольник паркета обозначал исчезнувшую палочку от буквы «Т» или только квадрат менее выгоревших обоев обозначал бывшую картину. Во всяком случае, таково было мое впечатление, что сидит он под не висящей над ним картиной и что я обхожу не стоящий перед ним стол для заседаний в виде палочки от буквы «Т».

Я подошел к его столу (это был обыкновенный канцелярский столик на месте прежнего океанского стола, и на столе ничего не было) ровно в ту секунду, как он закончил разговор и уже клал трубку, вставая со стула и протягивая руку. Нет, он не заканчивал торопливо разговор, так же как и не тянул его до той секунды, когда я подойду, — он просто успел его вполне закончить к этому моменту. И он не протягивал мне руку, продолжая разговаривать, не указывал на кресло, прижимая трубку плечом к уху, и не пожимал плечами, и не разводил руками, и не строил нетерпеливую гримасу невидимому собеседнику, он не швырнул трубку, закончив разговор... Нет, он попрощался с абонентом, положил трубку, повернулся ко мне и протянул руку, не заставив меня ждать ни секунды. Но — как бы сказать поточнее, — он все-таки именно успел все это сделать, и удовлетво-

рение от этого при всей сдержанности таки отразилось на его лице какой-то светлой тенью или бликом, и то, что он не посмотрел на часы, чтобы убедиться, что секундная стрелка стала на 60, объяснялось лишь тем, что он умел владеть собой.

Такой это был человек.

Мы еще раз покачались в равновесии, теперь уже вблизи, на более точных весах, на двух концах рукопожатия. И рука, и ее пожатие были безупречны: ладонь была сухая, но не шершавая, пожатие уверенное, но не сильное, — и в чистоте рук не возникало сомнений. Он нажал рукой на чашку моих весов — и я опустил ся в кресло.

Это был короткий и уместный взгляд при рукопожатии, и пауза его, его некоторая длинность, едва ли даже могла быть ощутима, но была. Мы еще раз взглянули друг другу в глаза и как бы поняли друг друга. То есть либо мы действительно поняли друг друга, либо каждый из нас по-своему понял другого и постановил оставаться в этом понимании и упрочаться в нем... Во всяком случае, этот взгляд означал, что, включившись в игру под названием «интервью», мы оба беремся не отступать от правил и не выходить за рамки избранной условности, где каждому очевидно, о чем и как нужно говорить, что отвечать и что спрашивать (именно в этой последовательности, то есть ответ обуславливает вопрос). И если так, просто неэтично было бы производить тайком измерения и на другом, необусловленном уровне. Так же неэтично, как приставать со служебной просьбой в бане.

И если так, то я очень виноват. Но полагаю, что и у него осталось от меня кое-какое «второе» впечатление.

Так вот, он взглянул на меня прозрачными зелеными глазами, очень шедшими к его неправильному матовому лицу, и встряхнул чубом, как бы с легкой досадой, что это встряхивание тоже очень ему шло. И тогда легким, неуловимым жестом он как бы смахнул с лица паутинку. Этот жест... я его уже видел.

С внезапной убежденностью и непреложностью я понял, что этот-то жест и принадлежит поэту Н., о котором теперь уже я имел более отчетливое представление, хотя бы внешнее. Именно так: не о моем градостроителе (он как раз стал внешне менее отчетлив в этот момент), а о поэте... Это меня поразило, что похожесть столь само-

стоятельное качество, даже при отсутствии в поле зрения предмета сходства. Но это — в сторону.

Это был прекрасный мужчина, очень хорошо сохранившийся и выглядящий, в то же время без вульгарности цветущего здоровья и молоджавости: он был идеалом своего возраста, и только эта идеальность соответствия несколько молодила его. В общем, он был физически интеллигентен. Рубашка была идеальна, как и выбритость его щек, причем идеальна в том дивном смысле, что одновременно не выглядела только что вынутой из комода, так же как и щеки его скорее наводили на мысль о кофе и хороших сигаретах, чем о помазке.

Он предоставил мне начинать, и, пока я ползал, формулируя тему, мне и самому-то не вполне ясную, он прозрачно смотрел мне в глаза, внимательно слушал и молчал, впрочем, исключительно как вежливый, умеющий слушать и не перебивать человек.

Я же, хотя и обращал по ходу дела свою неумелость в игру неумелости, чтобы внутренне поддержать себя, все-таки действительно мычал и плавал и чувствовал себя все более неуютно под его внимательным и умным взглядом.

— Вы знаете, — из меня потекли жидкие слова. — Я совсем не специалист в вопросах строительства, и более того, не журналист в прямом смысле... — «Более того, идиот, — подумал я за него, — в прямом смысле». — Начнем с того, — сказал я, — что я ничего не знаю, кроме того, что Ереван знаменит среди прочих городов своим строительством... Что, — говорил я, — вряд ли возможно за короткое время войти глубоко в курс, а по-дилетантски мне выступать, естественно, не хочется, да и вряд ли читателю интересно иметь дело с цифрами; что все мы, простые люди, видим изнутри наружу — из окон своих квартир и учреждений, и взгляд наш частен и дробен, а как раз интересно бы узнать мнение человека, смотрящего снаружи внутрь, то есть, — пояснил я, — не забывающего о категориях большого и целого, и интересно бы было бы... — Я иссякал, а он слушал. Наконец, как бы взглянув на свои внутренние часы, тем решительным и порывистым движением человека, который не привык терять время, который давно все понял с полуслова и даже прежде, чем я открыл рот, и лишь из вежливости терпел мое пустое многословие, он вступил в игру.

Безупречность была его единственной слабостью.

— Архитектура как средство воспитания человека, говорите вы? — «Когда я это говорил?» — забуксовало у меня в мозгу. — Да, это так. Человек — безусловно, первый фактор в строительстве. Не что мы строим, а для кого мы строим. Его духовный мир, его завтра — вот что должно прежде всего заботить нас, пока все находится на бумаге, в чертежах, а не в камне. Не о сегодняшнем дне, не о сроках и процентах — об этом мы привыкли думать, а что будет через пятьдесят лет?! — Голос его зазвенел. — Часто ли мы задаем себе этот вопрос? Мы все говорим, что строим во имя будущего... Мы привыкли произносить эти слова, совершенно не вникая в то, что они значат. Мы, как правило, совершенно не думаем о будущем, о том, каково будет людям в построенном нами мире... Погрязая в мыслях о производстве, экономике и плане, мы как раз и не думаем о завтрашнем дне...

Поразительно было это «мы»!

Говорил — будто сам строил...

Казалось, он был готов к нашей встрече более, чем я предполагал. Он говорил мне то, что я не надеялся услышать. Он был готов прежде, чем я появился на его горизонте. И поэтому наивно было бы полагать, что я как-то направил беседу. Получалось так, что он говорил мне даже слишком то, что я хотел бы от него услышать. И те полторы мысли, которые возникли во мне в непосредственной связи с моим заданием, которые я уже представлял себе в набранном виде в форме «размышлений писателя», и их он тут же отобрал у меня. Для точного воспроизведения интервью, а раз этот человек настолько полно и осмысленно говорил от себя, то и следовало, по видимому, ограничиться его точностью, — для такого воспроизведения у меня просто не было журналистских навыков. И я потерялся в легкой панике, на секунду перестал слушать, что же он говорит; обнаружив это, растерялся еще больше и несвойственным и неумелым движением раскрыл записную книжку и записал первую цифру 50, которую мне потом еще долго пришлось разгадывать, о чем она. Как списывающий ученик, ужас положения которого помножается еще и тем, что, списывая, он к тому же не знает, то ли он списывает, и уже более стыдится написать какую-либо смехотворную глупость;

чем получить честную и прямую, как единица, двойку,— так и я даже прикрыл от него ладонью, что же такое пометил я в своей книжечке.

От него все это не ускользнуло, но и он не ускользнул.

То ли записанное пером не вырубишь топором, но существует у нормального, здорового человека некое ослепление и впадение в гипнотическое состояние от любой формы протоколирования. Оттого, что человек напротив взял перо в руки, на тебя хотя бы в первую секунду да повеет подвальным, дежурным холодком... Если и не так, то сработает рефлекс повышения ответственности — и ты споткнешься, запутавшись в согласовании и падежах. Человек переходит из состояния говорящего в состояние отвечающего, а из состояния отвечающего в состояние допрашиваемого, как пар в воду, вода в лед.

Допрашиваемый на секунду уронил глаза, и, поскольку он позволял себе не много безотчетных движений, взгляд этот брякнул, как льдинка, и речь его прервалась. Правда, предложение уже было закончено, и он мог придать всему вид естественной паузы. В общем, он быстро взял себя в руки, даже, можно сказать, подхватил на лету, и продолжал как ни в чем не бывало. Но что-то, по-видимому, бывало. Потому что, не передать даже в чем, но речь его с этого момента как бы несколько перестроилась, настроилась на запись. И хотя я все решался, какую же его фразу записать следующей, а решившись, окончательно не слышал, что же он говорит, но все-таки вертел в руках карандаш... Мой собеседник не позволял себе смотреть на карандаш, но взгляд его был уже привязан ниточкой, и, вертя карандаш, я эту ниточку подергивал.

Я все лучше чувствовал его, но все хуже — себя и все меньше мог слушать, что же он говорит. Я входил в его положение, и мне было неловко, какого черта морочу я голову этому серьезному человеку, у которого без меня полно настоящих дел... Действительно, если бы я еще строчил без передышки, то он бы мог забыть про мой кинжал. А то было совершенно неизвестно, какую из его фраз я подстерегаю...

— Среда — средство воспитания... — говорил он и невольно делал паузу, чтоб я успел записать, а я вдруг не записывал, и он немножко терял нить. Потом усилием воли он прогонял наваждение, — ...сохранить национальные

традиции и творить сегодняшним днем! — Все-таки всякий раз, как он доводил речь до восклицания, перед ним отчетливо возникало видение карандаша, и он ронял взгляд. Речь его была осмысленна и хороша, и тем более можно было обидеться за каждую фразу, почему она не записана, так же как и удивиться, почему записана другая. Дискриминация, которую наводил в его речи мой карандаш, была ничем не оправдана и несправедлива, как любая дискриминация.

И я, как бы отдавшись слушанию, как бы по-честному отложил карандаш в сторону, настолько поглощенный...

И это не замедлило сказаться.

Он дельно рассказал о перспективах роста города, о том, что существует идея локализации этого роста, чтобы город не разбухал в бессмысленных и бесформенных окраинах, а находил внутренние ресурсы в перестройках, перепланировках, ликвидации отсталых и невыгодных в архитектурном отношении районов. Рассказал о трудностях, стоящих на пути этой идеи, о косности мысли иных деятелей, неистребимой приверженности вчерашнему дню, об административной инерции и лени...

Он легко, без одышки взбирался по ступеням слов на самую кручу, мы одновременно оглядывались вниз с легким головокружением и тогда быстро и плавно соскальзывали по спирали его речи в некую тишину и сумрак паузы, остановленного в задумчивости смягченного взгляда и, отдохнув там под кроной предыдущего периода, начинали взбираться вновь.

Это был уже не тот знакомый мне тип оратора, который получает удовлетворение от ладно скроенной фразы, входящий в речь с мужеством пловца и спелеолога... И вот — выбрался из периода! В конце фразы — слабый свет, как выход из пещеры.

Этот не вползал в пещеру, судорожно нащупывая в аппендиксах «который», «что» и «как» выход из нее, не мочил сандалий в лужице вводных слов — он работал на открытом воздухе...

— ...Масштабы еще лет пять назад показались бы мифом. Через день вступает в строй пятидесятиквартирный жилой дом!.. Но именно масштабы и не должны смущать наш разум, поглощая в себе и идею и назначение... Мы уже научились обращать внимание на внешний вид

здания, даже на его взаимосвязь с ансамблем, но вот внутренние помещения... Задача сейчас — ликвидировать этот разрыв между комнатой и фасадом!

«Разрыв между комнатой и фасадом» — неожиданно я снова раскрыл книжечку и занес туда эту отважную фразу. Неясное соображение забрезжило во мне, когда я фиксировал слово «разрыв», столь уверенно произнесенное, будто это был узаконенный термин. Я записал эту обычную на первый взгляд фразу, поразившую меня каким-то неуловимым несоответствием между ее смыслом и посторонней отчетливостью ее формы... Смысла, остановившего меня, я так и не уловил, тем более задерживаться было некогда: мой собеседник тоже приостановился с разбегу на этой фразе, потому что именно ее стал фиксировать карандаш после долгого перерыва, а это что-нибудь да значило, и, как человек, оббегающий внезапно возникшее препятствие, он метнулся в сторону, сделав вид, что туда-то он и направляется. Мой карандаш оплодотворил эту фразу, она превратилась в завязь, и вот уже созревал, набухая, плод. Мое внезапное недоумение над этой фразой было тут же удовлетворено целой речью, возросшей на ней, и эта речь мне многое объяснила...

— Мы требуем от человека, чтобы он с каждым днем работал лучше и лучше, — говорил он со все большим подъемом, как бы плотнее и устойчивей устраиваясь на окончательно выбранной площадке, — и нас не интересует, как чувствует он себя, идя на работу и уходя с нее... Мы постоянно твердим ему о его обязанности и долге перед родным городом... И никто еще не поставил вопрос так: а город должен человеку?! — Он несильно, но выразительно выкинул руку, как бы поместив эту фразу чуть выше того уровня, на котором она прозвучала: там, чуть в стороне от источника звука, она никелированно блеснула, как большая скрепка. — Человек идет на работу... Какое настроение возникает в нем от одинаковых, убогих и некрасивых улиц? Или, наоборот, настроение его подымается от окружающей красоты и он приступит к работе с духовным подъемом и приливом сил? Разве не стоит подумать о маршруте человека по городу? Чтобы его проход был как бы оркестрован и город в движении был бы точен и продуман, как музыка?.. Мелодия



улицы...— На секунду он смолк, как бы прислушиваясь.— Этот эксперимент...

Рука дернулась и, несмотря на мое недовольство, вывела это слово — «эксперимент». На лице моего собеседника появилось чистое выражение страсти, струны его лица натянулись и зазвенели, не исказив в то же время приятной и спокойной его матовости.

Тут зазвонил телефон.

Во всяком случае, где-то рядом со словом «эксперимент» в моей книжечке отчеркнут квадратик, и в нем написано: «тел. разг.». Слушал он, не перебивая абонента и несколько хмурясь. Потом неким взрывом изнутри лицо его разгладилось и снова стало решительным и ясным...

— Я сразу сказал, что это непрофессиональный эскиз. Потом узнал (лицо его остыло от твердой улыбки), и действительно, он даже не практик — просто дилетант. (Ему что-то сказали на том конце.) Да, мне сам метод не нравится, — ответил он, все еще сохраняя твердую улыбку. — Нет, нет. Тут требуется творческий анализ. Главное — не спешить...

Я был совершенно очарован словами «непрофессиональный эскиз», «метод» и «анализ», исходящими из его уст. Дело ведь еще и в том, что это были отнюдь не специально употребленные слова — они были сказаны в естественном и непредусмотренном разговоре. А следить за содержанием разговора и поддерживать его так, чтобы еще и произносить что-либо специально для третьего, случайно слушающего — такая тройная, три раза переплетенная в самой себе задача не под силу, подумал я, никому, тем более такому милому человеку...

Повесив трубку, он опять — чудо-человек! — не произвел ничего лишнего: ни бессмысленных извинений, что прервалась беседа, ни пояснений, в чем там, на проводе, было дело, ни «на чем мы остановились?» — ничего подобного. Он взглянул на меня коротко и ясно, будто бы не прервал свою речь на полуслове, и взгляд этот выражал, что все, что в целом он высказался по данному вопросу, в подробности же входить нет возможности, а дальше спрашивайте, что вас еще интересует, работайте, ведь зачем-то вас сюда прислали... И время идет, дорогой товарищ.

Мне уже многое стало ясно: сфера восхищения и сфера сомнения проявлялись во мне, все более отдельные друг от друга, и как бы раздвигались... Восхищение, как эмоция, занимало настоящее время, сомнение, как нечто рассудочное и даже нехорошее, требовало раздумий и существовало более в будущем. Те несколько фраз и словечек, о которые я споткнулся, никак не успелось осмыслить, и меня скорее раздражала просто заминка, разрушение этой гармонии и подозрение в собственной подозрительности. Мне было мучительно неловко моей досужести и праздности перед этим человеком дела. Во всяком случае, я решительно не знал, о чем мне с ним еще говорить, и был озабочен тем, чтобы задать хоть сколько-нибудь неглупый вопрос и остаться более или менее на заданном собеседником уровне. Я несколько замялся и растерялся, вдруг меня озарило одно туманное соображение, и я радостно пустился излагать его.

— Вам я могу сказать откровенно, — покраснев, сказал я, — сначала Ереван мне не очень понравился, и я, конечно, никому не мог признаться в этом. Лишь немного узнав страну, в которой он находится, я стал свыкаться с ним. Парадокс Еревана, — сказав слово «парадокс», я сделал реверанс словам «оркестрован» и «эксперимент», — заключается в том: вот вы отмечаете 2750 лет со дня его основания, а никакого исторического лица город не имеет... Индивидуальность города складывается веками, городá, возникающие в наше время, и не могут иметь лица, а лишь более или менее соответствовать деловым и эстетическим требованиям... — Мой собеседник закивал, и, поощренный, я тут же потерял нить. — Боюсь, что моя мысль может показаться досужей кому-либо, но, исходя из всей предыдущей нашей беседы, думаю, что вы поймете меня правильно... — Это был запрещенный прием, и, выходит, я совсем зажмурился, раз выговаривал такое, но пока только сам себе я казался лихим, моего собеседника этот мой заход лишь насторожил: лыком он шит, разумеется, не был. — Именно потому, — говорил я, — что все постройки Еревана прежнего времени непримечательны в архитектурном отношении, и мог возникнуть план генеральной реконструкции и перестройки города, включая и центральные районы. Вы хотите видеть свой город прекрасным, придать ему индивидуальный, неповторимый облик... — Лицо моего слуша-

теля смягчилось, он все более готов был согласиться со мной. И хотя банк держал я, а он лишь брал предложенную карту, причем видел, что я передергиваю, давая ему к десятке туза,— он карту брал. — Но,— говорил я,— как бы ни был профессионален и даже гениален план, какими бы прекрасными идеями ни руководствовались его создатели, вы это новое и неповторимое лицо города хотите создать в определенный срок, вы не можете ввести в свой план тысячелетнюю историю, вы сотворите город неизбежно в нашем времени, и это пока нами неуловимая печать будет замечена уже последующими поколениями. То есть древний город Ереван будет новым городом, построенным единовременно, и эта однотипность времени, не кажется ли вам, может не вполне устроить те последующие поколения, о которых в Ереване в отличие от многих других городов не забывают?.. Я что-то не припомню городов, которые сумели бы приобрести индивидуальные и живые архитектурные черты в течение нескольких лет. Как правило, индивидуальность города складывалась скорее в результате работы времени, нежели строителей. Как вы думаете решить эту проблему без помощи времени, ведь времени у вас нет, а планы ваши столь принципиальны? Из известных мне примеров только Петру удалось придать лицо города по плану и за короткое время...

При имени Петра глаза его коротко и глубоко блеснули, этот взгляд был тут же скрыт вовремя пришедшимся усталым его жестом, как театральным занавесом, но либо я обрел уже опыт в общении с ним, либо настолько уверовал в свое «видение», что только «свое» и видел, независимо от того, было ли это «свое» на самом деле или его на самом деле не было, — но блеск этот не ускользнул от меня.

— Да,— сказал он, и лицо его побледнело и загорелось, но не в вульгарном смысле этого слова, а как лампа дневного света, что ли. — Да, вы совершенно правы... Вы справедливо вспомнили Петра... Он сумел придать городу с самого начала неповторимый облик. Мы у себя в строительстве решили много проблем, но до сих пор не решили характера города. Ленинград, Таллин — вот города, при одном имени которых сразу возникает образ. Мы хотим добиться того же у себя в Ереване. — Похоже, он пропустил мое соображение о времени и строи-

тельстве, зато почему-то, где я не ждал, задержал свое внимание на Петре... Я схватился за карандаш, и то ли речь его вдохновенно рвалась, то ли я записывал лихорадочно и неосмысленно, но дальше у меня следуют очень бессвязные заметки, и я уже давно ломаю над ними голову... — Чтобы город имел и воспитательное значение... Плакаты, щиты — все это так формально, безвкусно и, как правило, унижает саму идею... Иногда просто кричать хочется: «Зачем вы коптите духовный мир человека?!» (у меня записано «дух. мир», и я все расшифровывал это не как «духовный мир», а как «дух мирного человека» и долго недопонимал фразу). Это, конечно, эксперимент, то, что мы задумали... Кольцевой бульвар, решенный в различных национальных архитектурных стилях, будет символизировать дружбу народов. Или улица\*\*\*, решенная так же экспериментально... Вы там не были? Вот вы пройдите и обратите внимание хотя бы на то, что там совсем нет мемориальных досок. Так формально, так приелось — все эти доски... А там вдруг стоит работа одного нашего талантливого молодого скульптора, нет, не бюст, а символ, решенный в приподнятом, высоком ключе... Не как справка из домохозяйства, приклеенная на стенку, как на доску объявлений, — «здесь жил такой-то» или «здесь жили люди»... Нет! «Здесь что-то божественное!..» — должно прийти в голову прохожему... Такие памятники внушат уважение, будут невольно влиять на мысль прохожего и незаметно служить ему высоким примером того, чего может достичь человек... Скажем, идет отец с сыном, взял его из детства после работы — и вдруг эта скульптура... Отец, усталый и озабоченный, не смотрит по сторонам, сынишка же обращает внимание: что-то непонятное... «Что это, папа?» — спрашивает он. И папа вынужден объяснить, а если не знает, сам подойти и прочесть: здесь жил и творил такой-то... «А что он сделал? Почему ему такая тут стоит штука?» И вот уже отец с сыном ведут беседу...

Далее я что-то совсем пропустил, восхищенный: мелькали цифры, масштабы, небоскребы... Миллион квадратных метров разрушить — полмиллиона построить... Или наоборот. Вдруг я понял, что он молчит.

Я как бы дописал последнюю фразу и поднял глаза. Не знаю, взглянул ли он на часы, я не видел... Но,

секунду поколебавшись, он решился еще на что-то, выбежал в соседнюю комнату и вынес оттуда трубу...

И вот мы склонились над развернутыми чертежами, слегка касаясь друг друга плечами, — там была иллюстрация к роману Ефремова, но это был бассейн-аквариум с рестораном под водой и птичником над водой, рыбки заплывали к нам прямо в рюмки, и поверить в это было бы трудно, если бы бассариум не был намечен к вводу в будущем году...

Тут я могу точно поручиться, что он не взглянул на часы. Но, замерев на секунду, как бы прислушавшись к тиканью, он так же стремительно исчез в соседней комнате. Из своего кресла я не мог ее разглядеть, но она показалась мне маленькой и значительно более наполненной, чем та, в которой мы находились. Я даже подумал, что там-то все и свалено, что когда-то было в нашей комнате... Наконец он выскочил, прижимая к животу несколько цилиндрических шашек. Никаких ассоциаций, кроме внезапного взрыва и соображений о том, не запачкал ли он рубаху, они во мне не вызвали.

— Вот,— он уронил их на стол,— цветной асфальт! Экспериментальные образцы.— Действительно, шашки различались по цвету.— Какой скучный, утомительный цвет у нас под ногами! А теперь... Не говоря об уменьшении аварийности... Шофер теперь не уснет за рулем!

Тут в нем истекло время. И как раз так, что он все успел. Мы глубоко сердечно и без тени фамильярности пожали друг другу руки.

Прикрыв за собою дверь, я взглянул на часы. Было ровно двенадцать.

## **Дыхание на камне**

В приподнятом настроении, с чувством легко выполненного долга выскочил я из тенистого сквера на свет. За этот час ласковое тепло стало жарой, и раскаленный воздух сгустился и застыл посреди улицы.

Я смотрел на улицы новыми глазами. Это мне следовало уже делать, чтобы подтвердить зрительными впечатлениями материал, тезисы которого мне были только что изложены. Но, по-видимому, стало слишком жарко: так, чтобы очень по-новому, я не видел.

Тогда я решил припомнить, какие же положения необходимо мне подтвердить зрительными впечатлениями, и

с ужасом осознал, что, кроме нескольких телодвижений интервьюируемого, ничего не помню. Схватился за книжицу — там было записано до обидного мало и непонятно.

Наткнувшись в записках на название экспериментальной улицы, я решил отыскать ее. К счастью, она была неподалеку. Ту свежесть и бодрость, которую одним своим видом внушал мой недавний собеседник, как рукой сняло. «Был ли он? Не придумал ли я все это?» — уже думал я, расплавляясь от жары.

Я шел по улице, прислушиваясь к себе, в ожидании того момента, когда во мне возникнут те высокие мысли и тот светлый строй, то хотя бы бодрое настроение, которое, по замыслу, весь этот комплекс неизбежно должен был во мне вызывать.

Все здесь было выстроено разнообразно, своеобразно и со вкусом, ничто напрасно не торчало — все было учтено по отношению к соседствующим строениям... Горизонталь сочеталась с вертикалью, а открытое пространство с замкнутым. Ничто не препятствовало взгляду: ему было спокойно, и он ни на чем не задерживался. С удивлением я обнаружил, что уже давно иду по этой улице и она вот-вот кончится, что было обозначено неким безобразным строением, некстати торчавшим на углу. Именно его я давно уже видел. Я прошел эту улицу, напрасно прислушиваясь к себе: никакой мысли, хоть какой-нибудь, во мне не возникло. То ли жарко, то ли вообще нельзя «нарочно» ждать мысль... Вот кафе, насквозь все прозрачное, и такой же универмаг, и даже если бы в кафе действовала кофеварочная машина, а универмаг был завален джинсами и к тому же и универмаг и кафе не были бы закрыты на обед, все равно все осталось бы таким же, готовым, пустым и ждущим. Цветочный магазин в форме вазы, к которому необходимо игриво пропрыгать по там и сям расположенным плиткам... Этой штуковины о великом человеке, жившем на этой улице, этого мемориала, который так и бросается в глаза, я так и не увидел, как ни смотрел. Приятные расцветки, приятные сочетания плоскостей... Вдруг на какой-то из плоскостей пузырьки золотые восходят вверх, как из стакана или будто внизу дышит большой карп... «Вот такая же и мысль, — подумал я, — возникла во мне, как эти пузырьки. И единственная...»

Что же это? Зачем же это строители за меня думают, что я думать должен и как? Они что — для меня думают или за меня думают? Вот в чем вопрос. Обо мне или мною? Чтобы мне было удобно и хорошо или им в их представлении обо мне? Ведь без очень многих услуг я могу и обойтись, такой уж суровой надобности, чтобы за меня думали, любили, ели и спали, у меня пока не возникло. С этим я по мере сил пока и сам справлюсь. Мне необходимо место для того, чтобы за меня ничего этого не надо было делать — ни думать, ни любить... Место, где бы я это делал сам.

Такая обидная мысль вдруг пришла мне в голову, и я чуть не с радостью смотрел на еще не снесенное безобразие, эпохально торчавшее в конце улицы.

У меня была назначена встреча с одной издательницей, не деловая — просто еще что-то я не успел осмотреть: парк, фонтан и картинную галерею... Без этого я не имел права уезжать, и мы встретились. И то ли я был действительно раздосадован, то ли, в течение десяти дней встречаясь исключительно с друзьями друга, соскучился по женскому обществу и теперь пользовался редким в Ереване случаем быть спутником интересной женщины, не доводящейся никому родственницей, — но с излишней страстностью начал я излагать ей свои архитектурные переживания и расцветал с каждой фразой, такой горячий и искренний человек...

— Понимаете, он совершенно не услышал моего вопроса... Только про Петра и услышал. А ведь и про Петра я в другом смысле говорил, возможно, и не в самом лестном... Понимаете, я перед отъездом, к стыду своему, в первый раз — ведь я коренной: и дед, и отец, и прадед были петербуржцы — посетил домик Петра. Я случайно на него набрел — надо же, тридцать лет не подозревал о его существовании: думал, что домик Петра и Летний дворец — одно и то же!.. Ну да не в этом дело. Это самая ранняя из сохранившихся построек Петербурга. Я был поражен и потрясен. Именно не музейностью, а живостью и цельностью ощущения, что здесь жил человек и именно этот человек, Петр... Домик-то ведь не дворец, нищенский, по сути, домик. «Приют убогого чухонца...» И архитектурной ценности, кроме редкости, на наш день никакой, а вот... Каждый предмет —

а там скромно, очень скромно! — говорит не о самом себе, а о хозяине. Вы понимаете, что я имею в виду? Впрочем, я ничего не ожидал от этого домика — это очень важно!.. И от Гехарда я тоже ничего не ждал. Я получил от них все сразу, все, что в них было... А тут я хожу по Еревану и все чего-то жду... Так вот о домике... Выхожу я из него потрясенный на Неву и потрясаюсь вновь... То есть, выйдя из этой крошечной и темной петровской будки, я вижу Неву, и Петропавловскую крепость, и Летний сад, и вся эта чрезмерная красота вдруг поражает с новой, непривычной силой. Я пытаюсь понять, в чем дело, что дало мне силы и заставило меня увидеть эту тыщу раз виденную и невидимую уже красоту, — и вдруг опять же понимаю: Петр! То есть я как-то изнутри прикоснулся к его идее, и для меня все осветилось новым светом. Не только в словах и мыслях: идея существует физически! — вот что со всей очевидностью вдруг дошло до меня. Не так уж много успел построить Петр при жизни, вряд ли даже столько, чтобы это составило лицо города... Гораздо больше он построил после смерти. А ведь исторически петровские идеи довольно быстро сошли в его преемниках на нет. И только идея Петербурга, его образ были настолько сильны, что долго чужая мысль невольно попадала в русло, намеченное Петром, и просто другой мысли не возникало.

И строители продолжали дело Петра, и никто даже не подозревал, что в лесах совершенно других, даже противоположных идей постоянно возводится здание полузабытой идеи. И когда мощь инерции петровской идеи окончательно иссякла, то уже стоял Петербург и своей формой, цельностью и единственностью диктовал законы продолжения. В России не много идей воплотилось в такой последовательности и конкретности, как Петербург, как Советская власть. Общность, конечно, чисто внешняя, потому что истоки этих идей противоположны, но общность есть. Даже, возможно, только Петербург и мог стать ее колыбелью. (В этом городе, в этой окаменевшей идее неизбежно и направленно, как его проспекты, только и могла воплотиться идея прямого порядка и гармонии.) И вот Петербург, самый нерусский город, торжество петровской идеи, стоит до сих пор и в нашем, в наиновейшем времени, стоит с прежним застывшим лицом, и новые районы отслаиваются



от него, как нефть от воды. И это чудо, чудо не в чудесном, а в феноменальном смысле, ибо еще можно представить, как возникла идея в сильной голове Петра, но то, что она осуществлена, вызывает почти головокружение своей невозможностью... Как кентавр или грифон — и вот, на тебе, скачет и летает! И будет стоять, потому что Петербург нельзя изменить постепенно, его можно только разрушить, разрушить вместе с идеей, его создавшей, и они исчезнут лишь вдвоем, город и идея. Другие прекрасные города России росли постепенно и непродуманно, строились веками самой жизнью, и их вдруг получившаяся неповторимая и неуловимая гармония и прелесть беззащитны перед любой конструктивной идеей. Так исчезает Москва. Как одна вырубленная сосна не означает гибели леса, и другая, и третья... И вдруг лес вырублен. Арбатская просека... И тот человек, который еще помнит, как в детстве он нашел тут белый гриб, скоро помрет... К чему это я? В последнее время слово «строительство» звучит все более приподнято и гордо. Между тем это профессия, дело. Строителем не должна овладевать гордыня. Он строит что-то и для кого-то. Пока строитель возводит жилище и храм, храм и жилище — он строит для себя и он вне времени. Но как только он начинает строить для другого: дворец — царю, особняк — вельможе, барак — рабу, — он принадлежит уже только своему времени. И как бы он ни был гениален, он будет обведен чертой времени и ничего не построит во временах. Во временах строит уже только само время. И именно время, сохраняя одно, схирая другое и возводя третье, придает городу то неповторимое и прекрасное лицо, уподобляя дело суетных и временных рук человеческих природе и самой жизни, — и город становится подобен роще, в нем так же естественны дни и ночи и времена года... А если мы строим город в течение нескольких лет (а строить так нам приходится и придется), то надо хотя бы отдавать себе отчет, что нам не по возможностям работа веков, и не обольщаться в этом смысле... Ибо, исходя даже из самой прекрасной идеи, но одной, не навязем ли мы ее последующим поколениям, уже нежеланную и неустраивающую? Не для будущего надо строить, а для настоящего, с глубокой любовью к нему. А помещать без спросу безответного будущего человека в наши схемы по крайней

мере самонадеянно. И ему гораздо будет дороже увидеть то, как мы жили, чем разглядывать в остывшем виде наши наивные представления о том, как будет жить он когда-нибудь и без нас... Получающееся по отношению к жизни всегда больше получившегося по отношению к идее. Даже в самом удивительном и прекрасном случае (вернемся к Петру) насильное существование в чужой идее, даже гармонично и прекрасно выраженной, разве не болезненно? Петербургская тоска — мало ли существует литературных примеров, да и личного опыта достаточно... Петербург, прекрасный, как музыка. Петербург-симфония... Не так ли негодовал Толстой, слушая Крейцерову сонату, на ее создателя, давно почившего и истлевшего и тем не менее каждый раз помещающего чужого и удаленного во времени от него человека в мир своих страстей и чувств, не поясненных никаким конкретным опытом слушателя? Не так ли задохнется иной раз нынешний ленинградец, ступив на какой-нибудь кривой мостик и посмотрев на грязную воду канала, и не поймет, что с ним творится? Кстати, и «Медный всадник» Пушкина — не такой уж это гимн Петру и Петербургу, как нас приучили в школе. Иначе зачем такая резкая граница между вступлением и историей бедного Евгения? Эта граница, этот контраст и есть идея поэмы. И трудно сказать, что значительнее: восхищение ли гения красотой и мощью града или сочувствие мечущемуся по этой красе Евгению?..

Тут я почувствовал, что меня взяли за руку. Сердце мое забилося. Я взглянул на спутницу и поймал тот очень женский взгляд, который равно можно было расценить как сомнение и интерес, сочувствие и насмешку...

— Пойдем, — сказала она.

Я наконец попал на старую ереванскую улицу. Старая не то слово: ни тысячелетиями, ни столетиями тут не пахло. Возможно, ей было лет сто. Двух- и трехэтажные дома стояли вплотную, с оплывшими, кругловатыми линиями оконных проемов, и смотрели подслеповато, как близорукий без очков. Их попытки быть прямыми и неглиняными выглядели наивно. Наверно, это была прежде и не из бедных улиц, — так, может быть, выглядели улицы губернских городов, вливавшиеся в главную. Архитектуры никакой на улице не наблюдалось. Дома напоми-

нали старинные холодильники, когда еще электричества не было, а в оцинкованные ящики закладывался привезенный разносчиком лед... Глубоко посаженные и небольшие окна подсказывали тень в комнатах и послеобеденный сон. Стены выглядели пухлыми. Они казались нарисованными рукой ребенка. Иногда строчка окон сползала вниз, как у ленивого ученика... Прохожих не было.

— Смотри!

Чуть согнувшись, я заглянул под арку. Нагибаться, впрочем, не было нужды: человек нормального роста вполне мог бы пройти сюда, выпрямившись. Но не так казалось. Еще и потому, что тут была логика заглядывания и подглядывания... Как в шелку, как в скважину, как в тот оптический глазок, придуманный в дверях кооперативных квартир, где ты видишь гостя в немыслимой перспективе, а он, по-видимому, — твой ужасный глаз.

Тенистый и глубокий туннельчик с округлым сводом был как тубус и диафрагма, а дальше с неправдоподобной, оптической четкостью был виден двор. Так не бывает прозрачен воздух, как он был прозрачен в этом дворе. Двор контрастно с входом был ярко освещен, но, казалось, не тем назойливым и тупым солнцем, что пекло на улице наши спины. Свет был ровным и успокоенным. Вправо шла лесенка, четыре выщербленные крутые и узкие ступени, нелепые перильца с завитушкой на конце... Дальше трое ребят играли в забытую мною игру — крашенные бабки валялись на земле... Еще подальше какая-то верандочка с пристроечкой, виноград свисает с решетки, кто-то спит на топчане... Дерево высунулось из-за угла справа, нависает... В небольшой тени печечка дымит, шуршат угли... Черная бабка в конце двора не то что-то собирает с земли, не то, наоборот, рассыпает...

Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые, — они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но это фраза для протокола. Я знал его всегда — и это будет гораздо точнее. С таким чувством человек возвращается на родину: одно дерево сломалось, а тот куст как разросся! Все умерли... Неужели это Маша такая большая, ведь я ее на руках носил! А эту бочку я помню — неужели до сих пор целая... Припадаешь к земле. Ты все еще жив, старый хрен!..

Мы шли и заглядывали в эти глубокие воротца... Я забыл о спутнице, хотя то, что она была рядом и знала, что показывала, и я был все-таки не один со своим немым восторгом, тоже незаметно что-то означало.

Ни один двор не повторял другого, но ни один и не отличался, казалось. Ни один не был красивее или интереснее другого — каждый был совершенен. Как, каким образом складывался этот хаос пристроек, тупичков, деревьев, света и тени в гармонию и художественное единство — ни проследить, ни предположить было невозможно. Видно, жизнь, организуясь сама, по своим неумышленным законам, не может создать несовершенной формы...

Такую глубину и прозрачность можно было вспомнить только у старых голландцев. Беременная женщина читает у окна письмо... Какой свет! О, они понимали, что такое рама, что такое окно! Насколько серьезнее и самостоятельнее мир, в который ты выглядываешь, мир обрамленный, чем мир на улице, на дороге, в поле... В раме — это уже понятие, мысль о мире.

Так выглядел каждый двор в раме черного проема ворот.

Вот уж — «здесь жили люди»! И никакой абстрактной штуковины не надо. Жили, любили, рожали, болели, умирали, рождались, росли, старели... Кто-то штукатурил стену, кто-то выносил треногий лишний в доме стол, кто-то посадил цветочки, кто-то разрушил сарай и расчистил площадку, а кто-то построил рядом курятник... Двор рос, как дерево — отмирали старые ветви, вырастали новые тупички, — а у дерева не бывает несовершенного расположения ветвей, хотя где гуще, где реже, где криво, а где обломано, но — дерево! В кроне чирикают дети, подпирают ствол влюбленные, и бабка черная, согнувшись, возится у корней — растопляет печку, поднимет щепочку и уронит. Перспектива поколений, каждый двор как генеалогическое древо...

И смысл жизни до тебя и после тебя наконец ясен.

От каждого проема не оторваться, но и подглядывать нельзя. Но и следующий — пока идешь к нему, нельзя поверить даже, что может быть так же хорошо... но и следующий, когда заглянешь, — как вздох, вздох облегчения, вздох встречи, вздох нерасставания и какая-то непонятная сладкая вера в возможность и твоего счастья...

Никакой исторической и архитектурной ценности ни эта улица, ни эти дворы не имеют. Она будет снесена, и тут встанут новые, удобные во всех отношениях здания, в них поселятся люди, они будут любить, рожать и умирать, страдать и радоваться. Но не знаю, будут ли через сто лет эти стены настолько же прогреты теплом и любовью, жизнью и смертью, чтобы, только свернув за угол и ступив первый шаг, ощутить такое же родство и счастье, как сейчас на этой глиняной невнятной улочке?.. Или все отразится от матовых и блестящих, ровных и плоских плоскостей?..

Мы ценим человеческий труд, и мы его еще мало ценим. Но ценим ли мы то, что еще драгоценней: то, что есть, что получилось без нас, без нашего участия, — великую гармонию и искусство природы и времени? Доски, конечно, дороже несрубленной сосны. Но — в денежном выражении! Не надо смешивать стоимость с ценностью, дороговизну с драгоценностью... Самое гениальное творение рук человеческих однозначно и часто в сравнении с природой. Это правильно и чисто взятый аккорд, подслушанный и занятый у абсолютной гармонии и полифонии жизни. Гармонию не измерить стоимостью. Автомобиль никак не дороже полянки, на которой мы сделали привал... И никакими усилиями не сотворим мы раннее утро, не подделаем восход, росу, былинку... Ни один художник не сможет одной лишь силой воображения так естественно разбросать избы, сараи по отношению к реке, дороге, лесу и небу, как разбросаны они в любой деревеньке; не сумеет поставить где надо одинокую корову или лошадь, стог или ветряк, надеть в правильной последовательности банки и крынки на колья покосившегося плетня. Даже покосить как надо плетень он не сможет! Он может лишь подглядеть.

Великий учебник гармонии отдан нам жизнью бесплатно, безвозмездно. И мы должны помнить, что если мы вырвем все листы, нам не по чему будет учиться.

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала?  
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

На этой глиняной улочке, нагнув шею, заглянув во дворик, я увидел наконец такой Ереван. Поэт не мог быть неточен...

Что остается в предметах от человека? Только ли форма, им приданная, или — тепло рук, прикосновение взглядов, вмятины от слов?.. Тут все говорило языком жизни — бывшей и будущей, — вечной жизни... Я решался — я входил во дворик, и из всех дверей выбегал любящий меня народ — прадеды и прабабки, правнуки и правнучки... Будущие и прошлые люди обнимали меня и выстраивались безмолвной шеренгой, ласково сокрушаясь, и кивая, и жалея меня, пока я шел мимо них и плакал от скорби и счастья...

## У СТАРЦА

**Визит** Это самый знаменитый человек Армении. Хотя «знаменитый» и не то слово. Кто-нибудь, быть может, и более знаменит сейчас. Но он — пока, а этот — уже всегда. Великий сын Армении.

Это-то меня и отпугивало. В мои планы, в общем, не входил визит к нему. Так, если само получится. Опыт общения с великими людьми у меня пока отрицательный. То есть не то чтобы я в них разочаровывался и обнаруживал, что они не такие уж и великие. Маленькие слабости великого человека, наоборот, всегда утоляли мой скептицизм и шли великим на пользу в моем мнении. Дело тут, к сожалению, во мне самом. Я переставал быть собою в их присутствии, глупел, а это неприятно.

Так и вышло, что визит этот откладывался произвольно, отодвигался, и вдруг в последний мой день меня повели.

Мы ступили на тихую улочку, там чуть ли не знак висел — «кирпич». Даже прохожих не было. Мне помешалось, что я на ней уже бывал, проходил, но мне никто тогда не говорил, что здесь-то он и живет. Мне это сначала показалось странным.

Ничего странного, впрочем, нет. Любопытен самый характер его славы. Во-первых, о том, что он здесь живет, как-то и говорить нелепо: всякий знает. Во-вторых, о нем вообще мало разговоров. Разговоры идут по более мелким, частным, сиюминутным поводам. А тут что говорить. Факт. Живет. Всегда жил. Тридцать, пятьдесят, семьдесят лет... Отошли сплетни, пересуды, сенсации —

девяносто лет. Что тут говорить? Он — есть. Был всегда. Без него немислимо.

Мы свернули на эту тихую улочку... И как я ни был предубежден к великим людям, калитку уже отворял с трепетом, и ее тихий скрип звучал пронзительно, а дворик освещался как бы более ярким солнцем. Где-то внутри жила некая ясная, прозрачная дрожь, и я готов был впитывать, как промокашка.

Впитывать же пока было нечего. С особой осторожностью перешагивал я змеинные кольца садового шланга, свернувшегося во дворике. Слева стоял маленький миленький домик, справа возвышалось большое свеженькое здание-модерн: стекло и тот же розовый туф.

Я услышал восклицания и оторвал взгляд от садового шланга, который заставил меня задуматься, деталь ли он, а если деталь, то художественная ли? Явный признак того отупения, что овладевает мною в присутствии великих людей, хотя великого старца еще и не было.

Я поднял глаза и увидел пожилого человека в золотых очках, наследственно интеллигентной наружности. По лицу его волной пробежала тщательно подавленная скука.

Он радостно приветствовал моего провожатого, человека заметного в культурных кругах Армении. «Не может быть», — заторможенно подумал я, но тут же понял, что, конечно, это не мог быть с а м. Я улыбнулся широко и тупо, пожал руку, представленный. «Папа! — закричал он через плечо. — Папа!.. ОН в саду, — скромно сказал наш новый знакомый, — пройдемте пока в мастерскую...»

И мы прошли в розовый дом тем тихим, интеллигентным гуськом, где каждый уступает другому дорогу и, таким образом, то один, то другой оказывается впереди, понимает, что забежал вперед, отстает и т. д. При этом еще что-то все время говорится. Первым, привзмахивая руками и как бы даже дирижируя, следовал наш новый знакомый, пояснял на ходу, умудряясь в то же время не поворачиваться к нам спиной (разве на какую-нибудь секунду, ее неуловимую долю, чтобы рассмотреть путь перед собою). В эту-то секунду мой первый провожатый пояснял мне его пояснения шепотом. И я, уничтоженный своими усилиями быть интеллигентным и в то же время сохранять собственное достоинство, хотя где оно, уже

было окончательно непонятно, продвигался, внимая обоим, между ними, одновременно умудряясь не поворачиваться спиной ни к тому, ни к другому, что было очень трудно.

Так мы миновали обширную прихожую, заставленную нежилой мебелью, и еще одну комнату, очень темную, зашторенную, где две женщины, старая и молодая красавицы, лепили на большом столе пельмени. На нас протяжно и непонятно взглянули из этой тишины и сумрака... а мы уже шествовали по новой лестнице. И наконец вошли в фешенебельную мастерскую.

Она только что была отстроена. Холсты, составленные, толпились в центре мастерской, оставляя вдоль стен узкую дорожку. Сверху падал плоский свет. «Папа, папа!» — выйдя на балкон, закричал сын вниз, в сад. Куда-то папа препал...

Тут он начал показывать нам папины холсты, извиняясь, что не может нам показать их как следует: они только что сюда переехали... Он выдергивал холсты по одному, как из грядки, и сначала осматривал сам, а я тем временем успевал прочесть на тыльной холстине дату и название. Названия, впрочем, были не всегда. Возможно всю жизнь писать горы, фрукты и лица, но невозможно же их каждый раз называть. Осмотрев картину и как бы с удивлением узнав ее, как бы посомневавшись, стоит ли она того, он показывал ее нам. Каждый раз он сомневался — и каждый раз показывал... И лишь одну не показал — так и приставил к стенке, наружу подписью «Весна» и веревочкой (за что вешать).

Как всегда, я не знал, нравится мне все это или нет. Картина всплывала, разрезала пустой объем мастерской, и я ловил в себе отблески восхищения бесконечной любовью художника к родине, восхищения, отчасти мною придуманного, и искреннего удивления перед его трудом: столько фруктов, столько гор, столько лиц! Неужто ни разу за долгую жизнь, столько раз повторив их, не усомнился он в самом факте их существования... И ни разу не захотелось ему, чтобы эта груша перестала быть грушей, стала бы идеей груши, какой-нибудь грушей через два «у» или два «ш», треугольником, шаром... Мне бы захотелось. Но такое поразительное здоровье, при котором все реалии этого мира вечны и вечно достойны воспроизведения в этом длинном-длинном времени каждого дня



нашей мгновенной жизни; такое природное сознание, как личный дар этого человека, что на его недолгий срок ему вполне хватит счастья от видения этих горообразных и фруктовых лиц (от множественности, от длины ряда внезапно начинала проступать их общая природа, еще и совпадающая с природой творца), — такое сознание тоже иначе как здоровьем не назовешь... а здоровье в последнее время преимущественно кажется мне прекрасным.

«Папа, папа!» — еще раз, приустав показывать, позвал сын с балкона.

Папы все не было.

Он не любил этот новый дом и предпочитал свой старый флигелек — вполне понятно. Новый дом был прижизненный музей и персональная галерея. Причины постройки музея еще при жизни старика тоже были вполне понятны: посетителей, вроде меня, тысячи, и это, конечно, тяжело — он был уже очень стар. Велик. Дни его исполнялись как бы все большей ценою и ценностью и требовали хозяйственного к себе отношения — все понятно. Даже трогательно. Но вот что: были ли его дни так же ценны, когда он был молод и влюблен, когда он был гениален? Дни его молодости ничего не стоили, а он жил, чего у него никто отнять не мог. Теперь, признавая и поклоняясь, от него отнимали — а что у старика оставалось? — его дни: они ему не принадлежали, они были национализированы. Старик был одинок для жизни: изолирован заботой и освобожден от выбора. Когда-то ему принадлежало время и не хватало славы, теперь ему принадлежала слава и не хватало времени...

Любовь старику возвращается как младенчество, — солнышко, тишина.

Он частенько пропадал, как-то славно сбегал из дому, с живым, теплым торжеством. «Папа, папа!» — но его уже не было, и тщательно скрытое недовольство домашних его побегами было по-видимому, тем пробуждением живой жизни, которая была еще необходима старику как правда и на которую он еще был способен, как был способен нарисовать еще несколько килограммов груш.

Это сбегание, не такое великое, как у нашего великого старца, не такое значительное, но такое родственное, едва ли не милее моему сердцу. У нашего было слишком много драмы, роли и значения, а в этом сбегании много больше живой потребности, как есть, пить и спать —

жить. И почему наш старец не сбежал много раньше? Ведь давненько его гению было все на этот счет ясно...

...Он успевал забрести далеко, он сидел на солнышке со стариками и беседовал с ними, ими не узанный, наконец равный, свободный, неодинокый... Находили старика, водворяли великого на место, в уют и уход, реликвию и национальную гордость, и жемчужина покоилась в малиновом бархате подушечки, пока не пропадала опять. Но ее всегда находили.

Тут не над кем смеяться — ни над ними, ни над ним. Исправлять нечего. И осуждать нечего.

Опять папа пропал. Мне почему-то очень этого хотелось.

И вот мы спустились, как поднялись. В темной комнате не было женщин — они слепили уже свои памятники пельменям. Огромный пес с лапами, помазанными зеленкой, проклацал когтями по паркету и обнюхал нас нехотя на пороге светлой прихожей.

«Папа, ты где пропадал?» — услышал я.

Я был пойман врасплох. Старец сидел в кресле и читал газету, без очков. «Все зубы целы...» — подумал я. Он отложил газету и рассматривал нас, спокойно выжидая.

Удрать уже не было никакой возможности.

Мы заулыбались.

...Он сидел в квадратном кресле, на нем была широкая, черная (в тон кресла) блуза, спадавшая так свободно, словно ничего под ней не было, никакого тела. Голова как бы существовала отдельно и была много красивей, чем на портретах, даже чем на автопортретах. На портретах лицо его выглядело несколько бабьим и чересчур старым. Здесь он был моложе, умней и мужественней.

Мы улыбались.

— Это, папа, ты знаешь, — предупреждая всякие недоразумения, говорил сын, показывая на моего спутника, — это наш знаменитый режиссер с «Арменфильма» такой-то такой-то (Так Такотян)... Ты его хорошо знаешь.

Отец посмотрел на Така Такотяна ясным и приветливым неузнающим взглядом.

— А это... — сын указал на меня и сделал заминку для подсказки, — наш гость... — он взглянул на Такотяна.

— Поэт из Ленинграда, — подхватил Такотян.

У меня есть имя, и я не поэт, но тут вдруг, и это было чуть ли не открытием для меня, я обнаружил, что, по сути, это неважно. Мое имя по сравнению с его именем было равно нулю; моя жизнь, хотя бы по длине, по сравнению с его жизнью была равна зачатию; по сравнению с количеством людей, прошедших через его жизнь, мое количество было равно одному далекому знакомому, причем этим знакомым был я сам. Ну какая разница, думал я, что я — прозаик Битов, а не безымянный поэт «имя им легион»? Это было полезное переживание: я вдруг понял, что имя мне — легион, что слово «поэт» и слово «Ленинград» говорят обо мне гораздо больше, чем имя. Я ощутил себя в истории и легко потерялся в ней. «Что в имени тебе моем...», «Исторической ценности не представляет, самостоятельного значения не имеет...» Я был представителем эпохи. Между нами была эпоха. Быть известным ему не представлялось мне возможным. С равным успехом я мог бы пометать, чтобы Лев Толстой дал мне «доброе пути» в «Литературной газете». Это была встреча во времени по Брэбери.

Старец посмотрел на меня с интересом, которого я явно не стоил: во всяком случае, сиди я на его месте, я бы посмотрел на поэта из Ленинграда с тоскою.

— Из Ленинграда? — спросил он, гениально не придав никакого значения слову «поэт».

Я закивал с облегчением.

Он протянул мне руку. Она вытянулась из пустоты кресла, непомерной длины. Только у стариков бывают такие прекрасные руки, похожие на осенние ветви и похожие (настолько!) на их лица, только у много потрудившихся стариков... Я трусливо поместил ветхую его ветку в свою мясную лапу, и он смело ее пожал.

— Как ваша фамилия?.. Я не расслышал.

Я стал вспоминать свою фамилию. Старец нетерпеливо взглянул на сына.

— Вйтор, — подсказал Такотян.

— Так? — старец взглянул на меня.

— Битов я, Андрей Битов! — воскликнул я в отчаянии.

— Битов... Битов... — старец с сомнением покачал головой. — Ты русский? — вдруг пристально спросил он.

— Русский... — ответил я неуверенно.

— Русский-русский? — заточил он вопрос.

Тут я что-то начал соображать.

— Русский-русский, — решительно сказал я, отбросив в сторону своих двух немецких бабушек.

— А то, — сказал он задумчиво, и рука взлетела вверх, очень далеко, и оттуда медленно, как лист, стала падать, — поляки, французы, немцы... а где русские? — снова стремительно спросил он.

— Да, да... Где? — повторил я, моргая.

«Откуда поляки? Какие еще немцы?!» — с крайним недоумением думал я. Однако удачно и ловко предал я немецких бабушек!

Мы сели в предложенные нам кресла.

Станный и неуместный восторг овладел мною. Так вот же о чем я непрерывно, мучительно думал с первого шага своего по Армении! Именно об этом! Вот что так тревожило меня. Есть страна Армения — я брожу по ней, вот она. В ней живут армяне. Вот они. Армяне — это армяне. Армяне — есть. А я кто? Русский? Ну да. Никогда об этом не задумывался... Меня мучило сравнение, вот что. Как я не догадался! До самого ведь конца так и не понял, что же так беспокоит меня в наблюдении иной страны. И вот надо же, первые слова, что услышал от старца, показались мне именно об этом. Именно он сказал мне их первый. Действительно великий старик.

Стоп! Куда-то меня занесло... «Поляки, французы...» Откуда он немцев-то взял? Никакой гениальности, даже сомнительной, в его вопросе нет. Что я-то всполошился? Русский, не русский... Стоп.

Тут самое время сообщить следующую мысль. Конечно, неплохо бы усвоить некоторые уроки отношения к своей истории, природе, традициям — это вопросы общей культуры. Но принцип нашего национального существования отличен от армянского, и национальное самосознание строится по иным законам. И главная роль в этом отличии принадлежит арифметике. Все упирается в число. Нас — много. Нам некому и незачем доказывать, что мы есть. Все, кроме нас, это знают. Что тут делать?.. То, что прекрасно в маленькой стране, благородно и вызывает восхищение, не может быть в равной степени и в той же логике отнесено к стране большой.

Это похожее на оторопь соображение посетило меня у подножия старца. И если он не подсказал мне эту мысль, то навеял, пусть невольно. Я благодарен ему, что мысль эта сидит теперь во мне как гвоздь. Может, его заслуги в этом и нет, но то, что голова моя как-то особенно заработала в его присутствии, я тоже готов отнести за счет его величия.

Такая простая, прямая, последняя (или первая?) точность — удел лишь великих людей (и неважно, какой он живописец). Как нелепо было с моей стороны рисовать себе образ великого человека на основании собственного опыта! Я ставил себя на его место... Это всегда пустая затея. Никого ни на чье место не поставишь — у каждого свое. Тем более у великого — совсем уж единственное. Как же мог я, невеликий, представить себе величие? Только увеличив самого себя в несколько раз. Но, увеличивая малое, можно создать разве громоздкое, но не великое. Тут другие законы и категории, неизвестные мне, никогда не знаемые. Великий — это в любом случае другой человек. Уж во всяком случае — не ты. Можно представить себя с небольшой долей воображения на его месте. Но это будешь ты на чужом, не своем месте, и ты себе сразу не понравишься, усталый, равнодушный, пресыщенный, и заранее испытаешь антипатию к великому человеку. Будто величие было целью хоть одного воистину великого. Одну мелочь я забыл учесть, рисуя себе великого человека: то, что он — великий. Не поставленный надо мной, не утвержденный свыше, не выдвинутый обществом, как староста... великий — его качество. Ему интересно мое имя именно потому, что ничего, кроме имени и принадлежности роду человеческого, у меня нет, что бы обо мне ни говорили и что бы я сам о себе ни думал. Ему интересны мое лицо, и голос, и жест. Ему Я интересен. Потому что он знает меня, давно уже знает. Ему не надо узнавать про меня. Он может сказать мне что-то, именно мне, потому что другому ОН бы сказал другое.

Скептицизм мой рухнул, обдав меня моей собственной старческой пылью. Старец был моложе меня и поэтому-то и прожил так долго.

Тот же пес прокладал по полу и улегся у ног старца, разложив по паркету свои зеленые лапы и непомерный

мужской мешочек. Старик ласково посмотрел на это чудовище.

— Старая уже?— спросил я с фальшивым сочувствием.

— Нет, совсем молодой,— ответил старик, и тогда я увидел, что и действительно совсем молодой еще пес. Просто старик был так стар, что и собака его казалась старой.

Сын старца откланялся и пошел в институт, где он, кажется, декан. Такой милый, интеллигентный, старый уже сын, с черным, трогательно потрепанным портфельчиком... Отец поморщился и взглядом не проводил.

— Молодые непонятные пошли...— сказал отец сокрушенно.— Вот куда он опять ушел? На службу? Что о н и там делают? Что в с е делают? Что делает крестьянин — понятно, что делает художник — понятно, что делает он,— старец ткнул пальцем в окно, где в люльке висел маляр и докрашивал его новый дворец,—тоже понятно, хотя и не совсем. А вот что о н и делают — физики, капиталисты, китайцы, фашисты — кто они такие? Что они делают? Что делят? Едят, пьют, ходят, спорят, заседают, получают зарплату — а что после них остается? Вы слышали про атомную бомбу?— спросил он тревожным шепотом, наклонившись ко мне (Такотян ухмыльнулся уголком рта).— Ведь это страшно, так страшно! Ведь сейчас, вы мне поверьте, мне один сведущий человек говорил, — сейчас уже такие штуки выдумали!.. Газы... Представляете? Чтобы всех людей — газом!

Я подумал, что этот, казалось, не получающий информации старик опять точнее нас всех, осведомленных. Ведь мы-то уже привыкли. Угроза нам так близка, и так уже давно близка, и так хорошо известна, что это уже и не угроза, надоевший шум, мешающий нам, занятым людям, заниматься делом... А чем мы заняты? Каким таким делом — спохватиться бы... А вот он как стар, а все помнит, что — Земля, что живут на ней люди, что ничего нет прекраснее жизни и священнее ее и что она должна сохраниться, жизнь. Он помнит последнее (или первое?), главное. И говорит свои последние простые слова, их немного, их несколько. Но каждое из этих последних слов на девяностолетнем столбе жизни, в самом первозданном, живом и прямом значении. За каждым из слов такое золотое обеспечение достоинством прожитой

трудовой жизни, что не верить этим словам нельзя, и, значит, это самые верные слова на свете. Господи, одни и те же слова, затверженные до непонимания, вдруг снова оживают, проскальзывают, как серебряные рыбы, в заросший тиной пруд и бьются там, живые...

— Один, только один есть выход, — говорит старец, — пространство!.. — И опять рука его взлетает куда-то высоко-высоко. Этот жест тем более завораживает меня, что стремительное это порхание длинных древесных рук происходит относительно абсолютно неподвижного, отсутствующего под блузой тела. Он мог и не говорить слова «пространство» — так точно передала его рука это понятие. И тут я понял про живопись то, чего не понимал никогда: что живопись — это движение. Только у живописца (не у актера, не у пианиста) возможен такой жест при слове «пространство». Я вижу застывшую картину, статичную, на стене, и на ней все остыло. Она мне кажется нарисованной, а она — написана. Живопись — это след движения, вот в чем секрет, догадываюсь я. Взмах руки, след мазка. И если живопись прекрасна, значит, движение прекрасно. Вернее, если прекрасно движение, значит, прекрасна живопись. Живопись — это движение... думаю я.

— Пространство... — говорит старец (взмах руки, след мазка). — Земля стала такой маленькой. Нет, это я не образно говорю. Это на самом деле, физически так. За мою жизнь Земля уменьшилась в несколько раз. Можно объяснить это перенаселением или связью, радио там, самолетами, ракетами... Она крохотная, наша Земля. Это же сигнал, ее уменьшение, — его только понять надо. Раньше она была огромная, трудная, неприветливая — теперь, иногда мне кажется, поместится на моем дворе... Ну как не понять, что это же призыв в пространство, такое ее уменьшение! Земля — это только площадка. Космос — вот будущее человечества. Пространство... (Взмах, взлет, мазок.) Вот назначение человека! Тут-то нам и надо всем это понять, чтобы овладеть им. Очень, очень тяжело овладеть пространством! И если мы все не объединимся для этой цели, то ничего не получится, и мы погибнем. Все, что было, — предыстория, мы прожили наши несколько тысяч лет, чтобы встать перед такой задачей. Это ведь и была цель человечества — пространство! Запомните, — сказал он,

видя, что Такотян встал (он успел мне шепнуть, что нам пора уходить, а то старик очень устанет, разговарившись), — запомните, я вас буду тогда считать своими миссионерами, — он улыбнулся виновато, — и всем объясняйте, что наша цель — пространство! В этом наше божественное назначение.

...Некоторое время мы шли молча. Такотян раздражал меня, мне хотелось побыть одному, с мыслями, столь странно разбуженными. К тому же я опасался, что Такотян начнет сейчас посмеиваться над стариком, чтобы показать, что эта болтовня про мир и космос его, такой он развитый, нисколько не трогает. И когда он открыл рот, я сжался, но он сказал вот что:

— Ах, что бы с нами было, если бы его не было? Нельзя представить. Словно и нас бы не было.

**Конец  
(Звонок)**

Вот и светать начало. Я рвусь к цели, почти потеряв ее из виду. Цель у меня сейчас — уже только конец. Под утро моя машинка стучит, как сердечко, и вместе с ним. Все шустрее и невернее, с пере-

боями. Позванивает, нарываясь на конец строки.

Очерк, акнарк, намек...

Очерк намечен, очерчен.

Господи, держишь ли ты меня за правую руку?

Я старался. Я пытался быть честным, я пытался быть точным. И мне уже не хватало сил стараться еще и быть понятным. Я рискую быть непонятым и русскими и армянами. Кто я такой, чтобы брать на себя всю эту речь? Да никто. Но никто и не говорит за меня. Я рискую быть непонятым, адрес мой двойствен и неточен. Материал может показаться любопытным русскому человеку, поскольку он так же плохо или еще хуже знает Армению, и тут я проскочу со своим невежеством и наивностью первого взгляда. Чувство же — оно зрелее у меня — более, быть может, будет понятно армянам, чем русским...

Я очень мало знаю Армению и ни на что не претендую. Поэтому-то и возникла форма уроков начальной школы, учебник своего рода. Я не мог создать сколько-нибудь объективную и точную картину, кроме картины собственного чувства. Я бы назвал свой очерк «Армянские иллюзии», если бы уже не назвал и не построил его



иначе. Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я не Армению, а Россию, «ее не победит рассудок мой».

Свою-то родину я знаю, по крайней мере постольку, поскольку я в ней родился и прожил столько, сколько живу на свете,— а как еще что-нибудь можно знать лучше? По сути, эта моя Армения написана о России. Потому что с чем сравнивает, чему удивляется путешественник? Сравнивает с родиной, удивляется несходству: тому, чего у него нет, тому, чего ему не хватает, тому, что есть, но мало, мало. И лишь после этого уже тому, что одинаково, что сходится...

Но уж и Армении я обязан! И если я вернул хоть каплю той любви (конечно же, не гостеприимство, нет!), которой она меня столь настойчиво обучала, а именно — любви к своей родине, то я выполнил хоть и не первую, но и не последнюю свою задачу. Во всяком случае, если бы я родился снова, родился бы армянином на твоей земле, я бы безумно любил тебя, свою родину... В чем-нибудь это легче нашей «странной» русской любви.

— Я дал себе слово,— сказал мне однажды мой друг,— что никогда ни о какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего...

И как я согласился с тобой!

И все же — грешу, грешу...

Но — старался быть точным. А никакой другой точности у меня не было, кроме той, что все со мной так и было. И в той самой последовательности. Даже в монтаже не допустил я перестановок во времени по отношению к действительному моему пребыванию в Армении. Вернее, монтаж этот не потребовался. Именно так набирало все силу, и именно в такой последовательности: сначала мне не очень нравился Ереван (если бы не мой друг, то и совсем не нравился), а потом самым сильным физическим впечатлением был Севан (я заболел), а духовным — Гехард, именно сразу после Гехарда выслушал я лекцию о прогрессивном градостроительстве и именно перед отлетом посетил старца, а после этого визита должно уже было вернуться домой: внезапно все обрело свою законченность.

Все могло бы быть и еще законченной... Задержись

я на день, то поехал бы в Бюракан, где впервые в жизни посетил бы обсерваторию и тогда был бы обязан Армении еще и звездами. И до чего бы точно это сейчас сюда легло вслед за старцем и его напутствием в космос! И повествование мое преодолело бы земное тяготение, а в ушах читателя еще долго звучал бы последний космический аккорд, даже после того, как он закрыл и отложил этот учебник. И долго бы смотрел он вслед моей ракете...

Очень многого не успел я повидать в Армении. Что можно успеть за десять дней?.. Я не побывал на знаменитых на весь Союз фабриках и заводах, пастбищах и виноградниках, не посетил лаборатории и институты... Да что говорить! Даже в погребях великого треста «Арарат» я не побывал и не попробовал!.. Я не видел многого из того, чем гордится Советская Армения. От моих заметок до энциклопедического очерка — огромное расстояние. Но так же далеко и энциклопедическому очерку до моих заметок!.. Правда и гармония первого впечатления — достояние, дающееся человеку раз в жизни, и этим можно и следует делиться, потому что за ним (первым впечатлением) простирается такое море познания, что можно, заплыв, потерять из виду все берега...

Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, — и в этом уже ее содержание. Я прожил в Армении десять дней, а писал ее больше года — я прожил в Армении около двух лет.

Каждый день прибавлял мне так много, что описывать его приходилось месяц. У кого же мне занять столько времени?..

Да, задержись я в Армении хотя бы еще день, читал бы сейчас читатель «Урок астрономии»! Но жизнь диктовала свою точность. В том-то и дело, что точность у жизни одна — та, что есть, а все остальное неточно.

Я сорвался с последнего урока и промотал астрономию.

Я вернулся из школы на час раньше и застал дома тех, кто как раз в этот момент собирался, быть может, уходить из дому. Вернись я на час позже, то и не застал бы. И в этом — своя точность.

## ПОСЛЕ УРОКОВ

**Перемена** Все написал. Даже виньетку в конце пририсовал в виде первого русского впечатления. Так сказать, приехали... Думал — конец. Как раз нет. Тут-то все и начинается.

Пришлось мне мою «виньетку» вычеркнуть...

А ведь все так и было! Только прилетел — попал в объятия, и выпили мы славно, и поговорили на родном языке наконец. И со своим восклицанием о родине русской — слове — я до сих пор согласен. Но не стоило мне рисовать эту виньетку, не надо было ввязываться!

Ничего не сказать о возвращении — было бы неправильно, но сказать мало — оказалось еще хуже, а если больше сказать — то сколько? И почему именно столько? Всего — не напишешь. И при чем тут тогда Армения окажется?..

Сразу же потребовалось оговориться даже по поводу этой сценки, потом уточнить оговорку и приписать еще сценку, чтобы объяснить уточнение... Подправить, добавить, уточнить. И снова объясняться, оговариваться, оправдываться. Все, как в «безумном чаепитии»: «Хочешь еще чаю?» — «Больше не хочу». — «А меньше хочешь?» — «Нет». — «Значит, хочешь больше?»

А потом вдруг, сразу же — взглядом не охватить, мыслью не обнять — так много... С чего начать? С этого? С того? Почему же с того?!

И мало — плохо, а много — еще меньше.

Наступает немота. Это — родина...

Даже описывать события, лишь как они происходили, лишь в естественной последовательности времени — нельзя оказалось на родной земле, неправильно... И чуть ли не ложь. Словно все, что вокруг и сейчас, — это случайная и бессмысленная цепь, будто, может быть, и нет этого ничего, что видится, а есть нечто главное, глубинное, чего так не видно, а надо увидеть. И вот, когда увидишь — это и будет правда, только ее пиши! Родина. Немота.

Слишком уже был я опьянен естественной точностью и логикой нарастания впечатлений в Армении; слишком уж уверовал в метод. Казалось, продолжай так, день за днем, только бы не терять высоты, по инерции набранного чувства и мысли — и будешь забираться все

выше, и выше, и стройная твоя линия затеряется в облаках, так нигде и не погнувшись, не сломавшись... Но нет, тут была остановка и обрыв, а на краю обрыва стоял отчий дом. И это было уже не путешествие, где цельность и точность картин связана именно с их мимолетностью, а прозрение — с неведением... Сама твоя жизнь пододвинулась вплотную — и ничего не видно. Хочешь не хочешь — гляди ей в родное и вечное, опостылевшее и любимое лицо. И вид из окна не передвинется, и имя твое не переменится, мать и отец у тебя всегда будут те же и твоим именем тебя назовут, а лет тебе на этой земле не убавится, а прибавится. Тут другая логика, другой метод, иное течение речи. В движении — откуда взяться фантазии? Впечатления... А тут и фантазия работает, как только приостановишься и постоишь минутку на родном дворе. Ибо что может быть фантастичнее обыденности и банальнее новых впечатлений? Ибо тут уже иное качество любви и боли, иное качество знания — и как поведешь в мимолетных картинках о том, что есть твоя земля, твой дом, твой язык — что есть ты? Тут и споткнешься, и замолчишь, и замычишь, крутя головой от бычьей бессловесной муки, с глазами, красными и короткими от любви. Упрешься в забор. Родина. Немота.

А может, метод счастливо-легкий тот неверен и в отношении Армении, раз неверен он в отношении родины? Я пробыл в Армении десять дней — и написал книгу, а за десять тысяч дней пребывания в России — ничего подобного не написал.

Но это уже попытка точности с перебором, 101 %, так сказать. Я не армянин, чтобы испытывать его немоту.

Это первая оговорка, их — тьма...

Вот — другая.

## **Новая книга**

Живая проза прорывает твое личное время и во многом предвосхищает твой опыт. Новая книга — это не только твоя жизнь, пока ты ее пишешь, и не только опыт предыдущей жизни, входящей в нее, но и — твоя судьба, твое будущее. Если бы автор только повествовал для читателя, ему было бы просто скучно, а скучая — что напишешь? Дело в том, что если человек пишет, то он сам познает то, чего до этого не знал. Это его метод познания — писать. Гении, быть может, позна-

ют то, чего до них никто не знал. Прочие — заново открывают: для себя, для таких, как они, для времени. Человек, собственно, не дарит миру ничего нового, он считает новыми те вещи, которых раньше не знал и вдруг обнаружил в этом мире... Но они уже были до него, раз он их нашел. Это только он не знал об их существовании. А в мире нет нового и старого, потому что в нем все есть сейчас.

Так вот, написав книгу, автор неизбежно попадает в открытый мир. В процессе написания, пока он его еще открывает, ему кажется, что мир этот — более продукт его авторской воли, проницательности и фантазии, то есть личности, нежели реальный сколок законного мира. Этот обман называется вдохновением и существует для того, чтобы книга была дописана. Но как только поставлена точка, как только распахнута дверь — автор оказывается именно в том мире, который описал (раз уж это автор и если это — книга).

Сначала это ему льстит, потом всеобщность и пространенность «открытых» им законов его подавляет и ему приходится учиться существовать в открытом им, поначалу таком сокровенном, мире и по его законам. Тут кончается романтика и начинается страх. Человек оказывается окруженным и заблокированным созданиями собственного разума, и если про часть явлений, событий и героев он знал, что они есть в этом мире, и его поражает то, что их развелось больно много, пока он писал, то реальное существование другой и вымышленной им части потрясает его. Ему приходится убедиться воочию, что все так и есть, и заподозрить, что так оно и было, потому что иначе он может впасть в мистицизм. И когда автор перезнакомится со всеми, кого сотворил, когда с ним начнут происходить события, которые имели место лишь в его книге, а не в его жизни, он замечется в поисках выхода — и это будет новая его книга.

(Слава богу, я давно это заметил и старался без надобности не прибегать к острым сюжетным поворотам, как-то: тюрьме, войне, смерти близких и прочим литературным убийствам.)

Что-то похожее произошло и с этой книгой. В Армении я прожил десять дней, почти исключительно в настоящем времени, не вспоминая прошлого и не заглядывая в будущее, а это оказалось очень много, потому что

дома нам редко удается пожить минутой. Я нагло оседлал эти десять дней и погнал их впереди себя, как вечность. И сначала не хотел слезать, а потом и не мог слезть. Мне отворился целый мир картинок и проблем, поначалу достаточно далекий от моей личной муки, и я мог с удовольствием погрузиться в него — именно как в ванну. Я усмотрел в Армении пример подлинно национального существования, проникся понятиями родины и рода, традиции и наследства. (Это поддерживает некоторое время.) С болью обнаруживал я, что в России часто забывают об этом. Что надо посвятить себя напоминаниям. Я мчался, я «предвосхищал»...

Наскуча или слыть Мельмотом,  
Иль маской щеголять иной,  
Проснулся раз он патриотом  
Дождливой скучною порой.

И вот стоило мне приблизиться к концу книги, довольно потирая руки, не успел я дописать последнюю главу, а именно то место, где старец говорит: «Где русские?» (курьезно, но это было в ночь под Рождество) — как в дверь постучали и вошел русский... мой московский знакомый Щ... и с порога спросил, русский ли я. Несколько опешив от столь буквальной материализации моих образов, я успел ему ответить, что да. Он с сомнением покачал головой: «А почему?» — «Что — почему?» — удивился я. «Почему ты русский?» — «По крови», — ответил я, начиная злиться. Ответ мой, надо сказать, поразил Щ... «По крови... Надо же! Мне никто еще так не отвечал». — «А ты что, всех спрашивал?» — «Все говорят: березки, язык, родина...» — сказал он.

Через два дня я оказался окруженным толпою заинтересованных национальными проблемами людей, то ли потому, что, в результате писания этой книги, начал замечать их, то ли потому, что Щ. им обо мне рассказал... То есть то и оказалось, что отворил я дверь в давным-давно населенный мир, и, несколько ошалев от того, что мир, казавшийся таким «моим», принадлежит всем, пережив небольшое разочарование от потери приоритета, стал знакомиться с аборигенами этого мира, поначалу просто за руку...

Ах, я много пожал лишних рук!

Но — стоп! Я не успеваю здесь поведать об этом... Об этом опять надо сказать либо слишком много, либо

ничего. Лучше ряд пока закончить и не продолжать. Лучше я отложу, пообещаю, непременно, потом, отдельно... Нет, нельзя больше прямодушно следовать фактам — надо либо их не заметить, либо осмыслить. А осмысления хватит на всю жизнь. И немота обеспечена.

К тому же все эти встречи, люди, разговоры, факты — весь этот конкретный мир, в который я неизбежно окунулся, написав про Армению, сейчас уже так разросся, так ее заслонил, настолько уничтожил все мои предвосхищения и стал копиться столь тяжким горбом опыта, что справиться со всем этим можно лишь в новой книге.

1967—1969

## ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АГАРЦИНЕ

*(Через три года)*

За Пушкинским перевалом, где библейский пейзаж Армении начинает уступать теплomu и влажному дыханию Грузии и все так плавно и стремительно становится другим: линии гор, кроны деревьев, плодородие полей, цвет трав, шорох речек, — мы свернули с шоссе в глубь подступившей зелени. По более тесной дороге мы некоторое время ехали вверх по ущелью, все глубже во влажный сумрак леса. Справа, обнажив острые желто-серые склоны, нависла скала, слева, круто вниз, спадал толстый лиственный лес, на дне которого брнчал серебристый, как рыба, поток. Листва была почти уже не зеленая — такая густая. Запах, шедший со дна ущелья — воды, скал и листвы, — веселил душу. С трудом пробиравшийся сквозь нависшие кроны солнечный луч дрожал на дороге...

Перед небольшим мостиком над сухим притоком машина стала. Мост был наполовину разобран. Мы вышли. Приток раздвинул лес, и, переходя мост, сквозь отсутствие настила можно было увидеть глубину нашего ущелья. Там, над ржавым остовом погибшего автомобиля, кипела белая вода.

Дорога еще сузилась, превращаясь в тропу, и все круче шла вправо и вверх. Некоторое время мы поднимались гуськом в этом зеленом крутом коридоре. Деревья утрачивали свою пышность (сказывалась высота),

становились кустами, отворяли небо над головой, перемежались скалою и уступали скале...

Над нами уже было только небо, но перспектива почему-то не ширилась, а сужалась, ограниченная крепостной линией скалы, на которую вела нас тропа, и небо торчало клочком. Хотелось скорее одолеть этот подъем и заглянуть за скалу. Какое-то приятное легкомыслие и непринужденность нашей экскурсии, будто ползти в гору нам было необязательно и не тяжело, свежесть живой и наконец зеленой, не раскаленной природы радовали мое северное сердце, легко дышалось, и чувствовал я себя словно на гравюре — в плаще и широкополой шляпе, с высокой альпийской тростью, будто был я моложе самого себя на целый век.

Вот таким «широкополым» взобрался я наконец по крутизне и очутился на взгорбке, с которого и открылась передо мной, с некоторой внезапностью, цель нашей экскурсии. Это был монастырь. Он встал передо мной на дороге так навстречу, как человек из-за поворота.

Маленький, скромный, уютный — ничего величественного и давящего. Он казался жилым. И если он перегородил мне дорогу с внезапностью живого существа, будто это было его, а не наше любопытство, то существо это было доброжелательно. В нем не было ничего такого особенного, ради чего стоило так забираться, но и разочаровываться не в чем. Я оглянулся, улыбаясь поспешавшим моим спутникам, но ничего, кроме них, внизу не увидел: скала, дорога, монастырская стена... даже вида не было в этом деревенском мирном месте.

Деревня тут и была. Монастырь, конечно, давно не действовал, и благостная от здоровья и покоя семья сторожей развела здесь корову, теленка, овец, пчел, бабушку и детей. Чем-то теплым, молочным — парным — пахло от этих людей и их смущенных улыбок.

Мы осмотрели трапезную, которую нам продемонстрировали как бы с большей симпатией и особым благодушием: «Вот так они здесь и кушали...» — это было удизительно и понятно. Мы зажгли свою слабенькую свечечку в часовне и потоптались в пыльном сумраке небольшого храма, собравшего вокруг себя монастырские постройки, как наседка. Семейство сторожа стояло в сторонке, немножко нас стесняясь. Все было здесь очень добросовестно, просто и так умиротворенно —



волноваться было нечем и хотелось спать. Взбирались мы все-таки несколько долго по сравнению с тем, как быстро все предстало перед нами, оказалось осмотренным, и — собственно, все. Потягиваясь и разминаясь, как после сна, вышли мы из храма и по узенькому проходу меж ним и часовенкой сделали еще несколько нехожих последних шагов... Эта короткая улочка тут же кончилась и привела нас на небольшую полянку или площадку. Дуплистое раскидистое дерево занимало ее почти всю. Под ним была вкопана скамья и столик. Дерево заслоняло взор — хотелось заглянуть, что там, за площадочкой... Мы обошли дерево и...

О боже! Мы о к а з а л и с ь.

Другого глагола не найду. Мы оказались. Но нет, ничего сверхъестественного. Мы оказались там же, где уже прожили всю жизнь, где именно мы, и никто за нас, не жил. Мы оказались в том мире, где мы живем. Но он весь, весь был помещен к нам во взгляд, словно мы только что в этот мир прибыли, как с неба упали. Прилетели, были изгнаны... Будто это только что нас за руку привели, сказали: «Плодитесь и размножайтесь».

Смутившись, я уронил взгляд. Ковырнул камешек носком ботинка. Камешек покатился, увлекая за собою братца... Лишь следуя за ним, мог я постепенно снова поднимать взор. Мир вытекал из-под ног моих, как ручеек, ручей... Он ширился так стремительно, будто летел... Река — море — стихия...

Этот темно-сизый мир еще не был заселен. Ни крыши, ни дымка, насколько хватало взгляда. А его не хватало — так все было далеко и не кончалось. Я стоял в горловине воронки. Здесь было узко. Вплотную подступали створы ущелья, смыкаясь прямо за моей спиной. А дальше ширилось, просыпалось, потягивалось, оживало, жило, цвело, разрасталось, разворачивалось и лилось, как из рога изобилия. Как бы вся расширившаяся передо мною внизу долина по форме, по расширению и гнутости напоминала этот рог. Будто этот рог обростили на землю, и верхний свод его стал прозрачным, как небо. Я был засыпан на самое донышко рога, из-под меня просыпалось все то, чем изобиловал мой взгляд.

Земля была мягка, оплодотворена, спокойна. За голубым альпийским лугом вставали огромные синие ели; их раздвигал, разгонял, прижимаясь то слева, то справа,

белый ручей-река, словно гнал вниз это еловое стадо; суровый лес начинал круглеть, кудрявиться, разливаясь в мягко волнующееся лиственное море, и глубокая сапфировая по цвету лохань долины, тихая и сплошная, лежала в самой глубине, а за нею вставали, так же медленно обретаясь, горы. И сердце сладко ухало вслед за взглядом, когда я плавно следил за проистеканием мира из моей точки и через безмысленное небо возвращался вспять, к себе. Себя я не мог видеть. И тогда с удивлением смотрел на свою руку, чтобы убедиться. Рука. Она еще не прикасалась к этому миру. Она ничего в нем не натворила. Она еще не знала работы. Рука, как младенец, шевелила пальчиками, пялясь на мир, который ей предстоял.

Словно это за руку меня сюда привели, подвели... Я глянул, охнул; а когда вспомнил и оглянулся — Его уже не было. И только моя пустая ладонь хранила еще прикосновение того, кто привел нас. Ладонь была пуста.

..Я видел в своей жизни несколько храмов, потрясших мое воображение. Воображение в том старинном смысле слова, которое еще не расходилось с реальностью, а символизировало скорость представления... Не фантазия, а именно — воображение. Образ представлял передо мной.

Это зрение всегда как бы ставило меня на место, то есть я утрачивал то, что приписывал себе в тщете. Ненадолго этого хватало. Я не мог продлить состояния, когда уже не видел храма. Такой храм всегда находился на фоне, в природе, вписанный в нее и не заслоненный человеком и делами рук его. И я уже понимал, что выбор места для храма — едва ли не главная архитектурная мысль его. Как в бесконечности тайги вдруг встретишь серенький треугольник — триангуляционный пункт, то есть место топографической привязки, — так и храм, правильно, единственно там построенный, всегда казался мне чем-то вроде пункта привязки человека, только уже не на поверхности, а в мироздании — напоминал человеку, где он, если поднять глаза от хлеба насущного, находится. Храмы бывали величественными и великими. Они подавляли или внушали, растворяли или возвышали душу, то указывая ей место под богом, то у бога. Строитель воплощался в своем творении так полно, как не удавалось ни одному мирскому архитектору. По-раз-

ному воздвигал строитель свой храм: бог и я, я и бог, только бог... Но ни разу ещё не встречал я храма, настолько подчиненного идее растворения в творении. Такого отсутствия гордыни у строителя, такого смирения я еще не встречал. Как можно незаметнее, спокойнее, шепотом... уводил строитель свои линии от нашего взгляда и уводил наш взгляд, чтобы не храм мы увидели, нет — это пустое, человеческое дело, постройка, — а чтобы мы узрели, где он стоит, где мы живем, отражение лица бога в его собственном творении. Ибо что лучше отразило его?

Надо же было так именно обо мне позаботиться!.. Чтобы я долго шел вверх искусно подобранным путем, чтобы взгляд мой все укорачивался, успокаивался и все меньше видел, чтобы я достиг цели именно там, где перспектива сократилась окончательно, чтобы все постройки не раздражили и не восхитили мой глаз, а продолжали заслонять мне даль, чтобы нигде, оглянувшись, не мог я увидеть более того, что только что видел, чтобы усыпить мое внимание и ожидание и подвести меня, как малого, за руку ровно туда, откуда... ровно тогда, когда.

Место человеку может указать (научить) только тот, кто сам знает свое место. Не было, не могло быть архитектурной идеи гениальней, чем передоверить возведение храма самому творцу...

Так я стоял, сжимая и разжимая ладонь, словно она была в смоле, и не мог постичь того, что было знакомо мне с первого вдоха — мой мир.

Господи! вот он...

Нет, не в храме, вот здесь мог я рухнуть на колени. Я не сделал этого жеста, никому не демонстрировал... но я все равно был в этот момент на коленях — возвышенно-смиранный, униженно-благодарный.

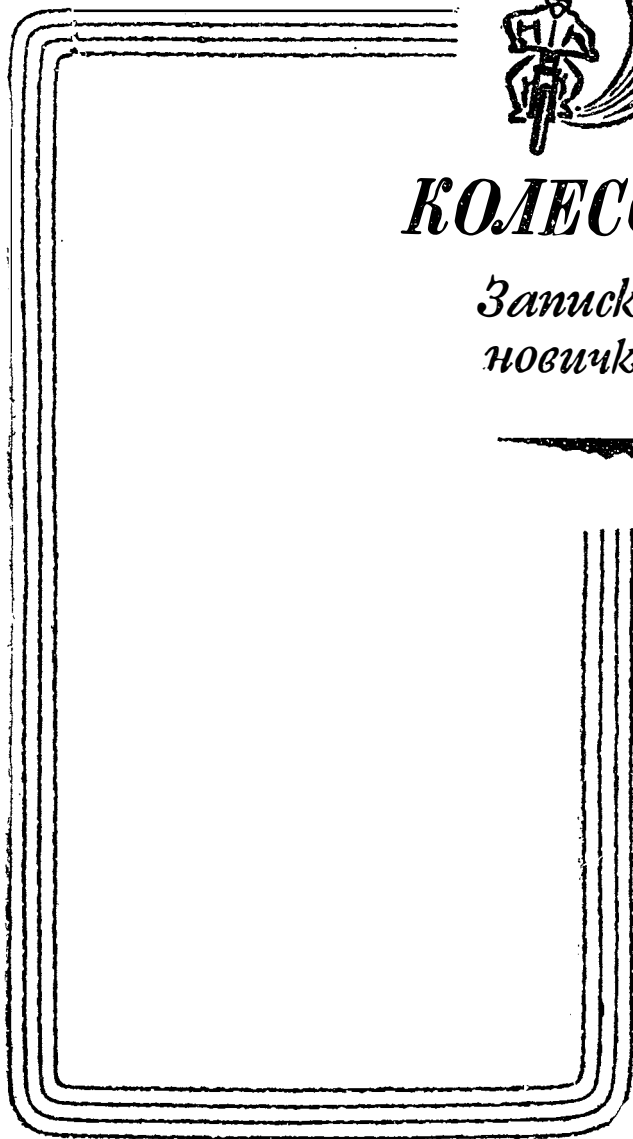
Нету слов. Их — как не бывало.

Здесь надо было заново учиться языку, зародить его, разлепить с трудом губы, тем же исполненным бесстрашия усилием, каким осмелился распахнуть глаза, и произнести первое слово, одно, чтобы назвать то, что мы видим: мир. И дальше по слогам, шажками букваря, держась за краешек страницы: э-то — мир. Он — весь. Это — все. Передо мной — все. Мир — это все. Передо мной отворился мир. Я застыл на пороге. Замер в дверях. Ворота в мир. Врата мира. Я стою на пороге. Это я стою. Это — я.



# *КОЛЕСО*

*Записки  
новичка*





---

### Запись первая

Омск, Томск.  
Чйта-Чйта!  
Узловая.  
Полустанок.  
Стрелки, стыки.  
Семафоры.  
Уф-ф-фа-а!..

Была такая песенка.

...Мог ли я предполагать, что неожидан-  
ный утренний заморозок осенью 1968 года  
понудит меня лететь в город Уфу в фев-  
рале 1970-го?

### Запись вторая

## КОМАНДИРОВОЧНЫЙ КАК АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ

То-то. И не предполагай.

Хотя я и опаздывал на самолет, но поспел настолько  
вовремя, что, легко подавая шоферу пятерку, мысленно  
сэкономил ее на городском транспорте... День был не-  
правдоподобно безоблачен и аэродром пуст до ощущение-  
ния, что неким чрезвычайным декретом, до одного меня

еще не дошедшим, с сегодняшнего дня воздушные сообщения отменены.

И правильно. Чего летать-то? Что я там, живу? Или у меня там родные? Или что-нибудь там без меня состояться не может? Один только мой самолет до Уфы сожрет тонн семь кислорода. Сколько елок и полянок должны, работая каждый день, по грамму набрать эти тонны...

Стоило только отменить полеты, как сразу же установилась такая отличная, наконец летная погода! «Пусть каждый живет, где прописан», — как сказала незаконная теща своему незаконному зятю, выставляя его сундучок на лестницу.

Иду я по пустому аэродрому, по которому, как ветер, хлещет солнце, — легкость в мыслях необыкновенная! Ибо оттуда, где я прописан, и даже оттуда, где не прописан, я уехал как бы по делу. А именно — посмотреть полуфинал первенства мира в мотогонках по льду. Без меня, выходит, обойдутся и там, откуда я уехал (раз я уехал), и там, куда я лечу, потому что я не мотоцикл, не стадион, не гонщик и даже не судья... Как хорошо!

Давно пора было выдаться такому деньку. Это был один из тех обманчивых дней, что преждевременно обещают нам весну. По-видимому, чтобы мы могли ее дожидаться, не забыть и не отчаяться, что она когда-нибудь бывает. «Денек, — думал я, — погодка, бабенка...» «Еньк, аньк...» Сколько преходящей радости в этих уменьшительных суффиксах! Потом слово подрастает до суровости, до тупого безличия, остановки понятия. «Так надо жить! — думал я. — Солнышко, миленький...» Ржавые жизненные соки забулькали во мне, как в наконец подключенной батарее отопления.

Да, сколько ни летай, сколько ни кажись себе бывалым человеком, что-то в этом есть: аэродром без людей и самолетов, солнце, отсутствие багажа... очереди нет в буфете! — чудо, момент отрыва. Каким красивым отбывает командировочный — кино! Это потом он станет несчастным, как два шестьдесят в сутки, — сейчас он бабелень мира: любовник, чемпион, артист!

Опасны такие деньки: набухнут почки, ударят заморозки...

Объявили посадку. Откуда ни возьмись — отовсюду появился один человек, пересек солнце, сбился в кучку

у турникета. Вот их два человека: один из дому туда, победитель, — это я, другой отсюда домой, пораженец, — он. Он мне показался — так, что-то вроде меня... Любопытно, какой должности соответствует мое вольное положение? Старший преподаватель, ассистент, аспирант с какой-нибудь кафедры общего дела? Он был на это похож... Лет за тридцать — под сорок; лицо чуть одутловатое, побелевшее от городской жизни, но еще желтоватое; очки, почти скрывшие широкость скул, узость глаз; белая рубашка, выбритость (это уже не как у меня); портфель еще новенький, лысинка еще светлая; в руке — каракулевый пирожок... Ездил в Москву, наверно, к руководителю, вез двадцать банок башкирского меда двоюродной тетке, жил в гостинице, звонил одной знакомой... Страшился дежурной по этажу, путался в вертявых гостиничных дверях, брался рукой за узел галстука, делал шеей туда-сюда — из зеркала глядело на него не его лицо... Похож, похож! На кого-то он похож... Сейчас вот стоит у турникета, помаргивает на солнце, смотрит на девушку в пилотке — это она, приблизительно, не пришла к нему в гостиницу, — такой вежливый... Ах, ему меньше удалось в эту поездку, чем он предполагал! Можно сказать, ничего не удалось... Судорожно промелькнули в мозгу столбики расходов, где самая верхняя цифра есть два шестьдесят на пять, — что-то щелкнуло — девушка гордо отделилась от общей безобразной толпы и поплыла перед нами, отдельная, пока мы выдавливались, по одному, в турникете. Ах, эта девушка! Пилотка всплыла на самый гребень золотой перекиси и еле там держится, меня с ума свела, ах, пиджачок в талию, еще уже, уже, потом шире-шире, ах, нога-другая, шаг рвет юбку... я поймал взгляд моего кандидата в науки — он потупился, перетоптался и пропустил меня вперед, молодец такой!

Я иду по плитам аэродрома — как не стать тут походке более упругой! — отрываюсь от земли... и впрямь мы летим.

Тот, что он, сидит впереди меня. Его окликают. Он оборачивается, кто окликнул. Лицо в промежуточном состоянии... Вдруг так сразу расправился, как надувная игрушка, кивнул вверх: «А, это вы, Рафик...» И вот уже разговор: «Захожу прямо к нему, прямо в кабинет... так и так, — говорю, — он мне: Завтра же позвоню,



дорогой, завтра же!» Рафик сидит как в седле, весь внимание, смеется, точно угадывая места, где смеяться, кивает: «Да, да! А Ивана Султановича видели?» — «Как не видел! Видел!» — «И Султана Фонтановича?» Рафик почти не верит от восторга, хотя как он, с другой стороны, может не верить уважаемому... Ах, Рафик, Рафик, Рафинад Сахарович, любезный ты мой Рафик... ну, конечно, видел он Султана Фонтановича, как не видеть... Смотрю: самолет чем выше, чем дальше от Москвы — расправляется мой кандидат, и уже еле видно, как кивает он с вершины своей маленькому, стройному в своем служебном седле Рафику. «Как не видеть, видел...» — губой пожует и кивнет. Прилетит он в Уфу, я так думаю, очень большим человеком... Родина! Возвращение.

Отворачиваюсь в иллюминатор — там крыло: каждый раз вот так, в досаде... В таком положении в самолете, до самого, так сказать, жанру, по просьбе композиции, как не вспомнить все то, что мне потребуется в последующем повествовании.

### Запись третья

### ПОЧЕМУ — УФА?..

Как случилось так, что Уфа, что именно Уфа — не Москва, не Киев, не мой разлюбимый Ленинград, ни даже Одесса, а вот эта неведомая Уфа, промышленный центр, столица Башкирии, заметьте: не столица Мордовии, не столица Татарии, не столица Бурятии Улан-Удэ, не столица Карелии, не столица Дагестана, не столица Кабардино-Балкарии, ни тем более Сыктывкар, столица моей любимой Коми АССР, где я служил счастливо и беспечно в строительном подразделении — именно Уфа стала еще и столицей отечественного мотоспорта. Этот мне одесский юмор про Васюки!.. Пожалуйста, вот вам Уфа — столица мирового мотоспорта. Однако почему же именно Уфа? Вот о чем я думал, глядя на трепещущее, посверкивающее, такое непрочное самолетное крыло, и не находил ответа.

А я, казалось, уже кое-что знал, Самородов и Кадыров, можно сказать, у меня дома бывали. И на ленинградском мототреке я не иначе как за загородкой, где

тренеры да участники, куда никого из смертных посетителей не пускают... Вот я там стою — видите? — отпрыгиваю в сторону, пропуская участника, кричу ему: «Давай, Боря!» — и чуть не попадаю под самокат великого Гены (замечу в скобках, шепотом, — Кадырова!).

Многое уже знал, а почему Уфа, не понимаю. Так стремительно приближалась она ко мне за последний год! Неизбежно все-таки, что я туда лечу... И слова можно содрогнуться при мысли, как все это произошло. Это я-то, знакомый с сотней литераторов и десятком нарушителей общественного порядка, — и вдруг на тебе!.. Самородов и Кадыров — вот кто мои друзья!

#### Запись четвертая

### ФАЛЬШИВЫЙ ПИР

Это я утверждаю с дрожанием в голосе. Потому что прежние мои друзья разочаровали меня, а я — их... Слушалось это так.

Я собирался надолго уехать из дому и довольно далеко. У меня были мотивы и причина ехать туда. Причина была сильнее. Так вот, перед отъездом, как бы подбивая бабки, решил я пригласить одних своих старых знакомых: очень уж меня расстраивало постепенное и подспудное мое с ними расхождение. Мы не ссорились, а расходились-таки, когда-то столь дружные и любовные друг к другу. Вот мне и пришла идея, чтобы все как прежде: пригласить, принять со всею любовью... чтобы все было так мило, словно мы и не расставались, а потребность видеть друг друга у нас никогда не падала...

Думаю, что здесь и вкралась ошибка, которая привела меня сначала в Уфу, а потом вот к этому тексту.

Вечер, как я теперь понимаю, был ужасный. И описание его я здесь вычеркну. . . . .

. . . . . и т. д. . . . .

. . . . . и т. д. . . . .

. . . . .

Так. Вот что следует учесть, раз и навсегда: никогда не надо поправлять положение — это все равно что

устраиваться поудобнее на эшафоте. Или повязывать петлю перед зеркалом модным узлом (была такая кавриатура<sup>2</sup>).

В эту ночь у меня случился жар — 39,5 (0,5 я прибавляю), а за окном — первый заморозок. Я разморозил двигатель, а двигатели эти делаются в городе Уфе. 412-й — будь он неладен! — русский «мустанг», бремя тщеславия и отчаяния...

С той минуты меня круто повело на Уфу.

Начинается рассказ  
Не про нас  
И не про вас...

Запись пятая

## РОМАН «ГАРАНТИЯ»

Можно было бы, конечно, тут рассказать, как все дальше было с этим двигателем, поскольку я себе здесь все позволяю рассказывать, что надо и что не надо, поскольку окончательно не понимаю, что же надо... О бесконечных хождениях в Апраксин двор в гарантийную мастерскую (точный маршрут этих записок: Апраксин двор — Уфа), о безнадежных замыслах дать кому-нибудь взятку; но крышек головки блока не было и в помине, что и привело меня постепенно к тесному сближению с коллективом, к ресторану «Чайка» и к дружбе с представителем Уфимского моторостроительного завода товарищем Севой Тамойленко.

Вот все-таки есть награда за все мучения — дружба. Дружба настигает твое отчаяние и перегоняет его. Право, стоило разморозить двигатель, чтобы перезнакомиться со всеми этими замечательными людьми! Вот уж, действительно, не имей сто рублей... Сто рублей мне стоила крышка, но по рублю за друга — это недорого. Если бы обладать терпением и талантом, то вся эта история — роман листов на сто, «Улисс» своего рода. Да что там «Улисс»?! Джойсу не под силу написать эпос «Гарантийная мастерская»! Какие характеры, какие типы! Что за подлинные страсти кипят у ограды гарантийной мастерской! Какие социальные срезы, какие возможности крутых обобщений! Да, написать такой ро-

ман — и умереть... Ведь у нас сейчас все — сюжет: и просто день, и неделя как неделя, и обмен...

Но скоро дело делается, да не скоро сказка сказывается...

Роман этот оставим пока в творческих планах...

А я, даже в этом крохотном очерке, все еще докапываться не могу до того, что же привело меня в Уфу, человека, как бы принципиально не склонного к искусственным решениям и придуманным темам. Какое все-таки имею я непосредственное отношение к мотоциклу?

То ли, что у меня жила-была машина?

То ли, что я разморозил двигатель?

То ли, что идея была с самого начала порочна — созвать не любящих уже друг друга друзей и устроить групповую оргию фальши?

Но с такой неумолимой последовательностью в установлении причинных связей можно дойти до самого факта собственного рождения и заколебаться в необходимости своего появления на свет...

А такое я имею ко всему отношение, что все это со мной случилось. Я этого не выбирал.

По крайней мере теперь я живу в полной неуверенности, что через пять минут ко мне не ввалятся новые искренние мои друзья: чуть пьяные слесаря и чуть трезвые мото- и автогонщики.

## Запись шестая

### КВАДРАТНОЕ КОЛЕСО

Что-нибудь куда-нибудь постоянно катится... Поэтому название «Колесо» очень удачное, не правда ли?

Катится камешек из-под ноги, несколько независимо, как бы упорствуя и упираясь, переваливаясь и покачиваясь, но катится! Катишься ты вслед за камешком.

Катится каждое колесо машины — и вся она катится, и все машины — катятся.

И мое колесо все катится по Садовому кольцу, с тех пор как я умудрился (смех и грех!) потерять его посреди московского трафика.

И само Садовое кольцо, я думаю, катится из-под машины. Особенно, когда летит по его белой середине заморский гость.

Катится шар по зеленому сукну, пока не попадает в лузу. Если же не попадает — опять катится.

Катится яблочко по блюдецке: синие моря, голубые горы, леса — зеленые...

Сама Земля катится по своей орбите. Кто нарисовал идеальный этот эллипс?

Катится все куда-то в ожидании своей лузы, лунки, ямки, могилки.

С тех пор как кто-то, нет уже имени у этого Ползунова или Кулибина, сказал: «А катись-ка ты...» — что он имел в виду? — с тех пор... нет имени у автора колеса, к услугам поэтов, желающих иметь имя.

Катится мяч по полю — самая любимая, внятная людям игра. Приостановиться в своем качении, посмотреть, как что-то без них катается. Бразилия — Англия 1:0.

Даже плавание — такая независимость от качения! — оказалось, как выяснили дельфины, тоже качением. И парус — то же колесо, турбинная лопатка.

И скольжение, я думаю, всего лишь неудавшееся качение.

Выкатывается лист из машинки.

Поэтому хотя бы — как мне не восхищаться мастерами качения! Какая идеальная условность прикатиться первым к произвольно выбранной кем-то цели. Детская прелесть проведения по земле неровной черты. Финиш.

Катятся два колеса — и катится весь мотоцикл; к тому же катится он почти по кругу. Вращение в качении — головокружительно. И как мудро абстрактно! Пусть снобы говорят, что соревнования в качении — бессмысленны, ибо сами-то снобы не знают, куда катятся всю свою жизнь, и лишь присваивают себе целевое осмысленное существование, а сами катятся — и пусть катятся...

Плавно катится моя жизнь на квадратных колесах, которые я старательно и вовремя смазываю, чтобы не скрипели.

Двадцать пять китайских шаров друг в друге — головокружение, невероятный волчок...

Как во сне, нарушая законы трения и тяготения, все катится, кружится, скользит, летит, слегка пританцовы-

вая: планеты, люди, ракеты — по часовой и по кругу, вокруг себя и кругом кого-то — танец сна, планета танца. Вальс — часы.

Катится само время по склону времени же, как круглый будильник.

Шире круг!

Там-там! Там-барам-там-там!

Летка-енка — вас приглашает тан-це-вать!

Все на мототрек!

### Запись седьмая

## ВИД НА МОТОТРЕК

А нас уже встречают!.. Мой сосед-кандидат спускается по трапу и пропадает в объятиях. Он идет в раступающейся толпе — цветы, руки, приветствия на незнакомом языке, — дарит всех светом своей улыбки, помахивает каракулевым пирожком... И Рафика — ах, Рафик, Рафик, Рафик, Рафик, Рафик!.. — встречают, кружком поменьше, верные и преданные друзья, верящие в его будущее. Я выпадаю в осадок, спускаюсь один по трапу на совершенно пустое поле — но на краю его светит мне сдержанная улыбка до ушей — Сева, Сева! Друг мой ситный.

Там! Там! Там-барам-там-там! — катятся бодрые звуки летки-енки по летному полю.

Мы садимся в машину. Сева за рулем. Р-р-р! — на первой передаче до шестидесяти, р-р-р! — на второй до девяноста, р-р-р! — на третьей до ста тридцати, р-р-р! — на четвертой сто шестьдесят. Так едет только 412-й! Так мощно трещит только он! Он отрывает звуки летки-енки, назойливой, как пластырь, от моих ушей...

..Но точно такая музыка — вновь на мототреке. Бодрая, словно нагишом по снегу, она звучит из замерзших репродукторов, воскрешая воспоминания молочно-восковой спелости. Музыка имени Нели Нехорошевой. Ах, как, рука в руке, скользили мы, бывало, в Парке культуры и отдыха имени китайца Цэ Пэ-као (шутка того времени). Летки-енки тогда еще не было, но Неля была, и теперь она танцует летку-енку, в том же катковом стиле, мужественно не стареющая девочка, сохраняю-

щая себя для поездки во Францию вот уже пятнадцать лет.

Каток приходит в голову совсем кстати, потому что гонки по льду происходят именно на нем, в отсутствие конькобежцев, конькобежцы же катаются в отсутствие мотогонщиков.

И правильно. Гонки — это вам не парное катание по телевизору...

### *Вид на мототрек сверху (зима)*

С птичьего полета мототрек похож на серое гнездо с одним большим сверкающим яйцом, наверное птицы Рух. Никаких мотоциклов не видно — просто гнездо, мирное и неподвижное, а из яйца еще не вылупился страшный цыпленок. Однако, если вы пролетите низко, до вас уже донесется ужасный треск, означающий, по-видимому, что цыпленок проклевывается...

### *Вид сбоку (лето)*

Трек находится, как правило, на окраине и в восприятии как бы не принадлежит городу в той мере, как театр, или кафе, или метро... Он отделен, вставлен, экзотичен. Поездка на трек поэтому в большей степени мероприятие, чем любой наш городской поход. Вылазку на трек можно в этом смысле сравнить с рыбалкой, что ли... Мы едем куда-то, когда едем на трек, едем как за город. Мы ждем от трека невольно чего-то особого — и он всегда неожидан...

Вот начались новые районы, вот пригород, и дома все реже, вот одинокий домишко и рощица... Вот снова что-то: пустырь, какие-то сараи, свалка, опять пустырь... И вдруг перед вами трек, странное сооружение. Но как только вы окунетесь в этот иной, вставной для города мир (это будет уже вид с трибуны), а окунетесь вы неизбежно, посмотрев первый же заезд, и потом вдруг оглянетесь вокруг и увидите как бы в обратном порядке пустырь, свалку, сараи, строительство, стайку инвалидов колясок (инвалиды — мотоболельщики с оттенком профессионализма), жидкий лужок с неведомой козой, новый жилмассив за рощицей, а там уже угадывается и город с его теснотой и уже как бы далекостью от

вас,— тут вас разбудит треск нового заезда, и вам покажется, что все, что видели вокруг, так необходимо относится к мототреку, так цельно и художественно с ним связано, будто это не мототрек вкраплен чужеродно в окружающий мир, а весь этот мир принадлежит мототреку и неуловимо зависит от него... И это уже будет окончательно —

### *Вид с трибуны (зима)*

Допустим, вы поднялись на трибуны до начала заезда... Вокруг ледяного яйца столпились в ожидании зрители. С острого конца слышен ни с чем не сравнимый треск прогреваемых двигателей — проклевывается заезд. И оттуда доносится сладкий и несравненный запах выхлопных газов. Так пахнет первая электрическая дуга, полученная смелым экспериментатором из шестого класса с помощью карандашных грифелей, под картинкой, где Рихмана убивает шаровая молния. Гоночные мотоциклы ходят на спирту — может, от этого такой неповторимый запах?.. Волнение поднимается в вашей крови, и под музыку из прошлого, из кинофильма «ЦПКиО» с собою в главной роли, этот грифельный запах вдруг смешивается с запахом керосинной или зеленой лавки, запахом, совсем непохожим, однако таинственно возбуждающим нас в период созревания... И мы понимаем, что волнует нас этот запах гоночных мотоциклов тем, что он в свое время пропущен.

И такая тишина и пустота — под стрельбу невидимых за барьером, в загоне, мотоциклов... Все перетаптываются, поглядывают в программки, пускают пар изо рта... Маленькие черные судьи деловито перешептываются на своем капитанском мостике... Меж двух столбиков, на льду чернеет «резинка»,<sup>1</sup> аккуратной чертой означая старт и финиш. И мы еще не понимаем пока, что такое «резинка», что означает эта математическая, неумолимая условность...

Вдруг забежали суетливые технари... уперлись и отвалили на сторону барьер... и оттуда, из загона, из хлева, как бешеные быки, вырвались... Что это, коррида?..

О, это была предательская, нарочная, театральная тишина!

---

<sup>1</sup> «Резинка» — стартовая лента.



## *Вид с мотоцикла (зимой и летом)*

Вид с мотоцикла неопишем. С мотоцикла вы ничего не видите. Овальный мир трека проносится мимо вас в сером, грифельном тумане, вы неподвижны. Но еще неподвижнее ваше колесо — единственное, что вы видите. С мотоцикла вы видите колесо. Остальное вы ощущаете...

Вид колеса — неопишем.

Вы этого не поймете.

### **Запись восьмая**

## **ЧТО СКАЗАЛ МОЙ УЧИТЕЛЬ?**

Когда я учился водить машину, мой педагог любил подчеркнуть, что всего, чего он добился на свете, он добился сам. Тут можно только отметить, что основания для довольства собой может найти каждый, кто этого пожелает. Мой учитель особенно бывал доволен своей хитростью и удачливостью. Эти два дополняющих друга качества выражались, в частности, в том, что он жил с женой и тремя детьми в одной комнате в большой коммунальной квартире на первом этаже с окнами, выходившими на старый каретник, но комната эта была самой большой в квартире, с удачными антресолями, на которых спали две дочки; жена, работая медсестрой в госпитале, была ему неверна, но родила ему третьим сына, в котором можно было души не чаять, и у тещи был домик в Лисьем Носу, следовательно, никаких расходов на дачный период он не нес; у него же самого был собственный автомобиль, первый выпуск «Москвича», купленный в комиссионке, в который он сам вмонтировал новенький мотор, и машина забегала не хуже «Волги», однако он не гоняет так уж сильно: куда спешить? — вообще тратиться на машину ему совсем не приходится, поскольку руки и голова у него, слава богу, есть, но заработок на новой работе не густ, что, конечно, худо, хотя и не всякому доверят быть инструктором, как ему, чтобы его первый класс не пропадал; вот с гаражом удачно вышло, прямо во дворе у него гараж, в бывшем каретнике — правда, когда машина у него появилась, все места в гараже были уже заняты,

но на зиму ему разрешают загнать ее к дальней стенке, а летом прямо под окнами стоит, очень удобно... В общем, к концу фразы неизбежно начинал он потирать руки от некоего избытка удачи, частично растворенной даже в ловкости самой фразы, и любил «объяснять жизнь», куда был помещен, судя по всему, специально для сравнения с другими в качестве несомненного образца. Этот симпатичный мужчина, так он со мной разговаривает, иногда вдруг теряет нить:

— Женщина,— видел?

Я, надо сказать, в этот момент бешено справляюсь с рычагами управления, делая вид, что это я веду машину, а не она меня.

— Где?— оборачиваюсь я, бросая руль.

— Ты на дорогу, а не на женщин смотри!— сердится он, лениво успевая подтолкнуть пальцем руль и выровнять машину.— Женщина прошла симпатичная...— задумчиво говорит он, взгляд его становится короткий, вскоре содержа в себе изменницу-жену, и он вздыхает.— Куда гонишь?.. Это тебе не мастерство вождения — жать на газ, это и дурак может. Тихо ездить — вот мастерство.— Но и тут он потирает руки, потому что вспоминает сына. Все становится так нестерпимо хорошо, что надо немедленно ехать на дачу посмотреть на него, и опять все так ловко и удачно складывается: и урок идет, то есть он меня учит, и зарабатывает, и на дачу к сыну своему заодно бесплатно едет.

На даче он тоже все очень ловко распределил: сына посадил в машину бибикать; меня поставил мыть машину, показав, как это делать, то есть урок по-прежнему шел; тещу послал в огород за огурцами; сам сел мастерить что-то из ножа и катушки. Эта одновременная занятость очень утешила его, что в одном времени столько он уместил еще своего времени в берущих с него пример людях, — и мысленно рвал с тещей огурцы в заплочном огороде, освобождался от ученика и грязи на его машине, сынишка тем же временем рос... Так, если бы человек, завязывая утром шнурки на ботинках, думал, что вот как хорошо, что он не только обувается, но и готовится к завтраку, но и дышит при этом воздухом, и полезно нагибается, и массирует шнурки, то он был бы почти такой же счастливый человек, как мой учитель,— хозяин.

Из катушки за то же самое время он соорудил вертушку-игрушку — подарил сыну и уехал на чистой машине, полной огурцов.

— Слушай,—спросил я его, как мастера жизни,— одного не пойму: как так получается?.. Машины же у нас появились недавно, ну, пятьдесят лет назад... Никак они не могли успеть еще в кровь человеческую попасть... И вот любой мальчишка, вот твой, например, или мой племяш Котька — так тот, прежде чем говорить научился, да что там! прежде чем стоять — уже би-би! и только бы велосипедную педаль рукой крутить, и «си-пед» — первое слово, раньше, чем «мама». Откуда же эта страсть? В чем она раньше-то могла выразиться, когда машин еще не было?

Так замечательно и наблюдательно поставил я вопрос, и вот, — не успел я даже доразвить мысль, чтобы он меня совсем понял, этот не казавшийся мне далеким человек, он уверенно ответил:

— А лошади? Ты говоришь: деревня... Вот я родился в деревне, там никаких машин не было. Попробовал бы ты от лошади мальчишку отогнать?! Мы все время свое около лошадей проводили...

Пример этот поразил меня простотой и несомненностью решения.

#### Запись девятая

### Я НИЧЕГО В ЭТОМ НЕ ПОНИМАЮ

(К вопросу о том, правомерно ли ходячее сравнение гонщиков с джигитами, нет ли тут преувеличения или преуменьшения, а также не в том ли причина легендарного успеха башкирского мотоспорта, что предки гонщиков были когда-то горячими наездниками?)

Слова, из которых  
состоит мотоцикл...<sup>1</sup>

Общая конструктивная  
схема двигателя, а также его  
мощностные и экономические

Слова, состоящие  
из лошади<sup>2</sup>

Передвижение с места на  
место лошадь производит с по-  
мощью своих ног, причем само

<sup>1</sup> Бекман Вильгельм Вильгельмович. Гонимые мотоциклы, 1969.

<sup>2</sup> Далматов А. Д., Лошади, 1921.

показатели в значительной степени зависят от принятой системы распределительного механизма. Наполнение цилиндра радикально влияет на мощность и определяется размером и расположением клапанов, а также конфигурацией впускных каналов в головке цилиндра.

Средняя часть имеет по концам муфты Ольдгема, чтобы неточности сборки и перекосы, возникающие вследствие неравномерности нагревания деталей двигателя, не отражались на

$$P_j = j \left( m + \frac{j}{b^2} + \right. \\ \left. + m_1 \frac{a^2}{b^2} + j_1 \frac{a^2}{b^2 c^2} \right).$$

Выражение в скобках и есть масса возвратно движущихся деталей распределительного механизма, отнесенная к оси клапана, т. е. . . . .

В карбюраторе типа ТТ с центральной иглой топливо поступает из бака через штуцер (1) в поплавковую камеру обычной конструкции. Далее через канал в соединительном приливе поплавковой камеры топливо попадает в жиклер (2), поднимается по сверлению соединительного болта (3) и через распылитель (жиклер иглы) (4) попадает в эмульсионную трубку (5). Распыли-

**ХВАТИТ.** Как же он сам ездит? Когда же он успеет после всего этого поехать! Как столько слов могут выразиться в одном — **ДВИЖЕНИЕ?** . . . .

принадлежащий орган совершал свое физиологическое назначение надлежащим образом. Всякое отклонение от таких качеств производит неприятное для глаза впечат-

движение производится силою задних ног, передние же суть только как бы подпорки. Передние ноги поддерживают большую часть тела лошади: голову, шею, грудную клетку. Задние ноги несут сравнительно небольшую часть тела, но зато, как только что указано, на них лежит обязанность двигателя . . . . .

**НОГИ** — части передних ног: плечо, локоть, подплечье, запястье (в общепитии переднее колено), пясть (переднее берцо, цевка), путовой сустав со щеткой, бабка, венчик и копыто.

Части задних ног: бедро (окорок, ляжка), коленный сустав, голень (штана), скакательный . . . . .

**ПЛЕЧО** — верхняя часть ноги, прикрепленная к истинным ребрам и грудной кости, состоящая из лопатки, плечевого сустава и плечевой кости, называется плечом.

**ЛЕБЕДИНАЯ ШЕЯ** — она длинна, суха и устойчива. Тонкий гребень у холки немного вырезан и, поднимаясь почти прямо вверх, около передней трети своей длины сильно согнут, так что при сборе затылок становится гораздо ниже уровня его. Лебединая шея очень красива, в особенности у верховых лошадей, но весьма часто сопровождается слабой спиной . . . . .

Почти каждая порода лошадей отличается от другой породы формой и выразительностью головы. От правильно сложенной головы обыкновенно требуется, чтобы половины ее были бы совершенно симметричны, похожи друг на друга и чтобы каждый к ним

ление, хотя бы такое уклонение не имело бы существенного значения в работе. Неровно поставленные уши, отвисшее ухо или губа — все это нарушает красоту и гармонию форм.

**ГЛАЗА.** Лошадь вообще обладает довольно плохим зрением, а лошади конюшенного воспитания в особенности. Нормальный глаз лошади должен быть большим, открытым, блестящим, смелым и доверчивым.

**ТАК, ТАК.** Все понятно. Все русские слова.

#### **Запись десятая**

### **СКОЛЬКО В РОССИИ МОТОЦИКЛОВ?..**

«По статистическим данным, до последней великой мировой<sup>1</sup> войны на всей площади России числилось до 35 миллионов лошадей. Число лошадей в России почти вдвое превышало численность всех западноевропейских государств, вместе взятых, и достигало  $\frac{7}{9}$  численности лошадей 20 государств, в которых имелись статистические сведения по данному вопросу».

#### **Запись одиннадцатая**

### **ТРАМВАЙНАЯ УФА**

Уфа — замечательный город, но я его мало видел. Я жил на окраине у друга и очень хорошо запомнил вид из окошка. Из него были видны два сарая: серенькие, ласково-выцветшие, теплые на вид доски; между ними узкий проход в лес; леса было не видно, но он там угадывался, — и много неба над сараями, и еще больше, если задирать голову. Снег во дворике осел и кое-где вытаял, и я впервые увидел землю — подслеповатый взгляд желтенькой обесцвеченной травы. В Уфе стояла прекрасная солнечная погода — конец марта в начале февраля, капало с крыш, на подоконник вспрыгивал Севин черный котик Амур, я его впускал, — мы с ним дружили, но он тут же просился обратно, и я его выпускал. Он мне приятно досаждал этим. Я жил в отдельной комнате. В ком-

---

<sup>1</sup> А. Д. Далматов имеет в виду первую мировую войну.

нате Севиной сестры; она уже второй год лежала в больнице.

Это был пригород, а раньше другой город, городок. Потом его соединили с Уфой трамваем, и он стал Уфой тоже. Таким образом, Уфа стала очень длинным городом. Бывают такие очень длинные города.

Ехать из Уфы в Уфу надо на трамвае. Можно на чем-нибудь еще, но проще на трамвае. Мне надо было ехать до самого кольца, чтобы попасть домой.

И вот эта длинная езда в трамвае, час, если не больше, по солнцу и весне, с урбанистскими просторами свалок, пустырей и строителъств между Уфой и Уфой, удивительно запомнилась мне. И при слове «Уфа» я вижу трамвай. Этого мало сказать про Уфу, но это ведь не оскорбление...

Мне нравилось в трамвае. Я понимал, что редко на нем езжу, что он мне мил. Я проезжал мимо гостиницы и мимо цирка, радовавших взгляд более чем столичной современностью. Перед цирком трамвай набивался солдатами, и у цирка они сходили. Строились и маршировали к входу, который уже поглощал последние шеренги предыдущего десанта... Цирк был построен смелой спиралью, в стиле будущего.

Навстречу катили такие же, как мой, трамваи, и на высоком стуле за просторным чистым стеклом в роли водителя, поглаживая своего рода скипетр, обязательно сидела обязательно молоденькая и хорошенькая башкирка. Так мне, во всяком случае, показалось, что водитель трамвая в Уфе — модная и заметная должность, и они все выходят из трамвая замуж, не успевая подурнеть или состариться, уступив свой трон следующим, чтобы они тоже успели и вышли. Так мне показалось, что трамваи в Уфе водят невесты в трампарк имени Брако-сочетания. Это наблюдение могу оставить на своей совести.

Потом я долго ехал мимо бесконечной толстой и мохнатой трубы, проложенной на высоких столбах-подпорах. Труба ритмично выделявала П-образное колено и снова ровно тянулась без конца. Солнце ощутимо грело через стекло. Глядя на эту серую трубу на синем небе, прогревшись и разомлев, совсем я засыпал, а когда просыпался, она опять тянулась, только будто бы с другой стороны... Но когда я снова увидел цирк, поглощавший

очередной десант, я очень разволновался. Я проморгал кольцо.

Так длинная Уфа стала для меня еще вдвое длиннее.

Что же еще? В Уфе делают двигатели для 412-го «Москвича», гордости советского автомобилестроения, столь успешно едущей до самой Австралии... Впрочем, я об этом уже говорил.

Еще там есть химчистка «Улыбка».

В общем, я Уфы не видал. Мне было не до этого..

## Запись двенадцатая

### СПИДВЕЙ

Объяснить в двух словах, что такое спидвей, невозможно. Придется рассказать все по порядку...

#### *Спидвей по новичку*

В первый раз дело со спидвеем было так... Я опоздал к началу и вскарабкивался по насыпи на трибуны, пользуясь тем, что милиционеры увлеклись гонками и не обращали на меня внимания. Иначе они бы сбросили меня вниз, как защитники средневековых крепостей. Но я всего этого еще не знал. Взираясь по насыпи, будучи в нескольких метрах от зрелища — я его еще никогда в жизни не видел — и это было само по себе немного странное ощущение: сейчас я увижу то, чего еще никогда не видал, — воображение мое было подогрето лишь словами, которые с трудом подыскивала себе страсть моего друга Тамойленко.

Я взбирался, по невежеству ничего не опасаясь, ориентируясь на спину приподнявшегося на цыпочки милиционера. Подо мной, за плечами, оставалась вся прочая земля, передо мной разрасталось, опрокидываясь, бледно-голубое осеннее небо, накрывшее котел трека, а оттуда, из котла, на край которого я взбирался, неся, приближаясь и удаляясь, сливаясь и отрываясь, треск мотоциклов. Оттуда несло тем непередаваемым паленым запахом, который с тех пор суждено мне всегда узнать и

ни с чем не спутать. Кричали болельщики, разрозненно и неуверенно. Там было жарко, там было раскалено, там заваривалась каша... Нелепо было приходиться в такое волнение от одного приближения к тому, о чем я не имел ни малейшего представления. Однако я в него пришел. Так ударяет в голову первый хмель — такое у меня было ощущение, предвосхищение азарта. Но и взобравшись, не видел я ничего: зрители тесно, бок о бок, стояли на скамейках, и щелочек между ними не оставалось. «Как дела?» — спросил я милиционера. «Наши ведут», — сказал он и потеснился, уступив мне щель. Я взобрался на скамейку, вытянул шею...

Сумасшедшие люди, облепленные гарью с ног до головы, пахали на мотоциклах вираж, тыкаясь и пытаясь обойти друг друга, прячась друг за друга, высовываясь и спохватываясь. Гарь летела во все стороны, и я стер со щеки ее первые крошки. Трек дымился голубовато, запахом и видом напоминая только что насыпанный под каток раскаленный асфальт... Они входили в вираж, не пряча скорости, ложась набок, выкидывая на сторону сапог, как циркульную ножку, и рыли так землю на скорости под восемьдесят тремя точками: сапогом и двумя колесами, — этакой раскорякой, где заднее колесо уходило вбок и вперед... чуть ли не задом наперед пролетали они, как на помеле, в дыму и пожарище, свой вираж, радостно выстреливая на прямую... Тут самый азарт, тут можно мастерски «съесть» соперника, то есть обойти... И вот когда я увидел этот котел, дымящийся при постоянном помешивании, они как раз вошли в вираж, и один попытался «съесть» другого, но как-то запутался в намерениях и сбоил, и тот, кого он обгонял, в результате его переехал, а следующий переехал обоих и, вылетев из седла, перелетел барьер и попал в зрителей. Гонщики были мягкие и мягко, ватно, бескостно падали на мягкую дымчатую гарь, а над ними еще долго летали, переворачиваясь и позвякивая, их более твердые мотоциклы... Один мотоцикл лежал теперь в серединке, на лужке, неподалеку от некой лесенки, проскользнув под бревном-бумом, в которое зачем-то был воткнут топор и поблескивал... Колесо мотоцикла все крутилось, и от него, прихрамывая, по зеленой траве под голубым небом как ни в чем не бывало направлялся весь черный,



весь в гари, раз десять постоявший на голове человек; другой мотоцикл висел на барьере, жалобно поджав под себя восьмерку переднего колеса, и гонщик спускался с трибун, чертыхаясь... а третий, — третий, тот, что хотел быть первым... третий был человек... он лежал вместе с мотоциклом на боку, как одно существо, как кентавр, довольно удобно, казалось, лежал, имея меж ног легкую и негрозную на вид машину, вроде велосипеда... и к нему бежали люди. И, нелепо быстро разворачиваясь, вырубивала «скорая помощь», стоявшая тут же за барьером; ее торопливость в десяти — пятнадцати метрах от пострадавшего вызвала почему-то смех, как серьезный вид бездельника, взявшегося за дело...

«Кто это? Что это?» — спросил я, не узнавая звука собственного «о».

### *Спидвей по болельщику*

Ничего не отразилось словно бы на его лице, на его словно бы лице... Это был мужичок-грибник, любитель подледного лова.

— Да ну! Дурачок... — снисходительно сказал он. — Запасной.

— То есть как? — удивился я. Я его прямо так и понял, что запасной — это что-то вроде копии, не человек.

— Ну, дублер, татарчонок, еще глупый, необъезженный...

От слова «дублер» мое представление о том, что это мог быть и не человек вовсе, еще сгустилось.

— То есть как дублер?!

Он взглянул на меня, словно ему лень было даже выразить мне презрение.

— В каждой команде такой бывает. В зачет не входит — накатывается. Учиться ведь надо.

Тем временем «дублера глупого» положили на носилки, накрыли с головой, как мертвого, закинули в кузов и, что-то медленно обсудив, стремительно рванули с места и медленно с демонстративным воем покинули трек.

— А он как же? — робко спросил я.

Болельщик опять на меня посмотрел.

— Да ничего, ерунда, — сказал он. — Оклемается. А татарчонок он ничего, смелый. Ка-ак он вышел-то здорово, чуть Ломбодягу не сделал!

— Ломбодяга это что? — спросил я.

— А иди ты в ... — искренне сказал мой гриболов-любитель и отшагнул от меня, сколько позволила толпа.

И был он без ноги, на костыле.

И был он прав, потому что тут же, как скрылась «скорая помощь», был дан старт следующему заезду.

А Ломбодяга — это знаменитый ленинградский гонщик Ломбоцкий. А татарчонок действительно на следующий день сбежал из больницы, в пижаме, на мототрек.

### *По комментатору*

«Любви все возрасты покорны», — гласит народная поговорка. С учетом современной действительности ее можно было бы выразить, конечно, менее поэтически, но более практически: «Спорту все возрасты покорны». Но особенно полезен он пожилым людям. И как бы в благодарность своим поклонникам за привязанность он дарит им здоровье и высокие спортивные результаты.

*Из газет*

Его голос начинался где-то в районе судей и заканчивался моим ухом, ровно напротив. На этом пути его голос повторяли еще с десятков громкоговорителей, и когда десятый повторял его первое слово, то первый произносил уже десятое. Каждое предложение комментатора, таким образом, сворачивалось в кольцо, и начало фразы кусало ее конец. Свернувшись и поразив самое себя, фраза падала, рассыпавшись на бесформенные кусочки, в центр поля. Иногда комментатор делал передышку, по-видимому, чтобы все слова нагнали друг друга, разобрались между собой, успокоились и немножко помолчали, прекратив свою безумную гонку друг за другом, формально отражавшую и подобную тому, что происходило на треке...

— Ну вот, товарищи, первая помощь оказана, будем надеяться, что мы можем быть уверены, что будут приняты и все дальнейшие меры... Что ж, спорт — это спорт,

в спорте бывает всякое... Тут, так сказать, лучше журавль в руке, чем синица. Тут тише едешь — дальше не будешь. Хм... Но, дорогие зрители, мы видим приготовления к новому заезду. На пробный круг для пробы выехал попробовать свой новый мотоцикл заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза наш Габдрахман Кадыров! Его сразу можно узнать по его знаменитому шарфику! Внимание, старт! Но что, товарищи, такое... честное слово, как можно... нет, это куда не годится, да за такие вещи надо снимать с соревнований! В третий раз срывает резинку... Что-то нервничает старый опытный гонщик... Но ведь оно и понятно, все-таки финал чемпионата Союза. Ах, нет, все переменялось! Да, друзья, спорт приносит нам постоянную неожиданность, которой мы никак не ожидаем. Впереди — кто же это? Сухов! Молодой уфимский гонщик Сухов уверенно обошел опытного Белкина и вырвался вперед. Да, хорошая у нас подрастает спортивная молодежь. Сухов начал гоняться совсем недавно, недавний воспитанник, он... Простите, это не Сухов. Это старейший наш заслуженный ветеран мира, мастер Европы и неоднократный Борис Самородов. Нет, что уж тут говорить, приятно слышать почерк старого мастера! Да, то, что дает опыт, никакой молодостью вы не успеете заменить. Финиш! Его первым пересек молодой ленинградец... Нет, никто не мог предположить... Итак, впереди после четырех кругов команда Ленинграда! Молодцы наши ребята! Если они настойчиво и требовательно постараются, то мы, пожалуй, можем предполагать, конечно, всякое бывает, но осторожность в прогнозах — основное правило в спорте... Простите, товарищи, в связи с аварией в предыдущем заезде четвертый и пятый заезд были поменяны местами, так что мы сейчас видели пятый заезд, и в нем победил не ленинградец Белкин, а уфимец Чекранов. А сейчас, уважаемые зрители, мы и посмотрим четвертый заезд. Интереснейший заезд с участием Кадырова, Белкина, Самородова и Ломбоцкого...

Когда я сейчас пишу эту замечательную гладкую речь, то я далек от правдоподобия. На самом деле это звучало так (возьмем последнюю фразу):

— ...интереснейший товарищи мы заезд интереснейший посмотрим участием товарищи четвертый Кадырова

мы заезд заезд заезд Белкина на четвертый Кадырова интереснейший Самородова участием заезд Ломбоцкого...

А на самом деле, если уж совсем, до буквы, быть точным, то последние слова этой фразы звучали так:

— Кабоцкого, Ломбодырова, Самолонкина и Дыродова.<sup>1</sup>

### Запись тринадцатая

## ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

(Вид из-за кулис)

Каждый человек по природе склонен ограничиваться кругом собственных представлений, числом близко расположенных людей и предметов, размерами естественного кругозора, дальностью не более чем четырехкилометрового горизонта. Земля, по счастливой необходимости, мала и шарообразна. Это по-своему защищает нас от нее, а ее — от нас. Допустимые психологией габариты...

Так мы живы в кругу своей семьи и профессии, ограниченные определенными и немногими помещениями, маршрутами, визитами, лицами, распорядком и рационом. Мы замыкаем свою систему и начинаем существовать предельно экономично с энергетической точки зрения, где расход равен приходу, получение — отдаче, благодарность — услуге и труд — цели. Равновесие. Мы знаем, что Сидоров глуп, Иванов умен, Попов, можно сказать, гениален, а у Кулакова нет характера. И мы настолько в это втягиваемся, что можем вдруг удивиться, что, кроме нас, это неизвестно никому. Ограниченность круга. Про

---

<sup>1</sup> Теперь можно пояснить, что спидвей — это мотогонки по гравейной дорожке (летом) и по ледяной (зимой). Гонки проводятся на мототреках и стадионах с дистанцией в четыре круга. Соревнования проводятся так, чтобы все участники встретились друг с другом дважды. Победитель выявляется по сумме очков, набранных во всех заездах. Очки эти набираются так: победителю заезда — три очка, второму — два, третьему — одно, четвертому — что осталось, слава. Важно прийти первым и не прийти последним.

остальную жизнь мы читаем в газете и ходим на нее в кино. И как же это бывает тупо удивительно, что она есть на самом деле, эта оставшаяся жизнь, в том же личном, полном, заинтересованном, заботом за живое отношении, как и наша жизнь, имеющая место с нами! Жизнь значительно более серьезна, скажу я, как спортивный комментатор. Она как раз и оказывается вдруг серьезной — в периферийных и удаленных от нас областях. Мы сами тогда становимся довольно-таки печальной периферией мира, в котором невзначай оказались.

Мы не можем протиснуться сквозь толпу, осаждающую решетку, столь справедливо и качественно отделяющую участников гонок, этих олимпийцев,<sup>1</sup> от всех прочих смертных. В железной калитке, которую нам скупой отворяют, помещена ватная баба с повязкой на рукаве — она осуществляет оценку личности: впустить или не впустить; каждый раз под личиной толстого бесстрастия видны титанические усилия соображений: она — решает, она — власть, она занимает очень правильное и точное место в мире, у нее в подчинении длинный и тощий милиционер — грубая физическая сила, от которой ее отделяет и возвышает безмерная пропасть в знании цветов и полос на пропусках и форматах удостоверений.

То, что мы этого не можем (пройти за решетку), — это еще ерунда, прихоть, блажь, а вот что мы не можем протиснуться сквозь толпу, множество тех, кто не может, — это уже существенно. Попробуйте выделиться среди них на том основании, что вы замечательный хирург, или инженер, или много понимаете в трении качения, в статике, в динамике, в космосе, в человеческой душе, — над вами посмеются, вас примут за сумасшедшего, вас задвинут, вас не пропустят.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Примечательно, что слово «олимпийцы» в современной разговорной речи переменяло свою семантику: прежние — жители Олимпа, нынешнее — участники Олимпийских игр, — но сохранило свое значение исключительности, «высшей ступени».

<sup>2</sup> Чтобы оценить масштабы их славы, достаточно такого факта... В одной молодой африканской (мусульманской) стране население вышло встречать первую советскую делегацию с портретами Дарвина и Габдрахмана Кадырова... Чтобы судить о самосознании этой славы, приведу другой обаятельный факт: один из великих наших гонщиков, доказывая мне (что не требовалось), что и они не лыком шиты, сказал: «Ты не думай... У нас сам Аркадий Райкин бывает! Контрамарки в прошлый раз всем rozdal!..»

Мы только взглянули друг другу в глаза — и поняли, что я не из тех, кого пропускает эта баба. Как человек хитрый и опытный в обхождении с самим собой, я не стал создавать прецедента и скромно выстоял, пока ей не пришлось на секунду покинуть пост. Меня пропустил милиционер, у него еще сохранились идеалы...

Тут было что-то от зари воздухоплавания...

Маленький квадратный дворик пересекался: мотоциклами, выкатываемыми из боксов и вкатываемыми в бокс; мотогонщиками и механиками; особыми людьми, делающими вид, что они нужны, повязавшими себе для того повязки на рукава все чаще кожаных пальто, — их занятие состояло в том, чтобы стоять на дороге и вовремя отскакивать; девицами, проведенными сюда самими гонщиками, — пока они гонялись, девицы вызревали к вечеру под мощным облучением собственным тщеславием; и еще двумя экзотическими девицами — в гоночных шкурах, с распущенными волосами, они пересекли дворик, ни на кого не глядя, выкатили из бокового полубокса некую гоночную каракатицу, показали ее всем здесь праздно шатающимся и вкатили назад — больше им делать оказалось нечего. Я пересек дворик и вернулся: кто-то из-за решетки посмотрел на меня преданными восторженными глазами, как на посвященного: «Покажите мне Куриленко! Это не Куриленко?» Не зная, кто такой Куриленко, было бы позором для человека по сю сторону решетки, и я скрылся от разоблачения.

Тут, во дворике, было несколько слоев посвященности: механики мрачно взглядывали на судей и администраторов: этим-то что тут надо? — администраторы смотрели так же на тех, кто им здесь не был знаком; те же, кто не был им знаком, в свою очередь, пренебрежительно смотрели мимо тех, кто, очевидно, ни с кем здесь знаком не был и неведомо как сюда случайно попал. То есть на меня в том числе. Но случайных людей здесь было тем не менее предостаточно. Мудрая система пропуска, с одной стороны, как бы ограничивает их число, но, с другой, его порождает: тут были ровно те, кто способен преодолевать подобные барьеры, особая порода. И всех нас объединяло то, что отличало нас от тех, кто сюда не прошел, от тех, кто прилип к решетке, без конца

канюча: «Гену позовите, Борю...» И по тону все здесь знали, когда необходимо звать Гену, а когда вот так проходить мимо, не слыша.

Все здесь были не самими собой, все были перекошены. Лишь немногие не имели отношения к подобному разделению мира на зарешеточный (весь) и внутрирешеточный (наш) — это были сами гонщики. Они были заняты, и им было некогда. Нам всем было лестно быть рядом с ними и неудобно: это ведь так очевидно, что никто из нас ни на чем никуда не мчит-ся, а торчит.

В какой-то момент гонщиков совсем не стало во дворе: вручение наград, прощальные круги, — остались одни праздные. (Это был момент, когда мне удалось проникнуть во дворик.) Я все это видел, пересекающееся праздное окружение, — одних их «самых» не видел...

И тут в проем, соединяющий дворик с треком, прошли гонщики. «Красивые люди!» — первое легкое мысленное восклицание после немоты и тупоты первого впечатления.

За ними голубело небо и зеленело поле... Они шли, высокие, стройные, бледные, в импортных черных кожаных куртках и черных кожаных брюках, все в обтяжку; на ногах у них были особые многоэтажные ботинки, сложнее слаломных; с шлемами в руках; с лицами, вымазанными гарью, оттенявшей их роковую бледность; со сбившимися, чистыми из-под шлемов длинными темными кудрями, — они были все похожи на летчиков, потерпевших аварию за тысячу километров от жилья. Они пластично побеждали свое поражение. Они были романтичны.

Это была команда Ленинграда, проигравшая финал первенства Союза в командных гонках по гаревой дорожке, занявшая второе место, после первого, и получившая серебряную медаль. Я впервые наблюдал позор серебра. Издали нам кажется это столь почетным — второе место среди всех. Но кто измерил пропасть между первым и вторым? Ты, в толпе, никогда не поймешь этого, потому что не будешь ни сотым, ни тысячным. Но вот перед тобой второй — и все знают, что он не первый. А они соревновались у себя дома, на родном треке,

все время вели... Такое несчастье! Не поднимая глаз, не пересекаясь ни с кем взглядом, красавцы, ленинградцы, интеллигенты... они поспешно пересекли дворик, унесли свои взгляды по раздевалкам, боксам и — скорее по домам...

И следом — за ними зеленело небо и голубело поле — второй волной (и с ними дядька их морской); как после счастливого набега, потешного боя, неровной, корявой шеренгой; лучась и вытирая руки о беленькие деревенские волосы; розовые — вошли победители — команда Башкирии, город Уфа, СССР.

И правда, цвет серебра и цвет золота!

Черные, стройные, бледные, червлёные, цвета ленинградского неба и смысла ленинградской погоды, так что за ними сырело даже синее небо, того строгого и прохладного вкуса, которого по природе материала требует себе серебро — серебряные, — прошли ленинградцы. Я их знал, я их понимал. Они могли быть из моей школы или с моего двора. Мы могли бы встретиться в какой-нибудь компании. Я бы мог быть кем-нибудь из них.

И золотые — цвета васильков и спелой ржи, цвета неба и зрелой июльской пыли, оставив за спиной проселок, провожаемые гоготом скучающих гусей и взглядами из резных окошек; одетые кто во что горазд; в кривых кирзовых сапогах, припадая на левую кованую<sup>1</sup> ногу; счастливо размазывая гарь по лицу; разнорослые, разбродные, нестройные; непутевый хоззвод на последнем году службы — зубы у них были прекрасные, вот что... золотые — они посветили своими улыбками, обозначив солнышко над сегодняшним деньком — погодка!.. как с ярмарочного боя, стенка на стенку, с победой! Взгляды их тыкались во что попало, но никуда не прятались от немногочисленных поздравлений на чужой земле; отделенные решеткой от преданно выстаивающих и редующих уже поклонников... они так сияли чистым золотом ровно какую-то рассеянную секунду, не больше — и занялись делом.

---

<sup>1</sup> На сапог, служащий опорой при вираже, надевается специальный стальной башмак-подкова.



И это как-то совсем не вязалось с моими представлениями о триумфе (у одного, правда, был веник из полевых цветов и фальшивый кубок — он их сложил в уголок)... Никаких букетов, фотокорреспондентов, объятий и поцелуев, автографов, кинооператоров — ничего... Они начали мыть свои машины. Этого некому было за них делать. Они отскабливали их от гари, протирали, грузили в грузовик, который должен был поспеть на станцию и погрузить машины в поезд. Работали они привычно, ритмично и слаженно... И что же я могу еще сказать?

Вот таким, как они, никогда, ни при каком стечении, я не мог бы стать. Я рожден другим. Какими вы не будете...

Те были красивы, эти — прекрасны.

Наконец тетка покинула свой пост: ей не от кого уже было, да и некого охранять, — и тогда слабая струйка самых стойких поклонников протекла во дворик. Однако стоять стоит, и терпение венчается!..

Он подошел ко мне: «Покажите мне Куриленко!» Он был очень собран и сосредоточен. Он достал из кармана пачку плотных карточек. Подошел к Куриленко. Потрогал его за плечо. Протянул ему карточку и ручку. Куриленко принял его за немного, смутился, расписался и сказал «спасибо». Он подошел ко второму...

Тут наблюдалась первая для меня дифференциация: кто как откликался на автографы, — тут было несколько стадий, своего рода градация. Потом я всю эту свою арифметику еще раз проверил; откуда-то взялся мой друг Сева, отобрал у «него» одну из карточек и тоже стал мешать своим друзьям отмыывать мотоциклы. Уж его-то они могли послать подальше, но он тогда показывал на меня пальцем, чем и вгонял меня в краску, — они подписывали...

Тут-то я и заметил, что — кто как... Один смущался и радовался — он впервые попал в сборную, впервые стал чемпионом. Другой относился к этому как к чему-то привычному и чуть ли не надоевшему. Третьего это просто раздражало — это был великий гонщик, вот уже двадцать лет не вылезающий из седла; он единственный из всех как бы устал; это была такая работа, и не новость —

становиться в сотый раз чемпионом!.. И в этом не было никакой позы — он хотел скорей отмыться и в гостиницу, раз уж до дому опять далеко; ни выпивать, ни гулять — ничего этого он уже не хотел и показался оттого мне как бы злым и неприветливым. Позже я узнал, что это все не так... Но он был такой единственный.

Остальные все, что и поразило меня, совсем не устали, не устали от напряжения бесконечных заездов, от выигранного титула, от возни и грязи, от предстоящего пира и девушек — ни от чего. Они мыли машины.

### *Очаровательный ездок*

И вот самым мастером автографа оказался гонщик, тоже великий, но помоложе — этому все давалось так легко, что именно слово «талант» не казалось неуместным. Но позы и у него не было. Это было даже как-то странно... Ему доставляло удовольствие. И оно было пропорционально и соответственно. Удовольствие было победить — а как же иначе? — норма. Удовольствие помыться. Удовольствие облачиться в куртку и сапоги, столь иностранные, каких ни у кого нет. Удовольствие было расписаться на карточке, и познакомиться с новым человеком — со мной, — и очаровать заодно и его. Удовольствие было обратить на себя внимание девушки и не упустить это внимание. Удовольствие было естественно поддаваться успеху, которого было очевидно и незаслуженно мало. Непопулярность такого королевского зрелища, как спидвей, в нашей стране поистине удивительна!.. И вот, глядя на этого гения колеса, я понимал, что нужны камеры и вспышки, букеты и автографы и надо оторвать хлястик от его выдающейся курточки... У него бы от этого не убыло. Он так легко и естественно справлялся с любым видом признания, так при этом оставался прост и точен, что было ясно, что и ему это нужно и приятно — признание, и нам это нужно и полезно — его признавать. Нисколько его не изменит, не перекосит еще большая слава — он остается самим собой и плавает в славе так же хорошо, как сидит на мотоцикле... Поучительный образец! Такая взаимность обольщения и успеха называется о б а я н и е м.

Он сдергивает с шеи свой знаменитый шарфик... Вам понятно, о ком я говорю?

— На тебе! Для тебя старался.— Сева подает мне карточку, всю в автографах.



Вот она.

На этом пространстве каждый мог расписаться где хотел. И кто где расписался, там себя и ощущал: сверху, снизу, сбоку, с краю...<sup>1</sup>

Однако пора вернуться в Уфу.

#### Запись четырнадцатая

### УФИМСКИЙ ЛЕД

Если ни разу не видеть, — никак себе этого не представить. В нас с детства прочно вошло представление, что лед — это не та поверхность, на которой можно торопиться без коньков. А чтобы ездить... то каждый из нас знает слово «гололед» и наблюдал вставшие поперек улицы машины и даже аварии. Так что трудно себе вообразить, как это можно на льду гоняться.

Но это, оказывается, просто, как обман. На колеса

---

<sup>1</sup> Обратите внимание на треугольник в центре — это три звезды первой величины. Один с размаху расписался посредине, другой гут же ему не уступил, а третий замкнул систему, не подпустив более никого. Все трое оказались на первом месте... Причем, все это в суматохе, не задумываясь.

крепятся в несколько рядов довольно-таки серьезные шипы, и лед не только утрачивает свое качество «скользкости», но и становится поверхностью, гораздо более «уверенной», чем земля или гари. Лед тут используется отнюдь не в привычном для нас «скользком» смысле, а именно как нескользкая поверхность, обеспечивающая своей мягкостью и хрупкостью наилучшее сцепление с шипами мотоцикла. Круг по льду гонщик преодолевает значительно быстрее, чем круг по гари, потому что почти не теряет скорости на вираже.

Ах, этот вираж! Трудно представить себе что-либо более эффектное. Мотоцикл ложится на лед — и это не преувеличение. Гонщик скользит по льду левым коленом в специальном наколеннике — третья точка опоры. Летят брызги льда. И если это вечер и гонки идут при свете прожекторов, то эти сверкающие веера льда ни с чем не сравнимы. И хотя ты знаешь про шипы, ты их не видишь, и тогда особенно чудесно, азартно, радостно и страшно наблюдать то, чего не может быть, — победу человека над курсом физики шестого класса: над трением, над скольжением, над сцеплением, над падением, над инерцией и прямолинейностью. То есть, кроме той смелости, риска и опасности, которые вообще присущи гонкам по природе, в гонках по льду есть еще сильный зрелищный, «постановочный», эффект смелости, который, как бы ты хорошо ни знал техническую его сторону, всегда будет иметь воздействие на душу болельщика. И хотя это чистый спорт — тут есть цирк, тут есть трюк, тут есть фокус, — это еще и аттракцион. Хотя гонщики ничего не показывают, — у них нет никакой другой цели, кроме как быть первыми.

...Мы стоим под ласковым башкирским солнцем, столь для меня неожиданным. Я в дурацком тулупе, специально приуроченном к февральским уральским выюгам и морозам. Это же надо столько раз топтаться на трибунах в дрянном пальтишке, чтобы единственный раз надеть тулуп весной при плюсовой температуре... Мы сидим на весенне-серых сухих скамейках. Над нами радостное небо, под нами молочный, сверкающий, еще не езженный лед. Тает. Поговаривали, что вообще отменят соревнования — не замерзнет за ночь. Лед мягкий, сразу выкрошится — как будут гоняться? Зато первому есть шанс

установить рекорд трека — как раз по такому льду... Везде разговор знатоков, лузгаем семечки, ждем старта. Стартует полуфинал первенства мира в Уфе. Стадион полон, но спокоен — болеть не за кого, никого уфимцев: Самородов перешел на тренерскую работу, Кадыров — кумир Уфы — в ГДР, Шайнуров тоже больше не гоняется. «Ты бы видел, что здесь творилось, когда они гонялись! — сказал мне Сева. — Страх!»

Но гонки есть гонки: сколько ни кажись себе равнодушным, они тебя заберут. В первом же заезде чех Шваб ставит рекорд трека. Во втором заезде монгол Албуу Сержбудээ переезжает на пробном, тренировочном еще круге болгарина Петкова. Монголы вообще вызывают сочувствие зрителей, особенно башкир: ездить они не умеют, зато столько страсти и азарта вкладывают в свою езду и столько парадоксального бесстрашия! Монгол выезжает на своем мотоцикле, как на коне, как-то по-особому, по-всаднически, свешиваясь с седла, и едва ли не нахлестывает его нагайкой. Бедный перееханный Петков уже так и не мог оправиться от испуга и до конца соревнований ездил, будто подстригал траву, а в заездах с монголами не участвовал. А Албуу, а Сержбудээ — хоть бы что! Перевернувшись через голову, он снова вставал на колеса и ехал дальше, как ни в чем (в голове) не бывало! Все смеялись и любили его. «Смотрите, как сидит! Как наш Шайнурка, сидит!» — ласково покачивали головами башкиры, и в этом было пятьдесят процентов их симпатии: монголов тренировал Фарит Шайнуров, великий башкирский гонщик. И кто бы мог предположить — эти симпатии очень были оправданны: Албуу, этот Сержбудээ, если в первый день соревнований, казалось, впервые сел на мотоцикл, то во второй — уже так стремительно обучился, что победил в двух заездах. Правда, ездил он чересчур уж смело и так опасно — конь его прыгал, скакал, все еще не укрощенный, и на нем подпрыгивал, свесив задницу набок, лихой наездник, — гонщики со страху, что он на них наедет, пропускали его вперед. Но в целом он произвел, бесспорно, благоприятное впечатление и оживлял публику...

После четырех заездов следовала чистка. На трек выезжали снегоуборочные грузовики со скребками и соскребали искрошенный лед. Законный отдых гонщикам, минута праздности зрителям.

## *Мысли на трекe во время чистки дорожки*

Да, случай свел меня с этими замечательными людьми, и я оказался в серьезном и весьма поучительном мире...

Что выделило этих людей из всех прочих, что сделало их чемпионами, первыми? — этот наивный вопрос невольно и неизбежно приходит в голову при знакомстве с ними. С одной стороны, люди как люди: симпатичные, серьезные, простые. С достоинством, правда, — вот что важно. Но что именно привело их к финишу первыми? Мастерство? Смелость? Настойчивость? Удача? И т. д.? Конечно, все это и еще многое. Но и последний вряд ли труслив или не стремился к победе... Он тоже выделяется среди людей многими выдающимися качествами. Значит, все вышеперечисленное из качеств необходимо чемпиону, но недостаточно. Есть еще что-то. Что?

И если начать их расспрашивать вот с таким прищуром и пристрастием, — они ничем не смогут вам помочь. И не только из скромности, суеверия или особой душевной тонкости, по которой о самом глубоком не говорят. Об этом, оказывается, не сказать словами, хотя каждый поймет, о чем вы его пытаете.

Талант. Вслух, конечно, этого слова не скажешь.

Пытая, что это такое, можно лишь обнаружить, что ни способов, ни приемов, ни секретов, ни умения быть первым практически не существует. Люди тщеславные, думающие о первенстве прежде существа дела, жаждущие победы ради нее самой, как правило, отстают и ревниво провожают глазами («кто бы мог подумать?») такого простачка, казалось, — и вот на тебе, он пылит впереди... а то и вовсе сходят с дистанции жизни. А первые оказываются первыми, как это ни странно, потому, что они были первыми с самого начала. Не потому, конечно, что родились ими, а потому, что наиболее непосредственно, наиболее впрямую, наиболее единственно были заняты своим делом — только своим и только этим. Такие люди, естественно, оказываются в выигрыше: во времени, в результативности, в производительности, — потому что с легкостью берут от себя все, на что способны. Никакими усилиями, никакой волей не заставит себя человек сделать что-либо себе чуждое и несвойственное лучше того, что он сделал бы сам, по собственному желанию и без

принуждения. В первом случае он несвободен, во втором — свободен, а, как известно, самая низкая производительность — у раба. Таким образом, чемпион — это еще и категория свободы. (Недаром гладиаторам-победителям был приз — свобода.) Люди, понимающие и чувствующие живой и цельный организм своего дела, люди, всего лишь свободно и до конца занятые тем, чем они заняты, способны настолько полно выявить заложенные в них от природы возможности, что вдруг оказываются первыми, чем и вызывают всеобщее восхищение.

Как стать чемпионом? — это вопрос, равный вопросу: как достать лавровый венок? Что такое чемпион? — это уже вопрос с мыслью о жизни. И удерживает болельщика на трибуне не только арифметика достижений, а именно та неотчетливая мысль, что есть тайна, есть логика, почти математическая непреложность этого зрелища, и понять ее — словно постигнуть некую отвлеченную формулу жизни. Есть правила игры (условия задачи), объективные и всех выравнивающие, — это старт. Есть соревнование, действие (процесс решения). И есть финиш, лавры (результат). Смотришь, болеешь: вот-вот что-то поймешь!.. — и опять ускользнуло. Спорт — абстракция человеческих усилий и достижений, мысль о жизни, разыгранная в мускулах и секундах, зрелище без обмана, где сама напряженность борьбы сняла все лишнее и недостоверное, — стал необыкновенно популярен именно потому, что очень уж ясны условия задачи, очень понятен старт. В этом секрет его народности: и академик и герой, и мореплаватель и плотник ощутят в нем модели мира и испытают волнение предвосхищения и узнавания и азарт справедливости. К тому же спорт демократичен: словно сам стадион выдвинул участников из своей среды, таких же, как мы... Но — не таких! Зрелище спорта отнюдь не примитивно — оно поучительно, познавательно. Иначе бы не смотрели.

Спорт демократичен, но спорт и аристократичен.

Простой пример: есть чемпионы и рекордсмены, которые не удивляют никого, не восхищают. Им не радуются — им отдают титул как зарплату. Их забывают в секунду установления рекорда.

И есть великие люди, которые покоряют, внушают восхищение и любовь, за них болеют, все на их стороне. Они могут уступить первенство вышеупомянутым тружени-

никам — и остаться в славе, легенде, фаворе, или, как говорят, одержать «моральную» победу.

Значит, не результат увлекает и опьяняет зрителей и болельщиков, а процесс, сюжет, характер. С т и л ь.

Зритель чрезвычайно справедливо награждает своей симпатией именно «стилистов» в спорте. И тут он тонок и точен в оценке не меньше, чем знаток в поэзии.

Спорт демократичен и аристократичен.

То есть он н а р о д е н.

### Запись пятнадцатая

## В ГОСТЯХ У ЧЕМПИОНА

(Репортаж)

Уфа — огромный город, приближается к миллиону, если не миллион. И я спрашиваю, как мне проехать на улицу Карла Маркса. Я знаю, как на нее попасть в Ленинграде, как попасть на нее же в Москве, я бывал на ней в Калининграде и Ялте, Ташкенте и Петропавловск-на-Камчатке, я бывал на ней еще во многих городах, но не бывал на ней в Уфе. И я спрашиваю, как проехать на улицу Карла Маркса.

Уфа — огромный город, приближающийся к миллиону, если не миллион... Но мне говорят:

— А какой вам нужен дом?

Я называю. Тогда мне говорят:

— А вы там к кому?

Я удивляюсь, но называю...

— Так вы к Боре!.. — И мне объясняют, на что сесть, где сойти, как пройти и какую кнопку нажать...

К слову или не к слову это здесь придется, но мне давно уже хочется упомянуть об одном легком и полусознанном переживании, которое пусть на третьем плане, но всегда преследует меня при посещении чужих жилищ.

Хотя мы про себя неплохо знаем, как мы сами живем, хотя опыт подсказывает, что и другие люди живут более или менее так же, как и ты, и в нашей стране не наблюдается контрастов в уровне жизни, столь разительных, чтобы сталкиваться с образом жизни, о котором ты совсем уж не имеешь представления..., хотя это все так, мы



или я, по крайней мере, каждый раз сталкиваюсь с некой хронической ошибкой умозрительного представления чужой жизни. Заключается эта ошибка в том, что собственную жизнь я представляю себе с достоверностью личного опыта, а чужую почему-то всегда в той или иной степени — литературно. Может быть, в этом виноват и не столько я, сколько тот общий характер повествования, к которому мы прибегаем в рассказах о себе и своей жизни. Даже не желая солгать или прихвастнуть и приукрасить, мы выбираем, что сказать и как сказать, ориентируемся на то, чтобы не наскучить и не надоест, на то даже, чтобы меньше говорить о себе. В результате, рассказывая о себе, мы всегда имеем дело не столько с самой жизнью, сколько с образом нашей жизни, представлением о ней. Эти искажения бескорыстны, но они тем более усиливаются, если мы вдали от дома, скучаем по нему или по оставленным в нем удобствам, все это усугубляется тяготами и лишениями временного житья. Помимо воли мы создадим в слушателе впечатление, что мы только здесь такие, а если бы вы видели нас там, у себя, дома... Все это очевидные вещи, и однако, если ты сложил какие-либо представления и образы на основании чужих рассказов — забудь их. Они раздражат твой здравый смысл своей неточностью.

Так, Уфа почему-то была значительно меньше, уютней, домашней, когда я в нее ехал, — и оказалась огромней, индустриальней, урбанистичней, когда я приехал. Квартиры, в которых жили мои друзья, были роскошней, просторней и «многокомнатней», чем те, в которые я входил, когда оказался у них дома. И т. д. И если напряженная, тесная, конкурентная жизнь кажется нам свойственной для столицы, а на периферийных и провинциальных просторах наше воображение размещает людей более просторно, тихо, спокойно и свободно, то это очередная ошибка. Там — так же. Не бывает более длинных рублей и свободных квадратных метров. С одной стороны, это значит выравнивание жизненных уровней по стране, а с другой — что не полагай, что где-нибудь легче или лучше, и живи-ка ты, милый друг, своей жизнью: другой не будет.

Итак, товарищи, раз-два-три, проверка, мы находимся в квартире у великого человека. То, что он великий, не кажется нам преувеличением. Нет другого такого чело-

века, которому с той же очевидностью был бы обязан современный отечественный мотоспорт тем, чем он сейчас является. Вся жизнь его отдана мотоциклу. В течение двадцати с лишним лет он не устает выигрывать почетные титулы чемпиона. Он чемпион мира и Европы в гонках по льду, он столько раз становился чемпионом СССР во всех видах мотогонок, что трудно не сбиться со счета. В иные годы он становился им по три-четыре раза. Проследив хотя бы один раз, что это такое — стать чемпионом, то есть обойти всех, совершенно всех, кто попытался соревноваться с тобой, и если в вас свежо еще представление о том, какая же это работа, и если вы помножите эту работу на десять, двадцать и более раз, то сомнений у вас не останется, что перед вами — великий человек.

И есть еще одна черта, не столь эффектно бросающаяся в глаза, как золотые медали, но которая зато особенно выделяет его среди гонщиков, в среде гонщиков, и которую особенно почитают в нем сами спортсмены — люди, несмотря на безусловную и необходимую в их деле атмосферу товарищества, конечно же, ревнивые. И черта эта заключается в том, что все его личные достижения были лишь частью Общего Дела, каким для него был мотоспорт вообще. Уровня не существует, пока он кем-нибудь не обозначен. Не может существовать средний уровень, если нет высшего. Он сделал лично и то и другое. После него стало возможно то, что было недосягаемым. Но, кроме этой своей роли, которая скорее является миссией, он многих научил непосредственно, не одним лишь примером, очень многих. Знаменитый самородовский старт был усвоен Кадыровым, а Кадыров уже всем показал, что это такое. Говорят, что такой езды по льду, какую демонстрировали учитель и ученик, когда попадали в один заезд, мы больше не увидим...

Я в его квартире. Здесь он живет. Он заработал себе вот эту жизнь и именно на эту жизнь. Чисто, мило, достаточно. На стенах трофейная экзотика. Мы болтаем и смотрим телевизор, по которому идет, кажется, уже целую неделю все та же пьеса или фильм про молодых и красивых морских офицеров. Актерам идет китель, и с ними творится что-то непонятное: они начинают верить, что капитан-лейтенанты именно такие, как они, или, может быть, что они и есть капитан-лейтенанты.

— Это такое дело, — говорит он. — Пока ты едешь и занимаешь места, ты всем нужен. Как только поломался, ты уже никому не нужен. Как-то даже странно, будто тебя и не было...

«Поломался» — это он не про мотоцикл говорит, это он про себя говорит. Уж столько он себе костей паломал — бывало, лежал по полгода...

— Даже непонятно, как живой остался, — говорит он. — Полгода пролежал — ну, все решили, что все, кончился, больше не буду ездить. То все: «Борис Алексанч, Борис Алексанч», а тут фук. А как снова сел, то никто не поверил, а как первенство выиграл, то снова: «Борис Алексанч, Борис Алексанч...»

Так он говорит, ловко поместив в кресле свое маленькое ладное тело, словно наслаждаясь его временной цельностью. Только спортсмены способны развалиться так не развязно... У него именно эта повадка — медлительность, ленивость спортсмена, который выложился вчера, которому предстоит выложиться завтра.

Поговорили о машинах, автомобилист с автомобилистом... Зависть меня взяла, что ли. Рассказываю, как мне тоже пришлось однажды лететь, как мне не пришлось однажды умереть... И действительно, это же одно из самых сильных ощущений было в моей жизни: как я отделяюсь от шоссе и лечу, перевернувшись в воздухе, выключаю двигатель, падаю под насыпь на крышу — и остаюсь жив... И вдруг мне становится так стыдно, так скучно — что за черт, думаю, почему же о самом интересном и страшном — и не рассказать, скучнее всего, будто вру, будто плоский трюк в кино видел... Вот так и получается, что о самом интересном — не расскажешь: оно полноправно и бессловесно было в твоей жизни. С трудом договариваю до конца.

— Да, это да, — посочувствовал он, — вот в Англию когда мы ездили, я там себе ключицу и руку сломал, и вот, представляешь, в таком панцире, шею не повернуть, одной рукой и руль держу, и скорость передвигаю, в лондонском траффике, там, веришь ли, машина от машины — палку не просунешь, мне пришлось эту «Волгу» с прицепом назад, домой гнать... Как-то доехал. Ну уж после Лондона мне наше движение — тьфу!

А рассказывает он вот о чем. Значит, в Москве они грузят в прицеп к «Волге» мотоциклы и тянут своим хо-

дом до Англии. За рулем все больше он, Борис Александрович, потому что все-таки материальных ценностей слишком много и опаздывают уже на гонки, а тут дверцу ненароком порвали... Пришлось от ГАИ — хорошо, догадались! — афишей гонок заклеить. Но ничего, успели в Англию в день гонок, сразу пересели на мотоциклы — и гоняться. Отгонялись, вот он так неудачно, снова за руль и домой...

Да, думаю, это работа...

Это работа, а вот это что? — как не посмотреть, любопытно — это награды за эту работу. Иконостас, киот спортсмена. На хоругвях рядами, рядами золотые медали, медали... И тут мне стало обидно — я никогда еще золотых медалей не видел. Увидел и оскорбился.

Ну, то, что они не золотые, не из чистого золота, я немножко догадывался. С золотом туго — медалей разыгрывается очень много. Но на серебро, позолоченное, все-таки рассчитывал. Но и не серебро. Да и это бог с ним. Но сделайте хоть с достоинством — четко и изящно... Так нет! И это я от себя говорю, мне никто не жаловался. Возмутительно давать такие медяшки за такую работу, за спортивный подвиг. Пятак у нас делают изящнее, и его более уместно вдеть в лацкан.

Медаль чемпиона страны носить почетно и с т ы д н о.

Но вот — медаль чемпиона мира (чемпионат разыгрывался у нас). Большая, из тех, что надевают на пьедестале почета, и не могущий сдержать улыбки победитель наклоняет свою шею, и главный судья накидывает на нее ленту... Мы ли не видели кинохроник! Звучит гимн. Безобразная, грязного цвета, расплывчатая лепешка, отпечатанная так, будто штамп стерся от миллионного тиража. Но она же разыгрывалась одна такая! Она — единственная, вот ее смысл! Никто уже никогда не станет чемпионом мира этого года, кроме ее обладателя. С трепетом потянулся я к ней и спросил: «Можно?» Я держу в руке позорно легкий оплывший кусок алюминия, покрашенный краской, какой красят статуи в парках. Да, думаю. Конечно же, условность, знак, но именно условность должна быть соблюдена, именно знак должен быть ясен, именно символ — отчетлив. Для того чтобы победить, ему понадобилась предельная точность. Она очевидно не равна медали. Если бы он выполнял свою

работу так, как сделана медаль, он бы никогда ее не заслужил... Кино!

— Хватит, отъездился, когда-нибудь надо и уйти.

Мы толкуем о его переходе на тренерскую работу, о его уходе из большого спорта...

— Летом бы я еще погонялся... Отчего летом не погоняться? Говорят, либо гоняйся и зимой, тогда можешь и летом. Либо совсем уходи. Ну, я и ушел.

— А чем зимой плохо? — спрашиваю я.

— Да с шипами надоело возиться. С этими шипами, черт знает, с одними сколько возни.

— А летом?

— Летом другое дело. Езди себе, и все.

М-да, так-то. Я видел прощальные его круги. На том же ленинградском треке он в последний раз гонялся по льду... Тихо так ездил, не торопился. Тот же комментатор говорил:

— Вы видите последние круги прощания прощальные круги последние заслуженного мастера Бориса чемпиона мира Александровича чемпиона Европы Самородова чемпиона СССР десятикратного мастера...

Это он повторял без конца, как молитву.

— Да ну! — сказал он во дворике. — Не тренировался в этом году совсем. Ноги дрожат. Шипы надоели.

— ...в связи с переходом на тренерскую работу... — повторял комментатор, и Борис Алексанч выезжал на лед.

— ...в связи с заслуженным переходом на работу мастера мира тренировать Европы неоднократно сборную...

Он был несносен, этот комментатор. Сборной, конечно, повезло. Лучше тренера, лучше педагога не было и не будет — это так.

— Летом бы я покатался еще... — говорит он. — Зимой, говорят, тоже тогда кататься. Пора уже, пора давно, хватит, — тоном правильным и как бы удовлетворенным говорит он.

Странное дело, все-таки я не удивлюсь, если он летом таки сядет на мотоцикл...

Лицо его разглаживается и молодеет, и тогда становится особенно видна эта паутинка, эта подернутость как бы пеплом... У него те вечные сорок лет на лице, что настигают спортсмена еще до тридцати и продолжают чуть не до шестидесяти.

Мне нравится его лицо. Оно умно и открыто. Но оно не распахнуто, как у простака. Он похож на мужчину, пожалуй. У него есть достоинство, и он умеет себя держать. Он начеку и не откроет вам профессиональной тайны. Он ни про кого не скажет плохого слова, или косо-го, или уклончивого, если речь идет о гонщике, конечно. Что, надо сказать, не для всех характерно.

Я говорю ему от кого-то слышанное — он всегда отрицает.

Я говорю про какого-нибудь гонщика:

— Но он же, как в таком-то году разбился, с тех пор уже не тот, сломался в нем гонщик...

Он смотрит на меня, как на чушь, и говорит:

— Ну, это совсем не так. Он не сломался. С чего ты взял, что он сломался?

И несколько раз недовольно повторяет:

— Почему же сломался? Нет, не сломался...

Мне стыдно — и заслуженно: не надо повторять чужих слов, если они про другого человека. Если ты сам этого не видел и сам этого не подумал, то не стоит и говорить про другого — это ли не верно?

У него смелое лицо. Смелый цвет лица. У него смелые уши. У него действительно замечательные уши — уши смелого человека. Это мое субъективное заблуждение — очень точно подмечено.

Мне нравится его лицо.

#### **Запись шестнадцатая**

### **ДЕТСТВО ЧЕМПИОНА**

На самом деле... Они с одного двора.

Они мне сами в этом признались. Когда я, пытаюсь для себя понять, как же это получилось, что они, и именно они, стали чемпионами, беззастенчиво пытал их, — они долго сопротивлялись, делая вид, что не понимают, чего я от них хочу... Однако граница, с которой все началось, глубже и глубже сползала в прошлое, а я все еще не видел линии старта, где они впервые взяли и рванули, пока мы не очутились во дворе.

Так вот, едва ли не так, что все они из одного дома, эти сегодняшние мировые знаменитости, звезды спидвея. Благоговение перед чемпионами, навык к субординации

несколько автоматически наводят нас на мысль, что чемпион — результат невероятного отбора, что чуть ли не миллионы выдвинули его из своей среды, наказав воплотить в себе все лучшие черты народные... Между тем чемпионы эти — с одного двора. «Зуб даю!» (Не так ли, чему принято удивляться, в начале века будущая мировая физика пила пиво за одним столом, рисуя на лужице пены  $mc^2$ , а в одном классе учились два великих поэта? Сравнение не кажется мне шокирующим...)

*Сценарий фильма «Сплошная полоса везения и неудач»*

Вот либретто их детства.

Если такого фильма еще не было, то он будет.

Вот три кадрика из этого фильма... кинопрозой...

Представьте себе маленький городок-спутник, почти деревню (это сейчас он поглощен разросшимся городом, а тогда, лет пятнадцать-двадцать назад, это была деревня с одним многоквартирным домом посреди, посланцем будущего города). Деревня разбрелась вокруг этого дома и как бы привязана к нему. Перед носом — огород, а за лесом — город, манящие огни... А вокруг пейзаж вроде среднерусского, только похолмистей. Лето, жара, сонные куры... «Куры маются в сарае, в дреме кот упал с крыльца, что-то мутное играют на гармонии без конца». <sup>1</sup> Здесь живут три неразлучных друга. Здесь они проходят «стадию обруча», «стадию самоката», «стадию велосипеда».

В уснувший поселок вторгается жизнь: из лесу выезжает трамвай. Он соединяет поселок с городом (тот самый трамвай, на котором через много лет я просплю кольцо при переезде из Уфы в Уфу). Особенно эффектными кажутся мне кадры, когда трамвай катит в лесу, как поезд. «Колбаса» — как промежуточный этап на пути в большой спорт... В Уфе, в витрине магазина «Культтовары», увидели они впервые в жизни велосипедный моторчик — «стадия велосипеда с моторчиком» затянулась года на два. Но так же, как из лесу выехал трамвай, прозвякав окончание сонной идиллии, так и их счастьем был положен внезапный предел...

В город прибыл аттракцион — мотогонки по вертикальной стене. Естественно, друзья проторчали на всех

---

<sup>1</sup> Стихи Г. Горбовского,

представлениях. От монтажа «бочки» (эти кадры кажутся мне тоже эффектными: обширный пустырь, кое-какой урбанизм на горизонте — три трубы дымят, какие-то свалки меж бурьянов, бурьяны пристелены ветром — ветер обязателен! — по мелким лужицам гонит рябь... сооружается нечто высокое и круглое непонятного назначения, и трое ребят, опершись о велосипеды, неподвижно рассматривают это...) — до разборки бочки. Влюбились втроем в циркачку. А потом пусто — пустырь без ничего, и жалкая немощность моторчиков очевидна.

Но они еще пытались бороться с очевидностью поражения. На краю поселка вырастает огромный котлован. Как справились ребята с таким объемом земляных работ, тоже трудно вообразить (они мне показывали эту яму, она до сих пор не заросла и не осыпалась до конца), но они гоняли на велосипедах с моторчиком по вертикальной стене! — единственный случай подземной вертикальной стены в мировой практике.

Но когда из армии вернулся Самородов и поселился в их доме, и каждый день ребята видели, как он приезжал и уезжал на своем великолепном гоночном (как у циркачки) мотоцикле, и освобожденный треск двигателя западал им в душу... моторчики были окончательно истощены, впереди ничего не светило.

Угонять автомобили они практиковались на «Москвиче-401», принадлежавшем отцу одного из них. Отец был на работе, мама хлопотала по дому... Улучив момент, двое пробирались в гараж, один садился за руль и ждал «на парах», другой, вынув из ворот специальный сучочек, следил в дырочку за домом. (И этот кадр представляется выразительным — из темноты гаража, в кругленькое отсутствие сучочка.) Наконец, проследив за мамой, сын с улицы давал отмашку, наблюдатель резко распахивал ворота, машина стремительно срывалась с места и исчезала за углом, наблюдатель затворял ворота, вставлял на место сучочек, и, воссоединившись с сыном автовладельца, они шли за угол, где их ждал «Москвич».

Затем они угнали грузовик. У грузовика не переключались скорости, и они тупо ползли на второй, а за ними бежал шофер, и так они ехали и бежали вровень друг с другом, не в силах ни оторваться, ни отстать, пока машина не стала сама, въехав в сугроб. К счастью для ребят, шофер так запыхался, что не мог уже их



преследовать, и они убежали, а шофер упал у машины, как первый марафонец, впрочем, тоже счастливо отделавшись.

Потом они угнали «Победу». Покатались и поставили на место.

Это им понравилось.

Неизвестно, чем бы все кончилось, колонией или еще того хуже, но однажды ночью они угнали самородовский мотоцикл. Самородов наутро ничего не заметил, сел и поехал на трек. На пути у него кончился бензин, и ему пришлось пять километров катить мотоцикл на руках. Он едва не опоздал к старту. Отгонявшись, он изловил всех поодиночке и надавал по шее. Так они обрели учителя...

Все так и было. Я тут ничего не прибавил и не приукрасил, даже скучно.

Потом была армия. Армия — это шанс провинциала. Там им дали по мотоциклу. Вернулись они чемпионами.

### *Карьера колеса*

От этого фильма в моем ухе прежде всего журчит шарикоподшипник. Такой толстенький, сильный, несомненный... Кто-нибудь приносил его в класс. Доставал молча. Надевал на щепоть пальцев, как на ось. И начинал разгонять ладонью другой руки. Вж-вжж-взз! И потом поднимал его над головой и застывал торжествуя: как долго он крутился с а м! И все мы слушали долго, пока не истаивал звук. До сих пор подшипник для меня является не деталью машины, а деталью парты. Она въезжает в мое сознание с этим звуком. Сама катится... С а м о к а т! Если раздобыть вот такой, большой и толстый, то было уже проще: к нему можно было уже легче достать еще один поменьше, и тогда — п а р а! Пара — это самокат. Но какой! Сам катится. Летит, как стрела. Жужжит, как самолет. Этот звук подшипника по асфальту, их общий цвет, асфальта и звука, — цвет ленинградского неба и зависти. Так и не случилось мне удачи в виде большого подшипника... Несколько шариков от такого подшипника у меня еще были, и был один крохотный, блестящий — игрушка, брелок. Надевался на спичку. Но и в нем сверкала солнечная система головокружительного вращения, не то прошлого вальса, не то будущего мототрека, пока избранники и счастливы

выписывали на дне двора журчащие асфальтовые дуги...

И вдруг понятно, что не только эти замечательные люди сделали карьеру в колесе, но и колесо в них сделало карьеру. Не считая принудительного ассортимента младенчества, как только они смогли осуществить свою волю, они выбрали колесо. Первым их колесом был, пожалуй, обруч, не тот легкий, цветной и буржуазный, а тяжелый, ржавый, с бочки. К нему из толстой проволоки изгибалась специальная вилка-водило — и карьера началась! Мелькают пятки, мчится отдельное от тебя колесо, но уже не отдельное — косвенно с тобою связанное касанием. Ноги, рука, вилка, обруч. Управляемый обруч! И этот тонкий звук железа о железо, грифельный звук железа об асфальт оседает навсегда на стенках памяти, покрывая ее первым слоем, пока мальчишка бежит, обруч катится, вилка гонит его и точит и держит за руку мальчика, катя его вслед за обручем... И тогда этот звук будет сразу узнан в звонком шуршании подшипника, потом в шорохе и свисте самоката по асфальту, потом в ветре велосипедных спиц. Как в чреве поспешно проходят стадию рыбки и птички, как каждый человек ускоренно проходит человечество, так будущие мастера начинают с изобретения предмета своего мастерства и проходят историю его развития со скоростью одного детства.

Колесо покорялось им и делало карьеру вместе с ними. Уже оседлав его — начиналась страсть. Самокат все-таки не сам катится, ты его катишь, велосипед тоже не сам, надо педали крутить. Правда, есть великая, безвольная пауза инерции — ради нее все! Когда надо особенно замереть в неподвижности, чтобы прислушаться к движению, в котором ты не трудишься — только правишь. Это парение, полет... Но как кратко, как тихо это счастье! Надо совсем освободиться от мускульного привода, чтобы продолжить его... Страсть требует развития, развитие — риска, риск — скорости, скорость — мастерства, рождается мечта о моторе. Кто в двенадцать сел на велосипед с моторчиком, в шестнадцать будет иметь свой мотоцикл. Ему будет мало мотоцикла, и он пойдет на мототрек... И треск заезда, и запах выхлопа напомнят ему свою новизною незабвенность подшипника и обруча.

## МАГНАТ

(Репортаж)

Я только и слышал в Уфе, что эту фамилию: Балобан. Балобан — то, Балобан — это. Балобан сказал. Надо спросить у Балобана. Ну, на это Балобан не пойдет. Да ты попроси Балобана... Тебе надо встретиться с Балобаном. Балобан все может. Это может только Балобан. Этого и Балобан не пробьет. Балобан — хи-хи, Балобан — ого! Это Балобан. Кто же это, как не Балобан! Да, это Балобан... А ты Балобану-то говорил? Ну так походи скажи Балобану. Но это же ведь Балобан...

Балобан надвигался на меня неотвратно, как судьба. Мне его было не миновать. Я чувствовал, что это не просто человек — Балобан, что это такое понятие — Балобан, понятие, которого я не понимаю. Что я ничего не знаю, раз не знаю Балобана. Это гипнотизировало. Он был недостающим звеном, он, чувствовал я, замкнет мне цепь в кольцо, и я что-то пойму. Он был главная улика моего невежества.

Мне понятна была, скажем, роль Самородова. Действительно, без его фигуры невозможно себе представить явление башкирского мотоспорта. Но — как бы быть точнее? — и Самородов не заключал в себе причины. То есть он не исключал ее.

Так я и не знал по-прежнему, в чем же секрет вознесения Уфы, расцвета частного башкирского мотоспорта в мировом масштабе, в чем секрет вознесения и избранничества не одного человека (про личность уже стало как бы ясно...), а некой общности — отряда, школы, области, народа... то есть не было ясно, каким же образом, какими путями находит себе время и место явление. И как я не мог, туповато упираясь, усвоить себе, почему же не Москва, не Ленинград, почему именно Уфа, так и у меня, как у всех, последняя надежда вдруг оказалась на Балобана.

Может, он подберет ключ ко всему, раз уж он такой Балобан?

— Как, ты еще не познакомился с Балобаном?! — И на меня смотрят так: «Зачем же ты сюда приехал?»

Но я откладывал свои журналистские обязанности под конец. Мне не хотелось говорить ему, что я что-то собой представляю, печатный орган. Думал, как-нибудь иначе умудрюсь. Тем более что у меня же друзья гонщики.

Я говорю:

— Познакомь меня с Балобаном.

— Да, да, — говорят мне, — тебя обязательно надо свести с Балобаном.

И как-то не сводят...

### *Первое столкновение*

Я говорю своему приятелю-гонщику:

— Слушай, я бы хотел пройти на середину поля...

Действительно, с этой точки я еще не видел спидвея — там самый верхний допуск, только свои.

Мне говорят:

— Надо спросить у Балобана.

Да что же это такое, господи!

Через некоторое время мой приятель возвращается.

— Балобан сказал, что, если снимет тулуп, может пройти.

Это уже черт знает что. Я разозлился: тулуп у меня действительно на весь трек один, белый, до пят, как у деда-мороза, довольно дурацкий вид, но оскорбительнее всего соглашаться с тем, что сам знаешь про себя...

Но я таки поперся на середину поля и тулупа не снял.

И мне никто ничего не сказал. Воспитанные люди.

И Балобан ничего не передавал мне по этому поводу...

### *Второе столкновение*

Оставался последний день. Надо было кончать мне с Балобаном. Тянуть больше было некуда. Приходилось мне решиться на Балобана.

Я позвонил ему сам.

Секретарша сказала, что его нет, но он будет.

Я позвонил, когда он будет, — его уже не было.

Я плюнул, взял билет на самолет и позвонил просто так. Балобан сам снял трубку. Он находился у телефона. Я слышал голос Балобана.

Я не слышал своего голоса.

Он меня долго и молча слушал и долго молчал, когда слышать уже было нечего.

— А? — сказал я.

— В восемь, — сказал он.

— Где? — испугался я.

— В управлении! — По-видимому, это было и дураку понятно — где. Он не был в восторге от предстоящей встречи, это я понял. Мой репортерский задор и без того был дохловат...

### *Третье столкновение*

Зданию управления могло бы позавидовать столичное министерство. Оно горело в ночи всеми своими огнями, как одно сплошное окно.

В управлении тем не менее никого уже не было.

— Балобан? — удивился вахтер. — Он же уехал.

— Он мне назначил встречу...

— Вам? — вахтер усомнился. — Что ж, подождите...

Он явно не был уверен, что это было бы разумно.

Я ждал.

Он приехал в девять и стремился пробежать мимо меня. Но я-то поосмелел, его ожидаючи...

— Вы мне назначили на восемь, — загробным голосом сказал я.

Мы побежали вместе по лестнице.

Мы пробежали коридор, мы ворвались в приемную, мы пробежали мимо секретарши, мы ворвались в кабинет. Убежать от меня не было уже никакой возможности.

Он с ненавистью смотрел на мой тулуп.

Я его скинул и небрежно бросил на стулья.

— Я хотел бы...

Он схватил мой тулуп и стремительно уходил от меня по кабинету. Кабинет был глубок, длинен. Я не понимал действий Балобана. Но я последовал за ним, неотступный... В конце кабинета оказалась небольшая дверца. Балобан прошел в нее. Сердце мое опустилось — я понял, что Балобан избежал меня. Но как же тулуп?..

Я бросился следом. Последнее, что я помню, — это Балобана с неласковым выражением на лице, вешающего мой тулуп на гвоздь.

Я ничего не понял.

Я оказался один в маленькой комнате. Заманив меня сюда, он тотчас выскочил назад в свой кабинет и, уже прикрыв дверь, просунул голову и сказал: «Ждите меня здесь».

### *Альбом*

Я оказался в той особой комнатке-спутнике, которая бывает на орбите кабинетов уже очень больших начальников.

Тут были холодильник, зеркало, круглый стол со всяким оборудованием для приготовления чая. Еще тут был диван, на который я безнадежно опустился. На диване лежал толстый альбом, который я с тем же чувством взял в руки.

Этот альбом был посвящен мотоспорту. В нем была отражена грандиозная деятельность мото клуба строительного треста № 3. Балобан был директором этого треста. Этот трест был гигантским предприятием, построившим что-то вроде половины города Уфы. Во всяком случае, замечательный цирк был построен именно этим трестом, и гостиница, и Дворец спорта — всем дворцам дворец, и мототрек, и вот здание этого управления, где я сидел, оно тоже было построено этим трестом, хотя само оно и было этот трест.

Я был безнадежно отсечен от мира. Потому что в кабинете началось какое-то совещание, там кипели страсти и возвышались отдельные голоса. И как бы я ни разозлился, пройти с тулупом через совещание — эта картина казалась мне столь уморительной, что на это я не мог пойти. Другого же выхода из этой одиночки не было.

Я листал альбом — ему суждено было заменить мне двухчасовое интервью...

Балобан, естественно, имел отношение к этому клубу. Как директор треста. И как судья международной категории. Но главное — он имел то отношение к мото клубу, что он был Балобан. Казалось, если бы не было Балобана, не было бы и мото клуба. И страшно, и невозможно подумать...

Вот бы чего не было:

«С 1959 по 1965 год только в соревнованиях на первенство страны уфимские гонщики завоевали 19 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. В соревнованиях

на первенство РСФСР с 1960 по 1965 год — 15 золотых, 13 серебряных, 12 бронзовых...»

И т. д. Все это по данным безнадежно устаревшего альбома...

«Так, в одном 1968 году на первенствах РСФСР, СССР и мира было завоевано 4 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые. В спортклубе, по данным того же года, хранилось 135 медалей: 61 золотая, 45 серебряных...»

Напоминаю, это завоевано спортсменами одного предприятия!

А международные успехи!

Но я ненавижу этого Балобана!

Стрелка моих часов приближалась к одиннадцати, а за дверью все кипело, бурлило, взрывалось совещание! «Да, да! — с безнадежной язвительностью думал я. — Любят у нас позаседать! Уж так это необходимо им заседать!» С-с-с... Тише. Что бы я мог еще думать в моем положении?.. А если мне, извиняюсь, по нужде?.. Туалет не был предусмотрен в этом притворе... Только чай.

Но крики, достигнув к без четверти одиннадцать неправильной высоты — «Сейчас начнут выносить, — зло-радно констатировал я, — сейчас с кем-нибудь да будет удар!» — вдруг резко сникли, и умиротворенное урчание, словно там кого-то сообща съели, еще доносилось из кабинета — и стихло.

## *Сам*

Я встал, разминая затекшие ноги. Характерное покалывание означало, что кровь во мне еще не свернулась и жизнь еще теплилась...

Щель приоткрылась, и просунулась голова Балобана. Он удивился, обнаружив здесь человека. На лице у него было неожиданно добрейшее и виноватое выражение. Он меня не узнал. Он пригласил меня к себе...

Вся моя злость и ненависть как-то пропали. Я видел перед собою человека столь измученного и немолодого. Жидкие волосы были мокры и спутаны.. По седой груди, видневшейся из расстегнутой рубашки, скатывались капли пота.

— Вот, — сказал Балобан, и по его взгляду я понял, что он не помнит, кто я такой и зачем я был ему нужен.

Он взял у меня краткое интервью.

И когда он наконец понял, что я собираюсь серьезно писать о гонщиках, он стал моим лучшим другом.

— Что же вы сразу ко мне не пришли? Где вы остановились? Я вас поселю немедленно в лучшем номере. Хотите жить в коттедже на берегу реки Белой? Это можно сейчас устроить. Почему вы ко мне не явились сразу с самолета? Нет, нет, нет, ничего не говорите!

Я провел с ним полчаса. За это время он принял еще пятерых. Он распек одного большого начальника — люблю я такие разговоры! — тот блял что-то, как кролик. «Вот, — доверительно сказал мне Балобан, — совершенно не хочет работать!» Я радостно выразил согласие. Потом он принял одного затравленного отца четырех детей и, расспросив все про детей, обещал квартиру. Потом он принял одного подавшего рапорт об увольнении и не уволил. Потом он по душам поговорил с пареньком, желавшим поступить в трест, и, узнав при тщательном опросе, что тот ему, пожалуй, ни к чему, обещал подумать. «Позвони мне завтра в полседьмого. Нет, утра. — У дверей его окликнул: — Лучше нет, позвони мне ровно в шесть. Да нет, утра».

— Да, — говорил он между тем мне, — с этими ребятами я бы свернул горы. Если бы мне мою команду в собственные руки, мы бы были миллионерами! Такой команды, как у меня, нет ни у одного клуба в мире.

Он молодец от слова «мотоцикл». Пот на груди просыхал, и глаза блестели...

— В Англии, — говорил он, — есть специальные школы спидвея. Туда берут маленьких детей. Потому им и нет равных по гари. Вот сейчас, я полагаю, мы организуем такую школу...

Обсудив со мной создание школы спидвея, он воскликнул:

— А откуда деньги? Откуда деньги взять, вы подумали? Вы думаете, мне кто-нибудь платит, чтобы я делал им мотоспорт? Никто мне не платит. Я не могу, мне неоткуда брать деньги! Откуда я возьму деньги! Если бы эта команда была в моих руках... Я им ни копейки не плачу. А спорт этот, заметьте, дорогой! Это



вам не надел тапочки — и бегай. Каждая машина... Да что машина! Один шип... — Он полез в ящик и долго ковырялся там. — Один шип... Сейчас, сейчас! Поймаю! Вот, — он подал мне приятный, благородно-тусклый шип. — Это титан. Его по специальному заказу и чертежам точить надо, этот шип! Каждый шип три пятьдесят... Помножьте теперь, дорогой товарищ, количество шипов на три пятьдесят? Оснастить одну машину шипами — сто пятьдесят рублей! Дальше прибавьте к этому...

Он принял и выгнал еще двух посетителей и обсудил со мной такую проблему: как забрать и автогонки в руки треста...

Тут откуда ни возмись мой друг Сева — делает мне знаки рукой, мол, давай закругляйся. Балобан подозвал Севу, выяснил, что знает его отца, и стал переманивать к себе на работу.

Я забывал вовремя закрывать рот от восторга.

Сева дергал меня за рукав.

Мы долго жали друг другу руки, Балобан и я. Я хотел запомнить рукопожатие такого человека.

В приемной было еще человек пять, посмотревших на меня с ненавистью.

— Это они просили меня поскорей вывести тебя от Балобана. Они уже неделю пытаются попасть к нему на прием, а ты все сидишь и сидишь!.. Ну как? — спросил Сева, когда мы вышли на улицу.

У меня не было слов.

На секунду мне показалось, что я понял, почему Уфа...

Нужно было, чтобы приехал Аншель Львович Балобан из Одессы в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году.

Впрочем, через секунду же приходится ставить перед собой вопрос: откуда же взялся сам Балобан?..

Может, не следует упираться в вопросы, которые существуют как факты жизни? Может, к ним следует относиться как к фактам, а не как к вопросам?..

Стояла полночь семидесятого. Окна Балобана горели, как всегда.

## МОЯ РОЛЬ В ЭТИХ ГОНКАХ И РОЛЬ ЭТИХ ГОНОК В МИРЕ

Итак, я опять оказался в мире, в который чем больше погружаешься, тем глубже предстоит тонуть... Я связал себя чувством дружбы и неловкости с достаточным количеством людей, которые были и без меня хороши. Надеюсь, что призовые места распределились бы тем же образом и в том случае, если бы я не торчал на трибунах и не околачивался в раздевалках. Проверить, однако, как протекали бы гонки без моего участия, невозможно. Я там был — и это факт. Не знаю, как гонки, а что моя-то жизнь неизбежно на какой-то один зуб сцепления сместилась по отношению к вращающему меня часовому механизму — вполне вероятно. Возможно, не присутствуя я на этих соревнованиях, все мои зубчики, выступления и выемки, которыми зацепляюсь за речку судьбы, пришли бы в несколько иное соответствие и соприкосновение, и на сегодняшний день я бы имел дело с несколько иной картиной своей жизни, лучше или хуже — другой вопрос. Следует, однако, помнить, что, куда-то спеша, мы неизбежно опаздываем туда, куда не торопимся, а желая что-либо еще увидеть и с чем-либо познакомиться, мы уже не увидим того, что бы увидели, сами того не желая...

Тут мне вчера один знакомый похвастался, что средняя продолжительность жизни журналиста на 10—12 лет короче жизни других соответствующих профессионалов. Я его спросил, какая профессия соответствует журналисту, — он растерялся: «Ну, там, скажем, инженер... Мало? Артист... Артисты долго живут». Это, конечно, льстит журналистам, но, боюсь, все не столь романтично, как им кажется. Это, конечно, как-то вдохновляет, прибавляет ореолу — опасность профессии, преждевременная смерть... Ни с того ни с сего, замечу. Или один кинорежиссер тут мне похвастался, что смертность у режиссеров на втором месте после летчиков-испытателей. Я, положим, ему на слово поверил, но сам подумал: ты сначала умри, а потом гордись. Ранняя седина — вот что все это такое. Но... Но. Про журналистов может быть. И вот, как мне кажется, почему.

Нет, нет, не от напряженной творческой работы, не от муки слова, уж нет.

Просто и для самой железобетонной и равнодушной психики не может пройти бесследно эта бесконечная смена миров, попадание из одного в другой, не успевая заскочить в собственный; причем из мира — в мир, в который ты не прибавишь, не убавишь, а лишь побываешь, и он, как жил без тебя, так и продолжит жить, будто тебя и не было. Тебя-то не было, но с тобой, так или иначе, все это было. Я не хочу, естественно, умалить действенность печатного слова и ту помощь, которую оказывают журналисты людям дела в их связях с неделовым внешним миром, от которого они тем не менее в основном и зависят. Но сам-то, сам-то перелетный человек побывал в чужой жизни, сокровенной для тех, кто ею живет, и перелетел тут же в иную, не менее чужую и опять не свою. Безусловно, непрестанная жизнь чужой жизнью сокращает свою собственную. Возможно, они хуже знают и видят свою жизнь, чем много раз, фасеточно, глазом стрекозы — чужую.

От этого неизбежно пробивается поверхностный и развязный тон спортивного комментатора жизни. Комментаторы ведь тоже журналисты. У них — короче или длиннее?

Жизнь гонщиков все-таки короче. Она более подвержена случайности после риска. Вот и Деда не стало...

Вообще, смерть людей, рискующих жизнью, столь часто нелепа и случайна, что это не может не навести на мысль. Именно они, избегающие смерти профессионально благодаря мастерству и таланту (и чувству жизни в скобках), подвержены нелепым заболеваниям и кирпичам с балконов. То ли потому, что естественно человеку, только что рисковавшему жизнью, расслабиться, когда ему ничто уже не грозит, то ли потому, что они истратили уже много раз всю безопасность, которая отпущена господом на одну жизнь, но они в большинстве своем все-таки гибнут, а не умирают, причем гибнут всегда не от того.

Евгений Абалаков, человек, первым взошедший на пик Победы, тонет в Москве в собственной ванне.

Джон Гленн врезается в гуся.

Гагарин гибнет в легком учебном полете.

Гонщики попадают на улице под машины.

Они тонут и гибнут на обыденных тренировках и в отпусках, на собственных машинах и от таинственных гриппозных осложнений.

Они гибнут от пропущенной ими гибели, от гибели, которой они избежали...<sup>1</sup>

А журналисты все-таки сами укорачивают свой век профессиональным легкомыслием, медленно подтачивающим серьезность жизненных сил...

...Я попал в мир гонок, который поразил меня своей условностью и серьезностью и удовлетворил соответствием, гармонией этих двух понятий. Мир этот не разочаровал, но и не очаровал меня. Он оказался достойным своего собственного существования, и тем более мне становилось непонятно, как и по какому праву я в него затесался. И раз этот мир был миром и убедил меня в своем праве быть миром, то оказался он обширен, и глубок, и вечен — бесконечен... И он оказался тем миром, в котором либо уж жить, либо уж не жить совсем. И я привычно поражался безбрежности и истинности каждого из миров... Я элегически думал о глубине и бесконечности любого дела, любого предмета этой жизни, к которому лишь приблизься, лишь обрати внимание...

Тем нелепее было ощущать срок конца этих смотрин. Как же так, ничего не увидев, не поняв, не сделав, лишь поторчав — и уже все?..

И вот какой знак был мне перед отъездом. Он был шифрованно набран в одной из центральных газет самым мелким петитом между погодой и назначением нового посла, на правах самой третьестепенной новости, в десять раз менее значительной, чем очередной матч по хоккею...

<sup>1</sup> Вот еще любопытная биография...

«Антон Лукич Омельченко род. в с. Батьки на Полтавщине в 1883 г. Когда он работал по выезде скаковых лошадей во Владивостоке, то с лейтенантом В. Брюсом ездил в Харбин выбирать маньчжурских лошадей для капитана Р. Скотта. Был включен в его экспедицию, проводил и встречал направляющихся на Южный полюс, достиг 84° ю. ш. После возвращения экспедиции в Англию был награжден медалью и ценным подарком королевы. Вернувшись в Россию незадолго до первой мировой войны, был призван в армию. В гражданскую войну был бойцом Красной Армии. По возвращении в родное село работал сельским почтальоном. Одним из первых вступил в колхоз. Погиб от удара молнией весной 1932 г.» (из «Сборника советского альпинизма», 1972 г.).

## *Спидвей по прессе*

«Вчера в Уфе закончились полуфинальные соревнования на первенство мира в гонках на мотоциклах по ледяной дорожке. Первое и второе места заняли братья Дубинины из Новосибирска, на третьем — ленинградец Ломбоцкий».

И все. Это был взрыв.

Меня отбросило назад, в действительный, объемный и огромный мир, как взрывной волной. Как же так — эти тысячи людей, что «болели» на соревнованиях, это множество гонщиков, мотоциклов, шипов, каждый из которых стоит три рубля пятьдесят копеек штука, эти десять разноцветных флагов всех стран мира?.. Как же быть с абсолютной и самой заслуженной избранностью последнего чемпиона — ведь чтобы добраться до его пьедестала, потребовалось перебирать всех людей мира до самого сегодняшнего дня? Как же быть с безмерностью, отчетливостью, непостижимостью, бесконечностью этого мира, набранного в три строки самым мелким петитом, оказавшегося для всех мирком? Тем более что победил только один брат Дубинин, а второй не участвовал в соревнованиях совсем, что Ломбоцкий был вторым, а не третьим, а третьим был чех Шваб? А как же со страстью, с отчаянием каждого из гонщиков, с тем, что весь мир, вся жизнь сжималась на минуту в заветную цель финиша?

И вот такое именно место занимали эти гонки в масштабах жизни мира и страны. Если полагать, что газета для того и выпускается, чтобы напоминать людям о пропорциях и масштабах современной жизни.

Ни в коем случае не хотел бы я сводить дело к несправедливости и немасштабности отражения этих гонок в прессе. Мне на это так же наплевать, как человеку, никогда на них не бывавшему. Хотя, конечно, есть несправедливость в том, что хоккею — все, а спидвею — ничего. Но это естественная несправедливость признания и тиража. Как в литературе. (Если мне скажут, что сравнение литературы с мотоспортом несколько неправомерно, потому что книги читают все, а на гонки ходит все-таки небольшая группа ценителей, я скажу, что на улицах-то все видели мотоцикл...)

Но вот ведь что. Назначение посла, если б я его знал лично, если бы я знал, что стоит за этим назначе-

нием: какие жизни, какие страсти, какие судьбы, какие годы! — возможно, потрясло бы меня не меньше. Надеюсь, конечно, что фамилии назначенного и смещенного не перепутаны в наборе... Но ведь погода тоже пети́том, а это вообще божественное явление, космическое! Все так, все справедливо.

Чрезмерно великоват этот крохотный из миров.

Что в мире!.. И в моей жизни... Приехал — уехал. И где та бездна, в которой я побывал? Сомкнулась. Ровно. Я глажу это гладкое место и не ощущаю ни рубца, ни шва. Где оно в моей жизни? Где моя жизнь в нем? Ровно, гладко — никакого выступа у судьбы. Жизнь замкнутая, как яйцо. Колесо.

Ну что ж, мое будущее мне ясно. Я вижу себя в Польше на финале первенства мира в гонках по гари. Я вижу себя на ипподроме в позе начинающего знатока. Будущее мое определено, перспективы мои перспективны.

И вот что любопытно: самые быстрые мотоциклы производит сейчас Япония, и, пока мы тут гоняемся не с ними, эти японцы куда-то тихо и бесшумно торопятся.

**Запись предпоследняя**

## **СУДЬБА ЧЕМПИОНА**

Но, вернувшись из Уфы, я обнаруживаю, что не так уж далеко отстоял от меня мототрек, прежде чем я случайно на нем оказался... Каким-то образом мне удивительно понятны эти ребята со всепоглощающей страстью ко всему, что заводится и едет. И если теперь, когда я вижу длинноволосого подростка, выпнысывающего велосипедные гаммы на моем дворе, двор мне кажется подобием мототрека, его родным младшим хулиганствующим братом, судьбой которого за недосугом озабочена вся семья, то не потому ли мототрек был так непосредствен для меня, что в нем узнавался старший удачливый брат моего двора, дослужившийся до чемпиона мира? Не они ли гоняются сейчас и не они ли смотрят с трибун, они — с моего двора?

В последний год войны и сразу после мы образовали шайку, шаечку под красивым названием «Пятый угол». Собственно, ничего страшного, при моем участии, мы не успели сделать: мы курили, закладывали руки в карманы, пытались плевать подальше, кривили рот, будто у нас там фикса; выменивали бляхи на кепки и кепки на бляхи; играли в пристенок и в «маялку»; воровали обеспеченно и по мелочи — у соседей и родителей; надув из соски большой водяной пузырь, гасили тоненькими струйками примуса в студенческом общежитии; лазили по подвалам, сараям и руинам; писали учителям гангстерские записки квадратными буквами и считали свою жизнь пропащей. Старшему было одиннадцать, младшему (мне) семь. Я был корешом старшего. Одному мне удалось, с активной и болезненной помощью отца, «завязать», и я бездарно прекратил карьеру, свернув с пути, так точно намеченного на всю жизнь. Остальные пошли далеко, погрязли в рецидивизме, и все реже встречаю я их в промежутках, в качестве остепенившихся отцов своих детей, у пивного ларька, который стоит теперь на том самом углу, который мы, по неграмотности, называли «пятым», где мы когда-то собирались всей бандой к назначенному часу. На отпечатки наших детских ступней мы сдуваем пивную пену, остренько взглядываем друг на друга, признавая что-то знакомое, и выглядим мы друг для друга немоллодо. Один из нас стал чемпионом Ленинграда по боксу и погиб, поскользнувшись в бане, другой сидит до сих пор, третий — зампредкомитета по радиовещанию и пива не пьет, четвертым буду я, у пятого скоро родится пятый. Судьбы.

Вот вылетает из моего двора на собственном мотоцикле, эффектной дугой, из подворотни к ларьку — призрак Гапсека.

— Здравствуй! — говорит. — Ни-ни! За рулем не пью.

Вообще-то он Толя Иванов. Это он учил меня курить в первом классе. Входил в наш «Пятый угол». Гапсеком он стал после того, как весь наш двор посмотрел картину «Гобсек», а Толька как раз унес откуда-то моток серебряной ленты (были в наше время

такие поразительные плотные рулоны: фольга, прослоенная папиросной бумагой, как бы чуть маслянистая и душно пахнувшая,— теперь таких не бывает!). Мы, конечно, хотели поделить, он не дал, все закричали: «Гапсек! Гапсек!» Только страшно обиделся, погнался, никого не догнал и с тех пор остался Гапсеком. На лестничных площадках Гобсек поменял свою транскрипцию: «Гапсек — дурак», «Гапсек — жук», «Гапсек + Валя» и т. д. Он имел бурные годы и не сворачивал с намеченного пути пропащей жизни, пока я учился и кончал. Но вот и он остепенился, женился, обзавелся, родил и осуществил свою давнишнюю мечту — мотоцикл. Возит теперь на нем кровати и коляски, достает... Вот он отъехал эффектной дугой от ларька... Нашли его через два дня в канаве. Он выехал со двора верхом на своей судьбе, навстречу своей судьбе, на встречу со своей судьбой и врезался в свою судьбу. Судьбой был придорожный столб.

### *Летучий голландец*

*Памяти Геннадия Вьюнова (Деда)*

Со мной что-то не то. Из дальних стран возвращаюсь домой. Здравсте. Можно подумать, что я ничем не рискую... Оглянусь назад — такая ровная столбовая линия. И если однажды рискну и иду на все — срываю банк. Опять без обрыва. Жизнь плавная, как по лекалу. Опять не в проигрыше, опять в выигрыше. Не гнечи бога... Впереди судьба.

Возвращаюсь домой еще раз, снимаю трубку.

— Эй ты! — говорит мой друг Сева. — Вернулся? — Будто я разочаровал его этим. — Деда помнишь?

— Помню.

— Разбился Дед.

— Ка-ак?..

— Глупо так. На тренировке. Ни с того ни с сего.

— Да... — говорю. — Он же хорошо в этом сезоне ходил! Никто и не ждал уже от него. Чтобы так вдруг...

— И приятель мой в Уфе, ты его видел. Помнишь, на засолочной базе?

— Как же, как же! — подхватил я, с облегчением хихикая. — На засолочной базе! Там с закуской обстояло неплохо... Пять тонн огурцов в одной тарелке!..



— В школе вместе, с моего двора...— говорит Сева, меня не слыша.— Его прямо на нашей улице молнией убило...

— Молнией?..

— Так-то, — говорит Сева, — одновременно обоих. Ну, пока!

Как же, как же! Помню, помню... Деда помню. Очень хорошо, очень замечательно его помню. В первый раз я его видел, он тогда еще был в «завязке», не ходил, администрировал, но сердце гонщика... Именно сердце гонщика плавилось в его груди, когда мы все отмечали победу команды уфимцев в Ленинграде, и его глаза излучали такую безграничную преданность и любовь к новым чемпионам, такое неподдельное восхищение и восторг перед их успехом, такое преклонение перед талантом, что можно было подумать, что ему пять, а не сорок лет, что он ни разу не сидел в седле, не выигрывал первенств и не становился сам чемпионом, что это он впервые видел гонки, а не я. Ни тени зависти, ни сожаления об уже пройденности своего пути — чистый восторг... Помню, это очень поразило меня, как-то немо, не в словах, очень расположило к нему: глядя на него, ты настолько становился обеспечен отсутствием задней мысли, расчета, коварства и самоутверждения, что ничего не оставалось, как тут же отвечать ему любовью. Казалось, он воплощал собою бескорыстие в спорте, этот сошедший на нет мастер.

Он принимал нас в своем кабинете в здании клуба. Он поил победителей коньяком, с удовольствием чокаясь... Странно было представить, что все эти ребята, такие чистенькие и свежие, в заморских курточках и штиблетах, каких ни у кого нет, еще час назад, облепленные гарью, овеванные дымом, грохотом, ослепленные скоростью и страстью, летели вон там, за окном... Теперь их овевала только слава. Из окна был виден мототрек. Он был пуст. Странно было даже представить, что там творилось час назад. Он был не просто пуст — опустошен. Зеленел увядшим лужком, сквозил последним осенним небом, зиял сквозною серостью трибун. Последний луч солнца скользнул по лужку и блеснул в лезвии топора, воткнутого в бум...

— Да, кстати, — спросил я, — зачем топор?

— Собачьи соревнования завтра, — сказал Дед. — Полоса препятствий.

— Это понятно: бревно, бум... Однако зачем топор?

— Головы им рубить! — пошутил чемпион мира. — Если не выполняют команды.

Нам было так весело!..

Дед смеялся больше всех. Он был счастлив их счастьем. Ему ничего больше не было надо...

...Но как трудно «завязывать» и зарекаться! Скорость манит, как пропасть, как полет. Я не думаю сравнивать несравнимые вещи (хотя они-то как раз и сравнимы), но вдруг понятен мне становится Экзюпери со своими просьбами и рапортами дать ему еще десять прощальных вылетов. Страсть, судьба... Господи! Какие слова... Их уценили. Так они есть.

Зимой я увидел Деда на мототреке, в седле. Зрители почти не знали, кто такой. Его забыли. Ему достался первый заезд, и он побил рекорд трека, державшийся уже несколько лет, чуть ли не на две секунды!! Стадион ахнул. Было что-то окончательное в его скорости: он один мчался, хотя две общепринятые «звезды» сверкали в его заезде. Публика ахнула и начала страстно за него «болеть». Всей борьбы он не выдержал; в последнем заезде было видно, как у него дрожали ноги, как его мотало, обессиленного, на выбитом льду, как он, однако, гордо не уступал своей слабости никому, дотягивая каждый раз девятый счет нокаута до гонга. Мне очень хотелось ему призового места, очень жаль было, что оно ему не досталось. Я пошел за кулисы выразить восхищение и сочувствие — какое же счастье увидел я на его лице! Ему достаточно было его ослепительного рекорда и того, что он выдержал. Он был в царапинах, масле и ссадинах; лицо было иссечено льдом и ветром, потому что он не закрывал лица, как все гонщики, ему было не до этого, ему все мешало, все было лишним в этой страсти, кроме него самого и скорости, так, чтобы и впереди, перед скоростью, никого не было, чтобы только он и она. Таков и был его рекорд по новому, никем не езженному льду, нетронутой целине: со старта первому и до конца одному. Дальше все... валяйте.

Правда, он имел удивительное в тот день лицо: красное, как мясо, и белое, как снег, счастливое, опустошенное, отрешенное, без страха и упрека, где-то там, позади, остался он, за собственной спиной, когда при-

нял первый старт и рванул, вырвался из себя и уехал... И впрямь это не он, не мог он уже так ездить — это душа его пролетела в первом заезде, оттого и так легко, что никакого тела в седле не осталось, оно остыло там, на линии старта, а он этого не заметил и за ним не вернулся... С лица его веял ветерок — такой полноты я не видел, это было все: все, что ему нужно, и все, что он мог, и все было выполнено... Меня так и подмывает сказать, что я видел уже тогда на лице его печать... Я уже сказал. И теперь для меня первый заезд всегда принадлежит Деду. Он выезжает один, до шума, до азарта, и едет так, как никому не снилось, стремительно и беструдно, без сопротивления летит его мотодуша и, совершив четыре ласковых непостижимых круга, не искрошив льда, покидает трек... в компании с Летучим голландцем.

Кто не поймет?! Как раз народ и поймет! Не он ли сказал:

ОТ СУДЬБЫ НЕ УИДЕШЬ...

Или:

ОТ ТЮРЬМЫ ДА ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ.

И вдруг он же:

ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ,

Тот же народ.

### *Последний медведь*

*Памяти Николая Рубцова (поэта)*

Я живу неведомо где. Иногда возвращаюсь домой. Дочка говорит, краснея, издалека: «Папа, а ты помнишь, в прошлый раз, когда ты приезжал, то сказал, что мы с тобой куда-то пойдём?» Вот какие слова она выговаривает громко, какие шепотом — в этом весь смысл. Мне тут же становится нехорошо от этого её знания, от этого её уже опыта, что опять не пойдём. А «куда-то...» (что шепотом) — значит, я помню, во дворец. Дворец вообще.

И я с тем погибшим достоинством человека, знавшего успех и потерявшего его, вдруг решительно встаю, говорю: «Идем». И едва ли это не более уничительно,

чем снова сказать: «Потом». Говорю я «идем», ненавидя себя, но она верит. Впрочем, она много больше знает, чем принято допускать (для удобства взрослых) в отношении, так сказать, детей, так сказать, ее возраста. И это ей не ужас, мне — ужас: довольствуется моим согласием, по-видимому, ровно в том значении, какое и есть, — без «алых парусов».

Мы идем. Мы выходим, и тут обнаруживается денек. Такой внезапный, со вкусом другой, минующей тебя жизни, с раскаянием и недопустимостью вчерашнего, уже бывшего с тобою дня... С узкого нашего двора сняли крышку, мы улыбаемся небу, улыбаемся в себя. Даже злые дворовые старухи — как политые цветочки за вымытыми окошками. Кто-то, забыв об осторожности, внезапно здоровается со мною, обрекая нас обоих необходимости здороваться и впредь.

Впрочем, пора уже миновать двор и приступить к делу.

Так выхожу я, застенчиво щурясь, с потной, покорной ладошкой в руке, неуверенный в том, что это я выхожу, что это мои шаги и дочь моя, а не заснят я заранее на всю ту кинолентку, что просмотрена мною еще за бесконечное время школьных уроков... Надо же день за днем познавать мир, чтобы дожить до такой нереальности! Погодка потягивается вокруг меня, только она и есть реальность — денек такой.

«Такая хорошая погода, — коварно говорю я, — давай мы во дворец в другой раз пойдем». И это уже не отчаяние, не обида — как дочка соглашается со мной, а смирение, знание жизни: все равно не пойдем. Она еще не дожила до погоды.

Мы идем не во дворец и не в цирк. Мы приходим в зоосад.

После вытравленных площадок до и после турнира (солдаты и школьники — 10 копеек) фанерной фее-рии касс, щитов с планами и правилами, тележек мороженщиков и передвижных лабораторных установок ломоносовской эпохи для производства газированной воды естественно ожидать фанерных же зверьков с белым кружочком для попадания, где правый профиль дается рисовальщику труднее левого... Поэтому так неожидан первый зверь.

Допустим, слон. Но в него еще не веришь. Впрочем,

в него вообще трудно поверить. Но так. Слон и слон. Смотришь больше на прислужника, что сидит тут же: то ли следит, чтобы слону не давали совсем уже несъедобную дрянь, то ли просто для сравнения. Созерцать слоновьего служителя поучительно: если его большой друг переступит немножко в сторону, то станут видны далекие башенные часы, стрелки которых неумолимо, но слишком медленно приближаются к обеденному перерыву. Служитель ждет, когда тот переступит...

Слон тоже все понял — слон служит так же, как и служитель. Вы проходите дальше, не вполне уместив их в своем сознании.

Вы попадаете в копытно-рогатое отделение: бесцветно-свалявшиеся неправдоподобия коров... Тут и северные олени, клетку которых вы минуете особенно быстро: почему-то именно этот олень — для вас не новость. Потом немножко гну и какая-нибудь лама. Так и не вылезший из темноты своей комнаты, скажем, зубр. Вы быстро оставите этот унылый хлев, почти не отметив в мозгу неожиданную неимпозантность оленей и косуль, так и не передвинув свое сознание в саванны и сельвы.

Тут будет лужа с чем-то жалким, приснившимся, но неужасным — гиппопотамий бок. Будет плавать расплывшаяся булка — вы так и не дождетесь от него жизни.

Удивитесь тапиру, гладенькому, новенькому — синтетическому. Девочка скажет: «Сразу видно, американский...» Обыватель прочтет табличку беременной жене: «Промыслового значения не имеет... Ага. Значит, только показательное». Жена посмотрит невидящими глазами — увидит свой живот. Что это за манера такая — непременно водить беременных жен в зоопарк...

Птиц слишком много, чтобы в них разобраться, и по виду они все питаются падалью. На самом верху клетки какое-то грифельное чучело. В этой связи вы внимательно рассматриваете воробья. Это, безусловно, потрясающая птичка. Она — на свободе.

Обезьяны закрыты на ремонт. Отдельно показан шимпанзе. Он печален... В который раз поражает нас, что он не человек. Поковыряет — посмотрит, почешет — посмотрит. Удивляется рукам: ничего-то в них, оказывается, нет. Пусто. Отсутствие.

Вы сделаетесь безотчетно-печальны, скучны. Обратите внимание на своего ребенка — умилитесь: что это

он так жметя к вам, смолкнув, словно ища в вас защиты и опоры? Почему глаза его так кругло распахнуты, на границе испуга? Что тут страшного... Какой же он, бедняга, страшный — в клетке? Ничего страшного.

Солнышко — вот что странно... Вы чувствуете его лицом, как слепой. Ленинград так отвык от него за зиму... Свет застиг все врасплох, и будто ничто не успело окраситься, растерялось, освещенное и ослепленное, и прикрыться нечем. Словно солнечный объем сам по себе, втиснут между предметами, их не касаясь, не задевая, не прилипая к ним. Так и звери — без цвета или цвета хаки.

Пока не попадете к хищникам. Только хищники имеют цвет. Только они, собственно, и звери. Во всяком случае, по зрительскому успеху это именно так. Тут уже толпа, живость, разговор — непосредственность. Именно чрезвычайная непосредственность видна на лицах, как от несчастного случая или чужих похорон.

Пора от «вы» перейти к «я».

«Медведь» — было написано на клетке. Значит, именно медведь это и был. Я встретил его взгляд.

И сразу будто все виденные здесь мною звери посмотрели на меня. Это было достаточно странно: одно и то же существо может по-разному взглянуть на вас, но представить себе, что одним и тем же взглядом на вас в разное время посмотрели существа, столь многочисленные и отличные друг от друга, — это может означать лишь одно: либо вы безумны, либо все они. Оловянное безумие полуденно стояло в глазах медведя. Не ужас и не ярость, не страх и не свирепость, не тоска — сумасшедшесть. Это был сума сошедший медведь, и он ел и ел конфеты прямо так, не разворачивая бумажек, равнодушный и к зрителям, и к себе, и к самим конфетам. Он скучно и безотказно ловил конфету, если она удобно подлетала к пасти, если же неудобно — не ловил. Тогда конфета стукалась об него, как об неживого, и падала... И так он сидел в кругу из конфет, и конфет было столько, что ясно становилось: он давно уже так сидел, не переступая.

Это ровное, без каких бы то ни было мерцаний, безумие, стоявшее в его глазах, могло бы показаться просто слепотой, если бы он не успевал вовремя отворять пасть конфете, то есть оно слепотой не было.

Можно было бы предположить образ некой вековой зубной боли, боли от рождения, боли как единственно известного состояния мира, боли непереносимой — если бы хоть раз, хоть одну минуту за всю жизнь ее бы не было, — и переносимой оттого, что она была всегда; боли такого постоянства и интенсивности, что на нее, в самое дупло ее, равнодушно кладется конфета за конфетой, как веточка в костер. Если не слепой, то немой мог бы быть этот медведь. И тогда взгляд его был бы воем немого. Но в этом случае он не ловил бы конфет, он понимал бы боль, если бы был... то есть оно (безумие) немотой не было тоже.

Но все эти предположения, имеющие лишь тот приблизительный смысл, чтобы хоть как-то определить, ограничить кругом сравнений (пока еще слишком большого и непостоянного радиуса) новое для меня понятие безумия, причем именно этого безумия, все эти предположения сходств были раздражающе неточны. В центре этого корявого и слишком большого круга сравнений его взгляд по-прежнему горел тускло и ровно, не имея отношения к моим попыткам определить его.

Так вот, сначала медведь, а потом и все те звери, мимо которых я пробежал так небрежно, разом взглянули на меня тем же невидящим, безумным взглядом. И можно было бы по загодя заготовленному руслу подумать, что они сошли с ума от несвободы, от жизни в зоопарке, от тюрьмы, — но нет. Если это и было, то что-то тут было еще. И это еще было главнее, страшнее и новее для человека.

С какой же внезапностью и тоской вдруг осознал я, что медведя этого передо мной уже нет, больше чем нет — его не может быть. Если бы современный человек не приписывал себе, не присваивал до такой степени все, что даже суждение, высказанное о каком-либо предмете внешнего мира, характеризует нам уже ни в коем случае не этот предмет, а говорящего об этом предмете человека, то знаменитый анекдот о человеке, увидевшем бегемота и сказавшем: «Не может быть!» — оказался бы вовсе не смешным, потому что он не об этом смешном человеке, потому что этот анекдотический герой прав.

Бегемота уж точно не может быть.

Нет, я не жалел зверя в клетке, а чуть ли не бла-

гословлял зоопарк, что в нем еще есть этот медведь, которого уже нет: иначе как бы я узнал об этом? Это был чудом уцелевший медведь, последний медведь, как последними были и все остальные звери; казалось, он и сам не верил, что он еще есть. Я опять описываю круг приближений к центру его безумия и не становлюсь ближе. Однако я убежден, что во взгляде его было именно это безумие — оставшегося последним. Дело, может быть, было уже в том, что медведь сдался жить дальше; причем сдался не этот именно (персонально) медведь, в нем сдался медведь, сдался медведь вообще, в нем не осталось жизненной энергии быть медведем. И действительно, если среди звериных инстинктов, не разошедшихся еще по сравнению с человеком с логикой творения, не потерялось точное чувство наступающей смерти, когда зверь прячется, уползает и так далее, то почему ему не ощущать смерть и более глобально: вида, рода, самой жизни? Звери Ноева ковчега имели больше шансов выжить среди ужаса стихий, чем эти — в абсолютной безопасности зоосада, какая существует у смертников от приговора до исполнения. Тут уже не осталось чистых и нечистых — все они последние, голубые, в дымке прощания.

Захотелось побежать назад, к слону, чтобы успеть посмотреть на всех этими вот вдруг открывшимися глазами, заглядывать им в их последние родные глаза, ощущая виноватость и братство, братство всего живого на земле перед лицом «отмирания особей». И почему бы действительно не обнять ту же гну, как сестру, не сказать: я нашелся, твой без вести пропавший в прогрессе брат! Вот он я, еще живой и тебя не забывший...

Если кто-нибудь скажет, что я забыл в этом рассказе про дочь, то нет — я поднимал ее перед каждой клеткой, где ей было плохо видно. Она переживала все сильно, то есть молча, и не мешала мне пережить то, что я сейчас, такое немое, попытался как-то передать. Но вот еще в чем дело: она переживала другое, а что — наверняка не могу сказать. Во всяком случае, эти же звери, которые для меня в силу вдруг открывшейся мне печали их последности становились среди фанеры, лотков, заборов и клеток чем-то сливающимся по своей условности с жестяными их собратьями из тира, то для нее (дочки) эти же звери если и были



неправдоподобны, то как раз своей реальностью и жизнью. И когда я, увидев неподалеку от карусели жалкого вытертого пони, которого уж совсем было не отличить от карусельной лошади из папье-маше, сказал дочке с сомнением, как бы извиняясь за пони, что он такой: «Хочешь на пони?» — она вдруг так глубоко и старательно кивнула, так покраснела от страсти, что я понял: живой мир еще существует всерьез.

Не странно ли, что мы все больше производим книжек со сказками и картинками про зайцев, волков и лисиц, все больше надуваем рыбок, оленей и медвежат из резины, пластиков и ваты... И дети наши уже живут в мире, где зверей-игрушек в тысячи раз больше, чем зверей-зверей. Игрушки эти — уже не предмет первого знакомства и познания того, среди чего жить, они — предметы мифологии. И недалек тот день, когда сказочность басенного зверя — зайчика, волка, медведя — перерастет аллегорию и приобретет масштабность небывальщины: драконов и грифонов. И это так. Объективно говоря, зайчика ничуть не проще сделать, чем грифона, если его уже нет, зайчика... И жутковата мысль, что все наши игрушки и сказки — лишь пережиток другой, ушедшей от нас эпохи, когда добрые старые девы воспитания полагали, что через такие вот игры и забавы происходит в детской душе первый посев любви к ближнему.

**Запись последняя**

## **ЭПИГРАФ КО ВСЕМУ В ЦЕЛОМ**

С эпиграфами вообще странно: находят их всегда после, а ставят всегда перед...

Мой сокровенный, подкожный читатель, ознакомившись с рукописью, приносит мне раскрытую книгу:

«И все же мир — только простое колесо, равное самому себе по всей окружности; оно кажется нам необычайным потому только, что мы сами несемса вместе с ним». *Гёте, «Путешествие в Италию»*

Прекрасные слова! Как сказано...

Но я и не думал, что сказал что-нибудь новенькое...

1969—1970



**АЗАРТ**

*Изнанка  
путешествия*



*Смысл всего этого заключается в том, что бывает такое время, когда нечто находится в состоянии небытия, ибо время и материя предшествуют всему тому, существование чего имеет начало во времени...*

*Авиценна, «Книга спасения»*

---

## От автора

Хорошо придумывать то, что было, но невозможно сочинить то, чего не было. История наша будет проста. Она будет о том, как человек зря уехал, но зато вовремя вернулся. Нам могут сказать, что это — дело каждого и не имеет всеобщего значения... Действительно, так заведено: придавать общее значение вещам, как правило не имеющим места в жизни каждого, зато свойственное каждому — полагать частным случаем и не общим делом. И слава богу. Одни — пишут, а другие — живут. Мы с этим согласны.

Поразительно незачем об этом писать. Ну, прилетели вы даже, скажем, в самую Хиву — где в ней что написано? То, что мне надо написать о ней, — никак не в ней, а во мне. Зачем же возить то, что и так во мне, в такую далекую и напрасную Хиву с тем, чтобы это же и написать?

Бухгалтерия — вот муза дальних странствий! Амур Аванс, поражающий нас стрелою отчета...

Итак, мы просто вынуждены рассказать здесь историю о том, как человек впервые в жизни внял внутреннему голосу, отказавшись слушать голос рассудка, — и то едва успел. И, будучи вынуждены и, как всегда, не зная, с какого начала начать, мы в который раз убеждаемся, что самая правильная последовательность — та, которая была, потому что другой — не было.

Итак, сначала о том, кто поехал в Хиву, а потом уже о Хиве... Поскольку повествование от «я» делает нелепой такую постановку вопроса, мы охарактеризуем состояние самого себя, собирающегося в Хиву, несколько косвенно...

Итак, поговорим о времени, потому что о себе каждый знает.

Итак, поговорим о себе, потому что время говорит само за себя.

## I. ГОСТЬ

— Подлец! как ты посмел, чтобы тебя предали?! — вскричал Дон Амико Живи.

*Граф Ивелот, «Пирог печали»*

Я любил, я был любим... Невиданное счастье! Оно — не длилось. В ту же секунду я оказался охвачен тревогой, как пожаром. Нет, никаких видимых туч... Но, чем неосновательней, тем тревожней. Не может быть более неустойчивого и необеспеченного положения, чем когда все хорошо.

Раньше я был так легок на подъем!.. В любое время, в любую точку, в любую погоду — только предложите. «От Москвы до самых до окраин...» А теперь — страх. Я словно застыл в позе, в которой меня настигло счастье, и теперь боюсь шевельнуться, лишь бы ее не переменить.

И вот что я теперь себе скажу, прожив свои годы: чему стоило бы научиться, так это — отказываться. Не был я легок на подъем — просто ни разу не отказался.

— Если ты чувствуешь, как что-то сопротивляется в тебе, топорщится и не хочет никуда ехать, а хочет оставаться вот здесь, подле, что в крови гудит беспричинная тревога, хотя душа еще зрит, а не подозревает, — не думай, что глупо тревожиться без причины: есть тревога — будет и причина, а вот будет причина — то это уже и не тревога... Не думай, что не по-мужски принимать преждевременные меры, — оставайся-ка, брат, дома. — Так я себе сказал. Бесполезно!

Нет, ревность не бывает без причины! Хотя бы потому, что она и есть причина.

И нелепо думать, что конкурентов нет. Есть небо, погода, облачко какое-нибудь; есть внезапное, ни с того ни с сего, прекрасное самочувствие инотелесного, чем ты, человека; есть и другие соперники: например, повязанный дивным черным фартуком сапожник с прозрачными серыми глазами, с цыганщиной в кудрях и опасной улыбкой, который не возьмет с девочки денег за набойки; или — грузины, обучившиеся отсутствию наших недостатков; есть удачники, обучившиеся опыту твоих неудач и на фоне своих достижений так удивившиеся своему неполному телесному исчезновению, тому, что они еще что-то хотят и могут, что перед ними не устоять... потому что — стой или не стой перед ними — они поймут только так, что вы НЕ устояли, и пропрут пространство, всегда остающееся для них пустым, как некая новинка бесконкурентноопьяневшей техники — самодвижущийся забор.

Ах, этот тип! унизительно с ним бороться... Все-то он зовет стыкнуться в дворовом подвале, кажущемся ему дворцовым залом из-за отсутствия опыта в открытом мире и тупой принадлежности себе. Но — при чем тут твоя гордость? Пока ты ждешь достойного противника, тебя, высокомерно не придав тебе значения, победит недостойный. Да, любя женщину, не забывай о ней, не забывай того, что именно ты и полюбил в свое время: мало ли что произведет впечатление живого на живого? И твое время может стать не твоим... Ах, какой симптом! — и небо, и самочувствие, и облачко — весь тот мир, что прислуживал твоей любви, да и был ею, вдруг обретает отвратительную самостоятельность, твердую и неприкосновенную, неподвластную отдельность, и ровно то, что прислуживало любви, прислуживает и ревности!

Вот еще одно рыцарское соображение: не слишком ли хорошо мы о себе думаем? Получается, что мы лучше всех. Но, раз уж мы так полюбили, то не достоин ли наш предмет более достойной участи?..

Бесенок статистики нанесет последний удар по моей личности: а вдруг я пишу раз в год, люблю раз в семь лет и помираю один раз в жизни? По статистике жизнь дается человеку один раз — стоит ли так серьезно относиться к столь редкостному случаю?

«Хлопочешь ты, все хлопочешь, все к той бубновой рвешься, а между вами король трефовый, в ее сторону смотрит, вроде как отец, но не отец, начальник, по-видимому, препятствует он тебе, расстраивает какой-то твой план, какие-то у тебя тут дела, да, впрочем, все для тебя пустяки, ты семеришь, а мысли у тебя о другом, ждет тебя дорога, сначала маленькая — к ней, потом долгая — от нее; письмо, видишь? будет тебе письмо, удар то ли уже был, но ты о нем не знаешь, то ли будет, но так, не удар, а болезнь неопасная, вот если бы вниз острием пика была, то совсем плохо, а так — вверх, ну а потом — денежки получишь, правда, небольшие...»

Все так, все правда. Любопытно смотреть на людей, которым гадают... Такая выдавленная из себя снисходительная усмешечка, надутость, окаменелость, а внутри что-то голенькое и беззащитное мечется: у каждого, оказывается, есть, что болит, и есть, что никому нельзя показать, и то, что всем видно.

Вот и моя очередь подошла — мне гадают... Я сам себя так же вижу! словно это я же, небрежно прислонившись, застрял в дверном проеме — я уже прошел это испытание, меня отгадали — и теперь на себя же быстроватыми взглядами посматриваю и подмечаю мстительно неподвластные выражения своего надоевшего лица. Смотрите, как этот «я» все-таки усмехнулся, зная, что сейчас усмехнется! — и не избежал усмешки. Еще бы! «Ждет тебя дорога» — тоже мне проницательность...

Да не ждет она меня — езжу я по ней!

Какой милый, какой утерянный мир встает за устаревшим словарем гадалки! Так и видишь зимнее оконце, освещенное девичьим пением про догорай-лучину; кружево сумерек; заспанную теплоту времени, где проезжий — событие, случайный взгляд вызывает румянец, а ожидание есть обещание счастья, письмо — поворот судьбы, а дорога — потрясение жизни. Ах, в те времена маятник у ходиков болтался просто так, для окончательного довольства жизнью: мол, все у нас есть, даже время.

С временем сейчас хуже. Его нет. Время сейчас бывает разве в аэропорту. Когда самолет не летит. А он опять не летит.

И как это я ничего не боюсь? Летать хотя бы... Обнагел.. Какой-то защитной заслонки в сознании не

хватает. Ничего не боюсь, кроме, надо сказать, того, что со мной обязательно произойдет. Вот другие люди... Когда я слышу, как они обсуждают свои намерения и замыслы: купить не купить, пойти не пойти, сказать не сказать, — прежде всего становится ясно, как они боятся предпринять то, о чем говорят. Инстинктивный страх перед любым начинанием — признак нормального человека. Иногда я боюсь опоздать — но тогда начинаю поспевать и успеваю; возможно, еще немножко, и я стану бояться подниматься в воздух — но никогда не буду я бояться самолета потому, что на него можно опоздать. В этом моя ошибка и в этом же мое несчастье. Я создан начинать и не продолжать ничего — это ли не бесстрашие? То ли дело люди — страх для них и есть соблазн.

Время, что ли, такое? Надо бы его понять... Потрясающее во всем сопротивление. Уж если вы попросите, даже самое простое, — это уж точно нет. Зато о чем вы даже помечтать не могли — это пожалуйста. Дома, где жить, — нет, а в Хиву, за государственный счет, — пожалуйста. Как сказала одна милая женщина-африкановед: «Если вдруг в кондитерском отделе дадут сапоги, можете быть уверены, что это замечательные сапоги! И пироги в обувном — даже не спрашивайте, берите». Вот ведь: и лететь не хочется — все вещество мое воет, и самолет всю ночь не летит, — где бы понять, что все это намек судьбы, и не лететь, раз уж все так само мне подсказывает. Но тут-то, где надо, мне и изменяет фатализм, заменяется чистой неврастенией, и я оказываюсь неспособен истолковать эти водяные знаки пространства, принимая мелочность неудач за чистую монету.

Потому что я, не заметив, как и когда это произошло, вдруг уже испытал поражение, даже если ему еще только предстоит материализоваться. Иначе почему бы такая тоскливая бездарность снизошла на меня, такая образцовость, такое тупое и короткое следование правилам, а не жизни? Я сбился с ноги, потерял пульс, не улавливаю биение судьбы. И то, что я зарегистрировал билет, является уже приговором. И хотя сдать билет, вернуть командировку, сказать больным — все это такие доступные, такие осуществимые вещи, я ничего не произведу из этих правильных и естественных, ничем мне не угрожающих действий. Откуда такое рабство?



Что дороже и что дешевле: мое обещание безразличному человеку что-то о чем-то написать или моя любовь, авиабилет или жизнь? Получается, что жизнь и любовь дешевле сорока пяти рублей по безналичному расчету, — потрясающая невоспитанность! Очень плохое отношение к себе.

Плохое отношение к себе — совсем не хорошо. Оно попустительствует. Оно распущено. Оно разрешает не относиться к другим практически. Оно — очень плохо.

Так я мог себе говорить — это ничего не стоило. Самолеты не летели, зал ожидания — эта торба времени — переполнялся черненькими личинками времени, бескрылыми еще пассажирами. У них на пульсе тикали часы и что-то тикало в области сердца. Их личное время буксовало в нише замершего общего. Я это столько уже наблюдал и описывал — до полной потери непосредственности. Теперь я за это платил, разглядывая эти цитаты ожидания из самого себя, покрывался слоем позора, прозрачного для всех. Была тут, правда, и некая новинка для меня — телевизор. Был он периодически подвешен в бесконечности зала на недоступной для рук терпеливых неврастеников высоте. В нем вяло плавало расплывшееся изображение какого-то всеобщего танца. Но этот телевизор не обновлял мне аэропорт. Печальное чувство повторного круга жизни, кратной ее дробности все полнее овладевало мной. А там, всего в часе езды, дремало единственное мое повторение, никогда не кратное, никогда не дробное, — моя жизнь.

Я набирал этот код разлуки, будил. «Бедненький! приезжай...» Лучше не представлять себе этого надреманного тепла — я не приезжал, всего лишь за пять рублей на такси — не приезжал, так же как, когда мне сказали: «Не уезжай...» — уезжал всего лишь за сорок пять. Нищета — это ведь еще и бедность... У меня не было никаких оснований беспокоиться или подвергнуть сомнению возможность неистребимой любви к себе. Невыгодно показывать, как я теряю голову... Господи, в остальное от людей время я так бездарен! я такой и х человек, они так нашепывают мне свои кошмарные формулы — так ласково уговаривают не делать себе больно, не напрягаться; сам-то по себе я в такой их власти, что миф моей индивидуальности и самостоятельности — лишь форма оплаты моей зависимости. Мое са-

модовольное несчастье вешало трубку и отходило от телефона упругой походкой.

Сейчас мне кажется забавным, что растущее чувство тревоги и унижения казалось мне немужественным и постыдным, свидетельством бесхарактерности и слабости, а тупой идеал собранного и образцового человека, глухого к голосу своего сердца, — достойным подражания и следования. И я подражал. Да в одном том, что этот мой телефонный голос был терпеливо, без брезгливости выслушан, — есть такая вера, такое ожидание и такая надежда, что остается только удивляться благосклонности моей судьбы!

Спинки кресел, специально укороченные, чтобы не спать, чтобы голова отрывалась от безвольной шеи... так было и так будет! потому что удлинить спинки на недостающие сантиметры — значит признать саму возможность нелетной погоды, а она, товарищи, явление исключительное и нежелательное, с которым мы не можем посчитаться так же, как не считаемся с жизнью. Жизнь есть исключение. Допустимость нелетной погоды — это оппортунизм в деле Аэрофлота, этого так же не должно быть, как в жизни не должно быть измены и смерти. Не должно быть — значит, и не бывает. Вот почему не уснуть никак... К пяти утра, когда даже самого нервного и капризного сморил неудобный сон, были пущены в ход поломоечные машины: с остервенением и опаской, если не с ненавистью, накреньясь, как бурлаки, катали по залу тяжкие бомбежновоюющие тележки пожилые матери-одиночки. Легкие и тихие швабры, мирные мягкие опилки — мечта простая и недоступная, как старые добрые времена, проступала за героическими складками их окаменевших лиц. Пассажиры поднимали ноги.

Ах, эти средства связи, эта чрезвычайная возможность контактов, коммуникаций-информаций! Не говоря о государственных задачах — сколь расширили вы возможности личной жизни! Телефон, телеграф, самолет — это же слуги любви и ревности!.. Как обезврежена разлука: вы можете, находясь в разных уголках нашей необъятной родины, позвонить по автомату за пятнадцать копеек, так что, в случае секретности, можно даже развеять подозрения ревнивцев и скрыть, что вам звонят из другого города. Да что говорить! Можно, не поскупившись, сесть в самолет и даже прилететь на

субботу и воскресенье, помиловаться и назад поспеть к станку, к звонку. Как бы вы раньше, в другие-то, докоммуникабельные, времена умудрились бы поддерживать связь со своей любимой, если вас судьба поселила в разные уголки? Это непробудимый довод в пользу. Но только вот — судьбы бы такой у вас не было, вы бы не встретились, а если бы и встретились, то толковали по справедливости невозможность как судьбу и смирялись с нею. Только вот если б уж вы встретились, то, за отсутствием современных средств коммуникаций, просто схватили бы за руку и не отпускали, вы бы не разлучались — вот коммуникация, вот связи! — не отпустить свое счастье, потому что как потом его найти — затеряешься: семь пар железных башмаков и такое же количество тех же посохов... Так что современные средства коммуникации — это пособия не связи, а разлуки, да и информация — ложь, поскольку надо посмотреть в глаза.

Ах, все это мне напоминает рассуждение о том, что сейчас обыватель живет лучше средневекового короля, потому что пользуется санузлом.

Тем удивительнее, что не прошло и суток, как я приземлился в Ургенче.

Машины, которая меня ждала, не было. Я вдыхал азийские сумерки, стоя на дрянной фанерной площади. Было тепловато, густовато и темновато. Как будто бы пыль под ногами — толстым непотревоженным слоем — так мягко. Глуховатость после самолета очень пригодилась, она как бы принадлежала этому месту, как ватность и сумерки этого местечка. Была тут некая ватная изнанка прибытия... Я предавался детскому ощущению нового места, в котором ничего из того, что я чувствовал, не было.

Забронированный для меня номер был занят ревизором. «Корреспондент — тоже своего рода ревизор», — сказал я, обнаглев до отчаяния. Мне казалось, что я пустился во все тяжкие, раз говорю такое, но это-то как раз и было необходимой нормой. Номер-то, забронированный под ревизора, еще не был занят.

Но я уже отказался воспринимать сопротивление среды как продолжающуюся систему сигналов с моей звезды — я уже далеко заехал и должен был теперь

с этим считаться как с ненапрасным поступком своей жизни. Получалось это пока плохо, но я предпочел линию чистого неудачничества вместо осознания, что просто это не та линия.

Вот что меня удивит, когда я переступлю порог своего номера и бегло и бывало осмотрю его, исполняясь неточной тоскою позитивиста-неудачника: почему это именно я должен именно тут жить? Но, с другой стороны, именно тут буду жить именно я — вот что меня удивит. А ведь я командирован в Хиву не за тем, чтобы описать, что со мной здесь, в результате этой хирургии пространства, произойдет, а с тем, чтобы никогда не написать об этом. Что-то я никогда не читал, чтобы писали о том, что с ними произошло, — всегда о том, что происходило без них... Значит, сейчас я должен, искусственно и невозможно, построить свою жизнь так, чтобы стать свидетелем тому, в чем я не участник. Оригинально... Меня командировали лишь за юридическим правом подставить в текст, который должен быть, свежие географические и человеческие имена, а не за тем, что есть. Я должен приобщить неизвестное к известному в одном лишь качестве уже известного. Надо было так мучительно, так физически преодолевать пространство, чтобы сказать: я там был, командировка отмечена, — и подставить имена людей, минаретов и местностей... Так думал я, озирая свой номер, — он был подобен: в стране жаркой и пыльной надо было накрыть круглый стол синим панбархатом и поставить на него все тот же графин с мертвой водою, чтобы номер был «люкс».

«Ах нет! — сказал я себе в сердцах, пнув чемодан под кровать. — Мне все кажется, что раньше я лучше был. А раньше я еще хуже был».

## II. ХОЗЯИН

Удалимся под сень струй...

*Гоголь, «Ревизор»*

Да, раньше, лет десять назад, и не мудрено было быть лучше... Тогда я приехал в Среднюю Азию с не-растраченными образами детства. Мне достаточно было одного слова, чтобы за ним вставал не опыт, а образ.

Произнесу про себя магическое слово «базар», я — что бы ни предстало перед моими глазами, какая-нибудь мусорная дрянь — увижу я персидский ковер, тысячу и одну ночь и шемаханскую царицу; скажу себе «верблюды» — и передо мной не патологическое животное, а мифологический зверь; скажу себе «лагман» — и это не общепитовское варево, от которого страдает печень, а как бы даже не знаю что, некий черепаховый ананас. Правда, тогда мне можно было и ничего не показывать: из одного факта приобщения к этим словам рождался картина, которую не заслоняла никакая действительность. Теперь, впрочем, мне тоже можно ничего не показывать — и на берегу Индийского океана, в каких-нибудь там саваннах и сельвах, увижу я две трети голодающего человечества и подавлюсь ананасом.

Раньше, скажем, все было просто: насытив свой голодный и молодой механизм лепешкой с кок-чаем, садился я на попутку и ехал, куда она меня везла; теперь никак не найти, где пообедать: ресторан всего один, и готовят в нем оскорбительно, а чтобы достать машину...

Вот про доставание машин я теперь могу много рассказать. Пешком ходить быстрее и проще, но положение обязывает... Поэтому я живу не в Хиве, куда послан, а в тридцати километрах от нее, где гостиница лучше. Поэтому пешком я теперь хожу туда, где мне дают машину. Но вот как ее дают! Это тонкая и развитая церемония, изучению которой я посвящаю утренние лучшие часы. После полудня вы уже не достанете машину никогда. Не потому, что они в разъезде, а потому, что если человек целое утро достает машину и до сих пор не достал, то такому человеку можно ее и не давать, машину. Это не солидный человек. Первую свою машину я достал легко: Нияз Ниязович Ниязов долго сличал меня со словами «Москва», «спецкорреспондент» — и решил не рисковать, дал. Очень я запомнил этот его умный, печальный взгляд, его длину; эти красивые, влажные глаза терпеливого животного, два глаза — над двумя очень отдельными и белыми существами рук, с большой чистотой под ногтями широких, как клавиши, пальцев... Он посматривал с доброй грустью на их возню, пока решал про себя с машиной, горько и мягко улыбался и кивал, Размеры услуги росли, как лавина. Я не встре-

чал более отзывчивого человека. Но мне не удалось прибегнуть к его помощи вторично.

Да, и этого тоже со мной не было десять лет назад — проводников и сопровождающих. Все-таки я был лучше. Я был свободен. Свободен и от положения, которое обязывает. И от действительности, которой не знал.

У меня была еще надежда на некоторый свой опыт разочарования в разочаровании. То есть что Ургенч Ургенчем, а Хива меня потрясет своим несовпадением с моими представлениями, окажется прекрасной совсем в ином качестве и отобьет оскомину умозрительных совершенств... И пока мы катили туда на первой, удачливой машине Нияза Ниязовича Ниязова, я все стискивал свое сердце предчувствиями, массировал свои эмоции до юношеской гибкости. Но дорога была унылой, и пейзаж по сторонам ни к чему не располагал: это была плоская весенняя земля одинокого серого цвета, накрытая, несмотря на безоблачность, каким-то тусклым, седым небом, — она еще не зеленела всходами и не цвела. В ней, однако, не было ничего из той унылой и индивидуальной красоты тундры или степи, которую можно, при желании, углядеть, а потом утверждать, что полюбил всем сердцем эту неброскую, но щемящую красоту. Это была земля под хлопок, с отчасти недорытыми ирригационными канавами: вид развороченной земли тоже ничего не красил — это была земля под хлопок, и, по-видимому, другой функции у нее не было.

Ах, если б мне тогда подсказали, что эта пасмурность безоблачного неба, эта муть в пейзаже объясняются словом пустыня на горизонте, я бы вынул другие глаза! Но мне никто не помог словом... В общем, я утомился натаскивать себя на красоту и поэтому очутился в Хиве внезапно и с удовольствием. Это был город-городок, и пока мы по нему ехали, от окраины, похожей на разбитый кузов пылившего по ней грузовика, к центру, — городок все желтел и зеленел, веселел, и небо над ним становилось все чище и голубее. Можно было улыбнуться с облегчением.

Этот городок-халва  
Называется Хива.  
К чести города Хивы,  
Никакой в нем нет халвы.  
Минареты над Хивой...

и т. д., все падежи.

Вот когда я увидел первый минарет, то и небо вдруг сверкнуло чистым и глубоким цветом, словно осколок эмали вернул ему его идею и отражение осмысляет предмет. Так наконец мы проникли настолько внутрь города Хивы, что оказались в самой Хиве, той, что является ее красой и славой, той, что является Хивой для всех нехивинцев...

Мы прокатили вдоль стены городской крепости Ичан-Кала, повторяя ее вольные, как речные, изгибы. Стена эта очень красива и, полуразвалившаяся, имеет весьма почтенный и древний вид, хотя древней и не является. Вообще это было если не разочарование, то удивление: что древней, в нашем представлении, Хива отнюдь не является и основная часть заповедного архитектурного комплекса — это вторая половина XIX — начало XX века. Стена же — просто глиняная и тысячелетний вид приобрела почти что в наше время. Восстанавливать глиняный забор, не имеющий ценности архитектурного памятника, очень дорого, и однажды, скоро, она развалится навсегда — так оплывает под дождями и ветрами куча разрытой земли.

Примечательна Хива, оказывается, прежде всего не дряхлостью, а цельностью архитектурного комплекса. В границах крепости Ичан-Кала Хива сохранилась как старый мусульманский город, каких теперь не бывает. Как быстро уходит время умершего: только что был — и нет его... Так, первое, что заслоняет взор при входе на территорию заповедника, — толстенная обрубленная труба недостроенного минарета. Она выглядит не менее древней, не менее небывалой, чем прочие медресе и мавзолеи. Это должен был быть самый высокий минарет Хивы и чуть ли не всего мусульманского Востока. Однако верхняя, внезапно обрезанная, линия означала время — 1917 год.

Туристский сезон еле начался, к тому же, по моему распорядку, именно в этот день, конечно, был выходной, и было совершенно пусто. В конторе никого не было, и всех тех знатоков и специалистов, что в столбик были переписаны в моей книжечке, которые сообщат мне все, что мне понадобится (если бы я знал!), — всех этих людей тоже не было. На дверях медресе висели амбарные замки; редкий старик сидел на приступочке, задрав к солнцу слепую бородку; пробежало несколько школьни-

ков, помахивая портфелями и чуть галдя («старое и новое»), — в красных галстуках. Я шел один по узким улочкам, сличая небо с куполами и чистые песчаные плоскости стен — с солнцем. Так ровно, так точно работали здесь тень и свет, что можно было бы проходить уроки геометрии на улицах. По-видимому, тут довольно бурно велись реставрационные работы, и я подумал, что, может быть, таким новеньким этот город никогда не был. Таким новеньким и пустым. Я брел и неохотно населял эту пустоту гомоном прежней мусульманской жизни; по самым узким улицам, где солнце проводило осевую линию, деля их на очень темную тень и очень яркий свет, хотелось провести верблюда... не больше.

Воротца одного из медресе показались мне приотворенными, и я, любопытствуя, проскользнул туда. Тут размещался один из многих филиалов исторического музея, и сейчас там шла какая-то ревизия-просушка экспонатов. В центре пустого выметенного двора стояли два чучела — облезлого мелкого волка и цапли — как в басне. На меня замахали руками, загалдели, но я предъявил полномочия и был допущен, тем более что от пояснений отказался — мол, сам. Я обходил обширный двор по периметру, заглядывая по очереди в комнатки-ниши, назначение которых понимал, как потом выяснилось, неточно. С той зубовной тоской перед разного рода сведениями, которая, к сожалению ли, к счастью ли, застряла во мне со школьных лет, пытался я пополнить свое невежество. Внимание мое, впрочем, охотно застревало на разного рода предметах, весьма забавных: ручной фонарь ханского евнуха — копия фонаря Диогена, или поясной ремень военного министра, или пустые очки министра финансов... В промышленном отделе я заинтересовался горкой расплавившихся конфет-подушечек, продукции местной фабрики. И т. д., столь же безответственно. Как вдруг, заглянув в одну из ниш, я вздрогнул и отшатнулся: там, сложив ноги по-турецки, в чалме и халате, положив на колени отворенную книгу, сидел мертвый человек и вдумчиво, в себя, чуть улыбался. Тут кто-то легонько прикоснулся к моему плечу, я вскрикнул и обернулся — мне улыбался цветущего вида кудрявый молодец.

— Испугались? — ласково и доброжелательно сказал он. Мне стало очень неловко, что я испугался куклы из



папье-маше...— Действительно, муляжи у нас делают еще пока неважно. Настоящих художников нет. Это ученик медресе, — представил он мне куклу, — в такой обстановке он жил. — Обстановки, кажется, было — ковер и книга. — Заместитель директора заповедника Муслим Негудбаев, — представился он сам и крепко пожал мою руку.

Такой фамилии у меня в книжечке записано не было, но такой милый, доброжелательный человек — это было само везение, так давно, с кипящим бурунчиком огибавшее меня, как неживого...

— Очень, очень приятно! — кивал Негудбаев. — Я большой поклонник вашей газеты. Постоянный подписчик. Особенно шестнадцатой полосы! — он засмеялся. — Там недавно мне особенно одна шуточка понравилась... Помните? Оч-чень, очень остро, знаете ли. Смело. Неужели вы не читали? Я вам дам этот номер. Если не возражаете, тут вам больше смотреть нечего. Самое страшное вы уже видели! Ха-ха! Я вам сейчас еще кое-что покажу, — и под локоток меня, так мягко, так ровно!

Мне очень понравился этот Негудбаев, что-то было в его манере столь решительное, но и не навязчивое. Он был жизнерадостен — вот что! Жизнь в нем была отсутствующим во мне ключом. Ему все было любопытно, все интересно, даже я.

— Сегодня и неудачный и удачный для вас день. С одной стороны, никого нет, кто вам нужен, но с другой — никого нет, кто вам не нужен. Зато я вам кое-что могу показать...

Достав из кармана сразу нужный ключ, он отпер какую-то боковушку, и мы вошли в узкое и даже не длинное помещенье: маленькие оконца были в решетку...

— Это знаменитый Зиндан. Тут, так сказать, томились...

— Совсем небольшое помещение, — удивился я. — Неужели так мало было преступников?

— В те времена подолгу не засиживались, — сказал он и сделал выразительное и веселое движение рукой, намекающее на кол.

— Да, да, — сказал он, с удовлетворением осмотрев мой ужас. — Недопустимые методы... А надо сказать, при Алакула-хаче...

И он немножко ввел меня в курс ханского судопроизводства.

Мы еще вот куда с ним зашли, в Джума-мечеть, XVIII век. Джума — это пятница, то есть не воскресенье и не суббота. Что ж, мусульмане... тут ничего не поделаешь: пятница, хиджра, серп — это тоже вам не крест.

Что я могу сказать о мечети? Это было совсем не то, что я себе представлял как мечеть. Скорее, она походила на медресе. Выходит, и о медресе я имел неточное представление... Джума-мечеть была похожа на большой крытый двор, а когда вы входили внутрь, то — на подвал, поскольку потолок был невысок, а окон не было. Тут и пахло подвалом. Подвал этот отличался огромной площадью, и, чтобы держалась его такая плоская и обширная крыша, по всей площади было распределено более двухсот деревянных резных колонн. Так что мечеть напоминала еще и шахту, где пласт вырабатывается во всю ширину и крепится стойками от обвала. Это чувство подземности было неоправданным, но безусловным, хотя мы и находились ровно на земной поверхности и под ногами была земля.

Джума-мечеть — из самых крупных: в ней одновременно могло молиться не помню точно сейчас сколько, но очень много человек — не меньше, чем в большом современном кинотеатре. Убранство мечети было необычайно просто — никакого убранства. Серая каменная некая купель в центре и колонны, резьба которых кружевна и необычайно искусна. Эти колонны — история и гордость храма, тринадцать из них были девятого века. Я их потрогал, эту тысячу лет.

День для посещения оказался очень примечательным, первым. Вчера мечеть освободили от мебели. Здесь был склад горторга. Сегодня, уже при мне, выметали последнюю кучу сора. «На семи машинах мусор вывозили!» — сказал старик, любовно выметавший остатки. Стучали топорами плотники, устанавливая столбы на место недостающих колонн. Когда мы выходили, я заметил у дверей последние остатки горторга: несколько спинков от никелированных кроватей, что с шишечками... Каждая ножка была забинтована промасленной бумажкой. Прислонены они были к резной колонне девятого века, ни во что не обернутой.

— Так у нас тут все — одни склады! — сказал Не-

гудбаев. — Горторг — это проблема заповедника. Вы бы о ней написали. Есть решение освободить территорию от складов, а хранить все равно негде. С тех пор как началась антирелигиозная пропаганда, горторг ни одного склада не построил.

— А раньше-то где хранили? — вслух подумал я.

— Когда палка в землю втыкается, куда земля девается? — шутил Негудбаев.

Поговорили об Алакула-хане.

После темноты мечети нас ослепило солнце, мы рассмеялись — ни с того ни с сего обозначилась перемена и что-то кончилось. Оказалось, что нам тут больше делать нечего, Негудбаев все осмотрел, что ему было надо. И мы пошли, пошли, миновали обрезанный минарет...

Тут нас нагнал оборванный мальчик, мягко говоря, загорелый до черноты. Был он бос и смел. Он рассказывал свой взволнованный рассказ так быстро, так по-узбекски... Негудбаев посуровел.

— Безобразие... — сказал он. — Молодец, Аман! Это один из наших дозорных, — пояснил он мне. — Его территория — колхоз имени Дзержинского. У него отец рыбац. Недавно помер... Аман! — И он спросил его по-узбекски.

— Помер тринадцатого февраля, говорит... Хороший мальчик. Беги! — он ласково подтолкнул Амана, и тот побежал. — Между прочим, дядя его отца был писарем хана. Он еще жив.

— А в чем дело-то?..

— Там у них по соседству дворец Палван-бея, так они оттуда резные колонны работы народных мастеров растащили на столбы в хлопкосушилке. А вот и хорошо, мы у них реквизируем и в Джума-мечеть приспособим...

И мы вышли из крепости.

\* \* \*

Вот момент, когда неверующий чувствует, что вера отцов ему все-таки ближе, — любопытен. Это чужестранное чувство: православный я все-таки оттого, что совсем, наверняка, абсолютно НЕ мусульманин. Я все это не только не знал, не понимал, но и не хотел знать. Я не верил в эту модель мира — она была для меня

макетом: здесь только кино снимать. И когда я образно подумал-усмехнулся, что ничего этого на самом деле нет: ни минаретов, ни мавзолеев, ни медресе, ни мечетей — все лишь фанера да картон, декорации... тут-то я и увидел, что уголок изразцового прекрасного голубого орнамента на портале одного медресе как-то странно заворачивается трубочкой. Что это? что это! — забормотал я и подбежал потрогать: это был картон. На нем кое-как, с подтеками, был нарисован орнамент. Картон отставал от стены и сворачивался трубочкой.

— Тут кино недавно снимали, — спокойно и не удивляясь пояснил Негудбаев. — Ну да, — добавил он, заметив, что я не вполне понял, — с изразцами у нас плохо, это самые сложные реставрационные работы, в последнюю очередь... Вот и нарисовали, чтобы все было в порядке, для кино.

И отметив один раз этот загнувшийся уголок, обнаживший бутафорскую сущность чуждого и невозможного для меня мира, я и потом, и все чаще, то там, то сям стал отмечать отстающие листы фанеры, картона, а то даже обыкновенная бумага скручивалась в трубочку на солнце. От этой материализованной нереальности все стало для меня немножко более реальным и приемлемым.

\* \* \*

Входить куда-либо в «особенное» стоит хотя бы для последующего выхода в «нормальное»... Мы вышли из крепости — и все как-то расширилось, отворилось, вздохнуло: милее стал сор и вздор ларьков, мазанок, телег и толчен.

— Пройдемте так, — сказал Негудбаев, и я последовал не усомнившись. Падало что-то вроде площади — вниз, и налево, и вбок... — Сюда, пожалуйста.

Он пропустил меня вперед. Мы прошли узкий кривой проходик между пухлыми глиняными домишками: парикмахерская напротив фотографии... два истомленных бездельем мастера стояли под своими вывесками. Они поклонились Негудбаеву, чуть не коснувшись лбами («Обратите внимание на парикмахера, — незаметно шепнул Негудбаев. — Я вам потом расскажу...»); мы прошли между ними — и открылся внезапный просторчик, почему-то очень не вязавшийся с возможностью своего

здесь нахождения, — водоем, пруд. Какие-то куши, вроде ив, квадратная гладь с зеленцой, лодочка, цветная, как поплавок удочки, молчащий фонтан посреди пруда и некая терраса в дальней стороне пруда, вроде плавучего ресторанчика, — все это нормально было для России, какого-нибудь парка культуры, и весьма странно выглядело тут, на границе пустыни, подмышкой старинной выжженной крепости Ичан-Кала.

Негудбаев молчал, любясь произведенным эффектом, его черные круглые глаза смотрели из него, как очень шустрые и любопытные зверьки-грызуны с гладким и сытым мехом.

— Оазис... — сказал я.

Он радостно закивал.

— Почистить бы не мешало... — по-хозяйски сказал он, предполагая за меня, какие тут могли быть недостатки, в этом раю.

— Да нет, так еще лучше! — уговаривал его я.

— Осторожно, не закрутитесь, — легким прикосновением руки поправлял он мое движение.

Действительно, низкий заборчик, огораживавший пруд, перекрашивался весело в новый цвет, и голубые планочки были уже покрашены, а белые — только начаты... Навстречу нам спешил большой черный человек с мрачным изрытым лицом, и зверское выражение его лица означало, что было почему-то ясно, высшую форму радушия.

— Вот, знакомьтесь, директор предприятия, инициатор этого доброго начинания... Верите ли, если бы не он, ничего бы здесь не было. Все сам, все своими руками, за каких-нибудь три месяца...

Директор не сомневался в этом.

И пока мы сидели за лучшим для наблюдения столиком в ожидании каких-то фирменных клецок, в которых все наоборот: тесто вокруг мяса в середине яйца, — пока я хвалил и любовался, потому что отсюда был еще и вид на стену Ичан-Калы, из-за которой выглядывала пузырьком угловой башенки Кальта-Минора, пока он мне рассказывал, что парикмахер («Да, да! Такое доброе лицо», — кивнул я) — родственник ханского палача, большой любитель старины, оказал большую помощь музею...

— Немцы... — вдруг прошептал Негудбаев низким

шепотом и плавно наклонился ко мне, как цветок под дуновением ветерка. — Первые ласточки...

И, отклонившись, долговато взглянув на меня, про-  
барабанил пальцами по колену.

На террасу скользнули две немолодые пары, ожив-  
ленно щебеча кинокамерами.

— Наши или западные? — спросил я.

— Вы что, не видите? — снисходительно сказал Негуд-  
баев. — Вы не узнаете в нем оберштурмбанфюрера?

Узнать было можно. Он шел впереди, высокий, не-  
правдоподобной выправки человек. Это был глубокий  
старец с моложавым лицом и без единого седого волоса.  
Походка его напоминала одновременно строевой чекан-  
ный шаг и поступь паралитика — походка командора.  
Глубокие складки арийского мужества придавали его  
лицу львиность.

— Да, — сказал я, — величественный идиот. У него  
недавно был инсульт?

— Как вы догадались? — обрадовался Негудбаев.

Я не знал как, поэтому многозначительно пожал пле-  
чами.

— А как вы?

— Ну, я-то военного человека за версту узнаю...

— Вы что, тоже военный? — так же склонившись  
к нему, как цветок, тихо спросил я.

— Да, — подумав, согласился Негудбаев. — Был, ко-  
нечно. Майор.

— Ага... — сказал я. — Вообще-то я про инсульт спра-  
шивал...

— А-а... Вот вы о чем. Так про инсульт я просто  
знаю. Тут тайны нет. Он к нам еще в прошлом году  
собирался. Да не приехал. По болезни.

— Он что, разведчик?.. — с детским замиранием спро-  
сил я.

— С чего вы взяли? — возмутился Негудбаев. — Он  
историк.

— А вы теперь тоже историк?

— Нет же, я вам сказал, что у меня военное обра-  
зование.

Директор принес нам фирменных племяшей формен-  
ных беляшей.

Негудбаев поманил его пальцем и шепнул. Тот кив-  
нул.

И, начав с мальчишеской струйки, взыграл фонтанный апофеоз, ствол... Немцы зааплодировали. Выглянул из-за косяка бандит-директор: так ли у него получилось? — и скрылся. Теперь фонтан расцвел в три концентрических круга лепестков: наружные — слабее внутренних так, что последний — совсем завял. Запахло мелкой водой — легкая брызга достигала. Светлые струи шелестели вверху, как ангелы, и, падая, переговаривались с водою. Вид на Ичан-Калу дрожал за радужной завесой...

Немцы были вынуждены пересесть поближе к нам: все было немножко не рассчитано или так рассчитано, что, после аплодисментов, до них достигло и дошло. Дамы накинули на плечи жакетки с видом зябкости плеч. Палуба темнела у перил, промокая. Немцы пересели, и их стало хорошо слышно.

— Вы знаете немецкий?

— Зачем? — Негудбаев недоуменно пожал плечами. Нам подали еще чайничек с кок-чаем.

Мы беседовали под сенью струй.

— Из немцев я больше всего Бёлля люблю, — сказал Негудбаев. — А из англичан — Грина.

Я слушал с большим вниманием.

— Ну, а как там наш Евтушенко? — спрашивал он. Немцы его будто не интересовали больше...

— Ну, а что Шолохов? — спрашивал он, живо интересуясь.

Теперь мы обсуждали отказ Сартра от Нобелевской премии.

Вид на Ичан-Калу дрожал за радужной завесой...

### III. ПАРАДЫ

Умеющий шагать не оставляет следов.

*Восточная мудрость*

Негудбаев объявился у меня в номере, как солнце. Он обозначил утро, восход, ранние лучи, бодрость и прохладу. С площади доносились нестройные звуки юности. То пионеры маршировали и репетировали. Фальшиво, избегая верных нот, дул горнист, никак не мог попасть себе в ногу барабанщик. Подготовка к окончанию учебного года шла полным ходом. Среднеазиатские

воробьи чирикали звонче и охотнее наших. Мне захотелось сделать зарядку, так свеж, как бы в капельках воды, был Негудбаев. Но мне не пришлось ее делать.

— Ах вы соня!.. — ласково журил Негудбаев. — Все спите. Собирайтесь-ка по-военному, ать-два!

Я вздрогнул.

— Что я такого сделал? — кисло пошутил я.

— Вы еще не были в хлопководческом колхозе! Сами вчера признались... — твердо и ласково сказал Негудбаев.

— Не был! — воскликнул я. — Не был!

— Сейчас мы туда поедem. Надо поздравить одного человека.

— Колхоз-миллионер? — Это было единственное, что я мог спросить по такому поводу.

— Зачем — миллионер... Просто богатый колхоз.

У Негудбаева с машинами трудностей не возникало. Мы ехали.

Поздравить надо было, как я постепенно выяснил, председателя колхоза: он сегодня защитил диссертацию на степень кандидата сельхознаук.

Это был классический «маяк» — я еще классических не видел, — мне любопытно было взглянуть на миф воочию. Я был настроен скептически. Но я и не предполагал, насколько я не прав!..

Те же поля по сторонам, пустые и некрасивые... За машиной гналась стена пыли. В который раз защемило сердце, будто, отлетев от своей любви на несколько тысяч километров, я снова уезжал от нее, еще дальше километров на двадцать, еще невозвратней... Я удалялся теперь от почтамта, вдоль дороги скучно повторялись телефонные столбы — я так вчера и не услышал ее по этой проволоке: скрип, треск, нет дома, не туда попал... Мы свернули в поле и уперлись в забор. Отокнув сплошные ворота, мы попали в огороженную жизнь: тут было зелено и прохладно. Журчал арык, над дорожкой, красно посыпанной битым кирпичом, на ажурной решеточке вился виноград, образуя нам тень. Перед правлением колхоза, под навесиком, на топчанах сидели темнолицые дехкане и пили свой кок-чай без лепешки — род чайханы-ожидашни. Они внимательно, но не пристально смотрели на нас, не отрываясь и как-то в то же время не разглядывая. Негудбаев спросил — нам показали, куда.



Это здание мне не удавалось истолковать... Оно начиналось как бы служебным помещением, конторой, дежурностью и бедностью обстановки; потом становилось как бы отдельными кабинетиками, с канцелярской обстановкой возрастающей ценности, — и вдруг вы оказывались в пышной домашней обстановке, в каком-то еще более внутреннем и более фруктовом дворе, среди ковров и трав, под сенью застекленных и распахнутых настежь террас, где солнышко, проходя сквозь фильтры листвы, преломившись в плоскостях террасных надраенных стеклышек, нисходило уже свеженьким и прохладным, для подчеркивания чистоты, надраенности и отскобленности всего этого постепенно и плавно возросшего, начиная с убогой конторы: полов, перешедших в паркет, и окон, развившихся в витражи, радиоточек, увеличившихся до цветных телевизоров, и марлевых занавесочек, эволюционировавших в знаменитое искусство ковроткачества.

Нас не ждали. Высокий полный человек торопливо поднялся от доски с нардами, от маленького и худенького своего партнера, замершего в этот миг во времени, — поднялся к нам и смутился. Был он бос, в галифе, из-под майки стекали белые пухлые плечи. Они обрадовались с Негудбаевым друг другу, и мы были представлены. Некий микроскопический кивок нашего хозяина пробудил во времени его партнера в нарды, и тот тоже был представлен как секретарь. Торопливо и скромно подав нам сухую нежмущую ладошку, он исчез.

Мы стояли на открытой террасе, лицом в сад, имея справа и слева еще по большой террасе-комнате. Мы стояли около правой, левая была вдали, как бы на вытянутой руке. Там сидели в кружок женщины на таком расстоянии, что нельзя было отличить старую от молодой. Насколько можно было судить, наше появление было ими никак не отмечено, и тем не менее хозяин тут же проводил нас — три ступеньки вверх — на правую, «мужскую», террасу, и двери за нами закрылись. Оставив туфли у ступенек, неуверенно ступая по толстому ковру, я оказался в той обстановке, где не было места обуви и женщинам...

Пока я приобщал сервант к телевизору, а ковры и пуфики к четырем красным пятиконечным крупным звездам, старательно и самодеятельно нарисованным в уг-

лах-потолка, — хозяин обулся в носки и надел подходящий к галифе френч. Я представил его себе выходящим ранним утром, с образцовым восходом на фоне, на хлопковые его нивы — он вписывался, он сошел с картины. Господи! ведь всякий пейзаж — существует! — даже такой, в который я и не верил никогда, что он есть, который представлялся мне фантастическим уже в силу убожества художественного воображения живописца, — так этот пейзаж тем более есть: вот он, — природа предусмотрела все, любой прообраз...

И пейзаж его лица напоминал то некрасивое, но полезное, многогрозившее поле. Лицо его было отечно, бледно, изрыто, устало. Он был раздражен усталостью: к сегодняшнему дню наука была наконец пройдена. С наукой было покончено, начиналась степень кандидата — и это еще не отступившее напряжение, но и не подвластное уже расслабление, эта одновременность усталости лежала в ямках его изрытого лица теньями власти и раздражительности. Все это, однако, можно было лишь заподозрить, но не доказать: по европейским нормам он держался прекрасно и любезно, по восточным — был вне себя, возможно.

Ему, как говорится, только нас сегодня не хватало. И если с Негудбаевым у него еще были тайные для меня, за языковым барьером, темы, то я был не годен для употребления, и он не мог примирить мой вид с моим мандатом — он не верил, он был умный человек.

Вернулся секретарь, партнер по нардам, внес кокчай и лепешку — тут хоть появилось занятие, ритуал, всем стало более по себе: ополаскивание пиалы, обряд преломления лепешки...

Как описать то впечатление ума, которое произвел на меня хозяин? Это был ум, в котором я не имел опыта и ничего не понимал. Это был ум, имевший силу и не имевший родства с моим. Другой ум для него не существовал и потому был непонятен, или наоборот. Он упрочался в своем уме. Он был скрыт от меня: он был за френчем до верхней пуговицы, за сонным падением опухших век, он был за взглядом, то длинным, то коротким, который каждый раз устанавливал новую связь для себя, что можно было заметить по стремительному удлинению, как уколу, и внезапному укорочению, захлопнутости, усталому опусканию век — выводу. Взгляд

этот не выдавал себя никакой эмоцией, он выдавал себя — силой. Силой того, что тебя видят только так, как видят, не иначе, силой окончательности и резкости видения в собственном лишь представлении. Обжалованию не подлежало. Я представил себе крепость его правления, оправданного выгодой государства и пользой среднестатистического труженика, и поежился. Цели его были мне неясны, но те, которые я мог представить, были лишь средствами еще одной, его цели. Все то, что я у других считал за цели, тут было лишь средством: и польза, и выгода, и кандидатская степень. Вот, подумал я, человек, для которого средством является то, что для других является целью, — он и занимает более высокое положение, так правильно. И неизвестна никогда цель вышестоящего нижестоящему, понять ее — это пройти к ним. Это было для меня за семью печатями, и я занялся более легкими и более пластическими наблюдениями: за медленным и плавным развитием стола, зарождением пира...

Сначала не было ничего, и неизвестно, что было с этим делать, я не был посвящен в тайну предстоящего времени, — можно было подумать, что так и надо: посидим, поговорят еще хозяин с Негудбаевым, и пойдем. И был кок-чай, и была лепешка, час второй. Можно было подумать, что это все: чай для вежливости попьем — и домой. Сколько хотел хозяин про меня понять, столько он уже понял; сколько я мог про него понять, я тоже понял; с Негудбаевым же они давно знакомы. Но тут появлялся секретарь и вносил редис и лук, час третий. Это было, по-видимому, к лепешке, я укусил редиску, но оказался в этом одинок. Снова появлялся секретарь — после него около ножки стола остался стоять армянский коньяк и боржоми. Хозяин бровью не повел, и мы не повели: стоит себе и стоит около ножки, никому не мешает — бывает...

Каждый раз время замирало так надолго, что казалось, столько, сколько в него поместилось, — поместилось уже навсегда. Тут-то и намечалось небольшое прибавление, намек на развитие, и опять все замирало навсегда. Я не мог обнаружить логики и связи, потому что существовал в своем, быстротекущем времени, а на скорости, свойственной этой террасе, все процессы, имеющие для меня логику, замирали, прерывались и пере-

ставали существовать. И вот, когда я совсем уже переставал понимать, чего мы ждем, — входило дымящееся, волшебное, тугое облако, райский аромат: врывалось огромное блюдо, за ним, откинувшись всем корпусом назад, чуть видимый из-за дымящейся горы, с дрожащим, как мираж, за горячей завесой испарений лицом, — секретарь в носочках. И был то плов — венец творения. И сказал господь: хорошо.

На место стали и редис, и лук, и коньяк. И мы. И входил новый гость...

Он являл некую противоположность глиняной суровости нашего хозяина — такой лощеный, элегантный, с лысиной на пробор, похожий на министра внутренних дел какого-нибудь красивого шаха. Это был сосед, председатель соседнего колхоза; тоже заехал поздравить с защитой. Провозгласили — чокнулись. Но этого было мало — вот что оказалось: он заехал поздравить своего друга, — то-то такой нарядный! — получив орден, прямо с церемонии вручения. Не может быть! Столько радостных событий! У разных людей! Одновременно! Я бы не поверил. Но вот они, эти глаза, которые были тому свидетелем. Наш гость скромно принял наши поздравления. Вот что стало в связи с этим предметом нашего обсуждения, в которое сочли возможным посвятить и меня: почему так вышло, что только и всего лишь этот орден, а не более высокий? Ведь должен же был наш друг получить его, был представлен!.. Да... — покивали, поскользнулись мы.

— Зато, — сказал я, все поняв, чтобы его утешить, — это самый новый орден.

С этим нельзя было не согласиться.

— Таких кавалеров пока меньше всего, — примиренчески сказал я.

— У него тоже есть, — сказал новоиспеченный кавалер.

Я взглянул на хозяина — тот кивнул, не отрицал.

— Да, обидно... — сдался я. — Обидно, что не Звезде...

— Звезде тоже получим, — бесспорно сказал Негудбаев.

Никто не возражал. То ли от скромности, то ли от того, что он был прав.

— Покажите, я никогда не видел, — попросил я, довольно-таки по-детски.

Тот охотно достал коробочку.

Волнуясь, торопливо оттирал я руки от плова — и все мне казалось: недостаточно. И вот, бережно, как бы пытаясь уменьшить прикосновение ладони, держал я высокую награду, которой никогда до сих пор не видел, которой не заслужил...

Тихо плыл наш пир и развивалась беседа. Но только наш разговор коснулся порядков при Алакула-хане, только мы заметно оживились, коснувшись приятной темы многоженства, как появился новый гость, тоже сосед, тоже поздравить. Директор соседней стройки, бывший агроном. Друг общий. Этот был помоложе, попроще на вид, похожий на героя среднего производственного романа тридцатых годов. Он поздравил с защитой и поздравил с орденом, но и его, оказалось, надо поздравить, потому что он только прилетел из Ташкента, защитив наконец диплом в Строительном институте. Я чокнулся с ним с особым вдохновением: это было уже слишком! Если бы я прочел об этом в романе в некоем толстом журнале — еще куда ни шло. Ну, подумал бы я, дядя зарабатывает деньги... Но я этот апофеоз видел своими глазами. И если выше я восклицал о пейзаже, что любой найдется в природе, если он только мог быть кем-либо вообразен, то теперь мог заключить то же самое и о житейских ситуациях: все существует, что ни наври и из любых побуждений, — всему найдется место, хотя бы в качестве исключения, частного или редкого случая. Да, подумал я, необязательно именно моим глазам принадлежит реальность, другие — тоже видят, свою...

Я-то теперь и свою не видел. Я спросил хозяина, случается ли ему говорить с Москвой. Он кивнул. Я спросил, как же он с нею связывается. Он чуть ткнул властно-пухлым пальцем на аппарат-рояль, покоившийся на почетном, шитом золотом пуфе. Я облизал пересохшие губы: разные вещи имели мы в виду под словом «Москва». Так я сидел, облизываясь, как самоубийца, с незримым телефонным проводом на шее, сидел и сидел...

Этим парадом трех передовых представителей современного Узбекистана и закончился этот теплый дружеский вечер, который я вспоминал наутро, проснувшись в своем номере в Ургенче.

## IV. ИГРА

Не очко меня сгубило, а к одиннадцати — туз!

*Карточная поговорка*

И был первый по-настоящему жаркий день... Воскресенье. Голова и легкое расстройство от обильной вчерашней трапезы давали о себе знать. В номере не шла вода. Было душно. Духовая музыка доносилась из жары за окном.

Я вышел на балкон, и если остыть было невозможно, то хоть мгновенно просох. На площади тренировались в парадном марше милиционеры. Их строй был пестр, сине-сер: не все счастливы, не все еще перешли на новую, дипломатическую, форму — маренго. Синие были из районов. Шел всеобластной слет хорезмской милиции.

Нестройные пионерские парады, значит, уже прошли... Миновали, как утренняя свежесть.

Впечатления и развлечения двух дней, отодвинувшие было ту смуту предчувствий, что сопровождали мой сюда прилет, теперь от жаркой отечности и потности утра — какого утра! знал бы я, что часы стоят — полудня, — навалились на меня с отдохнувшей за эти два дня силой. Да что это я! где это, к чему?.. когда там сейчас...

Тошно было и неуютно. Спасительной живой опеки Негудбаева не было рядом, чтобы снова не заметить в углу свою брошенную, но верную мне, несчастную жизнь, которая из разлитой в свое время, поскользнувшись, субстанции все более обретала вытянутую форму судьбы.

«М-да,—думал я, стонал и крикал. — Дожил... Эх... Да что говорить! О господи! Куда уж там. Ну да ладно!»

Шел пить кефир. Это еще было спасение, что по утрам здесь мог быть кефир... Что же дальше? В киоске Союзпечати приобрел набор красочных открыток с видами Хивы, чтобы рассмотреть, где я был. На обложке набора было написано трижды, на трех, по всей видимости, языках: ХИВА, ХИВА и KHIVA, — значит, порусски, по-узбекски и по-иностранному... или, может, наоборот — по-узбекски, а потом по-русски? Буква Х (ха) ведь, кроме всего, еще может означать «ИКС». КСИ-

ВА — прочел я тогда первую надпись. Голова, по-видимому, еще неотчетливо соображала. Или кефир с жарой?.. Утренние эффекты были тяжеловаты. На базар, на базар! Там и пиво, может, найдется...

Базар! — вдохновила меня эта идея. Так я себя когда-то убедил, с чьих-то слов, что базар — это жизнь, это проза, это правда, — так и сейчас надеялся... Вся, мол, эта муть моего сбившегося с ноги самочувствия жизни — обретет, ведь обретет! и станет! И жара, и мигрень, и эти тени на живой еще пока, в мае, траве... Но не было и строчки прозы в моем одутловато-сосудистом самочувствии, в мутной, крутой волне, поднимавшейся вместе с кефиром со вчерашнего дна... Мигрень-траве... мой истощенный мозг подбирал уже с полу и то ронял. Плюшкинское чувство бездарности владело мною. Запомнить, не забыть, увидеть — повелительное наклонение слепца. Деталь! ни одной детали не наблюдалось в мире: он был справедливо слит воедино, расплавленный жарой в студень заварной жизни. Я отступал перед ее плотностью. «Уж если я не увижу базара, то я ничего не увижу», — приговаривал себя я, как проигравшийся игрок, рассчитывая на последнюю ставку... Ах, если бы я знал тогда, сколько опережающей правды содержится в этом моем сегодняшнем проходном сравнении по отношению к тому, что меня тогда поджидало!..

Базара я не увидел.

Поднявшийся с полудня раскаленный ветер гнал пыль и мусор вдоль пустых прилавков, скручиваясь в смерчки на перекрестках рядов. Одинокая капуста у одиноких же, безнадежных, торговцев серебрилась пыльно и голубовато; кочан — не образ ли одиночества? Горстка мятой клубники по 4 р. кг — в Москве дешевле... Кран зеленый над неровной и осклизлой, похожей на обмылок хозяйственного мыла чашей — напоминал о холере. Мать приподняла своего чумазого сыночка, поставила на край чаши, и он слизывал набегавшие с крана капли — вода не шла. Старик, торговавший клубникой, смотрел на мальчика и тоже хотел пить: наливал себе в пиалку остывшего кок-чая из старого щербатенького чайничка с медным луженым носиком на месте былого отбитого. И эта тщательность нищеты и вечность жизни предметов напоминала об уходящих

ремеслах базара: ремонт битой посуды специальными медными скрепочками, очень аккуратно (я еще помнил этих базарных мастеров со времен эвакуации), — теперь, пожалуй, разве что только этот старик знал последнего такого же, как он, старика, и тот вспомнил свое мастерство по дружбе...

Этот сифилитический чайничек — деталь моего треснутого мира, подобие, укол — задел меня за неживое куда больней!.. Пива не было, конечно. Я побрел по этой пыльной пустыне прочь с тем чувством, что и разочарованием-то называть нельзя. И тут, на улице, взгляд мой, которого я уже и не поднимал, споткнулся и вздрогнул, как от удара: на тротуаре, на сером и тусклом фоне засохшей и пыльной грязи, стоял ярко-оранжевый, с переливом по краю, огромный эмалированный таз, полный весенних азиатских роз! Они плавали в тазу, покрыв поверхность воды сплошным слоем, — не было зрелища прекраснее и страшнее! Это были отрубленные головы роз, какая-то сюрреалистическая язва базара. Это было страшно, как распоротое брюхо... не знаю уж, что со мной творилось, — я поспешно отвел глаза, как от несчастного случая... и то, что я увидел отшатнувшимся взглядом, — и было целью моего путешествия, во всяком случае, его средоточием, — впрочем, я еще не знал об этом — я видел пока лишь небольшую группу спин, сгрудившихся вокруг чего-то, о чем я только еще через минуту, решившись на любопытство, отчаюсь иметь представление... Никак я не знал, что, отвергая намеки и знаки своей судьбы, не замечая холодненьких уколов моей звезды, погасшей, быть может, и очень давно, но еще славшей мне свой когда-то бывший свет; отрицая томление предчувствий и не находя в своей жизни еще раковых намеков на рок, на поражение, тупо сопротивляющийся очевидности, был я подтолкнут мелкими, доступными судьбе, незаметными движениями повседневных неудачек именно к этому мгновению, к этой точке пространства, точке воссоединения со своей судьбой.

Вот вам отбитый носик чайничка и розы в тазу... пусть это и будет — базар и жара. Бедностью деталей и обозначим бедность и подойдем вместе со мною к толпе...

— Кто еще? Последняя карточка! Кто еще?..



Так выкликал парень, которого я увидел первым из всей толпы (он и оказался первым), потом уже, время спустя, разглядел я его напарника, более суетливо и смазанно, и затем лишь — толпу, большинство, частью которого являлся сам. Была в этом парне для меня необъяснимая притягательность: что-то забытое, из детства, когда нравится (род влюбленности) старший — какая-то надежность, прочность и возможность дружбы, несмотря на столь значительную разность в возрасте (это, конечно, было в нем, и я мог вспомнить такое детское чувство и узнать его — только теперь этот парень, герой детства, был младше меня). Блатные, их младшенькие «кореша», послевоенность... В общем, он мне нравился. Это чувство тем более было приятно, что давно уже его не бывало: те, кто нравился в детстве, выстарелись и потеряли тот шик, а новые — стали соперниками. Парень обращал на себя внимание не только потому, что был действительным центром этого собрания — вы его видели первым из всех, — еще и потому, что он — вас видел. Он видел все, ничто не ускользало от внимания этого мастера, непринужденно и точно занятого своей работой. Потому что это была именно работа и занят ею был именно мастер. Все это доходило до меня постепенно, пока я стоял в сторонке и изучал, как пушкинский Германн, и в полной мере дошло лишь потом, но и с первого взгляда эта небрежная собранность аса привлекала в нем, как в пилоте, как в водителе, когда вы расслабленный пассажир, как в человеке, умело занятом тем делом, которым вы не владеете, но в котором нуждаетесь. Он был занят, но по брошенному вскользь взгляду я понял, что и я, приблизившись, был им отмечен. Этот взгляд зелено-серых близко поставленных глаз отличался снайперской точностью, но каким-то образом не был злым и хищным и, несмотря на неумолимость, не отталкивал и не пугал. Коротко стриженная белокурая голова его казалась маленькой на столь могучей шее, переходившей в очень покатые плечи. На нем была тубетечка, а из рубашки с короткими рукавчиками виднелись бугристые быстрые руки. Вот чем они были заняты, автоматически, ловко, спокойно, пока я стоял, как медленный Германн, пока незаметно и сосредоточенно работали его глаза... Вот что я разглядел.

Перед ним, на небольшом столике, была разостлана

некая скатерка, род самобранки... Она была расчерчена на сорок восемь последовательно пронумерованных квадратиков. На каждом из этих номеров помещался приз стоимостью от двух до тридцати рублей. В игре участвовало шесть человек, покупая свое право играть за рубль. У крупье (назовем его так) было шесть карточек, на которых вразброс были записаны те же номера от 1 до 48; на рубль выдавалось, значит, восемь номеров. Когда шесть рублей бывали собраны, игра кончалась так же мгновенно, как начиналась: левой рукой крупье запускал диск размером с небольшое блюдо, расчерченный на сорок восемь пронумерованных последовательно секторов, а правой нажимал на спуск маленького духового ружья. Номер, который поражала на круге пуля, выигрывал.

— Двадцать второй... — ровным голосом провозглашал крупье. — Вот эта вещь. — И он приподымал над двадцать вторым номером скатерти то ли табакерку, то ли сувенир «орел», то ли будильник... — Вот эта вещь. Четыре рубля. Берешь ее или деньгами?

Выигравший «вещь» не брал, а брал четыре рубля и, вдохновленный, снова входил в игру. (Лишь один раз кто-то потянулся за выигрышем: то была карточная колода. «Слушай, дорогой! — взволнованно попросил крупье. — Нам она вечером нужна. Возьми деньгами, а?»)

Называлось это почему-то «итальянской лотереей» от Министерства культуры. Так объяснил наш крупье какому-то неигравшему праздному туристу. «Вывезли из Италии», — пояснил он. Оборудование, однако, было похоже на итальянское много меньше, чем «Жигули» на «Фиат». Вся эта механика: и диск, и ружье — выглядела достаточно потрепанно и топорно, но служила своему хозяину, по-видимому, достаточно исправно.

Демократичность ставок, быстрота розыгрыша и безусловный выигрыш одного из участников делали лотерею привлекательной. Система розыгрыша тоже внушала доверие, поскольку вообразить ее управляемой было невозможно: карточки тасовались и раздавались без выбора, в той последовательности, в которой каждый решался рисковать своим рублем; выстрел производился с расстояния менее пяти сантиметров в круг, вращавшийся с такой скоростью, что цифры сливались неразли-

чимой полосой, — никаким обманом не пахло. Чистая статистика, при которой проигрывают все-таки больше, чем выигрывают, — вот доход лотереи. Такое безусловно производило она впечатление, и успех ее у играющих казался справедливым. Хочется тебе позабавиться случаем — пожалуйста.

Машина лотереи действовала ритмично и слаженно, как часы. У нашего снайпера был подручный на кассе: он собирал ставки, давал сдачу, выдавал выигрыш. Этот тоже был симпатичный, но более походил на жулика: он не был мастером. В руке у него была стопочка рублей, а рядом железная plombированная шкатулка со щелью. Мне так и не удалось заметить, когда он опускал в нее деньги, так же как я ни разу не уследил, куда деваются пятерки и десятки, которые он размещивал у играющих, — в руке у него неизменно оставались лишь рубли. Таким образом (правда, лишь к концу игры), понял я, в чем состоял доход держателей лотереи: его, по-видимому, можно было сравнительно точно учесть, фиксируя размен денег на рубли, число же рублей оставалось почти неизменным — они оборачивались. У подручного работа была вроде не пыльная, но и он не покладал рук, раздавая и принимая рубли; главный же, снайпер, не находился в простое ни секунды — раздавал карточки, заряжал, стрелял, объявлял выигрыш, тут же снова раздавал карточки. И эта его способность не суетиться, не делать жадных и азартных движений, а держаться с виду даже как-то лениво и неторопливо, в то же время ни на секунду не замедляя стремительного ритма и не сбивая пульса игры, — эта его способность не поддаться судороге азарта была похожа на достоинство. Да, именно достойным было поведение этого человека, занятого сомнительным делом азартной игры. Если бы у него был вид жулика или пройдохи, суетливый и мелочный, никогда бы я не соблазнился... А тут, раза два обменявшись с ним как бы насмешливыми, понимающими наивность играющих взглядами, я и сам не заметил, как, снисходительно усмехнувшись, протянул ему рубль.

Ах, этот переход! Тут же исчезло все: улица, базар, играющие... Только гипнотизм доставшихся мне на игру цифр, вращение круга и — ненахождение выигравшей цифры на моей карточке...

Сначала я поставил как бы в шутку, как бы рубль. Рубль дела не менял, и я поставил второй. Трех рублей мне уже не было жалко, а пяти — было, и на пяти я решил остановиться. Надо сказать, что деньги в последнее время давались мне с трудом, и я отвык ими раскидываться. На пяти я решил остановиться, но тут наш мастер взглянул на меня с симпатией, как свой на своего, как интеллигент на интеллигента среди этого базарного, поглощенного простотою судьбы люда, — и я сразу же выиграл, почти столько, сколько проиграл, и теперь с полным основанием продолжал ставить. Мне теперь «просто не везло», и я залез за пятерку, когда снова выиграл. И так шло до тех пор, когда я обнаружил, что проиграл уже десять рублей. Но этих десяти мне было совсем не жаль, мне их было жаль меньше, чем пяти, потому что я, единственный среди этих замороженных, понял игру. Ощущение крупности проигрыша было явно качественным, а не количественным: пять — было много, десять — не много, девятнадцать — опять много, двадцать восемь — как раз. Масштабы сместились, как в жизни. «И в жизни... — думал я, потому что уже обрел время в игре, мог наблюдать и думать, я был старожилом игры, мне все было ясно, я уже жил в этой игре, а не просто был поглощен азартом, в помещении игры у меня появилась своя мебель... — И в жизни, — думал я, — мы ставим то на весь банк, то по копейке. И по копейке нервничаем часто больше, чем «ва банк». Ва банк — это поступок, и он приносит облегчение и удовлетворение даже в случае проигрыша, потому что что-то наконец произошло...» Любопытно было в спокойном равнодушии к маленькому теперь в сумме всего проигрыша одному рублю, поставить который перестало быть переживанием, потому что переживанием был весь проигрыш, а не какой-то из него рублишко (я был пойман масштабом и неожиданностью своего преступления перед трудовой копейкой и мог себе позволить небольшой шик как бы независимости от нее), — любопытно было наблюдать переживания «новеньких», с моей-то высоты. Любопытно было наблюдать, когда они не могут смириться с проигрышем и когда лезут на рожон и как вдруг смиряются с ним; любопытно было наблюдать тихое, безоглядное испарение проигравшего... Нет, люди теперь не проигрывают больше того, что могут

проиграть. Они проигрывают все, что у них оказалось в кармане, не больше. Но что бесспорно, думал я, глядя в эти сомкнутые, покрытые спокойствием лица, в чем поучительность, что можно ручаться за общность чувств всех шестерых. Эта одинаковость переживания не была одиночеством. Люди не одиноки у игорного стола; не надеясь на сочувствие или поддержку, они одинаково не надеются на нее и в этом не одиноки, но они могут поручиться, что все шестеро заняты в этот момент одним и тем же, — чувство, не часто посещающее нас... Что говорить, одинаково странно ощущать свои деньги в чужом кармане. Одинаково странно приобщаться к мысли, что деньги — вообще ничьи, что это некий эфир, что это некое качество — деньги, а не просто присвоенные бумажки. Да, в какой-то момент игры, довольно близкий к началу, люди играют уже не на деньги, а на сюжет, на судьбу, на точность предчувствия, на совпадение в реальности — на жизнь и ради чувства жизни. Это ты сейчас проигрываешь и никто другой. Тут все уравновешено: и в проигрыше есть своя справедливость и свое удовлетворение, как в выигрыше — неудовлетворение и даже насмешка. Поэтому ты проигрываешь и выигрываешь. Забывать о «заработанности» этих денег, об их нищете и тщете — в конце концов род удовольствия, за которое тоже можно платить. Даешь же ты деньги в долг без надежды на возврат? Игра — это хорошая тренировка отношения к деньгам... так утешал себя я, потому что денег было жалко. Их было жалко, как миленьких, как маленьких, как родных.

Я играл достаточно долго, слишком долго, дольше того карманного запаса, на время истрачивания которого была рассчитана и безукоризненно срежиссирована психология базарной лотереи. Расчет на дурака не велик. Трудно было предположить самому, что я оправдывал такой расчет... Я отыгрывался, и я проигрался. Со мной все складывалось не лучшим образом: «жадность фрайера сгубила», как говорится (я полагал, что держатель лотереи думал про меня именно этими словами). «Не очко меня сгубило, а к одиннадцати — туз!» — какой мудрой казалась мне эта истина: к концу моего проигрыша она гениально вмещала в себя опыт всего мира.

В это трудно было поверить, но наш хозяин был не

только исполнителем, не только организовывал и гнал игру — он владел игрой! То есть он знал, куда попадал, и попадал, куда знал. Это было истинное мастерство, цирковой номер, это уже было искусство! Первое подозрение возникло у меня, когда кто-то услужливо принес ему кружку пива (откуда? я ведь все обыскал). Чтобы игра не прерывалась, он передал мишень своему приятелю-кассиру: дело нехитрое, доступное каждому. Тут-то я и обратил внимание на то, с какой остротой и неуверенностью взялся тот за дело. Но, решившись, выстрелил неудачно и выдал выигравшему восемь рублей. И второй раз — семь. «Постой, постой! — откровенно сказал главный, торопливо доглотив пиво. — С тобой вылетишь в трубу...» Не удалось ему расслабиться и покейфовать с пивом — пришлось вправлять игру в прежнее русло. В среднем он имел всего рубля два с кона — это была сдельная работа: помножать число выстрелов на два.

Оплошка напарника лишь навела меня на подозрение, а подозрение подтвердилось рядом более тщательных и дифференцированных наблюдений. Тут-то я и понял остроту его взгляда — он стрелял в цель! Зафиксировано ружье, зафиксирована ось, расстояние равно нулю — и он попадал. Я поймал этот его взгляд сначала на чью-нибудь карточку, потом на круг, потом ту долю, то кратчайшее дление, когда он нажимал на спуск, — сомнений быть не могло: выигрыш получал тот, на чью карточку он взглянул. Я было низко заподозрил, что он дает выигрывать «своим», а они потом как-нибудь с ним делятся... Так он два раза подряд дал выиграть тому подозрительному малому, что приносил пиво, — и тот исчез тут же, не продолжал игру, с тем чтобы значительно позднее, когда сменится состав играющих, появиться снова... Я слишком давно уже играл и слишком много проиграл, чтобы не действовать нашему хозяину на нервы. Вот ведь еще что, почему он мастер, он играл — с каждым! У него был свой сюжет с каждым из играющих, со мной — мой...

Но опять не то я проигрывал и не то выигрывал. Я репетировал что-то другое... Ах, это другое уже длилось, и когда еще началось! Еще тогда... Вот то ее, тогда, вдруг лицо, когда она смотрела, как из прошлого, как в прошлое, то ее материнское лицо, обращенное

к тебе, будто тебя не видели с того первого раза до вот этого взгляда (потому что ты был неотделим, тебя и не видели, теперь — видели), и те ласка, и тепло, и внезапное понимание — как было не понять, что тогда произошло, откуда бы взяться тому внезапному взгляду, грустного любования светлым воспоминанием о тебе, когда ты — вот же он, как рядом был, так и есть... Вот то и был разрыв, то и была просьба, то и был намек что-то еще постараться сделать, пока не поздно, — моление... Дожить до того, чтобы не видеть то, что и слепому видно, — до нереальности, до невидимости, до хо-рошенького неузнавания, до знакомства. Ну как тут было не ждать грозы?

Ах, репетиция жизни! Вот что существенно: я проигрывал, прекрасно это зная. То есть зная, что я делаю. Что люди, начиная что бы то ни было, как раз начиная, прекрасно знают, что они делают, — в этом я убежден. Потом они забывают в силу продолжения, а потом уже — не знают. Все так откровенно в этом мире! Люб-бой обман — это лишь жест, с которым тебя подводят за руку и показывают пальцем на то, что ты продолжаешь не видеть. Разве не знал я, что он играет на-верняка? Разве не знал он, что я это уже понял? что мы продолжали проверять?.. Тут-то и начинается игра, когда каждому становится известно, во что играет его партнер, но зато все менее известно, во что играешь ты сам. Тут и начинается игра, и тут-то я и проигрываю. Проигрываю уже не в игру — проигрываю ЕМУ. Парт-неру. Он меня сильнее, что меня и привлекает. Я могу ему проиграть и делаю это очень четко и доказательно. Как вспышка, пронеслось во мне лицо моего соперника, куда более конкретного, чем этот напротив, куда более грозного, чем я мог допустить, куда более серьезного, чем я хотел бы бояться. Он — был! И каким-то таинст-венным, одному сознанию известным способом, оно вы-читало из себя именно его, давая волю предположениям самого фантастического толка, лишь бы не увидеть то-го, что есть под самым носом... Перед моим носом был игорный стол, и — на то она и игра, что затмевает на свое время все — мое открытие не потрясло меня. Лицо истинного соперника было легко вытеснено живым ли-цом лотерейщика, которому я проигрывал не жизнь, а всего лишь деньги.

На десяти, допустим, рублях я понял, что он попадает, куда ему надо. Тут бы мне и сделать вывод, и уйти благодарным за науку. Но меня и еще кое-чему учить было надо...

Разгадав тайну, я тут же возжелал похвалы и поощрения, мне было одиноко с моим открытием — я захотел дать ему понять, что я его понял. Наступил момент, к пятнадцати рублям, когда я сумел дать ему понять, что я понял. Я поймал его взгляд на своей карточке, когда он решил дать мне немножко отыгаться, и дал понять ему взглядом же, что я понял и благодарю его. Я полагал, что, поразившись моей сообразительности, а главное, моей тактичности, при которой я никому не открываю тайны понятой мной игры, он вступит со мной в некое соглашение, примет в свою молчаливую корпорацию и, чтобы купить мое молчание, даст мне отыгаться: на большее я не претендую, чем на то, чтобы мы, как равные, как посвященные в одну общую тайну, расстались бы при своих... Это было очень пошло с моей стороны.

Он справедливо рассердился на меня. Он больше не подымал в мою сторону понимающих глаз. Он откровенно давал мне понять, что я больше не выиграю никогда. Он нарочно отдавал мои выигрыши одному бесхитростному дурачку — и тому «везло». Меня поражало, что он не боится разозлить меня, ведь я понимал его игру и мог выдать, а он этого не боялся. Я так долго уже простоял у стола, что знал еще больше об его обмане и уже мог бы доказать ему чуть ли не математически, чуть ли не документально. Но — чуть. Я знал его излюбленные номера, в которые он попадал. Их было не более десяти — было нетрудно заметить, что все который раз заходит на прежний круг. На номере семнадцатом громоздился, например, самый большой выигрыш — хрустальная телевизионная башня, она же лампа-ночник, — она была покрыта такой глубокой пылью, что было ясно: выигрыш на нее не падал никогда. Вот эта вещь, вот эта вещь и вот эта вещь — табакерка, сувенир-портрет и часы-будильник — они обращались как рубли в руках кассира. Я все это видел, да он и не скрывал: все открытее, усталей и откровенней становились его труды по ведению игры, сводясь к наиболее простым. Он видел, и я видел, и он видел, как я ви-



дел, — и не считался с этим. Наоборот — он негодовал. И я проигрывал ему не в эту игру, а в другую — в правоту. Он был прав и несомненен, я — нет. Но почему же он не опасался, что я отвечу ему тем же, что я рассержусь и выведу его на чистую воду? Но зачем же было его подозревать в нехорошем отношении ко мне? Он просто не полагал меня способным на такое, а вот мое тупое упрямство в проигрывании выводило его из себя. Да полно, почему это я думал, что я один понимаю эту игру? Почему же все держат свои карточки открытыми, подставляя его взгляду?.. Не показалось ли мне, что игра давно стала идти так скучно, так формально, словно всем давно пора было бы уже разойтись и лишь я, завидуя, не отпускаю? Его наперсники по игре что-то давно уже не меняются, сведясь к тому, что бегал за пивом, к тому «дурачку», что подряд все выигрывал, и еще к трем примелькавшимся уже лицам...

Пора! Так легко я вдруг понял, что — все, момент насыщения... это было плавно, как парение: так тихо уплыл от меня стол, пустое мое место тут же сомкнулось, — меня не было. Я уже подходил к гостинице, такой солнечный, бодрый и пустой, молодой и свежий, словно ничего не было. Эта лечебная процедура сняла с меня и похмелье, и жару, и возраст. Я шел как мальчик. Я сочинял проченький рассказец об этом поражении, каких давно не сочинял. Он был в третьем лице. Фамилия героя была Карамышев. Рассказ должен был начинаться просто, очень просто... как-нибудь так: «Была весна...» Нет, конечно. Или по-толстовски: «Как все молодые немолодые люди, Карамышев любил повторять, что доверяет только тому, что...» Но и это не годилось. И опять эти затруднения с выбором профессии Карамышева... Тьфу на это третье лицо! Но там, в конце рассказа, должно быть такое место, когда герой, проигравшись, идет в ресторан, и вот когда приходит, то удачливый его партнер уже там сидит и с аппетитом, неторопливо ест свой лагман... И тогда Карамышев берет обратный билет и улетает назад, туда, откуда улетать ему и не следовало...

Нет, наша фантазия никогда не обгонит жизнь! Я вошел в ресторан с этим фантастическим предположением — так он там сидел и ел, и именно лагман, хотя невозможно было бы представить, как это он так быстро

обернулся: ведь я шел прямо, никуда не сворачивал, не заглядывал, а ему надо было ведь еще скатать свой балаганчик, сложить свои игрушки... И пока я дождался, что ко мне подошли принять заказ, он уже удалялся, отобедав.

Это совпадение заставило меня поверить в действенность творческого воображения, и этот вечер прожил за меня некий Карамышев, решительный молодой человек, однако страстный и глубокий. Карамышев ждал свой лагман и производил небольшие расчеты в своей записной книжечке, как-то:

проигрыш — 48.00  
обед — 3.80  
открытки — 0.28

Обед показался таким дешевым!.. «Жадность фрайера сгубила!» — приписал он под счетом и, подумав, приписал еще одну усвоенную им сегодня истину: «Фрайера учить надо».

Тут происходит такой поворот сюжета: к нему обращается с соседнего столика субъект, довольно-таки страшного вида, и очень нежно просит:

— Дай стишки-то почитать...

— То есть какие стишки? — недоумевает Карамышев.

— Ты же стихи сейчас писал?

— Нет, не стихи.

— Ну да, рассказывай... Я видел, как ты стихи писал.

— Да нет же, никаких стихов я не писал!

— Писал, я видел.

— А хоть бы и писал, вам-то какое дело!

И тут смолкает вся компания. И так сидит с поднятыми фужерами. В которых смесь водки с простоквашей — местный напиток. Вот так они замерли и смотрят на Карамышева.

Мир перед Карамышевым прозрачнеет. Куда-то проваливается вниз какая-то земля, какой-то там земной шар — от приступа страха и бесстрашия, что одно и то же.

— Почему я вам должен давать читать? — не выдерживает Карамышев молчания и презирает себя за это.

— Ну, тогда сам прочти, — примиренчески говорит этот страшный на вид, но добрый в душе человек.

— Ну, читать-то я тем более не буду! — возражает Карамышев и понимает по потемневшему взору визави, что усугубил он сейчас, усугубил...

— Да ведь не стихи же! говорю, не стихи! — взрывается тогда он — и такая глухая тишина раздается вокруг... А тот, добрый в душе, медленно подымается со своего, скажем так, места и оказывается очень высоким и громоздким человеком.

— Покажи.

— Зачем?

— Покажи, и все.

Ослепительная догадка помогает Карамышеву, он ухмыляется ледяно:

— На же, смотри! — и сует свою книжечку. — Где стихи? Читай! Читай последнюю запись. Это стихи?

— Фрайера учить надо... — медленно, по складам, читает гигант.

— И что ты скажешь, — пискнул Карамышев, — что это не так?

Все, что было за столом, тихо поднялось, как пена, завозилось, вовлекло в себя Карамышева и комом, без крика, покатилося к выходу, в совсем счерневшую азиатскую ночь, и тут, на площади, по которой при ярком солнце проходили нестройные милицейские парады, прямо за киоском Союзпечати, в темной густой тени пыльной ночной листвы, Карамышева начали понемножку убивать. По справедливости и за дело. Что, однако, Карамышев понял значительно позднее. Что еще не намекает на то, что убили его не до конца и он выжил. Потому что такие вещи хорошо осознаются как раз в раю.

А пока что ему говорят: ты чего, говорят, сюда приехал? Говорят и начинают убивать. За дело. Потому что действительно: чего это он сюда приехал, когда совсем не того настойчиво требовала от него жизнь. Но Карамышев не признает пока в этом справедливости. Потому что он путает законы возмездия с уголовным кодексом и правами гражданина, потому что применяет к законам судьбы и рока аппарат причинно-следственных связей, потому что путает судебную роль с исполнительской и не хочет пропадать, хоть и по заслугам,

но без положенного ему еще обмундирования суда и следствия, он не хочет погибать как личность, а хочет помереть как обыватель, он хочет, чтобы исполнителю объяснили сначала, за что его надо убивать, чтобы исполнитель знал, за что, иначе Карамышев не доверяет исполнителю... Но довольно разоблачать нашего героя — как живое существо он просто неумело борется за свою жизнь и не может иначе. Он абсолютно прав.

Именно за это, за прямоту, проявленную в спасении собственной шкуры, а не идеалов справедливости, мы прощаем Карамышева и выпускаем на сцену героя-спасителя...

— Вы это что? — ровно говорит он, и мы узнаем этот голос. — Вы кого это бьете? Да вы с ума сошли! Вы же Карамышева бьете!..

И все разбегаются в покорной и подобострастной панике.

И Карамышев остается один на один со снайпером-лотерейщиком. И площадь озаряется светом желанной и сбывшейся дружбы.

## У. ВИД СВЕРХУ

И каким образом момент воздержания от творения может в небытии отличаться от момента, когда начинается творение? Чем один момент отличается от другого?

*Авиценна, «Книга спасения»*

Наша история подходит к концу, потому что герой наконец поверил в свою звезду, которая неутомимо слала ему свои лучи, хотя сама давно потухла и закатилась, и возблагодарил судьбу, что не отчаялась быть его судьбой и терпеливо била его, несмотря на его грубое, даже вульгарное, понимание жизни, практически неизлечимое.

Наша история подходит к своему концу, зато герой возвращается к своему началу, и в этом мы наблюдаем тот свет, который необходим в конце произведения.

Отметим любопытный, на будущее, факт: именно после проигрыша в эту лотерею жизнь нашего героя сделалась возможной даже в этом городке, куда он зря приехал, или, что почти то же самое, пребывание на-

шего героя в этом городке — стало жизнью. Он заплатил за вход, или получил визу, или... не знаю, каким термином обозначить эту санкцию судьбы: живи! Но еще любопытнее и другой факт, что именно потому, что теперь он мог бы жить даже в этом городке, именно поэтому он немедленно из него улетает, именно поэтому у него находятся силы стремительно покинуть его, не считаясь с пустяковыми канцелярскими обстоятельствами, а считаясь с требованиями собственной судьбы и жизни, которые он так не хотел узнавать и материалистически игнорировал в самом начале нашего повествования. Нет, это не побег от трудностей. Отнюдь! Это, если хотите, возвращение — в значительном значении этого слова.

И если нам скажут, что мы преувеличили значение этой истории, то мы скажем, что как раз значение ее мы не преувеличили. И лишь потому это нам удалось, что мы не преувеличили историю. Качественное изменение само находит себе место и время произойти, и это может оказаться самое неожиданное место и самое неожиданное время, вовсе необязательно это будет водоворот событий и могучий исторический фон. Ведь мы имеем в виду одну жизнь и одного человека...

Какие сцены мы пропустили? Как раз счастливые.

Вот Карамышев сидит в гостинице в номере своего нового друга. Они пьют вино. И кассир с ними. Все трое очень нравятся друг другу. Карамышев откровенно любит мощью торса своего друга Петра Геннадьевича Крылова, который как раз в этот момент обтирается после душа, и его сильно загорелые шея и руки так отделены от белого тела, будто приставлены в шутку, и белое кажется толще, а черное — тоньше, так что как будто приставлено, да и не совсем совпадает, оттого напоминает Петр Геннадьевич — кентавра. И друг Петра Геннадьевича — кассир Михаил Станиславович Грибов — тоже очень хорошо поет под гитару, наигрывая на ней проигрыш.

В номере они сидят том самом, ревизорском, который был бронирован в свое время для Карамышева, и они теперь очень смеются, что Петр Геннадьевич — и есть ревизор... Перед ними лежит та самая карточная колода, которую Петр Геннадьевич сберег, выдав за нее полноценных два рубля...

— Зачем ты так сразу — и уезжаешь! — сокрушаются Петр Геннадьевич и Михаил Станиславович. — Только познакомились — и ты уезжаешь. Такая скучища... Не уезжай!

Карамышеву очень приятно, ему трудно в это поверить, что он — это что-то не скучное, интересное, почти веселое, — поэтому он так легко в это верит...

И тем не менее он твердо и окончательно решил лететь. Вот у него уже и билет в кармане. Правда, летит он лишь послезавтра, потому что таков ближайший рейс. А то бы и сегодня улетел. Нет, он счастлив ихнему знакомству, он рад, и ему жалко, но — надо. И они обмениваются адресочками: будешь — обязательно прямо с вокзала ко мне, а с самолета — к нам. Но Карамышев тверд, как скала, — так он летит, рисуя себе наиболее легкие и удачные варианты трагедии, счастливо и легкомысленно осмысляя личную драму, что перспективно:

— Слушай, слушай! Что у тебя с ним было?!

— С кем?

— Сама знаешь, с кем!!

— Ничего не было.

— Ах, ничего!.. Значит, было — с кем?!!

— Ты — с ума сошел.

— Прости — сошел — прости...

И далее:

— Успел?

— Успел.

Будто он и сам не знал.

Дальнейшее мечтание он уже не обувал в слова, а лишь мычал и крякал с досады, что самолет — только послезавтра. Но теперь он не истолковывал затруднения и задержку как знаки судьбы, он предполагал их как истощение предыдущей затянувшейся его неточности жизни, которая ликвидируется не сразу, а с некоторой дозой расплаты и терпения. Пусть же он на этот раз успеет. Зная будущее, мы можем даже утверждать, что он успел. Правда, не совсем, потому что опоздал в предыдущий... Но в этот раз — успел.

Оставшийся ему день Карамышев посвятил залезанию на минареты и башенки, по возможности вверх, поближе к небу. То ли от нетерпения взлететь... То ли от позорного желания все успеть, раз уж так сложилось... Ведь раз он так решительно отказался успевать

что бы то ни было, то как раз и удается успеть и кое-как, но выполнить положенный ему урок.

На этот раз был понедельник, присутственный день, и он быстрым шагом обходит заповедную Хиву в сопровождении многочисленных специалистов: архитекторов, строителей, реставраторов, археологов, историков и Негудбаева, — как главврач на обходе, запахивая невидимый халат. «Ага, — говорит он на ходу и записывает в книжечку, — 489 тыс. 1248 год, из них 20 тыс. своих, из 9 памятников реставрировано 62, пятилетку на 2,5 млн. и 1 резчик по ганчу...» Выслушивает занимательные и разрозненные сведения о последнем царствовании Алакула-хана... Кивает — здесь он уже был — и лезет только вверх.

На самый высокий минарет. И пока Карамышев взбирается по спирали, по очень высоким и неудобным ступеням, в полной темноте переходя на четвереньки, благо никто не видит, накапливая в слепой глухоте все более гулкие удары сердца, гулкие до самых кончиков пальцев, которыми касается он пыли следующих ступенек, и впереди объявляется долгожданное просветление, превращающееся в божий свет, — думает он немножко о том, что он уже не тот, чтобы так вот лазать, сердце не то, что бывало в той же, казалось бы, груди, да и ноги не те... и что свита его осталась внизу недаром — один свеженький Негудбаев, пожалуй, уже наверху... что, надо же, родившись и проживая в двух столицах, нет чтобы полезть, скажем, на Исаакий или телевизионную башню... а тут, при первой же возможности, — лезет и еще думает о том, в такт нарастающей гулкости сердца, что там, впереди, божий свет и звонница — но никакого колокола, конечно, нет, как в кино, и он оглох от громкого удара света, стоит, помаргивая, и сам гудит в этой мусульманской пустоте как колокол, под православными ударами сердца... И пока он прислушивается к этим утробным толчкам рождения самого себя, он некоторое время — один, без мысли, без прошлого и будущего и без себя — цель и смысл всякого восхождения.

Нет! всего лишь секунда... Поутихнет сердце, поостынет пот, звон в ушах разорвется на звуки, безымянное творение населится наглою отдельностью предметов, и картина мира распадется на слова. И как всякому, на

секунду слившемуся с реальностью и творением, Карамышеву через эту секунду совершенно некуда будет деть себя... Казалось, миг реальности вытеснил весь многолетний опыт — но тут мы и воскликнем: «Какой вид! какая красота!» И — все. Как быстро, но какой ценой! вернемся мы из того, что есть, в то, чего не было, и задвигаемся там с быстро восстанавливающейся привычностью... Счастливый дурак запоет, несчастный дурак задумается. Но — сделать бы на памяти зарубку о том, как быстро можно покинуть и забыть, если даже после секунды реальности не сразу вспомнишь тени общепринятых движений и слов.

И хотя вовсе не для того строился минарет, чтобы на него вскарабкивался Карамышев, а для того, чтобы он высился и внушал правоверным и чтобы взбирался на него лишь один человек — муэдзин, хотя, возможно, никому и не разрешалось восходить сюда со святотатственно-экскурсионными целями, но точное решение никогда не будет однозначным, и утерянные символы сохраняют для праздных глаз гармонию форм, а утраченное предназначение найдет себе применение попроще: как соборная мечеть является удобным помещением для горторга, как дамаская сталь будет прекрасно рубить капусту, как в Библии вместо слова божьего будут находить поэзию, а в поэзии — гражданственность, а в любви — удовлетворение потребности, — и все это суть грани жизненности и вечности истинного и прекрасного, приспособленных к выживанию в забвении и неузнавании, к уживанию с невежеством... так и минарет этот — прекрасно был приспособлен для взбирания на него хотя бы того же Карамышева, хотя строители были и далеки от такой цели. Эта крутизна, пыльность — этот труд; эта длина, глухота и темнота — это выключение и забывание оставшегося «там» мира — все это, чтобы внезапно увидеть свет и возрадоваться, а затем узреть мир в виде творения, бессловесный, неназванный, хоть на мгновение прежде, чем он распадется на слова.

Не было в этом никакой такой цели. Эти же чувства может испытывать и верхолаз-трубочист, наделенный некоторой созерцательной способностью или обделенный способностью к несозерцанию... Труба уж, во всяком случае, строится для того, чтобы дым из нее шел.

И пока наш Карамышев курится на вершине мина-



рета, мы попробуем хоть описать, что он оттуда увидел, о чем путано думал, — возьмем на анализ его дымок...

В ту сторону, в которую он смотрит, перед ним всего как-то не очень много, и довольно быстро исчерпывается это перечисление: какое-то количество плоских квадратиков крыш, стеснившись, не успевают образовать множество — обрываются, переходят в серое весеннее поле, но и поля не образуют привычной шири, обрываются, переходят... во что? тоже в как бы поле, но желтенькое какое-то и совсем уж пустое. А уж это поле — совсем обрывается, совсем затеривается, и не то чтобы в бескрайней дали, а так — становится пылью, маревом, мутью, и вдруг оказывается, что это — уже небо, тоже мутное, желтоватое, ясное лишь где-то над солнцем и лишь в зените, над минаретом, наливающееся той лазурной глубиной, что совпадает, сливаясь с цветом хивинских луковок и куполов... И это впечатление короткости взгляда настораживает глаз Карамышева неотчетливым подозрением, что что-то он видит не то, нарушающее географический и оптический его опыт: словно бы горизонт не расширяется оттого, что земля шар, если приподниматься над шаром, словно бы, наоборот, уменьшается земля сверху до размеров той лепешки, что покоится на трех слонах, — до размеров черепахи. И поэтому ему хочется спросить: что же это, почему так быстро кончилась Хива, что это за желтенькое поле так поспешно завершает горизонт?.. И ему говорят: ПУСТЫНЯ, говорят: КАРАКУМ, говорят: ПЕСОК. И от слова «пустыня» почему-то все становится понятно — там высохло и свернулось трубочкой пространство, взаимопроникновение сфер и сред из-за отсутствия границы... Карамышев оборачивается смотреть в другую сторону и теперь уже видит всю Хиву как на ладони: столпище плоских крыш и дворики с небесными куполами мавзолеев и золотыми стенами медресе. Что это купола такие голубые? как небо?.. И что это все дома и стены такие желтые? как... пустыня! Ну да, где же еще им было цвет занять? Два было — два и взяли. Торжественная фраза нарисовалась в мозгу Карамышева: «Из двух цветов состоит Хива — цвета пустыни и цвета неба...» Так я начну свой очерк, подумал он. И тут же ему стало кисло во рту от достижения профессионального пафоса, он сморщился, отвернулся

и махнул на себя рукой. «Что это вы?» — сказал Негудбаев. «Знаете, что самое скверное? — доверительно, с горьким многозначением, ответил ему Карамышев. — Самое скверное — это проиграть через посредника». — «Понимаю», — согласился Негудбаев.

И Карамышеву ничего не остается, как спуститься. И, спустившись, посмотреть на тот же минарет новыми глазами. Я бы мог сказать, что, спустившись и поглядев: «Господи! как он высок...» — подумал Карамышев, словно только теперь осознав его в пространстве. Я бы мог сказать так — и вы бы мне поверили. Но так же поверите вы мне, если я скажу, что, спустившись и оглянувшись: «Как он, в сущности, мал-невысок... — подумал Карамышев. — И построено-то кое-как...» Эта небрежность вдруг станет видна. «А вы обратили внимание, что он кривой? Вон, вон, отсюда смотрите...» — с гордостью обратят его внимание экскурсоводы, подтверждая тут же его несложные наблюдения.

Он посетит еще несколько медресе и рассмотрит еще несколько музейных стендов. Запишет еще несколько ненужных ему сведений со слов специалистов в свою книжечку. И чтобы проявить перед самим собой инициативу, спишет со стенки следующие стихи:

Триста кавказских гор истолочь в ступе,  
Обмазать девять куполов небес кровью сердца,  
Сто лет быть заключенным в подземелье,  
Чем провести мгновение с невеждой.

Удивят его эти стихи. Не то чтобы заключенной в них поэзией, а — определенностью. С особым чувством взглянет он на мавзолей Пахлавана Махмуда, написавшего эти строки, и этот мавзолей сделается как бы понятен: все-таки в нем захоронен знакомый. Вот еще смысл поэзии — так быстро становится знакомым, как этот несколько сот лет назад живший в этой чужой жаре, секунду назад незнакомый Пахлаван Махмуд! Вот и смысл слова «известный»! Нравился Карамышеву Пахлаван Махмуд в свете свежего базарного проигрыша...

«А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой...» — так заключил свои рассуждения Карамышев, начавшиеся с того, кому же он вчера проиграл на базаре?.. Судьбе, Петру Геннадьевичу, себе? И вот что,

простое, внезапно поражает его: конечно, судьба — но проиграл-то он сам, и именно Петру Геннадьевичу!.. А вот что именно ему — в этом было что-то важное для Карамышева сейчас, определяющее именно эту, скрытую пока от всех, тревожащую его ситуацию, в которой он и сам-то себе признаться пока не может. Получается, что что-то не то проигрывал он, не деньги, — это была лишь репетиция, базарная репродукция, модель, схема... Карамышев ведь ЕЕ проигрывал, любовь свою! Он ввязался в эту нелепую игру довольно-таки давно... Как напомнила ему сейчас внезапность его согласия на командировку — внезапный же его подход к игорному столу, а затруднения с отъездом, с приездом, с устройством — следующие и следующие проигранные им под гипнозом уверенности в себе и власти над ситуацией мелкие, но набегające ставки!.. «Да ведь иной роже я бы никогда не проиграл! — так подумал Карамышев. — Надо было Петру Геннадьевичу что-то иметь в своем лице такое... чтобы я подошел, стал с ним играть и проиграл. Ведь он же должен был мне понравиться, привлечь меня сначала...» Карамышев вспомнил те немногие случаи азарта и проигрыша, хотя бы в очевидной, карточной форме, и еще раз убедился, вспомнив лица тех, с кем играл, что нравились ему чем-то те лица, манили с ними играть... Ведь Карамышев не игрок, игра его не привлекает — проходит же он каждый раз мимо, зная, что играть в азартные игры бессмысленно и проигрыш гарантирован, — и не играет. Так что не в ИГРУ он проигрывал в те редкие случаи, что ни с того ни с сего садился играть, а — людям он проигрывал. Соперникам. «С чего же это я взял, дурак, — в сердцах сказал себе Карамышев, — что мой соперник не привлекателен, как те, с которыми я не сяду играть?.. А может, он как Петр Геннадьевич, и я с ним уже играю!!» И Карамышев похолодел, до конца осознав, до чего же правильно лежит авиабилет у него в кармане... «А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой...» — именно тогда подумает про себя он. Потому что до чего же странно, противоречиво и нелепо: всю жизнь обучаться сведениям, не имеющим к твоей единственной жизни никакого отношения, и пытаться им соответствовать, и полагать неудачи за счет неточного или халатного следования преподанному извне, и страдать от своих неспособностей

к имитации и исполнению, вместо того чтобы с самого начала прислушаться к точности собственной жизни и внятности внутреннего голоса и развить этот слух к себе до абсолютного!.. Какого могущества лишаемся мы, отвергая и отрицая данный нам свыше аппарат реальности как нечто фантастичное и нематериальное, не относящееся к безусловности и плотности окружающей жизни... Как же это не сомневаемся мы в возможности познать постороннее и выработать правила помещения себя в нем, то есть как раз разъединяя себя с миром, вместо того чтобы объединиться с ним, научившись слушать голос собственной природы, безусловно общий с голосом творения! Люди представились Карамышеву слепыми, глухими и самодовольными в уродстве. Да, если есть человек, который не разучился слышать себя и всю жизнь употребил на упражнение, помножение и развитие именно такого, истинного знания жизни, — то, право, можно понять, что лучше сто лет просидеть в темнице, чем провести мгновение со мною... Карамышев подумал, что уже поздно, но еще не поздно: какой-то слабый процент такого внутреннего слуха у него еще есть. И все эти средства ослепших и оглохших людей, как-то: медицина, наука, нравоучения, — представились ему отвратительными и ненужными, потому что взамен их неуклюжей, невежественной и самодовольной громоздкости можно просто пользоваться дарованной нам природой способностью слышать и видеть.

Ему было уже все показано и рассказано, он устал делать вдумчивый вид, схватывать на лету, проявлять способности к усвоению и кивать невпопад. Как всякий прирожденный реалист, был он, от природы же, двоечником. И он устал притворяться примерным учеником и придумывать умные вопросы учителю, чтобы тому было лестно отвечать... Но тут, к счастью, все и кончилось — вот и выход маячил из Ичан-Калы, как вдруг проявил Карамышев неожиданные для себя рвение и инициативу в учебном процессе: захотелось ему, видите ли, на недостроенный минарет.

Тут его почему-то стали хором отговаривать: мол, ничего там интересного и заслуживающего его ценного корреспондентского внимания нет и быть не может,

пусть он им поверит — они-то знают. Не мог все-таки Карамышев понять, что не одному ему надоело. Отрицательные эмоции полагал он своей привилегией...

Все вздохнули, и он полез. И хотя минарет планировался быть выше всех, но был-то он ниже, и Карамышев достиг верха быстрее и легче, чем мог ожидать. Оказалось это даже гораздо более внезапно, чем на предыдущем минарете. Потому что когда Карамышев вылез на поверхность — над ним уже не было ничего, никакой башенки, одно небо. Над ним было только небо, но когда он вылез и увидел его, все были уже там: и специалисты, и Негудбаев, и председатели колхозов при всех наградах по этому случаю, и Петр Геннадьевич с Михаилом Станиславовичем, немножко в стороне, послали ему дружеский, понимающий взгляд...

Карамышев стоял в центре круглой обширной площади. Она была залита каким-то неровным варом, как асфальтом, и тем более походила на площадь. Только по краям ее стояли не дома, а небо. И тот четкий, круглый, острый край, хотя и был далек, был щемяще опасен, край этот проходил где-то прямо под сердцем екающим спазмом, и Карамышев не мог и шагу ступить к краю... Это чувство края, хотя по площади можно было спокойно гулять, — было из чувств неожиданных, но странно оправданных. Карамышев стоял посреди площади недостроенного минарета, или, как он пошутил, «недорета», и боялся вывалиться за край, нашедшийся от него в добрых десяти метрах. Перед ним опять была Хива, из пустыни и неба, но на этот раз не вставленная в кадрик муэдзинова окошка, а просторная, как с горы. Так же толпились крыши; такие же, доказанные в древности, теоремы выстраивали из кубов, полусфер, из теней и света, из глины и неба — мавзолеи и медресе. Где-нибудь вот в таком же дворике мог бродить когда-то Авиценна и думать свои словесные, ленивые, формалистические мысли за небольшую плату золотом и положение при дворе, вроде таких:

«Если бы человеку, одаренному лишь различающей способностью, представили умпостигаемые вещи, он отверг бы эти вещи и счел бы их невероятными. Точно так же некоторые разумные люди отвергали и считали невероятными вещи, постигаемые благодаря пророческому дару. Это и есть чистейшее невежество...

Короче говоря, пророки — это те, кто лечит заболевания сердца».

То есть Петр Геннадьевич — пророк... В который раз Карамышев думает о том, как чуждо ему все чужое и как безнадежно пытаться это чужое понять... Думает он и о ЛИНИИ как о самом окончательном, высшем и точном, выражающем нас помимо воли. Он разглядывает язык этих линий сверху, немой, как письма майи, и думает о том, что архитектуру должны читать графологи. И эти термитные, неразумные и безукоризненные постройки, располагаясь во времени, в глубь веков, — вдруг соскользнут, какой-то своей грубостью и прямизной, сквозь тысячелетия прямо в Древний Египет. А казалось бы, та же прямая... Вот что никому не подделать — так это прямую линию! И тут вдруг сообразит Карамышев свой «умный» вопрос заждавшимся специалистам из своей свиты:

— Скажите, только не смейтесь над моею простою... А вот там, в середке минарета, — говорит он, топнув ногою в эту середку, — пустота или кирпичи?

— То есть — как? — опешат специалисты.

— То есть как строятся минареты — полыми или сплошными?

— Полыми, конечно, сплошными! — воскликнут специалисты.

И пока они спорят, уличая друг дружку в незнании таких простых вопросов, потому что построить полую трубу — это выше технических возможностей и уровня строительства при Алакула-хане, а построить сплошной кладкой — не хватит кирпичей всего мира и они рассыпятся под собственной тяжестью... — и пока они так гnevаются и спорят, а Карамышев смотрит на Хиву сверху, боясь и стремясь упасть за тот далекий от него край и имея над собой только небо, в котором ему лететь завтра, почему-то без всякого страха... пока он так стоит, у него вдруг объявляется наконец возможность что-то увидеть во всем этом, для него невидимом до сих пор, — так же как после проигрыша объявилась внезапная возможность жить там, где он жить, казалось, не мог... так же объявляется для него возможность вдруг увидеть все это и, быть может, даже найти слова и выразить... но это уже — прощание.

## Прощальные слова автора

Прощание с Карамышевым не будет особенно пышным. Он почти погиб почти при исполнении служебных обязанностей. У самой земли автор струсил, и Карамышев взлетел назад, как раскидайчик на невидимой резинке, ловко пойманный моею рукой.

Таким образом, он не до конца разбился, не до конца проигрался, не совсем опоздал, кое-что даже успел сделать... Но — как бы вам сказать?.. Жертва поселилась на алтаре.

Завершая эту повесть, автор не находит своих слов.

Он может сказать словами своего лотерейщика: «Вот эта вещь. Берешь ее или деньгами?»

Или может привести слова пресловутого философа арабов Абу-Юсуфа Якуба бну-Исхака аль-Кинди (IX в.):

«Дабы познать что-либо, следует ответить на четыре вопроса: есть ли это? что это? каково это? почему это?..»

Я был способен ответить лишь на третий вопрос. И то не совсем в том смысле. Однако, по словам того же аль-Кинди: «Отдавая людям должное, мы не можем упрекать тех, кто принес нам небольшую, незначительную пользу...»

1971—1972



# ***ВЫБОР НАТУРЫ***

*Три  
грузина*

---



*Я ехал на перекладных из Тифлиса.  
Вся поклажа моей тележки состояла  
из одного небольшого чемодана,  
который до половины был набит  
путевыми записками о Грузии.  
Большая часть из них, к счастью  
для вас, потеряна, а чемодан с ос-  
тальными вещами, к счастью для  
меня, остался цел.*

*Лермонтов, «Герой нашего времени»*

---

Цельный образ страны Грузии для нас, русских, — из наиболее отчетливых. То ли благодаря творчеству таких «кавказских» писателей, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, но с детства, еще не побывав там, мы знаем об этой стране что-то большее, чем набор географических сведений, — то, что не дается зачастую даже при тщательном изучении, многократном посещении и длительном пребывании: первую и верную, хотя и романтическую догадку о ее душе и красоте.

Поэтому, оказавшись в ней, мы не только дивимся непохожести жизни другого народа, но и узнаем сквозь эту непохожесть то, что каким-то образом уже знали, а это самое радостное в новых впечатлениях: будто мы когда-то здесь уже были, будто мы вернулись, — неожиданные уколы родства.

Этот первый хотя и умозрительный, но точный образ оказывается не вечен. Вскоре мы размениваем его на некоторое знание, для каждого — свое. Грузия очень разная страна, грузины — очень разные, чрезвычайно отдельные люди. Узнав что-то, каждый из нас заключает. У одного в поле зрения оказываются горы, у другого — цитрусы, у третьего — тбилисское «Динамо». Грузия курортная и экзотическая заслоняет. Грузия кинохроник и газетных сводок.

И побеждает эту неточность наших представлений и односторонность образа — опять искусство, родина первоначального образа.

Молодое грузинское кино, новое грузинское кино, его всесоюзные и международные успехи... Действительно, современный грузинский кинематограф — явление в нашем искусстве свежее и ни на что не похожее, и мы с трудом подыскиваем благоприятные условия и особые причины для этой радостной вспышки.

И кроме высокого уровня и заслуг перед самим киноискусством как в режиссерском, так и операторском мастерстве хочется подчеркнуть главную, «содержательную» сторону этих заслуг — точность и полноту национального самовыражения, создание некоего художественного образа своего народа, доступного и радостного для миллионов зрителей — не грузин. Здесь и наблюдается тот справедливый парадокс, что чем более сокровенное и немое становится достоянием искусства, тем более становится оно понятным и близким другим людям, которым, казалось, это-то, «наше», немое и сокровенное, никак принадлежать не могло.

Пытаясь проникнуть в причины удачи, мы не станем делать изысканий в области киноведения (не путать с кинологией!), а попытаемся на трех примерах выяснить природу и исток. Пусть примеры эти могут показаться частными, — у них, как нам кажется, есть душа. Та самая, что и послужила причиной.

Повод удостовериться представился мне внезапно и сам собою...

Я воспользовался заманчивым предложением отправиться в Грузию «выбирать натуру». Нет более счастливого времени в «съемочном периоде», чем выбор натуры! Волнения запуска в производство — позади, горечь поражения впереди. Ты пользуешься правами человека, от которого всего можно ожидать. Впереди — одни перспективы, как вид, разворачивающийся из окна «газика». Лобовое стекло — кадр. (На каком замечательном фоне разворачивается иной кинофарс! — память о том, с каким высоким чувством было все это начато...)

«Ты увидишь Грузию такую, как она у меня здесь!» — постучит друг себе в грудь, уговаривая меня поехать. Значит, он предлагает заглянуть ему в сердце — это уж слишком... Уговорил, уговорил.

Изволь, я еду.

## ГОРОД (ОБЩИЙ ФОН)

Вот — город! Он большой и маленький. В этом едва ли не главная его прелесть. С одной стороны, все у него есть, что у города-спрута: и миллион жителей, и метрополитен, и траффик, и индустриальная окраина, и климат, как ни странно, для такой обетованной страны не самый лучший, с некоторой воздушной злокачественностью, — с другой: ничего этого нет. Вы сворачиваете...

И за углом этот город напоминает дерево, гнездо, улей, виноградник, этажерку, стену, увитую плющом. Он напоминает один разросшийся этажами, флигельками, надстройками и галереями дом, как каждый его дом — по-своему город. Каждая веточка его неоконченна в том же смысле, как и живая ветвь, которая имеет почку, которая — растет. Вы не можете быть уверены, что в доме этом не прибавится еще балкончик, или еще лесенка, или еще чердак у чердака: то ли вы вчера его не заметили, то ли его надстроят завтра. И если вы кликнули со двора приятеля и он вам ответил «Иду!», то еще три раза он исчезнет и мелькнет, оказываясь то слева, то справа, то на лесенке, то еще на каком балкончике, прежде чем ему удастся спуститься вниз, стать перед вами и пожать вашу руку, скорее всего подозревая, что вам от него ничего не надо. А если два литра белого вина заменят вам ночное зрение, то как же вы заблудитесь на этих ветвях, понимая, что вам надо было подниматься не по той лесенке, а по обвивающей ее как лоза, но в другое окно приводящей. Ах, пардон, колбатоно, я не к вам. Пардон, пардон, вы мне снитесь: эти лесенки не обрываются, запутывая ваши марши, — они просто ведут не к вам.

Вот, как бы из-под дома, пробивая асфальт, раздвигая камни, за высокой и узкой решеткой возрос сад на площади в один человеческий след... потянулся вверх своим могучим, не способным устоять, стволом; дотянулся до карниза, уцепился, пошел в стороны; затянул стену, затянул окна, балкончик затянул; усики его повторили завитки балконной решетки; он увидел балкон, женщину, вышедшую на балкон полить свой цветок, обвил носик наклоненного в ее руке чайника; удержал в своих изгибах и поворотах время, как в сетях, — оно запуталось, остановилось, застряло: и девятнадцатый

век, и дома в нем, и люди в домах, и комнаты впотьмах, и те, кто там тихо бродит в прохладе и не высывается... И уже не виноград разросся по стене дома, не виноград цепляется за эти обреченные стены, а стены повисли на мощном его вырождении и держатся лишь тем, что когда-то его поддерживали, памятью тех, кто в них жил когда-то, держа в хрупкой своей скорлупе образ той любви, что называется родиной.

Вода пролилась за цветочек, водопадиком, тоненькой струйкой, пересекла улицу — из-за угла вышли три беспечных господина: один высокий, с узкой головой, в усах и кепочке; другой — в ватнике, похожий на Пушкина; третий — грач в пиджаке... — нисколько не удивились на то, что я не такой, как они, прошли сквозь меня; их неровная, чуть веселая песня еще долго спускалась, петляя вниз, и казалась уже совсем иссякнувшей, как вдруг, благодаря новому поворотцу улицы, опять меня достигала.

Окликнуть их разве, остановить? Потому что, если они еще пройдут с полкилометра, то вдруг вывалятся на асфальтированную улицу с лампами дневного света, ослепнут, попадут под троллейбус, мало ли чего...

А может, сами свернут вовремя, сам собою подойдет им под ноги своими коварными ступеньками духан, вдохнет в себя и снова не выдохнет. Потому что откуда же появились вот сейчас мне навстречу, откуда же выползли на свет, как не из вчерашнего дня, проспав свой век? Положительно, они не дойдут до улицы имени великого поэта, не будут они долго торговаться и выбирать и удовольствуются тем, что предоставит им в двух шагах случай.

Вы всегда успеете свернуть ровно накануне такого впечатления, которое уже могло бы и подавить вас своей убедительностью или последовательностью. Вряд ли еще где-нибудь можно найти такие уютные переходы для обветшалой или изношенной психики, как в этом городе. В нем вы не сойдете с ума, в него поместится и ваше сумасшествие. В этом городе еще сохранилось место для городского сумасшедшего, всеобщего любимца и баловня.

Этот огромный город бесконечно сбудется для вас. Он будет сбываться, как пожелание, как сон, — за каждым поворотцем. Вы всегда окажетесь в пространстве

малом и уютном, чтобы обернуться и увидеть даль и гору. И этот постоянный выход в новое, чуть в то же время прежнее, пространство успокоит, утешит, умиротворит.

Город повиснет на левом отвесном берегу мыльной широкой реки, действительно, как гнездо: балки и балкончики будут торчать за край, как прутьики гнезда. Он плавно и вечно поползет вверх по правому пологому берегу, обвивая ближние склоны, как виноград, и какие-то листья будут крупнеть, темнеть, грубеть, какие-то желтеть, краснеть, какие-то свежее зеленеть, и весь этот коврик будет — город. А сверху он предстанет, как этажерка, как один разросшийся спичечный коробок: полочки, терраски, лесенки, галерейки будто соединят дом с домом, — все это скрепит то ли общее дерево, которое, растя в одном дворе, нависает над другим, то ли общий виноград, перекинувшийся с балкона одного дома на балкон другого... Все разрослось, запуталось, срослось — все это живо.

Вы бредете по нему, ничего не предполагая, как в лесу. Однообразие и постоянное изменение, неоткровенность закона — дерево. И это неутомительное однообразие, незаметное разнообразие — этот живой ритм — город начинает совпадать с вашим дыханием, пульсом, шепотком крови. Но даже если сумеете что-нибудь еще пожелать от жизни (как от избытка любви можно хотеть любви еще и внутри взаимности), то и блажь может сбыться в этом городе, тут же, за поворотом...

Мы свернули с улочки, на которую нам как бы не удалось попасть... Как пояснить?.. Мой приятель хотел мне показать живопись одного художника, и я стоял, рассматривая домик за решеткой, садик, заросший какими-то лопухами, с сухой неровной чашкой недействующего фонтана, погруженной в траву... Я так стоял и переминался, пока мой друг пропал вглубь, договариваясь о визите. Но вот он вышел наконец, сокрушаясь: вдова художника оказалась больна и не могла нас принять. Подобного рода неудачи вдохновляют меня — мы свернули с улочки, на которой не побывали, и попали на еще более удивительную и небывалую. Она уходила из-под ноги влево и вверх, как взмах, именно как жестом руки наведенная. Булыжник, травка между камнями; домики с лесенкой посередине на второй этаж;

человек, несущий связку веников... — все здесь было устроено, как в чистой душе праведный отдых... Вот только доска с названием улицы показалась мне как бы лишней. Такая, с современным вкусом, литая доска с пояснительным текстом. Буквы были хотя и грузинские, но даты — мои. «Вот только эта доска и лишняя, — сказал я приятелю восхищенно, — сними ее — и времени не прошло». И тут же вышел мрачный и небритый человек, оставив толстую жену в окне, с выражением на лице, как после крика, примерился и — содрав доску гвоздодером, скрылся в доме с нею под мышкой. Жена что-то кричала нам в спину. Приятель мой смеялся: «Вот видишь...» — «Неужели?!» — сказал я. «Ей надоело, что все в ее окна заглядывают...» — ответил он.

Такой город... Таким он вырос, таким он был до сих пор. Все ли в нем благополучно насчет коммунальных удобств? Достаточно ли теплых туалетов и горячей воды? Безопасен ли он в противопожарном, так сказать, отношении? Нет, нет, тыщу раз нет. Его необходимо снести весь до основания, а затем... Другого выхода из него нет.

Если вы хотите и сейчас видеть город таким, каким он был всегда, то теперь это возможно только из трех точек...

Хорошо поселиться в центральной высотной гостинице, которую слишком видно отовсюду, — зато с ее высокого этажа замечательно ее не видно: город разбрелся вокруг гостиницы, как коза по лужку — на длину веревки. Отовсюду вы увидите этот кол, лишь только выйдете из гостиницы и обернетесь.

Так же хорошо смотреть на город сверху, поднявшись на гору, где стоит дюралевая тевтонская мать с мечом. Вы увидите этот дивный, просыпавшийся изпод вас город в синеватом табачном дымке. Отсюда, столь уж сверху, даже высотная гостиница не покажется такой уж большой. От переизбытка чувств вы задерете голову и увидите над собой клепаные ноздри алюминевой женщины; как раз над нею прочертит небо ТУ-104, ее брат, равный ей по росту.

Хорошо было бы проверить и еще одну точку, хоть сам я этого не успел. Надо перейти на левый высокий берег, подняться на утес к монастырю, повисшему над рекой, встать возле недавно воздвигнутой под ним ло-

шади, на которой, с мечом же, простирает руку очередной, еще более древний, чем прежде, основатель города, и глянуть вниз на место, где наконец-то снесли злокачественные трущобы, где будет сквер и пионерский бассейн. Это будет вид на город, в котором поместится все, кроме лошади, — я такого не видел... Я бродил там, внизу, по снесенному курятнику, по свалке кирпича, тряпья и консервных банок, отшвыривая носком своего ботинка другой стоптанный ботинок, бродил, как выразились бы археологи, по современному культурному слою и слушал рассказ о том, какие тут еще недавно уживались языки, ремесла и народы, в этом местном вавилончике. Какой здесь был небывалый и ни с чем несравнимый водоворот языка — филологический цветок, клубок наречий, неповторимый, невозстановимый. Диалект жив, пока на нем говорят. На нем говорят, пока есть с кем, пока — вместе. Теперь этого языка уже нет, он расселен с удобствами. Странно было представлять себе это: сносимый бульдозерами пласт человеческой речи, соскобленный языковой слой. Я не поднимался на уровень лошади, зато ее я хорошо видел: спотыкаясь на этой свалке, где город будет и саду цвести, оглядываясь, я все видел занесенным над собой ее победное копыто. Эта кобыла уникальна по архитектурному тщеславию: для того чтобы она соседствовала с украшением, господствовавшим веками над городом, потребовалось «подравнять» утес, на котором стоял монастырь, потому что места для лошади на отвесной линии не было. Но тот, кто, столь на зависть скульптору, выбрал именно это место, видел именно эту линию утеса и из нее вырастил вверх свое сооружение, как прививают культурную ветвь к дичку. И она прижилась. Вот этой-то суммарной линии монастыря и утеса вы больше никогда не увидите: там стоит лошадь, причем стоит нарочито на луче взгляда, так, что всегда постарается заслонить храм своим тяжким крупом от вашего взгляда снизу вверх.

В эту цельную глыбу города, в это живое тело вогнано три точных клина, как в старинной рабьей каменоломне. Трещины эти ширятся по ночам. Скоро уже, скоро город развалится на три части, треснет на дольки, а каждую дольку уже не трудно будет быстро раздробить мелкими клинышками.



Все это благоразумно и целесообразно, хотя иногда и, как кобыла, неэкономно. Но что-то неразумно ноет в душе: дайте дожить! Живое же... — пусть живет. Скоро, скоро умрет само.

Есть в этом городе, есть и в людях вот что: он живет, а не выживает, они как бы не упорны. Выжить можно лишь в новом качестве, а прежнее качество — это ваша душа, а другой у вас нет. Верность обрекается на умирание, измена — на жизнь. И раз люди иначе жить не могут — они исчезнут, они не выстоят внутри поменявшихся значений, ибо не захотят их поменять. Может показаться: по лености, по нежизнестойкости. Но какая же это стойкость: вымереть таким, каким ты рожден! Они кичатся перед соседями, трагически распыленными по миру, но всюду выживающими, что у них нет эмиграции, что они нигде больше жить не могут. Они нигде жить не могут, но и здесь их становится все меньше. Ибо то, что не захочет себе изменить, вымрет. Поголубеет кровь, и не свернется, и вытечет по капле из легких царапинок, почти случайно нанесенных...

Кто мне объяснит, куда подевались все этажерки? Какому объяснению я поверю?.. Если даже от блокады у нас в доме уцелела бамбуковая этажерка, по-видимому потому, что всем было очевидно, что тепла она даст, вспыхнув и тут же прогорев, не больше, чем спичка... если она даже блокаду пережила, то куда потом подевался ее бесплотный желтый скелетик, оставив во мне на всю жизнь свое поскрипывание и шаткость, когда я вытирал с нее порученную мне пыль?.. Кому однажды надоело эту пыль вытирать, кто не вытерпел, что на нее нечего положить, и что же все-таки клали на этажерки в то, этажерочное время? И если никого не удивляла необходимость вытирать с нее пыль в течение десятков лет, то на какое утро вдруг это стало так раздражать? В какой миг мы сообразили, что если бы ее всю жизнь не вытирать, да перемножить время вытирания на число тряпок, то получится сервант? Куда мы так заспешили, что стали, чертыхаясь на бегу, зацепляться карманами за ее нелепые полочки и палочки? Когда будильники наши нервно затикали, отменив мерный ход почти неподвижного маятника, не торопившего стрелки? Когда я заменил визиты на письма, письма на открытки, открытки на телефонные звонки, а телефон

отключил? И почему сейчас я с умилением вспоминаю эту глупую этажерку, когда даже мне очевидно, что этажерка и на самом деле необычайно неудобная, нелепая, никчемная вещь, не только утратившая, но и не имевшая назначения?.. Что за слезы на свалке?! Не унывай, не стоит.

Так мне скажут...

Выживет — живое, слабое — отомрет. Что за странная страсть к обреченному? Будто, если что-нибудь хорошо, то обречено, а все, что обречено, — хорошо. Это не так. Не стоит. Нечего.

А — жаль.

Здесь можно жить, здесь живете не вы. Здесь приживется даже злой, угрюмо никому не делая зла. Здесь — оседают.

...Как будто вы уже жили однажды... Такое мирное и любовное узнавание во всем, словно вам еще раз и ненадолго разрешили посетить... И вы пришли на службу, на которой служили когда-то, переложили официальную бумажку с места на место, сдули пыль со стола, подозвали кого-нибудь к телефону: «Одну минуточку...» День прошел. Домой... Встретили приятеля старого, он вас вспомнил, обнял, трепетно похлопал по крылу, вам по пути... выпили стаканчик-другой, еще кое-кем из друзей обросли, еще куда-то пошли, где именно всех вас вместе «очень ждали»... а вдруг рассыпались куда-то друзья, осыпались, как листья, и вы один — по вздымающейся улочке, по искрящимся камням, по которым уже не цокают копыта и фаэтон не катит навстречу — последняя искра остыла единственной звездой. Ветер повеет то теплом из застоявшегося переулка, то свежестью холмов. Еще за угол — и ваш дом... В руках у вас огромный бумажный кулек, как букет роз; в нем пряники, и макароны, и два граната сверху, — нельзя пустым прийти в дом... но кто же знал, что вы домой вернетесь: ни сеточки, ни кошелочки, ни той авоськи, которые расходятся отсюда по всей необъятной стране, у вас опять не оказалось. Неудобно как-то мужчине — с кошелкой... Ступеньки на вашей лесенке какие-то громкие, дырявые... Да не лай ты, господи! совсем старый дурак стал, не узнаешь, родной... я же домой пришел... Одно и светится окно — твое... Жена теребит свою старушечью косу... Посмотрит с нежным неудовольствием — то ли ты

уже десять лет дома не был, то ли опять, как вчера, домой не вернулся... Господи, эта женщина — женщина и есть: она так полагает, что ты ее муж, не надо ее расстраивать, она хорошая, наверное, женщина, думает, что она твоя жена, так считает, пусть считает... она думает, что ты живой... ну, глупая, конечно... зачем ужинать? тебе ничего не надо, там, откуда ты вернулся, ничего не едят, уже покушал, спасибо... а теперь, обняв тюфяк, будто на крышу идешь спать, на звезду будто хочешь посмотреть, тихо-тихо уходи потихоньку навсегда, пока жена посапывает, и дочь посапывает, и сын выкрутил лампочку под одеялом... тихо-тихо, опрокидывая тазы и фикусы и путаясь в зарослях белья, через балкончик, по пожарной лестнице, туда, на чердак, где коричневый лук висит в коричневом окошке, отменяя живопись... уходишь вверх навсегда, пока не придется тебе завтра тащить сюда же неведомо откуда образовавшийся некрасивый рассыпающийся кулек, прижимая его к растущему, однако, животу...

Вы уходите навсегда, вы всегда возвращаетесь.

Вы сворачиваете. Ах, девятнадцатый век был еще так недавно! В нем можно было случайно застрять и осесть. То есть я хотел сказать, что в этом городе хочется осесть. Но тут же вы понимаете, что это невозможно. Потому что не девятнадцатый век. То есть город — это так, да не про вас.

Как странно понимать, что это чье-то, не ваше дело... А вы-то так почувствовали, так полюбили, так поняли! А это — зависть.

Вы так бескорыстно, так всем сердцем восхищены, что на вас начинают смотреть косо, подозревать в задней мысли. А какая — задняя, когда она впереди и вы гоните ее перед собой, боясь отстать. Ах, это интернациональная пошлость — чувство неловкости перед другими, чем вы...

Но ни в одной-то мысли вы себе не признаетесь, ни в одной... Вы так сумеете восхититься и полюбить все чужое, что не покажетесь себе захватчиком. Вы же не требуете такой же любви к своей родине, какую источаете к чужой, и подлинность этого восхищения будет, по вашему мнению, искуплением более чем достаточным, потому что вы уже не отвечаете ни за род, ни за отечество, вы в нем не виноваты. Именно за это вы

кажетесь себе достойным ответной любви. Вы все примете по незадумчивости, по праву. Вы позволяете хозяевам, как бы стесняясь и только чтобы не нарушить обычай и их не обидеть, произнести за себя тост и заплатить за стол...

Выплюньте кусок невинного барашка, оторвите лишние годы от коньяка, скажите, кто вы такой, в конце концов, нарушьте неправильно понятый вами обычай — пусть вас побьют... Отойдите от гостеприимного стола, размазывая несправедливые слезы по своему лицу, как чужие... Вы сворачиваете.

Вы сворачиваете, переплатив вдвое за разбавленное пиво и отравленные вокзальные манты, вы совершенно один, девушки на вас не смотрят, бритва перестала брать щетину, обувь трет, и кислая резь в животе. Вы сворачиваете.

...Улица поблескивает неровным булыжником, вздымается вверх и вправо, и, сквозь теплый черный воздух, загорается в конце этой улицы одна звезда.

Там кончается город, верхние погашены этажи его — горы, утром они первые зарозовеют.

Как светло в этих потемках!

Что за незадумчивая власть врожденного образа... Будто человек, родившись, раз и навсегда отпечатал первое впечатление на младенческой сетчатке, оттого именно такой потом выткет ковер, именно так построит дом, именно такую выкует решетку, именно такой получит кладбищенский крест. Эта цельность натянута в вашей душе и поет как струна: вы слышите родную песню, и слова ее — это вы.

## **ФЕНОМЕН НОРМЫ**

Оправдывать случайность этих заметок можно еще и тем, что явление, к которому я здесь прикоснусь, хотя уже и не является неизвестным или секретным, но и не стало еще заученным и замонаграфированным, не стало еще, в широком смысле, и достаточно популярным, оно еще живо, и живет, и не может быть подвергнуто дистанции и академической оценке, поэтому ему все на благо и в погибель: любое добавление к славе (в том числе и мое) послужит ему и не исчерпает еще ни мо-

лодости, ни заслуг, хотя и любое приближение к заслуженной признанности есть приближение к старости, к завершению, к смерти, как неизбежно кончается любое явление, каждый процесс, любой взлет и т. д. Но поскольку до этого еще очень далеко, то это уныние можно сразу отвергнуть и упрек с себя снять, ибо и акушеры в каком-то смысле приближают человека к смерти, что и есть норма жизни.

Слово «норма» произнесено. Я обопрусь на него, чтобы суметь сказать о норме. О той прекрасной, желанной, долгожданной, как вода и воздух.

Помнится, в детстве было это нормальным словечком, почти жаргонным, почти от бедности словаря и недоразвитости, — но почему-то именно это словечко: «нормальный парень», «нормальное кино», — с восклицательным знаком, как превосходная степень. «Норма» была окружена «не нормой» более разнообразно: «псих какой-то ненормальный, недоразвитый...», или: «вранье, глупости», короче: «Да ну его!» Общеизвестно, что дети ненормальностей не любят: уродов, пьяных, фальшивых, — тут они категоричны и строги. У них обостренное чувство нормы.

Позже «хлебной нормы», в менее голодное время, смысл «нормы» как ходового словечка стал более снисходительным: нормальное — в смысле неплохое, но и ничего особенного. Еще позже, ближе к нам, — даже пренебрежительное: в смысле «всего лишь», в смысле «и только». Будто сами-то мы стали безусловно выше нормы, мы ее превзошли и привыкли обращать свой взор лишь на что-то из ряда вон...

Так развивалось это слово, по крайней мере вокруг меня, вместе со мной. Пока не наступил день совсем уж сегодняшний, когда в слове «норма», как мне кажется, снова забрезжила возможность почти прежней, детской его жизни.

Все как будто стремишься куда-то. Все стремишься, стремишься, все куда-то и куда-то. Вперед и вверх. Вдруг запыхаешься, то ли устанешь, то ли состаришься бегучи: глядь — а стоит ли что-нибудь по назначению и удобно? Стоит. И вроде бы не стоит: как-то криво, кое-как, на бегу, недорисовано, недоделано, даже недоброшено рисовать или делать... Присядь, пожалуйста, на секунду, закури, подумай: пока ты бежишь так стре-

нительно, что слово «норма» для тебя — что-то уже ниже «нашей» (моей-твоей) нормы, пока ты мчишься вот так, много ли после тебя останется?

Как бы так... чтобы на стуле можно было сидеть, в окно смотреть, в поезде — ехать, хлеб — жевать, воду — пить и воздухом — дышать, слово — произносить... Чтобы предметам соответствовали свои имена и назначения, и при этом они не переставали ими быть, как место для сидения, смотровая щель, транспортное средство, пищевой продукт, парк культуры и зона отдыха... Общественные нормы.

Но как же поразился я однажды, расслышав в гуле суеты своей и музыку Моцарта, что наконец-то, выступая в роли ценителя, я всем доволен, ее слушая. Что как-то давно я не был всем доволен. Не то чтобы ничего хорошего не слышал... Но все было как-то то с одной стороны, то с другой — полноты никакой не было. А вот тут — была. И не потому что она была в каком-нибудь одном отношении лучше всех, эта музыка. Как все время что-нибудь да лучше чего-нибудь, прогрессируя на бегу. А потому, что она была вся, что в ней все было, что в ней все было правильно, все соответствовало, все было нормально. В ней не было ни односторонности, ни ошибки. Это была божественная норма. Та же самая, что и в природе, — Норма творения.

Я говорю о той норме чувствования, о высшей, трепетной норме, тонком балансе, остановке в полете, когда радость жизни еще не утрачена и в то же время ты способен потерять ее в любой момент, но продолжаешь жить и жить в этом неустойчивом и подвижном равновесии, — о той форме чувствования, при которой разве что не сходишь с ума, — о счастье.

Странно, так обозначив угол зрения, заводить разговор о кино... Если нормальный человек отчасти представит себе, что такое кино и как оно делается, то он поймет, что снять нормальный фильм невозможно. Это трюизм, хотя бы по Чапеку. Невозможным покажется даже снять плохой фильм, не то что нормальный в упомянутом нами смысле. И если иногда получаются нормальные фильмы — это не доказательство возможности, это феноменология, это чудо, это — как жизнь на Земле, возможно лишь где-то в бесконечности повторенная.

Невозможно представить себе творение искусства, созданное коллективом промышленности. Но сами те, кто в область кино ввариваются по сюжету своей жизни, не считают это невозможным, неудачи им уже ничего не доказывают, потому что мир кино, дабы поддерживать факт своего феноменологического существования, прежде всего вооружен точным оружием сумасшествия и ограничения тех, кто попал в него на работу. Там все сошли с ума, прямо с порога киностудии. Никто уже не напрасен в своих усилиях, все приобщены. С потери-то чувства нормы в каждом из участников процесса создания фильма и начинается кино. И все становится возможным. То есть становится возможным соединить напрасность своих усилий с бессмысленностью чужих, не страдая от растраты, не учитывая затрат до тех пор, пока в сумме всего этого не получится вообще фильм, кем-то принятая работа. Все это удастся лишь благодаря потере того чувства нормы, которое я как-то описал. Которое прежде всего должно руководить творцом. Парадоксально лишь то, что те, кому в этом млечном по бесконечности мире кинематографа удастся населить некую случайную и исключительную землю и создать н о р м а л ь н ы й фильм, создают его лишь в том случае, если, несмотря ни на что, не растворят своего одиночества в огромном и безумном, перекошенном от пафоса и посвященности, коллективе и аппарате и сохраняют в себе это чувство нормы. Они в таком случае — абсолютные подвижники и герои, автоматически причисляемые к рангу святых. Это н о р м а л ь н ы е святые.

Надо обладать поистине трагическим даром нормы, чтобы суметь снять нормальную картину. Тут приходит в голову, что самый сильный дар — это изначально самая сильная неодаренность. Живописец и музыкант в этом смысле отпадают — это люди, счастливо и очевидно, как правило с детства, одаренные. И поэт к ним прилежит своим кратким, соловьиным дыханием жизни. Остаются — писатель и никто. Никто — это не живописец, не музыкант, даже не писатель — режиссер, если он разовьет в себе отсутствие дара и достигнет этой последней возможности воплощения. Режиссер использует творцов как исполнителей, пользуется чужим даром почти даром. Поэтому режиссеры так часто немножко

пишут, рисуют или поют, то есть это вообще одаренные люди. Более несчастных людей, чем люди вообще одаренные, представить себе трудно. Такой человек может быть разве что богатым путешественником или ценителем женщин, но тут уж не дар, а случай выберет вам судьбу или обделит. Можно и не выиграть в эту лотерею. Хотя дар — это тоже случай. Но человек вообще одаренный и не могущий выбрать одну из своих сторон эксплуатации и развитию — это ведь опять большая норма и равномерность, чем один, ясно выраженный за счет чего-то другого дар. Так что режиссер прежде всего одарен нормой (не будем говорить, сколько у него ее останется в результате), правда, как правило, этот дар нормы не выражен как у Феллини, а выражен как ограниченность. Ибо другого способа наделить себя энергией, достаточной для создания фильма, нет. Потому что энергия для режиссера, как звуки — для музыканта, краски — для живописца, слово — для поэта. Энергия — его материал. Ибо кино — это ненормально в принципе. Его делают семьдесят семь нянек...

Грубо можно выделить две тенденции в кинематографе: умножение творцов — 5 сценаристов, 2 режиссера, 2 оператора и т. д., — и слияние их. Слиться в одном лице — сценаристу, режиссеру, исполнителю главной роли, композитору, оператору и продюсеру — вот мечта любого настоящего режиссера.

Чаплин — един в пяти лицах, Уэллес — в четырех. Но и им не удержать еще и киноаппарат в руках, чтобы самим себя снять. Есть режиссеры, которые раньше были операторами. Но оператор и режиссер в одном лице — явление только документального кино.

Чаще всего это стремление слиться ограничивается числом два — сценарист и режиссер, режиссер и сценарист.

На этом слиянии, на этом кентавре, мы и остановимся, то есть поедем.

## РЕЖИССЕР

О подлинном мастере говорить трудно хотя бы потому, что он сам все сказал. Я начинаю свой рассказ о трех грузинских мастерах с самого трудного для



меня... Следом, как мне сейчас кажется, будут два портрета, которые дадутся более легко. Потому что в тех двоих не будет окончательной выраженности первого и поэтому более допустима станет трактовка и моя воля. Я вовсе не хочу сказать, что кто-нибудь из трех лучше: я из них не выбираю — я их принимаю. Но как бы разными системами чувств: зрением, осязанием, слухом... или — головой, печенью, сердцем... Одним восхищаюсь, другому завидую, третьего — понимаю.

Итак, я приступаю, и в этом, первом случае мне трудно обойтись лишь своим пониманием предмета изображения: столь сильно и убедительно говорит сам этот предмет, вкладывая в меня прежде, чем я успеваю «растечься мыслию по дереву», не мне, а ему самому присущее понимание мира как предмета изображения, мира, в котором помещены и он и я. Причем именно сегодняшнего мира, сейчасшного, который перед глазами, непонятный еще как течение времени, подхвативший нас и понесший за собою...

Подлинные художники — неизбежно современны. Даже если они пишут исторические полотна, или предаются фантазии, или очищают мир до голых абстракций. Они неизбежно современны, потому что выразят время, себя в этом времени и в форме ли отрицания, в форме ли побега, в форме ли мечты, но выразят именно это мгновение общей жизни, что и сделает их впоследствии неподражаемыми и неповторимыми.

Итак, художники — современны, если подлинны. Но художник, занятый именно современностью, текущим мгновением, окружающим состоянием мира, улавливающий процесс, скрыто идущий именно сейчас, и создающий образ и символ современности внутри самой этой современности, без набросков, без времени, чтобы отойти от полотна и увидеть целое, без акварелизма неуловимого мгновения; художник, и в таких условиях создающий свой символ твердо, внятно и истинно — навсегда, художник, предлагающий нам осмысленное прочтение мира, одновременного с нами, не завтра, а сегодня (иногда даже вчера); художник, способный осмыслить целое без предъявления целого целиком, своего рода палеонтолог будущего, восстанавливающий нас в завтрашнем дне по осколку сегодняшнего, такой художник — наперечет, такого художника почти нет. Потому что тут

мало любить искусство, мало быть честным, умным и одаренным, трудолюбивым... надо совершать подвиг. Вот когда «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь»! Мы видим только результат — такой художник не оставил нам следов своих благородных усилий. Мы можем почти не заметить, как это случилось, что с какого-то момента смотрим на жизнь его глазами — узнаем. И еще через небольшое время, посмотрев, скажем, полюбившийся чем-то фильм вторично, уже не сможем определить, художник ли был так точен, что отобразил именно тот мир, который мы знаем, или мы уже видим мир по его «подсказке» и наш взгляд обвешен ею.

Именно такого рода редкий художник — режиссер Отар Иоселиани. Это современный художник, уже успевший много рассказать о современном состоянии мира, открывающий художественную формулу времени, художественный закон образа с той же точностью, с какой делается новое научное открытие. Но с той возвышающей разницей, что, кроме того, что этот закон действовал всегда, а мы его до сих пор не знали (как в науке), внутри него открыт и тот закон, который действует только сейчас, которого, может быть, вчера еще не было.

«Листопад» (1967) был первой полнометражной картиной Иоселиани и принес ему первый заслуженный успех (до этого у него была снята малометражная картина, замеченная профессионалами и не дошедшая до широкого зрителя). Критика захлебнулась, зритель запомнил, картину повезли в Париж. Там тоже удивились.

Картина того стоила. Она и вся была цельна, жива, умна, но особо выделились в ней две части: первая и еще одна. Первая была своего рода заставкой, эпиграфом — немая медленная часть. Тихими, нежными и будто неумелыми движениями прикасаются в ней люди к этому миру: отрезают виноградную кисть, укладывают ее в корзину, скоблят кувшин, дают виноград, разливают вино. Так мать пеленает, как они живут... И вдруг посмотрят на вас с экрана, на пришельцев, в зал, незнающим, не враждебным взглядом. Этот взгляд я и запомнил сильнее всего, вжался в кресло (даром что в темноте!), как-то не по себе мне стало под этим внезапным, застенчивым и умным крестьянским взглядом. Будто я их покинул... Так это же все старики! — вдруг догадался

я. — И пьют в конце, и поют старики... Вот так вино делали всегда, тыщи лет, как они. Вот откуда эта тщательность, эта внимательность и осторожность — это не от неумения, а от старости, от памяти. Теперь вино делают иначе — об этом уже весь остальной фильм.

Много можно говорить и о первом фильме Иоселиани, много было и сказано, но после второй, последней его картины, «Жил певчий дрозд» (1972), говорить много не хочется. В «Дрозде» Иоселиани довел до совершенства поиски, начатые в «Листопаде», и если в «Листопаде» лишь два эпизода поднимаются до общего уровня «Дрозда», то в «Дрозде» лишь один эпизод, и то быть может, снижается до уровня «Листопада». Нормальный рост.

Когда вдумчивый и старательный современник задумывается над пропорцией жизни и пытается, не повредив масштаба, перевести ее в изображение, обозримое и доступное постороннему взгляду, — то это доклад, то это отчет, которые могут быть выпуклыми и исключительно содержательными. Когда художник берется за очевидную случайность, нелепость, то, если он выдержит, не упустит, не оборвет нить, за которую уцепился, и разматывает клубок — может оказаться художественное открытие. Несчастный случай, почти каждому повезло это видеть: бежишь, опаздываешь... все в тебе занято до предела, напряжено — некогда! Вдруг — сумятица, визг тормозов, толпа с паузой на лице... страшно, нелепо, жизнь! — и нет... вдруг тебе не так уже и спешится, не так уж надо, куда ты бежал... Но, через недолгое время, мы снова мчимся туда же, наращивая упущенное, упуская...

Несчастный? случай? — художник задал себе вопрос и, с мудрым осязанием в пальцах, стал отматывать назад нить времени, и она не оборвалась. На другом конце ее оказался молодой человек, выбравшийся на лоно, блаженно вытягивающийся на траве, — небо, ущелье, трава, облака, пение птиц и мелодия, которая звучит в его голове среди этого согласия тишины. Тезис, на который в «Листопаде» ушла часть, здесь занял несколько метров пленки. Зато тезису здесь противопоставлен уже не организованный антитезис, а жизнь, понятая художником. Тишину и мелодию разрывает законный шум трафика — гудки, рев моторов, пение тормозов... На ветке за окном сидит дрозд и поет. Он поет

самозабвенно, его не слышно. Кажется, что гудки, трески и визги несутся из птичьего горла. А в комнате наш герой торопится и, как всегда, опаздывает на работу. Он мчится по улице, выскальзывая из-под машин, и поспевает ровно к тому такту оперы, когда ему следует ударить в литавру. Он — ударник в оркестре. И композитор в душе. Несколько раз на протяжении фильма снова звучит та фраза, из той мелодии, что напела ему на титрах загородная тишина, но обрывается безумным броуновским движением жизни, в котором герой является как бы самой легкой частичкой, отлетающей в сторону от любого толчка или удара. И только трижды за фильм он успевает что-то вовремя, а именно: в последнюю секунду, на лету пристегивая манишку, впорхнуть в оркестровую яму и ударить в барабан, под испепеляющим взглядом дирижера. И когда он успевает это в третий раз, незадолго до своего трагического конца, — то какими счастливыми, какими благодарными аплодисментами разражается зал!.. Поэтому даже грубостью может показаться, когда режиссер все-таки переезжает его, бегущего через улицу, засмотревшегося на девушку... Чуть ли ни с того ни с сего. Но нет, этот случай начался тогда, на титрах, в тишине — Иоселиани знал, что делал, когда готовил зрителю этот удар.

Незаметно и неизбежно набегали в фильме ряды, так же случайны и нелепы казались мелкие эпизодики, не то подталкивавшие героя к внезапной, как они, смерти, не то репетировавшие, не без пародии, будущую гибель. С предельным вкусом и музыкальной точностью распределил Иоселиани по фильму эти ужимки и гримаски судьбы. Никогда бы не заподозрили мы, что это всерьез, а это оказалось — всерьез. Ведь в самом начале фильма герою показали точно такой же, симметричный, несчастный случай — герой не протискался в толпу... несколько раз он рискованно переходил дорогу, и ревели тормоза, и герой обезоруживающе улыбался разгневанному водителю (сюжет ведь опять прост, такой сюжет могло заказать ГАИ, вопрос, кто берется за него...), и совсем нелепые угрозы строит жизнь и дальше нашему герою: па него чуть не упал с грузинского балкончика ящик с пальмой (как положено в кинокомедии, взорвался под самым носом); герой чуть не попал под доску, когда разбирали леса; чуть не провалился, как Чаплин, в люк

в театре — то есть тысячи «чуть», — много было счастливых случаев у героя, прежде чем произошел несчастный, один к десяти, а до того, за двадцать семь лет, таких случаев, значит, были тысячи. В том-то и дело, что последний случай мог быть только один.

Этот ряд несчастных-счастливых случаев — прямой. Более сложно выткан узор социальных столкновений героя. Угрожающий ряд прочных практиков, полезных людей служит стоячим упреком нашему ходячему герою на всем протяжении фильма: часовщик, к которому заходит от нечего делать наш бездельник, не подымает головы; дирижер, гневающийся на его опоздания; однокашник, выросший в хирургическую звезду; вундеркинд от техники; художник у мольберта — все они смотрят на героя не то что с осуждением, но чуть ли не как на пришельца из того мира, в который он вот-вот удалится. И рядом с ними наш герой тоже создает что-то руками, все он что-то крутит — ни секунды покоя: надевает на шею секретарше ожерелье из скрепок; лепит нелепую фигурку из пластилина в операционной; накручивает на карандаш художника проволочку юного техника, и пружинка продолжает качаться после его ухода; и наконец, самое полезное: мастерит крючок для кепки в часовой мастерской. И когда героя уже нет в живых — последний, убийственный и нежный, кадр: мастер вешает кепку на крючок, вместо того чтобы бросить ее на подоконник, и улыбается, вспомнив о нашем герое, не зная, что его уже нет в живых.

Герой — нежилец, слишком плотный разумный мир противостоит и вытесняет его. Он все время чудовищно занят устройством чужих дел, услугами, заботой — и это основной ряд фильма — бесплодный, досадный, страшный. Он и секунды не пожил для себя за все время, что мы его видим, а в результате только гвоздик для кепки прибил. Но и это чудо, но и это — так немало.

На музыку ему не хватает времени, потому что он все свое время кому-то обещал, будто он его у кого-то занял и теперь кому-то его должен. Но — вот что: не так уж он, оказывается, и незаменим. Целый день он проводит в организации самой возможности попасть к тетушке на именины (неудобно — она обидится); чудом, но он к ней попадает. Он аккомпанирует — вот почему без него нельзя было обойтись. Но вот он подманивает

свою соседку и уступает ей место (как водитель водителю руль на ходу). Она играет — он тихо испаряется, незамеченный, чтобы поспеть еще куда-то. Он заменим. Его отсутствие незаметно. Его нет. И дом героя, вся обстановка — бесполезные, устаревшие, ненужные вещи окружают героя — неторопливые, пыльные, нежные. Их уже нет в этом мире. Они уже всюду рассыпались в прах — здесь как-то уцелели...

И если посмотреть фильм второй, третий раз, так, чтобы расплелась каждая ниточка этой сложной, искусно сплетенной косы повествования, то вдруг заголлится жизнь, какая-то ее пыльная изнанка, вроде закулисной части сцены, где околачивается герой: какие-то леса, условность, недомалеванность, кое-как — халтура и непрочность всей жизни просвечивают сквозь декорации, и, раз попав туда, бесстрашно и бесполезно мечется наш герой в поисках применения.

Музыка создавалась в тихом мире. Человек жил в этом мире всю свою историю — тыщи лет. Однажды его разбудил прохот за окном... И человек не услышал звучащей в нем вчера музыки. Идеалы и образы прошлого, немые, все еще циркулировали в его крови, а в реальном и быстром настоящем времени герой не успевал накопить опыт. Разрыв был болезнен, но, видя вокруг прочно занятых и справляющихся, как ему казалось, людей, считая себя таким же, как они, герой не постигал своей муки неустроенности, да и не полагал ее мукой. Потому что причина муки и не таилась в чем-то конкретном, преодолимом — причина была нематериальна. Как у Маркеса кто-то без конца фотографировал пустую комнату, чтобы однажды сфотографировать в ней бога, с тем же успехом, казалось бы, можно было пытаться снять на кинопленту нереальность нашего героя, понятую не просто как комедийную непригодность и неприменимость, а как философскую категорию разрыва души и тела, нового времени и древней крови, музыки и шума.

У музыканта — звук, у художника — цвет, говорили мы, у поэта — слово... и не находили ничего для режиссера. Для режиссера остался удивительный элемент, совершенно свободный как материал искусства, — физическое время. Время в этом смысле — звук киноязыка. Иоселиани скорее, чем кто-либо другой из наших режис-

серов, стилист времени — ленты его в этом смысле являются именно киноискусством, наименее всего занявшим у театра, живописи, литературы — тех искусств, которые кино якобы синтезировало. В «Листопаде» Иоселиани открыл для себя дифференциал времени, противопоставив первую часть всему фильму, в «Дрозде», в этом же смысле, он открыл интегральное исчисление.

Только художники, занятые современностью, могут заговорить на языке своего времени, то есть на том, на каком до них никто никогда, и в самом великом искусстве прошлого, — не говорил.

Интересно было бы взглянуть на такого..

То ли грузины плохо помнят свои адреса?.. Все мысли о нации — слабы. В который раз я взбираюсь по той же крутой улочке, на которой зря ступенек нет. Не нарочно же, диктуя адрес, перепутывать номера дома и квартиры? Я старался не подключить мнительность. Очень было бы обидно. Хотя, что и говорить, знаменитое гостеприимство, перекочевав в эпоху наших коммуникаций, может стать для хозяина зловещей традицией. На память, кстати, приходит эпизод из «Дрозда», в котором, в апогее суеты и неуспевания, к герою является погостить туристская пара. Кажется, герой не может вспомнить имени их рекомендателя. Какой точный эпизод, думаю я. Тем более что Грузия у нас одна, Тбилиси один, твой дом один, а ты-то сам, ты-то! Бесспорно, что один такой режиссер — Отар Иоселиани. Однако я склонен объяснять эту, чаще, чем у нас, встречающуюся путаницу в цифрах иначе: для них все еще естественнее произнести «дом такого-то», чем «дом номер такой-то». Надо было мне, чем искать неправильный номер дома, спросить «дом Иоселиани». И толстый усатый лентяй в майке, свесившись с балкона бок о бок с полосатым матрасом и, может, поэтому имевший смешное сходство с тигром, рассмотрев меня и взвесив, совершил бы наконец подвиг перемены позы, чтобы ткнуть пальцем в дом напротив. Я бы дернул за сохранившуюся медную пуговицу, и где-то в пыльном неведомом удалении, которое мне предстояло, прозвякал бы, к моему удивлению, колокольчик... Долго бы никто не открывал, долго бы рассматривал я глухую дверь с чувством, с каким

рассматриваешь внутреннюю сторону век, долго бы шаркали шаги, открывалась бы дверь — я бы опять думал, что не туда попал, извиняясь за себя перед высоким худым стариком, извиняясь, что я такой: не туда все попадаю, — он бы смотрел на меня с тем любопытством, которое особенно живо на лицах людей, всегда сохраняющих собственное достоинство. «Здесь живет Отар Иоселиани?»

«Это мой сын», — с некоторым удовлетворением отметит отец и впустит меня. Мы проследуем по небольшой лестнице на бельэтаж. Он предложит мне пройти направо, а сам уйдет налево, и больше я его не увижу. Отар (это его почему-то характеризует) расцелует меня, глядя мимо, будто не меня целуя. Так он спрячет взгляд сначала слева, потом справа, а потом пройдет вперед. Получится, что я его просто чудом застал — он как раз уезжает. С одной стороны, выходит, удача. Я присутствую при сборах кинорежиссера в дорогу. «Русский товарищ навестил грузинского режиссера накануне его отъезда по приглашению эстонских кинематографистов».

Собирается он с удовольствием. Его дом его окружает. Мне, рассмотревшему его фильмы, интересно здесь озиаться. Вот выцветший гобелен, вытканый из сумрака и пыли, вот знакомая мне бамбуковая этажерка, рассыпавшаяся в прах в моем детстве, вот не то фарфоровая борзая, не то пастушок со свирелью, теперь уж и не помню что. Вот его дочка, которая лепит, рисует, играет на пианино — вот то, что она слепила, вот, что нарисовала, вот — песенка без слов... Все то, что уцелело от эпох и торгов в силу того, что не имеет стоимости (никто бы и не купил), в этом доме еще стоит, служит и узнается как бесценное. А вот на стене фотографии, и будто я их уже видел... Очень уж любили когда-то сниматься. Доверяли граммофону. Задние стоят на стульях, а самые передние — уже лежат на полу, опершись друг о друга головами. Беспечные, однополчане и земские, выпускники и присяжные, будто пытаются остановить время, которое проходит. Знали бы, что совсем уйдет, знали бы, как кстати успели сфотографироваться... Как много было мужчин когда-то... Так это же первый эпизод «Листопада»! Очень много мужчин на фотографиях, и только женщины сидят вокруг стола живые. Я видел эти фотографии в кино, я вижу



их на стенах. Единственный мужчина в доме — персонаж времени, персонаж Отара.

Так я озираюсь, примитивно знакомясь с миром художника, удовлетворяясь сходством, по первому слою. Имея такое лицо, думаю я, глядя в Отарово, и действительно необычайно длинное лицо, не мудрено знать и понимать в лицах... А понимать лицо — это все для кино. Может, всего два-три режиссера и понимают... «И те носки, — говорит Отар, прерывая и разметывая мои соображения, — которые, помнишь, я в прошлый раз из Москвы привез, — диктует режиссер жене, — красные, с зеленой полосой, шерстяные, толстые, и шнурки, длинные, белые...» У режиссера мозоль. Значит, так — он берет с собою свитер черный, туристские ботинки, рубашки — одной хватит: эту он на себя наденет, — больше он ничего не берет. Детали его сцен лаконичны и отобраны, как вещи с собою; содержимое саквояжа лаконично, как сцена. И опять то же удивление: я ли видел Тбилиси и раньше таким, каким отснял его Отар, или теперь я вижу его таким, после того, как Отар мне его показал? Отар ли живет, как его герои, или его герои живут, как Отар? Отражен его мир или выражен? Что мы узнаем и в чем? Мир — в отражении или знакомое нам отражение — в мире? Мир, которым нас поразит художник, находится на расстоянии вытянутой руки. Сличая мир, им выраженный, с миром, его окружавшим, я обнаруживал, что Отар ничего не искал, а это означало, что все нашлось само, сунулось под руку, всегда было. Казалось бы, просто... Надо было только родиться в этом доме, на этой улице, в этом городе, в наше с вами время — нет более исключительных условий для рождения конкретного, именно этого таланта. «И положи в саквояж ту мою, такую длинную записную книжку... — вспоминает Отар, вдевая длинные шнурки в толстые ботинки. — Как бы я хотел, — крихтя, говорит Отар, шнуруя и взглядывая на меня снизу своим длинным лицом. — Как бы я хотел, чтобы ты ко мне приехал...»

## ВЕЧЕР В ТБИЛИСИ

Зато окажется, что когда вас позавчера познакомили на улице, а вы не запомнили имени, то «заходите» — было сказано всерьез, а ваше «да, да, конечно» стало

обещанием. Окажется, что это очень трудно — выкроить время в своем полном бездельи на этот внезапный вечер — целая деятельность. Суэта подымает случай на уровень мероприятия. Вы идете «в один дом, послушать музыку»...

(Незримый дух Отара ставит мне этот эпизод...)

Вы ничем не обладаете, кроме доверия к вашему спутнику, — ни временем, ни представлением. Эта система доверия и неведения будит воображение. Вы не можете вспомнить какой-то воздух, какую-то оскомину: что-то напоминает вам ваше ощущение с великой степенью неопределенности, с неподтвержденной конкретностью... Вы погружаетесь в детство. Вас за руку ведут. Вы идете «в один дом» — перед вашими глазами встает такой «вообще дом» почему-то с маленькими колоннами, балконом, деревом, черт знает почему — не такие дома выстроены в вашем опыте, а представляете вы себе всю жизнь именно такой; он уцелел в одном лишь вашем мысленном взоре, на грани сна... Эта инфантильная неопределенность — романтична, даже романична, то есть откуда-то вычитана или вычтена. В вас выделяется позитивизм. Но вы подходите наконец к вашей цели — и это именно такой дом и есть, даже какое-то подобие колонн... не то чтобы колонны, но все-таки... Напротив, за забором, и ночью строят: там рев бульдозера, слепой луч прожектора, как в зоне, растворяющийся в небесной черноте недостроенный небоскреб, грузинский СЭВ. Значит, по соседству с вашим огромным недостроенным современным опытом все еще уцелел и этот домик, как младенческое воспоминание: то ли вы сами его помните, то ли вам мама рассказала. Вы идете «в один дом», «в одно славное семейство», и в вашем голом, вычитанном воображении — гостиная, картина, скатерть, вишневое варенье и размытые лица хозяев вокруг стола, выражающие сердечность и достоинство, свидетельствующие почему-то о любви именно к вам, — с чего бы это? И во всей этой приятной приблизительности на вопрос: «Куда же мы все-таки идем?» — особенно сладко увязает: «Нана — замечательная девушка». Это мнение подтверждает и встреченный по дороге еще один приятель: он присоединяется к нам. И хотя «замечательной» можно лишь стать, а девушкой — надо быть, эта невеста ждет вас.

Чего вы ждете?

Все оказывается таким. И даже еще более таким, чем вы себе несознательно воображали. Вас впускают. Неужто горничная?..

По маленькой лесенке вас проводят и оставляют в маленькой промежуточной комнате, где есть большое зеркало, и мягкие кресла, и прикрыты двери, ведущие вглубь. Комнатка не вполне ясного мне назначения — для прихожей слишком обставленная, для комнаты — нежилая. Сюда вынесено кое-что лишнее из дальнейших неведомых мне комнат: рояль, на котором нам будут играть, шкафы со случайными книгами, старинный письменный столик на трепетных ножках, на котором только и можно написать что три строки на четвертушке бумаги — стол выдержит еще один почтовый поцелуй и будто случайно лежащий именно здесь фотоальбом.

Мои друзья стоят, держась за тяжелые портьеры, курят в темное высокое окно, будто после тяжелого для них разговора, обо всем, однако, договорившись: им-то что. Я пересидел во всех креслах, много раз отразился в зеркале. Со жгучим интересом и небольшим стыдом пролистал фотоальбом... Вот бабушка, бывшая бабушкой еще до революции, в чем-то вроде фаты, прижатой круглой черной шапочкой, напоминающей бубен из ансамбля пляски; но что-то неуловимо другое есть в том, что этот убор для нее естествен, это ее одежда, а не национальный наряд. Она смотрит на вас с неосуждающим неузнаванием, и можно незаметно смутиться под взглядом этих молодых глаз на старом и мудром, как земля, лице. Удивляет этот взгляд — словно только чистота, выдержавшая век, все знает. Вот — горный орел, выпятив грудь, не спутав темляк с аксельбантом, смотрит на вас, за роскошными усами скрывая необязательный для мужчины ум. Дедушка? Папа? Может, это на него глянула так весело и прямо, будто ее окликнули внезапно, но пугаться было нечего: ничто не таилось в засвеченных выжелтевших кустах и деревьях сада, чего бы могла она бояться, — молодая женщина в длинном платье, с высокой неряшливой прической, с огромной брошкой на высокой груди?.. Чего ей было бояться в своем саду, склонившись над стоящей в траве плетеной корзиной, в которой лежал еще не обиженный будущим, насосавшийся ее младенец, сын фотографа, не иначе.

Ибо на кого же еще можно с такой открытостью посмотреть? Он отстегнул аксельбант, сдвинул саблю, поборолся с треногой и, улыбаясь в неудобной позе... Птичка выпорхнула, женщина с дикарским любопытством и сознанием, что все у нее навсегда в порядке, взглянула, бесстыдница, прямо в глаза мужчине-фотографу, да так и осталась, так и смотрит до сих пор, сквозь разлучившую их страницу, на того, усатого... Чтобы, спустя несколько пустых страниц, этим же круглым взглядом смотрела на вас девочка, встав на пенек, прижимая к выпяченному пузу неловко висящего длинного котенка, смотрел бы и котенок... Носик у хозяйки дома бабушкин, да взгляд — дедушкин... Нет, она положительно больше похожа на бабушку, чем на девочку, хотя девочка эта спустя еще несколько страниц, скорее всего, именно она и есть.

Куда подевались эти лица? Никто никогда больше не взглянет настолько в аппарат, так прямо, всему радуясь, ничего не стесняясь. Надо же, чтобы неуклюжий треногий посланец прогресса мог так рассмешить молодую мать! — она совсем его не испугалась, не дичилась, диким было только любопытство...

Однако мы уже поселились в этой гостинной: миновал час, еще полчаса. Хозяйка давно должна была бы войти в платье, не иначе как до полу, и переиграть всю эту желтую стопку сонатин и вальсов, проявив поразительную способность читать по нотам... Мое воображение зашло уже так далеко, что разговор со мной мог зайти только о Пушкине; мои друзья вздевали очи и говорили: «Пушкин, о!» — я должен был немедленно прочесть им вслух «Рыцаря бедного». Я взял томик — как раз эта страничка была вырвана. Но и это восхитило меня.

Потому что, с немалым удивлением и внезапностью, я осознал, что именно, ну, может быть, не совсем так, но именно в таком качестве околачивались в гостинных в те незабвенные времена и отнюдь не считали свое время потерянным, пока я извелся от одной мысли, что время зря идет, а я ничего не делаю. Хотя ничего не делал я, по сути, задолго до этого часа... А они не спеша провели лучшие годы в гостинных, именно те, кто исписал тома и вошел в школьную программу! Это они написали собрания сочинений, которые служат теперь образцом труда, это они написали бездну писем своим друзьям,

а я, как солдат Иванов, строчки матери написать не могу... Это они вот так просидели свою жизнь, не считая ее пропущенной, и в жизни их случилось так мало лишнего, что все запомнить и рассказать можно было, и оттого читаются в наш век их биографии — как сказки.

Мне самому покажется, что я преувеличиваю, населяя собою девятнадцатый век, но, в подтверждение своего рода точности этих моих чувств, войдет наконец, часа через два, хозяйка, милейшим образом улыбаясь, но уж никак не извиняясь за то, что заставила вас ждать. Взгляд ее обласкает меня, представленного и шаркнувшего, отразится в зеркале, откуда совершенно тем же круглым и ясным взглядом выглянет ее бабушка или она сама, взгляд ее скользнет по нотам, перевороженным мною, упадет на альбом, и, подавив легкий вздох, Нана поцелуется с моими друзьями, и мы пройдем в столовую... Но — круглый стол, но скатерть, но живопись в раме, но сама рама!.. Все будет точно таким, как неразвращенная мечта, а именно тем, что и представлялось в детстве под словом «стол», «чай», «варенье», словно его сварили Ларины за кулисами, — все не разойдется с таким представлением, а подтвердит его, и вы вспомните, как с самого начала должно было быть так, прежде чем вы забыли как, прежде чем стало не так.

Как в детстве, с удивляющей необратимостью мгновения катили в прошлое. Только что вы ждали, воображали, а это наступило, сбылось, а вот и прошло, как Новый год.

После такого ожидания мы уже сели за круглый, тот самый стол. И опять не все сразу вам станет понятно: что после чего, что за чем следует. Нана сама испекла пирог (вот что ее держало все эти два часа), пирог у нее очень мило подгорел, это ей особенно сегодня шло, то, что он подгорел. Как блузка, как прическа... Потому что пирог подгорел специально для вас, иначе бы его домработница пекла и он бы не подгорел, а уж если Нана взялась его почему-то сегодня печь, то это означает такую готовность, такое обещание! Почему-то именно этот уголь на зубах — гарантия неувяжного счастья, бесконечного утра, розового, как пеньюар, как бесстыдно-смущенная улыбка. Вы погружаетесь в эти бездны неразоблаченного кокетства, имеющего тот сек-

рет, что обладательнице его все пойдет, все станет к лицу, даже, например, если бы пирог замечательно удался. И такое долгое ухаживание впереди...

Тут появляются, вовремя запоздав, жены моих друзей: щебет, поцелуи... — школьные подруги, выравнивающие возраст прекрасной Наны, которая, становясь неожиданно старше своих лет, так замечательно сохранилась. Это начинает ей с подчеркнутой силой льстить, как тот же пирог. Словно ожидание вышло из ее лет тот срок, на который вы запоздали, и она застряла в каком-то одном вытянутом многолетнем дне, с тем, чтобы вы пришли сюда завтра. Она обещает подругам продиктовать рецепт этого пирога...

Вот женщина! Во что я в ней поверю — то она мне и даст. Особая пластика — все движения не окончательны, каждое томит, обещает, содержа в себе тот конечный обман высокой воспитанности, когда вы до самого конца не будете знать, с чем столкнетесь, пока не пойдете на все ради утоления этого раскаленного любопытства. Но такое любопытство можно утолить один раз, а там станет трогательно ясно завершение, окончательность всех этих неокончателюстей, этой плавности, по которой вы приплыли, ибо, когда она будет истощена, то, словно повторяя именно этот шевелящийся рисунок, чуть дышит фата — вы уже под венцом. И если займется костер, то это именно вы его разожгли, если он и не затлеет, то, значит, ради вас она пошла на все, на то даже, без чего обходится так же легко, как дышит. Ах, как вы будете растроганы этой холодной готовностью и покорностью, сочтя ее за чистоту или застенчивость... И вдруг вспомните хруст угля на зубах.

Нет, нет и нет! Я уже проделал это дважды. Я ничего еще не делал такого, после чего был бы обязан как всякий порядочный человек... Но именно в этот момент я капаю вареньем на скатерть. И это такая мелочь, я так должен не обращать на это внимания, что, господи! не расплачусь по гроб жизни. «Да нет же, я совсем не женился, — рассказывал мне как-то грузинский приятель, — просто однажды я обнаружил, что сижу на кухне и ем суп...»

Но, проживя так стремительно всю свою жизнь, примерив столь же не постаревшей Нане траур, который ей был так же необыкновенно к лицу, как и фата, проводив

взглядом небольшое шествие за гробом этого огрузинившегося русского, состоявшее из двух моих друзей и их жен, так искренне плакавших... я возродился к новой жизни, поняв, что совсем ее не за ту принял, что это не Нана, а Нина, а Нана — вот она! — она входит посреди нашего чаепития с пальцами, измазанными чернилами, так и не разрешив задачи о двух поездах. И пока они, по вине прелестного математика, мчатся на всех парах навстречу неизбежному столкновению, я с умилением рассматриваю свою ошибку...

Что-то произвело на меня однажды крайне сильное впечатление, а я и не заметил... С годами все чаще ищешь причину в прошлом и не находишь. В разреженном просторе детства тогда покажется, что все на виду... Впервые я был в Тбилиси еще в эпоху раздельного обучения. Мне было пятнадцать, то есть эта раздельность имела уже принципиальное значение. С большим волнением стоял я перед могилой Грибоедова. Пытаясь быть честным, могу признаться, что к «Горю от ума» это мало относилось — чувство мое было к могиле, и оно было сродни зависти. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!» Изящно-коленопреклоненная плакальщица прижалась чугуниным лбом к кресту. Гид сказал, что моделью скульптору послужила сама вдова. Я тут же поверил его акценту. И никак не мог заглянуть ей в лицо, за крест, потому что грот был заперт решеткой. «Счастливчик!» — наверно, думал я, мечтая о юной красавице жене, всю жизнь после меня провдовевшей. Это ли значит, что «юность витает в облаках»: быть похороненным и оплаканным на чужой земле могло показаться мне счастьем!.. Я был влюблен в соседнюю, более скромную могилу — самой Нины. Еще не любив, я грезил у могилы о верности юной вдовы... Как сказал один великий русский писатель: только русский мальчик способен, засыпая в мягкой постели, мечтать о страдании, о заточении в тюрьму, о каторге. Не уверен, что он прав во всех словах этого утверждения, но я — мечтал. На этой могиле я хотел умереть от любви. Я вспоминаю об этом здесь, как сказал другой великий писатель, исключительно «для венской делегации» (подразумеваются друзья Фрейда).

Я не вспоминаю об этом, когда сижу с сестрами за столом. Но возможно, что именно Нина, то есть Нана, должна с блеском сыграть мне своими чернильными пальчиками грибоедовский вальс... Во всяком случае, почему-то именно эта, неряшливая и неуклюжая, подростковая миловидность не исключает абсолютного слуха. Так мне кажется, пока я наблюдаю, как ее корежит за столом, как она обсыпается пирогом и обливается чаем, не то презирая, не то обыкновенно тоскуя от нашей стариковской беседы. Я ловлю досадливый взгляд старшей сестры, будто извиняющийся за младшую: да, она совершенно не умеет вести себя за столом, но вы бы видели, как она преображается, когда садится за рояль,— словно ее подменили, осанка королевы... откуда что берется?.. Старшая вполне могла бы сказать такой текст, но не сказала. Я же мысленно соглашаюсь с этим предположением, киваю и уже верю в поразительные способности девочки. И единственный, внезапный, показавшийся мне необычайно понятливым взгляд, выстреливающий из глубины ее (для меня уже «напускного») равнодушия, свидетельствует теперь для меня не иначе как об остром чувстве юмора, характерной черте неведомой мне, следующей поросли. Пошлый страх отстать от грядущего поколения толкает меня стараться. И продолжая обращаться ко всем, в частности к ее старшей сестре, которая в это время прибавляет к своим достоинствам столь редкую способность слушать, что необязательно и понимать... я ловлю себя на том, что уже жду этого проблеска внимания в ее мальчишеском презрении, заискиваю перед поколением и жду поощрения, как старый пес... За этим-то недостойным занятием и застает меня их достойная бабушка, вливая в столовую величественно и скромно, высоко неся свою чуть трясущуюся большую седую голову и, на пределе приличия, рассмотрев меня длинным выпуклым взглядом. Ах, много ожидания было скрыто на дне этого взгляда, какое-то количество обманутых надежд, какая-то надежда на необман. Все это было так скрыто, что величественный и гордый, исполненный прежде всего чувства собственного достоинства взгляд этот не выразил ничего, кроме того, что скрыл. Испугавшись меня, бабушка села и позволила налить себе чашку чаю со всей внучатой почтительностью, пить его не стала, лишь освятив чашку



поднесением к чуть дрогнувшей навстречу голове. Она еще недолго посмотрела вперед, мимо меня, выпуклым прозрачным взглядом, великолепно не осудив никого, и, успокоившись то ли насчет угроз, то ли насчет надежд, собралась покинуть нас, и как раз вовремя, потому что младшая наконец приснула всем чаем и пирогом, увенчав мои старания. (Она оставила меня в некотором недоумении, потому что, все утончая и усовременивая свой юмор, окончательного успеха достиг я без всякой шутки, просто так, употребив не то слово «попугай», не то «дурак».)

Итак, искреннее огорчение, смущение за столь неприличное поведение любимицы чуть осветит лицо почтенной женщины, и она поспешит удалиться. «Она не обиделась?» — спрошу я у Нины, приблизившись на расстояние родственника. «Мама? С чего вы взяли?.. Нет, совсем нет. Вы ей очень понравились». Мама? — с недоумением восклицаю про себя я, глядя на Нану. — Такая молодая у нее дочь... «Фу, Нана! — скажет тут же Нина. — Всю меня заплевала». — «Я не хотела, мама», — скажет Нана. Мама? Такая взрослая уже у Нины дочь?.. И пока в моей голове разлучатся сестры, перевернутся и встанут на место бабушки и внучки, поменявшись на матерей и дочерей, я буду с недоумением думать, что это решение и с самого начала было наиболее подразумевающимся. «Нана нам сыграет?» — осмелев, спрошу я, потому что фырканье Наны утвердит меня в том, что я добился дружбы. «Я?» — удивится Нана. «Нана?! — воскликнет Нина, теперь ее мама. — Да она чижики-пыжика верно сыграть не может! У нее гениальное отсутствие слуха». Я захохочу — и это станет самой удачной моей шуткой. Потому что засмеются все. Нам станет так вдруг, так беспричинно и беспечно весело, что я окончательно позабуду, в какой век мне предстоит выйти на улицу. Потому что так весело было лишь на тех выцветших, прожелтевших насквозь фотографиях, среди которых моей-то уж нет...

Нина прогонит развеселившуюся дочь доделывать уроки, что вызовет на лице девицы такую неподдельную печаль, которую я приму за нежелание расставаться с нами. Чашки соберут со стола. Мы с друзьями вернемся в гостиную покурить. Три подруги — Нина и жены моих приятелей — ссядутся поближе, коснутся плечами,

сблизятся головами и застрекочут по-родному, как птицы. Я буду их видеть из гостиной... Чувство близости понижит меня настолько, что я начну прикуривать от сигареты друга, скрыв, что спички — у меня в кармане. «Вот смешно...— скажу я.— Чужой язык. Только что мы сидели все вместе, говорили... И вдруг — раз! — не понимаю ни слова. О чем они говорят?..» — «Как о чем? — скажет друг, не прислушиваясь.— О чем они могут говорить... О нас».

Обо мне...

И может быть, на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

(Тут Отар останавливает сцену, отматывает пленку вспять и репетирует со мной другой вариант: за тем же чаем я начинаю петь хором «Подмосковные вечера»... У меня не получается, и Отар вынужден подыскивать себе другого исполнителя на ту же роль...)

## СЦЕНАРИСТ

Я увидел Резо впервые семь лет назад на улице Руставели, что в Москве. Под одной мышкой у него был «Дон-Кихот», под другой — «Письма Ван-Гога». Он с ними не расставался. Он знал, что это хорошо. Больше, кажется, он не был ни в чем так же уверен. Про себя он если и догадывался, то очень в глубине и не показывал виду: казалось, тоже ничего не знал — про себя. Он неустанно цитировал одни и те же любимые строки:

Я был в России. Грачи кричали,  
Грачи кричали: зачем, зачем?

Его собирались в это время отчислить с Высших сценарных курсов за неуспеваемость (1966).

Фильмы «Необыкновенная выставка» (1968), «Не горюй!», «Серенада», «Кувшин», «Фиола», «Белые камни» (1970) созданы разными режиссерами. Это все удачные фильмы, пользующиеся успехом. Одни, впрочем, более, а другие — менее. И вот что забавно в таком ряду: эти фильмы — если их оценить грубо, на вес, в целом,—

различаются своими недостатками (как количественными, так и качественными), зато достоинства имеют общие. ~~Этот~~ психологический парадокс — ибо не могут различные творческие индивидуальности различаться лишь недостатками, а сходиться как раз в том, что и различает таланты, — объясняется, однако, довольно просто и единственным образом: у этих фильмов один и тот же сценарист, а именно — Реваз Габриадзе. И поскольку достоинства общие — то это его достоинства. В этой арифметической логике, в этом вычитании, нет ничего обидного для режиссеров: они по любви брались за эти сценарии, по любви же их и ставили. Но другого столь же убедительного доказательства, другого столь же разительного примера первенства сценариста — существа в кинематографе обычно хоть и первого в титрах, но в процессе создания фильма творчески бесправного и беспомощного, трагического и эфемерного — я не знаю. Для меня Габриадзе пока единственный, кто сумел доказать свое самостоятельное существование в фильмах, созданных по его сценариям: он не поглощен режиссером, а лишь, с большим или меньшим успехом, воплощен. Чем точнее, тем удачнее.

Габриадзе диктует режиссеру свою волю потому, что он не просто умело записывает сюжетные истории — он создает мир. Мир этот возник и определился под его пером, и тогда все поняли, что этот мир был всегда: оглянулись вокруг и узнали его. Обрадовались. Вот мы где, оказывается, живем! Неплохой мир... Я почти уверен, что для грузин лет через десять этот мир будет так же очевиден, как мир народной сказки. Трудно будет представить себе, что он был кем-то однажды открыт и до этого будто не существовал — ведь он был всегда!

То, что Габриадзе прежде всего создатель мира, видно и из того, с какой легкостью берет он для своих сценариев чужие сюжеты, чтобы населить их жителями своего мира. Сплав получается столь органичным, что не будь авторы фильмов так щепетильны и не укажи на это обстоятельство в титрах — никто бы этого обстоятельства и не заметил (Шекспир не ссылался в скобках под своими пьесами, что они все по мотивам, а нам это уже совсем не важно). И действительно, что объединяет Клода Тилье, Пиранделло и Зощенко? Автор-

ство этих замечательных писателей в перечисленных фильмах можно совершенно проигнорировать. Это не Франция, не Италия и не Ленинград («Не горюй!», «Кувшин» и «Серенада») — это все мир Габриадзе, это Грузия, только Грузия и именно Грузия, настолько Грузия, что никому и в голову не придет, что у этого образа Грузии есть создатель, а у сюжета как раз-то его и нет.

Мир Габриадзе с каждым сценарием все более тяготеет к сказке, к сказке не волшебной, а плутовской, бытовой, народной. Мир, оттачиваясь и уточняясь, приближается к мифу. Так, последний его сценарий — «Черная курица», который сейчас ставит Эльдар Шенгелая (постановщик «Необыкновенной выставки»), — фантастическая, смешная и трогательная история о том, как двое грузин, еще в начале прошлого века, улетели на первом в мире самолете, сочиненном из арбы и винной бочки на территории сумасшедшего дома, улетели навсегда. Тут уже соединение и народной сказки с известным мотивом обмена (в русском варианте — лиса: палочку на скалочку, скалочку на курочку, курочку на уточку и т. д.), и историй декамероновского типа с постоянным возвращением мужа и любовником в камине (причем замечательно, что героиня так и остается на всем протяжении чистой — добрая воля автора!), и уже более поздних мотивов «монтекристовского» боевика (с тюрьмой, подкопами, побегами и погонями) — и все это, как ни странно, удивительно чистый и гармоничный сплав — сценарий заранее, обеспеченно, классичен — дай теперь бог удачи Эльдару!

Реакция зрителя на картины по сценариям Габриадзе общая: зритель смеется, он радуется, он согласен. Любой зритель. И крестьянин, и городской сноб. Народность таланта Габриадзе не вызывает у меня сомнений.

Когда я думаю о стремительном восхождении Габриадзе-сценариста, о том, как он, в отношении себя, примирил ценителей, казалось, неспособных сойтись во вкусе ни в одной точке, — это какая-то тайна, и если она чем-нибудь объясняется, то скорее всего счастливым характером его дара. Ему легко и счастливо делать то, что он делает; руководству — легко и счастливо наблюдать, как он это делает; а людям — легко и сча-

стливо смотреть то, что он сделал. И они имеют совесть отдать дань полученному удовольствию и не делать его предметом своих разногласий.

И вот когда я вижу такую странную общность в отношении к его работе, я не могу объяснить это ничем иным, как народным характером его дарования. Он обладает редчайшей способностью быть всем понятным, не унижая своего дарования и беспрепятственно развиваясь и углубляясь в пределах этой своей способности: ему это приятно самому, он сам так дело понимает, и ему — интересно. То есть именно он-то — народен, хотя и не провозглашает, не проповедует, не говорит об этом слов, не расписывается и не заявляет, обнажая тенденцию.

\* \* \*

Я влюбился в цельность этого человека, о которой он не подозревает... Это не та злая принадлежность себе, при которой человек оскаливается на чужое, огрызаясь защищает «свое»: мысли, однажды сочтенные им своими; круг, который он признал, вернее, который его признал; свойства, приписанные себе и выдаваемые в качестве общечеловеческой нормы, и т. д., — в общем, как зверь охраняет свой ареал, так и он выгрызает в жизни неровную площадку, вроде крышки от консервной банки. Такому постоянно надо от чего-то отбиться и к чему-то приписаться, чтобы осознать себя существующим, и чем резче и жестче это ему удастся, тем с большим, как ему кажется, основанием считает он себя — собой, свое — своим, никак не осознавая, что все-то он присвоил и не владеет ничем. Я знаю таких... Упаси меня боже от таких цельных грызунов!.. Своего героя я могу назвать цельным потому, что никем, кроме себя, ему никак быть не удавалось. Ни старание, ни сочувствие, ни попытки из лучших побуждений не приводили его к изменению, и, со вздохом облегчения, он вновь и вновь оказывался «в своей шкуре». Его мир ему принадлежал — и он существовал в нем и узнавал его вокруг себя. И когда Резо появлялся в своем мире, то и все обнаруживали вокруг себя именно этот, его мир, потому как мир этот и на самом деле существовал и его можно было увидеть; и все начинали видеть мир таким, каким видел его он, и радоваться, улыбаться и

приветствовать этот мир, и радостно следовать ему как своему, так внезапно и счастливо обретенному, как «на-конец-то!» и «господи! нашел!..». Вот она, правда, вот она, реальность! И как легко, как светло, как просто, как невзначай и ни с того ни с сего можно попасть в этот прекрасный, справедливый, бедный и живой мир, где рождаются и умирают, трудятся под солнцем и пьют, и нет другой заботы, чем та, что ты — частица великой и вечной жизни, которая проходит в тебе, с тобою, вместе с тобою и всегда — помимо тебя и поверх!.. Как легко и радостно было оказаться в его мире и поместиться в нем невольно и удобно, как в долгожданном своем, с той разницей, что ты существовал в этом мире и видел его до тех лишь пор, пока Резо находился рядом, а без него — не удержать, не остановить — испарялся прекрасный этот мир, как облачко, и я оказывался опять в своем — насупленном и тяжелом, как нетопленая и прокуренная комната. Был этот мир (не он, не Резо, его выдумал: мир этот только что материально окружал меня, и именно он и был миром) — и вот нет его. Потому что поместиться — радостно и удобно, охотно — можно было в нем, а удержаться — уже нет: он был не твой, он возникал только с Резо, и вокруг него, и принадлежал ему так же естественно, как дыхание. Ему — не тебе. Но что-то оставалось после, какая-то память о возможности, какое-то воспоминание о пережитом — вроде бы как бы даже и тобою — счастье.

Резо не приходилось этот мир отвоевывать, он им владел. Этот мир был ему дарован. Нет, он не отвергал чужого — он удручался чужим. Он допускал его существование. Более того, он без сопротивления отдавал чужому должное, если оно было подлинно и достойно и раз уж он в него попался, но — уставал от этого проникновения, от этого восчувствования, лицо его бледнело и печалилось: его мир таял, как снегурочка, от того, что был Резо способен признать и блеск чуждого, как вдруг — что-нибудь подворачивалось на глаза: тварь какая-нибудь божья и понятная, — и тут же, встрепенувшись, просыпался и окружал нас его мир. Вот так, без войны, отвоевывал он свое право на мир даже у более себя доказавших и признанных миров: одним тем, что жил в нем и населял его.



точке и в том же времени года, отсюда же, смотрел и так же чувствовал из букваря тебе известный поэт, и родина припекается к вам таким тесным, ноющим швом, где вид из окна, строка из букваря и лицо матери,— и, не подымая глаз, побег от невыносимости и первый глоток такого же вина в духане... И в осеннем прозрачном вине — идея того же воздуха, той же мутной прозрачности, того же запаха поражения и любви, что позволяет нам жить дальше,— запах долгоденствия и смерти: листик сожгли, желание начали загадывать — и не загадали. Точно так: в воздухе было — после дымка, после пролета стаи, после падения листа, после только что оборвавшегося петушиного крика, которых мы не застали, что только перед нами отзвучали,— это даже не эхо, а после эха, только что, когда оно ушло уже в неслышимый нашим ухом диапазон — но мы слышим его! — это осень. И тень — можно ли сказать лучше? — эта тень, чернея, голубея и тая в расщелинах и гребнях, столь далеких, там, за долиной, что маленьких, как пятна, как следы пальца в глине при лепке,— эта тень была следом истаявшего звука.

Мы искали завод. Что это такое, я не знал. Друзья мои спрашивали дорогу — их не понимали. Это стало как-то таинственно: из такой подлинной осени, которую я догонял, убегая от зимы, и нагнал наконец, — из такой осени... искать такое, не к месту, слово — завод, да еще и не находить его. Друзья мои спрашивали дорогу — на нас смотрели. Этот взгляд скользил по нашей горожавости, неулично усмехался в себя и уводил в пейзаж, окунался в него: там, там был завод. И будто пейзаж возникал от их взгляда, был их взглядом — они же не видели его... В селе никого не было — старики. Они не торопились жить, как и сама осень не торопилась умирать. Они не торопились понимать и не торопились отвечать. Я не знал, о чем они умудрялись каждый раз вступать в беседу с моими друзьями, но каждый раз оказывалось, что уже не друзья их спрашивают, а старики расспрашивают моих друзей. Я не понимал, чему они начинали улыбаться, но эти две позы, посмотри я со стороны, были красноречивы без перевода... Старик, прозрачноглазый, с двумя цветущими старухами, и запуганная молодуха, перетаскива-



ющая свой живот через порог, пользовались нами как не бог весть каким, но все-таки зрелищем на этом проселке, куда свернуть можно было, разве слишком добросовестно воспринимая все объяснения, как ехать... А наш водитель пытался их понять, но как: приоткрыв дверцу своего «мэйд ин юэсэс «фиата», одной ногой встав на дорогу, а другую — как бы сохранив на газу, одной рукой держась за дверцу, другую освободив для жеста, входящего в грузинский алфавит на правах буквы, — в позе не теряющего секунды, чтобы снова сесть и ехать, лишь бы знать, куда... И снова взглядывал я в эти чистые лица, вымытые временем и разглаженные его достатком, что были не настолько рассеянны и суетливы, чтобы терять что бы то ни было из того, что попало к ним в хозяйство: время и достоинство в том числе — не роняли и не теряли... «Завод? Завод... — раздумчиво вставляли они в свою речь понятное мне слово. — Завод?» Они обсуждали это: «Заоди?.. Ах, Заоди!..» И нам указали дорогу, которую мы спросили еще трижды.

«Надо было это слово по-грузински сказать, — смеялись мои друзья, — по-русски они его не понимают». Но мне «заоди» тоже нравилось больше.

Тут мы достигаем самого невзрачного, на первый взгляд, за все наши поиски места. Черный и мертвый овраг пересекал шоссе (то есть наоборот). Казалось, он был еще дополнительно разворочен, разрыт, вскрыт. Не было ни травинки (ни кровинки) в его пейзаже (лице). Он был даже не мертвый — дохлый какой-то. Края его приготовились превратиться в ад при первом же дожде. Дождей давно не было.

— Смотри, — сказал мой друг, — это настоящее!

И по тому, как он оживился, ускорился, посветлел, можно было с внезапностью обнаружить, что все это время, что мы ехали, болтали и он слушал, соглашался, и кивал, и был доволен, — все это было чужое, не та посуда, и хоть он и прихлебывал из нее, но лишь как добрый и мягкий человек. А сейчас он чувствовал приближение своего мира, как подлинный охотник — добычу... Мы отпустили машину — мой друг уже шествовал впереди, не скрывая возбуждения и радости; он вел меня уверенно туда, где сам ни разу не был, с точным, однако, знанием того, что там нас ждет то, что нам

надо. Впереди, на краю оврага, примостился некий сарай-навес, и несколько самосвалов стояло перед ним, еще подчеркивая это впечатление, что овраг — не овраг, а некое буйство земляных работ...

Избушка эта стояла к нам спиной, и — до тех пор, пока мы не приблизились вплотную и не зашли с тыла, — я мог все еще, до самого конца, гадать, в чем же дело.

Вот где мы очутились.

Навстречу нам вышли два здоровых поросенка, странно нетвердой поступью. Они не обратили на нас внимания и, заплетаясь, проследовали к корявой куче коряг, чтобы почесаться о дрова. Мы прошли две ступеньки вниз, мой друг на секунду закрыл вход спиной, и еще секунду, даже поменьше, глаз привыкал к убавлению света, чтобы различить, что в тени...

Мы были в настоящем. Мне трудно доказать это чувство: как всякое чувство, оно — недоказуемо. Могу только поклясться, что внушение и самовнушение тут ни при чем. Чувство, с каким я очутился в этом полупомещении (полупомещение — точное слово: тут была крыша и две стены, а двух стен не хватало; архитектура была самая необходимая: четыре столба под крышу от дождя и две кое-как зашитые разной дрянью стенки, чтобы не просматриваться насквозь с дороги, — вид на долину и на снежные горы был открыт взору, как и вид в овраг, в яму), — так вот, чувство, с каким я здесь оказался, трудно описать, не с чем сравнить, а можно разве уподобить... Так шарик носится по Колизею рулетки, стучаясь, налетая, выписывая большие круги, пытаясь вылететь за пределы, — так мы живем! — но слабеет, уменьшает круги, болтается все нерешительнее между лунками, будто еще имея независимость выбирать себе номер, даже, быть может, по инерции выскочит из какой-нибудь, будто бы неподходящей, — но на это истратит уже все силы... и тут — бульк! — свалится наконец в свою, которой теперь другой уже быть не может; еще чуть дернется, как бы с боку на бок, как бы устраиваясь поудобнее, — и замрет, успокоится: хорошо! Вот точно так, будто болтало и носило меня всю жизнь и принесло наконец, и вот я тут и даже не вполне знаю, куда попал (в какую из лунок), — но попал, и это точно. Запах тут, что ли, сразу такой,

дымок. Но я — здесь, и это правда, и наконец ничто не вызывает во мне сомнения и стремления дальше, и поскольку я уже здесь, то можно и оглядеться, где я, среди чего мне предстоит, теперь уже окончательно, быть.

Очень трудно описать эту уютную лунку последовательно, очень хочется, чтобы ее было видно сразу, но это — не в возможности слова, да к тому же так оно и было: сначала я видел то, потом это, разбираясь в постигшем меня с порога (вот что значит «с первого взгляда»!) чувстве. Сердцем этого мавзолея (поскольку, как я уже сказал, это был конец моего трудного жизненного пути) был очаг. Это было горячее, пышущее сердце! Оно кипело и булькало, захлебываясь будущей моей (чего я пока не знал) кровью и радостью жизни. Это сердце (этот очаг) в свою очередь напоминало мавзолей из тех, что я повидал недавно в Хиве. Этот обмазанный глиной куб венчался медной надраенной крышкой, как золотым куполом, на котором еще сверху пупочка была и только что полумесяца не хватало. Эта медная крышка была самой богатой здесь вещью — и потому так сверкала, потому была так надрана (потому мы и видим ее здесь в первую очередь), как солнце. Она была, впрочем, заслуженно помята, но и все вмятинки ее столь же ослепительно сверкали, посылая отдельные, отломанные от света лучики в самые разные стороны, — но общего впечатления сферичности этот купол, несмотря на измятость, еще не потерял. Он сверкал так же кругло и так же медно, как и тот, кто, по-видимому, его и начистил, — как «заводчик» Гоги, орудовавший у топки.

— Нагнись, — сказал мне друг, — посмотри! Видишь, как решетка прогорела!..

Действительно, толстые прутья над огнем прогнулись вниз и висели пузырем. Из топки несло таким ослепительным жаром, так вспухли на поленьях круглые узлы углей, такая никогда не надоедающая, жизнеутверждающая драма открытой печной дверцы разыгрывалась в этом театре, что покажи мне сейчас атомный реактор — я бы плюнул в его ничтожную и бездарную, подражательную форму.

— Веришь ли, — сказал Гоги, не переставая орудовать, но успев ясно улыбнуться, так, что его округлив-

шиеся медные щеки послали зайчики, отразив свет очага. — Веришь ли, — сказал он с гордостью пацифиста, — три месяца уже не гаснет огонь в этом очаге.

Я верил.

Да и чему тут было не верить? Этому огню? Этой половине поросенка, висевшей на крюке на том единственном столбе, которого не касались стенки, — на колонне этого храма? Этой пьяной свинье, матери моих шашлыков, копавшейся на узкой полоске между заводом и оврагом, однако в овраг не падавшей? Этим мирным труженикам, устроившим свой заслуженный пир за узким столом, уместившимся в уголке храма, как притвор? Этим трудовым мирянам, пившим и беседовавшим так ровно и достойно, как не мог бы быть достоин ни один лорд, столько же выпив? Этому шашлыку, отрезанному на моих глазах от ноги недавно бегавшего здесь же поросенка? Этому вину цвета осеннего листа? Тем более что это было даже еще не вино, а материал вина, то есть натура невинная, не искаженная обучением и выслугой лет. Не верить «материалу» вина? Этим четырем столбам? Этой медной крышке? Этой крыше от дождя или этому небу в дырке этой крыши? Этому виду сквозь отсутствующую дверь на грузинские горы, не упрекавшие нас, однако, ни в чем, потому что мы ни на что не посягали? Этим горам? Моему другу? Гоги, наконец? Нет, я не мог не верить Гоги!..

Потому что единственная вещь, которой я мог бы не поверить, которую все-таки отыскал мой завистливый глаз, — был розовый выключатель, приспособленный к столбу: на электричество Гоги все-таки пошел, с электричеством как-никак удобнее стоять ночную вахту. И вот этот единственный предмет, четкой и окончательной формы, был груб и как-то неровен, что ли, в этом наспех, криво и кое-как сколоченном корабле мира, этой утлой ладье счастья, в этом дирижабле после седьмого стакана! Я не буду обращать более свой взор на этот предмет: жизнь так прекрасна — пусть мелкой души человек так же не любит нас, как мы его жалеем! ибо его нет с нами.

Именно здесь, в этой точке, завершался круговорот годовой жизни, если у круга можно найти начало или конец... Но круговорот вертикален, в отличие от бессмысленного вращения по поверхности. И здесь было

начало того конца... когда, разогнавшись с горы летнего полдня, приходим мы в касание и слияние с землей, с той инерцией, которая с особой силой прижимает нас к земле. Отработал зной; отработала и теперь отдыхала земля, рыхлая и пустая, как мама, дети которой разъехались по семьям и городам; отработал виноград, ставший вином и даже жмых свой вручивший Гоги, чтобы тот выгнал из него смертельную чачу; ибо то, что так таинственно кипело и бормотало под сияющей крышкой, был самогонный котел... даже жмых отработал свое, но, став некрасивой рыжей кашицей, и он пошел в дело, потому что именно в нем с упоением паслись поросята на узенькой полоске между заводом и обрывом, и были и они от него счастливы и пьяным-пьяны так, что, по-видимому, переход в шашлык происходил для них безболезненно и безбоязненно, а их невинные души, легко отлетев, беспрепятственно вступали в круговорот души в природе, где, в зависимости от одаренности и греховности, ожидало их повышение или понижение по служебной лестнице эволюции: стать душою курицы или лошади... Отработали и люди, пившие сейчас «материал» вина, и были они так же честны, как этот «материал»,—это был честный материал людей: они не перебродили и не закисло и в них не добавляли ни спирт, ни сахар. Все отработали: осень. Один Гоги отработал.

Вот уж «не покладая рук»! Был он красив в работе: стремителен и непрерывен, но настолько несуетлив, что казался лениводвигающимся. Он кочегарил, колот дрова, заправлял котел, строгал шашлык, жарил шашлык, накрывал на стол, подливал вино, был любезен и светел—все это одновременно, в свое время и все в свою очередь. Как заботливо и мгновенно—фокусник—создал он нам пространство для пира, ибо единственный стол был уже занят; как газетку подстелил—скатерть; перцев соленых на нее плеснул; горсть соли высыпал; драное одеяльце на лавку постелил и ласково разгладил—садитесь!—и никакого рабства, прислуживая—одно достоинство, и никакого хамства—одна любезность. В банке из-под консервированных огурцов вина подал (и она не пустела, как волшебная, и не заметить было, когда он подливать успевает или замечать...); в миску собачью алюминиевую с треском и

шиком стряхнул шашлык, выхватив из него шампур со свистом, как шпагу из ножен (и миска не пустела, но тут я замечал — как, потому что именно над моим плечом просовывалась волосатая рука Гоги и шампур взвизгивал над моим ухом...). Такой сервировки и такого «обслуживания» я никогда не видел и другого никогда не помечтаю... Здесь было так хорошо и ясно, среди мужчин. Столько нежности и чистоты возможно между друзьями — где, кроме Грузии, это еще и понимать!

Никогда еще нам не было так вкусно... Это было даже не пожирание — мы дышали мясом. Поглощать в таком количестве жирную, полусырую, раскаленную свинину, всю обмазанную крупной кристаллической солью и зажаренную на открытом огне, и запивать литровыми банками «материала» сухого вина — лучше было сразу выкинуть свою печень пьяным свиньям. Но легче было умереть, чем отказать себе в этом наслаждении.

— Ты пойми, печень... — говорил я. — Ты должна меня понять.

Мой друг парил, мой друг царил, сверкали его глаза. Он все прямился, все ровнее и торжественней держал руку со стаканом; все вертикальней становилась национальная линия затылка и спины; все более грузинской становилась линия его плеча, ее прямой угол с шеей; и вот он уже сошел с картины Пиросмани «Пир князей». Наши столы давно слились; человек, так похожий на моего отца в молодости, легким, не фамильярным объятием закреплял это наше кровное фотородство; нашу лодочку отвязали, и мы неслись вниз по оврагу на встречу с Главным Кавказским хребтом; свиньи, то ли чтобы протрезветь, страстно чесались о покрышки самосвалов, которые, уж видно, сегодня так здесь и заночуют... Мой друг говорил тост, который мне не надо было уже переводить с русского на грузинский, я и по-русски-то теперь не хуже понимал, чем по-грузински... И так счастлив он был, мой друг, что я понял, что и ему, обладающему даром именно этого мира, в котором мы сейчас находились, куда как легче и приятней попадать в него со стороны, чем настойчиво проносить с собою.

Ах, жизнеутверждающей может быть лишь чужая жизнь!

И здесь именно, на слово поверив моему другу, что я

того стою, подарили мне книжку, единственную, какая случайно оказалась у моего названного брата, все более похожего на моего отца, и была это — помечтать такое трудно! — биография Пушкина на грузинском языке. Я разрыдался от такой символики.

Нехорошо пить с горя — вредно, но не выпить от счастья — невозможно. Потому что от счастья нельзя уйти самому, нет сил (уж эти мне волевые люди, находящие в себе силы как раз в тот редкий момент, чтобы героически отвернуться от счастья, а потом расслабиться и растечься надолго оттого, что упустили его!). Не может отвернуться от счастья человек, а время течет, и точит, и торопит предательство именно этого мгновения, которое уже не длится, и пройдет, и прошло — куда?.. Неужели такое, ради чего всю жизнь жили, может кончиться?! Нет! Никогда! Никогда не предадим мы этого счастья сами! Просто — разбудит нас утро, и окажется, что счастье миновало.

И Гоги скоро перепечатает весь жмых в огонь и изведет весь огонь на жмых. И решетка в очаге совсем прогнется, прорвется и прогорит. И тогда свернет Гоги свой завод, скатает в трубочку: котел вынет и домой унесет, столбы выкопает и тоже домой унесет, во дворе прислонит; остальное — так оставит, как мусор. Так мне рассказали, что будет после того, как мы уедем...

И такой печальный конец... Гоги уходит вниз по оврагу, как бродячий актер, свернув свой балаганчик: сгибаясь под тяжестью бревен на плечах, неся медный таз под мышкой, отражая своим боком солнце... Так он уходит в бесконечную перспективу, унося с собой мое счастье, будто это не я к нему по случаю попал, а он — в меня.

Если бы не сказал другой, правда, русский, великий поэт, но тоже сотканный из братьев: «Юнкер Шмидт! Честное слово, лето возвратится!» — то я бы не знал, чем утешиться.

Все здесь заработали себе осень. Одним нам досталось даром кем-то заслуженное счастье. Добрые и расторопные, мы заедем еще на базар, купим кувшин и рубаху, презирая свои бумажные деньги и завидуя их нажитым,

Что же еще сказать? Чем заключить?

Это только кажется, что я сильно ушел в сторону от предмета. На самом деле я только об одном и говорил.

Вот наконец фильма — о норме, о нормальном, с мечтой и проповедью нормы, нормально созданные нормальным человеком.

И если эти фильмы нравятся не только грузинам, не только крестьянам, не только мне, но и вам (допустим, не крестьянам, не грузинам и не мне), то лишь потому, что и вы — народ и живые люди, потому что народное — это не отдельно чье-то, не частное, не групповое, не национальное, не грузинское и не русское, не городское и не крестьянское, а то самое общее, что есть у всех нас, без различия, людей по принадлежности. Невозможно оторваться от народа, если ты остаешься живым человеком.

## НЕ ВИДНО ДЖВАРИ...

...Я шел по траве вокруг храма Светицховели. Было так тихо, что даже звон в ушах, какой бывает при полной тишине, и тот глож в этом ватном безмолвии. Шаги мои глохли в траве. Ни звука, ни ветерка, ни шагов, ни шума крови. Птица не пролетела.

Все было удивительно ровным: свет, воздух, трава, тишина. Мир был без тени. Такая была погода — в небе не было ни облаков, ни туч, ни солнца — и было светло. Не было неба.

Через ущелье, на горе, отсюда хорошо бывает виден Джвари... Так и он не был виден в этом молоке. Не виден Джвари.

Мягкость освещения была необыкновенная. Непонятно, как получалось впечатление объема при полном отсутствии теней — храм был даже особенно объемным: казалось, я видел его все время целиком, что взгляд изгибался и обнимал его. Храм был совсем один в этом мире — никакого тела или предмета больше не было в поле зрения — только я, пришелец. Храм молчал.



Однако в этот сон я приехал на поезде, это я помнил. Тем более что состав вел маленький паровозик, а вагончики были старые, с выступающими подножками, я так уже очень давно не ездил. Они — напоминали. Я сидел на подножке, курил, как в далекие уже времена, и под ногами у меня проплывали черепичные крыши, кроны, дворики — очень близко, как на кунцевской линии московского метро. Иногда поселки проваливались, открывая под собой реку «мутную такую» — Куру. Тогда я заглядывал вбок, за поручень, и между вагонами, над болтающимися буферами, видел однообразный скол скалы, к которой жался, пробираясь, поезд... Все это я помнил точно, но теперь, когда я шел по траве вокруг храма, в этой полной серо-белой тишине, будто отснятый на очень старую, немую пленку... теперь, из этого сна, тот поезд, мой приезд сюда — казались мне еще более приснившимися в вялом, полузабытом сне.

И совсем уже не помнил, мимокакого безразличия для взгляда прошел я от станции до храма — миновал. Что-то, по-видимому, было вокруг, должно было быть... Храм окружала стена, и когда я шел вдоль стены в поисках входа, то еще храма не видел, или не видел целиком, или он был незаметен, или я не обратил... Я миновал какие-то ступени и прошел в маленькую дверку в створке больших ворот... Был выходной для памятника день — никого не было людей, на дверях храма висел замок — я оказался там.

Храм был окружен крепостной стеной. (Окружен — не совсем точно, потому что двор был квадратный.) И хотя назначение стены всегда внешнее: она как бы строится прежде всего наружу, чтобы оградить, не впустить, здесь эта стена была построена в нутрь. Вот различие крепости и тюрьмы: стена всегда обращена к врагу, в тюрьме стены смотрят внутрь. Но тут было и нечто третье — монастырская стена: она ограждала взгляд. Лишь одно дерево разрушило стену, заглядывая с той стороны, нависая любопытной кроной. Двор же, меж стеною и храмом, был поляной без единого деревца — сплошь росла трава. Лишь от ворот в стене до врат храма вела дорожка из крупных, серых, как небо этого дня, плит — между ними тоже пробивалась трава. Из трещин между камнями стены росли тощие кустики. За стеной уже не

было ничего — ровное отсутствие неба того дня. Возможно, в другую погоду видны были дали, горы. Сейчас — только плоский травяной островок с храмом посреди, понтон с каменными бортами, плававший в белом отсутствии неба, солнца и тени — в молчании.

Белое, бело-серое и зеленоватое — три переходивших друг в друга равно неинтенсивных оттенка — содержали себя друг в друге. И стены храма, отделанные ровными, но не равными плитами, больше белыми, чем серыми, как то же небо, там и сям несимметрично расцветивались плитами зеленоватыми, как трава на дворе. Казалось, можно было сморгнуть эту еле тлевшую разницу цвета, и тогда: где небо, где храм, где земля в этом взвешенном, бесплотном небольшом мире?.. Раздайся крик — эта туманная постройка из воздуха, камня и травы задрожала бы и отлетела, оставив тебя на пустом пустыре, — так казалось.

Ничего, впрочем, не казалось — я не был ни предрасположен, ни настроен, состояние мое отнюдь не было молитвенным, ни даже умильным, когда я прошел сюда. Но не с чем было сравнить постигшее с порога отсутствие. Ни внешнего мира, ни себя здесь не то что не наблюдалось — не было.

В молчании обошел я молчащий храм по немой траве. Я не был готов к его восприятию — он мне ничего не напоминал. Он отличался от мощных по вере, «бычачьих», как сказал поэт, армянских церквей. Он не был таким классическим, законченным, симметричным и не утверждал себя как единственно правильная мысль, неизбежная при приближении к храму, подавляя тебя и растворяя в своей идее. Будто этот храм не заставлял верить, а сам — верил какой-то более нежной, робкой, даже неуверенной верой.

Он не был окончателен в своей идее, даже не был устойчив, как армянские храмы, он не был назначен. Он был трогательно благодарен и будто не притяжал на вас. Строй, возникавший от зрения его, был высоким, но не возвышенным. Человек, утомленный ложным пафосом, мог не обнаруживать внезапных сил для восприятия пафоса подлинного. Храм не был симметричным, но он не был и специально асимметричным, дабы отличаться от цельности предшественников. Асимметрия эта тихо набегала, пока я шел кругом, и сказывалась лишь в не-

подавлении психики, в участии к несовершенному мне — собственно, я и не заметил этого плавного нарушения выверенных пропорций... просто, когда я обошел кругом, образ, вместо того чтобы утвердиться и впечататься, ровно отчалил и как бы испарился, и я не сразу заметил, что стал обходить храм вновь. Он словно не был закончен, как бы даже не был увенчан, ибо купол есть часть уже обязательно симметричная — поэтому купол был возведен как-то незаметно, неназойливо, легко, будто основными в этом храме были стены. Я, естественно, не ввязываюсь в данном случае в спор о куполах — именно этот храм был таким, как я попытался его описать, не разрушая сильными словами. Или — тогда он был таким, когда я на него смотрел.

Я не был готов к восприятию, ничего не ожидал — он мне ничего и не напоминал. Но все это вместе: эта погода, эти цвета, эта выключенность, эта немота и тишина, — они мне что-то определенно напоминали, однажды виденное или почувствованное, но совсем не в подобных обстоятельствах, но — что и когда?

Где-то я уже внимал такой немоте, где-то я видел такое молчание, где-то я уже слышал такую тишину...

Воспоминание преследовало меня — это означает, что я его не мог вспомнить.

Очень странно, я искал это узнавание в своей жизни и не находил. Я помнил, что уже пережил это однажды, неузнанная тлела во мне искра опыта, но я не находил места ожога. Я не мог представить, конечно, что воспоминанием может оказаться и что-то не бывшее в жизни, но с особой силой воспринятое или с особой силой переданное (как не только чтение книги может оказаться событием в твоей жизни, не только твои в связи с этим переживания, но и то, что было в книге...). Не мог я представить, что слышал однажды точно такую тишину, точно такого содержания тишину... не в своей душе.

Очень странно было окончательно понять, что видел и слышал я эту тишину в кино. А именно — когда смотрел фильм «Пиросмани».

## ПИСАТЕЛЬ

Русскому читателю творчество Эрлома Ахвледiani известно очень мало. Да и то, что известно... не каждый читатель соединит несколько сказок о Вано и Нико<sup>1</sup> и сценарий фильма «Пирсмани»,<sup>2</sup> а это — все. Я знаю меньше, чем грузинский читатель, и чуть больше, чем русский. А повод для разговора есть.

Есть расхожий комплимент: «жизнь такого-то неотделима от его творчества». Употребляется он либо чтобы польстить, либо как раз в том классическом, признанном случае, в случае редкой писательской удачи, когда творчество как раз отделилось от жизни создателя, существует самостоятельно; о человеке же мы можем знать или не знать, жизнь его нужна исследователю и, естественно, становится неотделимой в сознании исследователя.

Писателям, жизнь которых «неотделима», нечего сетовать на судьбу и непризнание (они и не сетуют) — приходится умереть, чтобы жизнь их отделилась от того, что они сделали, чтобы остальные могли это вполне увидеть, чтобы это стало чем-то употребимым, тогда они как бы сами становятся книгой, книгой неповторимо прекрасной, единственной в своем роде, как бы написанной специально для того, кто ее оценит и полюбит. Такой писатель как бы всю жизнь не выпускает эту свсю книгу, он ее всю жизнь не завершает, и лишь с последним вздохом она оказывается завершенной в полне.

(Справедливости ради скажем, что эта гипотетическая книга не будет меньше того однотомника, который выберет из себя многопишущий.)

Это я к тому, что количество — не доказательно. Оно только способ доказательства, что ты и сегодня и завтра есть, способ для тех, кто без этого доказательства перестает себя ощущать, оно способ существования, а честнее — средство к нему.

Поговорим о том немногом, что нам известно об Э. Ахвледiani, из того многого, чем он может оказаться; попробуем благословить эту неотделимость и неразрывность человека и творчества. Будущее его не беспокоит

---

<sup>1</sup> «Дружба народов», № 10, 1969.

<sup>2</sup> «Искусство кино», № 6, 1967.

меня: прежде завершения втайне происходящего в нем дела он не кончится.

Великое затруднение письма! Необыкновенная легкость и естественность созданного! Сколько надо пропустить чужих удач в себе, сколько побуждений надо подвергнуть сомнению, сколько развитий пройти, сколько соблазнов миновать, сколько кратного — сократить! Сколько надо НЕ написать, чтобы вывести строку? (написать хоть что-то).

Такую судьбу следует отличать от пресловутых «поисков себя». Потому что те поиски частны, это поиски приложимости и применимости, это опять же поиски способа доказательства другим своего существования, некая эмпирика, в принципе отличная от попытки познания, которую представляет собой неотделимое от жизни, незавершенное творчество.

Тем более что Э. Ахвледiani, казалось бы, сразу себя нашел. Сейчас уже не оценить, насколько необычной, без приближений и подступов новой, была его «Современная сказка», когда возникала. Время было свежее, все только и делали, что начинали и пробовали, все казалось новостью, даже Бунин. «Современная сказка» — совершенно зрела, потому что она — новая. Качество нового заметно лишь в зрелом виде (как бы ни пытались приписать новизну молодости), хотя создатель «сказки» и был молод.

Два отличных друга Нико и Ваню, два заклятых врага, два знакомых человека... Они переходят из сказки в сказку, как со двора на улицу, как из комнаты в комнату, — притча рождается на улице, на ваших глазах: у бессмысленной суеты «маленького человека» вдруг обнаруживается форма, а содержание становится не менее и не более глубоким, чем жизнь. Нико и Ваню — это два и один человек одновременно, это местоимения своего рода: я и он, он и я, я и они, я как он, он как я. Кажется, сам язык, сводясь к подлежащему и сказуемому, дарит этим сказкам свою философию, возвращаясь к изначальной структуре, достигая почти библейской точности, уточненной современным стремлением избежать пафоса.

Боюсь, что попытка кратко пересказать какую-нибудь сказку удлинит ее вдвое. В каком-то смысле у сказки именно «своих слов» не бывает. Нельзя ее —

«своими словами»... Тем труднее себе представить, из какого опыта может почерпнуть наш современник эти разреженные слова «для всех», из которых состоит настоящая, не сюсюстилизованная сказка. Вот, например, сказка «Многого хочешь...»<sup>1</sup>

«Однажды Ваню мечтал.

Мечтал и Нико.

Оба сидели в открытом поле спиной друг к другу, и оба глядели в открытое поле.

«А что если,— мечтал Ваню,— что если рождался бы человек...»

Так она начинается. Какой стремительный вход! Без разбега.

В следующей строчке Нико уже мечтает о солнце, чтобы оно всходило и заходило. «Многого хочешь, Нико!» — слышим мы ответ (не то это Ваню, не то автор, не то — сверху...).

Но они продолжают мечтать, все так же по очереди: один о том, чтобы человек подрос, другой — о луне и звездах, один — о предстоящей жизни: о ее стремительности, о любви, даже о болезнях; другой — о смене времен года, о весне и даже об осени.

И так, вдохновенно перебирая всеобщий и, так сказать, всегда наличествующий ряд бытия, доходят уже до почти невозможного:

«И было бы вот это поле. Был бы и Ваню, был бы и Нико. Смотрели бы они в открытое поле, и оба мечтали бы...» И опять тот же голос: «Многого хочешь, Нико!»

Но они не могут остановиться. Ваню мечтает, чтобы был смех и были слезы. Нико мечтает, чтобы «была бы земля...»

«О, если бы человек умирал!..

— О, это уж чересчур, Ваню! Многого хочешь, Ваню!»

Вот и все. Круг бытия. Одна страничка. Двести слов. У меня получилось их больше, потому что как бы я ни сдерживался, я не в силах не проявить авторского отношения, не комментировать.

Ваню и Нико — постоянные герои этого цикла. Не только потому, что сказки именно о них, а потому что

---

<sup>1</sup> Цитаты из Э. Ахвледiani в переводе А. Абуашвили.

постоянны они как бы по своему составу, по формуле. Это-то их постоянство позволяет менять вокруг них обстоятельства с головокружительной легкостью. Как будто именно, если люди стоят на одном месте, с ними может случиться что угодно. Они закрепощены — освобожден сюжет. Вот подряд, без выбора, первые строки сказок, «входы»:

«Однажды сказали так: Ваню глуп, а Нико нет». Или: «Однажды Нико был на двадцать лет старше Ваню». Или: «Однажды Нико казалось, что Ваню птица, а сам он охотник». Или: «Однажды Ваню был всемогущ. А Ваню был всего лишь Ваню». Или (это почти непереводаемо): «Однажды Нико был семью Нико, а Ваню был всего один...» И даже:

«Раньше Нико был Ваню, а Ваню — Нико. Потом Нико стал Ваню, а Ваню — Нико. А под конец оба они стали Ваню».

С такой свободой, с такой «скоростью» нельзя говорить много. Дышать таким воздухом повествования легко и трудно, как в горах: не надышаться.

О сказке, может быть, почти так же трудно писать, как и сказку... В этом как бы дань уважения к надличности жанра.

Почти ничего невозможного, не виданного, феерического нет в этих сказках. Ваню и Нико — миллионная частица народа, как бы состоящего из Ваню и Нико. Они настолько слились, растворились, уподобились, что почти исчезли в сплоченной сутолоке современного мира. Они обнаруживают себя вдруг и с удивлением, чаще всего в том случае, когда видят друг друга: Ваню видит Нико, а Нико — Ваню. Словно в зеркале отражаются, а отразившись, не узнают прежде всего себя в отражении — возникает конфликт. Странно, но именно прением этого «обезличивания» обнажает автор их глубокую человечность, их единственность за счет равенства — они принадлежат себе: Ваню принадлежит Ваню, а Нико — Нико. Хотя Нико и посягает на Ваню...

Итак, герои — статичны и обыденны, да и сюжет знаком каждому, любому. А эффект преображения, переосмысления — чудесен, чудесен уже тем, что практически не поддается анализу. Казалось бы, нет в этих сказках и ничего специфически грузинского, кроме произношения имен — Ваню и Нико, но это никак уж не «Иван

и Николай», даже не «Ваня и Коля» — сказки невыразимо, неуловимо, но глубоко национальны, как линия в орнаменте. Из сказок практически изгнано все то, что могло бы свидетельствовать об оригинальности, индивидуальности прозы именно этого автора, — однако они так же невыразимо и неуловимо ни на что не похожи, как народное слово. Может, это и есть свобода? — та полная свобода, о которой художник может только мечтать, — внутренняя?.. В таком случае, для достижения ее понадобилась как раз крайняя степень закрепощения, отказа, освобождения именно от себя.

Трудно создать сказку... То ли они давно уже сложены, но даже, пусть изящная и тонкая, но все равно разнеженная, жеманная, исполненная намеков и реминисценций, интеллигентная сказочка — встречается достаточно редко. Что и говорить о попытке создать сказку, по степени надличности и абстрактности почти равную сказке народной, о попытке сложить ее языком, в котором не существуют менее и более понятные слова, а существуют только слова всех, для всех, слова — всегда. И когда Э. Ахвледiani назвал свою сказку «современной», то это не было свидетельством модернизации жанра, а подчеркиванием того, что именно сказку он сказал, только новую, какой еще не было.

Создав в столь юном возрасте такое чудо бессгильности, на какое посягает писатель разве что в конце собрания сочинений, исчерпав и пресытившись литературой, пытаясь обойтись «без литературы», как если бы мог быть жанром безымянный «памятник литературы», в котором единственной эклектической деталью, единственным словом, которое можно было бы вычеркнуть, было бы имя автора; то есть начав с редко удающегося достижения не в конце, а в начале писательского пути, столь, в принципе, личностного, столь насаждающего себя, — Эрлом мог оказаться в сложном положении молчания, непродолжения, возвращения к непройденному. И время шло на него, относя вспять. А ему было уже и всего двадцать пять лет.

И я могу поставить только в заслугу, что ему достало не то мужества, не то благородной художнической лени — не эксплуатировать столь удачно найденный, самобытный, до него будто никому и не принадлежавший способ сложения этих сказок и остановиться ровно



тогда, когда ему самому стало все на этот счет ясно, когда его частный метод до конца выразился и окреп и, казалось, был готов к долгому употреблению.

(Раскрывая литературный памятник безымянного или мифически-легендарного автора (крайняя степень признания, в своем роде, есть тоже отмена имени собственного), мы не задаемся вопросом, было ли им написано еще что-нибудь, кроме этих двух-трех печатных листов, мы не задаемся этим вопросом, потому что для нас там написано все. А когда написано все, мы не можем знать, может ли быть и еще что-нибудь.)

Я не пытаюсь раздвинуть литературную иерархию — я говорю о феноменологии литературного памятника: вот все, что у нас осталось, когда мы держим его в руках. Мы восхищены этой достаточностью. Нам кажется само собой очевидным, что в современное нам время их быть не может, что литературный памятник не может быть создан. Он может только уже быть. И мы правы: трудно сейчас представить, что можно написать всего лишь все, да еще и имя утратить.

Такого не может быть, но вот частный, пусть не такой и крупный случай: одного молодого писателя постигла эта беда с самого начала. И даже условие необходимой утраты имени для меня подтвердилось. О Ване и Нико я слышал много раньше, чем об Эрлеме Ахвледiani. Кажется, в 1960 году профессор Н. Я. Берковский как-то спросил меня: «Вы слышали анекдоты про Вану и Нико? Не то чтобы это два идиота... Скорее даже не идиоты. Трудно передать. Но анекдоты очень замечательные (Берковский любил так говорить: «очень замечательно»). Говорят, появился какой-то грузин, который их сочиняет. Неправдоподобно». Вот и Берковскому как литературоведу было очевидно, что не может быть автора у настоящего анекдота. Я прочитал эти «анекдоты» лет через пять после этого разговора и лишь еще года через три познакомился с автором. То есть даже в таком, еще не ушедшем, не канонизированном случае «памятник» начал свое хождение, первым делом утратив имя автора.

(Исчезновение имен авторов текстов народных песен кажется мне в этом смысле не неблагодарностью и не-справедливостью, а комплиментом (так же, как и приписывание многих песен Есенину). Я наблюдал и такой

случай, когда поэту Г. Горбовскому не поверили, что он автор песни «Когда качаются фонарики ночные..», которую одно время распевали анархисты почти в каждом историко-революционном фильме как дореволюционную. И в гонораре ему было отказано, хотя мы с ним очень в то время нуждались в небольших деньгах...)

Соотношение жизненного опыта и возможности творческого отображения (воплощения) сложно и весьма не прямо. Мы имеем подавляющее число свидетельств, что зрелый, окончательный опыт может быть изложен разве в форме трактата и уже утратит способность стать искусством. У поэта опыт предвосхищен («Быть может, прежде губ уже родился шепот...»). Опыт, настигший предвосхищение, совпавший, отчасти уже утрачивает творческую потенцию. То ли он больше принадлежит прозе, то ли просто — нем. Этим опытом уже не воспользоваться поэту, приходится предвосхищать грядущий. Этот прорыв гонит впереди себя личную жизнь, формируя черты судьбы. Немудрено, что поэты проживают жизнь вдвое-втрое быстрее. А если ты не поэт, если у тебя нет этой скоростной формы воплощения, если уже не один опыт настиг и перехлестнул тебя так, что о нем только вспомнить можно, а прожить его вторично уже невозможно, то сколько же опытов надо пройти, чтобы возник как бы опыт опытов: как опыт целой жизни (старик), или опыт поколений (род), или опыт истории (народ). И если поэзия есть потенция лишь не прожитого, а предвосхищенного опыта (в этом смысле она всегда молода...), и если опыт все-таки не предвосхищен, а приобретен, то, как мне кажется, единственный способ, каким еще опыт может стать поэзией, — это самый конечный, не предвосхищенный, а сжатый своей множественностью до точки, анонимный творческий продукт: пословица, сказка, песня.

Что наконец поймет надменный ум  
На высоте всех опытов и дум,  
Что? — точный смысл народной поговорки.

Такое впечатление, что Э. Ахвледiani каждый раз опаздывает, каждый раз успевает лишь пропустить поэтическое прозрение — приобретает опыт, который было почти предвосхитил, и замолкает снова. Невозможно, в пределах одной своей жизни, приобрести опыт, равный

народному (Эрлом не фольклористичен, скорее интеллигентен). Но если человек не способен в одиночку приобрести народный опыт (если такой опыт не врожден), то впереди у пропущенной, не застигнутой врасплох и вовремя, поэзии — есть, за пропастью опыта, продукт высокой абстракции — притча, миф.

Писатель, надо полагать «по определению», занимает место, никогда никем не занятое. Не столько даже до него не занятое, сколько без него пустое. Эрлом идет трудной прежде всего ему самому, но своей дорогой. И поскольку не изменять своему развитию — есть норма писательской честности, он ему не изменяет. Слово не дается тем, кто неправильно к нему подходит. В той или иной степени, все затруднения писателя в его письме — этические. Не только осторожность или смелость, не только гражданственность или независимость — не только это есть, пусть главная, этика писателя... Есть еще этика обращения со словом, с героем, с мыслью, — этика почти не описанная, не изученная, лежащая в основе. Есть, пожалуй, и еще более глубокий слой этой этики.

Э. Ахвледиаки не искал подходов, когда подошел к слову и встретился с ним прямым взглядом. Но время не остановилось в это мгновение, и для Эрлома началась жизнь «в длину», в которой лишь постепенно, по крохам доходит до сознания то, что поэту удастся постигнуть в момент творения с лету (с тем, быть может, чтобы потом продолжать не понимать). Эрлomu пришлось запнуться и признать правомерными и другие сферы жизни и духа, пусть и не столь прозрачно абстрактные, но живые, но существенные, не прерванные, не остановленные, однако прежде всего имеющие значение для жизни, собственно, являющиеся ею, и даже для философа привлекательные — именно своей неразъятностью, страстностью, заинтересованностью, своей погруженностью в непонятную середину процесса: «кошка красива, красивая кошка тоже». Философ понял, что не понял. Он онемел и полюбил. В любви мы не окажемся столь же совершенны, как воспаривши мыслью. Философу, постигшему мсру вещей, ничего не остается, как замолчать и полюбить все то, что он постиг, и осознать, сколь безмерно оказалось то, что он было полагал понятным. Красива формула! Чудо, когда из нерасчлененного и

безмерного, слепого бульканья жизни извлечен и назван закон! Но сколь меньше строчка формулы того океана, в котором она утонет вновь!..

Если человек ничего не может создать, он может подать пример.

И философ смиренно пытался писать сценарии и пьесы, в голову ему приходили прекрасные, невыполнимые замыслы, и он их пропускал, не портил. Кое-что было начато, кое-что вдруг продолжено... Наверно, он упрекал и грыз себя. Но деятельность — еще не дело. По крайней мере необязательно быть фонтаном, демонстрируя упругость напора, — это круг воды. И безделье может оказаться занятостью, но чем-то одним. И молчание — отказом от неправильного решения. И робость — свидетельством мастерства и уважения к материалу... И зрела в нем мечта вновь соединить в себе слово и время: «начать бы книгу, которую и писать всю жизнь...» Так он мечтал, не признаваясь даже себе, что уже ее пишет.

Удача, успех — вообще вещь относительная, тем более удача художника. С моей точки зрения, фильм «Пиросмани» режиссера Георгия Шенгелая — беспрецедентная удача, а по прокату — почти провал. Правда, время от времени «Пиросмани» берет реванш, месяц не сходя с экрана кинотеатра повторного фильма, что у Никитских ворот (наряду с картинами Иоселиани, «Пиросмани» — герой повторного фильма). Как продукт кинопромышленности — «Пиросмани» провалился, как художественное достижение — имел полный успех у любителя и ценителя кино как искусства. Зал был наполовину полупустым, пока фильм шел во многих кинотеатрах, и зал был изо дня в день полон, когда фильм пошел в одном. Люди приезжали туда посмотреть именно эту картину, а не вообще кино. Москва — большая, ехать по ней можно очень долго, слишком долго, чтобы попасть на один сеанс в один кинотеатр на одну картину. Лишь когда эта «единичность» стала наконец очевидной, именно в таком качестве, картина была уже обречена на успех. Удача это или неудача?

...Горький пьяница, не имевший за свою жизнь семьи, умер в холодном подвале от голода, умер никому не из-

вестный малеватель базарных вывесок... Какая уж тут удача. И лишь лет еще через тридцать в сознании любителей живописи наконец умирает великий народный художник, и это называется признание. Полуграмотный, спивающийся крестьянин, никогда не выдавший живописи, умудряется оставить наследие, выразившее его, его время, его народ и даже самый дух нации с такой полнотой и любовью, с какой это не удалось никому из грузинских художников,—выразивший, по-видимому, навсегда. И это сохранилось, и это дошло—это ли не удача!

Теперь бы его накормили, теперь бы выдали ему кисти и краски, и он бы сиживал в Доме художника,—теперь его жалеют за то, что у него не было условий, и не признаются в простой зависти к нему, что он так рисовал. Обыватель лучше ошибется, чем признает себя обманутым. Вряд ли и этот фильм обучит кого-нибудь вовремя признавать талант. А то была бы удача так удача!

Но Пиросмани был без нас одинок.

Зато он свободен и от того, чтобы мы помечтали ему другую судьбу. Вряд ли и создатели картины о неудачнике мечтали, что при выходе из кинотеатра человек, которому эта удача всю жизнь сопутствовала, вдруг решится подать нищему, оступится в лужу, промочит ботинок или поскользнется на арбузной корке, или еще какую потерпит неудачу; сквозь рванный карман на него незнакомо глянет подкладка жизни—и он вдруг поймет, что вот этого-то он не умеет, в этом он неудачлив—в умении оставаться человеком, что в этом он неопытен. Впрочем, он не поймет... Но зато это был бы успех!

Был ли счастлив Пиросмани? Вопрос нелепый. Конечно, нет, но и не было человека счастливее его.

Ибо счастье—это не вещь, не обстоятельства, счастье—это чувство. Оно наступает, когда усилие и результат обретают одно время и одну природу, соответствуют. Вся жизнь Пиросмани потрачена на это соответствие, и в этом ему сопутствовала удача, потому что он не изменил своему чувству счастья. Что поражает в картинах Пиросмани? Конечно, это от природы необычайно одаренный живописец: в цвете, в композиции... тем более если учесть, что он ничего не знал, все—сам!.. Но поражает-то не это, а полное соответствие

чувства и выражения, идеальная адекватность: мы воспринимаем именно тот образ, единственный, который видел человек — художник, именно тот же, с тем же чувством, хотя мы — не он. В живописи Пиросмани нет ничего сверх того, что мы видим, и это доходит сразу. У картин Пиросмани не может быть прочтения: они — есть.

Пиросмани — не мастер. Великое отсутствие искусства в его искусстве. Великий талант, великая душа. Что бы там ни говорили, восхищаясь его техникой, — это лишь отголосок сенсации, не это ценно. То, что он умел, — умеют все художники, но то, что он мог, — не может никто.

Природа Пиросмани в том, что он равен природе.

Конечно, создание фильма о таком человеке — задача привлекательная. И были пути, ведущие напрямую к успеху: голодный гений — посмертное бессмертие, — безотказная модель. Сочувствие в кино и сочувствие в жизни — противоположны. Утирая глаза, зритель выйдет из кино с глубоким сожалением, что фильмы о трагической жизни не снимаются до смерти героя, чтобы можно было вовремя предупредить вопиющую несправедливость. Как это напоминает желание присутствовать на собственных похоронах!

Тем замечательнее, что в конкурсе на сценарий о «Пиросмани» победил сценарий Эрлома Ахвледиани, потому что он не имел ничего общего с этой, грозившей удачей, концепцией.

Еще более удачно, что и режиссер Георгий Шенгелая отнесся к своей задаче трепетно и свято, что достаточно редко встречается в практике постановок, требующих для своего воплощения определенной грубости и конструктивности задач и приемов, которую чаще называют не примитивностью, а «профессионализмом». Репутация молодого режиссера к тому времени, когда он взялся за сценарий Ахвледиани, была достаточно высока, и профессионализм его не вызывал сомнений. Тем выше отказ, даже своего рода подвиг — отказ. На первый, формообразующий план наконец выступило не мастерство, а страсти художника, трепет перед материалом, неспособность слова произнести — любовь. Отношение к Пиросмани и к тому, что он выразил: к родине, к творчеству, к смыслу одной жизни, — доросло у

создателей фильма до такого напряжения и предела, что не только воспользоваться каким-либо испытанным, выигрышным (пусть даже не скомпрометированным ничем) приемом, но и слово молвить, мазок нанести, отснять метр пленки — предстало задачей трагически неразрешимой. Если воспользоваться наиболее ходячим представлением о муках творчества — «сопротивлением материала» — то именно оно было доведено до предела: предстояло приподнять Землю, не имея Архимедовой точки опоры, материал стал идеально непрозрачен, непроницаем. Но вот именно эта невыносимая любовь к родине, к искусству, к человеку, к самому Пиросмани, эта внезапная незащищенность, невооруженность перед необходимостью воплощать, эта неподсильность взятого на себя — вдруг оказались единственным возможным путем и привели если и не к успеху, то к лестному для чести художника великому поражению, я бы сказал: к замечательной неудаче.

Не было другого пути, как пригласить в «соавторы» самого Пиросмани. Не столько даже его творения, хотя, конечно, и их (кстати, живопись замечательно снята, «донесена» в фильме), сколько самую душу его, ее чистоту. Надо было стать очень легким, чтобы ходить по лугам его мира. Надо было пройти муку очищения, чтобы из его мира посмотреть в свой, такой другой, такой внешний мир, так же удивленно, так же раскрыв глаза, как смотрит ребенок, как смотрит на вас с картин Пиросмани «Дворник» или «Жираф».

Так возникал единственный путь к созданию современной картины о художнике прошлого — попытка создать этот мир столь же заново, как возникал он перед взором Пиросмани, потому что у него-то, в отличие от наших творцов, никакого другого мира не было...

Было бессилие, неспособность, беспомощность, и вдруг фильм оказался отснятым... И ту же святую муку испытывает благодарный зритель, что и создатель фильма, — вплотную подступает невыразимый образ... «Как это удивительно снято!..» — бормочет зритель. Фильм снят почти «слишком красиво», но оказалось это «почти» непережденным: мы верим, что эта красота — видение Пиросмани. Оператор, художник Автандил Вараци (который исполняет и главную роль) сделали все невозможное — трудно представить, что что-нибудь мог-

ло быть сделано еще тоньше, еще лучше. И, конечно, главный герой этой удачи — режиссер. В кино это только так, если есть удача.

Но главным героем того «великого поражения», о котором я говорил: той героической и непрофессиональной тенденции рассказать о молчании молчанием, о горе — горем, о неудаче — неудачей, о любви — любовью, является для меня автор сценария Эрлом Ахвледзани.

«Наверное, — думал Эрлом, приступая к сценарию, — есть у него, — думал он про Пиросмани, — один такой рисунок и есть такое волшебное слово, что — встанешь перед этим рисунком, закроешь глаза и вдруг окажешься там, в его мире. Совсем другой воздух в этом мире, другие люди, и совсем о других вещах они говорят. Они понимают друг друга; все здесь — соответственно и нет ничего чужого и неприемлемого. Покой и гармония царят вокруг. Совсем другое вино в тех кувшинах, по-другому пьянит оно...»

Как эта мысль близка Нико! — подумал я. — Близка она и Ване. Вот откуда эта немая нить. Эрлом начинал со сказок о Ване и Нико — тогда все это и началось...

«А я бы хотел, — сказал мне тридцатилетний Эрлом, — я бы хотел воспитать в себе старика». И если в 99 случаях из ста такое заявление можно было бы считать позой, манерностью, перекосом, то в этом случае, ручаюсь, был более глубокий смысл. Даже не только такой, что можно устать от сутолоки страстей, избытка сил, полнокровия и побуждений — всей той мути, что поднята в душе напряженным и самоутверждающимся прохождением через золотую пору жизни, когда «в соку». И не только то, что на этом пути можно соскучиться по некой отрешенности и ясности, окончательности, которые возможны лишь от малых сил, от угасших страстей, в рассуждении близкого конца. Но еще и тот, вдруг показалось, был в этом печальном заявлении смысл, что Эрлом знал, что говорил, что он уже был стариком однажды и это помнил. Может быть, когда писал эти сказки. Может, когда терял любимого и первого друга. Может, когда отец начинал строить дом, ко-



торый теперь Эрлomu всю жизнь достраивать. Может, когда его старики были моложе.

Когда я познакомился с ним, то это был поэт, в котором философ забыл свои слова, а поэт не находил слов для выражения всей безмерности постигшей его жизни. Это был ласковый, чрезвычайно предупредительный человек, жест которого был чрезмерен по вежливости. Но если вы признавали за ним естественное право на адекватность чувства и выражения, то эта его нежная излишность была боязнью ненароком задеть, причинить боль, повредить хоть паутинку сложнейшего мира, где все всему принадлежит, все связано воедино, и неизвестно, на каком конце какой бесконечности отзывается каждое наше, по крайней мере, несовершенное движение. Не только кого-нибудь не задеть своей тенью, не только что-нибудь — но ничто не повредить, потому что, кто знает, что может помещаться в том, что нам покажется как ничто, пустотою?

(У него есть рассказ «Когда мы будем рыбами» — исповедь камня. «Вон то — камень. Я тоже камень. Между нами вклинилась земля и пыль, как неподвижное мгновение нашей разлуки». Это первые строки. И опять можно отметить покоряющую скорость входа, какая была в его сказках. Это рассказ о камне, который когда-то упал со скалы в реку, и мимо него плавали рыбы. Потом его судьба изменилась — его выудил со дна мальчишка, выбросил на берег. Потом еще поворот судьбы — и камень оказался на улице. Он полюбил здесь другой камень. Казалось бы, сказка, но холодно делается читать эти «мемуары», когда понимаешь, что камень верит в свое чувство, в то, что еще придет время, когда они станут рыбами и будут играть друг с другом точно так, как он видел в самую счастливую свою пору у веселых рыб...

«Но нет...

Оба мы камни. Из камня все, что внутри нас. Из камня и радость наша и разлука, и наша близость тоже из камня; камень — глаза наши, и мечта наша из камня; окаменело наше небо и наша любовь, и сами мы — камни.

Из камня наша беседа:

— Я камень.

— Я тоже камень».)

Такой был трепетный, как пылинка в луче, он человек, что, право, можно было не поверить, что он такой и есть. Не притворяется. Но сколько бы ты его ни подозревал, убедиться ты мог бы лишь в собственной грубости. Таков был его жест, таково было смущение, нежность и любовь, когда он, странно колеблясь, избегал оказаться грубым с невидимой нежностью мира, поместившего его в себя. И кто поверил ему, тот верил в него и любил, хотя бы за то, что нашел это и в себе.

И вот теперь, спустя еще годы, я сидел в его удивительном недостроенном доме, где, как во сне, можно было ненароком открыть дверь в пустоту, где, кажется, в каком-то углу сквозь крышу можно было увидеть звезду, а через другой влетали в комнату ласточки с прутиками в клюве, словно достраивали этот дом... Дом был удивительно расположен — недостроенный, он еще больше походил на гнездо, прилепившееся на краю Тбилиси. Сразу за домом начинались отроги, поросшие выгоревшей травой, — туда можно было выйти прямо из окна и зашагать по траве вверх, оставив под собой причудливо-жилой город. Отроги эти по грузинским измерениям — холмы, по нашим — горы. За первым холмом открывался следующий, до времени скрывая за собою еще более высокий... И, выйдя таким образом из дому, чудилось, можно было уйти навсегда, до самого неба. Так я сидел на этой границе сна и яви и читал рассказ Эрлома «Агу» — и рассказ оказывался совсем о том, что я выше об Эрломе домысливал. Я сидел и листал своего рода дневник новорожденного, начинавшийся с необыкновенно глубоких мыслей еще незачатого существа, даже не существа... тоска души по телу. Наконец повезло, нашлись родители... Но еще сколько волнений, чтобы был зачат именно он (я — в дневнике!). Это случилось. Какой мудрости, почти равной природе, исполнена каждая запись нерожденного существа!.. Потом — появление на свет, мудрость уже слегка смущена возникшей вокруг суетой — но это всеещенадмирная, космическая мысль, у подножия которой копошатся младенчески мыслящие родители... От сравнения с ними младенец переполняется сознанием собственного гения и решает нарушить обет молчания, поразить всех глупиной своих суждений и... Он сказал «агу»! — ликует

счастливая мать. А младенец в этот момент забыл все, что знал.

Именно этот человек имел право пытаться постичь душу Пирэсмани. Подозреваю, что это именно он заразил Г. Шенгелая, кружась над словом и все не находя того, одного,— именно он... И, защищенный этой любовью и немотою создателей, фильм не мог не повторить именно самого Пиросмани. Эта смиренная учеба мастеров у безграмотного самоучки не прошла для мастеров даром — и фильм разделил в чем-то ту судьбу, о которой пытался рассказать...

## ВЫХОД ИЗ КИНОТЕАТРА

Я вышел из кинотеатра в выключенный мир. Он был выкручен, как звук у телевизора... Мое изображение пересекало узкий ленинградский двор, где сверху чуть доставался клочок серенького вечерющего неба. Я вышел под колпаком тишины и под ним вышагивал, вокруг лужи, мимо поленницы, серым локтем касаясь серого локтя толпы. Глаза мои были влажны, взгляд неясно различал близость мира, готовность любить переполняла меня, но некого было пугать этой готовностью...

Нет, не то чтобы переселение душ... Не то чтобы Нико вышел в моем пальто в ленинградскую подворотню... Но все-таки именно он, безмолвно шедший по желтой улице в косых штрихах мокрого серого снега по падающей под шагами кривизне старого Тифлиса, шедший, в безмолвии и безлюдье, умирать в свою конуру накануне титра «конец фильма», — именно он так и не дошел до своей смерти, перешагнув из своей тишины в мою, и мир, в который я вернулся, не сразу вырвал меня у этой тишины. Серая и плотная, как парусина под ветром, тишина, в которую врывался то автомобильный гудок, то скрип тормозов, прохожие обрывки речи, напоминала вечернее, холодное и промытое первым снегом ленинградское небо с косыми и острыми клочьями рваной синевы... День гас, закрываясь как бы изнутри. Куда уходил день? Где он закрывается? Это пространство, этот воздух, люди именно этого дня?

Я помнил эту тишину, я уже встречался с нею... Не только вот это удивление от кино... Какое-то более раннее, более первое воспоминание принадлежало мне, и я не мог его вспомнить и приобщить к себе. Где-то я уже видел, когда-то я слушал такую же тишину не в кино, а в жизни...

Удача кисти и резца  
Необъяснима до конца.

*1971—1973*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

ТАКОЕ ДОЛГОЕ ДЕТСТВО (Призывник) . . . . .	5
ОДНА СТРАНА (Путешествие молодого человека) . . . . .	135
ПУТЕШЕСТВИЕ К ДРУГУ ДЕТСТВА (Наша биография) . . . . .	201
УРОКИ АРМЕНИИ (Путешествие в небольшую страну) . . . . .	261
КОЛЕСО (Записки новичка) . . . . .	399
АЗАРТ (Изнанка путешествия) . . . . .	469
ВЫБОР НАТУРЫ (Три грузина) . . . . .	523

*Андрей Георгиевич Битов*

### *СЕМЬ ПУТЕШЕСТВИЙ*

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1976, 592 стр. План выпуска 1976 г. № 70. Редактор К. Успенская. Художник М. Е. Новиков. Худож. редактор А. Ф. Третьякова. Техн. редактор М. А. Ульянова. Корректор Е. А. Омельяненко. Сдано в набор 19/XII 1975 г. Подписано в печать 18/VI 1976 г. М 19144. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> № 1. Печ. л. 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (31,08). Уч.-изд. л. 31,16. Тираж 100 000 экз. Заказ № 747. Цена 1 р. 12 к. Изд-во «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград. Невский пр., 28. Союзполиграфпром при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Отпечатано в орден Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 5. Ленинград, Центр. Красная ул., 1/3 с матриц ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственно-технического объединения «Печатный Двор» имени А. М. Горького, 197136, Ленинград, Гатчинская ул., 26.

1 р. 12 к.